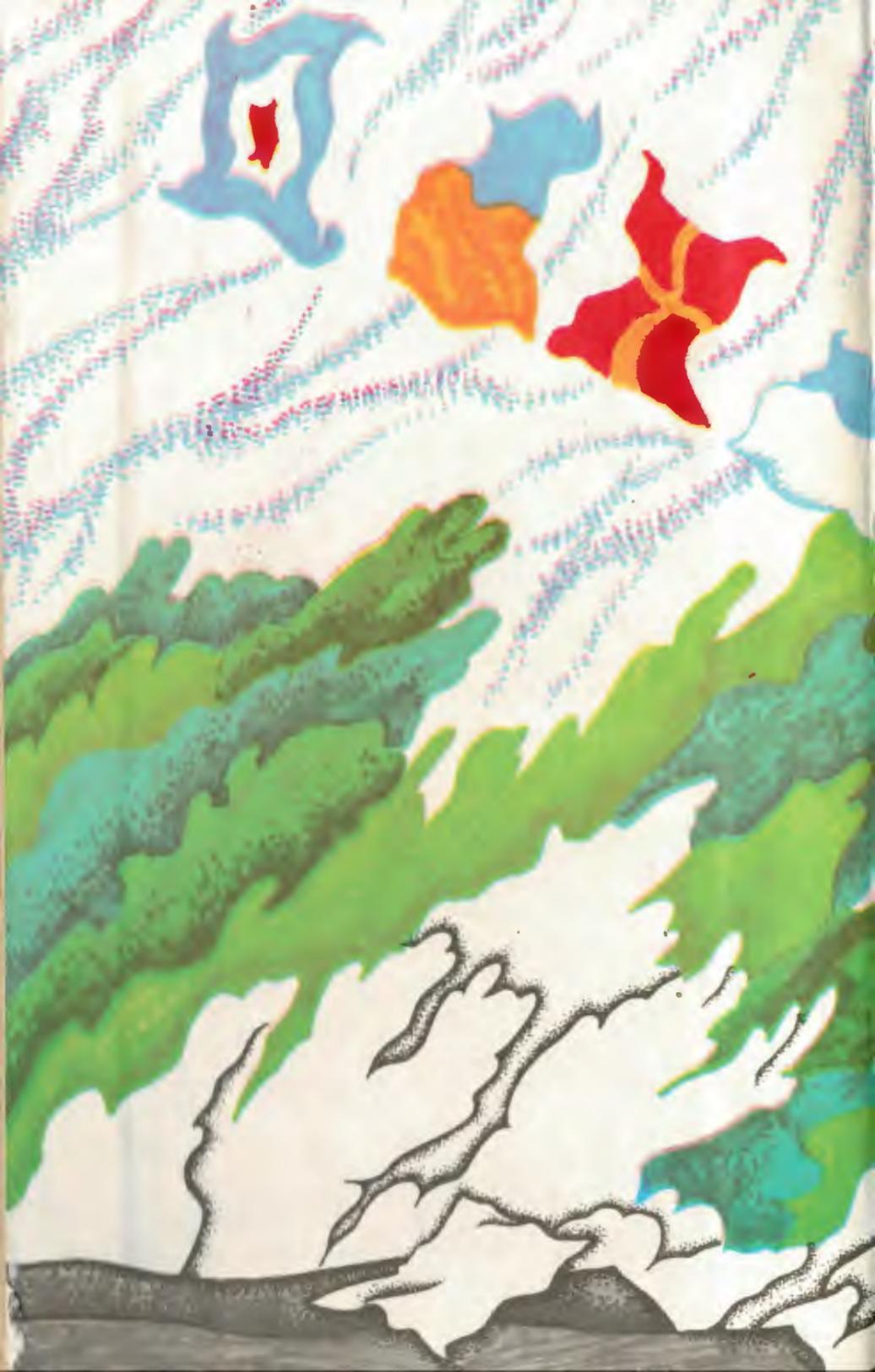


Владислав
Кривин







Владислав Крапивин

Собрание
сочинений
в девяти
томах

Владислав Крапивин

Том 9



Издательство «91»
Екатеринбург 1993

ББК 84Р7
К 78

Художник
П. В. Крапивин

К 480301020—002 93
93

© Владислав Крапивин, 1993

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Роман





КНИГА
ТРЕТЬЯ

НАСЛЕДНИКИ

(Путь в архипелаге)





Первая часть

Кассета

Утро восьмиклассника
Петрова

Егор Петров, дома именуемый Гориком, в классе — Гошкой или Петенькой, а в компании Больничного сада наделенный кличкой Кошák, поднялся на второй этаж и сел на подоконник. В коридоре было тихо. Шли уроки.

Напротив окна белела дверь с табличкой «2 кл. Б». За дверью слышались бубнящие голоса, они иногда прерывались гневными возгласами и резкими щелчками — очевидно, указкой по столу. Очередной возглас прозвучал громче остальных, а через три секунды дверь с маху открылась и вылетел тощий рыжеватый второклассник, направленный наружу, видимо, умелой и решительной рукой.

Глаза встрепанного мальчишки влажно и сердито блестили. Сделав по инерции несколько шагов, он остановился и скачком вернулся к двери. В сердцах стукнул по ней

пяткой. И лишь тогда глянул на Егора — с вызовом, не стесняясь злых слезинок. Видимо, это был характер. Егор даже ощутил к нему что-то вроде легкого интереса и сочувствия. Снисходительно сказал:

— Закурить есть?

Второклассник прошелся по Егору ощетиленными глазами.

— Ты что, офонарел? Большой, а дурак.

Кажется, это был не просто характер, а дважды характер. Но именно поэтому Егор потерял к нему интерес и сочувствие.

— Брысь.

— Сам брысь, — огрызнулся пацаненок и пошел в конец коридора, к туалету — ненадежному, но привычному приюту всех «классных изгнанников».

Стукнутая мальчишкиной пяткой дверь захлопнулась, но от удара тут же отошла. Из-за нее неслось:

— Хватит подсказывать и шушукаться!.. Хватит! Или кто-то хочет следом за Стрельцовым? Продолжаем! Кто ответит, почему поэт... Ямщиков, перестань клевать носом! Стукнешься им о парту, опять кровь пойдет и кто-то окажется виноват!.. Кто скажет, почему поэт называет в своих стихах осень золотой?..

Егор косо зевнул и стал смотреть сквозь стекло. Поэты называют осень золотой от безделья или от своей поэтической придури. А на самом деле осенние листья просто корчатся и сыплются на слякотный асфальт серыми комками. Вот как сейчас с тополей. И на душе соответственно...

Жить бывает хорошо, если впереди светит что-то приятное. А что в ближайшие сутки могло светить Егору Петрову? Горику? Гошке-Петеньке? Кошаку?

Компания в «таверне» соберется не раньше понедельника. Курбаши исчез на несколько дней, сказал «по служебной надобности». Подвал запер, под замком укрепил написанную Валетом табличку: «Аварийное помещение. Вход воспрещен. Штраф 15 руб. Администрация ЖКО». Ключ забрал с собой. Недовольным объяснил: «Во избежание непредвиденных осложнений с общественностью. Всё. Захлопнули ротика, джигиты».

Оно конечно, культурный человек скучать и в одиночестве не должен. Одних только книг цивилизованное человечество накопило столько, что на тысячу жизней хватит. Родители Егора накопили их тоже немало. И, были

времена, Горика не могли от книжек за уши оттянуть. Но тот наивный период культурного развития кончился, когда созрела ясная мысль: все герои книг — и придуманные, и те, кто были на самом деле, — к нему, к Егору Петрову, никакого отношения не имеют. Найдет д'Артаньян королевские подвески или они останутся у миледи — не один ли фиг? Отыщет капитан Григорьев экспедицию капитана Татаринова или та навечно сгинет в неизвестности — что изменится в жизни Гошки-Петеньки, Кошака?.. Нельзя сказать, что мысль была приятная. Сначала она даже как-то обескуражила, потому что любить книжки Горик привык. Но какой смысл тратить время и нервы на чтение рассказов о чужих делах, если твои собственные от этого никак не меняются? Презирать книги Егор не стал, он сохранил к ним что-то вроде снисходительной почтительности, но вкус к чтению потерял.

Некоторое время, правда, держался еще интерес к детективам. Но, во-первых, все истории про преступников и следователей были похожи, а во-вторых, скоро Егору стало ясно, что он сочувствует не тем, кто ищет, а тем, кого ищут. А это было грустно — те, вторые, в книжках всегда попадались.

От книг мысли Егора перескочили на кино. С кино — проще. Тебе показывают — ты смотри. Надоело смотреть — закрой глаза и думай о своем... Но сейчас в кинотеатрах будто спятили: в «Луче» — индийская тягомотина «Любовь и закон», в других — «День любви», «Люби, люби, но головы не теряй», «О странностях любви», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Еще раз про любовь», «Жених и невеста»...

В программе ТВ тоже сплошная мура...

И остается после школы одно: валяться кверху пузом на тахте («Горик, зачем ты лежишь в школьной форме, надень спортивный костюмчик») и щелкать кнопками «Плэйера».

Мысли о «Плэйере», конечно, греют душу. Ничего не скажешь, папочка не поспешил, отвалил валюту за карманный стереомаг знаменитой фирмы «Сони». Вся машинка — величиной с портсигар. Два выносных динамика — каждый размером со спичечный коробок. А еще — гибкая дужка с крошечными наушниками. Кнопки, микролампочки сигналов, сетчатые головки микрофонов по углам серебристого футляра (они похожи на выпуклые глаза большой мухи). Не магнитофон, а прибор с корабля космических пришельцев. В «таверне» как увидели — губы разве-

сили. Даже Курбаши не скрыл почтения к заграничной вещице. Уважительно покачал «Плэйер» на ладони, а остальным сказал:

— Никому не лапать, пальчики отдавлю.

Потом обратился к Егору:

— Ай, Кошачок, наградил тебя родитель, хороший человек. С чего это он?

— Говорит, к четырнадцатилетию...

— Мы же твои именины вроде бы летом отмечали.

— Его тогда не было. А сейчас вернулся из Австрии, тям японской техники навалом. Вот и привез...

— Давние грехи замаливает, что ли? — хмыкнул Валет.

Егор промолчал. Охота вспоминать? Курбаши — он понимающий мужик — посмотрел на Валета: язычок, мол... Валет усох. Но тут же, чтобы показать независимость, заметил небрежно:

— А почему эта фиговина именуется «Плэйером»? «Плэйер» — это ведь игрушка только для прокручивания. А здесь и микрофоны для записи...

— Кто их, японцев, знает... — хмыкнул Егор. — Им виднее. Видишь, написано...

Под значком фирмы «Сони» чернела аккуратная надпись: «PLAYER».

— Все у них не как у людей, — зевнул Копчик, но глаза у него были завидушие. Егор тонко улыбнулся.

— Да, умеют сволочи делать вещи на загнивающем Западе, — вздохнул Курбаши. — А точнее, на Востоке... — Надел мини-телефоны, послушал. — Ай, какое звучание. Рахат-лукум...

Звучание и правда было прекрасное. Особенно с наушниками. Закроешь глаза — и будто оркестр живой вот тут, в твоей комнате... Но беда в том, что это интересно лишь поначалу. И если ты не один. А когда слушаешь просто так, сам с собой, интереса хватает на двадцать минут. Потому что, если говорить совсем-совсем честно, Егор в этой музыке ни бум-бум. Все эти «Стайеры», «Чингизханы», «Бони-М», «Черные лимузины», «Кенгуру», от которой компания балдеет, жмурится, причмокивает и подергивается, кажутся Кошаку одинаковым дребезжаньем, монотонным буханьем и воплями на иностранных языках (холера их знает, о чем поют!). Но ведь никому не скажешь такое! И Кошак жмурится, подергивается и двигает локтями так же, как остальные. Это ничего, даже весело. Одно слово — ритм. И может быть, Егор со временем разберется, вникнет поглубже в музыкальное искусство.

А пока главное — не выглядеть дураком среди знатоков. Знатоки эти душу готовы продать за новые записи. Копчик раздобыл у кого-то на стороне японскую кассету с «Викингами» и принес свою расхлябанную «Весну». Перепиши, говорит, с «Плэйера» на мой ящик.

— Со стерео на моно? — хмыкнул Егор.

— Ну, хоть что-то да получится. Постарайся.

Копчик смотрел просительно, даже подхалимски.

Егор поставил условие:

— Мотор дашь погонять? У тебя, говорят, новый...

— На воскресенье бери хоть на целый день. А до выходного — забито.

Мысли о мопеде немного развеяли скуку. Мотор на весь день — совсем неплохо. Но это лишь через три дня. А до того что? Эх, были бы свои колеса с движком...

— Даже пятиклассники по улицам гоняют — и то ничего! А мне нельзя почему-то! — не раз скандалил дома Егор.

— Пусть гоняют, если у них матери такие! А я не могу своими руками сына отправить в могилу! Ты у нас с отцом один!

— Я виноват, что ли, что один? — вскипел однажды Егор. — Думать надо было!

Мать, к его удивлению, не стала кричать, ронять слезы и упрекать в хамстве и неблагодарности. Наоборот, как-то странно успокоилась и объяснила, что, когда рожала его, Егора, врачи с ней и с ним намаялись и несколько лет подряд утверждали, что второго ребенка нельзя, несмотря на то, что отцу хотелось. А теперь, на старости лет, что об этом говорить.

Егор буркнул, что никакой «старости лет» нет, просто хлопот не хочется.

— А тебе хлопот хочется? С малышом нянчиться стал бы?

— А у меня таланту нет, — огрызнулся Егор, потому что вспомнил недавний разговор с режиссером Александровским.

Было это прошлой осенью. Режиссер с помощницами пришел в школу. Здесь ничего удивительного — школа-то вся из себя передовая, показательная и самая-самая. То и дело всякие «встречи с интересными людьми». Но режиссер пришел не выступать, а искать исполнителя для своего кино. Мальчишку-семиклассника. И его помощницы тут же «кинули глаз» на Гошку Петрова: «Ах, какой мальчик! Мальчик, хочешь сниматься?»

А чего? Если глянуть со стороны, для кино он в самый раз. Красавец не красавец, но недаром «Петенька». Локоны и улыбка — со знаком качества, это видно всем.

Неделю Егор торчал на студии, даже с уроков отпустили. И все шло хорошо. Перед камерой он не терялся, двигался бойко, фразы говорил выразительно. И лишь когда стали репетировать сцену с велосипедом, Александревский начал морщиться. В этой сцене главный герой притаскивает братишку-третьеклассника, который загремел с велосипеда, погнул руль, повыбивал спицы из колеса. И вот покореженный велосипед (причем чужой, не Бритьев) — в одном конце комнаты, ревуший сопливый пацан с ободранным локтем и шишкой на лбу — в другом, а Егор должен метаться между ними — и ругаться, и брата жалеть...

Что-то режиссеру не нравилось: все «стоп» да «стоп»! Все у Егора не так! А при чем здесь он, если этот хлипкий и вареный «братец» сам ничего не может, даже слов не помнит как следует. Егор Александревскому так и сказал. А тот вдруг спросил:

— Слушай, неужели тебе его ничуть не жаль?

Егор удивился. Александревский пожал плечами и объявил перерыв до завтра. А назавтра — все то же, «братец» вздрагивал, лопотал что-то невнятное. И в антракте Егор с досады дал ему леща. Легонько так, тот лишь заморгал. Но Александревский, оказавшийся рядом, вдруг сказал незнакомым голосом:

— Вот что, молодой человек, гуляй-ка домой.

— Почему? — изумился (и обиделся, и разозлился) Егор.

— Потому. Ты никогда не сможешь быть братом.

— Но это же...

— Все. Гуляй, — со вздохом повторил режиссер. — Единственное дитя...

Мама хотела пойти на студию, жаловаться на Александревского. Егор заорал, чтобы не смела. Отец сказал:

— А ты что думала? Что он в народные артисты выбьется? Пускай о нормальной профессии думает.

«Таверна» добродушно побалагурила по поводу провалившейся кинокарьеры Кошака, и дело вскоре забылось.

А сейчас вот здесь, на подоконнике, почему-то вспомнилось. Видимо, от нечего делать. Когда сидишь так, не зная куда себя девать, в голову лезет чепуха. Все больше невеселая.

Егор глянул на часы. С начала урока прошло тридцать минут. Значит, еще пятнадцать, а потом перемена, а потом еще целый урок. Потому что физра в расписании сдвоенная. И он пожалел: зачем старался, чтобы поперли с физкультуры?

Добился он этого просто. Сперва физрукша Валентина Николаевна с мужским прозвищем Коленвал велела всем, «кто явился на урок опять без формы, сидеть у стенки и не возникать». («А потом я напишу докладную директору»). Егор сел с послушным видом. А во время разминки, когда народ бегал по кругу, сунул ступню под ноги грузной Вальке Титаренко. Титаниха на пузе поехала по половицам, как мешок с колбасой, и, конечно, завывала. Светка Бутакова запылала своим активистским гневом:

— Ох и скотина ты, Петенька!

Егор потребовал объяснений: в чем он виноват и почему она, комсомольско-пионерская и прочая командирша, позволяет себе так обзывать представителя несоюзной молодежи? Вот если бы не она, а он такое слово на уроке сказал, что бы тут началось, а?

Девчонки понимали Титаниху и жалели. Парни сдержанно гоготали. Подошла Коленвал и велела Петрову убираться вон.

— А потом я напишу докладную директору!

— Про что? Про то, что эта балерина под ноги не смотрит?

— Иди, иди! Являются не готовые к уроку, да еще другим гадости делают.

Егор оглянулся в дверях:

— А чего «не готовые»-то? Если костюмов нигде не продают!

— Уж тебе-то папаша мог бы достать!

Егор, у которого было четыре тренировочных костюма, в том числе финский и японский, сказал:

— Папаша мог бы, конечно, но не будет. Надо, чтобы они были в наших советских магазинах.

— Нет, вы посмотрите! Ему уже советские порядки не нравятся! — завопила вслед физрукша.

Егор мысленно прикинул разговор с директоршей, если Коленвалиха не поленится накатать донос. «Клавдия Геннадьевна, я понимаю, что учителя тоже люди, что устают и так далее. Но нельзя же так сразу нападать и без доказательств. Да еще намеки на отца. Он что, воровать

должен?» — «Ну-ну, Петров, успокойся. Ты ведь тоже не сахар. Умный мальчик, а способы для самоутверждения порой выбираешь совсем не те. Давай договоримся, что...» Ох и скучища, граждане!

...Да, лучше бы уж сидеть на физкультуре. Можно потрепаться с «бесформенными» соседями, бросить пару реплик насчет грации Вальки Титаренко или тюфяка Маклевского, который зависает на турнике, как обморочный пингвин... Можно просто смотреть, как вертятся и гнутся на кольцах и брусьях девчонки в своих цветных купальниках. Особенно гибкая и смуглая Бутакова. Нельзя сказать, что это зрелище как-то щекочет нервы Егору, но все же оно приятнее, чем серые тополя и слякотный двор.

Дверь во второй «Б» прикрыли, разговоры про золотую осень стали неслышны, а та осень, что за окном, все сыпала и сыпала грязные комки листьев. Через двор к школе шел милиционер, вел за плечо съезженного пацана — тот семенял и прижимал к животу ладони: то ли ему хотелось в туалет, то ли съезжали штаны.

Егор Петров перестал смотреть на двор и глянул вдоль коридора. Из-за поворота возникло понурое существо, жалось к стене. В существе Егор узнал четвероклассника Пулю. Пуля, несмотря на боевое прозвище, был боязливой неприкаянной личностью, которую недавно пригрел в «таверне» Валет.

Судя по всему, Пулю выставили с урока, и теперь он, отчаянно боясь встретить завуча, пробирался в спасительный туалет, чтобы сидеть там, в кабинке с задвижкой, до звонка.

Егор, тут же ощутивший себя Кошаком, хмыкнул, мягко потянулся, шелкнул языком. Пуля дернулся и обмер на месте. Егор, в точности как Валет, затуманил взгляд, шевельнул пальцем и потратил два слова:

— Пуля — иди...

Пуля, бедственно улыбаясь, засеменял к Егору. Разумеется, он считал безумием со стороны Кошака так нагло сидеть на подоконнике, когда полагается быть на уроке или, по крайней мере, подальше от всех глаз. И больше всего Пуле хотелось сгинуть в милый сердцу санузел. Но не подчиниться кому-то старшему из «таверны» было для него тоже немислимо.

Понимая Пулины терзания и чувствуя от этого удовольствие, Кошак опять потянулся и спросил:

— Пуля — пулей из класса?

- А чё... Я тетрадку забыл, а она...
- Закурить есть? — перебил Егор.
- Ну чё... откуда?

Показывая, как не хочется ему делать лишних движений и как он раздосадован, что делать их приходится, Егор сполз с подоконника. Нагнулся, задрал у Пули штанину, выдернул из-под резинки носка мягкую пачку «Примы» с единственной сигаретой.

— Ну чё, последняя, — виновато хныкнул Пуля и поежился от подзатыльника. Хлопок, впрочем, был не сильный. Скорее, ритуальный. Пуля заслуживал наказания за вранье, но понять его тоже было можно: кому охота отдавать последнюю.

Егор вынул сигарету, затолкал пустую пачку за батарею и пошел к туалету. Пуля, обрадованный, что расплата за обман оказалась пустяковой и что движутся они к убежищу, почтительно торопился сбоку. Осмелел и спросил:

- Оставишь маленько подымить?

Егор не ответил. Оставит ли он пару затяжек для несчастного Пуля, будет зависеть от настроения.

В туалете пахло застарелым дымом и хлоркой. Было пусто. «Где же тот вредный второклассник? Наверно, слинял на третий этаж», — мельком подумал Егор. На приступке за батареей нащупал коробок, оставленный здесь для общего пользования, чиркнул, задымил. Забрался на подоконник под открытой форточкой.

Радости от сигареты не получилось. Дым показался горьким. Егор подавил кашель, сплюнул. Закружилась голова. Егор упрямо затынулся еще раз. Потом глянул на Пулю. Тот смотрел жалобно и вопросительно: ты меня не забыл? Егор скомкал сигарету, бросил в форточку. С удовольствием понаблюдал за Пулиным разочарованием и назидательно сказал:

— И так дохлый. Смотри, совсем скорчишься от никотина. И куда Валет смотрит...

Сам Егор курил от случая к случаю: ради компании или так, со скуки. Именно поэтому, а совсем не по бедности при себе сигарет не носил. Оно и спокойнее. А то мать найдет, опять стоны будут...

Загремел звонок, просторный туалет начал стремительно заполняться галдящей толпой. Пулю задвинули в угол. Егора вежливо попросили «прибрать ходули», а то хитрый какой: персональное купе сделал из окна. Егор встал на подоконнике, прислонился к боковой стенке оконной ниши.

Дым уже висел слоистыми пластами. Пласты колыхались от коловращения плеч и голов. Обрывки разговоров, легкая ругачка и смех смешивались и тоже как бы повисали полнующимися и рвущимися слоями.

Было тесно и суетливо. Но тем не менее присутствовал и некоторый порядок. Зря никого не толкали, малышню снисходительно пропускали без очереди к кабинкам и другим необходимым местам. Те, у кого был сигаретный запас, не проявляли скаредности. Возможно, откололся бычок и неприкаянному Пуле — от какого-нибудь великодушного шестиклассника. Большие-то младший возраст куревом не балуют. Из педагогических соображений.

В углу у раковины стояли парни из десятого. Один — **высокий**, тонкий, с темными усиками, в форме, изящной, будто **фрачная** пара, — поигрывал красной зажигалкой с золотой надписью «Marlboro». Аристократический запах «Золотого руна» расходился от этой компании, дразня тех, кто сосал «Примы» и «Родопи».

Заметил Егор и несколько одноклассников, они прибежали сюда в тренировочных костюмах. Трикотажная материя впитает сигаретный дух, и, когда ребята придут на второй час физры, Коленвал, как всегда, подымет крик: «Насквозь прокурились! Дышать нечем! Напишу докладную!» Причем виноватыми будут и те, кто сроду куревом не баловался. Вот, например, как Ямщиков...

Венька Ямщиков, по прозвищу Редактор, пришел не один. Он вел пацаненка лет восьми — коренастенького, с растрепанной круглой головой. Пацаненок запрокидывал лицо и прижимал к носу пальцы. Из-под пальцев ползли на подбородок алые струйки.

— Ну-ка, ребята... — озабоченно сказал Ямщиков, и народ раздвинулся, пропустил его к раковине. Несколько голосов спросили, что случилось и «кто его так».

— Да ну... — с досадой отвечал Венька. — У других нос как нос, а его чуть щелкнешь — и побежало... Носился и сам не знает, где стукнулся. Я иду, смотрю, а у него **каплет**...

Венька растопырив ладонью вымыл мальчишке лицо, зацарапал мокрыми пальцами по бедру в поисках кармана с платком, но на тренировочных штанах карманов не было. Десятиклассник с зажигалкой протянул свой платок — большой и очень белый. Венька кивнул, вытер пацаненку физиономию, что-то сказал. Тот, послушный и бледный, встал у стены, закинул голову, а платок прижал к носу. Видно, кровь еще не унялась.

Егор, глядя, как Редактор смывает кровь с мальчиш-кинских щек и подбородка, шевельнул плечами. Из-за брезгливости. Но вместе с брезгливостью ощутил Егор и непонятную досаду: опять почему-то вспомнился Александровский: «Ты никогда не сможешь быть братом...»

Мальчишка с разбитым носом был Венькин брат — второклассник Иван Ямщиков. Ванька...

— Парни, атас... — негромко сказали у двери. Окурки полетели в писсуары. Гул утих. Кажется, даже дым перестал колыхаться. И возник молодой учитель физики Мстислав Георгиевич. Высокий, с широкими плечами борца, но с тонким лицом, с черной волнистой шевелюрой и гибкими узкими руками музыканта. Работал он в школе первый год, был любимцем старшекласниц и носил прозвище Поп-физик (из-за того, что читал популярные лекции по современной физике в школьном лектории).

— Мужественные люди, — сказал Поп-физик от порога. — Как вы здесь живете без респираторов? Прошу выходить по одному. Советую сдавать табачное зелье добровольно, не вынуждая меня прибегать к обследованию карманов.

Обитатели дымного приюта потянулись к выходу. Большинство было уже «без улик», задержки у дверей не происходило.

Скоро в туалете осталась мелкота, свободная от подозрений, Венька с братом, трое десятиклассников и Егор. Он опять удобно сел на подоконнике. Поп-физик шагнул к окну.

— Ну, что касается Петрова, то он, разумеется, успел освободиться от компрометирующих предметов. Не так ли?

— Естественно, — отозвался Егор. — Я здесь давно.

Поп-физик обернулся к десятиклассникам. Высокий парень, улыбаясь, убрал красную зажигалку «Мальборо» в нагрудный карман, а пачку с сигаретами «Золотое руно» держал в ладони.

— Костецкий, — сказал Мстислав Георгиевич. — Вы не станете отрицать, что вам известны «Правила для учащихся»? Равно как и решение директора об усилении борьбы с курением в стенах вверенной ей школы?

— Разумеется, — отозвался Костецкий. — Клавдия Геннадьевна любезно проинформировала нас об этой новой акции.

— В таком случае вы меня крайне обяжете, если передадите мне свои сигареты.

— Охотно! — Костецкий с полупоклоном вручил пачку Поп-физику. Тот посмотрел на двух других десятиклассников.

— У них нет, Мстислав Георгиевич... — Костецкий улыбался той же светской улыбкой, что и Поп-физик. — Я их сегодня угощал... Но вы не огорчайтесь, пачка почти полная. При некоторой экономии вам хватит до зарплаты. А если нет — можно провести еще несколько туалетных обысков.

Улыбка Поп-физика закаменела. Он сжал пачку в кулаке, шагнул к ближней кабинке и рванул на себя дверцу. Но за нес, пискнув от ужаса, выкатился под ноги Мстиславу Георгиевичу несчастный Пуля. Подхватил штаны и — к дыри. Растерянно глянув вслед беглецу, Поп-физик швырнул пачку и рванул рычаг.

Костецкий, переждав громкое бурление, заметил:

— А вот это нерационально: смывать в канализацию материальную ценность...

Поп-физик снова обрел невозмутимость, но уже не улыбался.

— Меня, Костецкий, более волнуют моральные ценности. Даже столь сомнительные, как ваш нравственный облик. А впрочем, я предвижу, что здесь педагогика бесильна...

— Ваша педагогика? — сказал Костецкий.

— Мировая... Поздно уже. Начинать следует вот с таких... — Он неожиданно повернулся к братьям Ямщиковым и сменил тон. — Надо же как надымился! Аж белый весь!

Ваня Ямщиков больше не прикладывал платок к носу, но все же еще стоял с запрокинутым лицом, упирался затылком в стену. Кровь уже не шла, следы ее Венька стер влажным платком, но лицо братишки по-прежнему было бледным.

Мстислав Георгиевич шагнул к Ване. Венька в ту минуту стоял от брата в двух шагах. Всех восьмиклассников Поп-физик уже более или менее знал и понимал, конечно, что у Веньки Редактора ничего общего с курильщиками быть не может. И, не взглянув на него, Мстислав Георгиевич резко нагнулся над Ваней. Взял его за подбородок.

— Еле стоишь! Эх ведь насосался дряни! Еще есть? — Он длинные свои пальцы ловко сунул в карман Ваниных брюк.

Ваня дернулся, затылком крепко царапнул по стене, и в тот же миг Венька врезался между Поп-физиком и братишкой.

— Вы что! У него кровь, а вы!.. — Голос Веньки был не голос, а сплошной яростный звон. Лицо побелело — сильнее, чем у брата. Мстислава Георгиевича отшатнуло.

— Да ты что... Ямщиков!.. Я...

— У него кровь, а вы... — опять сказал Венька, часто дыша. Он заслонил Ваню. Егор успел заметить, что у того в ноздре опять набухла красная капля. Заметил, видно, это и Поп-физик. Сказал, пряча смущение:

— Что, по-твоему, это я ему нос разбил?

— А нечего в чужие карманы лазить, — тонко отчеканил Редактор. — У себя шарьте, а у него права не имеете.

— Ну, ты... — Мстислав Георгиевич шевельнул желваками. — Соображаешь, с кем говоришь? И что говоришь...

— Между прочим, он за брата заступается, — неожиданно сказал с подоконника Егор. Мстислав Георгиевич оглянулся:

— Ну и что? Значит, можно позволять хамство?

— А обшаривать малышей — это, конечно, не хамство, — заметил в пространство Костецкий. Поп-физик повернулся к нему.

— А вас с какой стороны это задевает?

— Просто фиксирую обстоятельство. — Костецкий опять тонко улыбнулся. — Мировая педагогика дала сбой. Перед лицом двух братьев.

Кто-то из малышей осторожно хихикнул. Поп-физик медленно спросил:

— Знаете, Костецкий, о чем я мечтаю?

— Разумеется, знаю. О светлом июньском дне, когда мы встретимся на выпускном экзамене. Вот тогда-то...

— Нет, о более позднем дне, — перебил Поп-физик. — Когда вы с аттестатом, и возможно даже с медалью, покинете родную школу и мы сможем встретиться где-нибудь... так сказать, на равных. Тогда я смогу без особого риска для своей должности дать вам оплеуху. В крайнем случае заплачусь пятнадцатью сутками. Удовольствие стоит того...

Стало очень тихо. Костецкий опустил голову, сбил с рукава чешуйку пепла и сказал совсем негромко:

— Вы ждете от меня примитивного ответа. В том смысле, что неизвестно еще, кто кого, не правда ли?.. Нет, оставим это для другого раза. Как и дискуссию о нравственном облике. Дело-то не во мне. Дело в таких, как

он... — Костецкий кивнул на Ваню. — Им, беднягам, сколько еще страдать из-за вашей «педагогике»...

Он обошел Поп-физика и с приятелями двинулся к двери.

— Платок... — сказал Венька. Костецкий махнул рукой.

Грянул звонок. Поп-физик вздрогнул, деловито посмотрел на часы и, не глядя по сторонам, тоже быстро вышел.

Умчалась мелкота. Венька еще раз вытер Ване нос, взял его за плечо и повел к двери. Не оглянувшись на Егора.

То, что Редактор даже не посмотрел на него, Егора неожиданно раздосадовало. Как-никак он, Гошка Петров, за Веньку только что заступился. Пусть случайно, мельком, но все-таки. А тот ни ухом, ни глазом не повел... Мимолетное сочувствие к братьям Ямщиковым разом угасло, и Егор в опустевшем туалете начал думать о Редакторе с привычной ленивой неприязнью.

Венька Ямщиков был из тех беспомощных шизиков, которые всегда скребут на свой хребет. Классная Роза обозвала его однажды на собрании донкихотом, но это по глупости. Дон Кихот был все-таки в доспехах, с мечом и копьём. Где-то наполучает шишек, а где-то и другим их наставит. К тому же в те давние времена простительно было верить во всякие принципы и справедливость. А сейчас, когда всем ясно, что надо писать в сочинениях и как надо жить на самом деле, Венькины поступки даже смеха не вызывали. Только недоумение.

Прошлой весной, например, когда Копчик со своими корешами (не из «таверны») вышел на небольшой промысел у цирковых касс и начал трясти мощну двум послушным первоклассникам, Венька Ямщиков встрял между ними. Ну, если бы еще драться начал (сдуру-то можно и так) или грозить чем-нибудь, а то глянул вот такими глазами и тонким голосом спрашивает:

— Ребята! Да вы что, разве вы не люди?

Это Копчик потом в «таверне» рассказывал: «Ну, мы его пнули два раза, потом ушли. Я малость перетрухнул: думаю, вдруг чокнутый, опасный какой-нибудь... Кошак, вы его там в школе врачу не показывали?»

Насчет врача один раз и Розушка высказалась, не стерпела:

— Тебе, Ямщиков, честное слово, лечиться надо! Ну нельзя же быть таким... вне времени и пространства!

Это прошлой зимой было, когда Венька на классном часе поднял крик, что в школе нарушаются законы: мол, совсем недавно заведующий облоно говорил по телевизору, что нельзя собирать с ребят деньги на ремонт школ, а здесь опять — сдавайте по три рубля!

Роза Анатольевна в сердцах выдала фразу, что говорить-то легко, а пусть этот заведующий лучше денег даст.

— А он сказал, что полтора миллиона отпущено!

— Да? — взвилась Классная Роза. — А рабочие тоже отпущены? Пусть он за эти полтора миллиона маляров наймет! По безналичному-то расчету! Спроси вот его отца, во что он, этот ремонт, обходится! — Она кивнула на Егора.

Отец Егора Виктор Романович Петров был начальником экспериментального цеха на «Электроне» и теперь этот цех расширял и перестраивал. И заодно помогал школе в ремонтных делах.

Егор сказал назло Розушке:

— Ну, он не вашими трешками с малярами расплачивается...

— А все-таки интересно, куда эти полтора миллиона деваются... — начал Венька, но Классная Роза хлопнула журналом о стол.

— Хватит! Надоели твои трехрублевые принципы! Не хочешь — не сдавай!

— И не буду, — сказал Венька. И не сдал. Один из всех. Розушка только зубами скрежетнула.

А было время, когда она Ямщикова привечала. Считала «среди тех, на кого я могу положиться». В четвертом классе, в пятом, даже в шестом. До случая с газетой, когда Редактор получил свое прозвище.

В начале февраля, на классном часе, Светка Бутакова подняла вопрос: что это за коллектив, если нет своей боевой пионерской стенгазеты? Ну и проголосовали, чтобы выпускать. И Ямщикова выбрали редактором. Он тогда еще такой был: хоть куда выбирай — не сумеет отказаться. Надо сказать, Венька и не пробовал отказываться. Лишь попросил:

— Только заметки пишите.

Все радостно заорали, что, конечно, будут писать.

Неделю Венька ходил, спрашивал материалы для газеты. На него, понятно, смотрели как на психа. Только Бутакова написала про то, что третья четверть — самая

решающая, да Юрка Громов — про свою черепаху по имени Луноход.

Газета вышла. На обычную стенгазету она была не похожа. Напоминала страницу из настоящего, в типографии отпечатанного яркого еженедельника. Заголовок «Наша новости» (с большой двойной буквой Н) Венька сделал черной тушью, заметки отстучал на машинке (и где только взял?). В первом материале, напечатанном одними заглавными буквами, редактор Ямщиков обращался к читателям и сообщал, что это их газета и пусть пишут в нее про все интересное и важное, а не такую тяготищу, как Бутакова. Так и было отпечатано: ТЯГОТИЩУ.

Заметка о черепахе Луноходе была помещена под рубрикой «Кошкин дом», и читателям предлагалось рассказывать о всех своих любимых домашних животных. Была высказана интересная мысль, что по всем этим кошкам, болонкам, догам, канарейкам, хомякам и черепахам можно судить о характере их хозяев.

Маленький верткий Юрка Громов подлетел к Веньке:

— Значит, я — как черепаха?!

— Ты — как космонавт, — утешил Венька. — Ведь она — Луноход...

Статью Бутаковой Ямщиков тоже поместил, но мало того что обругал в начале, он к ней и послесловие написал: надо бы старосте класса не твердить общие слова, от которых ко сну тянет, а делами помогать успеваемости. Почему, например, Бутакова не вступилась за Громова? И дальше шла заметка под броским черным заголовком: «За что двойка?»

Громов опоздал на геометрию после физкультуры, потому что у него кто-то спрятал в раздевалке ботинок. Пока нашел на шкафу, пока шнурки распутал... Влетел в класс, а математичка Лизавета Яковлевна — в крик: «Я сколько раз говорила, что пора прекратить ваше разгильдяйство? Садись, «два» за этот урок!»

Вот Венька и спрашивал: за что «два»? За ботинки, за шнурки? И если бы даже Громов опоздал по своей вине, это же не значит, что он теорему не выучил!

Были еще заметки под рубрикой «Чудеса со всего света» — Венька насобиравал их из разных газет, но пересказал своими словами. В отдельном столбце — поздравления всем, кто родился на этой неделе (редактор выражал надежду, что именинники станут активными корреспондентами газеты «НН»). Еще какая-то мелочь была и даже фо-

тография с субботника по расчистке снега. Но говорили все главным образом про заметку о двойке. И ждали: чем кончится?

Кончилось, конечно, криком на классном часе. Бутакова ревела и требовала, чтобы ее переизбрали из классных старост. Роза Анатольевна настаивала, чтобы Ямщиков все обдумал и сам — сам! — снял газету. Да, она оформлена неплохо, есть интересные задумки, но Ямщиков должен понять, что бывает критика, а бывает критиканство — пустое и безответственное. Да! Елизавета Яковлевна учит школьников математике тридцать лет, и вдруг какой-то шестиклассник указывает ей, когда и как оценивать знания!..

— Не знания, — сказал Венька.

Когда Классная Роза волновалась или утверждала какие-то истины, то крепко нажимала на букву «и». Получалось «йи».

— Ка-кое ты йимеешь пра-во су-дить? Елизавета Яковлевна — одна из лучших педагогов. Ее уважают все учителя йи ученики.

Ямщиков сказал, что пускай тогда извинится перед Грозовым и зачеркнет двойку. Если хочет, чтобы и дальше ее уважали все.

— Ты соображаешь, чего требуешь?

— Справедливости, — сказал Венька. В классе захихикали.

— А кто ты такой, чтобы ее требовать? Чтобы критиковать? У тебя откуда такое право? Ты его заслужил? Ты сначала посмотри на себя! Лучше бы от троек йизбавился да прическу привел в порядок!

Троек у Веньки было всего ничего, и на прическу его Розушка раньше внимания не обращала. Венька с первого класса был такой: светлые волосы торчали сосульками во все стороны, сколько ни приглаживай. Может, из-за этих сосулук тонкошей и круглоголовый Венька выглядел особенно нескладным и беззащитным. Егору он казался похожим на Кролика из фильма про Винни-Пуха. Только Кролик — маленький, а Венька — довольно длинный и без очков (хотя большие круглые очки были бы очень подходящими для его редакторской физиономии).

Венька спросил:

— А если тройки, если прическа не гладкая — критиковать никого нельзя?

— По крайней мере, надо знать рамки! На взрослых замахиваться вам рано.

— Вы же сами говорили про самостоятельность и принципиальность, — негромко сказал Венька.

— Ну... и в чем ты видишь противоречие?

— Несправедливая же двойка...

— Иин-те-ресно... Сам Громов помалкивает, значит, несправедливости не усматривает. А ты, видите ли...

— Громов просто не знает, что делать. А я редактор...

— Дорогой мой! Даже взрослым редакторам указывают их место, если они позволяют себе лишнее и переходят границы дозволенного. А ты... Запомни: чтобы кого-то критиковать, надо самому быть образцом. Понял?

Ямщиков сказал неожиданно кротко:

— Я понял вашу мысль.

— Вот и хорошо... Значит, снимешь газету?

— Я-то что? Меня класс выбирал, пускай и решают все...

Девчонки, жалевшие Бутакову, завопили, чтобы снять. Парни заорали: оставить. Не столько ради Ямщикова, сколько назло Розушке и девчонкам.

Роза Анатольевна нашла мудрый выход:

— Ладно. Пусть сегодня висит, а потом уберем. А то, не дай Бог, увидит Елизавета Яковлевна... А ты, Ямщиков, когда говоришь: «Я — редактор», не забывай, что газета — лицо класса. Значит, должна освещать все, что положено. Скоро День Советской Армии, а у тебя об этом ни строчки.

— Он же еще через неделю, — возразил Венька.

— А ты что? Через неделю еще хочешь газету выпустить?

— А как же, — сказал Венька.

...Второй номер «Наших новостей» вышел через три дня. Опять была в нем всякая мелочь, репортаж про сбор металлолома, рассказ о пуделе Нинки Ордынской, а нижнюю часть листа занимала «Сказка о границе и пограничнике». В ней повествовалось, как молодой пограничник **стоял** на посту и увидел нарушителя, который лез через **контрольную** полосу. Схватился было пограничник за **автомат**, но вдруг подумал: «А имею ли я право? Ведь нарушитель — **пожилой человек**, солидный». Он вспомнил, как его всегда учили, что нельзя критиковать старших и вмешиваться в их дела. Еще когда он был совсем маленький и ехал с бабушкой в трамвае, заметил он, как жулик залез в сумку к тетеньке. Он (будущий пограничник) закричал: «Держите вора!» И получил шлепок от бабушки, которая сказала: «Он взрослый дяденька, а ты сопляк.

Какое ты имеешь право так нехорошо его называть?» Потом этот мальчик учился в школе и заступился за другого мальчика, которому учительница ни за что вляпала «пару». И мальчика поставили в угол: «Прежде чем критиковать, посмотри на себя...» И теперь пограничник размышлял: «Конечно, нарушитель неправ, что лезет через границу. Но сам-то я хорош ли? Вчера старшина дал мне два наряда за плохо почищенные сапоги. Кроме того, я неважно подтягиваюсь на турнике и один раз даже чуть не ушел в самоволку на свидание. Не перейду ли я границу дозволенного, если сейчас скомандую: «Стой, руки вверх»? И пока он так думал, нарушитель углубился в чашу...

Максим Шитиков — самый хладнокровный человек в классе, — прочитавши «Сказку», пророчески сказал:

— Ну все, Редактор. Хана тебе...

Классная Роза на сей раз была печально-сдержанна.

— Ну что же. До чего договорился Ямщиков, ясно всем. Советского учителя он уже сравнивает с жуликом в трамвае йи даже со шпионом.

— Я?! — изумился Венька. — Да при чем тут...

— Нет уж, теперь помолчи.... А ты подумал, как твоя «Сказка» выглядит в газете перед Днем Советской Армии? Какие там можно усмотреть намеки?!

— Да это же не праздничный номер! К празднику я еще...

Роза Анатольевна долго смотрела на Ямщикова. Как на безнадежного больного. Потом сообщила:

— «Еще» можешь выпускать дома, если у тебя такой журналистский зуд. А я не хочу йиз-за тебя получать выговоры.

И полетел Венечка из редакторов. Но Редактором остался до нынешней поры.

В седьмом классе он стал посдержанней. Осторожнее как-то. Правда, случалось и тогда, что высказывался на собраниях и лез в споры (как, например, с «трехрублевой историей»), но не так часто. Или понял, что всерьез все равно никто его не слушает (погогочут, и дело с концом), или просто малость поуменел. Однако вот сегодня ума не проявил, сцепился с Поп-физиком, хотя знает, что заступиться некому. Мстислав тут же накапает Розе, а у той один разговор: «Йи после этого ты собираешься в девятый класс?» А Венька-то как раз собирается...

...Егор вдруг понял, что почему-то слишком долго думает о Ямщикове. С чего вдруг? Что ему Редактор? Жи-

нут они каждый по-своему, как бы в разных пространствах, и друг для друга — что есть, что нет...

Была от этих мыслей одна только польза: время прошло незаметно, второй урок подходил к концу. Егор прыгнул с подоконника. Что-то круглое, твердое попало ему под башмак. Егор пнул. Отлетел, завертелся у плинтуса иптечный пузырек с натянутой соской. Это была примитивная брызгалка — кто-то из малышей потерял. Егор хмыкнул, поднял. Игрушка, конечно, не для восьмиклассников, но со скуки чего не сделаешь (а скука-то опять ох какая).

Егор стержнем шариковой ручки проковырял в соске дырку пошире — чтобы не брызги летели, а била струйка. Наполнил пузырек под краном. Поставил брызгалку во внутренний карман пиджака. Зевнул и пошел на первый этаж в спортивную раздевалку. Дверь в спортзал была открыта, оттуда доносилось: «... а потом я напишу докладную директору...» Ох, Господи, тоска, да и только.

Егор забрал свою сумку и опять отправился на второй этаж, к литкабинету: третьим уроком была литература. Характеристика образа Чацкого и чтение наизусть его монолога. «Карету мне, карету!..» Катился бы кула подальше на своей карете, не пудрил людям мозги. Но Классная Роза будет закатывать глаза: «Постарайтесь проникнуться глубиной трагедии этого умного, но ненужного дворянского обществу человека, понять искренний гражданский пафос Грибоедова, с которым он... Громов! У тебя есть совесть? Что вы там выясняете с Суходольской?»

Интересно, как это можно «проникнуться глубиной»? Литератор... «Искренний пафос». А сама в это время, небось, думает: успеет ли после урока в ЦУМ, в очередь за фээргевскими сапожками... Ох, скука-а...

Рассыпчато грянул звонок. Разверзлись двери. Егор отошел к стенке, чтобы не завертело потоком. Он оказался у того же окна, где сидел час назад. Напротив второго «В». Первый поток схлынул, второклассники выходили довольно спокойно. Им-то спешить некуда, все уроки сидят в одном классе, завтракают тоже там — еду им как в ресторан приносят дежурные...

Среди второклассников Егор увидел недавнего знакомого. Изгнанника. Даже фамилия вспомнилась: «...кто-то хочет вслед за Стрельцовым?» И разговор: «Брысь!» — «Сам брысь!» Ах ты, инфузория...

Видимо, огорчения Стрельцова кончились, был он сей-

час беззаботен и спокоен. Весело потянулся, глянул по сторонам. Увидел Егора. Егор зевнул:

— Иди-ка сюда, мой хороший...

Второклассник Стрельцов безбоязненно подошел.

— Ты что же... — Егор придал голосу отеческую строгость. — Помнишь, как ты со мной разговаривал? Разве можно грубить старшим, а?

Стрельцов, кажется, перетрухнул. Замигал. И, как всегда, при виде чужой робости и покорности на душу Егору (Кошаку!) упала теплая капля удовольствия.

— Нехорошо, — вздохнул Егор. — Такой маленький, а уже... И с урока выгнали... Придется наказать. Ну-ка нагни головку.

Двумя пальцами он уперся в лохматое темя Стрельцова, голова у того послушно опустилась. Егор увидел беззащитную пацанью шейку с желобком, покрытым пушистыми волосками, усмехнулся, достал брызгалку, направил в этот желобок тонкую крученую струйку... и обмер от тугого удара в поддых! Полетел на пол, трахнулся плечом о батарею. Этот малявка Стрельцов коротко и сильно врезал ему головой!

Брызгалка отлетела. Несколько секунд Егор бестолково сидел на полу и слышал тонкие крики, топот, чей-то свист. Потом слегка отпустило, он вскочил. Мальчишек-второклассников было уже много, они стояли полуколыцком, и лица их были злые и бесстрашные. Происходило небывалое. Соплякам было наплевать, что перед ними восьмиклассник Петров, Кошак, с которым считают за разумное не связываться и большие парни. Точнее, второклассники этого просто не знали. Они, видимо, знали другое — простой закон «не трогай наших».

Егор мгновенно осознал свой позор и бессилие. Сто мышат загрызут любого кота, особенно если мышата пылают праведным гневом. Эти пылали. И что-то орал («Тебя трогали, да?! Чего лезешь, жердина! Щас еще получишь!»), надвигались. Егор понял, что сейчас случится: один или двое бросятся ему под ноги, он потеряет равновесие, остальные навалятся сверху. Возмездие свершится на виду у всех. И потом что? Ловить каждого мышонка в отдельности? Караулить и лупить? А они снова вместе... Звать на помощь «таверну»: помогите, второклассники бьют? А сейчас как быть? Они же вот-вот... А он и дыхнуть толком не может...

Избавление появилось из дверей второго «Б» — их вы-

сокая красивая учительница с утомленным, но решительным лицом.

— Что опять за гвалт? Что происходит?

И Егор, давясь яростью и болью (и чувствуя унижение и ненависть себя за это), закричал:

— Вы! Распустили тут своих!.. Бандитов! Пройти нельзя!

Второклассники заорали в ответ. Их наставница не возмущалась криком Егора, цыкнула на своих:

— Ти-хо! Что за свалку затеяли? Это опять Стрельцов?!

— Чего опять я?! — взъелся Стрельцов. А Ванька Ямщикон, уже не бледный, а красный от злости, ткнул пальцем в Егора:

— Он сам! Кто его трогал?

— Ти-хо! Кто сам? Матери Стрельцова я буду звонить на работу!

— Но, Анастасия Леонидовна! Ребята же не виноваты, вы просто не знаете!.. — это ввинтился в общий шум новый голос. Отвратительно знакомый голос старшего Ямщикова. Значит, Редактор прибежал навестить ненаглядного Ванечку. Неужели он все видел? Видел, гад...

— Петров, ну ты чего? Ведь ты же правда сам полез! Вот... — Он подобрал у плитуса брызгалку, поднял на ладони. Его глаза жаждали справедливости, и была в них дурацкая надежда, что Гошка-Петенька сам восстановит истину.

— С-скотина, — выдохнул Егор.

Венькины глаза сузились. Все-таки это был уже не тот Ямщиков, что в прежние годы.

— Вляпался, а теперь бочку катишь на маленьких?

На лице учительницы сменилось выражение. Брови сломались, поползли вверх.

— Ах, это Петро-ов! Тот самый... Наверно, думаешь, что если папа занимает посты, тебе можно все...

Егор на нее не смотрел. Смотрел на Веньку. Тот не опускал глаз. Улыбался.

— Ну ладно, редакторская крыса, — отчетливо сказал Егор, и боль под ребрами убавилась. — Быть тебе живым-здоровым сегодня только до последнего звонка. Помни, детка...

Повернулся Егор и пошел. Вернее, не Егор уже, не Гошка-Петенька, а только взвинченный напружиненный Кошак. Тот, что не прощает обид. Жизнь обрела смысл. Были теперь планы и цель. Наплевать на уроки, Роза

покричит и умолкнет. Главное сейчас — застать дома Копчика (хорошо, что он со второй смены).

К счастью, гардеробная была не заперта. Кошак прорвался мимо вопящей технички Шуры, которая знала одну задачу: никого не пускать к вешалкам до конца уроков. Рванул с крюка куртку. Выскочил на улицу, забыв смести кроссовки на сапоги...

Эвакуатор

По дороге от вокзала Михаил держал Мартышонка за руку. А Димка шел сам по себе, рядом. Когда миновали вокзальную площадь и вышли на улицу Кирова, Мартышонок бежал. Сделал он это с умом, четко, ничего не скажешь. До последнего момента притворялся он раскисшим, послушным и будто даже заболевшим, потом потерся щекой о рукав шинели, поднял на Михаила печальную обезьянью мордашку и тихо попросил:

— Дядя Миша, купите мороженку, а?

Михаил (раззява, шляпа, глупее последнего салаги) размяк от неожиданной этой доверчивости и ласки, шагнул к киоску, ослабил пальцы... Мартышонок выдернул руку, сиганул через газон к отходившему от остановки автобусу. И все. Привет...

И как назло — ни одной машины, чтобы остановить, выдохнуть водителю: «Друг, выручай», догнать автобус на маршруте... Да и на каком маршруте? Даже номер не успел заметить. И растворился в городе с миллионом жителей Антон Мартюшов, тысяча девятьсот семьдесят второго года рождения, учетно-статистическая карточка четыре тысячи триста один, ученик четвертого класса «В» школы номер тридцать три, четыре побега из дома, участие в краже, курит, знаком со спиртными напитками, направляется после очередного побега по месту жительства...

В первый миг Михаил машинально вцепился в Димкино плечо — чтобы и этот не сбежал! Потом беспомощно плюнул. Представил в полном объеме все хлопоты и последствия. Сразу же заболела спина. И он сделал самое нелепое, что можно было сделать в таком положении. Оттолкнул Димку.

— Беги и ты... Свиньи вы все-таки...

Димка покачнулся, отступил на шаг. Круглое неумытое лицо его было по-настоящему испуганным.

— Михаил Юрьевич, а что теперь вам будет?

— А черт его знает, — искренне сказал Михаил. — Скорее всего, попрут со службы, причин уже хватает...

Он вдруг почувствовал такую усталость, что вполне серьезно захотелось лечь в бурую, увядшую траву газона, подложить под щеку фуражку и натянуть на голову шинель... Погонят — ну и плевать. Сам уже не раз думал о рапорте: «Докладаваю, что, убедившись в полной бесперспективности такого рода деятельности и не считая себя...» Ну и тэ дэ. Но в любом случае сперва надо найти Мартышонка. А где? Как?

— Что будет мне, — сказал Михаил заморгавшему Димке, — это, в конце концов, не ваше цыплячье дело. А вот что будет с ним? Опять пойдет по подвалам и подворотням? Сгинет ведь в конце концов!

Он говорил, даже кричал, так, будто от Димки что-то зависело. А тот вдруг сказал, бледнея и запинаясь:

— Михаил Юрьевич... Я знаю, где он будет прятаться.

— Что?!

Димка быстро кивнул и опять поднял глаза. Симпатичный такой пацаненок, замурзанный, но на лице еще нет печати бродяжничества и детприемниковской жизни.

— Только вы меня в интернат не сдавайте, ладно?

— Ты что, меня купить хочешь, что ли? — сумрачно сказал Михаил.

— Но вы же обещали!

— Вот именно. Еще в Среднекамске договорились: не в интернат, а к матери. Что ты снова трепыхаешься?

Димкины глаза вдруг налились слезами — будто жидкие стеклышки в них вставили.

— А вы... ей тоже скажите... Чтобы в интернат больше не отдавала, хорошо?.. А то я все равно опять убегу! Хоть куда!

Михаил сдержанно проговорил:

— Ты мне что-то про Мартышонка сказать хотел...

Или направал?

Димка мазнул по глазам пыльным рукавом куртки.

— Поодемете...

Сейл серый дождик, шинель постепенно набухала. Они ждали автобус довольно долго. Потом долго ехали. После этого Димка вел Михаила по улицам с облупленными старинными особняками и кривыми домишками. По пустырям с ломким, сухим бурьяном.

Пролезли в щель забора (Михаил еле протиснулся, цепляясь пуговицами и сумкой). Забор огораживал фун-

дамент снесенного дома. Густо стоял увядший репейник — жесткий и прочный.

— Он, наверно, там, в бункере, — прошептал Димка уже без прежней уверенности.

— Где?

— Ну, так называется...

Продрались сквозь заросли. Димка показал гнилую деревянную крышку люка. Видимо, вход в погреб. Заметно было, что крышку недавно поднимали. Михаил поднял ее опять, отбросил. Пахнуло земляным воздухом, холодной гнилью. Фонарик у Михаила всегда был при себе. Михаил посветил в квадратную черноту.

— Антошка... Мартюшов...

Никто не ответил, конечно, а Димка за спиной робко сказал:

— Спускаться надо... Там закоулки всякие.

Михаил и сам понимал, что надо спускаться. А лестницы не было... Нет, была! Фонарик высветил ее внизу. Хлипкая, косо сбитая из брусьев лесенка валялась на полу. Может, кто-то убрал ее нарочно? Чтобы отрезать путь погоне?

Михаил взял в зубы кольцо фонарика, спустил в люк ноги, потом повис на руках. Прыгнул. Охнул от боли в спине. Протянул вверх ладони, сказал Димке «давай», принял его на руки.

Посветил вокруг. В длинном «бункере» были заметны следы обитания: стол из бочки и досок, драная тахта, полуразобранный мопед... На столе как-то насмешливо выделялась среди убогости изящная стеклянная пепельница с раздавленным окурком.

Дальний угол отгорожен был развалившимся шкафом и грудой фанерных ящиков. Кто-то еле слышно трепыхался в этом укрытии.

— Мартышонок, — негромко позвал Михаил. — Вылазь давай, хватит уж... Ну?

Существо за ящиками будто умерло. Тихо чертыхаясь и постанывая (спина болела все сильнее), Михаил отшвырнул пару ящиков, перелез через остальные.

Мартышонок скорчился в земляном углу, закрылся локтем от света фонарика.

— Тошка... Ну ты чего, глупый? — сказал Михаил, давя в себе жалость и раздражение. — Ладно, вставай. Пошли...

Мартышонок, не открывая лица, вдруг заколотил твердыми каблуками по гнилым половицам.

— Не пойду! Гнида! Мент паршивый! Уходи, гадина!

— А ну встань! — рявкнул Михаил. — Иди сюда!

— Сам иди в... — и маленький Мартышонок увесисто выдал Михаилу, куда тот должен идти. — Не подходи, убью! Кусать буду!!

— Пу-ка, удержи... — Михаил отдал фонарик испуганно дышавшему Димке. Шагнул к Тошке, поднял его за шиворот. Мартышонок пискнул, обвис, как тряпичная кукла. Михаил расстегнул на нем куртку, задрал на животе длинный свитер, рывком выдернул из петель Тошкин ремешок. Отодвинул Мартышонка к стене.

Расстегни штаны.

Рожица Мартышонка собралась в горсть и будто совсем исчезла, остались только два блестящих испуганных глаза и черный округлившийся рот. И, не закрывая рта, одним горловым дыханием Тошка сипло сказал:

— Не надо... Я больше не буду. — Он съежился, держись за живот. — Дядя Миша, не надо. Не буду...

— Михаил Юрьевич, не надо, — плачуще сказал Димка.

Ненавидя себя, и всю свою жизнь, и этого скорченного Мартышонка, и даваясь от жалости к нему, и презирая себя за все, что происходит, Михаил выговорил:

— Дур-рак. Что ты не будешь? Бегать не будешь? Это уж точно... Расстегивай и срезай пуговицы... Он отыскал в кармане и бросил Мартышонку складной ножик. — Ну! Живо!

Потом он взял у Димки фонарик и светил Мартышонку, пока тот суетливо отпиливал тупым лезвием пуговицы на брюшной застежке. И, когда дело было сделано, угрюмо произнес:

— Теперь бегай. В расстегнутых портках далеко не удерешь... Да пуговицы-то положи в карман, пришьешь потом, чуело...

Мартышонок то ли посапывал, то ли всхлипывал тихонько. Михаилу было тошно. «Пуговичный» способ он использовал первый раз. Раньше ругался и спорил, когда слышал о таких случаях от других эвакуаторов. А ему говорили, что поживешь, мол, поработаешь, и романтические твои перышки пообмакиваются в грязь и полиняют. Романтических перышек никогда у Михаила не было, знал, на что идет, с самого начала. И умел с пацанами как-то ладить, даже с самыми отпетыми. А сегодня — вот...

То, что он сделал с Мартышонком, делать было нельзя. И не делать нельзя, потому что, оказавшись наверху, Мартышонок рванет снова. И даже не погонишься за

ним: боль в позвоночнике такая, что ступать-то приходится со скрежетом зубным.

— Дима, поставь лестницу.

Димка поставил. Потом поднял с пола вязаную шапку Мартышонка, протянул ему.

— Сука, — тихо сказал Мартышонок. — Предатель...

Морщась, Михаил велел:

— Без разговоров. Марш наверх оба...

Теперь Мартышонок шел впереди. Прижимал руки к животу и время от времени крутил поясницей, чтобы задержать сползавшие штаны. Михаил молчал, переглатывая боль, старался держать спину прямо и осторожно. Слегка опирался на Димкино плечо. Димка, глядя в затылок Мартышонку, тихо проговорил:

— А он сказал, что я предатель... Ну и пусть.

Михаил не ответил.

— А если бы я не показал, с ним еще хуже было бы, — жалобно объяснил Димка. — Он бы тогда со шпаной... Там, в бункере, знаете... какое бывает...

— Знаю... — вздохнул Михаил.

— А если бы я не показал... тогда я для вас был бы предатель...

— Ты все правильно сделал, Дим... Ты откуда знаешь про этот бункер?

— От ребят. Мы с мамой раньше здесь недалеко жили... А мы к маме сейчас пойдем?

История Димки Еремина была проста и по сравнению с другими не очень драматична. По крайней мере пока. Мать с отцом развелись, отец уехал якобы в Среднекамск, мать через год вышла замуж, а Димку, чтобы не мозолил глаза новому супругу, определила в интернат. Уговорами и обещаниями всяких благ и наград. Димка был домашний мальчик, не ездивший до той поры даже в пионерский лагерь. Интернатские нравы его ужаснули. Несколько раз он сбежал домой, умолял мать забрать его. Та, видимо, ласками, просьбами потерпеть, а то и криком водворяла его обратно. Димка не выдержал и в середине октября махнул к отцу. В Среднекамске, по известному Димке адресу, отца не оказалось. И наивное дитя отправилось в ближайшее отделение милиции, чтобы узнать: по какому адресу живет его папа, гражданин такой-то... Там Димку и взяли.

Детприемник, видимо, показался Димке похожим на интернат, но еще тоскливее и страшнее. Димка провел

здесь пять дней. И был все время съезженный, затюканный другими, молчаливый и с мокрыми глазами. Даже на вопросы добрейшей Агафьи Антоновны почти не отвечал. Только к Михаилу, когда тот появлялся, сразу льнул: видно, чуял в нем настоящего защитника. И все твердил: не в интернат, а к маме...

И сейчас, на углу Ленинградской и бульвара Красногвардейцев, он испуганно дернулся:

— А мы куда? К маме — в ту сторону! — На его лице блеснула дождевая морось.

— Сначала с Мартышонком решим, — терпеливо сказал Михаил.

Матери Мартышонка дома не оказалось. Пожилая растрепанная соседка запричитала над Тошкой и выразила полную готовность принять его на свое попечение, пока мать не вернется. Вернуться та должна была к вечеру и не откуда-нибудь, а из Среднекамска, в который отправилась за сыном, ибо знала по опыту, что искать его следует там. Михаил проклял бестолковость своего начальства, которое не учло возможность такого варианта, поблагодарил соседку, но оставить Мартышонка отказался. По инструкции полагалось беглого несовершеннолетнего сдать с рук на руки «родителям или заменяющим их лицам».

В тех случаях, когда родителей или «заменяющих лиц» на месте не оказывалось, инструкция теряла свою четкость. Вроде бы полагалось «при отсутствии других возможностей и в порядке исключения» передать беглеца школе. Но начальством такой вариант не одобрялся, это по-первых. А во-вторых, школы обычно ссылались на свои инструкции (или наоборот, на отсутствие таковых), и все зависело от того, кто окажется упрямее: сотрудник милиции или директор школы.

Сейчас, однако, «отсутствие других возможностей» было иным, и Михаил сказал Мартышонку:

— Делать нечего, пошли к любимым наставникам...

В школе все пошло по знакомому сценарию. Оказалось, конечно, что директрисы «сегодня не будет, она на семинаре». Отыскали завуча первой смены. Та воззрилась на Мартышонка, будто на разносчика сибирской язвы, и сказала давно знакомую Михаилу фразу — первую, необдуманную и потому самую искреннюю:

— А зачем он нам нужен?

И Михаил, привыкший к таким беседам, особенно в

интернатах, ответил тоже привычно (за что не раз на него писали жалобы):

— Он вам, разумеется, не нужен. Как и вы ему. Но он же не виноват, что судьба дала ему вас в наставники.

— А мы чем виноваты? — сразу взъелась та. Была она еще молодая, но уже замотанная и злая.

— Тем, что пошли в педвуз, — вздохнул Михаил.

— Рассуждать все хороши! Вас бы на наше место!

— А вас на мое. Вот я бы посмотрел, — невозмутимо сказал Михаил. И, чувствуя, как от него пахнет мокрым казенным сукном и раскисшими сапогами, сел к столу. Достал из сумки заранее заполненную бумагу — «Акт о передаче несовершеннолетнего...»

— Простите, ваша фамилия?

— Это еще зачем? — вскинулась завуч.

— Положено. Кому я передаю мальчика...

— Да никого я не приму! С какой стати? Чтобы он опять терроризировал всю школу?

Мартышонок, который терроризировал всю школу, тихо повозился на стуле в углу директорского кабинета.

— Тогда что вы предлагаете? — невыразительным голосом спросил Михаил.

— Да ничего! Почему вы его нам-то привели?

— А куда? К себе домой?

— К нему домой! У него, в конце концов, мать есть!

— Есть. Но она сейчас в отъезде и вернется вечером. Это во-первых. Да и в бега он ударился на этот раз не от матери, а из школы, с продленки. От воспитательницы Маргариты Витальевны Бабкиной. Логично было бы ей и получить мальчика обратно.

— Бабкина будет на работе после часу!

— Вот видите. Куда же я его дену, кроме вас?

— Да куда хотите. В спецшколу!

Михаил скучно и подробно разъяснил:

— Чтобы отправить ребенка в спецшколу, нужно постановление комиссии, нужна путевка. Вы это знаете не хуже меня. Я таких вопросов не решаю. Я — эвакуатор. Точнее — дежурный по режиму детского приемника-распределителя, так сейчас эта должность называется. Но старое название — «эвакуатор» — ближе к сути... Моя задача — доставить несовершеннолетнего и оформить соответствующие документы. Первое я сделал. Второе должен сделать вместе с вами... А вы даже назвать себя не хотите.

— Я все равно ничего не буду подписывать! Я просто не имею права, на это директор есть!

— Директора как раз нет. В этом случае завуч его замещает.

— Кто вам сказал?!

Михаил медленно посмотрел на нее, пожал плечами, подвинул к себе акт и нацелился ручкой в графу «Примечания».

— Что вы собираетесь писать? — нервно спросила завуч.

— Отношение. Об отказе должностного лица принять ребенка в подведомственное ему учреждение. Вы подпишете, что отказались, и будем считать...

— Я же сказала: ничего не подпишу!

— Вот тут вы ошибаетесь, — веско произнес Михаил. — Одно из двух подписать придется: или прием, или отказ. Вы говорите с сотрудником органов внутренних дел. Я действую по инструкции, так что попрошу и вас...

Он увидел, что завуч не только злится, но и напугана.

— Но я же правда не могу! Товарищ... э... милиционер. У вас инструкция, а мне... Клавдия Геннадьевна мне голову оторвет, если я без нее...

— Видите ли... э... так и не знаю вашего имени-отчества...

— Тамара Павловна! — тоном проклятия сообщила она.

— Благодарю вас... — Спина у Михаила почти перестала болеть, и он чувствовал себя гораздо лучше. — Видите ли, Тамара Павловна, судьба вашей головы, при всей ее важности, за пределами интересов МВД. Это сфера Минпроса. Меня же (уж простите великодушно) больше беспокоит моя голова. Именно на нее посыплются громы и молнии, если я...

— Давайте так, — перебила его Тамара Павловна. — Подписывать акты я действительно не уполномочена. Я завучем первый год и в этом не разбираюсь... Я заберу у вас этого...

— Э... Мартюшова, — сказал Михаил.

— Да. Отправлю его пока на уроки, потом сдам на продленку, Бабкина сообщит матери... А Клавдия Геннадьевна обещала сегодня все же заскочить в школу. К двум часам...

— Это что, я полдня должен ждать ее?

— Но у вас же есть второй... подопечный. Пока отведите его... — Она увидела, что Михаил заколебался, и добавила решительно: — Это все, что я могу предложить.

Ни правила, ни здравый смысл принимать предложение завуча не позволяли. А что, если эта Клавдия Геннадьевна окажется дамой юридически подкованной, учует зыбкость инструкции и усмотрит в действиях эвакуатора больше нахальства, чем законности? Или еще хуже — Мартышонок рванет до ее прихода?.. Но, с другой стороны, куда он рванет, если почти спит на стуле? Тряская ночь в вагоне и недавние приключения измотали его. Да и куртку запрут в раздевалке.

— Тошка, иди сюда, — сказал Михаил.

Мартышонок встряхнулся, помигал, послушно подошел. Штаны уже не съезжали: пуговиц, конечно, не было, но ремешок Михаил, когда вошли в школу, отдал. Мартышонок потупился, переступил.

— Тошка, будь человеком, а? — тихо попросил Михаил. Это можно было понимать по-всякому: и «будь человеком вообще», и «будь человеком, не драпай, по крайней мере пока не подписан акт». Мартышонок посопел и вдруг полупшепотом отозвался:

— Дядя Миша, вы на меня не злитесь, ладно?

— Тошка, за что? — не сказал, а охнул Михаил.

— Ну... как я ругался в бункере.

— Да ладно... Ты тоже не сердись. За пуговицы...

Михаил виновато вздохнул ему в голову. Виновато — потому что еще несколько секунд назад думал о дурацких бумагах, а не о самом Мартышонке. Он посмотрел на Тамару Павловну.

— Вы его сначала не на уроки, а в буфет отведите, он со вчера не ел...

Мартышонок расслабленно вздыхал. Нет, сегодня он не сбежит, подумал Михаил. И еще несколько дней. И может, месяц. Но в конце концов убежит опять. Потому что ничего его не держит дома, в заплеванной комнате, где всегда полно чужих мужиков, и в этой показательной школе, где он прыщ, болячка и несчастье педагогов. Что ему делать в школе, если, дотянув до четвертого класса, он читает по складам и просто-напросто не в силах сладить с учебниками? А воздухом бродячей жизни, прокуренного «бункера», гулких ночных электричек, компаний с вожаками-уголовниками и детприемников он пропитан уже насквозь. Только там он чувствует себя своим... И где найти для Мартышонка школу, дом? Михаил не знал. И не знал тех, кто знает. Тысячи толстых книг, написанные педагогами за многие века, в случае с Мартышонком годились только для... Впрочем, ладно...

Михаил встал.

— К двум часам я вернусь... Со вторым подопечным, надеюсь, не будет хлопот: я веду его не в школу, а к маме. — Он сказал это не столько для Тамары Павловны, сколько для Димки, который томился на стуле в ожидании своей судьбы.

Димкина мать была бухгалтершей в каком-то управлении «Облстройремпром и т. д.». Ее вызвали в пыльный, пахнувший старым картоном вестибюль. Лет тридцати пяти, в меру крашенная, в меру интеллигентная и достаточно встревоженная историей с сыном, Димкина мама коротко попрочитала над ним («Что же ты надумал это, и? Глухой ты мой! Сколько людей на ноги поднял...»). Потом, сдержанно всхлипывая, поблагодарила Михаила, расписалась где надо. Вопросительно глянула мокрыми глазами:

— А... что еще?

— Еще — вот что... Дима, посиди там в уголке, я скажу маме, что обещал... Софья Аркадьевна, послушайте внимательно и постарайтесь поверить мне. Дима не сможет жить в интернате. Есть ребята, которые просто не могут без матери, без дома, он такой... Знаете, я с пацанами имею дело каждый день, разбираться кое в чем научился... Пожалейте парня. Иначе он будет убегать снова и снова, пока не кончится это бедой...

— Господи, да я же понимаю!.. Я думала...

— Простите, — перебил Михаил. — Я вмешиваюсь в личную жизнь, но работа такая. Постарайтесь доказать вашему мужу, что...

— Ой, да что вы! И доказывать не надо! Он сам говорил: зачем в интернат, втроем проживем! Это я сама думала, как лучше. А Димочка... Дима, ты же сам согласился!.. Говорили, интернат самый лучший, с художественным уклоном.

— Какой бы интернат ни был, уклон один, — сиротский, — сумрачно сказал Михаил. — Не все привыкают...

— Ой, да пусть! Пусть в старую школу идет. Я ведь не знала... — Она жалобно улыбнулась. — Думала, чтобы всем хорошо было. Квартира-то однокомнатная. Маленький появится — тогда как?.. Да ладно, шкафом отгородимся! Лишь бы всем хорошо...

...Димка догнал Михаила на улице. Выдохнул со счастливой слезинкой:

— Михаил Юрьевич... Можно, я вам письмо напишу?

— Напиши, Дим, если захочешь... — Михаил подержал его за плечо. — Ну, будь здоров. Живи...

Димка не напишет письмо. Пишут несчастливые: из спецшкол, спецучилищ, колоний. Пишут в тоскливом желании хоть капельки тепла, в надежде на ответное человеческое слово. А зачем станет человек писать, если у него все благополучно? Пускай это благополучие в закутке за шкафом, в тесной комнате, где неутомимо орет новорожденный брат или сестра, где нелюбимый отчим, где сердится замотанная работой, стирками, бессонницей, возней с младенцем мать. Все равно — дом. Все равно — мама...

В два часа директорша в школе не появилась. Не оказалось и Тамары Павловны. Чертыхаясь, Михаил пошел искать ее по этажам. На него, конечно, оглядывались. А Михаил вдруг с испугом понял, что не помнит завуча в лицо. Вернее, все встречные учительницы были одинаковыми. С одинаковым выражением раздраженной бдительности, утомления и печального сознания, что до конца дней осуждены нести свой школьный крест. «Да что они, маски надели, что ли!» — яростно думал Михаил, хотя понимал, что виноват сам: внимательней надо быть. И нельзя было так глупо доверяться этой Тамаре Павловне.

Раза три Михаилу казалось, что он встретил ее. Но, натолкнувшись на удивленно-неузнающий взгляд, Михаил не решался заговорить. Наконец молоденькая вожатая сообщила, что Тамару Павловну срочно (конечно же — срочно!) вызвали в районо.

К счастью, он отыскал воспитательницу с продленки. Маргарита Витальевна Бабкина оказалась не такой, как Михаил ожидал. Это была негромкая, непохожая на учительниц в коридорах женщина. Она, вздыхая, сказала, что Антошка после обеда совсем раскис и теперь спит на диване в игровой комнате («Набегался, глупыш. Горе с ними и вам, и нам, верно?»). К матери она отведет его сама. Пуговицы пришила... Михаил покраснел, но от сердца отлегло.

У школьной бетонной изгороди его догнал тошенький длинношей парнишка с виновато-упрямыми глазами. Класа из восьмого.

— Товарищ старший сержант, простите... Вы в какую сторону идете?

Михаил не удивился, на улице бывает всякое.

— На главпочтамт. А что?

— Можно, я пойду рядом с вами до троллейбусной остановки?

— Ну... как говорится, сочту за честь. А в чем дело?

— Да... пасутся тут эти... Счеты им свести охота... — Он мотнул вязаной шапчонкой в сторону. У мокрых тополей топтались четверо. С отсутствующим видом. И кто они такие, и зачем топчутся, Михаил опытным глазом определил в один миг.

— Может, вы думаете, что я трус? — вдруг сказал мальчишка тонко и с вызовом. — Если бы они, как люди, если бы один на один... А то... будто волки, стаей.

— А давай-ка разберемся с этими «волками», — предложил Михаил. Парнишка усмехнулся:

— Как вы разберетесь? Они скажут: стоим, никого не трогаем, ничего не знаем. Как вы докажете?

Он был прав, и Михаил вздохнул:

— Ладно, пойдем.

Целый квартал «волчья» четверка шла за Михаилом и его спутником. Потом один — симпатичный такой, золотисто-кудратый — что-то сказал, другие тихонько загоготали, и все свернули в переулок. Михаил спросил:

— Из-за чего они к тебе пристают?

Парнишка нехотя сказал:

— Один там отыграться хочет. Сегодня с чего-то полез к малышам в школе, а я там рядом оказался. Ну, заспорили...

— Сегодня ты от них уйдешь, а завтра как? — сказал Михаил. — Ты тогда... как-то в классе подымай вопрос, что ли... — Он понимал, что, скорее всего, говорит беспомощную глупость.

— Ага... — отозвался мальчишка. — Все, конечно, возмутятся и дружно подымутся. Против Кошака... Ой, вон троллейбус идет! Спасибо, я побежал...

На почтамте Михаил наменял пятнадцатиков и пошел в будку междугородного телефона. Хоть здесь повезло: очереди нет и автомат исправный. Михаил набрал среднекамский номер.

— Это НИИхим? Будьте добры Варвару Сергеевну...

Он представил, как мать — маленькая, быстрая, седая, в куцем своем халатике — спешит к телефону в закутке лаборатории. «Миша, это ты? Ты откуда? Как ты себя чувствуешь?»

«Это я... Я паршиво себя чувствую, мама. Да нет, при чем тут спина. Пусть бы она горела адским пламенем,

каждый позвонок! Только бы знать, что делать. Как им всем помочь — и Мартышонку, и Вовке Сапогову, которого я на той неделе рыдающего сдал в спецшколу, и Волчку, которого отвез туда же (и он не плакал, весело гримасничал, а глаза были, как у собаки с камнем на шее). Как уберечь от волчьей жестокости парнишку с беспомощно-дерзким взглядом, который заступился за малышей? Как вытравить эту жестокость из тех четверых и еще из тысяч таких же?.. Mamочка, что могу сделать я, эвакуатор детского приемника-распределителя, замотанный командировками, оглушенный сотнями историй о раздавленных ребячьих судьбах?.. Я понимаю, что ты вне себя от тревоги за меня. Помню, как ты однажды сказала: «Хорошо, что тебе не дают пистолета...» Нет, мама, не бойся, я не лейтенант Головачев... Но скажи, откуда это ползучее гадство, это сиротство при живых матерях, эти серые чиновничьи рожи, это «зачем он нам нужен?»

— Что? Сейчас подойдет? Спасибо, подожду, конечно...

«Мама, ты считаешь, что я сам виноват? Не надо было соваться в эту работу?.. Я знаю, ты до сих пор думаешь, что это во мне детство выиграло, такая горько-романтическая идея: мстить всякой нечисти за брата.... Все было гораздо сложнее. Я спасал Остров. Потерять его — значит потерять себя, тут и пистолета не надо...»

— Мама? Да, я... Все в порядке, мама. Просто застрял здесь до завтра. Из-за бумаг. Ты же знаешь этих волокитчиков... Ну что спина, спина, как у юного мустанга... У отца была? На той неделе выпишут? Ну вот, а ты боялась!.. Нет, не в гостинице. Наверно, я к Александру Яковлевичу попрошусь, где-нибудь приткнет на раскладушке... Господи, ну к Ревскому же. Разве ты его не помнишь?.. Целый год уже здесь, зам. главного режиссера на студии. Передам, конечно... Ма-а, письма нет? Ну, это само собой, это от пацанов... От Юрки? Отлично. А... Да ничего я специально не жду, мам... Да ничего я не вбил в голову... Что? Я же говорю, здоров, как лошадь. Ну, правда же, мама...

Планета Находка

Прошлой осенью на школьном дворе, желтом от солнца и листьев, старшеклассники гоняли по блестящим лужам большой глобус. Как футбольный мяч. Во время субботника они нашли этот ободранный шар без подстав-

ки в сарае со списанным имуществом и теперь вот развлекались. С глобуса летели мокрые лоскутки бумаги с напечатанными городами, реками и островами. Под бумагой голубела голая пластмасса... Кто-то поддал твердый шар так, что он улетел за площадку. И попал в руки первокласснику — тот стоял у тополя и без улыбки смотрел на игру.

— Ну ты, существо, пинай скорее, — сказали ему. Но первоклассник смотрел из-за глобуса испуганными глазами и не двигался. К нему подошли, один хлопнул по глобусу.

— Ну-ка, давай, чего вцепился...

Первоклассник прижал большущий шар к забрызганной курточке. Сказал тихо и очень старательно:

— Ребята... Товарищи. Можно, я вам свой мяч принесу? Он совсем новенький. Насовсем принесу... А это же...

Ему хотелось объяснить, что пинать такую замечательную вещь... нет, даже не вещь, а... ну, это же все равно, что беспомощного щенка ногами лупить. Потому что глобус — он тоже как бы живой. Смотрите, сколько на нем всего — вся Земля...

Но ничего такого первоклассник Ваня Ямщиков не сказал. Слов таких у него не нашлось. Просто он очень жалел глобус. И не хотел расставаться с прилетевшим в руки сокровищем. Он только еще раз пообещал новый мячик и смотрел умоляюще.

Разгоряченным футболистам было не до переживаний малявки. Один уже решительно взялся за шар. Но высокий гибкий старшеклассник (тот, что потом дал в туалете платок) вдруг усмехнулся:

— Стоп, джентльмены. Нам с этим шариком — на полчаса эмоций, а человек... Смотрите, у него в глазах идея светится.

Неизвестно, что светилось в глазах у Вани, но ребята, посмеиваясь, отошли. И Ваня притащил глобус в дом.

Венька задумчиво сказал:

— Вещь, конечно, хорошая, только что с ней делать? Вон, половина всех Европ и Америк облезла.

— Можно самим нарисовать.

— Вообще-то можно... Загрунтовать пентафталем, а потом расписать маслом! — зажегся Венька. — Не обязательно в точности, а как старинный глобус! На них ведь тоже много было неточно, зато интересно: корабли, чудовища...

Ваня радостно затанцевал:

— Мне тоже дашь порисовать, вместе будем!

Бумагу, что висела ключьями, отодрали. В мастерской у отца отыскивали банку с голубой пентафталевой эмалью, но ее хватило только на половину шара. Второе полушарие Ванька покрыл черным нитролаком. Границу сделал точно по экватору.

Ваня смотрел на это дело без одобрения.

— Как по черному-то рисовать? Ни земли, ни океанов черных не бывает.

— Зато космос бывает. Одну половину сделаем земную, а другую — небесную. Как на звездном глобусе. Хорошо я придумал?

— Н-не знаю, — усомнился Ваня. — Как это... Останется всего пол-Земли, что ли? А какую половину тогда рисовать? Нашу или американскую?

— А ни ту ни другую! Мы всякие материки и острова придумаем сами! Давай, Ванька! Будто незнакомая планета! А?

— Н-не знаю... — Фантазии до младшего брата доходили медленнее, чем разгорались в Ваньке. Ваня любил ко всем делам подходить вдумчиво. — Пускай незнакомая планета, ладно... Только все равно ведь половина.

— Но это на глобусе половина! А считаться будет, что целая! Зато со своим небом! Свой собственный космос... Мы там разных созвездий напридумываем!

— И путешествовать можно будет по ним? На звездолете!

— Я об этом и говорю!

К вечеру грунтовка высохла, отец дал кисточки и тюбики с масляными красками (он их покупал весной, чтобы расписать декорации в детском саду, который тогда заканчивал Ваня).

— А вместо разбавителя можно керосин взять.

Мама сказала, что теперь хоть из дома беги. Но не убежала, только форточки открыла.

Расписывали планету дней десять. Среди голубого океана появились Большой Материк со Скалистым берегом, Малый материк с Оранжевыми песками, Поясом Пальмовых лесов и Тигриной пустошью, два архипелага — Полярный и Ласковый. И всякие острова, заливы, моря и горные хребты.

А на черной половине загорелись ярко-желтые звезды разных размеров. Их соединяли между собой голубоватые линии рисунков — контуры созвездий. Придумывали

созвездия втроем: Венька, Ваня и отец. И появились на звездном полушарии «Штурвал», «Сивка-Бурка», «Фрегат», «Мушкетеры», «Рыба-пила», «Улыбка акулы», «Чудовище Хох» (его Венька и Ваня сочинили, когда поздно вечером болтали, лежа в постелях). А еще Венька придумал систему созвездий «Ро» — «Робин Гуд», «Робинзон», «Роберт Грант» (это который сын капитана Гранта).

Придумывать названия — это было такое увлекательное занятие, что и мама иногда давала советы. По ее просьбе в космосе появилась «Черная дыра, куда провалилась новая шапка» (Ваня потерял ее на экскурсии в лесу), «Туманность невыученных уроков» и созвездие «Авоська», чтобы братья не забывали ходить за хлебом и картошкой.

Один раз никак не могли придумать имя внутреннему морю, что на Малом материке по соседству с Оранжевыми песками. Наконец папа сказал:

— А давайте украдем какое-нибудь название у Луны. Например, море Кризисов.

— Финансовых... — вставила мама. Потому что отец накануне уговорил ее наконец, что надо купить в «Электротоварах» деревообделочный станок. За сто шестьдесят рублей. И теперь мама то и дело намекала на денежные затруднения.

Зато станочек был что надо! И токарный, и сверлильный, и строгальный! И дисковая пила на нем! Отец просто светился весь, Венька с Ваней тоже радовались. Маме отец сказал:

— Наконец стеллажи новые поставлю и братьям-разбойникам двухэтажную кровать сооружу — как в кубрике. Сколько жилплощади выгадаем, а!.. И для этой матушки-планеты подставку сделаю, будет, как в музее.

И сделал! Даже с кольцами — экватором и меридианом.

Поставили глобус у окна, рядом с книжными полками: верти, разглядывай, разрисовывай дальше и придумывай разные истории про удивительную планету Находка.

Это название пришло в голову Веньке. Ваня сперва заспорил: не бывает таких планет.

— Но она же к тебе правда как находка попала!

— Ну и что? Это все-таки не кошелек, а планета!

— А при чем тут кошелек! Находкой на Дальнем Востоке целый порт называется! Сейчас атлас принесу...

Ваня посмотрел в атлас и — куда деваться-то — согласился. А потом название стало нравиться. Другого и не надо...

Ваня пришел домой после четвертого урока. Про неприятность с носом он уже забыл, настроение было прекрасное.

Мама на обед еще не приходила. Отец в отпуске, но дома его тоже не оказалось — наверно, в мастерской. Венька в школе — у них пять уроков да еще лекция. Ваня разделся-разулся, крутнул между делом Находку, брякнулся на коленки и вытянул из-под двухэтажной кровати фанерный лист со своей «шиштемой».

По-правильному это сооружение называлось «система», но два года назад Ваня малость шепелявил. Отмахиваясь от любопытных, говорил: «Шиштемую строю». Так и повелось.

Строить «шиштемую» Ваня начал, когда ему в руки попал моторчик от электроконструктора. Шестилетний Ванюшка с восторгом убедился, что, если моторчик соединить с батарейкой, получается восхитительное жужжание и верчение. А если к моторчику приделать шестеренку от будильника, а к ней что-нибудь еще...

И Ваня вдохновенно конструировал. Через неделю на фанерном листе, прикрепленные пластилином, вертелись уже несколько моторчиков. От них тянулись провода, резиновые шкивы, цепочки. Крутились катушки от ниток и зубчатые колесики, звенели рычажки и болты. Мигали лампочки.

Отец посмотрел на это дело, осторожно поскреб подбородок.

— Оно, конечно, здорово... Только какая задача у всей этой штуки, для чего она?

— Ну, такая шиштемка. Когда все двигается...

— Да, но... Как-то если без конкретного применения, то...

— Па-а... — Венька осторожно отвел отца за рукав. — Ну, ему просто интересно, когда все это будто оживает. Друг за друга цепляется, связывается одно с другим... Он вроде как стихи сочиняет, только не из слов, а из всяких железок...

Венька разгадал брата. Ваня в своей «шиштемке» был не столько техником, сколько поэтом. И творил железно-электрическую поэму уже третий год. Иногда, правда, забывал о ней на недели и даже на месяцы, но потом раз-

ворачивал с новой страстью. Порой «шиштема» разрасталась далеко за границы фанерной площадки. Тогда на подоконнике вертелись жестяные пропеллеры, на полке дрыгал ручками-ножками сделанный из конструктора человечек, на столе подпрыгивали среди пружинок раскрашенные теннисные шарики. Мигало, звенело и жужжало по всем углам.

Батарейного питания давно не хватало, отец помог приспособить старый трансформатор от детской железной дороги...

Когда появилась планета Находка, решили, что «шиштема» там будет энергетической станцией (вот и цель для нее нашлась!). И заводом будет, и космодромом заодно. Ничего, что она не на шаре, а на полу. Считается, что все равно на планете.

Энергии Находке требовалось много, населения там хватало. На материках и больших островах разрастались города, в горах строились посадочные площадки для космических кораблей...

По дороге из школы Ваня подобрал интересную железячку: колесико с рычажком и зубчиками. Крутнешь — рычажок подскакивает. Можно приспособить, чтобы он стучал по кнопке у красной лампочки номер семь, тогда она будет сигнализировать, как маяк на космодроме... Но надо на рычаг добавить тяжести — гайку или грузило пристроить... Ваня пошел советоваться с отцом.

Мастерская отца находилась в сарайчике, во дворе. Такие сарайчики-кладовки были у всех двенадцати семей, что жили в старом деревянном доме на улице Гоголя. Но кладовка Ямщиковых была особенная: отец утеплил ее, провел свет и радио, поставил верстак, наковальню, развесил по стенам инструменты. Притащил старый диван. Хочешь — работай, хочешь — отдыхай.

Но отдыхал отец редко. Все время что-нибудь мастерил. На заводе он был наладчиком прессового оборудования, готовил штампы для всяких сложных деталей, а дома он — и столяр, и резчик, и электрик, и токарь, и художник: стены в ребячьей комнате разрисовывал всякими лесными чудесами, кораблями в синем море и старинными самолетами среди белых облаков. Хорошо, что места много, — стены высокие, не как в новых домах...

Сейчас в мастерской гудел станок: отец вытачивал из круглых чурок большущие шахматы. Сделать их попросила молоденькая заведующая соседним детским клубом.

Готовые короли, ферзи и пешки стояли вдоль стены, на узкой полке, — пока все одинаковые, деревянно-белые.

Несмотря на шум станка, отец сразу учуял Ванино присутствие. Выключил мотор.

— Здравствуйте, Иван Аркадьич. Отучились?

— Ага. А Венька еще в школе, у них писатель выступает.

— Везет людям. Я, сколько живу на свете, ни одного писателя наяву не видел.

У отца в темных волосах и на небритом подбородке светилась древесная пыль.

— Вот опять тебе от мамы попадет, что не побрился утром и сразу к станку, — заметил Ваня.

— А я до обеда еще побреюсь, мама сегодня позже придет... Что это у тебя за штука?

— Стукалка с колесом...

За несколько минут они подобрали и насадили на «стукалку» латунную муфточку. Ваня сказал, что теперь рычажок брякает как надо, — хоть на машинке им печатай.

— Папа, а ты починил машинку? Нам надо газету делать!

— Починить-то починил, только вы не колотите по ней, как по наковальне. Она уже вся рассыпается, лет-то ей, наверно, не меньше ста... Иди поешь, там на плите суп и котлеты.

— Я Веника подожду...

Веньке не удалось перехитрить Кошака и компанию. Непонятно каким образом, но они его опередили. Встретили на пустыре позади цирка.

Цирк был новый, необычный. Над куполом поднимались решетчатые полукруглые фермы, получался как бы еще один купол — очень высокий и кружевной. Говорили, что цирков с такой конструкцией всего два на свете: второй где-то в Бразилии. Не всем эта иноземная архитектура была по душе, «Вечерка» обругала архитекторов: мол, не вьжется такое сооружение со старым городским центром... Но Веньке цирк нравился. Будто опустился на площадь среди привычных тополей, старинных особняков и деревянных кварталов корабль звездных пришельцев.

Сейчас изогнутые конструкции сквозного купола казались черными, над ними летели серые тучки, а в разрывах светилось веселое желтое небо. Но полюбоваться Венька не успел. Из репейных зарослей вышли Кошак,

Копчик и еще двое — незнакомые и одинаково невзрачные, с гаденькими глазами. И как разнюхали, что у Веньки здесь любимая тропинка? Или выследили?

Тоскливо стало Веньке. И не так страшно, как унижительно: оттого, что глупо попался и что ничего теперь не сделать.

Кошак вытаращил дурацки-невинные глаза и заулыбался.

— Товарищ Редактор! Здравсте! А где же дядя милиционер?

Венька молчал.

Не склонный к юмору Копчик выдал:

— Подцепил прохожего мента и думал, что мы такие глупые.

— Чего надо? — безнадежно сказал Венька.

— Себя спросил бы, чего надо, когда выступал в школе, — уже без улыбки отозвался Кошак и сплюнул. — Я тебе обещал.

— До чего храбрые четверо на одного, — сказал Венька и подумал: «Хоть бы уж скорее начинали, сволочи».

— Завтра пойдешь, скажешь той дуре у второклассников, что выступал не по делу и все наврал, — лениво распорядился Кошак. — Тогда сильно бить не будем, а так, для назидания.

— Че-го? — искренне изумился Венька.

— Непонятливый, — проговорил Копчик и съежил смуглую мордочку. — Я еще тогда, у кассы, это заметил.

— Шкура ты, — сказал Венька, чтобы не тянуть волюнку. Копчик рванулся и ткнул его костлявым кулаком в зубы. Венька в ответ неумело замахал руками, потому что опыта в драках не было. Двое схватили его за локти, Копчик еще раз ударил в лицо. Венька успел мотнуть головой, попало скользко по щеке. Он попытался трахнуть Копчика ногой, тот отскочил, Венька отчаянно дернулся, освободил руки, но ему сделали подножку. И когда он оказался ничком в жухлой траве, несколько раз всадили ботинком под ребра. Венька всхлипнул и вскочил.

И опять оказался один против четырех. И они ухмылялись. А лилово-серые облака и желтое небо над ажурным куполом были такие красивые, что Веньку поразило это дикое несоответствие: эта вот красота, а под ней Кошак со своими подонками. И страха не осталось уже совсем. Он прикинул расстояние до Кошака. А Кошак улыбался. И вдруг перестал улыбаться, сказал:

— Ладно, стоп. Копчик, стоп, я говорю... Беги, Редактор, пока мы хорошие.

Венька сплюнул кровь с разбитой губы.

— Сам беги, скотина.

К нему прыгнули, развернули, дали такого пинка, что он врезался головой в упругие сухие репейники. А когда вскочил, враги уже уходили. Венька беспомощно швырнул им вслед комок глины, недобросил... и вдруг ослабел. От вновь навалившегося страха и от радости, что все уже кончилось. Ему было противно чувствовать эту радость, но что поделаешь...

Венька подобрал сумку, умылся у колонки на краю пустыря и пришел домой с раздутой губой и темным пятном на скуле.

И разумеется, именно в этот момент пришла на обед мама. И разумеется, ахнула:

— Кто тебя так?

Отец подошел, Ваня тоже. Ему бы, олуху, помалкивать, а он сразу:

— Это Кошак! Он сегодня на нашего Стрелка полез, а тот ему головой в поддых, а мы добавили... А он из-за этого на Веника! Я Стрелку скажу, мы завтра Кошаку еще дадим...

— А Кошак опять подкараулит Веню, — сердито сказала мама. — Так и будут побоища каждый день? Кто это такой — Кошак?

— Да Гошка Петров из их класса!

— Сын Петрова, что ли? — удивился отец. — Ай да наследничек. Он что... способен на такое?

— Кошак на все способен, — устало объяснил Венька. Теперь уже было все равно. — А не он, так его дружки.

— Подожди-ка... — начал отец, но мама перебила:

— Вот такие-то сыночки и творят что хотят. Сегодня как раз родительское собрание, вот я там все и выложу, пусть школа принимает меры...

Венька поморщился. Отец сказал:

— Ну, а в какое положение ты нашего-то парня поставишь? Будут говорить: пожаловался, мамаша пришла заступаться...

— Тогда иди ты, заступись, — неласково сказала мама. — Ты часто на родительские собрания ходишь?

— Да подожди ты, я ведь не об этом... У ребят в коллективе свои законы, а ты...

— Не знаю я таких законов! Чтобы всякая шпана людям проходу не давала... Все равно я скажу.

— Да не надо, мам... — опять поморщился Венька.

— Что значит не надо? Родители не должны за сына заступаться? Вырастешь — ты будешь заступаться за нас, если придется. А пока — мы за тебя. И нечего тут стесняться, глупо это...

— Да я не про то, — вздохнул Венька. — Просто бесполезно...

— Это почему же?

— Ну, скажет Роза Кошаку: «Петров, неужели ты не понимаешь, что это идет вразрез с нашими нравственными принципами? Я вынуждена сообщить директору»... А у директорши сто хлопот. Она сейчас очередную борьбу с курением и с сержками у девочек ведет...

— И что, значит, не может на одного хулигана повлиять?

— Повлияет. Вызовет и мило побеседует.

— Почему это «мило»?

— А как еще? Это на другого могут орать: «Характеристика!.. В девятый не сунешься!» А у Петеньки папа — шеф, папа — шишка. Да Петенька и сам не дурак, выкрутится... И будет с Копчиком и другими дружками ржать потом...

— Вот чего я не пойму, — сказал отец. — У него дружки. А за тебя-то в классе некому заступиться, что ли? Ведь если видят, что такое подлое дело...

— Ох, папа, — усмехнулся Венька.

— Что «ох, папа»?

— Ну ты, в самом деле... Кто будет с Кошаком связываться? «Подлое дело»... Личное дело, скажут, обыкновенное...

— Не верю я... Что тогда у вас за ребята?

— Нормальные ребята. Как везде. Современные...

— А если нормальные... Вот я помню, когда учился, тоже всякое бывало. И шпана привязывалась. Но мы как-то держались друг за дружку. Пускай не весь класс разом, но компании товарищеские подымались, если что... Был такой Федька Романчик, местный атаман, так мы ему даже ультиматум отправили: если, мол, еще к кому-то полезешь, гляди... Помню, в нашем штабе на сеновале это послание на машинке печатали...

— На какой машинке? На нашей? — ввинтился Ваня. Голову сунул отцу под мышку, завертел шейей. Отец взъерошил ему макушку.

— Ну, на какой же еще...

— Разве она тогда уже была?

— Я же тысячу раз про это рассказывал... Ты меня, Иван, с мысли не сбивай. Я про ультиматум Федьке Романчику говорю. Он тогда ничего, присмирел, зауважал...

— Штаб, ультиматум... — тихо сказал Венька. — Это какие годы-то были, папа... Вы тогда еще в тимуровцев играли.

— А сейчас как играют? — Отец отставил от себя Ваню.

— По-всякому... Кто на скрипке, кто в хоккей, кто в карты... А кто в активиста на собрании. А вообще-то играть сейчас не модно. Лучше шмотками хвастаться и кайф ловить...

— А девочки с шестого класса губы красят, — встала мама. — У нас на работе Анна Михайловна рассказывает: замучилась со своей Татьяной...

— Подождите-ка, товарищи, — насутился отец. — Я, конечно, человек отсталый, современных сложностей педагогики не понимаю. И передачи для родителей почти не смотрю... Но, по-моему, ребята — всегда ребята. И тимуровцев недавно по телевизору показывали. Сбор их какой-то...

— Па-а, эти тимуровцы с Кошаком драться не станут, — улыбнулся Венька. — Их ведь за это на слет в Артек не пошлют.

— А мы будем драться, — опять встрял Ваня. — Мы всегда все за одного в классе, даже за девчонок. Настюшка ругается, а мы все равно...

— Что за Настюшка! — сказала мама. — Анастасия Леонидовна...

— У вас еще примитивно-первобытный коллективизм, — вздохнул Венька. — Вот подрастете, поймете житейские мудрости...

— Мы и тогда будем.

— Ну и ладно, — согласился Венька. — Значит, вы уже новое поколение...

— Что-то не нравятся мне твои рассуждения, Вениамин Аркадьич, — сказал отец. — Давно это у тебя?

— Да уж порядком... Наверно, еще с той далекой поры, когда из редакторов поперли...

— Не уходить надо было, не хлопать гордо дверью, а спорить и доказывать...

— Спорил и доказывал...

— Значит, мало.

— Папа, ты в «Клубе путешественников» каменных идолов на острове Пасхи видел?.. Вот выйди на берег и

попробуй им что-то доказать. Они смотрят и улыбаются...

— Да что же, у вас в классе одни каменные идола? Что-то, братец, ты совсем... А может, ты сам окаменел малость?

— Может... — кивнул Венька. — Но газетой ты меня не упрекай. Если бы хоть один за меня тогда встал... А то все хихикали да смотрели, как мы с Классной Розой копыа ломаем...

— Вень, а мы хотели сегодня нашу газету выпустить, — напомнил Ваня. — А то давно уже не было свежего номера...

— Вы как ни рассуждайте, а на собрании я вопрос подниму, — решительно сообщила мама. Венька пожал плечами. Ваня опять дернул его за рубаху:

— Давай газету...

— Вечером, — сказал Венька. — Мне сейчас надо сочинение писать. «Сравнительная характеристика Молчалина и Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума».

— Трудно, наверно, — посочувствовал Ваня.

— Не трудно, а нудно. Все разжевано: что писать и какими словами.

— Еще мы в свое время про это писали, — сказал отец. — Видишь, Веник, ничего в жизни не меняется. А ты говоришь...

— Меняется, пап... Молчалиных стало больше.

— Тогда и напиши про это.

— Ну и напишу. Только ведь опять все хихикать будут...

Газета внешне была похожа на ту, что пробовал выпускать Венька в классе, «Наши новости». Даже сдвоенная буква «Н» такая же. Только «Новости Находки» печатали информацию со всех материков и островов Венькиной и Ваниной планеты. Репортажи с футбольных матчей между гномами Голубой пещеры (которые во время игры путались в бородах) и школьниками города Нью-Крокодайл с острова Каменных Шаров. Историю открытия подземных поселений неизвестной цивилизации. Рассказ о том, как вводили самоуправление в школе отсталого племени дайбери на острове Сердитых Кошек: завуч школы, награжденная за многолетнюю работу пальмовой ветвью для отмахивания от ядовитых розовых девятикрылов, провела специальное собрание. Она сообщила, что теперь сами ученики будут решать, кого из провинившихся школьников педагогический совет должен съедать накануне

праздника, посвященного местному божеству, покровителю знаний Бак-Луше...

Была еще в газете всякая информация из дальнего космоса (и из ближнего тоже), рассказы в картинках и просто рассказы, Ванины четверостишия о шенке и кораблике. Была повесть с продолжением о приключениях находкинского школьника по прозвищу Ноль-с-Плюсом (не из племени дайбери, а из цивилизованного города Норд-Булькало), попавшего на странную планету Земля и оказавшегося там в местной школе...

Номеров «НН» было больше тридцати. Венька стал выпускать их прошлой осенью, сразу, как появилась планета Находка. Раз в школе редакторская работа не пошла — пускай хоть здесь... По крайней мере, никто не мешает. Отдавшись журналистскому горению, Венька целыми вечерами стучал на дребезжащем «Ундервуде», расклеивал заметки и рассказы, тушью и акварелью разрисовывал заголовки, выписывал рубрики. А Ваня преданно помогал: и сочинять, и рисовать...

Но этой осенью газету застопорило. То ли домашних заданий у Веньки стало много, то ли пыл угас. Ваню это беспокоило.

— Вень, дописал сочинение? Ну, давай газету делать...

— Включил бы лучше свою «шиштемую»...

— Ну, Вень... Мы с лета не выпускали.

— Материала все равно нету...

— Сразу и придумаем! — Ваня поволок Веньку за рукав, усадил на нижнюю койку. Венька по инерции дурашливо завалился навзничь. Так и остался.

— У меня ничего не придумывается. Я на сочинении выдохся.

— А ты напрягись, чтобы это... вдохновение...

— Ну да! Оно только у писателей бывает, и то не всегда. У нас сегодня писатель выступал, он про это как раз говорил.

— Ну и пусть выступал, — не поддался Венька. — Он для нашей газеты все равно ничего не сочинит. Надо самим.

— Вот и давай.

— Сначала ты давай!.. Помнишь, ты про пустой город на острове Дзынь-Кап рассказывать начинал? Он почему пустой?

— Ну... — Венька наморщил лоб. — Его жители дзынь-капских джунглей построили... А потом...

— Какие жители? Остров же необитаемый!

— Нет, в джунглях есть там одно племя. Очень тихое и миролюбивое. Они расчищают поляны, разводят на них розовую капусту (прыгающие такие кочаны) и там живут... А однажды к ним забрел охотник из города Сан-Бубенец...

— Забрел на остров?

— Ну, потерпел крушение и выплыл, не придирайся... Он там стал жить и рассказывать дзынькапцам про разные страны и большие города. Им завидно стало, и они тоже решили построить город... Выбрали каменное плато, где джунглей поменьше, налепили из глины кирпичей, обожгли их на кострах и давай строить большие дома, дворец, башни, стены — все, как охотник рассказывал. Народу много было, люди они трудолюбивые, за три месяца управились... Днем работали, а ночевать уходили в свою деревню. А в последний день так умаялись, что остались ночевать в новых домах... Вот утром, раньше всех, одна девочка проснулась, вышла на балкон и видит: сколько домов кругом, этажи громоздятся, крыши, арки всякие, колокольни... И утреннее солнце это все освещает. В общем, красота удивительная. И тихо. Она и говорит: «Ох...» А со всех сторон ей в ответ: «Ох... ох... ох...» Она перепугалась, кинулась к взрослым, говорит: «Там злой дух завелся...» Взрослые вышли, поглядели, говорят: «Ах!» А отовсюду: «Ах... ах... ах...»

— Это эхо было?

— Конечно. Только дзынькапцы были еще нецивилизованные, суеверные. Ну и перепугались злых духов. У них там еще жрец был, страху нагнал: Духи, — говорит, — не хотят, чтобы мы меняли образ жизни, велют вернуться в джунгли... Жрецы, они всегда ведь против нового... Дзынькапцы и ушли из города. Навсегда... А охотника отправили с острова на пальмовом плоту, его потом пароход подобрал...

— И никого в том городе не осталось?

— Никого, конечно... Хотя нет. Осталось Эхо. Но оно ведь не может без людей. Вот и молчит. Все надеется, что придет кто-нибудь, ждет. Чтобы ожить и отозваться...

Личное дело

Мать Егора предпочитала беседовать со школьным начальством один на один и родительские собрания не посещала. Поэтому Егор узнал о возможных неприятно-

стях лишь на следующее утро. Красная Роза сообщила ему со смесью укоризны и сдержанного негодования:

— С причинами твоего вчерашнего прогула, Петров, я разберусь сама. Чуть позже. Но что касается твоей чудовищной выходки по отношению к Ямшикову, то здесь я бессильна. Его мать вчера сделала заявление при всех, и этот факт известен Клавдии Геннадьевне. Тебе придется объясниться с ней.

Егор глянул недоуменно и оскорбленно: что, мол, еще за новые напасти на меня? С уроков ушел, потому что голова разболелась. А что касается Редактора, то... Но Роза Анатольевна произнесла фразу о потере элементарных человеческих принципов у нынешнего поколения и заспешила в учительскую.

Венька Редактор ходил с болячкой на припухшей губе. Егор поглядывал на него с усмешкой: вот так, дорогой, получил, чего добивался. Редактор не отводил взгляда, но смотрел как бы сквозь Егора. Давал понять, что Кошак для него — пустое место. Недостойное никаких чувств и мыслей. Это, по правде говоря, раздражало Егора. «А я тебя, крысу бумажную, еще пожалел».

Даже себе не хотел Егор признаться, что дело было не в жалости, а в страхе. Когда сбитый с ног Редактор опять вскочил, отплеывая кровь, Егор интуитивно осознал, что предприятие безнадежное. Ощущения победы не будет. Такое ощущение бывает, когда кто-то делается испуганным и покорным. А этот идиотски упрямый хиляк, видимо, готов помереть за свою гордость. Отвечай еще за него... А самое главное, что пришлось бы увидеть: есть люди, умеющие не сдаваться до конца. Не то что некоторые...

Эту боязливую догадку Егор давил в себе, но она шевелилась, подлая. И до конца уроков Егор жил со стыдливым ощущением, что кто-то узнал про него очень тайное.

После пятого урока Бутакова закричала про какое-то литературное собрание, но Егор махнул к раздевалке. Однако дверь ее оказалась на замке, а техничка Шура заявила, что до конца шестого урока открывать не велено. Егор заорал, что одежда — его личная собственность и никто не имеет права прятать ее под замок. Подошла дежурная учительница.

— Ох, это опять Петров за права человека воюет...

— У нас пять уроков по расписанию! А всякие лек-

ции — это не учебная программа, я там сидеть не обязан!

— А что ты возмущаешься? Это ваша Роза Анатольевна распорядилась, а не я. С ней и выясняй.

Егор завелся и ринулся в литературный кабинет, чтобы с порога нарушить чинность мероприятия. Пусть немедленно открывают раздевалку! То кричат о самоуправлении и добровольности, а то шмотки под замок...

Дверь в кабинет была распахнута, Егор увидел, что народу — битком: восьмой «А» и восьмой «Б» сели вместе. Сидели тихо, слушали внимательно. Егор сразу сориентировался: крик его сейчас не поддержат, сочувствия не будет. Он вошел, сердито дыша. Подвинул на скамье у крайнего стола грузного Артема Карасева.

Классная Роза вещала, стоя у стола:

— ...для тех, кто не был на вчерашней встрече... Олег Валентинович пришел к писательской профессии не гладким путем. После окончания факультета журналистики он работал в разных газетах, жил на Севере, был геологом, рыбаком, строителем. Изъездил всю нашу страну, встречался со множеством интересных людей. Все это дало ему возможность создать книги, которые пользуются заслуженным успехом у читателей. В последнем номере журнала «Объ» вы можете прочитать его повесть о нелегкой работе сотрудников уголовного розыска. А в книжных магазинах недавно появилась книжка «Тайный звон металла». Это увлекательные очерки об истории Нижнеокского металлургического завода — старейшего предприятия нашего города. Кто еще не купил, советую поторопиться. Мы потом устроим обсуждение этой книги. Я думаю, всем нам интересна история нашего города, йи книга «Тайный звон металла»...

— «Тайны звонкого металла»... — с улыбкой сказал Олег Валентинович, стоявший рядом с Классной Розой.

— Ох, простите... Если я волнуюсь, то всегда...

— Ну что вы, что вы. Волноваться следует мне. Перед такой взъясательной аудиторией...

Впрочем, никакого волнения в нем не замечалось. Он поглядывал на сплюснутых за столами восьмиклассников с доброжелательной уверенностью. Сквозь большие модные очки. Это был рослый мужчина с пепельно-серой (может быть, седоватой) шевелюрой, с широкими плечами и выпуклым животиком под свитером домашней вязки. Его маленькая борода-лопатка торчала вперед с интеллигентной решительностью.

— Кто такой? — спросил Егор у сытно дышавшего Карасева.

— Писатель какой-то. Вчера еще выступал, да не кончил. Сегодня опять приперся.

— Какой писатель?

— А фиг его... Про Робинзона вчера рассказывал...

— Про какого Робинзона? Зачем?

— Ну, я-то чё?.. Про какого-то Робинзона Крузена...

Егор отвернулся. Карась был настолько туп, что не имело смысла его даже презирать.

Роза Анатольевна между тем еще раз выговорила «простите» — и с облегчением устремила взгляд в задние ряды:

— Чья там рука?.. Что тебе, Симакова?

Томная Симакова поднялась, качая запрещенными се-режками.

— Олег Валентинович, вот вы сказали, что переехали в наш город... А я думала, что все писатели живут в Москве.

— Симакова... — на всякий случай осудила ее Классная Роза. Олег Валентинович весело покивал:

— Да, это распространенное мнение. Но совершенно-совершенно несостоятельное. Я мог бы назвать много известных имен — тех литераторов, кто не стремится к столичному бытию и обитает в самых разных уголках страны... У меня все объясняется просто: я ведь родом из здешних мест, из Новотуринска, а к старости тянет обычно в родные края...

— Вам ли говорить о старости, — вставила Роза Анатольевна.

— Ну, все-таки... Правда, в самом Новотуринске литератору трудно, небольшой городок, а здесь — все, что нужно: известное в России издательство, киностудия, журнал... А главное — темы, темы! Нижнеокский завод дал мне массу материала. Да и встретили меня там прекрасно. Создали, как говорится, все условия для творческой работы, дали прекрасную квартиру... Вы люди уже взрослые и понимаете, что писательское вдохновение весьма прочно переплетено с житейскими проблемами. Тем более что для писателя квартира — это не только жилье, а прежде всего — рабочее место. Как цех для токаря или сталевара...

— А у вас большая семья? — пискнула с места похожая на пятиклассницу Любка Оршанская.

— Оршанская... Ох уж эти девочки. Их всегда волнуют подробности личной жизни знаменитостей.

— Да пожалуйста! Знаменитостью я себя не считаю, тайн из семейной жизни не делаю... Нас трое: жена — сотрудница научной библиотеки на Нижнеокском заводе и сын — ваш ровесник.

— Наверно, тоже будущий литератор? — Классная Роза выдавила любезно-доверительную улыбку. — Так сказать, наследник литературной славы...

— Н-не знаю, — помолчав, сказал Олег Валентинович. Серьезно так сказал. — Наследник, разумеется. Но славы или чего другого, трудно пока говорить... Существует мнение, что дети наследуют у отцов славу и подвиги. А ведь они всё наследуют — ошибки и слабости тоже... Поэтому надо стараться жить так, чтобы ошибок было меньше. Хотя бы ради детей... Об этом, кстати, я пытался сказать и в повести «Паруса «Надежды». В той, о которой мы говорили вчера...

— Да-да! — обрадовалась Роза Анатольевна. — Вы обещали почитать отрывки. Мы поэтому и собрались в таком вот... обилии.

Егор вспомнил замок на раздевалке и готов был уже встать и разъяснить причины «обилия». Тем более что самоуверенная бородка неизвестного литературного светила Егора весьма раздражала. Но оба класса заинтересованно притихли, и, пока Егор вычислял, стоит ли переть на скандал, момент оказался упущен. Олег Валентинович поднес к очкам большие листы:

— Я прочту вам начало. Буду очень благодарен, если вы потом нелицеприятно выскажете свое мнение. Уверяю вас, комплименты мне не нужны, нужна истина. Очень хочется знать, удались ли хоть в какой-то степени детали и дух той эпохи...

Возможно, Олегу Валентиновичу удались дух и детали эпохи. Но эпоха эта ни в малейшей степени Егора не интересовала. Не интересовали его и дела директора Морского кадетского корпуса, пожилого адмирала Крузенштерна («Робинзон Крузен!» О, Карась-рыба!). И пока этот адмирал неторопливо шествовал по коридору вверенного ему учебного заведения, Егор начал потихоньку размышлять о том, о сем. В частности, действительно ли Роза накапала директорше о вчерашнем деле с Редактором. Ничего, конечно, за это не будет, но сама возможность нудной беседы в директорском кабинете не радовала. Тем

более что все было напрасно: Редактор оказался прочнее, чем думалось.

Занятый раздраженно-кислыми мыслями, Егор встряхнулся, когда назвали его имя. Что такое?

Нет, не о нем это. Писатель читал о каком-то кадетике, которого тоже звали Егором... Не сумел другого имени отыскать для своего сопливого героя? Впрочем, наплевать... Но отвлекся Егор уже не мог. Фразы, произносимые выразительно и отчетливо, лезли в уши. И Егор уяснил, что его тезке, жившему в прошлом веке, грозила беда. Этому воспитаннику резервной роты за какую-то провинность велено было явиться в специальную комнату, где его ожидали розги. Ибо в те времена воспитательная работа не сводилась к разговорам в директорском кабинете.

Егор сидел неподвижно и равнодушно, однако в душе съезжился. Не от жалости к чахлому кадету, а от воспоминаний...

У кадета, кажется, все уладилось: адмирал пообещал заступничество. Но чувство незащитности и ожидание чего-то скверного не оставило Егора. И он даже не удивился, когда в открытой двери показался Мстислав Георгиевич — Поп-физик — и злорадно сказал в пространство:

— Прошу прощения у собравшихся, но восьмиклассника Егора Петрова требуют к директору!

...Предчувствие не обмануло. В кабинете Клавдии Геннадьевны, сбоку от ее стола, сидел милиционер в погонах старшего сержанта. Худой, светлорусый, с темным, будто припорошенным коричневой пылью лицом, с резко-синими глазами.

Тот самый мент, вчерашний попутчик Редактора! Значит, не случайный попутчик-то... Влип, Кошачок.

А впрочем, что ему сделают? И пусть сперва докажут!..

Егор подобрался и равнодушно отвел взгляд. Улыбнулся.

— Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали...

С директором Клавдией Геннадьевной Михаил решил дело моментально. Она подписала акт, сказала, что Мартышонок сегодня пришел в школу вовремя и сейчас на продленке, посочувствовала Михаилу по поводу его «калторжной» работы и со вздохом высказалась в адрес завуча Тамары Павловны и других своих заместителей, ко-

торые боятся всего на свете: детей, лишних трудностей, а пуще всего — ответственности. А какой смысл бояться поставить подпись на бумаге, если все равно каждый день ходишь, как по краешку обрыва? Того и гляди, что-то случится — не сейчас, так через час. Своей доверительностью она давала понять: «Я вижу в вас коллегу и союзника».

Лицо у директрисы было пухловатое, с какими-то домашними морщинками, вздохи тоже не строгие, не кабинетные. Глаза, правда, с «беспокойной», но что поделаешь — должность такая. Михаил, который с утра готов был к тому, что ему вернут акт и скажут: «Подписывайте у матери», сейчас обмяк и слушал Клавдию Геннадьевну с удовольствием и даже сочувствием.

После короткого стука шагнул в кабинет высокий парень лет двадцати пяти — тонкий, с римским носом и негодованием в очках.

— Клавдия Геннадьевна! Мне все-таки хотелось бы выяснить нелепейшую ситуацию, в которой я оказался!

— Мстислав Георгиевич, голубчик! Выясним, я же сказала. Но не сию минуту, видите, у меня товарищ из милиции. И тоже с «ситуацией». Давайте после шестого урока... А пока, очень вас прошу, загляните в литературный кабинет, вызовите ко мне Егора Петрова. Там встреча с писателем... Валя отпросилась на полчаса, а самой мне лишний раз на третий этаж...

Мстислав Георгиевич покинул кабинет с видом оскорбленного кавалергарда.

— Вот вам нынешние педагогические кадры, — сообщила Клавдия Геннадьевна. — Первый год работы, юноша полон энтузиазма, стремится к контакту с учениками, причем без всякого панибратства, на творческой, как говорится, основе. Не терпит разгильдяйства, ревностный сторонник твердых правил и дисциплины. Казалось бы, чего еще желать? А получается Бог знает что... Вместе со старшеклассниками уговаривал меня отпустить их в поход с ночевкой. Уговорили, хотя для меня это лишние страхи и нервы. А вчера выяснилось, что ребята отказались идти с ним. Из-за стычки с курильщиками в туалете. Начал рьяно наводить порядок, не учел самолюбия наших великовозрастных интеллектуалов. И вот результат... Причем отказались-то даже не те, с кем был конфликт... А он считал, что я тайно поддерживаю это дело, чтобы похода не было... Честное слово, сам еще как дитя, трудный подросток. Хоть маму вызывай.

— Может быть, стóбит? — улыбнулся Михаил. И подумал, что пора прощаться. — Клавдия Геннадьевна, у меня еще просьба. Можно отметить у вас командировку? Чтобы не ходить в управление, не козырять здешнему начальству...

— Разумеется... Ох, но печать-то в сейфе, а ключ секретарша унесла. Я отпустила ее на полчаса в магазин, дела житейские... Вы можете подождать немного?

— Если я вам не мешаю...

В кабинете было уютно, до поезда оставалось больше двух часов, болтаться по слякотным улицам не хотелось.

Клавдия Геннадьевна сказала, что ничуть он не помещает и, может быть, ему будет даже интересно. Сейчас явится еще одно трудное дитя. Весьма своеобразная личность.

Личность явилась. И Михаил тут же угадал в ней одного из вчерашних «караульщиков», хотя накануне видел его издалека.

Симпатичный оказался парнишка. С небрежной прической пшенично-золотистого отлива, в меру курносый, с одинокими веснушками на подбородке и правой щеке (словно кто-то бросил в лицо горсточку желтой шелухи, да промахнулся, зацепил краем). С большим пухлогубым ртом, который наверняка растягивается в замечательную улыбку. Глянешь и подумаешь — вот ясная душа... Только очень внимательный взгляд мог различить серую пыльцу под глазами — след курения — да недобрые точки в зрачках.

Рот мальчишки растянулся полумесяцем:

— Здравствуйте, Клавдия Геннадьевна. Физик сказал, что вызывали.

— Не физик, а Мстислав Георгиевич. Что за манеры, Егор!

— Ах да, извините...

Он держался свободно. Однако в первый миг, когда они с Михаилом встретились глазами, живые брови Егора Петрова беспокойно шевельнулись, губы напряглись. Дрогнул мальчик.

— Петров, — официально сказала Клавдия Геннадьевна. — Меня интересует вчерашняя безобразная история. За что вы избили Ямщикова?

Егор придал зеленоватым глазам выражение полной невинности.

— Кто «мы»? Он подрался с Копчиком, а при чем тут я?

— Что за Копчик?

— Ну, Копчик и Копчик... Кажется, Вовкой зовут. Я толком и не знаю. Мы повстречались случайно, а потом...

— Вы же специально у школы караулили, — сказал Михаил.

— Если стояли, значит, караулили? Копчик какого-то девятиклассника ждал, а потом говорит: «А, вон ваш Редактор ковыляет, надо мне с ним разобраться». Я говорю: «Охота тебе...»

Михаил видел, что мальчишка врет с дерзким расчетом: чем нахальней — тем правдоподобней.

— ...А потом мы пошли к цирку, узнать насчет билетов на «Звезды на льду». А Ямщиков откуда-то прямо на нас выскочил. Они с Копчиком и сцепились, у них какие-то давние счеты. Я и не подходил...

— Егор, не лги. Утром ты обещал расправиться с Ямщиковым, когда тот вступился за второклассников.

— А чего он не разобрался, а суется! Ему везде за справедливость бороться надо!.. Я сгоряча и сказал: «Обожди, ты от меня получишь». Так можно каждого в бандиты записать, если к словам придираешься...

— Егор, — значительно сказала Клавдия Геннадьевна. — Может быть, не следует выкручиваться? Хотя бы сейчас... — И она перевела выразительный взгляд на Михаила.

— Клавдия Геннадьевна, — улыбнулся Михаил. — Мне не хотелось бы играть роль пугала. Пусть Егор Петров знает, что я здесь по другому делу, хотя и шел вчера вместе с Ямщиковым до троллейбуса... Может быть, как раз в этом случае Петров будет искреннее. — И усмехнулся про себя: «Не будет. Не таков...»

В глазах Егора мелькнуло облегчение.

— А чего мне выкручиваться, если я его не трогал?

— Но ты стоял тут же, когда твои дружки били Ямщикова. И не вступился за товарища по классу, — сказала директорша.

— Клавдия Геннадьевна, — произнес Петров уже совсем уверенно, даже со скрытой усмешкой. — Товарищ по классу — это не всегда товарищ. А с Копчиком у Ямщикова свои дела. Они и выясняли. Я-то при чем?

— А двое других помогали Копчику, не так ли? — сказал Михаил.

— Когда они полезли, я и вмешался! Сказал: «А ну, кончайте!» Можете спросить Ямщикова! Он, конечно, меня

терпеть не может, но врать не будет. Он же принципиальный.

— Ну что же, и спросим, если понадобится... — пообещала директорша, и Михаил уловил в ее тоне слабинку. — И думаю, что тебе будет трудно доказать, что твоя роль была столь благородна...

Егор Петров обрел уверенность на сто процентов.

— А почему я должен доказывать? Кто обвиняет, тот пусть и доказывает! Это называется «презумпция невиновности». В программе «Человек и закон» говорили. А то на любого человека можно что угодно наговорить, а он доказывай, что не верблюд...

Клавдия Геннадьевна посмотрела на Михаила: вот, видали молодца!

— Юридически подкованный субъект, — сказал Михаил. Он приглядывался к мальчишке все с большим интересом. Даже с некоторым одобрением. Тот явно переживал директоршу в полемике. Но вспомнил Михаил беззащитного Ямщикова и представил, каково ему пришлось одному против четырех. И ожесточился: — Знаете, Клавдия Геннадьевна, вы зря тратите время на дискуссию. В словесных поединках такие всегда выкручиваются.

Петров сжал губы в длинную прямую черту и равнодушно глянул на Михаила сильно позеленевшими глазами:

— Какие «такие»... гражданин старший сержант?

— Егор!

— Ничего, Клавдия Геннадьевна, я не обидчивый... Какие «такие»? Владеющие речью, знающие о презумпции невиновности. С интеллектом телевизионных знатоков и душами шкурников.

«Эк ведь меня... — подумал Михаил. — С чего это?»

Егор, глядя выше головы Михаила, сказал с ленцой:

— Что-то я не пойму. «Субъект, шкурник». Это ведь уже оскорбление.

— Оскорбление — это когда незаслуженно, — сказал Михаил и ощутил зыбкость своей позиции.

— А я чем заслужил? — глаза Егора блеснули почти настоящей обидой. — Вы что обо мне знаете? Или уже следствие провели?

— Е-гор, — сказала Клавдия Геннадьевна.

— А что Егор? Милиции все можно, да? Она «при исполнении», она всегда права! И пожаловаться некому.

— Ну, почему же? — скучно возразил Михаил. — Жа-

луются сплошь и рядом. И с успехом. Напиши жалобу и ты.

— На деревню дяде милиционеру?

Михаил вынул записную книжку, ручку и при общем молчании писал целую минуту. Все данные и адрес. Вырвал листок.

— Прошу. Пиши заявление. А я потом приеду специально, принесу свои извинения... Если не сумею доказать, что ты хорошо знаком с Копчиком и обдуманно караулил Ямщикова.

Егор бумажку взял. Прочитал и (вот стервец!) аккуратно спрятал в нагрудный карман. Потом сказал со смесью обиды и снисходительности:

— Ну ладно. Ну, даже если я подговорил Копчика разбить губу Ямщику, в тюрьму вы меня не посадите. А такие выражения использовать все равно не имеете права.

— Петров! — Клавдия Геннадьевна заговорила с хорошо рассчитанной железной интонацией. — Я сейчас тоже употреблю выражение. Я считаю твою вчерашнюю выходку свинством, а сегодняшнее поведение наглостью. Если на основании этого ты сделаешь вывод, что я назвала тебя наглецом и свиньей — дело твое. Можешь писать в районо, адрес возьми у секретаря... А я со своей стороны обо всем происшедшем немедленно позвоню отцу. Ступай.

— До свиданья, — сказал Егор и пошел к двери. А от порога сообщил: — Звонить лучше матери. Отец все равно на объекте.

— Вот такой фрукт... — Клавдия Геннадьевна виновато посмотрела на Михаила, когда дверь закрылась.

— Любопытный образец... — Михаил все еще испытывал что-то вроде досадливого сочувствия к Петрову.

Клавдия Геннадьевна шумно вздохнула, покрутила телефонный диск.

— Алло... Добрый день, Алина Михаевна... Да, я. Вы меня уже по голосу узнаете... Спасибо, как обычно, в трудах... К сожалению, да... Грустно говорить об этом, но приходится. Пока точно не знаю, но известно одно: с какими-то ребятами подкараулил своего одноклассника, и они его слегка поколотили... Нет, Алина Михаевна, к сожалению, он инициатор... Тот мальчик тоже не прост, но не из тех, кто отстаивает интересы кулаками... Ну, как он объясняет? Вы же знаете, говорить Егор умеет, аргументы найдет всегда, в уме ему не откажешь. И тем не

мене... Вот именно. Важно, чтобы он осознал. Вот-вот, об этом я и хочу попросить... Мы — разумеется, но и вы со своей стороны... Да, спасибо... Конечно, конечно, созвонимся. Всего доброго.

Она подняла на Михаила виноватые глаза:

— Вот так и приходится... А что я могу сделать? От его отца зависит ремонт школы и масса всего другого... Неужели я совсем беспомощно разговаривала? Вы так на меня смотрите...

— Простите... — Михаил передохнул, чтобы прогнать ощущение жутковатой пустоты — такое, как перед распахнувшимся парашютным люком за секунду до прыжка. Это чувство у него возникало при любых резких неожиданностях. — Я услышал имя. Алина Михаевна?

— Да. Немного необычное...

— И знакомое... — Михаил сморщил лоб и прикусил губу. Клавдия Геннадьевна смотрела вопросительно. «Нет, стоп», — сказал себе Михаил. — Что-то вертится в голове, — неуклюже соврал он. — С чем-то связано... Этот Егор Петров... он не мог раньше иметь дела с нашим ведомством?

— Да, возможно... Кажется, года четыре назад он не поладил с отцом и удрал из дома. Характер-то видите какой... По-моему, вернули с милицией. Но это давний случай. Вообще-то у них нормальные отношения, прекрасная семья и...

— Простите, а они... из здешних мест? Коренные?

— Право, не знаю. Я ведь в этой школе всего третий год... А в чем дело? Вас что-то встревожило?

— Да ничего особенного... Одна зацепка в мозгах... связанная уже не с Егором, а с совершенно другими людьми. Возможно, я и ошибаюсь... — опять неловко вывернулся Михаил. И тут же непоследовательно спросил: — А Егору-то сколько лет сейчас?

— Ну... четырнадцать, естественно. Восьмой класс...

— Да, разумеется... А родился он здесь?.. Видите ли, мне интересно знать, не жил ли кто-нибудь из Петровых на юге.

Пряча в глазах искорки любопытства, Клавдия Геннадьевна поднялась.

— Это нетрудно узнать. В личном деле наверняка есть копия свидетельства о рождении.

Она вышла и через две минуты принесла тонкий листок.

— Да, вы правы... Родился первого июня шестьдесят восьмого года, место рождения — Севастополь...

Визиты

Из директорского кабинета Егор ушел с ощущением победы. Не потому, что выкрутился и осадил этого сержанта (личность, видимо, все-таки случайную), а потому, что почуял под конец разговора: нет у директорши доказательств, а главное — нет желания эти доказательства добывать и «двигать дело».

Слушать писателя Егор больше не пошел, сумка была при нем, раздевалку уже открыли, и через полчаса он оказался дома.

Едва успела мать скормить ему обед, как позвонил некий Гриб, человек не из «таверны», но знакомый Курбаши и к компании Больничного сада благоволивший.

— Кошачок! По агентурным данным ЦРУ, ты располагаешь кассетой с «Викингами». А?

Егор сказал, что кассета Копчика и Копчик не велел давать ее ни одному смертному. А связываться с Копчиком ему неохота, у того не характер, а одна истерика.

— И не давай, и не связывайся! Мне только послушать хотя бы начало! Чтобы знать, стоит ли игра свечек! Из твоих рук, а? Кошачок, за мной не пропадет!

Егор с полминуты поломался, чтобы набить цену, потом прихватил «Плэйер» и спустился во двор, к заброшенной песочнице, у которой был «сходняк» местного молодого населения.

Гриб — прыщавый тип семнадцати лет и непонятных занятий — стянул громадную грузинскую кепку и почтительно водрузил на нечесаную башку дужку с наушниками. Зажмурился. Они сели рядом, Егор не выпускал «Плэйер» из ладоней. Больше никого кругом не было. Гриб сидел и внимал. Егор ежился и скучал: было пасмурно и зябко. Прошло минут семь. Егор глянул в конец двора, окруженного п-образным двенадцатизэтажным корпусом. Глянул и машинально даванул кнопку «стоп» и клавишу перемотки.

Гриб обиженно заморгал.

— Ты чего? Там самый кайф...

— Вырубись, Гриб. Кажись, шах и мат...

От уличной арки по дорожке среди жухлых газонов и унылых кустиков шел недавний знакомый — старший сержант.

Тошновато стало Егору. Что же это, просчитался он? Ничего не кончилось? Ох, прижали, кажется, хвост Кошачку...

Егор спрятал магнитофон и наушники за пазуху.

Милиционер подошел. Сапоги по склизкому асфальту хлюп-щелк, хлюп-щелк. А на коричневом лице улыбка, зубы белые в щели потрескавшихся губ. И в глазах синий насмешливый блеск.

— Вот, опять пришлось встретиться, — вздохнул старший сержант.

— Вижу, — хмуро усмехнулся Егор (в груди неприятно холодело). — А говорили: по другому делу...

— Обстоятельства меняются, Егор... Мама дома?

Егор встал.

— Не вижу смысла скрывать. От милиции не спрячешься. Мама дома.

— Проводишь?

— Куда деваться... Руки за спину не надо?

— Сойдет и так.

Они пошли, Гриб смотрел вслед. Милиционер вдруг спросил:

— Егор, а ты правда обиделся тогда в кабинете?

— Это нужно для разговора с мамой?

— Нет. Это нужно мне...

— Тогда — да.

— Это хорошо, — непонятно сказал старший сержант.

А когда подошли к подъезду, поинтересовался:

— Ты решил, что я из-за Ямщикова пришел?

А зачем он пришел? Может, что в «таверне»? Может, насчет мопеда раскопали, который увел у кого-то Валет с мышатами? А при чем тут он, Кошак? Или станут помогать насчет бизнеса Курбаши с пластинками?.. Хуже всего, когда не знаешь...

— Я думаю, вы пришли агитировать меня в отряд «Юный дзержинец», — собрав остатки храбрости, съязвил Егор.

— Я совсем по другому делу...

— У вас все время «другое дело», «другой вопрос», но все почему-то вокруг меня.

— А тебе страшно, что ли?

— Разве заметно?

— Представь себе.

— Ошибочное впечатление. Я... как это? Ин-ди-ффе-рентен...

Поднялись на седьмой этаж. Егор открыл дверь своим ключом и в прихожей громко сказал:

— Мама, к нам тут представитель органов охраны общественного порядка. Я не звал, он сам.

Мать вышла, шурша халатом, округлила глаза. Егор скинул башмаки и, не снимая куртки, ушел в комнату. Слышал за собой обрывки разговора. Речь милиционера звучала приглушенно, а слова матери Егор различал ясно.

«...что-то натворил?.. Да-да, я понимаю, разговор необходим... Конечно, лучше без него. Там, в комнате... Ну и что же, что сапоги? А вот вы наденьте сверху эти лапти, я их специально для таких случаев плела, меня одна знакомая научила...»

Сейчас они войдут. «Горик, иди пока к себе, нам надо поговорить...»

О чем?

О чем же, черт возьми?!

Егор выложил «Плэйер» на подоконник за шелковую портьеру и нажал кнопку записи.

Следующие два дня Михаил прожил в таком сумбуре мыслей, в такой путанице чувств, что порой заходило сердце — как в стремительно теряющем высоту самолете. Было у него и ощущение потери, и обида, и надежда, что потеря — не окончательная, и, несмотря ни на что, вспышки радости, которую тут же гасили трезвые и горькие мысли...

Мама сказала наконец:

— Миша, да что с тобой? Ну, напиши ей сам или позвони в конце концов. Нельзя же так изводить себя.

Михаил сказал сперва правду: что изводится совсем по другой причине. А потом соврал, что расстроился из-за статьи в «Среднекамском комсомольце». Статью в редакции и в самом деле изуродовали. Во-первых, придумали слюнявый заголовок: «Где ты, Антошкина мама?» Во-вторых, многое сократили, и получилась просто подборка случаев о брошенных матерями трехлетних и четырехлетних пацанятах, которые мыкаются по детприемникам вместе с правонарушителями школьного возраста. И получилось, будто Михаил в своей статье пытается убедить читателей, что во всем виноваты одни легкомысленные и бессердечные мамы. А рассуждения о том, откуда такие мамы берутся, оказались убранны.

Михаил долго лаялся по телефону с редактором отдела школьной жизни Васей Коротким. Вася отругивался. Ссылался на объективные причины и указания свыше. Потом, чтобы умаслить скандального автора, сообщил: на прежнюю его корреспонденцию о хамстве и рукоприкладстве воспитателей в Новотуринском интернате при-

шел из тамошнего горно ответ о принятых мерах. Михаил знал цену таким ответам. Подробно и с удовольствием он объяснил товарищу Короткому, как тому следует использовать эту бумагу. Рывкнул, что все равно будет добиваться судебного дела в Новотуринске и трахнул трубку на аппарат. С такой силой, что из своей половины дома примчалась старшая сестра Галина: ей показалось, будто выбили стекло.

Но и этот шумный разговор, и другие дела отвлекли Михаила не надолго. Точнее, совсем не отвлекли, потому что, чем бы он ни занимался, с кем бы ни говорил, стучала в глубине сознания мысль: «Егор... Егор... Егор...»

Субботу Михаил провел дома, а в воскресенье пошел в приемник, хотя дежурства у него не было.

В приемнике стояла тишь да гладь: малышню увели на прогулку, старших — на экскурсию в музей природы. Дежурила воспитательница Агафья Антоновна, которую и сотрудники, и ребята звали Агашей (не в упор, конечно, а за глаза). Была она добрейшая женщина и страдала лишь двумя недостатками: излишним любопытством и способностью открыто пускать слезы, когда из приемника увозили в детдома оставшихся без родителей малышей. Впрочем, и то, и другое ей прощали...

Агаша дала Михаилу несколько писем, и он сел с ними в дежурке. В эту минуту заглянул сюда Старик — начальник детского приемника-распределителя подполковник Рыкалов. Несмотря на выходной, он оказался на службе. Михаил встал.

— Здравствуйте, Иннокентий Львович.

Глядя мимо Михаила, Старик сообщил:

— Товарищ старший сержант. От воспитателя Ситниковой поступил устный рапорт, что вы на той неделе после отбоя в спальне старших воспитанников не требовали от них спать, а рассказывали какую-то историю.

Михаил, нарушив субординацию, сказал, что шла бы она, воспитательница Ситникова, куда подальше. Например, венниками торговать на рынке. Разве лучше будет, если пацаны станут бузить в темноте или играть при фонариках самодельными картами?

— Так-то оно так, — уныло произнес Иннокентий Львович. — Но режим есть режим, и я обещал объявить вам замечание.

— Есть получить замечание... Только можно завтра?

— Что завтра? — слегка опешил товарищ подполковник.

— Замечание завтра. Нынче я здесь все равно неофициально. А завтра можно сразу выговор, заодно уж. Потому что вечером я буду рассказывать ребятам «Трудно быть богом», роман братьев Стругацких. Давно обещал.

— Каким еще Богом? Это что, религиозная пропаганда?

— Да что вы! Совсем наоборот, атеистическая.

— Ну, завтра так завтра, — неожиданно согласился Иннокентий Львович. — Слышь, а чего ты двое суток в командировке болтался? За сутки можно было сделать все в лучшем виде...

Михаил хотел доложить о бюрократах от педагогики, но опять колыхнулось под сердцем: «Егор...» И он сумрачно сказал:

— Можете считать, что застрял по личному делу.

Старик покачал головой и пошел к двери, сутулясь и поглаживая аккуратную, словно уставом подтвержденную лысину. На пороге вдруг оглянулся:

— Тезку своего, Мишку Узелка, помнишь? Опять привезли, слинял из детдома, чертенок. Все равно, говорит, к отцу убегу...

— А знает, где отец-то?

— Знает. Говорит: пусть. Буду, говорит, с ним в бараке на стройке...

Михаил взялся за письма.

...Боже мой, как же изголодались эти неприкаянные, ошетиненные, никому не верящие Узелки, Мартышонки, Колянчики, Петьки Подсолнухи, Кочаны, Томки-растратчицы, если после одного разговора в казенной спальне или гулком ночном вагоне пишут и пишут хмурому парню в милицейском затертом пиджаке. Тому, кого, казалось бы, ненавидеть должны. Конвоиру...

«Я же ничего им такого не говорил. Я же в себе-то разобраться не могу...»

«Здравствуйте, Михаил Юрьевич. С приветом к Вам Зойка. Помните? Я теперь в спецучилище в далеком сибирском городе Коржанске. Училище хорошее, я получаю специальность, а с учебой пока средне, но тоже ничего. Помните тогда наш разговор в вагоне, он мне запал в душу, особенно про то, что нельзя делать свое счастье на чужом горе. Я теперь часто про это думаю, и как мама тогда вся переживала. И как Вы сказали, что если человек хоть немножко еще человек, то все еще может быть хорошее. Я спросила, а как я буду жить, если буду все время думать, что так сильно виновата, а Вы сказали...»

«Что я ей тогда сказал? То, что когда-то говорил мне Юрка?»

«Здравствуйте, дядя Миша! Когда меня привезли в спецшколу, то не сразу поставили в отряд, а через две недели, и тогда пошел мой срок. Но потом случилось одно дело, и я попал в больницу, состояние было тяжелое, даже маму вызывали, но теперь уже нормально. Я маме говорил про вас, а она говорит, что если бы я повстречался с вами раньше, то было бы все на свете лучше. Но я думаю, что все равно хорошо, что повстречался, и если вы в нашем городе будете, приходите ко мне в спецшколу, ладно? Дядя Миша, я еще хочу спросить, как вы думаете, будет атомная война или нет? Больше писать пока нечего. До свиданья. Женька».

«Не будет войны, Женька. Наверно, все-таки не будет... Но и покоя не будет еще очень долго...»

«Здравствуй, Михаил! У меня теперь другой адрес, после училища я работаю в СМУ-14 и живу в общежитии. Здоровье теперь самое то. А как твой позвоночник? И сделали ли операцию отцу?.. Михаил, все теперь у меня нормально, но надо посоветоваться об одном деле. Можно, я как-нибудь приеду?..»

«Здравствуйте, Михаил Юрьевич! Поздравляем вас со скорым наступающим праздником Октября. Это пишут Юрка Зайцев и Серега Бабиков, который Самовар. Нас, после как вы поговорили с начальством, определили в одну группу, спасибо вам за это...»

А это еще что такое? Надо же, из университета! Они что, домашнего адреса не знают?

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Я надеюсь, что Вы не оставили намерение восстановиться на четвертом курсе со второго семестра этого учебного года. Буду рад помочь Вам и прошу в связи с этим зайти в деканат филологического факультета в удобное для Вас время, но желательно до праздника.

Проректор по заочному обучению,
профессор В. С. Платонов».

Увы, придется, видимо, огорчить милейшего Валентина Степановича: насчет зимнего семестра и восстановления вообще пока ничего не ясно. Программы по литературе и педагогике, которые три с половиной года прилежно штудировал сержант-заочник, не дали ответа на главный вопрос: как сделать, чтобы не нужны стали детприемники и должность эвакуатора.

Не волнуйся, дорогой, тебя попрут с этой должности гораздо раньше, чем ее упразднят. Старик-то тебя терпит, а зам. по воспитательной части товарищ майор Курляндцев давно уже зубы точит. Анархист, мол. Поменьше бы, говорит, статейки писал да в душах копался, побольше бы думал о плановых мероприятиях и отчетности... А вытурить тебя, Мишенька, из органов — раз плюнуть. После первой же медкомиссии. И куда пойдешь (хотя и сочинял в уме рапорта)? Думаешь, в редакции или в школе нужны недоучившиеся филологи? И думаешь, они хоть кому-то нужны? А доучившиеся?..

Ох, насколько же проще было в воздушно-десантных войсках. В той самой армии, которой почему-то так боятся многие нынешние мальчишки. Ясно было, отточено, честно и прочно. Несмотря на то, что до конца так и не избавился от страха, который останавливал дыхание перед каждым прыжком. Да наплевать на этот страх! Прыгал-то не меньше и не хуже других. И никто не виноват, что в том последнем прыжке захлестнуло стропы...

...— Миша! Ты слышишь?

— А?.. Что, Агафья Антоновна?

— Мальчик тебя спрашивает. Там, у входа...

— Какой мальчик? Разве уже вернулись?

— Да не наш! — Агаша даже посапывала от любопытства. — Станный такой, приличный по внешности. Сначала адрес твой домашний просил, а я говорю: «Да он сам здесь». А он и говорит: «Скажите старшему сержанту Гаймуратову, что его ищет брат...»

Вечерняя электричка

К стеклам липли снаружи мокрые сумерки, старый вагон трясся, словно хотел стряхнуть их. Дребезжали тусклые плафоны. В соседних вагонах работало отопление, там народу было много, а здесь никого. Но если притерпеться — не так уж холодно. И главное — никто не мешает разговаривать. Михаил так и сказал Егору. Егор не спорил. Хотя всем своим видом показывал: о чем разговаривать, он понятия не имеет. Все уже сказано.

Они сели на противоположные скамьи, но не друг против друга, а по диагонали: Егор — у окна, лицом по движению поезда. Михаил — на краю, у прохода.

Наконец Егор сказал, вода пальцами по стеклу:

— Хоть убей, не понимаю, зачем тебя понесло провожать меня в такую даль.

— Чисто эгоистические соображения: если буду знать, что ты домой добрался нормально, спокойнее спать стану...

— А что со мной может случиться? — сказал Егор с легкой ноткой презрения к трусости Михаила.

— Да ничего. Я же говорю: просто мне спокойнее...

— Ну-ну, — сказал Егор и зевнул. Потом съязвил: — Ты, наверно, забыл, что я не беглец из интерната, а ты не конвоир.

— Какой же я конвоир? Наоборот... Видишь, даже в штатское оделся. — Михаил изо всех сил старался держаться ровного и мягкого тона. Потому что все еще надеялся: вдруг повернется разговор иначе? Вдруг откроется в этом мальчишке что-то знакомое, родное? Но губы Егора Петрова, которые умели расплзаться в такой милый улыбочивый полумесяц, теперь были вытянуты в прямую черту.

...Эти прямые губы и абсолютно спокойные глаза сперва казались Михаилу ненастоящими. Маской. Оно и понятно, говорил себе Михаил. В четырнадцать лет кому хочется показывать волнение? А в этом случае особенно. После такого знакомства в кабинете директора! Вот и смотрит братишка независимо и вроде бы безучастно. А в душе, небось, клубок сомнений, вопросов, тревог и... может быть, и радости? Ведь свой же, в конце концов! Примчался же, черт возьми, из другого города!

...В первый миг, увидев Егора, Михаил качнулся к нему, взял за плечи.

— Ты... Егор... — Он чуть не сказал «Егорушка». — Надо же... Значит, она все сказала?

— Кто? — Егор медленно посмотрел из-под низко надетой вязаной шапки с этой вездесущей идиотской надписью «Adidas».

— Ну... мама твоя. Алина Михаевна...

— А... — Он улыбнулся тогда первый и последний раз. — Нет, она ничего не говорила. Это дело техники...

И он вытащил из-под куртки серебристый «Плэйер».

— Д-да... — озадаченно сказал Михаил. Ох как нехорошо это все его цапнуло. Он не удержался: — Ты, я вижу, тертый мужик... — И спохватился: «Ох, дубина, зачем так?»

— Жизнь такая, — разъяснил Егор. — К тому же век электроники...

— Что и говорить, — улыбнулся Михаил (и со стра-

хом поймал себя, что улыбка получилась чуть ли не заискивающая). — Ты современный юноша...

— Хочешь послушать? — спросил «современный юноша», никак не отозвавшись на улыбку. И вынул дужку с мини-наушниками.

— Подожди, — Михаил оглянулся на изнемогающую от любопытства Агашу, на чуткого дежурного у входа. — Пойдем отсюда...

За низким зарешеченным окном был виден сквер с ярко-желтыми березами. День был не холодный и к тому же сделался разноцветный — пробилось солнце.

В сквере они сели на усыпанную листьями скамейку.

— Хочешь послушать? — опять сказал Егор, и Михаил с удовольствием отметил, что брат говорит ему «ты».

— Послушать?.. Да я и так помню разговор... Ловко ты сработал с этой машинкой. Оперативник, да и только..

Егор пренебрежительно спросил:

— Видимо, с милицейской точки зрения, это комплимент?

— Ну что ты ерничаешь, Егор... — осторожно проговорил Михаил (а сердце перестукивало, щеки теплели от тревожной радости). — Ну, давай, я послушаю.

— Я не оперативник. Просто машинка была под рукой, вот и нажал кнопку... На.

Михаил снял фуражку, надел крошечные холодные наушники. В них что-то шелохнулось, и сразу возникло ощущение пространства — с шорохом шагов, шелестом портьеры. Да, техника. Действительно стерео. Если закрыть глаза — полное впечатление, что находишься в комнате и два человека говорят в разных углах.

Свой голос Михаилу показался чужим, так всегда бывает, если слышишь себя в записи. Но Алину он представил как живую.

«Я вас слушаю... Он что-то натворил?»

«Алина Михаевна, вы меня, конечно, не узнаете. А я вас сразу узнал. В шестьдесят седьмом году в Севастополе, помните?.. Меня тогда звали Гай...»

Молчание... Молчание, молчание. Но не глухое. Тончайшие ферромагнитные чешуйки отпечатали еле слышное дыхание двух людей. И как шевельнулся под Михаилом стул.

«Да.. — наконец сказала Алина. — Действительно, вас не узнать...»

И снова молчание. Полное холодными вопросами: «Ну, и что же вам надо от меня? Вы понимаете, что я

не жду от вашего визита ничего, кроме осложнений? Вы понимаете, что у меня нет желания вспоминать и вас, и тот шестьдесят седьмой год?»

Он это понимал. И спросил сразу — будто головой в парашютный люк:

«Алина Михаевна, Егор — сын Толика?»

И моментально:

«С чего вы взяли?.. Господи, с чего вы это взяли?!»

«Мы же не дети, Алина Михаевна... День рождения — первое июня... Кто еще мог быть его отцом?»

«Вы... Простите, но вы как-то очень уж примитивно рассуждаете».

Он, кажется, позволил себе улыбнуться. Чуть-чуть.

«Алина Михаевна, это не я такой примитивный. Это законы природы...»

Снова тревожная тишина. И вдруг резкий вопрос:

«Ну, и что вы хотите?»

«Что... Вы и сами понимаете. Знать хотелось бы...»

«Но вы и так уже знаете... — Михаил вспомнил, как она стала покусывать пухлые губы. — Вы, простите, высчитали... И разыскали... Видимо, это ваша специальность...»

«Я понимаю, что мой приход вас не радует... Но меня-то понять вы можете? Если это так, то Егор — мой двоюродный брат».

«И что из того? Вы узнали о нем случайно. И двоюродный — не родной...»

«Он — сын Толика. А Толик для меня...» — Ох как не вовремя, как по-дурачки у взрослого мужика что-то по-детски сорвалось в горле... Она сказала помягче:

«Как все это неожиданно... И долго вы нас искали?»

«Боже мой, да совсем я вас не искал! Был в школе по служебным делам, директор говорила с вами по телефону, я услышал ваше имя, вспомнил...»

«Значит, нелепая случайность».

«Нет... — Михаил слегка ожесточился. Особенно на слово «нелепая». — Думаю, так или иначе наши пути пересекались бы. Все-таки в одном краю живем. Вы и с Толиком-то познакомились именно поэтому, он мне рассказывал. Вы с ним разговорились, когда он узнал, что ваш брат живет недалеко от Среднекамска...»

«У брата почти такая же судьба, он погиб в катастрофе...»

«Простите, я не знал...»

«Не в том дело. Если бы не этот разговор в школе...»

«Но он случился».

«К сожалению...»

«Все-таки... — Михаил вспомнил, как с резиновой натугой произнес это «все-таки». — Что же здесь плохого? Чем я могу повредить вам и Егору?»

«Извините, я не помню вашего... настоящего имени...»

«Михаил».

«Михаил... и?...»

«Михаил Юрьевич, если угодно».

Она скользнула тогда по нему глазами.

«Я понимаю, — сказал Михаил. — Такому имени более соответствовал бы изящный мундир поручика Тенгинского полка, а не потертый пиджак милицейского сержанта... Но дело не во мне...»

Вздых.

«Дело именно в вас... Вы сотрудник милиции и должны знать юридические нормы. Законы... Тайна усыновления охраняется законом. Кто ее нарушит...»

«Я не нарушу. Не за тем пришел. Не бойтесь», — это в нем уже закипела досада.

«Вы должны меня понять, Михаил Юрьевич... Моя... мое знакомство с Анатолием было... оно коротким было. Почти что случайным. А Виктора... моего нынешнего мужа я знала еще задолго до того. Хорошо знала... Когда он вернулся из плавания, то ни в чем не упрекал меня. Мы поженились, будто ничего не было, он любил меня. Даже его родители не догадывались, что Егор не его сын. И сам Виктор ни разу... ни намеком, ни словечком про это не напомнил. Ни мне, ни себе. А вы хотите сейчас...»

«Ничего я не хочу, Алина Михаевна... Но как бы вы поступили на моем месте, если бы узнали... про такое...»

«Ох, не знаю... Михаил Юрьевич. Я женщина, и вот на меня вы свалили... все это. Сразу, неожиданно».

«Простите... Но была еще женщина, мать Толика. Я думаю, она прожила бы гораздо больше, если бы знала, что у Толика остался сын, ее внук».

«Может быть... Честно говоря, я не думала об этом...»

«Верю», — вздохнул он.

«Да. Вы можете осуждать меня, но прежде всего я думала о своей семье. Так устроены женщины».

«Не все...»

«Можете осуждать меня», — опять сказала она.

«Алина Михаевна... Разве я пришел, чтобы осуждать?»

«Не знаю, зачем вы пришли... Если Егор обо всем узнает, неизвестно, чем это кончится. Переходный воз-

раст, с ним и так нелегко... Давайте говорить откровенно...»

«Давайте», — уже безнадежно согласился Михаил.

«Наверно, я скажу вам жестокую вещь, но, когда женщина защищает свое... свое гнездо, она способна на все. Ведь Анатолий погиб из-за вас. Неужели вы хотите сделать несчастным и его сына, разрушить семью, где он вырос?»

Сейчас, в сквере, Михаила опять придавило тоскливым грузом давней вины. И через много-много тягостных секунд он услышал свой осевший голос:

«Откуда вы это знаете? Что из-за меня...»

«А разве не так? Если бы вас там не было, если бы он не возился с вами, не поехал бы вас провожать...»

Михаил вспомнил, как обмяк с горестным, стыдливым облегчением. Конечно, она ничего не могла знать о гранате. Но облегчение было обманчивым, секундным. Словно расталкивая обвалившиеся на него мешки с сыпучим грузом, Михаил тогда поднялся со стула.

«Я мог бы в свою очередь упрекнуть вас: если бы вы в тот раз на бульваре не кинулись за милицией, не было бы всей этой истории. Но какой смысл обвинять друг друга?.. Я мог бы при желании доказать вам, что мы оба здесь вообще ни при чем и что бандиты выслеживали Толика специально, старательно... Только вас это, конечно, не интересует».

Еле слышно вздохнуло кресло — это поднялась мать Егора.

«По правде говоря, меня интересует, могу ли я жить спокойно?»

«Можете... — медленно сказал Михаил. — Даю вам слово, что Егор от меня ничего не узнает... Могу даже расписку дать».

«Ну при чем тут расписка? Я рада, что вы меня понимаете...»

«Как много раз тут говорилось слово «понимаете», — печально подумал Михаил. — А где оно, понимание?» Он опять услышал свой голос:

«Пойду я... Еще раз прошу извинить... Вначале у меня была мысль: можно ведь ничего и не говорить Егору, мы могли бы просто... ну, общаться, что ли. Как друзья... Да какая уж тут дружба, вы будете на меня смотреть как на вечную опасность...»

«Вот видите. Вы же сами судите трезво... И кстати, зачем вам, взрослому человеку, это... общение с мальчиком?»

«С братом... Я вам объяснил. Извините, если непонятно... Брат есть брат, тем более что...» — Михаил запнулся.

«Что?» — нетерпеливо сказала она.

«Егору с братом, наверно, все-таки лучше иметь дело, чем с работниками милиции... Я имею в виду не себя... вообще...»

«Он что-то натворил?» — опять быстро спросила Алина Михаевна.

«Натворил?.. По-моему, пока ничего, кроме того, что вы слышали от директора... По крайней мере, я не знаю... Он достаточно умный парень и не будет шутить с законами открыто. Но в конце концов может и не рассчитывать. Сам не влипнет, так дружки втянут».

«Но позвольте... какие дружки? Вы что хотите сказать?»

«Увы, то, что сказал».

«Но... что вы в нем такого увидели? Он не ангел, конечно, но и... Он вполне нормальный мальчик».

«Вполне нормальные не караулят вчетвером одного».

«Но они же мальчишки! Мало ли что бывает...»

«У мальчишек разве не должно быть совести?» — спросил Михаил. Опять в наушниках возникла шуршащая тишина. И наконец Алина Михаевна произнесла:

«Знаете... молодой человек, на свете все так сложно. Сейчас и взрослые порой готовы съесть вчетвером одного...»

«Боюсь, что эту мысль Егор усвоил уже достаточно крепко...»

Он тогда шагнул в прихожую, ощутив глубокое отвращение к дальнейшему разговору. Слышно было, как шлепнулись на паркет сброшенные с сапог «лапти». Глухо (видимо, уже далеко от микрофонов) мать Егора сказала:

«Я не хотела вас обидеть. Я... обдумую ваши замечания...»

Кажется, Михаил буркнул в ответ «обдумайте» и затем «до свидания». Но это на пленке уже не записалось. Отпечатался только звук закрывшейся двери. А потом — долгая тишина. Пустая и горько-недоуменная — как то ощущение потери, с которым уходил Михаил из этого дома...

Вдруг ударили по ушам дребезжащие аккорды и ка-

кой-то кретин завыл на тарзаньем языке: «Бы-улы-улы-а, а, а, а-ха-ха...» Видно, Егор проник в комнату и остановил запись...

Михаил, глядя в сторону, отдал Егору наушники.

— Видишь, — сказал Егор с безмятежной улыбкой. — Никакого разглашения тайны. Я все узнал сам.

«И приехал, — подумал Михаил, отгоняя сомнения и досаду. — Приехал же! Какой бы он ни был, как бы ни ершился и ни вредничал, все равно он — здесь. Примчался...»

— Ты не все узнал, — осторожно сказал Михаил. Он остановил в себе желание взять Егора за плечо и придвинуть к себе. — Про отца-то ведь ничего не знаешь... Про того...

— Вот и расскажи, — отозвался Егор непонятым тоном. — Надеюсь, он был не летчик-испытатель?

— Нет... С чего ты взял? И что плохого, если летчик?

— Ничего, кроме вранья. Почему-то сыновьям всегда пудрят мозги. Папа где-нибудь в бегах или в отсидке, а мама историю вяжет: «Он испытывал истребители и героически погиб...»

— Что за чушь ты несешь! Даже из записи ясно, что ничего похожего...

— Да я не про этот случай, а вообще, — буркнул Егор.

— А я «про этот»... Он испытывал не истребители, а подводные аппараты особого назначения, — тяжело сказал Михаил. — Он был их конструктором... А погиб он не при испытаниях, а при стычке с двумя бандитами. В Симферополе... Проводил меня на самолет в аэропорту, сам поехал на вокзал, чтобы электричкой вернуться в Севастополь... А они его, видимо, выслеживали...

Егор не спросил, что за бандиты, и зачем выслеживали. Шевельнул ботинком листья и сказал:

— А, правильно. Мать же говорила... Поэтому она и считает, что ты виноват?

— С ее точки зрения, видимо, так, — сумрачно произнес Михаил. — А что она еще говорила?

— Ты разве не всю запись прослушал?

— А... Постой! Ты что же, сам-то с матерью про это не разговаривал?

— Зачем?

— Значит... сразу взял да и сюда приехал?

— Как видишь, не сразу. Воскресенья дождался. Старательно уходя от его нагло-равнодушного тона, Михаил спросил со сдержанной заботой:

— А меня сразу отыскал?

— Естественно. По той бумажке.

— Слушай, Егор... А дома-то у тебя знают, где ты?

— До вечера не хватятся, а к десяти я приеду. Отсюда в пять часов электричка идет.

— Как в пять?.. А... но это же через два часа!

— Ну и что? До вокзала рукой подать.

— А разве ты... — Михаил совершенно по-дурацки растерялся. — Я думал... Ну, давай хоть на полчаса забьем ко мне!

— Зачем?

— Как зачем? Вообще... С мамой познакомлю. Она же... тетка твоя, сестра отца. Ты не представляешь, как она...

— А зачем? — третий раз спросил Егор и поднял глаза. Спокойные такие глаза. Симпатичный такой паренек Егор Петров.

— Тогда для чего ты приехал? — тихо сказал Михаил.

— Я-то? Уточнить.

— Что именно?

— Как что... Правда ли, что мой папочка — не совсем папочка... Вернее — совсем не папочка.

— И... все?

— А что еще?

— Да-а... — сказал Михаил. И ощутил ту же потерянность, как в конце беседы с Алиной.

Егор снисходительно вздохнул:

— Давай уточним и другое. Ты чего хотел? Младшего родственника, которого надо спасти от плохих компаний? Растить из него достойного строителя БАМа и члена оперотряда?

— Дурак ты, — безнадежно сказал Михаил.

— Ну, конечно. Все, кто не приемлют милицейскую мораль, — дураки, — четко произнес Егор.

— А у тебя какая мораль?

— Заканчивай мысль. Скажи, что у меня никакой морали.

— Егор, зачем мы так? — Михаил проговорил это с ощущением, что стучится в дверь, хотя знает, что в запертой комнате никого нет. — Встретились, и будто враги...

— Почему враги? Я к тебе ничего не имею. — Егор

встал. — Пойду. Надо еще перекусить до отъезда. Тут какое-то кафе недалеко, с самообслуживанием.

— Постой! — Михаил схватился за соломинку. — Я тебя провожу до вокзала. — И подумал: «Сейчас скажет — зачем?»

Но Егор только молча прошелся глазами по его шинам.

— Ты сиди и обедай, а я заскочу домой, переоденусь, — предложил Михаил. — Это всего полчаса. Надеюсь, не исчезнешь?

— Я не клиент вашего детприемника. Не исчезну.

Интересно, что Егор не возражал, когда Михаил купил билет и сказал, что они поедут вместе. Только пожал плечами:

— Туда и обратно — потеряешь полсутков. Неужели охота?

И вот теперь они сидели в пустом вагоне. И несмотря на все недавние разговоры, Михаил опять думал, что, может быть, не все еще потеряно. Может, приоткроется что-то в этом мальчишке. Если зацепить какую-то струнку, найти нужные слова... Но слов не находилось, и Михаил спросил:

— Пообедал-то нормально?

— Сэнк ю, май сэржант. В соответствии с режимом.

— Скотина ты все-таки, — вздохнул Михаил (вот тебе и «нужные слова»).

— Еще раз благодарю... А почему ты заявил матери, что я обязательно попаду в милицию?

Это был не тот разговор, но хоть какая-то зацепка.

— Объяснить подробно?

— Лучше коротко. Но понятно.

— Постараюсь... Тебе наплевать на людей. Судя по всему — на всех наплевать, кроме своих дружков. А может, и на них...

— Может быть, — вставил Егор.

— Значит, тебе наплевать на законы, по которым люди живут, общаются между собой... Наверно, я коряво выражаюсь...

— Ничего, я улавливаю.

— Ну вот. А раз тебе на них наплевать, ты в любой момент можешь их нарушить.

— Не такой уж я дурак.

— Конечно. Ты знаешь, что нарушать закон — себе дороже. Остап Бендер тоже чтит Уголовный кодекс...

Но тебя держит в рамках не совесть, не боязнь кого-то обидеть, а один страх. Точнее, благоразумие (это не так обидно)... Когда этот... это благоразумие однажды не срабатывает, когда тебе покажется, что можно действовать безнаказанно, ты и загремишь... На этом все гремят. Не только прирожденные преступники, а вообще эгоисты...

— Так... — Егор сел поудобнее. — Теперь развей мысль, что я эгоист.

— Ты что, сам этого не знал?

— Знал, знал... Ну, давай дальше: как «гремят» эгоисты.

— Такие, как ты? Или вообще?

— Вообще. В мировом масштабе.

— Очень просто! — Михаил почувствовал, что заводится, но подумал: плевать. — Ощущения эгоиста какие? «Я — пуп Земли. Остальные — это мое окружение. Питательная среда, из которой я, чтобы благополучно существовать, должен тянуть соки». И тянет. Жулик тянет из карманов, грабитель «трясет» сберкассы... А есть не жулики и не грабители. Вроде бы... Они благопристойны и даже занимают посты. Но главное для них — не работать, а хапать. Причем часто работают неплохо — чтобы лучше хапать. Чтобы иметь... И вот отсюда — приписки к планам, фальшивые премии, махинации с квартирами, машины без очереди...

— Как я понимаю, ты имеешь в виду папочку?

— Твоего? — искренне удивился Михаил. — Вовсе нет. Я даже толком не знаю, кто он... Тебе видней.

— Угу... Ну, а дальше?

— Что? А!.. Дальше — одинаково. Рано или поздно — свидание со следователем. И полная душевная трагедия. Даже если не гремят за проволоку, а просто летят с поста. Потому, что без высокой должности и без возможности копить дальше не видят смысла жизни.

— Это ты мне обещаешь такое будущее?

— А почему бы и нет... Мальчик с «Плэйером».

— Ну-ну, поговори теперь о вещизме, — сказал Егор. — О том, что джинсы и магнитофоны — это плохо и что нечего гордиться иностранными наклейками на заднице, это, мол, не орден. И что заграничные штаны такие сопляки, как я, покупают на папины деньги, а не на заработанные. Или химичат на барахолке. А гордиться надо честно заработанным, тогда ощутишь полное счастье. Ага?

— Подкованный товарищ, — скучным голосом вставил Михаил.

— ...И скажи еще, что вообще не в вещах счастье, а в творческом труде на благо человечества. И что вещи — это тьфу, а есть вечные ценности. Например, музыка Моцарта, поэзия Пушкина, красота родных просторов и ощущение этого... своей нужности людям. Это наша Классная Роза вешает на собраниях постоянно. А потом мамыши из родительского комитета скидываются для нее по праздникам то на импортную кофточку, то на...

— Не знаю насчет вашей Розы, — устало перебил Михаил. — И насчет твоей нужности людям... Это у кого как получится. Но Пушкин-то действительно есть, от этого никуда не денешься.

— А зачем он нужен? Чтобы цитировать «Я помню чудное мгновенье»? И ахать: какая бессмертная поэзия? А меня вот не трогает это «мгновенье». Сто раз читал — и ничего не шелохнулось. Ну, я понимаю, я не дорос...

— Да ты не до Пушкина не дорос, а вообще до человека... Чтобы эти стихи понимать, надо кого-то любить. По-настоящему.

— Я еще не созрел, — ядовито сказал Егор. — Мама от меня все еще журналы папашины прячет, где девицы в мини-купальниках...

— Я не про то. Я вообще про любовь к человеку. Не обязательно к прекрасной незнакомке. К матери, к другу, к брату...

— Мне одна знаменитость сказала, что я никогда не смогу быть братом. Так что тебе рассчитывать не на что...

Михаил сказал, помолчал:

— И подумал сейчас Егор Петров: «Теперь этот тип гордо ответит — а я и не рассчитываю...» Нет, Егорушка, я рассчитывал. Ошибся. Извини... Любви не научишь.

— Это верно, — откликнулся Егор. — Особенно когда учителей полным-полно, а любить... Кого любить-то? И за что?

— Трудный вопрос... А тебя за что любить?

Егор искренне удивился:

— Меня? А я и... не претендую, так сказать.

— И без того хорошо, да?

— Мне?.. Не знаю, — честно сказал Егор. Потому что рассуждал скорее сам с собой, чем с этим новоявленным братцем-сержантом. — Мне не хорошо и не плохо. Так...

— Вот это уже странно... Плохо ему или хорошо, человек должен знать, — смягчая тон, сказал Михаил.

— А я, представь, не знаю.

— Что так? Раннее разочарование? «Уж не жду от жизни ничего я»?

«А чего я жду, чего хочу?» — подумал Егор и глянул на влажное стекло, за которым совсем потемнело. Он провел по стеклу пальцем, оно скрипнуло.

Правда, чего? Каких радостей в жизни он хочет? Сидеть в компании и балдеть? Но, когда не стало Камы и Шкипа, это потеряло прежний смысл. Из радости превратилось в привычку. Счастьем тут и не пахнет. А что — счастье? Чтобы появился мопед или даже мотоцикл? Но, честно говоря, Кошаку хватает и чужих. Свой-то наедост через неделю, да и возни с ним полно, а к технике нет у Егора Петрова никакого тяготения... Так в чем же радость? Чтобы увидеть, как кто-то боится тебя и делается униженно-покорным? Но это же на несколько минут...

Егор честно перебрал в голове все свои желания, даже самые тайные. Но их исполнение доставило бы лишь короткое удовольствие — как порция мороженого в жаркий день. А какой большой радости он хочет?

Закатиться в какое-нибудь дальнее путешествие, чтобы видеть всякие чудеса?

Егор вдруг вспомнил, как во время плавания по Волге он увидел среди солнечной шири, под очень синим небом и белыми облаками, полузатопленную колокольню. Она подымалась над плесами сказочно и таинственно. Было в этом что-то от прочитанных в раннем детстве волшебных историй — словно обещание загадок и радостных приключений. И Егор повернулся к матери, чтобы сказать: «Смотри, будто парус над океаном, да?»

Но мать говорила с рыхлой крашеной дамой в атласных штанах и отмахнулась: «Не перебивай, Горик, потом...»

И парус увял, а Горик смутно ощутил, догадался в душе, что сказки, красота, открытия — все, что видишь в дальней дороге, — хороши тогда, когда можешь этим поделиться с другими.

А с кем он мог бы отправиться в дорогу теперь? С Копчиком или Валетом? С Курбаши? Или с этим вот худым, нудно липнущим к нему двоюродным братцем? Воспитатель с сержантскими лычками! Видели мы таких...

Хмурое отвращение к этому совершенно чужому человеку, который лезет в душу, потрянуло Егора как крупный озноб.

— Тебе что от меня надо-то? — спросил он в упор.

— Да уже ничего, — устало сказал Михаил и отвернулся... — Ничего... Доеду сейчас до Подлунной, там сяду на обратный поезд... В заколоченный дом не достучишься.

— Давно бы так, — буркнул Егор и подумал: «А мне-то сколько еще пилить до дома...»

Зачем его понесло в Среднекамск? Что хотел узнать, в чем убедиться? И так все было ясно. Сорвался куда-то, идиот...

Нет, в самом деле — зачем? Любопытство? Запоздалое злорадство в адрес отца и матери! Или... надежда на что-то необыкновенное? На что? Может, надеялся, что в слове «погиб» какая-то неясность и настоящий отец жив?.. Но если и так, что в жизни изменилось бы? Да и не надеялся он на это, не думал даже... И уж меньше всего хотел заполучить в братья такого вот... казенного правдолюбца.

«А я ведь и не узнал ничего толком, — запоздало спохватился Егор. Но сейчас расспрашивать Михаила было нелепо. — Да и не все ли равно. Пусть...» — Последняя мысль была похожа на усталый зевок. Но несмотря на утомление, злость на Михаила не прошла. А тот вдруг сказал:

— Последний вопрос: я, очевидно, не должен больше напоминать о себе? В родственники не гожусь?

Что-то все же удержало Егора от прямого «да». Он ответил вопросом на вопрос:

— А я тебе разве гожусь? Эгоист, кандидат в тюрьму...

— Егор...

— Да отвяжись ты! — прорвало Егора. — На кой черт ты появился? Не было тебя и пусть не будет!.. Ну, чего ты на меня так смотришь?!

— Прощаюсь...

На секунду Егор опешил. Потом разозлился еще больше:

— Даже так? Будто с покойником?

— Да я не с тобой прощаюсь, — выдохнул Михаил. — С тобой-то все ясно...

— Ну с тобой тоже. Терпеть не могу таких.

— «Терпеть не могу»... А кого ты можешь терпеть? Хоть кого-то на свете любишь?

— Никого, — отрезал Егор. — А таких, как ты, тем более... Хоть ты в болоте тони, пальцем бы не пошевелил.

— Охотно верю.

— Верить или нет, это твое дело, — со злой тоской и

совершенно искренне сказал Егор. — А я правду говорю. Понимаешь, мне все равно.

Михаил встал, одернул куртку. Явно хотел уйти подальше от Егора. В этот момент ржаво заверещала и отодвинулась тамбурная дверь. В ней показалась необъятная, набитая зелеными и светлыми бутылками авоська. Ее, прогибаясь от тяжести, вволок в проход между скамьями парень лет восемнадцати — невысокий, в модной бежевой курточке, смуглый, с тонкими усиками. Чем-то похожий на Валета, но повыше. Следом за парнем возникла щетинистая личность в мятой ушанке и замызганном стройбатовском бушлате без погон. Личность обвела медвежьими глазками вагон, остановила их на Михаиле и выговорила:

— Во...

— Погодь, Фатер, — сказал парень, с хрустальным звоном опуская груженую сетку на дрожащий пол. Егор механически отметил, что «фатер» — по-немецки, кажется, «отец», только произносить надо тверже: «Фатэр». Но едва ли мятая личность была отцом парня — ей, несмотря на щетину, немногим за тридцать.

— Чего годить? Во... — Фатер, не спуская глаз с Михаила, шагнул к нему через авоську. — Слышь, кореш, ты докуль едешь?

— А тебе что? — неласково сказал Михаил.

— Ну, ты чё? Я же по-людски к тебе...

— До Подлунной он едет, — подал голос Егор. Не ради этого дядьки, похожего на беглого зэка, а чтобы напомнить Михаилу: не забудь, где хотел сойти.

— В самый тык! — обрадовался Фатер. — Слышь, корешок, нам до Подлунки никак нельзя, обстоятельства, значит... Дай трояк, а стеклотару греби с собой. В Подлунке-то прямо у станции магазин, там Муська. Знашь? Она тебе за этот груз полным счетом деньгу отвалит, к битым горлам не прискребется, скажешь: от Фатера. Тут на семь рэ, не мене...

— Отвали, приятель, — рассеянно сказал Михаил.

— Ну, ты чё? Не мужик, да? Без понятия? У меня в хате дружки чахнут без опохмелки, эту муку ты понять могёшь?

Михаил молча отошел, сел подальше — за тремя скамейками, с другой стороны прохода. Спиной ко всем.

Парень, прогнувшись, поднял авоську, водрузил ее на край скамьи, где сидел Егор. Мест ему мало, что ли? Вон сколько скамей... Чтобы он не уселся по соседству,

Егор демонстративно повернулся боком, прислонился к стенке у окна, а на сиденье рядом с собой поставил ногу — занято, мол.

Парень шевельнул усиками, улыбнулся и уселся там, где недавно сидел Михаил. Потом подвинулся, давая место Фатеру.

«На теплое тянет», — подумал Егор и закрыл глаза. Было холодно в вагоне, но здесь, в углу, нахохлившись и сунув ладони в рукава, он пригрелся. Колесный стук и дребезжанье стали ровнее, уютнее как-то. В них вплеталось бормотанье. И не сразу Егор понял, что это спорят полусшепотом Фатер и его спутник.

Егор поднял веки.

Фатер хотел встать, парень деревянно улыбался и придерживал его за рукав.

— Фатер, кончай, с грузом ноги не сделаем...

Тот тихо матерился, дышал сквозь зубы:

— Пусти... Фатера, он па-адлюка, не знает...

На Егора лишь сейчас тяжко пахнуло водочным духом. Губы Фатера втянулись внутрь, глазки белели. Егору стало жутковато. Фатер выговорил тяжело:

— Пусти, Федюня... дружок... Фатера не знает, гад... Я... — Он вдруг поднялся пружинисто и мягко. Правую ладонь опустил в карман, левой властно отодвинул все улыбающегося Федюню, трезво и бесшумно шагнул в проход. Егор шевельнулся. Федюня быстро нагнулся к нему, выбросил вперед руку. Из кулака беззвучно скользнуло светлое лезвие ножа-кнопочника. Егор услышал полусшепот:

— Тихо, детка, не чирикай...

— Не чирикаю. Мне до лампочки, — улыбнулся Егор. С пониманием. И с облегчением: его это дело не касалось. Федюня был ничего, даже симпатичный, и действовал разумно. Фатер был, конечно, подонок, но что Егору до него и до Михаила, — к которому Фатер мягко шел с рукой в кармане.

Михаил ничего, разумеется, не слышал за грохотом электрички. Фатер шел. Любопытно, что он задумал? Егор смотрел. Туда смотрел, на Фатера и Михаила, а не на нож. Ножа он вовсе не боялся и почти забыл о нем, лишь краем глаза, подсознательно, отмечал у своего живота светлое дрожащее лезвие.

Рука Фатера выскользнула из кармана, блеснул на пальцах металл...

— Счас... — машинально шепнул Егор. Федюня не вы-

держал, быстро глянул назад. Кулак Егора ударил Федюню по руке выше ножа. Нога Егора стремительно распрямилась, ботинок врезался в бутылки.

Вечерняя электричка. Продолжение

Дальнейшее произошло молниеносно, и Егор не уловил подробностей. В кино такие дела нарочно показывают замедленно: плавный прыжок, неторопливый замах, перехват, растянутый на долгие секунды взлет человеческого тела... А здесь Фатер и Михаил на миг словно слиплись в тесном объятии, затем — хриплый вскрик, и вот уже Фатер скорчился на коленях, тыкается башкой в тряский пол вагона, а Михаил рвет у него кастет с выкрученной до шеи руки...

— Пусти... сволочь!.. Федюня-а!

Но юный спутник Фатера, забыв о Егоре, забыв про нож в кулаке (или, наоборот, все мгновенно рассчитав), прыгнул через скамью, метнулся в тамбур и... черт его знает, куда сгинул: то ли спасся в других вагонах, то ли сумел раздвинуть наружную автоматическую дверь и выскочил. Поезд в ту минуту замедлял ход, за окнами тихо ехали желтые размытые фонари.

Михаил рывком выволок Фатера на площадку, дождался, когда шипящая дверь разойдется, и пинком выкинул его на платформу безлюдного разъезда. Сунул в карман трофейный кастет, как-то дурашливо, по-мальчишечьи отряхнул ладони и оглянулся на Егора (тот и сам не заметил, как выскочил в тамбур).

— Вот так, — вздохнул Михаил. И они вернулись в вагон. Михаил ногой задвинул под скамейку сетку с побитыми бутылками и шапку Фатера. Боковой карман куртки у него тяжело отвисал.

— Покажи игрушку-то, — небрежно сказал Егор. Михаил протянул ему тяжелую никелированную штуку с шипами и отверстиями для пальцев. Предупредил немного виновато:

— Не насовсем. Нельзя...

— Больно надо, — хмыкнул Егор, хотя в «таверне» такая вещь, конечно, произвела бы впечатление. Он примерил кастет на пальцы (оказался велик), покачал на ладони.

— Да, припечатал бы он тебе...

— И не говори... — согласился Михаил.

— А у того фраера кнопчик был. Он мне его в пузо...

— Постой... — глаза у Михаила по-детски распахнулись. — Так ведь он же тебя мог...

— Ну да. Я потому и не чирикал. А ногой в стекло-тару...

Михаил помолчал. Потом выдохнул:

— Спасибо, Егорушка... — Он качнул рукой, словно хотел взять Егора за плечо и не решился. На это движение и на «Егорушку» Кошак опять ошетинился. Внутренне. «Думает, что теперь можно в душу лезть?» Эту ошетиненность Михаил, видимо, сразу почувствовал. Они помолчали. Наконец Михаил неловко сказал:

— Кастет, однако, давай. Штука уголовная, надо сдать... Жаль, не было времени заняться этим Фатером подробнее...

Они сели на старые места — опять наискосок друг от друга. Егор ежился от холода.

— Может, пойдем в другой вагон? — предложил Михаил.

— Неохота... Ты иди, если мерзнешь.

Михаил насупился. Помолчал минуты две.

— Егор...

— Ну?

— Если бы не ты, я бы, наверно, не успел...

«Не наверно, а точно не успел бы», — подумал Егор.

— В общем, спасибо тебе, — тихо сказал Михаил.

— На здоровье...

Егор почувствовал, что Михаил тоже слегка ошетинился. Давно бы так! А то подъезжает то с одной, то с другой стороны.

— Это все тем более ценно, — внятно произнес Михаил, — что недавно было сделано декларативное заявление: «Хоть в болоте тони, пальцем не пошевелину»...

«Не купишь», — устало подумал Егор. И разъяснил, водя пальцем по влажному стеклу:

— А я правду говорил. Честно...

— А чего ж тогда вмешался? Рисковал ведь.

— Не знаю... — откровенно сказал Егор. — Не могу образить. — Он спокойно, холодно и без уверток попытался понять: как же это произошло? — Правда... Сидел, смотрел: кто кого? А потом нога сама...

Он еще раз прокрутил в голове все, что случилось. И сказал, не тая недоумения:

— Да, не знаю... Может быть, потому, что ты все-таки брат?

Он увидел, как метнулись в глазах у Михаила радостные огоньки. И отодвинулся в самый угол, отвернулся. Словно опустил перед собой еще одну прочную заслонку. Михаил с благодарностями больше не полез и спросил с насмешливой ноткой:

— А какая такая знаменитость пророчила тебе, что ты не сумеешь быть братом?

— Режиссер один. В кино меня пробовал на чувствительную роль... Александревский.

Михаил подался вперед.

— Как ты сказал?

— Александревский. А что?

— На вашей студии? На местной?

— Ну, не на Мосфильме же.

— Слушай... а может, Александр Ревский?

— Что? — Егор наморщил лоб. — Ну... может быть. Я на слух воспринимал... А какая разница?

— Есть разница... Вернее, совпадение. Александр Яковлевич, бывший Шурка, друг... Анатолия Нечаева.

Егор уловил, что Михаил едва не сказал «твоего отца». Не сказал, сдержался почему-то. Ну и ладно. Егор пожал плечами: друг так друг. Не все ли равно?

— Они в детстве жили в Новотуринске, — объяснил Михаил. — Потом разъехались. А в шестьдесят седьмом году встретились на «Крузенштерне», парусник такой. Ревский был там в бригаде, которая кино снимала, он тогда на Ленфильме работал...

«Он надеется, что сейчас я начну расспрашивать: какое кино?» — подумал Егор. В нем росла досада, что невольно признал родство с Михаилом. И, скривив губы, он лениво спросил:

— Если был на Ленфильме, чего его к нам-то принесло?

— Здесь возможностей больше, самостоятельности. Здесь он зам. главного режиссера. И с жильем сразу устроилось, и творческого простору больше...

— Во-во!.. Всем нужен творческий простор. На лишних квадратных метрах. А потом вещизм ругают и говорят о вечных ценностях, о вдохновении...

— Ты же не знаешь этого человека!

— А я не про него, а вообще... Недавно у нас в школе тоже один такой выступал. Как раз когда меня директорша к себе вызвала и случилась наша приятная встре-

ча... Тоже рассуждал, что таланту нужна широкая жилплощадь.

— Ну и что? В чём-то он прав... А кто такой?

— Не знаю фамилии, на начало я опоздал, а с конца ушел. Писатель какой-то... Кстати, тоже о Крузенштерне рассказывал. Не о корабле, а о самом... Один кретин у нас сказал: «Робинзон Крузен...» — Егор хмуро хихикнул, чтобы заглушить воспоминание о теске-кадетике.

— Жаль, что не знаешь фамилию...

— Какая разница?

— Любопытно. Тут еще одно совпадение. У... твоего отца, у Анатолия, с Крузенштерном очень многое было связано... — Михаил быстро глянул Егору в лицо: может быть, мол, хоть это тебя заинтересует?

— Что... связано? — нехотя сказал Егор.

— Целая история... В детстве он познакомился с одним человеком, тот писал повесть о Крузенштерне. Они ее вместе читали, обсуждали... А потом этот человек умер, а рукопись пропала... Остался у Толика лишь эпилог, да и тот затерялся. Но Толик его помнил наизусть. За две недели до гибели он читал его курсантам на «Крузенштерне»...

Михаил вспомнил тот вечер, притихшую толпу слушателей на спардеке, спущенный с рея и высвеченный прожекторами грот-марсель. Голос Толика... А в паузах — цвирканье дальних цикад. И близкое дыхание Аси. И огни рейда, и корабельные запахи, и ощущение города, дремлющего на притихших берегах бухты. И вообще все, что называлось для Гая одним словом — Остров.

Он подумал, как много это значит в жизни для него и как мало — совсем ничего! — для сидящего у вагонного окна отчужденного мальчишки. И беспомощно замолчал.

Егор лениво сказал:

— Недавно о Крузенштерне по телику говорили. Вроде, скоро какой-то его юбилей будет.

— В будущем году. Сто восемьдесят лет с начала экспедиции Крузенштерна и Лисянского.

— Ну вот... Значит, и тот писатель решил к юбилею свою повесть накатать... Который в школу приходил.

— Но Курганов-то, знакомый Толика, писал не к юбилею. И книга его была не столько о плавании, сколько вообще...

— Как это «вообще»?

— А вот так. О жизни и смерти.

— Про это — любая книга, — сказал Егор, и такое его высказывание понравилось Михаилу. Ниточка беседы вроде бы потянулась, и он объяснил:

— У Курганова — особенно... На корабле «Надежда» погиб молодой лейтенант, Петр Головачев, и Крузенштерна всю жизнь мучило ощущение вины...

— От чего погиб?

— Сложная история...

Егор промолчал, кажется, выжидательно. И Михаил стал рассказывать о спорах Крузенштерна и Резанова и о том, как мучился, оказавшись в одиночестве, второй лейтенант «Надежды». Егор слушал без особого интереса, но и без равнодушных зевков. Потом сказал:

— Из-за этого и застрелился? Вот дурак.

Михаила покорило.

— Дураком легче всего назвать! А если разобраться, смерть его была честнее многих.

— Как это?

— А вот так! Жизнь и смерть для него были вопросами чести... Сейчас об этом и говорить-то считают смешным. Зато сколько людей мрет от страха! Хватают инфаркты, потому что трясутся за свою карьеру, за накопленное барахло.

— Ты повернул на знакомые рельсы, — сказал Егор. — О вещизме ты уже говорил. О вечных ценностях тоже.

— Ну и послушай еще. Они ж вечные...

— А вещи для тебя, значит, совсем тьфу?

— Смотря какие... У Курганова был старый корабельный хронометр, потом он к Толику перешел, а от него ко мне. Такую вещь я ни на что не променяю. Ни на твой «Плэйер», ни на «Волгу», ни на все сокровища.

Егор сказал без насмешки:

— Одному сокровища нужны, другому такой вот хронометр. О чем спорить-то? Живи, как тебе надо, а чего других-то воспитывать?

— Но когда одни живут «как им надо», другие от этого гибнут, как Головачев...

— Кто ж ему велел?

— Никто не велел вроде бы. А равнодушием парня сгубили...

— Тебя бы свести с нашим Редактором, — хмыкнул Егор. — Он раньше все на такие споры лез. Про то, как с равнодушия начинается гибель человечества. На классных часах выступал. Потом, правда, поумнел, но не совсем.

— Что за редактор?

— Да Ямщиков! Тот, которого... который с Копчиком подрался.

— «Тот, которого»... Что-то не дает он тебе покоя, а? — Не надо было касаться опасной темы, но Михаил не утерпел.

— Мне? — вроде бы искренне удивился Егор. — Да как-ись он...

— Однако ведь не покатился, — опять не выдержал Михаил. — Излупить вы его могли, а заставить побежать не сумели. Скажешь, не угадал?

Он не ожидал, что это так зацепит Егора. Тот плечом оттолкнулся от вагонной стенки, наклонился к Михаилу, глянул непримиримо. Сказал с ухмылкой:

— Угадали, товарищ старший сержант. От милиции ничего не скроешь.

— Далась тебе милиция! Чего ты ее так не любишь?

— А за что вас любить?

— А за что ненавидеть? Какие причины? Может, объяснишь?

Егор сел прямо.

— Ладно... Вот скажи, только не отпирайся: вы же военные люди, все равно что в армии!

— Я и не отпираюсь...

— Вот! Тоже погоны носите, оружие...

— Ну, оружия-то у меня как раз нет, не положено. Разве что на стрельбище в руках подержу.

— Все равно! Вы — военные! А кто ваш враг?

— То есть... Ты что, считаешь, что милиция не нужна?

— Ты не вертись, — поморщился Егор. — «То есть»... Ну, ладно, преступников надо ловить, они убегают, сопротивляются. Даже стреляют иногда... А чего вы с пацанами-то воюете? Ну?

— Я воюю с пацанами? — тихо сказал Михаил.

— И ты, и другие... А разве нет? Вы за нами охотитесь как за врагами. Под конвоем возите, за решетку сажаете... А потом еще кричите на всех перекрестках: «У нас все лучшее — детям!»

— А не так? — огрызнулся Михаил. — Тебе, дитя, чего не хватает в жизни?

— А я не про себя, до меня вы еще не добрались. Я про тех, с кем вы воюете...

— А мы не... — начал Михаил. Егор перебил:

— Ну, давай, давай! Скажи: «Мы не с ними воюем, а за них»... Слышал уже.

Михаил, который хотел сказать именно это, чертыхнулся. Но тут же зло спросил:

— Нет, это все-таки ты скажи: а что делать, если бегут?

— Нет, это все-таки ты скажи: а почему бегут?

— А откуда я знаю?! — рявкнул Михаил. И сразу обмяк — Сто причин... От бесприютности бегут, от пьяным матерей и отцов, от страха... А кому-то вожжа под хвост попала: романтики захотелось... А кто-то от безысходности: дома затюкали, в школе двойками зарос, просвета нет...

— Как ты все хорошо объяснил.

— А я не всё... Вот таким, как ты, чего дома не сидится? Романтикой ты вроде не страдаешь, дома все о'кэй, полная чаша, мама с папой лелеют единственное чадо...

— Что еще? — негромко спросил Егор.

— Всё, — устало выдохнул Михаил.

— Выходит, нельзя было съездить с неожиданным братцем познакомиться?

— Да я не об этом. Я про то, как ты в розовом детстве с детприемником познакомился. Оттуда и твоя философия про «войну с детьми»...

— Значит, навел уже справки, — глухо сказал Егор.

— Не навел я справок! Директриса ваша проболталась между делом! Папаша, мол, слегка погладил мальчика против шерсти, а тот сразу в бега...

— Да? — сказал Егор каким-то стеклянным голосом.

— Что «да»?

— Так и сказала? — Егор вымученно улыбался:

— Н-ну... примерно так... А...

Егор упал головой на спинку скамьи и заколотился в злом мальчишечьем плаче.

— А ты!.. — выкрикнул он. — Знаешь, да?.. Он... погладил... Он... Ты знаешь?!

Михаил видал всякое, но сейчас такого не ожидал. Что это было? Запоздало отозвались нервы на опасную схватку с Фатером и Федюней? Или под холодной скукой и безразличием созрела и прорвалась какая-то боль?

Михаил вскочил, нагнулся над Егором — словно хотел заслонить от всех на свете. Со страхом и жалостью вспомнил, как много лет назад сам исходил такими же рвущими душу слезами. В комнате у Юрки, когда вырвалась правда о Толике и гранате...

— Егорушка... Не надо. Ты что... братишка...

— Ты!.. Он погладил!.. Вы там в милиции... умные!.. А ты!.. Что ты... про меня... знаешь?

Черный футляр

В третьем классе Егор Петров писал сочинение на тему «Мой родной город». Вот что он сочинил:

«Я родился в городе-герое Севастополе. Это очень хороший город, потому что он героический и расположен у моря. Но я его не помню, потому что уехал оттуда, когда мне было два года. Я приехал сюда. Этот город стал мой родной. В нем есть цирк, много кинотеатров и много заводов. Мой папа работает на знаменитом заводе «Электрон». Я наш город очень люблю».

Егор написал то, что полагалось. На самом деле город он не любил. Чего его любить-то? Егор поездил с родителями, повидал города получше. Конечно, привык Егор к городу, считал его своим, но иногда все вокруг казалось надоевшим.

Еще в первом классе, устав от слякотной осени, Егор спросил у матери, зачем не остались они жить у теплого моря.

Мать объяснила, что врачи запретили отцу плавать на кораблях, а на берегу хорошей работы не было. И дядя Сережа, мамин брат, который потом разбился на мотоцикле, предложил им приехать сюда. На флоте отец был специалистом по электронному оборудованию, ходил на больших грузовых судах. На крупном заводе люди с его специальностью были очень нужны. Все получилось хорошо, квартиру дали почти сразу...

— А в Севастополе, что ли, заводов нету?!

— Таких больших нет, — сказала мама. И добавила непонятно: — А главное, там не было перспективы роста.

Гораздо позже Егор кое-что узнал из услышанных краем уха разговоров, а кое о чем догадался. Дело было не во врачах. Дело было в таможне (есть такая контора, ее работники строго проверяют, не везет ли кто из-за границы что-то запретное). Отец за границу плавал часто, ну и, видать, прихватил оттуда что-то сверх дозволенного. А таможенники, конечно, в крик... Егор догадывался, что «крик» был большой, раз пришлось расстаться и с заграничными, и с флотской службой вообще. Судя по всему, папочка сумел развязаться с морской жизнью «по собственному желанию», но оставаться там, где знали эту историю, было нельзя. Какие уж там «перспективы роста»!

Впрочем, отец ничего не проиграл. Специалист он был, видимо, с головой, а «Электрон» расширял производство, людей ценили. И пошел Виктор Романович по служебной

лестнице довольно бодро. Тем более, что прекрасно знал английский язык, а завод активно налаживал контакты с иностранными фирмами. Через семь лет стал товарищ Петров одним из ведущих инженеров.

К тому времени «Электрон» взялся помогать какой-то индийской промышленной компании, и отцу предложили на год поехать в Индию. С женой. Сперва сказали, что и сына можно взять, но потом выяснилось: в школе, где учатся дети советских специалистов, нет начальных классов. И все уперлось в Егора.

Отцу очень хотелось поехать. Маме тоже. И заморские страны повидать хорошо, и вещи оттуда привозят такие, что охнешь. Причем законно, без всяких осложнений... И мать решилась.

Написали в Молдавию бабушке — маминой маме. Уговорили приехать и год пожить с Егором. До той поры Егор видел бабушку только раз, когда ездили к ней в село под Кишиневом. Тогда бабушка работала в сельской школе, а сейчас была на пенсии.

В августе мать с отцом укатили в страну, где слоны и джунгли и где жил когда-то Маугли. А Горик пошел в третий класс.

Учился он без всяких трудов. Что там в третьем классе учить-то, если толстые книжки читал еще дошкольником, задачки решал тоже шутя. Правда, из-за корявых букв и помарок в тетрадах случались тройки, но это беда не великая...

Первые дни скучал Горик по маме, даже плакал вечерами, потом привык. Бабушка, хотя и была раньше учительницей начальных классов, воспитанием Горика не занималась. Иногда ворчала, иногда хлопала даже (он с хохотом увертывался), порой грозила написать папе-маме, но, конечно, не писала. И скоро Горик убедился, что можно читать в кровати до полуночи, можно сказать, что придет с улицы к семи часам, а явиться после девяти. Можно утром захныкать, что болит голова, и бабушка скажет: «Ох ты, чадо непутевое, ладно, не ходи на уроки...» Была бабушка суровая с виду — высокая, черноглазая, крючконосая, но решительным характером не отличалась. Наверно, и в школе ученики ее не очень слушались... В общем, Горик Петров почувствовал волю и даже перестал ходить к учительнице английского языка, с которой занимался уже второй год.

Эта вот неприятность с «англичанкой» особенно расстроила маму, когда она весной прилетела проведать Го-

рика. Получился неприятный разговор (Горик даже поревел немного), но исправить ничего уже было нельзя, а долго ссориться мама не хотела, чтобы не возвращаться в Индию с тяжелым чувством. К тому же оценки у Горика были в порядке, а сам он выглядел подростком, крепким и загорелым, несмотря на холодную погоду. Видимо, потому, что почти каждый день шастал с ребятами во дворе и соседнем парке. Кстати, там, среди уличной вольницы, все реже звучало его прежнее имя Егорушка и Егорка. Все чаще окликали: «Гошка!» Наверно, и в самом деле подрос. И учительница говорила теперь не Горик, а Егор. И писала в дневнике: «Егор! Тебе надо быть собранней!», Уважаемая Мария Ионовна! Проследите, пожалуйста, чтобы Егор не опаздывал на первый урок».

Но все это были мелочи. Егор Петров оставался благополучным мальчиком из благополучной семьи. И третий класс закончил тоже благополучно (тройки только по музыке и природоведению).

В начале июня завком выдал сыну инженера Петрова путевку в лагерь «Электроник» на три смены. Жизнь в лагере была хорошая, и лето, которое сперва казалось Гошке бесконечным, вдруг промчалось очень лихо. В середине августа вернулись родители, прикатили в «Электроник» за Гошкой. Вот была радость-то! А когда приехали домой, радости еще добавилось. Потому что, оказывается, мама с папой привезли столько всего!

На Гошкиной кровати лежал большущий тигренок с длинной нейлоновой шерстью, пластмассовыми когтями и почти настоящими, просто живыми глазами (куда Гошка идет, туда и тигренок смотрит). А еще лучше была кожаная жилетка и такие же ковбойские штаны с бахромой и два тяжелых кольца (по сравнению с ними те алюминиевые револьверы, что в наших магазинах — просто тьфу!). Длинные, с крутящимися барабанами, с медными узорами на рукоятках, кольца грохали специальными патронами — так, что вороны тучами подымались с окрестных топей.

...Но в следующие дни радость поубавилась. Отец услышал, как Гошка перепирается с бабушкой из-за неубранной постели, и негромко сказал:

— Да, подразвинулся ты, голубчик. Не пришлось бы принимать спецмеры. Имей в виду — я не Мария Ионовна.

Бабушка поджала губы и вышла из комнаты. А родители разыскали Гошкин прошлогодний дневник, прочитали все учительские записи (будто мать их весной не ви-

дела!) и устроили Гошке разнос. Вернее, мать, поглядывая на отца, старательно кричала, а отец коротко и сухо сказал, что «дальше так дело не пойдет».

Гошка недоумевал. Третий класс он считал уже древней эпохой. А неубранная постель... Он и раньше, до бабушки, не раз отлынивал от уборки, и никто из этого большого шума не делал.

Отец словно услышал его мысли.

— Что было раньше — это одно. А сейчас ты уже не младенец. Начнется всякий там переходный возраст — тогда что? Нет уж, дорогой. Или сам будь человеком, или я его из тебя выстрогаю... — А матери сказал: — Не хватало еще, чтобы мне о нем письма на работу посылали. Сейчас есть в школах такая мода.

Гошка не понимал, при чем тут письма на работу. И что отцу от него надо. Вообще отец вернулся какой-то не такой. Будто незнакомый. Худой, загорелый, жесткий. Костистый череп совсем облысел, только на висках волосы курчавились седоватыми пучками. Лицо от этого казалось чужим...

Мать потом объяснила Горику, что сейчас решается важный вопрос: назначать ли отца начальником нового важного цеха. И теперь всякая мелочь может оказаться помехой. Если в партком завода кто-то пожалуется, что сын Петрова ведет себя не так...

— В общем, ты понимаешь...

Но Гошка все равно не понимал и разговор этот скоро забыл. Бабушка уехала, оставив на подоконнике медный кувшин с узорами из эмалевых цветочков — тот, что привезли ей в подарок из далекой Индии. С отцом Гошка виделся мало — тот пропадал на заводе.

Но в ту субботу, в начале сентября, когда соседка привела Гошку за ухо, отец оказался дома.

Соседка была толстая и горластая, работала на складе макулатуры и, говорят, спекулировала книжными талонами. Ребята звали ее Туша, а взрослые — Гром-баба. Гошка с приятелями носился по сараям, и нога у него провалилась сквозь чахлую крышу дровяника, застряла. Когда он освободился и слез, Туша была тут как тут, караулила у лестницы...

Отец не стал спорить насчет якобы развороченной крыши. Отдал пятерку за ремонт, но на прощание сказал:

— А за уши, гражданочка, хватать чужих детей не со-

ветую. На то у них имеются родители... Путать чьи-то уши с чемоданными ручками не следует, могут быть неприятности.

Туша вдруг бросила деньги на пол и побагровела.

— Неприятностями пугаешь?! Лучше за своим сопляком смотри! Думаешь, большая шишка и все тебе можно? Я знаю, куда идти, у меня брат в райкоме работает!

Она грохнула дверью, не подняв пятерку.

— Дотанцевался, наследничек... — Отец глянул на Гошку светлыми, какими-то стеклянно-бутылочными глазами.

Гошка и правда пританцовывал: мать, задрав на нем штанину, мазала йодом длинные царапины. Он капризно хныкал:

— Хватит, больно же...

— Это — больно? — усмехнулся отец. Мать испуганно глянула на него. Отец сказал ей: — А что ты предлагаешь?.. Теперь эта груда свинины наделает мне столько пакостей, что не расхлебаю до конца года... И все из-за этого сопляка, которого распустила без нас твоя мамаша...

— Как ты можешь... — начала мать.

— Мо-гу, — отчетливо сказал отец. — Вели ему сидеть дома. — И он ушел куда-то с черным трубчатым футляром, в котором иногда носил чертежи.

Вернулся он через полчаса. О чем-то говорил сперва с матерью у себя в комнате. Потом позвали Гошку. Тот, насупившись, но без боязни пришел. Горела розовая настольная лампа. Отец сидел у стола, лицо было в тени. Мать стояла у двери.

— Вот, — деревянным каким-то голосом сказала она. — Довел, значит, отца. Говорили тебе... — И боком ушла из комнаты.

И стало тихо.

Гошка еще ничего не понимал, но ощутил обморочную слабость. Отец сказал «подойди», и он сделал два беспомощных шажка. Отец открыл черный футляр и вытянул из него, положил на стол коричневый гладкий прут. Тут Гошка понял, что его ждет, и заревел. Сразу. Сильно. Будто включили в нем громкий магнитофон.

Никогда Гошку раньше не трогали, разве что мать или бабушка шлепнут шутя. А тут... такое... Вообще-то Гошка терпеть не мог просить прощения и каяться, но сейчас было не до самолюбия. И Гошка старательно выл, что не надо и что он больше не будет и что «папа, прости...». И при этом ощущал жуткую раздвоенность, будто один Гошка ревет, изнемогает от ужаса, а второй

молча стоит в стороне и громадными от изумления глазами (тоже перепуганный, но безголосый) смотрит на происходящее. И все так неправдоподобно, что у этого второго Гошки под тяжкими глыбами стыда и страха шевелится какое-то щекочущее, как спрятанный под майкой кузнечик, любопытство: что же это такое с ним, с тем Гошкой, сделают?

А отец ничего не делал. Терпеливо ждал, когда Гошка перестанет реветь. Тот, всхлипывая, замолчал, и отец сказал:

— Теперь повтори все ясно. Что ты там гудел сквозь слезы?

— Не буду больше... — уже обрадованно, с надеждой выдохнул Гошка.

— Что не будешь? Безобразничать?

— Ага...

— Это хорошо. Если не будешь, значит, и порка эта останется последней. Но сейчас без нее не обойтись. Это ведь не за то, что ты будешь, а за то, что уже сделал. Я тебя предупреждал. Когда человек что-то натворил, должен расплачиваться, такой в жизни закон. Понял?

Гошка ничего не понял. Отец говорил ровно, без всякой злости, но при этом зачем-то вытирал очень белым платком вздрагивающий прут. Потом утвердил его в массивном каменном стакане письменного прибора и встал. Шагнул... Зачем это он?.. Не надо... Обмякший от ужаса Гошка слабо затрепыхался, когда отец взял его за плечо.

...Гошка плакал в своей кровати до ночи. Сперва в голос, потом с шумными всхлипами, потом тихо, со щепоткой поскуливанием. Подходила мать, что-то говорила, он бросил в нее, в предательницу, ботинком. И никогда уже не смог простить, что она в тот страшный вечер не вступилась, выдала его отцу.

Утром встал он поздно. Потерянный, растерзанный, опухший. Совсем другой Гошка, не вчерашний. Со страхом и тоскливым недоумением в душе, со злобой и сумрачным стыдом. Долго умывался, словно хотел соскрести с лица припухлость и следы слез... Отца дома не было. Мать что-то виновато сказала про завтрак. Гошка ответил «иди ты» и вышел во двор.

Утро стояло совсем летнее, но это не обрадовало Гошку. Он вдруг подумал, что вчерашний визг его могли слышать во дворе, и сейчас, если кто встретится, начнет спрашивать... Гошка торопливо ушел за дом, на глухую лужайку с репейниками и мусором. Иногда здесь жгли кос-

тер, и сейчас валялось много щепок и куски черной смолы — их брали на ближайшей стройке для растопки. На одной щепке то замирала, то билась осенняя коричневая бабочка. Крыло ее прилипло к смоляной крошке. Беспо мощная бабочка рвалась и трепыхалась. Так же, как вчера бился и трепыхался Гошка... Он смотрел на бабочку полминуты, потом наступил на нее.

С той поры Гошка жил с постоянным страхом, со съезженной душой звереныша. Отца старался избегать, на мать иногда слабо огрызался, но в общем-то был сум рачно послушен.

Но живой характер сразу не упрячешь в клетку, и домашняя задавленность по-иному оборачивалась в школе. Гошка больше стал носиться по коридорам, чаще лез в потасовки и в шуточных свалках раздавал удары не шутя. Он мог дико хохотать, но почти не улыбался. Естественно, пошли записи в дневник, и, ознакомившись с ними, Виктор Романович выпорол сына вторично.

На этот раз Гошка сопротивлялся с отчаяньем смертника. Дико орал, испарапал отцу руки, ударил его пяткой в подбородок. Ну, и получил за это сильнее, чем в первый раз.

На следующее утро Гошка вырвал глаза у нейлонового тигренка, который был свидетелем его позора и бессилия, закинул на антресоли ранец и бежал из дому куда глаза глядят.

По несчастному совпадению, когда Гошка стоял за городом на обочине тракта и «голосовал» машинам, чтобы увезли его за тридевять земель, мимо ехал с дачи некий Пестухов, который у них дома появлялся иногда по-приятельски, но о котором отец с матерью говорили как о вечном недруге и хитром сопернике: «Ты что, хочешь, чтобы этим Пестухов воспользовался?.. Ну, конечно! Пестухову премия, а тебе все шишки!.. Ты думаешь, Пестухов будет молчать? Сразу побежит к директору...»

Гошка не узнал Пестухова в шляпе и темных очках, а тот Гошку узнал. И когда все открылось, было поздно: незнакомый дядька придерживал бющегося Гошку на заднем сиденье, а Пестухов гнал «Жигуленка» к дому Петровых.

Сдали Гошку перепуганной матери. А в обеденный перерыв появился отец.

— Ну что, мерзавец, добился чего хотел? Теперь весь завод будет знать...

Он снова достал черный футляр и стянул с надсадно орущего Гошки штаны. И так добавил ко вчерашнему, что Гошка на следующий день не пошел в школу...

...Второй побег, уже в декабре, был продуман Гошкой до мелочей. Во-первых, Гошка знал куда бежать: к бабушке, в Молдавию. Во-вторых, он понимал, что зайцем не доедешь, и хитро раздобыл билет в кассе предварительной продажи: «Тетенька, у меня мама в магазин ушла, меня оставила постоять, а очередь уже подошла. Купите, пожалуйста, билет до Кишинева, маленьким не продают. А то очередь пройдет, нам с мамой опять два часа стоять... Мама должна к бабушке ехать, та очень болеет...»

Одет Гошка был прекрасно, смотрел ясными глазами, тетенька поверила...

Бежал Гошка из-за скандала с учительницей музыки. Та хлопнула его по губам, когда он болтал на уроке. Гошка отмахнулся и сильно попал ей по руке. «Музыкантша» поволокла его за шиворот в учительскую. Гошка, уже ослепнув от страха, куснул ее за палец. Из учительской позвонили отцу. Он оказался в командировке. Но, раз уж начался разговор, поведали обо всем отцовскому заместителю. Тот обещал передать. Отец должен был вернуться через четыре дня, и Гошка понял, что ждать нельзя.

...Сняли с поезда Гошку за Среднекамском. Видно, передано было по линии сообщение о беглеце. Сперва Гошка кричал, что не имеют права, он едет законно! Почему его хватают, как преступника? Потом каменно замолчал: умрет, но не скажет, кто он и откуда. Но в кармане нашли свидетельство о рождении, которое Гошка взял с собой (не ехать же без документа!)

Сухая неумолимость милиционеров, казенная безысходность приемника-распределителя потрясли его не меньше, чем отцовские «воспитательные меры». В мире, опутанном телефонными проволоками, пронизанном радиоволнами, в мире, который насквозь, будто аквариум, просматривали безучастные твердые люди в ремнях и погонах, скрываться было негде. И когда пожилой молчаливый старшина вез Гошку домой, тот уже не помышлял о бегстве...

Квартира была заперта. Потом оказалось, что вернувшийся отец был на заводе, а мать металась между милицией и вокзалом. Старшина отвел Гошку в школу. Изнемогший от страха и усталости, Гошка с рыданиями все рассказал Розе Анатольевне.

Роза Анатольевна работала тогда первый год. Она взяла Гошку за руку и повела домой. Родители оказались

уже там. У Розы Анатольевны состоялся с ними разговор. Говорили в кухне, и Гошка все слышал через тонкую дверь ванной, где он отмокал от дорожной грязи и оттаивал от казенного неуюта и ощущения заброшенности. Оттаивал от страха. Потому что теперь-то уж, после того как заступилась учительница, кто его тронет?

Роза Анатольевна говорила решительно и горячо:

— Виктор Романович, неужели вы не понимаете? Дети — они в тысячу раз сложнее самой тонкой электроники! Их так легко сломать! Ну, вы же культурный человек!..

Отец терпеливо (и, кажется, с усмешкой) разъяснял:

— Уважаемая Роза Анатольевна, это же слова. Терминология... Что такое культура? Тоненькая позолота, и даже не позолота, а бронзовая пудра, которая облетает с нас при первом крепком дуновении. И мы опять предстаем перед суровой жизнью такими же хвостатыми и волосатыми, как во времена мамонтов...

— Вы отрицаете роль цивилизации?... Ну, неужели вы не понимаете, что в наше время бить ребенка — это варварство?!

— О, цивилизация, — добродушно засмеялся отец. — Придумать танки, которые давят живых людей, — это не варварство. Придумать бомбу — не варварство. Травить химикатами и дымом всю матушку-природу — тоже не варварство. А вот выдрать мальчишку — не спеша и аккуратно, для его же пользы, как это делалось во все века — это, видите ли, потрясение основ...

— Да, потрясение! Для него!.. Ну ладно, Виктор Романович — с головой в своей работе, человек техники, ему не до педагогики. Но вы-то, Алина Михаевна!..

— Да я уж и так и этак, — слабо оправдывалась мать. — И тому и другому... Как между двух огней.

— Ну, какие тут «огни»! Это люди! Я не понимаю...

Гошка тоже не понимал. Отец — тот раньше никогда особенно им не занимался и до поездки в Индию был все время как-то в стороне, вечно занятый, усталый. Но мать-то любила Горика, тряслась над ним. Только и слышишь: «Горик, надень тапочки, ты простудишься», хотя простудиться в квартире с толстыми коврами немислимо. Наряжала его, как мальчика из модного журнала, покупала, что ни попросит. И вот — отступилась, выдала с головой. Такая решительная, красивая, большая, вдруг съежилась перед отцом... Лишь потом начал Гошка понимать, что отца она любила не меньше, чем его, и любовь эта была

смешана со страхом. Куда она без отца-то? Чтобы чувствовать себя уверенной, счастливой, нужно ей было ощущать рядом сильного человека с прочной судьбой. А то натерпелась в молодости...

Но эта догадка пришла к Гошке годы спустя. А пока он умиротворенно булькался в теплой воде, потому что отец на прощание добродушно сказал Розе Анатольевне:

— Я ведь вашу ранимую женскую душу тоже понимаю. И не волнуйтесь, пожалуйста, не буду я этого лоботряса наказывать за дурацкое путешествие. Он себя и так уже наказал...

А когда Горик в белой индийской маечке с попугаем на груди и в пестрых японских трусиках бесшумно (на всякий случай) пробирался из ванной, чтобы забраться в постель, отец окликнул его из своей комнаты:

— Постой-ка, турист, у нас ведь еще не все дела кончены... Давай уж сразу, чтобы не откладывать неприятные моменты.

Глаза у отца опять были прозрачно-бутылочные, а под лампой чернел на столе круглый футляр.

Гошка прижался к косяку и дико закричал:

— Ты же говорил!.. Ты обещал!..

— Перестань орать-то, — сказал отец. — Что я обещал? Не драть тебя за побег. А за историю в школе? А за деньги, которые ты у матери украл и на билет высадил? Ты что же, думаешь, это можно так оставить?.. И не скандалил бы зря, не брыкался. Только себе хуже делаешь и мне работы прибавляешь...

«Работы... — отдалось в мозгу у Гошки. — Работы...»

Это — работа?

Виктор Романович открыл футляр и сказал сыну:

— Подойди.

Гошкина душа обессилела от постоянного страха, безысходности и ожидания боли. Он всхлипнул и, глядя в сторону, сделал на ватных ногах шажок к отцу... И не стал сопротивляться.

Дальше жизнь пошла серая, тускло-ровная. Страх по-прежнему жил в Гошке, но это был уже привычный страх. Как ни опасайся, а жить-то надо. И без грехов не проживешь. Поэтому пришлось Гошке в четвертом классе еще несколько раз вытерпеть «домашнюю педагогику». Правда, теперь это было не так страшно. То ли отец стегал без лишней суровости, то ли Гошка притерпелся. Впрочем, от визга и слез удержаться он все равно

не мог. Да и не старался. Криками он заглушал и боль, и стыд за свою капитуляцию. Стыд этот постоянно сидел в Гошке холодным, скользким сгустком. Раньше, когда Гошка еще сопротивлялся отцу, яростно отбивался, орал зло и непримиримо, он был все-таки прежним Гошкой. С какой-то гордостью, с характером. А теперь он с хмурой покорностью шел, «если надо», в комнату к отцу. Какая уж тут гордость? Вместо нее — этот слизкий комок-студень.

Но сколько так может жить человек? Где спасенье?

Гошку спасло от вечной презрительной жалости к самому себе одно открытие.

Однажды в школьном коридоре на него налетел щуплый первоклассник. И не убежал. Отскочил и перепуганно заморгал.

— Ты что, ослеп?! — гаркнул Гошка. Малыш ежился и переступал на месте.

— А ну, подойди, — тихо и зловеще приказал Гошка. И тот робкими шажками приблизился. Чужая покорность сладко согрела Гошке душу. Он воровато усмехнулся, помусолил палец и с оттяжкой вляпал малявке по лбу «лещика». У того сверкнули слезинки, но Гошка опять сказал строгим полушепотом: — Стой смирно. Еще не все... Если что натворил, надо расплачиваться, это закон жизни, голубчик... — И деловито вляпал еще раз. — Теперь можешь идти.

Догадка, что за свое унижение можно расплачиваться унижением других, была сперва смутной, просто инстинкт какой-то зашевелился. Но скоро Гошка понял: так оно и есть в жизни. Все перед силой ломаются, зато если свою силу чувствуют, не упустят случая отыграться. Все люди такие. Многие даже трусливее Гошки. Он-то сдался после отчаянной борьбы, а другие хвост поджимают сразу — от первого страха, от первой боли. И не только те, кто его слабее. Более рослые мальчишки, бывало, тоже пасовали перед злым Гошкиным натиском. А если порой Гошка и нарывался на отпор, то что же? Пустяковой боли от драки он не боялся, не такое испытал.

После четвертого класса опять отправили Гошку в «Электроник». Но жизнь в лагере была уже не та. Вернее, Гошка не тот. Воспитательница говорила старшей вожатой:

— А ведь из хорошей семьи.. Откуда в нынешних детях эта немотивированная жестокость?

Она была не совсем права. Гошка бил только тогда,

когда ему не подчинялись. Причинять кому-то боль специально он не старался. Интересно было другое: смотреть, как от страха перед этой болью ребята теряли гордость и делались покорными. Конечно, не все, но Гошка умел выбирать.

Покорных он иногда жалел и даже заступался за них. Так пригрел, привязал к себе семилетнего Витьку Лавочкина из октябрятского отряда. Но потом за что-то разозлился на него, в наказание отвел к болотцу на краю лагеря, бросил туда мячик и велел Витьке лезть за ним. В болотце густо жили пиявки.

— Считаю до десяти, — сказал Гошка. Сел на травку и стал медленно считать. И смотрел, как несчастный Лавочкин боится пиявок, но еще больше боится его, Гошки, и топчется по щиколотку в болотной жиже.

Здесь их застал вожатый Вася. Был Вася вожатым первый раз, а вообще-то работал слесарем на «Электроне». Отличался он простодушием и добротой, но сейчас все понял и разозлился:

— Ты что над человеком издеваешься?

Гошка сказал, что он воспитывает в человеке смелость.

— А если он не хочет, чтобы ее в нем так воспитывали?

— Мало ли чего не хочет. Раз он такой, пускай слушается.

— Ага... — понимающе сказал Вася. — Раз он тебя боится, значит, должен от тебя терпеть. Так?

— А нет, что ли? — нахально спросил Гошка.

— Значит, каждый, кто слабее, должен терпеть?

— А нет, что ли?!

— Очень хорошо. Тогда терпи... — Вася взял Гошку за шиворот и растоптанным кедом отвесил ему два пинка.

Но Гошка знал, от кого надо терпеть, а от кого нет. Законы ему были известны. Он кинулся к начальнику лагеря и поднял такой крик, что пришлось звонить отцу. Отец приехал на своих новых «Жигулях». Он сказал, что Гошка правильно возмущается: нечего позволять, чтобы всякий тебя пинал. Забрал сына домой, а начальнику пообещал поставить вопрос на завкоме.

Вася загремел из вожатых, и ему вклеили выговор по комсомольской линии. Гошке сказал про это отец. Оба были довольны.

А через неделю Виктор Романович всыпал Гошке за самовольную поездку на городской пляж и позднее воз-

вращение: «Ты хочешь, чтобы у матери был инфаркт, турист бестолковый?»

Отсчитав «туристу» обычные десять горячих, он добавил к ним одиннадцатую, самую хлесткую. А взывшему с новой силой Гошке объяснил, что раз ему теперь одиннадцать лет, значит, доза соответственно увеличивается.

В пятом классе жизнь была такая же, как и в четвертом (если не считать увеличения отцовской «дозы»). Внешне такая же. Но Гошка, разумеется, изменился. Подрос, это само собой. И умнее стал. Знал, где нахальничать, а где лучше виновато улыбнуться и сказать, что обязательно исправится. Тем более что улыбка была обаятельная, взрослые поначалу таяли... Но ребята не таяли. И в кличке Петенька (от фамилии Петров) уже не было прежней веселой ласковости. Скорее намек был: улыбка улыбкой, а клюв твердый... Впрочем, никто еще тогда Петеньку особенно не боялся. Но никто и не любил. Относились осторожно, знали: обиды помнит и сам обиженных не жалеет.

Он, пожалуй, вообще никого не жалел. Кого жалеть-то? И разве его, Гошку, жалели? Пожалуй, лишь коричневую бабочку порой вспоминал он с непонятым смущением. Иногда она снилась Гошке: трепетала на ярко-желтой от солнца щепке. «Ты все равно погибнешь, ты прилипла!» — хотел крикнуть ей Гошка, но не мог. И тихо-тихо было. Но тишина эта состояла из шелеста крыльев и тонкого звона, а в звоне звучала отчаянная мольба: «Не надо! Не надо! Не надо!..» И чтобы оборвать эту мольбу, тоскливый этот звон, Гошка наступал на бабочку опять...

Дома, если глянуть со стороны, все было прекрасно. Осенью получили новую квартиру, в том же районе, у парка, только в многоэтажном корпусе. Три большущие комнаты. Отец сделался наконец начальником экспериментального цеха (который даже и не цех, а, можно сказать, завод в заводе). Пестухов стал у него заместителем. Цех расширяли и перестраивали, дел у отца было невпроворот, но ходил он бодрый, стал добродушнее. Прежние методы воспитания, правда, не забывал, но зато перед Новым годом купил Гошке фотоаппарат «Агат». Поскольку он, Гошка, ухитрился закончить вторую четверть лишь с одной тройкой.

Впрочем, это было высшее достижение пятиклассника Петрова за весь год. Вообще-то он учился теперь очень средне. Отец за тройки не ругал, только пренебрежитель-

но морщился. За двойки пару раз отлупил. Но теперь делал он это совсем буднично, словно выполнял еще одну общественную нагрузку. Скучным голосом спрашивал: «Ты когда поумнееешь-то?» Гошка сопел, вытирая мокрые глаза. И Виктору Романовичу, наверно, казалось, что к очередной «педагогической акции» Гошка относится, как и он, — будто к неприятной, но неизбежной нагрузке. И не знал он, что холодный сгусток унижительного страха и горечи за свою покорность по-прежнему сидит в Гошке: не дает ничему радоваться без оглядки. И учиться по-человечески не дает, улыбаться честно... Одно облегчение бывает — когда увидишь эту покорность у других. Но оно ведь не надолго...

Мать, конечно, этого тоже не знала. С отцом они жили душа в душу, квартира была прекрасная, инженер Пестухов не сумел обойти инженера Петрова по служебной лестнице, а гараж для «Жигулей» удалось поставить совсем рядом с домом. На фоне этих удач неприятные эпизоды с Гориком казались не столь уж серьезными. Ну, тройки, ну жалуются иногда в школе. С кем из мальчишек такого не бывает? К тому же дома Горик был послушен, только не мог отучиться ходить по квартире без обуви...

Мать покупала Горикку модные свитеры и штаны с этикетками, доставала у знакомой работницы книготорга самые редкие книги (которые Гошка теперь почти не смотрел) и говорила: «Горик, надень тапочки, ты простудишься»...

В июне мать увезла Гошку отдыхать в Гагры. Отец был по уши занят на заводе, а Горик и Алина Михаевна провели у моря пол-лета. Возвращаться Гошка не хотел, но что поделаешь... Зато, когда он вернулся, в жизни его появилась «таверна».

Кошак

Случилось так. На второй день после приезда из Гагр Гошка с матерью ходил по магазинам, потом она пошла в парикмахерскую, а Горикку велела отнести домой сумку с покупками. Гошка домой не спешил, разглядывал в киосках журналы и марки. У одного киоска — закрытого и стоявшего на отшибе — к нему подошли два помятых пацана со слюняво-презрительными ртами и табачным запахом, ростом не выше Гошки. Заухмылялись.

Гошка сразу увидел себя как бы их глазами: этаким воспитанным мальчик, который только что шел с мамой, в новой рубашечке «сафари», в заграничных штанишках — белых спереди и зеленых сзади, с локонами, наивно-улыбчивый и робкий.

Один сказал сквозь зубы старую, как галактика, фразу:
— Десять копеек есть?

— А... зачем? — спросил робкий мальчик Горик, старательно лупая глазами.

Второй пацан гоготнул (хотел басом, но сорвался на сипенье):

— Мы это... из общества охраны животных... На сосиски бродячим кошкам собираем.

Смотри-ка! С потугами на остроумие.

— Нет, ребята, — сказал Горик. — Извините, но у меня только рубль.

Они заржали оба:

— Годится и рубль!

— Правда, годится? — наивно спросил Горик. — Я не знал...

«Любитель животных» насупился:

— Ты ваньку не валяй, если хочешь остаться красивым.

— Да нет, я же ничего... — Горик поставил сумку и зашарил в кармане. — Я пожалуйста... Вас такой устроит? — он протянул на ладони металлический рубль и уронил его мальчишкам под ноги. «Любитель животных» быстро нагнулся. Тут Гошка вделал ему коленом по зубам. Так, что сам охнул — ссадил кожу.

Мальчишка взвизгнул, замычал и завалился набок. А второму Гошка просто-напросто съездил по уху. Тот присел. Потом оба Гошкиных врага, пригибаясь, побежали. То что случилось, было выше их понимания.

— Стоп! — Это сказал кто-то громко и весело. Рядом оказались двое. Взрослые парни. Один — с желтой кожей, похожий на японца, другой — русский курчавый здоровяк в тесной тенниске и тугих до потрескивания джинсах. Гошка безошибочно почуял, что двое шпанят и эти парни — одна компания. И понял: не убежать. С тяжелой-то сумкой да с разбитым коленом...

Японец был равнодушно-спокоен, здоровяк улыбался, но голубые глаза его не улыбались. Но и злыми не были. Гошке он сказал добродушно:

— Не робей, камрад... — А тем двоим, что замерли

в пятнадцати шагах, скомандовал: — А ну, назад, ханурики...

Беглецы побрели обратно. Покорно так, с опущенными головами. «Любитель животных» зажимал пальцами разбитый рот.

Это чужая покорность опять доставила Гошке удовольствие, хотя сам он был, можно сказать, в плену.

— Что, Копчик, схлопотал от мальчика? — сказал здоровяк. — Сколько я вас учил: не ловитесь на обманчивую внешность...

Гошку осенило. Иногда, в решительные моменты, на него снисходило этакое вдохновение. Он поднял рубль и вложил в ладонь приятелю Копчика. Потом спокойно сказал здоровяку:

— Они сами виноваты. Попросили бы по-человечески, мне не жалко... — Вынул отглаженный платок, протянул Копчику: — Возьми, а то майку закапаешь...

Копчик — смуглый, костлявый, злой — не оценил Гошкиного жеста. Платок отшвырнул, процедил сквозь перемазанные кровью пальцы. Впрочем, что процедил, повторять не стоит. Японец беззвучно засмеялся, показав очень крупные зубы. Здоровяк посмотрел на Копчика с жалостью, а у Гошки спросил:

— Ты, видать, не из здешних мест?

— Почему? — Гошка постарался улыбнуться ясно и безбоязненно. — Я вон там живу, на Тургеневской... Это я с мамашей на югах был, загорел не по-здешнему.

— Я тебя, сволочь, разукрашу совсем не по-здешнему, — плюясь, пообещал Копчик. — Попомнишь, фраер...

— Слова-то какие... — сказал здоровяк. — Ты его, Копчик, не разукрасишь. Ты с ним, хороший мой, помирись. Потому что сейчас мальчик пойдет с нами. Надо ему ногу промыть, а то зараза всякая... Ты, Копчик, зубы-то, небось, от рожденья не чистил.

Все посмотрели на Гошкино колено, перемазанное своей и чужой кровью. Молчаливый Японец наконец заговорил:

— Боба, куда? В «таверну», что ли? А конспирация?

— Не бойсь. Я человека вижу с первого раза...

К городскому парку примыкал Больничный сад. Никакой больницы там уже не было, ее давно перенесли, а старый дом разломали. И флигель в углу сада разломали, но не совсем. Остались две стены с пустыми проемами. Внутри развалин все заросло, но у одной стены

сохранился крытый наклонный вход в подвал. В подвале и была «таверна» — приют для компании Бобы Шкипа (так звали здорoviaка). Что за компания, какие там интересы и дела, Гошка понял сразу. Но ничуть не смутился. Он давно уже сознавал, что жизнь устроена не так, как в стихах «Что такое хорошо, а что такое плохо».

Боба Шкип был полный командир в «таверне». Все ему подчинялись без всяких возражений. Но эта подчиненность никого не унижала и не тяготила: не нравится — мотай из «таверны» (только держи язык за зубами, а то...). Но никто не уходил.

Шкип был справедливый, надежный. И весь «молодняк» в парковой округе знал, что задевать пацанов, знакомых с Бобой, это все равно, что колупать мину...

Шкип был добрый. Он любил собак и пиратские песни. Пел эти песни Эдик Лупин, Японец. Кличка у него была Кама — сокращенная от Камикадзе. Был он молчаливый, весь в себе какой-то, иногда улыбался непонятно, иногда угрюмо глядел под ноги. Но пел всегда хорошо. Гошка не знал, сам придумывает Кама эти песни или где-то берет. По крайней мере, до встречи с Камой он их не слышал. И потом нигде, кроме «таверны», не слышал тоже.

Кама, глядя перед собой, дергал гитарные струны и очень высоким голосом пел про груженные золотом испанские галеоны, про охотников за песчаными караванами, про летучего голландца и про эскадры, плывущие по Млечному Пути. И еще вот эту:

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой,
Где воздух был от южных ветров сладкий,
А паруса — тяжелыми от влаги.

Мы шли меж островов таких различных —
Необитаемых и многолюдных,
То с крепостей встречали нас салютом,
То с диких мысов залпами картечи.

И снова, желтый глаз луны набычив,
Скрывала ночь от нас ближайший остров,
Не веря, что мы можем плыть так просто —
Не жаждающая ни крови, ни добычи.

Мы шли меж островов и дни, и ночи,
Не ведая, чего желаем сами,
И кажется — тот путь под парусами
Не кончен до сих пор еще, не кончен..

После песни Кама подолгу молчал, и его не трогали. Говорили про Каму, что он «колется». То, что он иногда

глотает украдкой горсти таблеток, Гошка замечал не раз. Но однажды своими глазами увидел и то, как, притулившись в уголке, Кама достал маленький блестящий шприц и воткнул себе иглу у локтевого сгиба. Шкип тоже это увидел и быстро заслонил Каму от остальных. И сказал вполголоса:

— Камикадзе ты и есть... Хоть бы о матери подумал.

Гошка потом хмуро сказал Шкипу:

— Зачем это он? Ты не разрешай...

— Поздно. Да и вообще... каждому свое на этом свете.

Он был философ, Боба Шкип. Иногда впадал в грустно-размягченное состояние и объяснял Гошке, Копчику и другим «мышатам», что все беды на Земле из-за разницы между словом и делом. Мол, в одной старинной книге сказано, что раньше всего было слово. От него всякое начало. У всякой вещи, у всякого дела имелось точное название. А потом люди научились трепаться, пудрить себе и друг другу мозги, и слова уже ничего не значат. Самыми красивыми словами каждый умеет прикрывать все, что ему выгодно. Нету соответствия. Отсюда и пошел большой кавардак (Боба выражался несколько иначе).

— Вот возьмите, например, самое главное, — рассуждал Шкип. — То, что, по словам товарища Дарвина, обезьяну в люди вывело. То есть труд. Сколько про него кричат! Что, мол, все советские люди ударно трудятся на благо светлого будущего. И ведь правда трудятся... чтобы ударно зарабатывать. А если можно заработать, совсем не трудясь, — вот оно для нынешнего человека и есть светлое будущее, которое начинается сегодня...

Что-то похожее слышал Гошка и раньше, в разговорах отца с матерью. Таким, кто хотел не работать, а зарабатывать, был, например, Пестухов... А сам папочка? Он что, ради светлого будущего химичил с заграничными шмотками и вляпался на таможне? С тех пор помнит о расплате за головоотяпство и сына полирует, чтобы наследничек не повторял отцовского ротозейства...

Гошка верил Бобе Шкипу, потому что ничего специально тот не доказывал, говорил спокойно: хочешь — слушай, хочешь — балдей. И еще потому, что Гошку Боба среди других «мышат» отличал и пригревал. Однажды, разомлев от безопасности и благодарности, Гошка присел к Бобе поближе, даже прислонился к плечу. И зажмурился.

— Во ластится, будто кошка, — с непонятной ревностью заметил Валька-Валет. — Сейчас замурлыкает.

— Ну и пусть, — отозвался Боба и пятерней провел по Гошкиным локонам. И Гошка, откликаясь на такое великодушие (а также назло Валету), дурашливо произнес:

— Мур-р-р...

Компания засмеялась, Курбаши снисходительно сказал:

— Кошак и есть...

Так и пошло — Кошак. Сперва в «таверне», а потом на улицу просочилось и даже в школу: «Кошак, привет!» «Кошак, тебя там Копчик из девятой школы спрашивает!» «Кошак, мопед надо? Рупь за час!» В школе, правда, прозвище не прижилось, а по подъездам гуляло. Даже мать услышала однажды. Запереживала:

— Горик, что за глупая кличка?

Он сделал невинные глаза.

— Почему глупая? Еще в детсадике дразнили: «Гошка-кошка, Гошак — кошак»...

Он научился выкручиваться. Иногда хитростью брал, а иногда нахальством. Как, например, с бутылкой.

Один раз, чтобы сделать Бобе подарок, Гошка увел из холодильника бутылку марочного портвейна. Думал — не заметят. После отцовских именин там запас еще оставался изрядный. Бутылку — с похвалами в адрес Кошака — усидели в десять минут. «Мышатам» наливали на дно стакана, по «полпальчика», — для экономии, и чтобы не разбаловались, и чтобы не закосели, и тем самым не выдали «таверну». У Гошки от глотка затеплело внутри, он размяк и снова чуть не мурлыкал. Но дома его обожгло ужасом. Отец, больше прежнего стекленея глазами, спросил раздельно:

— Где портвейн?

— Чего? — пискнул Гошка.

— Та-ак... Значит, дошел и до этой ступеньки? Где бутылка?

Гошка переглатывал и пятился.

— Что ж, пошли... — сказал отец.

Тогда Гошка завопил. Громко и от ужаса искренне:

— А я брал?! Какая бутылка?! Ты видел, как я брал?! Чуть что — сразу я, да?! Ты видел?! Ты сперва докажи, а потом лупи! Ты сам говорил: не пойман — не вор!

— Когда это я говорил?

— Сколько раз говорил!

Отец неожиданно усмехнулся:

— Ну ладно... Действительно, доказательств нет. Юридически все чисто.

— Да Мехренцевы, наверно, прихватили с собой, — вмешалась мать. — У Андрея это любимая шутка — на посошок бутылку красть...

— Ладно-ладно... — сказал отец. И ушел.

Гошка оттаял от страха, а на следующий день рассказал парням, как вывернулся от папаши. Уже со смехом. Здесь, в «таверне», было хорошо и вчерашнее казалось нестрашным.

«Таверна» — это был уют, безопасность, отгороженность от мира, где одни люди просто сволочи, а другие притворяются хорошими, а на самом деле все одинаковы. Защищенность от этих людей. И от скуки. От всего, что надоело... Но защитить Кошака от неумолимого отца «таверна» не могла. Жить нужно было украдкой, дома про знакомства свои помалкивать. Даже курить приходилось помаленьку и потом следить, чтобы не дохнуть на отца или мать. И каждый вечер к восьми часам Гошка в «таверне», тоскливо вздыхая, натягивал куртку.

— Ты, Кошак, всегда от самого балдежа линяешь, — сказал однажды лениво-изящный Валет. — Смотри, даже мышки наши не торопятся. А ты чевой-то режим соблюдаешь, как юный пионер.

— У него папаша зверь, — участливо разъяснил Боба Шкип.

— Лупит, что ли? — небрежно поинтересовался Валет.

— А целует, что ли? — хмыкнул Гошка. Здесь он почти не стеснялся, в «таверне» все было на откровенности.

— Ай нехорошо, — сказал пэтэушник Гришка Курбатов — рыхлый, рыжий, но прозванный Курбаши за фамилию и любовь к Востоку. — Ай несправедливо. Ты, джигит, не давайся.

— Толку-то... — буркнул Гошка.

Валет покачал головой, а его очередной адъютант — мышонок Баньчик — понимающе вздохнул.

— Ай неправильно, — опять сказал Курбаши. — Ну ничего. Эти папаши скребут на свой хребет... У нас в восьмом классе был такой Серега Соломин, Дуня его звали, отец его почти что каждый день чистил для перевоспитания. Ну и довоспитывал. Заимел Дуня однажды кнопочник... Папочка за ремень, а Дуня клинок наружу — щелк. «Отойди, — говорит, — я псих. Хакири тебе сделаю, мне за это ничего не будет...» И для пущей выразительности встает в японскую фигуру, в каратэ она, кажется, «горбатый дракон» называется...

— Если кнопчик, на фигá каратэ? — заметил Валет.

— Это ты рассуждаешь, а Дуниному папе когда было рассуждать? Он туда-сюда, поорал да отступился... Дуня сам рассказывал. Вот так, джигиты...

«Таверна» похихикала над Дуниным папой, а у Гошки заглодело внутри. От давнего стыда за себя. От первого намека на решение.

И в самом деле — сколько можно так жить?

Два дня он ходил отключенный от всего. Думал. То ругал себя дураком, то отчаянно решался. Потом на уроке труда украл длинную, косо заточенную стамеску — резец для токарного станка по дереву.

И стал жить со взведенной в себе пружинной.

Недели две Гошка с замиранием ждал, когда папаша «прискребется». Матери хамил нарочно при отце, две двойки принес подряд — все сходило. Видимо, инженеру Петрову было в тот производственный период не до педагогики. Гошка наконец истомился так, что пошел на чудовищное нахальство: на глазах у отца уронил в коридоре окурки.

— Это... что еще? — тихо сказал отец.

— Окурки, — тихо сказал Гошка.

— Подними...

Гошка поднял с трудом. Наклоняться мешала засунутая за ремень стамеска. Звенели в Гошке тошнотворно-слабенькие, совсем не героические струнки. Но в душе была решимость.

Он протянул окурки на ладони.

— Это что? — опять спросил отец. Нехорошо и в упор. И чуть ли не со злорадством. Так, по крайней мере, Гошке показалось. И это папашино злорадство дало Гошке злой ответный толчок.

— Это «Родопи», с фильтром, — бесстрастно сказал он.

— Идиот! Я спрашиваю, откуда окурки?!

В коридор испуганно выглянула мать.

— Из кармана, — сказал Гошка и поперхнулся.

— Значит, и до курева докатился? Лина, посмотри... И давно начал?

— Не... То есть давно, еще в лагере, в том году, но я помаленьку... — Гошка ощутил, как глубоко-глубоко в нем шевельнулась усмешка. Отец замигал:

— Ты... что, заболел, может? Такие вещи говоришь!

— А какие? — через силу, но ровно спросил Гошка. — Ты же сам требуешь: всегда только правду...

— Та-ак... Вот какая, значит, правда... Мало, значит, я тебя... Ладно, пошли.

— Витя... Горик... — сказала мать.

— Пошли... — помолчав, сказал Гошка. В груди разразилась обморочная пустота.

В пасмурной комнате отец включил розовую лампу и достал из-за стола ненавистную черную трубу с крышкой. И Гошка изумился своему внезапному спокойствию. Тихо и ясно вдруг стало — как на пустой летней улице ранним-ранним утром.

— Ну? — сказал отец.

— Сейчас, — выдохнул Гошка. Медленно поднял на животе свитер. Достал стамеску. И проговорил сипло:

— Не подходи...

Отцовское лицо задвигалось, как резиновое. Пошло складками, сморщилось, перекосилось. И опять стало прежним. Только глаза остекленели сильнее. Отец нелепо хохотнул:

— Ты... сдурел? Кретин...

— Не подходи... — сказал Гошка ясно и отчетливо. — Хватит! — Подумал и добавил: — Она как бритва.

— Да ты!.. Сопляк!! — Отец задержался. — Я тебя... Бандит! На отца?! Да я тебя с твоей железкой!..

— А что ты... меня? — опять осипнув, сказал Гошка. — Скрутишь, да? Ну и что? До смерти не убьешь, отвечать придется. А я тебя все равно... потом... Хоть где... Когда спать будешь... Мне все равно...

— Гад! В колонию хочешь?!

— А мне все равно, — Гошка коротко засмеялся. Потом крикнул с прорвавшейся снова чистотой в голосе: — Мне хуже, чем теперь, не будет! А ты... ты лучше не подходи! Никогда!

Он заставил себя смотреть в глаза отца. Так охотники держат взглядом наступающего зверя. И глаза Виктора Романовича нерешительно помутнели. Но ответил он пренебрежительно:

— Сосунок... Ты читал у Лондона рассказ «Убить человека»? Думаешь, это легко?

— А мне легко?! Терпеть от тебя!.. Ты... А я убивать и не буду! Я твою машину искорежу! Вот! — Радостное вдохновение осенило Гошку. — «Жигуля» твоего зас... Изрублю, издеру. Он же тебе жизни дороже! Тебя инфаркт хватит! Ну что?.. Я это сделаю! И гараж подожгу, и дом! В колонию меня?! А тебя куда?! С работы, из партии, со

всех мест! За такого сына тебя самого в тюрьму! В Севастополе выкрутился, здесь не выйдет!

Отцовское лицо опять резиново съежилось.

— Ах ты... Лина! Ты послушай, что этот уголовник...

— Сам уголовник! — Гошка заплакал, но без страха, без стыда за эти слезы, а как-то весело и открыто. — Сам ты... фашист! Как ты меня... Хватит! Лучше не суйся! Понял?!

Отец качнулся вперед, но будто на колючки наткнулся.

— Ну, что?! — кипел светлыми слезами Гошка. — Боишься?! На, возьми меня! Попробуй! — Он раскинул руки. Стамеска торчала из правого кулака, будто меч гладиатора.

Отец метнулся к двери, чуть не сбил возникшую на пороге мать, завизжал в прихожей:

— Вырастили бандита!.. Я сейчас в милицию! Позвоню!

— Никуда ты не позвонишь! — орал вслед Гошка. — Самому хуже будет! Ты трус! Только на беззащитных можешь! А я больше не боюсь! Я теперь все, что хочу, буду! Курить буду! Водку пить! Воровать буду! Тебе на-зло! Буду!.. — Яростная радость освобождения выхлестывала из него этими криками и слезами...

Потом он отдышался, вытер мокрое лицо подолом свитера, всадил сквозь ковер стамеску в твердую паркетину и сел в отцовское кресло. Ощеренно улыбаясь, глядел в открытую дверь, мимо матери. Та все еще испуганно стояла на пороге.

— Витя... Горик, — сказала она. — Да успокойтесь же вы... Горик, надень тапочки, ты простудишься...

...С этого дня началась для Гошки радостная свобода. Отец как бы исчез. Если они и встречались иногда в большой квартире, то не смотрели друг на друга. Уходил отец рано, приходил поздно. Мать была осторожно-молчаливая и смотрела вопросительно-испуганными глазами. Гошка жил как хотел.

Впрочем, ничего страшного он не делал. Если и курил, то по-прежнему немного и не открыто. И конечно, водку не пил и не воровал. Разве что с уроков линиял чаще, да из «таверны» приходил позже. Радость была не в том, чтобы делать что-то запретное. Она была в освобождении, в отсутствии страха. Гошка заново почувал, как это хорошо — жить. Он, как в прежние годы, накиннулся на книги и даже стал уверенней учиться. То есть двоек у него сделалось даже больше, но зато не в пример больше стало и пятерок. Потому что иногда он плевал на уроки, зато

часто, поддавшись вдохновению, расщелкивал самые трудные задачки и запросто делал английские переводы. А устные предметы Гошка и не учил — просто все запоминал на уроках.

Успехи шестиклассника Петрова отметила на родительском собрании Классная Роза. И только седой учитель физики Федор Иванович, который с шестого класса всем говорил «вы», сказал однажды Гошке:

— Вы, Петров, бросаете мне свои знания, как кость надоедливому псу...

Гошка дерзко хмыкнул и пожал плечами.

...Потом Гошка узнал, что отец бегал в школу, жаловался на него Классной Розе. До чего, мол, дошло: руку на отца поднял! Зачем Виктор Романович сделал такую глупость? Не побоялся даже вынести «сор из избы»! От великой растерянности, что ли? Или был в этом какой-то хитрый расчет?

Какой там состоялся разговор, Гошка не знал. Мог только догадываться, что Классная Роза с отцом не церемонилась: он, мол, жнет, что посеял. Школа виновата? А когда школа вмешивалась и советовала, вы что отвечали, дорогой Виктор Романович?

Впрочем, теперь Роза Анатольевна была уже не та наивная выпускница пединститута. Речи о достоинстве личности, благородстве и гуманизме произносила по-прежнему, но знала меру. И умела при случае наорать, как полагается, и вытащить за шиворот в коридор того, кто достоинство своей личности понимал неверно. В школе ее уже ценили, считали, что есть опыт.

Видимо, этот опыт и подсказал Розе, что беседовать с Гошкой-Петенькой про его конфликт с отцом пока не следует, надо подождать, посмотреть. И болтать об этом деле в учительской тоже пока не стоит. Виктор Романович Петров — человек известный и полезный, зачем его подводить...

В состоянии «творческого подъема» прожил Гошка до конца учебного года. Потом пришло лето с Сочами и путешествием по Волге. А к осени Гошка ощутил, что прежней радости жизни уже нет. Ну, начало школьных дней, оно никого, конечно, не радует. Но дело не в этом. Как-то все приелось Гошке. Прежние дни чаще стали приходить на память. Воспоминания о своей слабости можно было заглушить лишь одним: доказать себе, что другие еще слабее. И Гошка доказывал. Он умел делать это хитро, без свидетелей.

Осень была серая, как все осени. А тут еще умер Кама...

Он умер в какой-то больнице, где лечат наркоманов. Говорили даже, что не просто умер, а полоснул по венам стеклом.

Компания сидела в «таверне» молчаливо и невесело. Боба Шкип, Курбаши, Валет, длинный глупый Сонечка, Змей, Копчик, его приятель Пудель и несколько «мышат». Гошка-то, конечно, давно уже не был «мышонком». Кошак, он и есть Кошак...

Гитара Камы блестела на стене от яркой лампочки.

— Что, Кошачок, жалко Каму? — спросил Шкип и потянулся.

— Жалко, что петь будет некому, — вздохнул Гошка.

Шкип сказал скучным голосом:

— Как узнаю, кто еще этим делом балуется, таблетками там, или анашей, или прочей дрянью, убью сразу, чтоб не мучился. Под полный срок пойду, но это сделаю...

«Под срок» Шкип пошел за другое. В ноябре, перед самым уходом в армию. За дело, связанное с товарными вагонами на запасных путях. В вагонах были магнитофоны. Шкип «ходил за магами» с какими-то большими парнями, к «таверне» эта операция отношения не имела. Шкип ничего о «таверне» следователем не сказал, беда ее обошла. Но без Шкипа и без Камы стало уже не так.

Главным сделался Курбаши. Он был ничего парень, приятель Шкипа, но прежнего уюта и радости в «таверне» сохранить не умел. Вместо гитары теперь базлал и дребезжал кассетник. Несколько раз случались драки (при Шкипе это было немислимо). Меньше стало разговоров «про жизнь», больше и злее резались в карты. Гошка, правда, не резался, себе дороже. Однажды он продул Валету полтора червонца, быстро расплатился, но сказал:

— Всѐ, джигиты, Кошак в такие игрушки больше не играет.

Не получилась у него и другая «игра» — та, против которой предупреждал Шкип.

Теперь-то Шкипа не было, и потому длинный Сонечка и Пудель однажды при Гошке и двух «мышатах» достали таблетки и, хихикая, предложили побалдеть. Объяснили, какой прекрасной становится при этом жизнь. У Гошки на душе была пустая скукотища, и он (а, черт с ними, одинок раз!) кинул в рот пять «кружочков». А через несколько минут выскочил наружу. В темном углу, среди засохших репейников, его долго выворачивало наизнанку...

А Сонечка и Пудель правда забалдели, тепло размякли. В таком виде их и застали Курбаши и Валет. Они при онемевших от страха «мышатах» обстоятельно, в кровь, избили двух «любителей кайфа». Курбаши очень опасался, что Сонечка и Пудель, «увлекшись этим делом, провалят явку, раньше чем с помощью аллаха откинут копыта». А Валет больше всего боялся, что таблетками начнут баловаться Баньчик, Позвонок, Липа, новоявленный Пуля и другая мелкота. У него к «мышатам» был свой интерес, он хотел «чистоты кадров»...

Про Кошака никто ничего не узнал. А Копчику, у которого, кажется, тоже была «морда в пуху», Курбаши однажды пообещал:

— Ай, ножки поотрываю, Копчик-джан...

Тот заверещал:

— Ты не пугай! Я знаешь, какой пуганый! — Он иногда срывался на такие истерики, что лучше плюнуть. Курбаши плюнул.

Гошка, позевывая, смотрел на все это со стороны. Курбаши встретился с ним глазами.

— А ты, Кошачок... Аллах тебя знает. Все по краешку ходишь, на полуотколе. Ай, нехорошо.

— Все хорошо, — дипломатично улыбнулся Гошка. — Просто я Кошак. А кошки всегда гуляют сами по себе.

— Не кошки, а кошки, — подал голос уже успокоившийся Копчик. — Это мультик такой есть.

— В мультике кошка, а у Киплинга в оригинале — Кот, — разъяснил Гошка.

Копчик, не слышавший о Киплинге и не знавший, что такое оригинал, поглядел с насмешливой уважительностью:

— Интельгенция...

А на интеллигентную семью Петровых незаметно снизошел мир и благоденствие. Как-то между делом Алина Михаевна сказала мужу и сыну:

— Не надоело вам сычами друг на друга глазеть?

Бодро так сказала, полушутя. Отец отмахнулся с деланной сердитостью:

— У меня с третьим блоком такой провал, что я на весь белый свет так смотрю. Не сычом, а тигром лютым.

Гошка, не знающий теперь страха перед отцом, понимал, что в жизни из всего надо получать свой интерес.

— Да отстроишь ты этот блок. И опять премию получишь. Небось, немалую, — сказал он небрежно.

Отец глянул искоса:

— А тебе что моя премия? На сигареты не хватает?

— Я, между прочим, давно завязал, хоть у кого спроси, — уверенно соврал Гошка. — А для нормального развития современного подростка нужен мопед. У любого пятиклассника есть, а я...

— Ну уж нет! — взвинулась мать. — Все что угодно, а мопед — через мой труп! Я не хочу, чтобы Горик как Сергей...

— А, может быть, все-таки... — примирительно начал отец.

— Ни-ка-ких мопедов! Вы смерти моей хотите?

Гошка знал, что в некоторых случаях с матерью спорить — все равно что головой о рельсу.

— Хоть кассетник приличный тогда... — буркнул он.

Алина Михаевна сразу успокоилась:

— Это другое дело... Горик, надень тапочки, ты простудишься.

— Да в тапочках я, в тапочках! — заорал в досаде Гошка. — Не видишь, что ли!

— Ты что орешь на мать! — закричал в свою очередь отец. Но как-то не по-настоящему.

Эта размолвка не помешала дальнейшему миру. Слово все пришли к молчаливому согласию, что прошлое вооружить ни к чему, так как Горик поумнел, отец подобрел и, слава Богу, все теперь хорошо. Гошка охотно принял «условия игры». Он понимал: чтобы не было лишних осложнений, Кошаком надо быть в «таверне» и на улице, можно иногда и в школе, а дома следует оставаться Гориком, хотя и ершистым (что вы хотите, переходный возраст).

Время шло. Отец строил цех, получал премии и читал про себя в областной газете. Мать занималась квартирой. Пестухов строил козни и приходил иногда в гости к Петровым. Они с отцом на кухне по-свойски угощались коньячком. На Гошку Пестухов смотрел безразлично-ласково и делал вид, что случая на дороге не помнит. Закусывал и говорил:

— Вы, Алина Михаевна, не просто женщина, а научная фантастика. Вопреки неумолимому течению времени, хорошеете с каждым днем... Ох, Вик-Романыч, уведу я, смотри, у тебя жену, я ведь тебя моложе на целый год. И холостой-разведенный...

Мать розовела.

— Я вам, Андрей Данилович, за такие разговоры не дам больше ни капли. Вам вредно... Горик, а ты не слушай взрослые разговоры, иди надень лучше тапочки...

Конечно, ничего этого Егор не рассказал Михаилу. Он только вскрикивал, не сдерживая плача и не стыдясь:

— Ты знаешь, да?! Что ты про меня знаешь?! Как он меня лупил, как я жить боялся! И бежать некуда!.. Из-за твоей милиции... Ты хоть знаешь, что такое беспомощность?! Когда ты как заяц загнанный... Все хорошие, все речи говорят, все воспитывают! А сами!..

Михаил знал, что такие слезы не остановить. Пусть выльются до конца. Он сидел рядом, держал руку на трясушей спине Егора и терпеливо молчал.

Он многое понял из отчаянных выкриков Егора. И думал, что теперь, пожалуй, можно будет рассказать Егору и о своих слезах — о тех, что много лет назад рванулись однажды у него от безудержного горя и нестерпимой вины. И о том, как беззаботный мальчишка Гай превратился в неулыбчивого подростка с запекшимся рубцом на душе. Как неуходящее сознание этой вины, тоска по Толику и по тому Острову детства, который он потерял, сплелись в клубок, и клубок этот не давал дышать...

Правда, тогда он не был один. Ему пытались помочь. Инженер Тасманов прислал письмо — сухое, официальное и с требованием сжечь по прочтении. В письме излагалась выдержка из протокола секретного следствия; из нее делалось ясно, что убийцы Анатолия Нечаева встретили его на вокзале не случайно, а выслеживали давно и планомерно, ибо действовали по заданию западных служб, заинтересованных в срыве испытаний нового советского аппарата. Спасибо Тасманову. Гай сжег письмо и долго жил с горьким облегчением, с тем чувством, которое испытывают маленькие дети после безутешных слез, когда будто заново смотрят на окружающий мир. И печаль Гая была уже со светлыми проблесками, когда он в разных кинотеатрах и клубах снова и снова смотрел «Корабли в Лиссе».

И лишь через год, когда он сделался взрослее и понятливее, первый раз пришло сомнение: а что, если Тасманов просто-напросто спасал его от отчаяния?

Было письмо и от Аси. Она (и как только сумела) достала заверенную справку, что в первой декаде сентября 1967 года Севастопольский автовокзал не произво-

дил продажу обратных билетов для симферопольского маршрута.

Но тогда уже Гай понимал, что дело не в потерянном билете.

Нет, самой лучшей была все-таки помощь Юрки. Его совет: «Гай, дерись!»

Драться надо было со всякими гадами. С такими, какие убили Толика. И вообще со всякой нечистью. Чтобы меньше было слез на душе и чтобы жить без вечного укора. Чтобы не прятать глаза от Аси и Сережки Снежко и свободно ходить по улицам у моря, когда приезжаешь в Севастополь. Чтобы не бояться подойти к могиле, на которой красный от морской ржавчины якорь Холла и поднятый со дна моря обломок мраморной колонны — на нем выбили слова: «Инженер-конструктор Анатолий Сергеевич Нечаев. 15 мая 1937 г. — 9 сентября 1967 г.»

Рассказать Егору, как он, Гай, дрался... Как щуплый интеллигентный мальчик, самый младший в оперотряде, очертя голову кидался на пьяных бандитов и его с трудом успевали выхватить из свалки и заслонить. Как вместо института пошел на завод фрезеровщиком и пробился в аэроклуб, чтобы попасть в ВДВ — десантникам в милицейское училище была самая прямая дорога. Была бы... Если бы не тот последний прыжок и полгода госпиталя...

Он все-таки дрался: с собой, со своей болью, с теми, кто говорил: «Молодой человек, ну какая милиция с вашим-то здоровьем...» Лишь в Москве сухой, изрезанный морщинами, как шрамами, генерал-майор выслушал его историю, не перебивая, и сказал вполголоса: «Ну, давай, сынок...» И подписал направление в школу милицейских сержантов...

А после школы не было уже ни опергруппы, ни патрулей, ничего похожего на бой. Был детский приемник-распределитель, и Михаил, вначале возмущившись таким назначением, не написал потом ни одного рапорта о переводе. Какой смысл был жаловаться на судьбу, когда в первый же день увидел Михаил сотню пацанов, с которыми судьба обошлась не в пример суровой и несправедливой. Издевательски... Здесь тоже надо было драться... С кем? Не с этими же ребятами! Значит, с теми, кто их сделал такими? А как?

Рассказать Егору об отчаянии? О нестерпимом чувстве вины, когда везешь одиннадцатилетнего мальчишку в спецшколу, которая — что бы там ни говорили — тюрьма

для детей? О беспомощности, когда не знаешь, как им всем помочь, как защитить? О страхе, когда ловишь себя на невольном озлоблении?

Он ничего о себе рассказать не смог. Потому что Егор, успокаиваясь, снова твердел. Перестал всхлипывать, стряхнул со спины ладонь Михаила, придвинулся к черному окну.

— Я же ничего такого не знал, — тихо сказал Михаил.

— Ну и ладно, — буркнул Егор.

— Не сердись...

— Да больно мне надо сердиться... Ничего мне не надо...

Они давно уже проехали Подлунную, и город был недалеко. Михаил достал записную книжку и ручку.

— Егор... Я дам тебе свой домашний адрес и телефон. Мало ли что...

— Что «мало ли что»? — не повернувшись, отозвался тот.

— Я понимаю, что такой брат, как я, в твоих глазах не подарок. Но вдруг пригожусь...

— Да не в тебе дело...

— А в ком?

Егор, не стыдясь мокрого лица, глянул прямо на Михаила.

— Ты думаешь, если я вот так раскис... если меня провало, значит, я сделался такой, как тебе надо?

— А мне тебя любого надо, — осторожно сказал Михаил.

— Зачем?.. Мать правильно сказала: это же случайная встреча. Нечаянно сошлись, так же и разойдемся.

— Все-таки возьми листок.

Егор пожал плечами и взял.

— А еще... — Михаил говорил с неловкостью, но упрямо. — Если я вдруг когда-нибудь позвоню, не рычи на меня, пожалуйста. И не разговаривай, как с сотрудником милиции...

И Егор вдруг улыбнулся. Чуть-чуть. Может, просто так, чтобы отвязаться. Но эта короткая улыбка оплатила Михаилу все недавние дни.

Они сошли на перрон. Опять прояснело, было холодно, среди фонарей дрожала зябкая, но яркая звезда. Егор нетерпеливо затоптался. Но Михаил удержал его:

— А насчет случайности нашей встречи ты неправ. Наоборот, удивительно, что не встретились раньше... Ког-

да берут ребят на студию, записывают данные родителей, и странно, что Ревский не обратил внимания на имя: Алина Михаевна...

— Он ничего не записывал, у него помощница была.

— И еще... Ты уж не сердись, но я не раз ворошил в приемнике дела прошлых лет и тоже мог наткнуться на твои анкетные данные...

Егор напрягся, и Михаил торопливо сказал:

— Но главное даже не в этом.

— В чем еще?

— Видишь ли... Ты не подумай, что я в приметы верю или что-то подобное. Просто есть какая-то закономерность. Я до конца не разобрался, но есть...

Егор нетерпеливо молчал.

— Я говорю о Крузенштерне, — с некоторым смущением сказал Михаил. — Будто он до сих пор... ну, что-то решает в нашей жизни, как-то сводит всех нас... Ведь ты из-за встречи с писателем задержался в школе, и поэтому мы встретились у директора. А писатель-то рассказывал о Крузенштерне...

— Он мог рассказывать о чем угодно, — насупленно отозвался Егор.

— Да, пожалуй... Ты сейчас домой?

— Куда же еще...

— А я в кассу за обратным билетом. Пошли.

Они двинулись внутрь вокзала.

— Я все-таки позвоню тебе, когда приеду снова, — с мягким нажимом сказал Михаил. — Надо о многом поговорить. Не бойся, не с воспитательной целью... И хорошо бы посмотреть один фильм...

— Терпеть не могу кино, — сказал Егор.

— Я не про всякое кино... Ладно, пока...

Михаил протянул руку, и Егор вяло дал свою. По ее движению Михаил с досадой ощутил, как Егору хочется скорее уйти.

Михаил не знал, что нетерпеливость Егора вызвана самой прозаической причиной. Какие олухи придумали поезд, который идет почти пять часов, а вагоны без туалетов?

И все же Егор на секунду оглянулся. Потом словно испугался этого и затерялся в толпе.



Вторая часть

Порог

Кино с продолжением

Егор соврал, когда сказал Михаилу, что терпеть не может кино. Смотреть некоторые фильмы он любил. Причем фильмы, казалось бы, для Кошака совершенно неподходящие. «Таверна» полегла бы от смеха, если бы там узнали. Егор стеснялся этой слабости даже перед собой.

Фильмы были слюнявые, он сам это понимал. Часто очень старые и совсем детские. «Старик Хоттабыч», «Кыш и Двапортфеля», «Внимание, черепаха!», «Денискины истории», «Тайна волшебной двери»... Иногда это были сказки, иногда вроде бы «про настоящую жизнь» — все равно на экране происходило то, чего на самом деле не бывает. Там, среди разноцветных домов, по очень зеленой траве, под необычайно синим небом, ходили добрые волшебники и другие неправдоподобные люди: улыбки-

вые учительницы, трогательно заботливые папы и мамы и ясноглазые мальчики и девочки. С этими мальчиками и девочками происходили смешные и поучительные приключения, которые сами по себе Егора не волновали. Его привлекал воздух и свет этих бесхитростных кинолент, беззаботность, разноцветная праздничность, ясная простота в отношениях между героями.

Когда удавалось выловить в киноафише название такого фильма, Егор воровато усмехался, поднимал воротник, натягивал поглубже шапку и ехал в дальний кинотеатр или клуб. Ехал, хотя знал, что уйдет из кино с ощущением еще одного обмана. Даже с тоской. Возможно, это была печаль по той жизни, когда мир казался действительно разноцветным и добрым.

Печаль о времени, когда был Горнист...

Егорка увидел его, когда впервые приехал в «Электроник».

Горнист будил ребят по утрам. Растрепанный после сна, босой, он выскакивал на влажное от росы крыльцо, торопливо заправлял майку в трусики, весело шурился и вскидывал трубу. На серебряном раструбе загорался мохнатый сгусток нестерпимо яркого солнца, стреляющий горячими искрами. Сигнал Горниста был не привычная «побудка», а длинный, переливчатый. Бодрый и в то же время ласковый какой-то. Словно этот трубач — конопатый, большеротый Игорек — подбежал к Егоркиной кровати, смеется и треплет его по плечу...

Бывало, что Егорка просыпался раньше всех в палате, садился на подоконник, и ждал, когда Игорек выпрыгнет на крыльцо и заиграет. Так ждал, что внутри замирало. Это были сладкие минуты ожидания сказки и тайного восторга.

Егорка млеял от спрятанной в душе любви к Горнисту и, конечно, мечтал с ним подружиться. Но Игорек был старше, вокруг него всегда кружился рой веселых приятелей. Ладно, пусть. Егорка был счастлив и тем, если трубач Игорек замечал его мимоходом и улыбался на бегу или говорил несколько слов...

Потом Горика Петрова родители увезли из «Электроника», и скоро случилось то, что зачеркнуло прежние радости.

На следующий год «Электроник» был уже не тот. И сигналы горна, записанные на пленку, разлетались из ревуших динамиков. А Игорька не было.

А если бы он и оказался снова, то что?..

Все это случилось давным-давно, в младенческие годы. Однако вспоминалось иногда. Порой вспыхнет солнце на оконном стекле или пряжке у сумки — и словно утренняя мелодия пробьется сквозь серую монотонность дней... Но вспышка, она и есть вспышка... Миг. А потом — тяжесть на душе какая-то. Впрочем, недолго. Так же, как и грусть после разноцветной киносказки...

Кино называлось «Девочка и крокодил» и, кажется, рассказывало про забавные поиски сбежавших откуда-то зверей. Хотя, возможно, Егор путал с фильмом «Украли зебру» или «Слон и веревочка». Неважно... Егор в тряске и тесном автобусе поехал на окраину, в Клуб текстильщиков. За стеклами проползал осенний день с голыми и мокрыми тополями. Неопределенный какой-то день: то солнце проглянет, то опять все укроется пепельной пасмурностью. С неба — то морось, то снежинки...

И в жизни, в настроении какая-то неопределенность...

Недавно были осенние каникулы. За ними сразу, контрастом, траурные дни — умер Брежнев. Эти дни скомкали привычный ритм, ощущалась неясная тревога. В разговорах, в вопросах, во взглядах. Даже Курбаши в «таверне» сказал необычно серьезно:

— Вот что, джигиты, вы это... полегче сейчас. Чегой-то дружиннички активность запрявляли.

— А мы чего? — хмыкнул Копчик. — Законов не нарушаем.

— Если сунутся, скажем: «Дайте молодежи культурный клуб, чтобы интеллигентно проводить вечера», — с тонкой своей улыбочкой добавил Валет. — Создадим кружок любителей классической музыки, будем собираться легально...

— Точно... — сумрачно сказал Курбаши.

Неясное беспокойство коснулось и семьи Петровых. Отец позже стал приходить с завода и однажды сказал матери:

— Зашевелились... Думают, они одни честные работники, а остальные... Их бы в мою шкуру...

— А Пестухов? — привычно обеспокоилась мать.

— А он везде выплывет. Такое... вещество не тонет...

На несколько дней оказалось скомканным школьное расписание. Вот и сегодня вместо шести уроков — четыре. Учителей куда-то там вызвали. Ну и прекрасно. Поэтому

и можно ехать не спеша в дальний клуб на старый кинофильм...

Однако оказалось, что сеанс про девочку и крокодила отменен. Вместо него в афише значился двухсерийный американский «Спартак». Егор шепотом выругал киношное начальство от кассира до министра, а потом взял билет. Не ехать же обратно не солоно хлебавши. «Спартак» он раньше не видел. Может, и есть на что посмотреть. Гладиаторы там всякие, рубиться станут... А главное — на экране обязательно будет лето. Зеленое, солнечное. А то холод и серая морось так осточертели...

Фильм Егору не понравился. Красок там хватало, звона мечей тоже, но какое-то надоедливое это все было. Мускулистые герои в шлемах с гребешками были похожи один на другого, перепутывались. И так все долго, затянуто...

Егор начал отвлекаться, рассеянно думать о своем. О поездке в Среднекамск и возвращении с Михаилом... Михаил с той поры знать о себе не давал, хотя обещал позвонить... Егор поймал себя на том, что думает о молчании Михаила с досадой... Что за чушь! Больно ему, Кошаку, это надо!

История Спартака на экране кончилась не так, как в учебнике и книжках. Это на минуту доставило Егору удовольствие. Оказывается, Спартак (по крайней мере, в фильме) был вовсе не такой уж герой, а тоже человек со страхами и слабостями. И в последние минуты не избегнул унижения...

Обратный автобус оказался полупустым. Егор устроился один на задней скамье. Впереди него занимала два сиденья обширная тетушка. Из-за тетушки виднелись две мальчишечьих вязаных шапки. Одна — коричневая, гребешком, другая — синяя, с белым пушистым шариком. Шапки были знакомые, особенно коричневая. А торчащие уши и тонкая шея старшего мальчишки — тем более. А когда Егор услышал голоса, стало совсем ясно, что это Ямщиковы.

Младший Ямщиков звонко и решительно критиковал фильм:

— Откуда они взяли, что он в плен попался? Джованьоли пишет, что он в бою погиб!

«Смотри-ка, мышонок читал Джованьоли!»

Редактор не то согласился, не то заспорил с братом:

— Дело даже не в этом. У Джованьоли ведь тоже не точная история, а роман. Главное, что американцы вообще всего Спартака исказили. Показали, будто он всю жизнь был раб в душе и таким остался до смерти. Видать, им это выгодно...

— Потому что они сами за рабство!

— ...Они показывают, будто он был рабом и сыном раба. А это чушь, — негромко, но отчетливо негодовал Редактор. — Он был фракийский воин и попал к римлянам в плен. А потом поднял восстание... Он бы ни за что на свете не дал распять себя!

— Конечно! У него же меч в руках был! А он...

...Меч Спартаку, схваченному после битвы, дали римляне. И молодому воину, другу Спартака, дали. Обступили их плотным кругом. Красс надменно сказал:

— У вас будет последний гладиаторский бой. Один из вас умрет от меча. А победитель будет распят.

И вот друзья кидаются друг на друга. Каждый старается убить товарища, чтобы избавить его от позорной смерти на столбе с перекладиной. Спартак сильнее, он побеждает. И медленно умирает, привязанный к приколоченному на высоте брусу...

— У них же были мечи! — опять стеклянным от обиды голосом сказал Ваня. — Если по правде, они бы на римлян, а не друг на друга кинулись! Они бы сколько еще врагов искрошили!

— По правде так и было, — утешил брата Редактор (а Егор усмехнулся). — Даже еще лучше. Спартак в последней битве дрался двумя мечами. Враги его окружили, а он швырнул в них свой тяжелый щит, подхватил левой рукой второй меч и рубился, пока был жив... Его потом нашли под грудой римлян...

Ваня негромко (почти неразличимо для Егора) сказал:

— Я про это не знал... про два меча. В книжке, по моему, этого нет.

— Про Спартака ведь не одна книжка... Я читал...

Егор сидел, втянув голову и отвернувшись к окну. Не хотелось, чтобы Ямщиковы узнали его. Но они назад и не смотрели. На остановке у овощного магазина они вышли через переднюю дверь, а Егор выскочил сзади, зацепив заругавшегося пенсионера.

Чтобы огрызнуться, Егор на две секунды задержался и мельком услышал Венкины слова. Тот сказал бра-тишке:

— Беги в булочную и сразу домой. А я капусту куплю...

Но тут же Егор перестал думать и о вредном пенсионере, и о Ямщиковых, потому что увидел Копчика.

Копчик топал вместе с «нетаверновскими» друзьями Чижом и Хныком. Теми самыми, с кем ловили Редактора. На ходу Копчик отдирает зубами крышку сигаретной пачки.

Егор почувствовал, как хорошо сейчас, в этой уличной промозглости, подымить, погреть себя уютным табачным огоньком. Но просто так подкатывать к Копчику было неинтересно. Лучше сделать наколочку — выскочить неожиданно. Копчик вздрогнет и, может быть, даже завизжит, он же истеричный. Правда, потом он заночует: когда Кошак отдаст деньги за кассету? Егор объявил, что потерял ее, и Копчик требовал девятнадцать рэ: девять за саму кассету и червонец за ценную запись. С него, мол, тоже трясут... Ну ничего, три недели терпел, потерпит еще...

Егор знал, что Копчик с друзьями пойдет к своему дому по Калужской. Это была улица с вековыми березами и домами купеческих времен. Некоторые дома стояли разрушенные. Городские власти поступали с ними крайне беспощадно: выселят людей из старого особняка, разломают его и оставят в таком виде. Развалины темнеют оконными проемами, зарастают крапивой...

Егор, не замеченный Копчиком и компанией, поспешил вперед и укрылся в разбитом особняке с остатками узорного чугунного крыльца. Притаился у внутренней стены с клочьями обоев — так, чтобы из глубины видеть через пустое окно улицу.

Крыша над головой была пробита. Неожиданно пошел крупный снег. В проломе, на фоне светлого неба, он казался темно-серым, а черную землю и серый забор в оконном проеме заштриховывал белыми густыми росчерками. Егор поднял воротник, придвинулся к окну, чтобы не прозевать Копчика.

Но сперва он увидел Редактора, тот поспешно шагал и вертел головой: снег залетал ему за широкий ворот, на голую тощую шею. А руки у Веньки были заняты — в одной школьная сумка, в другой авоська с тяжелым вилок.

Егор мельком и привычно позлорадствовал: как Редактору снег-то за шиворот! И услышал топот: Веньку догоняли.

Венька по-петушиному оглянулся и сразу встал спиной к толстой березе. Не побежал. Куда убежишь от троих-то, да еще с грузом. Хотя не в грузе дело. Егор понимал, что Редактор не побежал бы и налегке...

Со странным чувством удовольствия (попалась птич-

ка!), любопытства и неловкости Егор опять отодвинулся в глубь разрушенной комнаты — чтобы остаться незамеченным и посмотреть бесплатный спектакль. Ну что, Редактор? Это тебе не про Спартака рассуждать, который с двумя мечами на толпу римлян. Это реальная наша житуха, никакой романтики. Не Красс и не Помпей, а Копчик с двумя дружками, не слыжавшими ни о Джованьоли, ни о законах рыцарских поединков. Они народ простой...

Копчик вынул изо рта сигарету, притушил о ладонь и спрятал в карман. Сказал почти ласково:

— Ямщик, не гони лошадей...

— Чего опять надо? — отозвался Венька. Безнадежным тоном, но и без заметного страха. Даже с ноткой пренебрежительной скуки. Уловив эту нотку, но еще сдерживаясь, Копчик процедил:

— Так, Ямщикок, ничего нового. Давно тебя не били.

— Последний раз аккурат десять дней назад, — хихикнул Чиж.

— Ну, давайте, — тихо сказал Венька и, кажется, прищурился (за снегом не разглядишь толком). И опустил на землю сумку и вилок в сетке.

— Щас махаться опять будет, — сопя, сказал низкорослый, толстый Хнык. — В тот раз по губе мне задел, подлюка. Щас не заденешь...

— Ох и надоели вы мне, гады, — уныло произнес Венька. — Хоть бы понять: чего вам надо-то? Чего вяжетесь?

Чиж опять хихикнул по-своему («х-хык...») и приготовился. Оглянулся на Копчика. Но тот вдруг предложил миролюбиво:

— А ты откупись, Венечка. Недорого возьмем.

— Да? — непонятно сказал Редактор.

— Ага! — обрадовался, даже подскочил Хнык, самый глупый из троих. — По трояку на нос! Всего!

— Много себя ценишь, — холодно сказал ему Копчик. — Хватит и по рублю. Не в деньгах счастье. Не правда ли, Веня?

В голосе Копчика Егор уловил насмешливо-философскую интонацию. Странно знакомую, но Копчику не свойственную. И вдруг понял: таким тоном в давние времена говорил иногда Боба Шкип. И оттого, что Копчик, скотина, пытается подражать Шкипу, Кошака резанула злость. Вот выскочить бы да врезать Копчику по соплям! А потом и двум его холуям. Это хорошо получилось бы, если нахрапом! А может, и Редактор хоть маленько помог бы...

Егор даже улыбнулся, представив такую неправдоподобную вещь. И прикинул в уме: а что было бы потом? Наверно, многое в жизни пошло бы по-другому... По-другому — это как? Куда и зачем? Без «таверны»? И главное, ради кого? Выходит, ради Редактора? Лезет же в голову всякое...

Копчик — он все-таки Копчик. Хотя и противный иногда, но свой. И понятный. Вот и сейчас он ясен Егору, как дважды два. Не так уж важно Копчику раскровянить еще раз Ямщикова. Главное для него, как было и для Кошака, переломить Редактора. Без битья — даже лучше. Пусть покорится страху, пусть послушным станет. Иначе какая-то неуверенность на душе...

И, давая в себе эту неуверенность, Копчик повторил:

— Хватит трояка на всех. Недорого. Выложишь, Ямщикок?..

— Если бы вы знали... — громко выдохнул Венька.

— Если нету, мы подождем, — сунулся Чиж. — Ага, Копчик?

— Если бы вы знали, — устало сказал Редактор, — как вы мне осточертели... Я бы все деньги, какие смог достать, отдал бы, чтобы не видеть никогда вас больше...

Егор не дышал в своем углу, чтобы слышать все. Сквозь летящую сетку снега он смутно видел Веньку с неразличимым лицом и спины троих. И тихо было так, что слышался шорох снежных мух.

— Так что? — нетерпеливо разбил тишину Чиж. — Нету, что ли?

— Да не в этом дело, — печально сказал Редактор. — Не могу я, Копчик, дать вам по рублю.

— Не ценишь, значит... — Копчик покивал. — А ладно, мы не гордые. По двадцать копеек дашь? И не тронем больше, гад буду, если совру.

Егор совсем замер. Обидно же, если ему, Кошаку, Венька не уступил, а Копчику теперь сдаться! А ведь он может! Потому что здесь и гордость можно сохранить! Отдаст Копчику с друзьями двугривенные и усмехнется: «Всё, в расчете! Гуляйте и помните уговор...» Получится, что он не отступился, а вроде бы кинул по обглоданной косточке зубатым псам.

Но нет, Редактор не способен был на уловки с собой.

— Не выйдет, Копчик, — сказал он.

— А может, хоть гривенник? — серьезно спросил Копчик. — Один на троих? А, Веня? Так сказать, символически...

Это было уже совсем интересно. У Егора жилки на-

пряглись от любопытства и невольного сочувствия Редактору.

— Ни копейки я не дам, отвяжись, — отозвался тот.

— Даже ни копейки?! — у Копчика проскользнула истерическая нотка. Но он сдержал себя. Кажется, заулыбался: — А может, копейку-то дашь? Ну, одну копеечку? Маленький медячок? А? — Копчик спросил это почти жалобно.

— Ни гроша, — сказал Венька и вздохнул.

— Неужели такой жадный? — голос Копчика стал зловеще-ласковым. — Всего копеечку. Не дашь — по морде опять набьем. Дашь — больше никогда не трону. Неужели для этого жалко медяка?

— Да не жалко, — убежденно и спокойно, будто они просто так беседуют, разъяснил Венька. — Не жалко мне медяка. Я же говорю, кучу денег не пожалел бы, только чтобы ты отвязался от меня... Прискребаясь все время, васады дурацкие устраиваешь. Знаешь как опротивело!

— Ну, так в чем же дело? — удовлетворенно спросил Копчик.

— А ни в чем, — устало сказал Венька. — Не могу я от тебя откупаться. И бегать не могу. Мне потом противно будет перед самим собой: какого-то Копчика медяками задобрить хотел...

Копчик быстро ударил его по зубам. Венька нагнул голову, вскинул руки и бросился на Копчика. Было видно, что бросился безнадежно — лишь бы не стоять беспомощно, когда бьют.

Его сбили на землю сразу — Хнык ударил сбоку, а Чиж дал подножку. И Егор успел заметить, как Редактор прикрыл голову и как его успели пнуть несколько раз. Но раздался гневный мужской голос, и компания в секунду «дала ноги», исчезла за снегом. Венька вскочил.

Рядом с ним оказались мужчина и женщина, пожилые. Женщина охала и отряхивала Редактора, мужчина что-то спрашивал и кашлял. А Егору на секунду почудилось, что Венька смотрит в оконный проем и видит его, Кошака. Ерунда, конечно...

Егор ощутил вдруг, что мускулы у него натянуты, как для скачка. С чего бы это? Уж не хотел ли он с полминуты назад выскочить и вмешаться в драку? Чушь какая...

Он расслабил мышцы, по-кошачьи скользнул за внутреннюю перегородку, прошел несколько разрушенных комнат и оказался на пустыре. Снег валил все гуще (не зима ли наконец пришла?). Егор поверх шапки натянул ка-

пюшон. И дворами вышел на большую улицу Первомайскую. Смутно было на душе. Неясно.

Дома постоял перед стеллажом, отыскал «Спартака» Джованьоли, бухнулся на тахту, полистал, усмехаясь. Отбросил книгу.

Вспомнил, как лихо улепетнули Копчик, Хнык и Чиж. Подумал: «Повезло Венечке, что прохожие появились». Потом подумал еще — будто со стороны услышал: «А может, и Копчику повезло...» И уж совсем дурацкая мысль проскочила: «А может, и всем нам...»

Лучше всего было бы пойти в «таверну» и рассказать про этот случай. Как перепуганно Копчик драпал от пары пенсионеров. Приукрасить, конечно. Будет общая ржачка, а Копчик станет лупить глазами: откуда Кошак все знает?

Но вставать было лень. И «ржачки», по правде говоря, не хотелось. Вот если бы, как раньше, был в «таверне» Кама с гитарой...

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой...

Порог

С утра болела голова и скребло в горле. Егор сначала не хотел даже идти в школу. Но потом подумал, как мать пристанет к нему с градусником и таблетками: «Глотай, Горик, не капризничай, это от головы, а это от жара...» Хотя знает, что его от любых таблеток с души воротит.

Сонно и тупо, ни о чем связано не думая, отсидел Егор на уроке истории. И продолжал сидеть после звонка. Все с гвалтом и толкотней спешили из кабинета, а Егору лень было вставать. Наконец встал, поволок за ремень к двери грузную сумку...

И в дверях — лицом к лицу — сошелся с Ямщиковым.

Был Редактор бледный, и глаза у него пылали. Именно это книжное сравнение пришло в гудящую голову Егора, когда наткнулся на Венькин взгляд. Редактор (подумать только!) загородил Кошаку дорогу и тихо, с придыханием выдал:

— Ох и подонок ты, Петров...

Егор даже забыл про хворь. Замигал. И хотел спросить ехидно, а получилось глупо:

— А... чему обязан?

Часто дыша от ненависти, Редактор объяснил:

— Раньше я думал, что ты просто сволочь. А ты еще и трусливая сволочь...

Врезать Редактору — это было проще всего. Кажется, Венька того и ждал. Сам нарывался. А Егор опять ощутил вялость и тупую боль в голове. Он отвел глаза от Венькиных зрачков, посмотрел ему в лоб и сказал пренебрежительно:

— Люблю узнавать про себя что-то новое. Подробности будут? Насчет трусости.

— Думаешь, я не знаю, что это ты Копчика с его шестерками на меня вчера натравил? А сам — в укрытие? Чтобы характеристику не испортить!

— Я?! — изумился Егор. — Помолчал, соображая. И себе уже, а не Веньке сказал: — А... Заметил, значит...

— Да, Кошак. Ты увлекся зрелищем и неосторожно высунул свою трусливую морду.

— Было бы на что смотреть... — хмыкнул Егор, и вдруг стало неловко. Сам этому удивился. И чтобы задавить глупую стыдливость, обстоятельно разъяснил: — Да, сделалось интересно, как ты начал махать на Копчика. Просто цирк.

— Трое на одного — всегда цирк, — сипло сказал Венька. И Егор ощутил его ненависть, как ощущают кожей холод или жар. «А ведь есть от чего...» — вдруг подумал он. Без сочувствия Редактору, конечно, без смущения уже, а так, аналитически. Себя и Веньку переставил в уме, как шахматные фигуры. Будто его, Кошака, трое прижимают к березе, а Редактор, ухмыляясь, глядит из развалин. Тут, пожалуй, заведешься...

— Ну, и чего ты хочешь? — спросил Егор.

— Хочу выяснить. Ты стопроцентная падаль, или что-то от человека осталось?

— Любопытно... — Егору в самом деле стало любопытно. — А как?

— Если ты меня за что-то не терпишь, можешь один на один? Или вы там привыкли только сворой, пошакальи?

— Стыкнуться, что ли? — удивился Егор.

— Хоть прямо здесь, хоть за гаражами на дворе! Боишься? Конечно, ни Копчика рядом не будет, никого другого...

Кошаку не нужен был Копчик, если такое дело. Кошак, даже кислый и вареный, как сейчас, мог срезать Редактора одним приемом, раскатать в блин, сложить вдвое и вчетверо и законопатить им любую щель. Но... а потом-то что? Венька утрет кровь, залечит ссадины и оста-

нется в своей прежней непобедимой ненависти. И все равно будет думать, что Егор — наводчик.

— Измордую я тебя, а какой смысл-то? — спросил Егор.

— Боишься, — искренне сказал Венька. В гневном своем запале он, видимо, ощущал силу совладать с Кошаком.

— Ну, давай... — вздохнул Егор и отступил в кабинет. — Давай уж здесь, пока никого нет. Это быстро...

Венька сжал губы и шагнул следом. Абсолютно страшный, он был сейчас даже симпатичен. Егор сделал еще шаг назад и сел за ближний стол. Подпер щеку.

— Подожди, Редактор. Одно слово... Ты сейчас, возможно, мне даже и навешаешь по ушам. Я сегодня полудохлый, а ты в таком... яростном вдохновении. Как Спартак, который с двумя мечами на римлян... — Он заметил, как у Веньки удивленно обмякли и разомкнулись губы, приподнялись брови. — Я только хочу, чтобы ты знал... Это я честно говорю: Копчика с ребятами я не наводил. Я его сам там подкарауливал, чтобы выпрыгнуть и шмон устроить. А тут тебя черт принес...

— Заврался, Кошачок... — презрительно сказал Венька.

— Да нет же! — Егор сам удивился, как ему хочется, чтобы Редактор поверил. А зачем? Не все ли равно... — А впрочем, дело твое, не верь... — Он вытолкнул себя из-за стола. — Айда к доске, там просторнее... Только потом бочку на меня не кати, не я начал.

— Не бойся, скажу, что я...

Начать они, конечно, не успели. Ворвалась в кабинет орава из восьмого «Б».

— Ну вот... — сказал Егор Веньке.

— Выкрутился, — бросил ему Редактор. Брезгливо, но, кажется, и с тайным облегчением. Оба вышли в коридор. Венька на прощание смерил Егора взглядом — будто плюнул.

— Можно ведь и за гаражами, — сказал Егор. — Только уж на другой перемене, сейчас звонок будет...

— Ага! А ты сбеги с урока и позови свою кодлу!

— Не позову, обойдусь и так... Хотя дурак ты, Редактор. В двадцатом веке живешь, а все в рыцарей играешь...

— А ты в кого?

— А я — в себя... — отозвался Егор. Потер лоб и удивленно сказал: — Вот черт... Мне почему-то хочется тебе доказать, что не звал я вчера Копчика. Глупо, конечно...

— Не глупо, а бесполезно, — глядя в сторону, ответил

Венька. Без прежней злости, утомленно. — Ну ладно, я поверю. А что с того? Все равно ты подонок и я тебя терпеть не могу.

— Закономерно, — усмехнулся Егор. — За что тебе меня любить?

Им бы разойтись, а они шли по коридору как приятели. Со стороны казалось — одноклассники беседуют о привычных делах.

— Я не про «любить», — глядя под ноги, разъяснил Венька. — Я ненавижу... таких, как ты.

— Каких?

— Таких вот... которые не живут, а приспособливаются.

— Я? Приспособливаюсь? — по-настоящему удивился Егор.

— А разве нет? Везде. На улице тебя бандюги из «таверны» берегут. А в других случаях важный товарищ Петров за сыночка заступится. Один звонок по телефону — и все в порядке...

— Много ты знаешь, — тяжело сказал Егор.

— А что, не так?

— Ну... пускай так. А тебе завидно?

— Вот еще. Без дружков да без папаши ты чего стбишь-то?

— А ты? — огрызнулся Егор. Без злости, автоматически.

— А при чем тут я? Мне и не надо, чтобы кто-то мне завидовал. И другим я жизнь не отравляю...

— Как знать...

— А вот так и знай! Если я с кем спорю, то честно. На глухих дорожках, да еще с помощниками, никого не караулил.

Егор кивнул:

— Да, в спорах ты сильнее, чем в драках...

— Ну, ты со мной еще не дрался! — опять взвинулся Венька. — Ты все чужими руками.

— Опять ты прав, Ямщиков, — согласился Егор. Даже с каким-то удовольствием. И добавил неожиданно: — В одном только не прав. Но ты не знаешь...

— Чего такого я не знаю? — сказал Венька агрессивно.

— Про отца... Не отец он мне.

Венька сбил шаг и удивленно глянул сбоку на Егора.

— Ага, — кивнул Егор. — Он отчим, я недавно узнал. Отец был инженер-подводник, его убили бандиты. Давно...

Венька шевельнул плечом — и удивленно, и смущенно, и непримиримо. И слова его были такие же:

— Ну а... какая разница в конце концов? Что это меняет?

— Сам пока не пойму...

— Ну а... мне-то что? Зачем ты мне это говоришь?

— Не знаю... — медленно сказал Егор, потому что не знал. — Правда не знаю... Может, потому, что больше некому?

И быстро пошел вперед, оставил Веньку.

«Может быть, потому, что больше некому»... Зачем он это сказал?

«Не знаю...»

Или правда хотелось рассказать об отце и не знал кому? Не в «таверне» же говорить об этом.

«А почему не в «таверне»?

Он же столько раз там рассказывал о своих делах. Даже тайнами делился... Видать, не те были тайны. Услышав историю погибшего отца, обитатели «таверны» скорее всего полезли бы в детали: «А откуда знаешь?.. А ты чё, брата-ментá заимел? Ну даешь, Кошак!.. А тех хануриков взяли? И чего? Вышку дали?.. Конечно, вышку, это ж заранее обдуманная мокруха...»

Нет, не для «таверны» разговор... Ну, а Веньке-то все-таки зачем сказал? Что за язык-то дернуло?

Он думал об этом на уроках, а потом — дома, когда бесцельно валялся на тахте или бродил по комнатам (под периодические просьбы надеть тапочки). И фраза эта — «Не знаю... Может быть, больше некому» — повторялась в мыслях и что-то очень напоминала, обретала знакомую интонацию.

И наконец Егор вспомнил: тем же тоном, со спокойным удивлением и холодной честностью, пытаясь понять самого себя, он в вагоне, после стычки с Фатером и Федюней, сказал Михаилу: «Не знаю... Может быть, потому, что ты все-таки брат?»

Ну, а сейчас-то что? Редактор-то здесь при чем? И случай совсем не тот... Но от разговора с Венькой мысли уже перешли к Михаилу. Егор подумал, что прошло три недели, а тот о себе не напоминал. А ведь обещал позвонить!

И Егор признался себе, что все это время помнил про обещание Михаила. Со смесью любопытства и тревоги ждал звонка.

«А зачем тебе это надо?» — одернул он себя.

«А мне и не надо! Просто... трепло такое. Говорил «повзвоню», а сам...»

И ответом на эту мысль громко запел птичьими трелями новый кнопочный телефон. Длинные, междугородные сигналы!

Отец еще не пришел, мать ушла к знакомым («Горик, салат в холодильнике, котлеты на плите, я-буду к девяти. И не ходи босиком...»). Егор выскочил в переднюю и взял трубку.

Звонил, конечно, не Михаил. Спрашивали отца. Кажется, из Москвы. Воинственный женский голос. Егор сумрачно разъяснил, что Виктор Романович Петров так рано с работы не приходит, надо звонить на завод.

— Там его тоже нет на месте!

— Естественно. Он не сидит в кресле, а мотается по объекту. А карманных телефонов еще не придумали.

— Меньше бы мотался, больше было бы проку, — отчетливо сказали на том конце провода. И Егор представил раздраженную округлую даму.

— Так и передать? — ехидно спросил он.

— Так и передайте.

— Ему захочется узнать: от кого именно?

— А вы не пугайте! Времена не те! — И гудки.

Егор присел на замшевый пуф у телефонного столика. Забыл про скандальную даму и несколько минут думал о своем. Потом, усмехаясь от неловкости перед собой, вызвал 006 — справочное междугородки.

— Код Среднекамска скажите, пожалуйста...

Посидел еще с полминуты. И механически, словно кто-то другой двигает его пальцами, набрал вызов Среднекамска и домашний телефон Михаила — номер он помнил наизусть.

Почему-то бестолково затюкало внутри. Глупо. Во-первых, вообще глупо, а во-вторых, старший сержант Гаймурагов наверняка на дежурстве или в командировке...

— Да, — сказал женский голос. — Я вас слушаю... Алло!

— Это квартира Гаймуратовых? Здравствуйте... А можно Михаила... Юрьевича?

— Миша, тебя... — сказали в далеком незнакомом доме. — Иди скорее, кажется, опять междугородная...

— Слушаю, — глуховато сказал Михаил. — Кто говорит?.. Это Севастополь? Алло!..

— Привет, — выдохнул Егор. — Это не Севастополь. Это я, Егор... Петров.

— А-а... — прозвучало без радости, даже с досадой. И вдруг по-новому: — Кто? Егор?! Ой, ну здравствуй! Молодчина, что позвонил! Ты извини, я сразу не понял. Я тут с Севастополем недавно говорил, и вдруг опять такой же звонок!.. Как дела?

— Дела... Да по-всякому.

— А почему звонишь? Что-то произошло?.. Или так просто?

— Так просто... А что может произойти? — Егор за усмешкой спрятал растерянность. В самом деле, зачем он позвонил? Хотя бы причину заранее придумал, идиот. — Я так... Бумажка с твоим номером под руку попалась... а я дома один сижу, делать нечего. С простудой к тому же...

— Сильно простыл?

— Да нет, маленько горло скребет... — «И вообще что-то скребет, — добавил он про себя. — На душе, как говорится...» И вдруг сказал; — Миша... А у тебя фотография есть?

— Чья? Мои?

— Отца... Ну... Нечаева.

— Есть, конечно, Егор! Много!

— Как-то, понимаешь, по-дурацки тогда вчшло... Ничего не успел спросить толком. Может, правда надо было зайти к вам...

Егор понимал, что «сдает позиции», но не было в нем обиды на себя и смущения. Только грустно немного было...

Михаил помолчал и сказал с осторожной ласковостью:

— Все поправимо, Егор. Я завтра же вышлю снимок.

Эта ласковость и готовность разом оживили в Егоре прежнюю неприязнь. Он хотел насупленно ответить, что у него не горит, но Михаил заговорил опять:

— А если надо скорее, то позвони Ревскому! У него снимков Толика тоже много. В том числе и детские...

— Это режиссер, что ли? — ошетинился Егор.

— Да. А что?

— А ты не знаешь «что»? Я, по-моему, рассказывал. Как говорят деловые люди, «у нас не сложились отношения».

— Плюнь! Он же не знал, кто ты такой! А когда узнает...

— И что? Изменит мнение о моем моральном облике?

— Егор... Брось ты этот тон, а? Ну, в самом деле...

— Да не в тоне дело... Значит, пришлешь карточку?

— Я же сказал... А про Ревского я вот почему вспомнил. Он бы мог получше, чем фотографии показать. Я тебе не успел рассказать тогда...

— Кинолентку, что ли? — догадался Егор.

— Когда мы с Толиком были в Севастополе, Ревский нас заманил участвовать в съемках, в массовой. Толик там в одном эпизоде... Сейчас этот фильм редко идет, но в кинохранилище-то он есть, Ревский мог бы...

— А как называется кино?

— «Корабли в Лиссе».

— Может, пойдет на повторных экранах. Тогда и посмотрю.

— Как хочешь... Егор...

— Что?

— А ты никому не говорил... про нашу встречу? И что знаешь про отца?

— Зачем? — сказал Егор прежним тоном, как в Среднекамске.

— Да нет, я так... Может, и к лучшему.

Егора вдруг опять толкнуло:

— Я говорил... одному человеку. Сегодня...

— Кому?

— Да... ты не поверишь. — Егор стесненно хмыкнул. — Венке Редактору.

— Ко-му?

— Ну, тому самому... с которым мы... Не помнишь, что ли?

— Нет, я помню! Но почему ему-то?.. Или вы что? Вдруг помирились?

— Наоборот... — Егор поймал себя, что криво улыбается. — Он меня, понимаешь ли, на поединок вызвал. Пылая благородной ненавистью. А вместо драки вышла беседа... Глупая, правда...

— А из-за чего поединок?

— Да так... мелочи жизни.

— Замахнулся — стукай, — сказал Михаил. — Начал — говори.

— Ну, если интересно тебе...

И Егор, все так же улыбаясь, поведал о своей засаде на Копчика и о стычке Редактора с Копчиком, Чижом и Хныком.

— Д-да... — помолчав, сказал Михаил.

— Что «да»? — напружинив нервы, спросил Егор.

— Так... — голос Михаила стал вялым. — А ты, значит, был в роли «американского наблюдателя»?

Егор монотонно поинтересовался:

— А в какой роли ты хотел бы меня видеть?

— Честно говоря, в роли этого Редактора...

— Ну, меня так легко не возьмешь, если даже трое...

— Я не о том. Я подумал, что будь Редактор на твоём месте, а ты на его, он не наблюдал бы спокойно,

— А что бы сделал?

— Ну, если он такой, как мне кажется...

— А он такой и есть, — жестко вставил Егор.

— ...Тогда он кинулся бы на помощь.

— Что?! Ради меня?

— О Господи ты Боже мой... — страдальчески отозвался за много километров двоюродный брат. — Ну как тебе объяснить элементарные истины... Человек не бывает порядочным ради кого-то. Он если честный, то сам по себе. И ради себя, в конце концов. Чтобы совесть не грызла. А иначе...

— Если «ради себя», то это уже эгоизм, против которого ты активно борешься, — ядовито заметил Егор.

— Ну и прекрасно, если человек такой эгоист! Он на месте сидеть не станет, если видит, как трое бьют одного...

— Даже если его врага?

— Трое нормальных людей не будут бить даже врага. Обезвредить могут, если он правда враг, скрутить... А издеваться — это лишь подонки могут... Кстати, с чего ты вбил себе в башку, что Редактор твой враг?

— Жизнь вбила, — с философской усмешкой ответил Егор. — Развела нас по разные стороны баррикад.

— Ну и дурак, — вздохнул Михаил.

— Ну и сам дурак, — с непонятным облегчением сообщил Егор.

— А ты можешь честно ответить на один вопрос?

Егор подумал и сказал с оттенком печальной гордости:

— Ты мог бы заметить, что я всегда говорю с тобой честно.

— Тогда скажи: там, в развалинах, тебе ни на секунду не хотелось выскочить и вмешаться?

«Нет, конечно!.. Я не знаю...» Он вспомнил мгновение, когда представил, что может сделать такое. Представил или какой-то миг хотел?

Егор опять поежился от неловкости перед собой. Сказал дурашливо и сумрачно:

— Товарищ старший сержант, можно, я не буду отвечать на этот вопрос?

— Можно, — быстро согласился Михаил. — Это уже хорошо.

Тогда Егор почти заорал в трубку:

— Что за подлая привычка у тебя копать в людях! Тошно даже!

Михаил неприятно заржал. Потом сказал:

— А Копчик твой, судя по всему, законченный мерзавец.

— Такой же, как и я, — мстительно сообщил Егор. — Как говорят в свете, «мы люди одного круга».

— Будем надеяться, что не совсем одного...

— Не надейся, — искренне сказал Егор. — Я друзей не продаю...

— Верю. Смотри только, чтобы «друзья» тебя не продали...

— Иди ты знаешь куда!

— Лучше пойду искать фотографию. Завтра pošлю...

Ты еще не раздумал? Нужна она тебе?

— Ты сам-то не раздумал? Или жалко стало?

— Завтра же... А телефон Ревского дать?

— Обойдусь, — буркнул Егор. — Пока... — И положил трубку.

Весь вечер Егор злился на Михаила и на себя. И вообще на жизнь. Но утром почувствовал, что вчерашний разговор не оставил злого осадка. Вспоминался он даже с каким-то интересом. Будто Егор кого-то переспорил или решил сложную задачку.

Хотя никого не переспорил и ничего не решил.

Венька на Егора не глядел, о драке не напоминал. Видно, запал его угас. Или что-то переменялось. Скоро Егор перестал думать и о Михаиле, и о Веньке и думал только об одном: что ни в коем случае не будет разыскивать Ревского. Этого еще не хватало! Больно нужен ему этот кинодеятель!

И к тому же что Егор скажет, если позвонит?

...Хотя сказать можно. Например, так: «Я не стал бы отрывать вас от творческого процесса, но есть обстоятельства...» Или так: «Это Егор Петров, который не угодил вашим вкусам при кинопробах. Вы тогда уверяли, что я никогда не смогу быть братом. Оказалось, что я все-таки смог...» — Егор не без удовольствия вспоминал случай в электричке. Ведь в самом деле смог...

А может так: «Не хотел вас тревожить, но мой двоюродный брат, Михаил Гаймуратов... вы ведь это знаете, не так ли? Так вот, он посоветовал...»

Вечером он отыскал в ящике стола старую записную книжку с телефоном киностудии. Там сообщили, что теперь у заместителя главного режиссера Ревского другой номер. По другому номеру Ревского тоже не оказалось, сказали — он дома.

— А домашний телефон можно?.. Да я и не хочу надоедать, он сам просил звонить домой, но я потерял номер! — вдохновенно соврал Егор. — Как?.. Спасибо.

Медленно давя на кнопки, Егор набрал нужные шесть цифр... «Александр Яковлевич? Прошу простить, возможно, мой звонок будет вам неприятен, но...»

— Слушаю! — весело отозвался Ревский. — Алло? Ну, что молчите, кто это? — Помолчал и вдруг спросил уже иначе: — Это... Егор?

— Да.. — растерянно выдохнул Егор.

— Ну вот и хорошо. Гай мне еще вчера позвонил, что ты меня, наверно, разыщешь...

— Кто позвонил?

— Гай, Миша...

— А-а... — сказал Егор.

— Слушай, Егор! Нам надо обязательно встретиться, слышишь? — Ревский опять заговорил с веселой торопливостью. — Это подумать только, как случается в жизни, а? Слышишь? Только сейчас я никак не могу, тут такое дело, сыновья из армии возвращаются, близнецы. Звон и переполох, на вокзал мчимся с женой... А завтра... давай прямо на студию, а? К шестнадцати ноль-ноль! Устроит тебя? Я встречу у проходной. Приедешь?

— Да... — сказал Егор, словно шагая за порог.

Счет

Паруса надвигались. В них была спокойная упругая радость и в то же время — неотвратимость.

Сначала исполинское четырехмачтовое судно медленно разворачивалось на синем, растянутом от стены до стены экране, обращало на зрителя увенчанный треугольными кливерами бушприт, потом начинало двигаться, немолимо наращивая скорость. Многоэтажные марсели и брамсели вырастали — громадные, как снежные горы, закрывали небо и море. Приближались вплотную, и прост-

ранство заполнялось гудением натянутого полотна и струнных тросов, шумом обгоняющего парусник ветра и плеском взрезанной воды...

Это было главным впечатлением от фильма...

Егор смотрел «Корабли в Лиссе» вдвоем с Ревским, в маленьком зале киностудии. Ревский «выцарапал» фильм в кинопрокате и «выбил» на полтора часа зал для просмотра.

Экран был небольшой, но Егор сидел от него очень близко, море как бы обнимало Егора с трех сторон.

В целом от кинокартины впечатление осталось скомканное. Может, потому, что Егор нервно ждал кадров с Анатолием Нечаевым и за пестрым действием, за главным героем почти не следил. Шестнадцатилетний парнишка, будущий писатель, то превращался в героев своих еще не написанных книг, то попадал во всякие переделки в реальной жизни, но все это Егор воспринимал как вступление к главному. Пока не появился парусник «Фелицата»...

— Вот, сейчас... — прошептал рядом Ревский.

Тяжелые аккорды сотрясали зал и экран. Под глухую печальную песню (слов которой он не разобрал) Егор увидел скорбное шествие. Матросы несли носилки с зашитым в парусину телом капитана. Вдоль притихшего строя морских волков.

— Вот он, Толик, в безрукавке. Видишь?

Егор кивнул. Но не испытал ничего. Не смог он представить, что вот этот худой русый парень в опереточном костюме контрабандиста, с пистолетом за алым кушаком — его отец. Нереально все было. Не увязывалось... С другой стороны, нереальным казалось и то, что этого человека нет на свете. Как же нет? Вот он! Каждый волосок виден, капелька блестит на щеке...

Но разве это отец? Молодой, совершенно незнакомый человек в каком-то чужом, полусказочном мире...

Сумятицу мыслей перебило будто неслышным вскриком — загорелый длинноногий мальчишка в похожей на полосатый мешок фуфайке стоял рядом с этим... с Толиком и вдруг уткнулся ему в грудь лицом. От плача затряслось вылезшее из прорехи плечо.

Потом показали мальчишку очень крупно. На миг оторвал он лицо от рубашки Толика, глянул исподлобья с экрана. Глаза были мокрые, капли оставили на коричневых щеках сырые дорожки.

— Гай... — сказал Ревский.

— Что?

— Гай, говорю... Мишка.

— А-а...

Ничего похожего на Михаила в этом пиратском юнге не было. Разве что в глазах, залитых слезами, такая же резкая синева. Но Гай снова прижался лицом к Толику.

И странно — не было никакой печали у Егора, никакого ощущения тоски или несчастья, но вдруг засел в горле угловатый комок. Егор закашлял и сумрачно спросил:

— Он что это? По правде?

— Что?

— Ну... слезы...

— Дорогой мой, в кино все по правде, по-иному нельзя...

В этих словах почудился Егору отголосок другого разговора: когда Ревский говорил на давней репетиции, что Егор все делает ненатурально. И Егор сразу нервно подтянулся. А Ревский вдруг сказал в торчащий над спинкой стула микрофон:

— Стоп! — И экран погас, и зажегся желтый свет.

— Что? — спросил Егор, пряча глаза. — Конец сеанса?

— А ты хочешь смотреть до конца? Толика больше не будет...

— Ну и что? — взвинченно сказал Егор.

— Да ничего... Я подумал: вдруг тебе неинтересно...

— Интересно, — буркнул Егор. — А... Гай? Будет еще?

— Он — да... Но я хочу еще раз эпизод с Толиком показать, чтобы ты получше запомнил... Коля! Отмотай, голубчик, три минуты и пусти снова!..

И опять была сумрачная песня, носилки, строй моряков. Снова плакал Гай, а молодой моряк с пистолетом так и не увязался в душе Егора со словом «отец»... И с этим недоумением, с досадой и даже виноватостью смотрел Егор «Корабли в Лиссе» дальше. До той минуты, когда синее пространство быстро и неотвратимо заполнили непостижимо громадные паруса.

Это было как глубокий вздох. Или будто в глухой комнате бесшумно высадили окна и вошел влажный летний воздух...

Потом среди парусов показался тот мальчишка. — Гай. Уже не в драной фуфайке, а в трепещущей на ветру алой блузе. Он стоял высоко на вантах, тонкий, с разлетающимися волосами, и даже не стоял, а будто летел вместе с парусами и ветром. И кричал встревоженно, отчаянно и радостно:

— Остров! Вижу остров!..

И Егор ощутил, что он сам — этот мальчишка. И высоту почувствовал, и ветер, и счастье открытия. Но это была секунда. А впечатление от надвигающихся парусов осталось надолго.

Когда зажегся свет, они с полминуты сидели молча. Наконец Егор спросил, чтобы разбить неловкость:

— А почему этот фильм сейчас не показывают?

— Изредка идет на всяких заштатных экранах. И по телевидению как-то пускали...

— Я не видел.

Ревский вздохнул и сказал:

— Ну, что там говорить, это не шедевр... Дали вторую категорию, в некоторых газетах обругали. Много, мол, всякой дешевой символики, ненужной экзотики. Непонятно широкому зрителю...

— Все там понятно. А некоторые места просто здорово сняты, — честно сказал Егор. — Только...

— Что? — насторожился Ревский.

— Да нет, это уже не про кино... Просто как-то не верится, что тот пацан... Гай.. это Михаил.

— И про отца не верится. Да? — тихо сказал Ревский. — Это естественно. Трудно так сразу... Но посмотреть, наверно, было надо. Ты сам просил.

— Да. Спасибо. — Егор встал. — Может, потом еще где-нибудь посмотрю, если будет случай.

— Думаю, что будет... — Ревский как-то несолидно поморщился, на носу и подбородке ясно выступили мальчишечьи веснушки. — Ты как-нибудь заходи ко мне домой, а? Поговорим спокойно про все... Я понимаю, наше прежнее знакомство было неудачное. Да черт с ним, а? Сейчас-то все по-другому...

«А что по-другому?» — подумал Егор, но стесненно сказал:

— Ладно...

— И фотографии покажу, у меня много. Я когда-то этим делом очень увлекался... А пока вот. Это тебе. — Он протянул конверт от фотобумаги. Егор взял, вынул снимки.

Это были кадры из фильма и моменты съемок. Гай на вантах, портрет смеющегося Толика в пиратской безрукавке. Егор начал всматриваться в его лицо, но вдруг застеснялся и спрятал фотографию под другие. И увидел

снимок, непохожий на остальные: бледноватый, маленький, с какими-то пацанами.

Ревский сказал — тоже с непонятым смущением:

— А это... Здесь, конечно, еще труднее представить Толика отцом. Наша детская карточка, я «Фотокором» снимал, самодельным автоспуском... Давай, покажу, кто где...

Дома Егор закрылся в своей комнате и разложил снимки на столе. Вот Анатолий Нечаев и Гай в шеренге пиратов (опять колыхнулась в памяти сумрачная мелодия песни). Вот Гай целится из старинных пистолетов, а Толик на заднем плане беседует с Ревским. Снова строй пиратов, а перед строем Ревский и какой-то дядька у кинокамеры... Толик, Гай и... это кто же? Мама такая была тогда? Молодая совсем, в белой шляпе. Они втроем сидят на набережной (похоже, что в Ялте), и Гай устало прислонился к Толику. Прижался даже... И Егор вдруг дернул плечами от досады. От мгновенного укола ревности и от злости на этого растрепанного тощего пацана, который липнет к Толику...

Он тут же сердито засмеялся над собой: «Ты что, сдурил? Какое тебе дело? И что тебе этот Гай?»

А Гаю было наплевать на мысли Егора! Гай на фоне вздутых парусов, выгнутый как лук, тонкий, охваченный ветром, выбрасывал вперед руку и кричал, кричал о своем острове...

А инженер Нечаев, беззаботно смеясь, все смотрел и смотрел с большой глянцевої карточки на Егора, почти в глаза. Но именно почти. Словно в последнюю секунду неуловимо отвел взгляд, не хотел ответить на какой-то вопрос. Решай, мол, сам.

А что решать-то? Егор сжал губы, сложил снимки в пачку. Оставил один — старый, «детский».

Эта фотография притягивала его особо. Потому что не будь вон того мальчишки в коротких вельветовых штанах и мятой, вылезшей из-под командирского ремня рубашке, не было бы и Егора. Тут уж ничего не поделаешь...

Егор не искал сходства. Не похож он ни на взрослого Анатолия, ни на Толика-мальчишку. Давно известно, что он — «вылитая копия» дяди Сережи, погибшего маминного брата. Да... И не сам по себе одиннадцатилетний Толька Нечаев интересовал Егора, а все, что было вместе с ним. Весь тот летний день, который был на фотокарточке размером девять на двенадцать.

Он, этот день, хорошо отпечатался со стеклянной пластинки старинного «Фотокора». Контактный способ — отличная штука! Пускай снимок бледный, зато виден каждый стебелек травы, каждый волосок во взъерошенных ребячьих чубчиках, каждый «глазок» от сучка на досках садовой эстрады. И звездочка на командирской, старой (сейчас таких уже не носят) пряжке Толика. А на звездочке видны даже... Егор быстро отыскал в ящике лупу... Видны даже крошечные серп и молот с искоркой солнца.

Егор повел выпуклым стеклом по снимку. С напряженным, почти болезненным интересом вглядывался в каждую деталь. В те мелочи, которые были тогда. В лица ребят, которые тоже были тогда. Изумительная четкость предметов сделала мир на фотографии реальным. Вот царапина на подбородке у девчонки. Вот репейная головка, приставшая к рубчатой ткани мятых штанов. За ремешком у мальчишки деревянный пистолет с ручкой, обмотанной изолентой, и кончик изоленты отклеился...

Толща из трех с половиной десятков лет растаяла, и Егор вплотную придвинулся к тому давнему новогуринскому лету сорок восьмого года. Словно даже запах травы ощутил. Но ведь это было тогда.

А сейчас? Где все это?

И впервые коснулась Егора вечная загадка. Словно темным крылом на него махнули. Как это — было, а теперь нет? Куда девается уходящая жизнь? Как это может быть, чтобы вот такого настоящего дня — с травой, солнцем, встрепанными живыми ребятами — не стало?

Что такое время?

А может, убежавшие дни все-таки исчезают не совсем? Может, где-то они есть, сохранились? Может, люди когда-нибудь научатся их возвращать?

А зачем? Наверно, чтобы не делалось так обидно: было, и вдруг — нет...

Семеро мальчишек и длинная девчонка стояли перед полуразрушенной эстрадой в запущенном саду. Веселые, разгоряченные после сыгранной самодельной пьесы про шпионов (Ревский о ней рассказал). Но пьеса эта, игра эта тоже была тогда. Сейчас ее нет. И ребят этих нет. Дело даже не в том, что вот этот пацан, Толик, потом погиб. Живые — они тоже не те...

Мальчик с деловито прикушенной губой (дергает нитку автоспуска), с тубетейкой на пружинистых кудряшках, в старомодном матросском костюме с галстучком и

длинных чулках — теперь заместитель главного режиссера, автор нескольких фильмов. Он-то, замглавреж, есть, а где вот этот мальчик?

А вот Рафик, Рафаэль. Тоже теперь в кино. Мульттики делает. Говорят, хорошие, лауреатом стал. Ладно. А большеглазый пацаненок в пилотке и ковбойке сохранился в лауреате? Остался?

«А может быть, это неважно? — подумал Егор с новой тревогой. — Может, важно то, что останется после?»

После — это когда? Когда в длинной киноленте дней мелькнет черный кадр и дальше кадры пойдут пустые? Без тебя?

«Это для меня пустые и черные. А для других?..»

«А что тебе до других? Ты про это не узнаешь...»

«Обидно... А если ничего не останется, еще обиднее...»

«А что ты хотел оставить? И для кого?»

Это уже походило на разговор с Михаилом в поезде. Но Егор прогнал воспоминание об электричке. Он хотел разобраться сам, без Михаила. Разобраться и с загадкой времени, и с мыслью, что его, Егора, тоже когда-нибудь не станет на свете. И с вопросом: где, что и для кого останется от него в бесконечном и необратимом времени?

От Шурика Ревского и от Рафика останутся фильмы. От мальчика Толика остались людям подводные аппараты для изучения морских глубин. А еще... еще он, Егор, остался... Ну и что? Вот подарок человечеству! А что Егор сам оставит после себя?

Мальчишка с красивым командирским лицом, в аккуратном, по росту, военном костюме, оставит свои книги. Потому что он — писатель. Олег Наклонов. И кстати, тоже отец. Он тогда, на выступлении, говорил про сына. Про наследника...

Любопытно, что за сын у этого писателя? Небось, образцовое дитя, отличник и ученик музыкальной школы.

Ревский упомянул мельком, что и сам Наклонов был «мальчиком тимуровского плана».

— Только чересчур, — добавил он с холодноватой усмешкой.

— Как это «чересчур»? — спросил тогда Егор.

— Ну... этаким несгибаемый командир. Не лишенный, впрочем, некоторого себялюбия... По крайней мере, дружба Толика с Олегом кончилась дуэлью. Даже с кровью...

— Как это?

Ревский увлеченно, хотя и несколько торопливо (уже заглядывали в дверь и намекали Александру Яковлевичу,

что его ждут) рассказал про стычки «робингуда» Нечаева с командиром Наклоновым, про «волчью яму» в лагере и про драку на Черной речке, когда будущий инженер-подводник расквасил будущей литературной знаменитости нос.

— Впрочем, потом они оба вспоминали об этом с юмором. Жаль, что встретиться во взрослой жизни не успели...

— Александр Яковлевич, а... Толик... он что-нибудь рассказывал про Крузенштерна?

— Да! Он им увлекался, он стихи про него написал. И про одну рукопись о нем упоминал, целая история. Он и в Севастополе про нее говорил.

— Наклонов у нас в школе выступал, он книгу про Крузенштерна пишет. Значит, он с той поры этим и интересовался?

— Все возможно. Олег был личностью твердой, но и впечатлительной...

Ревского опять поторопили, и он попрощался, снова сказав, чтобы Егор звонил и заходил. Тот спросил напоследок:

— А вы с Наклоновым встречаетесь?

— М-м... да. Изредка. Жизнь суматошная...

— Александр Яковлевич, вы не говорите ему про меня. И вообще никому, ладно?

— Конечно! Это уж, Егор, ты решай сам...

...Егор снова наклонился над фотокарточкой. Командир Наклонов держал руки по швам и смотрел перед собой уверенно и твердо. А Толик улыбался и немного щурился от солнца. И Егор испытал вдруг веселое удовольствие, что невысокий, щуплый Толик разбил нос рослому, сильному на вид Наклонову.

Через несколько дней случилось неожиданное и неприятное. Егор шел в туалет, чтобы подымить на большой перемене, и путь ему заступили два второклассника: Стрельцов и Ванька Ямщиков.

— Кошак, — сказал Стрельцов, наклонил набок голову и глянул нахально. — Чего вам опять надо от его брата? — Он кивнул на Ваню. Тот стоял спокойный, но с напряженными плечами и с кулаками в карманах.

— Не понял. — Егор за лаконизмом скрыл растерянность от фантастической дерзости малявок. Тех, между прочим, стало больше: бесшумно обступили они восьмиклассника Петрова.

— До чего непонятливый, — задумчиво произнес Стрельцов и сощурился. А Ваня тихо, но зло сказал:

— Вчера ваш Копчик и еще какие-то... опять к Веньке полезли. Что вам надо?

Егор хотел искренне сказать, что лично ему ничего от Редактора не надо. Но малявка Стрельцов качнул голову к другому плечу и вполне серьезно пообещал:

— Кошак, ты доскребешь...

Всему есть предел. Егор смерил расстояние до Стрельцова.

— Ты на что рассчитываешь, крошка? На то, что микроба нельзя расплющить кулаком?

Он, Стрельцов, далеко пойдет — юмор у него, у него-дя:

— От микробов и слоны дохнут. Нас много.

Их и правда стало много. Человек тридцать, и все мальчишки. Из двух классов, что ли, собрались? И молчаливые такие, не по-хорошему сдержанные. Вот опять дурацкое положение!

— Да я-то при чем?! — рявкнул Егор. — Вы что, совсем психи? У Веньки с Копчиком свои дела, мне на них обоих плевать! А Копчика я давным-давно в глаза не видел!

Это была правда. Егор не был в «таверне» больше недели. То опять куда-то Курбаши с ключом исчез, то события всякие: разговор с Михаилом, Ревский, кино. И мысли после этого... А еще причина — тот же Копчик: не хотелось встречаться. Сразу начнет канючить насчет долга, а таких денег пока нет...

— Как увидишь, скажи ему: пускай Веньку больше не трогает, — потребовал Стрельцов, не опуская дерзких глаз.

— А вот ты пойди и скажи. Я вам не нанимался.

— Найти не можем, — объяснил сбоку незнакомый мальчишка с глазами-угольками. — Найдем, ему хуже будет...

— Бедный Копчик, — сказал Егор.

— Бедные будете вы все, если еще Ванькиного брата тронете. — неожиданно взъярился Стрельцов. — Думаешь, не найдем вашу «таверну»? А когда найдем, выжжем, как паяльной лампой! Мой дедушка так в деревне клопов выжигал!

Егор ощутил что-то вроде уважения. Сказал серьезно:

— Это я передам. В целях противопожарной безопасности...

— Тебе письмо, — сказала Алина Михаевна, когда Егор пришел из школы. — Странное, без обратного адреса. А штемпель среднекамский. От кого бы это? — В голосе ее было спрятанное беспокойство.

Конверт лежал на столе в комнате Егора. Понятно, почему письмо шло целую неделю! Михаил не написал индекс и перепутал номер квартиры. А еще милиция!.. Вскрыть конверт Егор не успел, мать снова появилась на пороге. С бумажкой в руке.

— А вот тоже непонятное... Счет за разговор со Среднекамском... Это ты говорил?

— Почему именно я? — растерянно буркнул Егор.

— А кто? Я туда не звонила, папа всегда говорит по служебному... Горик, с кем ты разговаривал в Среднекамске? Скажи маме...

«Все, Кошак, раскалывайся, — сказал себе Егор. — Пора».

— Ну, разговаривал...

— С кем?

Егор сел на тахту и зевнул.

— С братом.

— С кем?.. О, Господи...

— С двоюродным братом. С Михаилом Гаймуратовым, — глядя в стену, монотонно произнес Егор.

Мать села на стул. И Егор вспомнил картину, которую видел в «Огоньке», репродукцию. Называется «Похоронка». Там женщина в платке и ватнике так же сидела и держала в опущенной руке белый бумажный квадратик. Правда, мать в атласном халате не похожа была на ту изможденную колхозницу, и не было на стене черного репродуктора, и коптилки на столе не было. Но в позе матери была такая же безнадежность... Впрочем, ненадолго!

Алина Михаевна гневно взметнула прическу, лицо покраснело.

— Значит, он, мерзавец, все же наболтал тебе эту чушь!

— Ну зачем так... про чушь-то? — тихо сказал Егор.

— Потому что это самая настоящая и...

— Не надо, мама... И ничего он не наболтал. Ты сама говорила слишком громко.

— А ты подслушивал!

— Вот он подслушивал... — Егор дотянулся до ящика в столе, вытащил «Плэйер».

Алина Михаевна слушала свой диалог с Михаилом всего полминуты, потом сказала с неприятным взвизгом:

— Выключи! Сотри!

— Сотру. Теперь уже все равно... Только при записи я тут целый ансамбль стер, а кассета чужая. Хозяин с меня девятнадцать рублей трясет... Это еще по-божески, потому что знакомый. Ты выдай, ладно? А то я затянул с долгом...

— Еще чего! — Алина Михаевна резко шагнула к двери и обернулась. — Я должна оплачивать твои шпионские фокусы!.. Как ты смел тайком записывать разговор матери?!

— Не матери, а ментá. Я думал, он капать на меня пришел.

— Боже, это что еще за выражения?! Где ты нахватался таких блатных словечек?!

— На факультативе по эстетике, — вздохнул Егор. Девятнадцать рэ за кассету да три пятьдесят за телефон — деньги, что ли? Да еще пятерку бы, а то даже на буфет не осталось.

— На буфет получишь, а про остальные я расскажу отцу, — с необычной решительностью заявила Алина Михаевна.

— Какому... отцу? — вполголоса спросил Егор.

— Да ты что!.. Горик... — Она опять села в похоронной позе. — Что же... значит, наш папа теперь уже не отец тебе?

— Я просто уточнил, — глупо сказал Егор.

— Тому... человеку, Горик, я рассказать уже ничего не могу... Он был... хороший человек. Но тебя еще на свете не было, когда его не стало. А папа... он хоть раз когда-нибудь дал тебе разве понять, что ты ему не родной? Вспомни! А?

— Да, вспомнить есть что, — резиново улыбнулся Егор.

— Горик... В конце концов, ты же должен понимать. Папе мы обязаны всем. В сем...

— Чем? — холодно ошетинился Егор.

— Он тебя растил и кормил!

— Рос я сам. А кормил, потому что обязан. Раз усыновил. И еще будет кормить... Пока фамилию не сменю. — Последние слова у Егора выскочили неожиданно.

— Фа... что? Ты сошел с ума! Кто тебе разрешит менять фамилию!

— До паспорта два года. А там — сам себе хозяин.

— И это за все, что он для тебя сделал!

— Что он для меня сделал? — спросил Егор и почувствовал неожиданные, совсем детские слезы.

— Он тебя воспитал.

— Да уж, — сипло отозвался Егор. — Воспитывать он умел... Хоть бы ремнем, как нормальный отец нормального пацана, а то ведь... методика целая. Не лень было за прутьями ходить.

— Ну... он же не со зла. Не потому, что ты... не его. Он боялся, что ты станешь... Господи, кругом только и слышно о трудных подростках, о детской преступности. Отца можно понять, Горик... Ты, может быть, ему еще спасибо скажешь...

— Уже сказал, — горько хмыкнул Егор. Вспомнил стамеску.

— Если бы не папа, еще неизвестно, кем бы ты стал.

— А кем я стал?

Алина Михаевна помолчала и сказала с трагической ноткой:

— Да, надо признать. Ты стал неблагодарной свиньей.

— Вот видишь.

— Бессердечным эгоистом...

— Именно, — кивнул Егор.

— Я давно хотела сказать, давно замечаю... Ты...

— Что?

— Горик, ну как ты можешь?

— Что я могу?

— Вообще... С матерью так разговаривать.

Егор подумал.

— Мама, а когда он меня лупил, очень слышно было, как я орал? Через двери... Или ты уходила подальше?

Мать заплакала, и Егора царапнула жалость. Или угрызение какое-то (Боба Шкип любил говорить: «Иногда совести уже нет, а угрызения ее еще остались»). Это бывало и раньше, если мать начинала ронять слезы.

— Горик, давай договоримся. Не будем ни о чем папе рассказывать, а? У него и так неприятности на работе. Ведь все равно ничего не изменишь.

— А я рассказывать и не собирался...

Он-то не собирался. Но сама Алина Михаевна не выдержала, в тот же вечер обо всем сказала мужу.

— Егор! — крикнул тот из своей комнаты. — Загляни ко мне, дружище!

Егор вошел. Все было как всегда. И розовый, как дамская комбинация, абажур... Только черного футляра не было, Гошка давно его растоптал и выкинул в мусорный контейнер.

— Свет Георгий, — сказал отец. Иногда он так обращался к Егору, потому что официально, по метрике, тот и был Георгием. — Для начала вопрос: не звонила ли мне дней семь-восемь назад из другого города некая дама со скандальным голосом?

— Звонила. Говорит: нет его ни дома, ни на работе...

— Та-ак... — Виктор Романович обернулся к матери (та появилась в дверях). — Значит, укатила в столицу все-таки, стерва. Я же говорил им: нельзя этой бабе доверять. Теперь понятно, почему крик в министерстве...

— А Пестухов что?

— А все то же: «Товарищи дорогие, но я же еще когда предупреждал...» Ну ладно, мы еще посмотрим, в горкоме я уже мосты навел... — Он повернулся к Егору. — Ну, так что, юноша?

— Что? — слегка растерялся Егор.

— Мама сказала, что ты проник в нечаянную семейную тайну. Так?

— Выходит, проник... — нехотя сказал Егор.

— Но ты же понимаешь, надеюсь, что это никакой роли не играет? Легкая анкетная деталь, не более. Не правда ли?

— Как это? — Егор старательно смотрел на абажур.

— Я хочу сказать, что на наших отношениях это никогда не сказывалось и не должно сказываться впредь. Не так ли? — Виктор Романович умел авторитетно улаживать производственные конфликты и, судя по всему, полагал, что сейчас дело не сложнее.

Егор неопределенно шевельнул плечом. Виктор Романович бодро произнес:

— Вот и прекрасно! А то мама тут в панику ударилась, будто ты собрался фамилию менять... А?

— Это мама сказала... А я вообще разговора не заводил. Знал и молчал. А она счет за телефон увидела и в крик...

Виктор Романович повернулся к жене:

— Ну, а в чем проблема? Трешки несчастной, что ли, жаль?

Алина Михаевна потерянно сказала:

— Да разве в деньгах дело... Там и письмо, и кассета эта. Все у меня в голове перепуталось.

— Ну, заплатим и за кассету, раз так вышло... — с неожиданной усталостью сказал Виктор Романович. — Не пришлось бы в скором времени по другим счетам платить, покрупнее...

Егор перевел взгляд с абажура на отца. В глазах плавали зеленые пятна, и все же различил Егор, что отец сидит обмякший, утомленный. А потом разглядел и лицо — обрюзгшее, с незнакомыми складками. Впрочем, Виктор Романович тут же подобрался.

— Ну, а что за письмо? Если не секрет.

— Не секрет. Фотокарточка. Что я, не имею права знать, как выглядел... тот отец?

— Имеешь, имеешь, — в голосе Виктора Романовича уже звучала бодрая снисходительность. — Куда деваться, раз уж так получилось. Но вот что, Георгий-свет. Помни, что все-таки ты Петров. Кроме тебя, у нас с мамой детей нет. Единственный наследник. Ведь не кто-нибудь, а мы тебя, так сказать, взлелеяли...

— Лелеяли, так сказать, заботливо, — не сдержался Егор.

Отец помолчал и сказал примирительно:

— Я понимаю. Да ведь без конфликтов нигде не проживешь. Без них, как говорят, развитие останавливается... Ты в прежние годы тоже был не сахар, я помню... — Он нервно усмехнулся. — И я не Макаренко, всякое бывало. Сгоряча-то...

Егор опять стал смотреть на абажур.

— И вот еще что, дружище... — Виктор Романович сел прямее. — Ты пойми. Наша фамилия в городе известная, мы у людей на виду. Надо марку держать. Уяснил?

— Насчет марки? Уяснил, — тихо сказал Егор. — Только насчет «сгоряча» ты не говори. Ты перед этим каждый раз руки мыл... Пойду я, уроков много...

Засов

Чтобы не оставлять следов на свежем наметенном снегу, Кошак привычно прыгнул от дыры в заборе на кирпичный выступ у входа в погреб. Толкнул дощатую дверь. Промерзшие ступеньки запели под ногами. Был сегодня крепкий холод — видно, пришла наконец настоящая зима.

Внизу, в темноте, Егор стукнул по внутренней двери. Условными ударами «раз-два, раз-два, раз-два-три («Чижик-пыжик, где ты был?»). За дверью было тихо: выжи-

дали. Кошак постучал опять (такое правило). Тогда откинули крюк.

«Таверна» дыхла на Егора привычным теплом, сладковатым запахом заплесневелых углов, обугленного железа печурки. И сигаретным духом. Раньше, при Бобе Шкипе, порядки были нерушимые: курили только в отдушину и дымоход. Сейчас все чаще дымили просто так. Иногда Курбаши говорил: «Эй вы, кто смолит, передвиньтесь к печке, чтоб тянуло... Да не елозьте задницами, а передвиньтесь. А то скоро вознесем от дыма, как монгольфьер...» («Как чё?» — иронично спрашивал Копчик.) Но табачный аромат был уже неистребим. Мать не раз принималась к финской курточке Егора, когда он вечером являлся домой. И в глазах Алины Михаевны был безмолвный и тревожный вопрос. Впрочем, она знала, конечно, что Горик насчет курения не безгрешен. Оба, однако, «соблюдали приличия» и молчали...

Сейчас смолит двое: белобрысый безбровый Сыса (тот, что когда-то вместе с Копчиком привязался к Гошке) и «мышонок» Позвонок — тихий пятиклассник с лицом испуганного отличника. Сыса курил нахально, а Позвонок дисциплинированно пускал дым в открытую печурку. Он был счастлив и этим — Валет лишь недавно позволил ему курить.

Сам Валет кейфовал — томно полулежал на клеенчатом диване, притащенном со свалки, и слушал кассетник (не «Плэйер», конечно, а добитую «Весну»). Сдержанное ритмичное «дзым-бам» напоминало трудягу тепловоза на маневровых путях... Пуля сидел у Валета в ногах и услужливо держал кассетник на коленях.

Еще один «мышонок» — Липа — в углу щепал топориком лучину для растопки. Печку разожгут, когда на дворе совсем стемнеет и можно будет не бояться, что стелющийся дым из спрятанной в кирпичах трубы выдаст здешний приют. А пока нагонял уютное тепло (и сумму на счет местного жэка) электрический рефлектор. Подпольное подключение к щитку здешней котельной было сделано по всем правилам техники и конспирации.

На другом диване — поновее и пошире — перекидывались картами Копчик, длинный Мак (не от шотландского имени, а от прозвища Макарона), сам его сиятельство Курбаши и Баньчик — подросток и уже милостиво допускаемый к развлечениям старших.

Яркая лампочка под фаянсовым треснувшим колпаком освещала подземную комнату с кирпичными стенами

и прогнившими плахами пола. Со стены, с нового плаката, лукаво, умудренно и слегка устало улыбалась Алла Пугачева — она стояла среди круглых коробок с фильмами и путаницы распушенных кинолент.

Другая стена пестрела старинными жестяными знаками страховых обществ и ржавыми объявлениями типа «Не влезай, убьет!», «Посторонним вход воспрещен», «Осторожно, высокое напряжение!» и «Опасная зона». Их отдирали с покосившихся деревянных ворот, заборов, столбов и трансформаторных будок — из любви к искусству. Начало этой коллекции положил, говорят, Кама, притащивший черный жестяной щиток со словами «Граждане! Сделаем наше кладбище местом достойного поминовения усопших!»

Три таблички украшали обитую жестью дверь в дальнем углу. На первой был череп с молниями, на второй — стеклянной — надпись: «Директор», на третьей — «Осторожно! Злая собака!»

Ни директора, ни собаки за дверью не было, а была пустая комната с кирпичным полом и забитым досками окошком под потолком (в нем осталась отдушина величиной с кулак). Здесь, бывало, хранились добытые у малобдительных владельцев велосипеды. В заиндевелом углу лежала кое-какая еда. Валялись ящики и поленья для печки. Здесь, у отдушины, в прежние времена курили. Сюда же Валет иногда отводил «мышат». Для «воспитательных целей».

По-домашнему тикали ходики с бегающими кошачьими глазками — их тоже в свое время принес откуда-то Кама...

Все здесь было свое, привычное для Кошака. И он был в «таверне» привычным, желанным. Своим.

Курбаши милостиво сделал ему ручкой. Остальные тоже так или иначе изъявили удовольствие. Лишь у Копчика на капризном личике появился нетерпеливый вопрос: «Как насчет долга?» Егор сел к расшатанному круглому столу, деловито выложил три пятерки, трешку и металлический рубль. И японскую кассету. Разговор Михаила с матерью был уже стерт. У Егора была мысль предложить Копчику на выбор — или пусть берет назад чистую кассету из-под «Викингов», или девять рублей за нее. Но в последний момент его словно что-то под руку толкнуло: кассету сунул в карман.

— Вот, Копчик, твои деньжата. Будем в расчете.

— Давно пора, — сказал неблагодарный Копчик.

И уперся глазами в нагрудный карман Егора. — А кассета? Она самая?

— Она... — туманно улыбнулся Егор. — Только уже не с «Викингами». Так что тебе она ни к чему.

— А говорил, что посеял, — подозрительно сказал Копчик.

— Долго было объяснять... Пришлось один срочный разговор записать, а чистой пленки не оказалось. Случаются детективные моменты... — Егор говорил лениво и загадочно.

Копчик на детективный крючок не клюнул.

— Такую запись сгубил. Надо было с тебя три червонца стянуть.

— Можно было и три, — поддразнил Егор. — Дело того стоило. Но теперь поздно... Да ты не вешай нос, Копчик, девятнадцать гильденов тоже деньги. По крайней мере, не придется тебе с Хныком и Чижом копейки у Редактора выпрашивать.

Копчик глянул быстро и со злостью: «Откуда знаешь?» И это «выпрашивать», видно, тоже уловил. До вопросов, однако, не унизился, небрежно разъяснил:

— С твоим Редактором дело другое. Мне там не копейки важны, а принцип.

— Это я понимаю, — примирительно сказал Егор. Привалился к столу. Зевнул. — И все же, Копчик, ты Ямщикова оставь.

Копчик очень удивился:

— С чего это?

— Вот с «того», — вздохнул Егор. — Тебе «принцип», а на меня в школе шишки.

— «Фыфки», — робко пошутил в углу Липа, вспомнивший недавний телефильм про пацаненка, не умевшего говорить буквы «ш».

— «Хыхки», — поддержал его Позвонок и закашлялся.

— Позвонок, брось курить, — сказал Валет. — Вторую сегодня сосешь.

— Мне маленько осталось...

Валет ласково пообещал:

— Позвонок, накажу. Будет больно.

Тот быстренько сунул окурочек в печку. Копчик сказал Егору:

— А ты здесь при чем? У меня к вашему чокнутому Ямщикувому свой интерес.

— Ты объясни это нашей директорше Клаве. Она-то знает, что в первый раз именно я тебя на Веньку навел.

— Первый раз был у кассы цирка, а не с тобой.

— Этого Клава как раз и не знает...

— Вот ты и объясни ей, — злорадно предложил Копчик. — Тебе надо, ты и объясняй. Если так ее боишься.

Егор не боялся. Не в директорше дело. Дело в том, что не должен больше Копчик трогать Ямщикова. Пусть Редактор ходит спокойно. Так хочется Егору. Так ему лучше почему-то. Хотя бы потому, что не надо отвлекаться на Веньку мыслями, когда думаешь о чем-то серьезном. Например, о парусах..

И вообще, рылом не вышел Копчик, чтобы таких, как Венька, ломать. Уж если даже ему, Кошаку, Редактор не по зубам, то другим и подавно...

Егор удивленно прислушался к себе и понял: сознание, что Венька Редактор ему не по зубам, не вызывает ни озлобления, ни простой досады. В другое время, еще недавно, Кошак спать бы не мог, придумывал бы способы, как сделать этого гада Ямщикова покорным. А сейчас? Что же случилось? Все мысли текут словно на фоне синего экрана, где вырастают многоэтажные, неотвратимо наплывающие паруса...

Но ведь в глубине души Егор отступился от Веньки еще до парусов. Даже до телефонного разговора с Михаилом. Почему? Как тут разобраться?

Впрочем, он и не пытался разбираться. Воспоминание о парусах опять стало главным. Они двигались уверенно, словно их нес не корабль, а сама судьба. Или время. То нерушимое, равномерное, безостановочное время, о котором думал Егор, когда смотрел на маленький снимок сорок восьмого года.

И это движение парусов в памяти Егора совершалось под сумрачную мелодию песни, которую в фильме пели матросы. Егор удивился, что вспомнились слова:

Опускается ночь — все чернее и злей,
Но звезду в тучах выбрал секстанс..

И еще:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова.
Беззаботен и смел там мальчишечий смех,
Там по плечи густая трава...

И дальше:

Мы помнить будем путь в архипелаге,
Где каждый остров был для нас загадкой..

Стоп... Это уже не из фильма. Это песня Камы. Как две песни сложились в одну? Вроде бы и не похоже... Нет, что-то есть похожее. Настроение? Или то, что там и там — про острова?

Был бы здесь Кама, взял бы гитару... Тогда можно было бы сравнить эти песни.

Но Камы нет. Есть лениво усмехающийся Курбаши, вечно сонный Мак-Макарона, облизывающий пухлые красные губки Валет. И Копчик... Тот уже начал заводиться. Скоро запишует. Потому что наверняка принял минутную задумчивость и рассеянную улыбку Кошака за ленивое презрение к нему, к Копчику.

А Егор поймал себя на том, что смотрит на всех как-то издалека. Словно прощается... Да ты что, Кошак?! Из-за Копчика, что ли? Неужели все ломать из-за этого кретина?

— Ничего я Клавье объяснять не буду... — Егор мягко потянулся и поудобнее устроился на табурете. Грудью лег на стол. — Я тебе, Копчик дорогой, объясню. Ты своими психологическими экспериментами... Эксперимент — это значит опыт, Копчик... Ты ими всем нам свинью подкладываешь. — Он весело оглядел всех по кругу: — Кстати, интересная информация, джентльмены. И ты, Копчик, послушай... Созрела негаданная сила в лице микромышат нашей образцовой школы. В классе, где Венькин брат учится. Лидер — некий Стрельцов. Грозил нашу резиденцию отыскать и выжечь нас, как клопов... Может, и не выжгут, но хорошую дымовуху эти гаврики пустить могут. Бдите...

— Стрельца я знаю, — подал голос Позвонок. И польщенный общим вниманием, заторопился: — Он недалеко от нас живет, у него сестра большая уже тетка, начальница в клубе «Искра», я туда раньше ходил... А отец Ваньки Ямщикова им шахматы сделал большущие, вот такие, на своем станке точил. Я у них одного короля стырил, они его чуркой от городков заменили, а Ванькин отец его снова сделал в своей мастерской, на станке...

— Богато живет мужик, — лениво сказал Курбаши. — Мастерскую имеет с техникой...

— Да не... — Позвонок хихикнул. — Это у него сарай. А станок маленький... Я видел, мы почти рядом живем.

— Сарай-то во дворе? — безразлично спросил Копчик. И Егор насторожился.

— Ага. Рядом с нашим забором...

— Кто кому еще дымовуху... — Копчик суетливо подобрался. Глазки сделались как буравчики. — Стружки, они хорошо горят...

— И хозяину штраф от пожарников, а то и срок, — подал реплику сонный Мак. — У Копчика котелок тумкает...

«Только без горячки, — сказал себе Егор. — Только виду не показывай, что тебя это царапает...»

Он сказал с безразличным зевком:

— Совсем ты съехал по фазе, Копчик. Засыплешься ни за что...

— Это как? — Глазки-шурупы ввинтились в Егора.

В самом деле, как? Сунут в щель сарая бумажный пакетик с простой химической смесью. Она известна любому, срабатывает через несколько минут. И никаких следов.

Стараясь не показывать беспокойство, Егор сказал:

— Курбаши, объясни этому болвану. Закон нарушает...

Закон был такой: «таверна» сама по себе ни на какие дела не ходит. Здесь собираются для отдохновения души. У каждого на стороне могут быть друзья, заботы, всякие «операции», но к «таверне» это прямого отношения иметь не должно. Подвигов своих здесь друг от друга не скрывали (народ надежный), прятали иногда в «директорской» кое-какие вещички — но и только. Никогда Курбаши не звал с собой «на работу» никого из «больничников». И вообще никто друг друга не звал. Разве только если надо заступиться за своего...

Может быть, потому и жила в Больничном саду подвальная «таверна» дольше других «бункеров» и «блиндажей». Она была как мирная гавань для возвращавшихся с промысла флибустьеров.

Но сейчас Курбаши сказал, что закона Копчик не нарушает. Если ему охота сделать иллюминацию — дело его. Он пойдет на это не с «больничниками», а со своими кадрами.

— И Позвонка сманивать не вздумай, — предупредил Валет. — Мальчику ни к чему мелкая уголовщина.

— Обойдусь, — деловито сообщил Копчик. Он опять посверлил Егора ехидными глазками, и Егор понял: угадал гад Копчик его тревогу, его боязнь. И теперь уже не назло Венке Ямшикову, а назло ему, Кошаку, будет двигать свой пожарный план.

— Ты к Редактору что-то имеешь, а что тебе отец-то его сделал? — тихо спросил Егор. И все удивленно при-

молкли. Такая «моральная» постановка вопроса была здесь в новинку. Копчик среагировал быстро:

— А, одно семя!

Тогда Егор сказал напрямик, тяжело и с расстановкой:

— Копчик. Не делай этого.

— Ты чё! — Копчик подскочил, будто в зад ему воткнулась диванная пружина. — Такой сделался, да? На своих, падла!

Это он пока только заводился. Однако скоро (Егор это знал) Копчик заверещит и кинется как злая крыса.

Но было уже все равно, и Егор сказал с ленцой:

— Что-то погода меняется. Не знаешь, Копчик?

— Чёр.. — он малость осел от неожиданности.

— Колено болит, — пояснил Егор. — Всегда ноет к смене погоды. С той поры, как я его о твои зубки починил. Помнишь?

— Ты... ты... — не то запел, не то заплакал Копчик и приготовился прыгнуть. Егор встал, пяткой отбросил табурет. Курбаши властно сказал:

— Ша, джигиты! Если охота, идите на воздух. Или хотя бы в «директорскую». И чтобы без смертоубийства...

Егор скакнул спиной к двери. Оттуда проговорил.

— Не пойду. Здесь скажу... Ты, Копчик, не сунешься к сараю Ямщиковых. И Веньку больше не тронешь. Усек? А то говорить я с тобой буду... как при первой встрече.

Копчик взвизгнул и рванулся, но Курбаши дернул его за свитер. Кинул на диван. И встал сам.

— Кошак, ты что? Ай, нехорошо. Мы тут, можно сказать, одна семья, а ты...

Егор знал, с какой силой надо грянуться спиной о дверь, чтобы она открылась мгновенно. И сказал в рыжее лицо Курбаши:

— Вот и послушайте меня тихо, по-семейному. Копчик не сунется к Ямщиковым, а ты, Курбаши, за этим проследишь...

— А ну, иди, поговорим, — нехорошо попросил Курбаши.

Егор спиной вышиб дверь, и она тут же захлопнулась. В морозном «предбаннике» — глухой мрак. Где же засов?.. Черт, где засов?! А, вот! Железо лязгнуло. В ту же секунду на дверь надавили изнутри. Фиг вам! Щеколда, на которую Курбаши, уходя, вешал амбарный замок, выдержит долго... А чтобы вы там приутихли — вот! Егор

нащупал над головой провисший провод и рванул. За дверью взвыли, и стало тихо. Ищут спички...

Егор выбрался в сад. Было уже совсем темно. Хорошо пахло снегом, он еле мерцал. Набирая снег в ботинки, Егор добрался до кустов у разрушенной стены. Здесь была замаскированная железная труба дымохода. В полуметре от земли.

Егор сказал в пахнущий дымом раструб:

— Эй, Курбаши! Подойди к печке, поговорим... — Он знал, что в подвале голос его звучит гулко и утробно, будто заговорила сама печка.

Было тихо. Егор ждал. Сердце колотилось нестерпимо. Как в давние времена, когда приближалась неотвратимая отцовская расправа. Но сейчас — черта с два! Расправы не будет!

Из трубы наконец донесся голос Курбаши:

— Ну, Кошачок, ты дашь...

— Даю...

— Чего хочешь?

— Того, что сказал. Чтобы Копчик усох и не выступал. А ты за ним последил.

— Иди открой дверь, дурак. Тогда поговорим.

— Я что, шизофреник?

— А разве нет? Ты думаешь, засов тебя спасет навеки?

— На некоторое время, — сказал Егор. И от волнения закашлялся. Прижал к губам горсть снега.

— На маленькое время, Кошачок, — донеслось из трубы. — Ай, на совсем маленькое, дорогой. А как будем разговаривать, когда встретимся? А?

— Вежливо будем. — Егор слегка успокоился. — Ты же меня давно знаешь, Курбаши. Разве я такой безмозглый, как Копчик? Не в засове дело. Есть запоры покрепче...

— На что намекаешь, дорогой?

— А вот слушай, дорогой... И скажи там, чтобы не ломали дверь, бесполезно... Помнишь, Копчик дал мне кассету с «Викингами» и мы слушали? А потом Копчик слинял, а мы остались, да еще Гриб заглянул. Ты о чем тогда говорил? Говорил ты, Курбаши, как смешно лишился колес один автомобиль в дальнем гараже за кино «Буревестником». И как ловко вы с Грибом катнули эти колеса нужным людям...

— Сволочь, — сказал Курбаши. — Ну, Кошак, какая же ты...

— Ти-хо... Что ты нервничаешь? Ну да, ты догадался, почему стерлись «Викинги». Что-то меня будто в руку тогда толкнуло — на запись нажать. По-научному называется интуиция.

— Га-ад... — дохнуло из трубы.

— Ну, зачем так, Курбаши-джан? — мирно сказал Егор. — Ничего же не случилось. Никто пока запись не слышал...

Теперь Егор почти успокоился. Душа его радовалась спасительной выдумке. Вдохновение не раз выручало Егора в отчаянные моменты, не подвело и сейчас. Как здорово, что он догадался не отдать кассету Копчику, намекнул насчет важной записи! Еще не знал, зачем это надо, а инстинкт сработал...

— Кошак, ты чего хочешь-то? — уже по-иному, покладисто, спросил из глубины Курбаши.

— Я? Да ничего. Только чтобы с Ямщиковыми обходились вежливо. И чтобы... — Егор нервно усмехнулся, — со мной тоже. И тогда запись не услышит ни один смертный.

— О'кэй... — после небольшого молчания отозвался Курбаши. — Провод-то подцепи обратно, Кошачок, дышать не видно. И дверь отопри.

— Не-е! Темно там, еще шархнет током. Технику безопасности надо соблюдать. Сами почините, со свечкой.

— Ну, дверь открой.

— Окошечко в «директорской» распечатайте, кто-нибудь из мышат вылезет, отопрет. На десять минут работы. Как раз, чтобы мне кассету унести в надежное место...

— Умен, Кошак, — вздохнул в подвале Курбаши.

— Да уж такой...

— С кассетой-то не балуйся. Потом поговорим еще.

— Можно и поговорить. Ну, пока...

Уже через пять минут, по дороге к дому, нервное ощущение победы сменилось у Егора тоской и страхом. Даже отчаянием.

Тоска была по «таверне», потерянной раз и навсегда: куда он теперь один-то денется? Страх — оттого, что расчет на кассету — слабенький, как паутинка. Что если Курбаши придет в себя и засомневается? Потребуется: «А ну, Кошак, прокрути запись! Не пудришь ли ты мне извилины?» Тогда как быть?

«Тогда — кранты, — сказал себе Егор. — Хоть из города сматывайся». Потому что он знал: измену не простят.

С чего он так сразу — дверью хлоп и на засов? Все оставил за этой дверью, как отрезал! Из-за чего? Из-за злости на Копчика? Из-за этого шизика Редактора? Ох, дурак, дурак, дурак...

Дома он промаялся такими мыслями до полуночи и несколько раз ржал: самое дело — вернуться в «таверну» и с небрежным смехом сказать, что история с касетой — это сплошная хохма. Шуточка. Ну, пускай неудачная. Копчик, скотина, разозлил, вот он, Кошак, и психанул. Всякое бывает. Не станет же Курбаши из-за этого дела Кошака мордовать и гнать из «таверны».

И все же он не пошел. Во-первых, чувствовал: такую шуточку никогда Курбаши не простит. Потому что покусил Кошак на очень серьезную вещь — на его, курбашовское, доверие. В доносчики пригрозил пойти! А этим не грозят даже шутя. А во-вторых, если и примут обратно, не то уже будет отношение к Кошаку. Станет он как разжалованный из полковников в рядовые. А Копчик вознесется. И кстати, тогда уж постарается устроить «иллюминацию» обязательно...

Измотанный сомнениями, Егор наконец уснул, а утром поднялся с тем же страхом, с теми же терзаниями. И сперва не хотел даже в школу идти: нездоровится, мол. Но инстинкт подсказал: раскисать и прятаться нельзя — это еще хуже.

На первый урок Егор все же опоздал и шел к школе, когда совсем рассветало. Утро было ясное, снегу за ночь еще намело, и он сахарно сверкало. Разбрасывал разноцветные искры. И Егор приободрился. Сквозь сомнения и страхи пробилась мысль, которая вчера лишь задавлено копошилась под другими, трусливыми. Даже не мысль, а ощущение: он, Егор, пошел на разрыв с «таверной» не из-за ссоры с Копчиком. И не ради Веньки Ямщикова. То есть не только ради Веньки. Прежде всего — ради себя. Потому что давно уже хотел какого-то взрыва в серой своей и монотонной жизни. Пусть болезненного разлома, пусть отчаянной встряски, лишь бы что-то изменилось...

В конце концов, разве не с этим тайным желанием каких-то перемен поехал он в Среднекамск к Михаилу?

«Не с этим! Ни с каким не с желанием! — рявкнул на себя Егор. И снисходительно, как бы со стороны, сказал себе: — Ну-ну... Егорушка. Не вертись, детка...» — И с удивлением понял, что думает уже не о Курбаши, не о «таверне», а так... в себе самом копаются. Ну и дела!..

Уроки прошли быстро, хотя и скучно. Разнообразие

внесла лишь стычка Егора с Классной Розой по поводу пропущенного первого урока. «Ты, Петров, по-прежнему полагаешь, что тебе все позволено! Напрасно, голубчик. Не те времена...»

Он не понял, какие «не те времена», и забыл о разговоре. Его занимало другое: в классе не было Ямщикова. Это почему-то слегка встревожило Егора. Он хотел даже заглянуть к второклассникам и спросить про Редактора у Ваньки, но... Да не то чтобы он опасался идти к этой нахальной мелкоте, а просто не хотелось. Облепят опять, прицепятся, как пиявки...

Дома снова на Егора навалились сомнения. И опять на минуту подумалось: «Может, вернуться?» Чтобы отвлечься (и заодно чтобы сказать спасибо за присланный снимок, а то как-то неловко), Егор позвонил Михаилу. Но с домашнего телефона женщина ответила, что Михаил Юрьевич в командировке и вернется завтра. Это неожиданно сильно огорчило Егора, и невеселых мыслей стало больше. Хуже всего была неизвестность: как теперь поведет себя Курбаши? Неужели будет тихо сидеть и бояться кошаковской кассеты?.. И Егор обрадовался, когда вдруг появился Валет. Хоть что-то прояснится!

Валет и раньше захаживал к Егору. Матери он нравился: изящный, вежливый.

— Валя! Какой ты молодец, что зашел. А то Горик второй день сидит и куксится... Горик, дай Вале папины тапочки...

В комнате Егора Валет полулегал на тахту и сочувственно глянул на выжидающего Егора.

— Наколочка вышла, Котик. Не записывал ты исповедь нашего храброго шефа.

— Да? — машинально сказал Егор. И кажется, получилось ничего, спокойно и немного иронично.

— Да, мой хороший. Иначе как бы ты мог через день после того дать послушать «Викингов» Грибу?

Все ухнуло внутри у Егора. Холодно стало. Вот дубина кретиническая, как же не подумал об этом?! Теперь — хана...

И все же Кошак — он Кошак. В душе паника, а на лице пренебрежительная ухмылка. Повел плечом, достал из ящика «Плэйер», из другого кассету (приметную, желтую, «Денон»), аккуратно вставил в маг... «Господи, зачем я это делаю? Чтобы оттянуть провал на полминуты? Или на чудо надеюсь? На какое?.. Может, мать что-то

включит на кухне и пережжет пробки? Или на станции случится авария? Или... что?»

Он даванул кнопку перемотки, словно собираясь пустить пленку с начала. И смотрел на Валета спокойно и улыбочиво. Сейчас, мол, убедишься сам. А в мыслях металось отчаянное желание невозможного: «Ну пусть что-нибудь случится! Пусть!»

А что могло случиться? И Егор понял, что остается одно: в последний момент «нечаянно» махнуть рукой и сбить «Плэйер» на пол. Чтобы маг улетел вон туда, к батарее, чтобы грохнулся о чугунные ребра изо всех сил. А то она, японская техника, говорят, такая: ею хоть гвозди забивай, а все равно поет... И к тому же сделать это надо натурально! Чтобы не заметил Валет умысла... Хотя, конечно, трудно представить, что кто-то будет нарочно расшибать маг фирмы «Сони»...

«Ну, а потом что? Принесут другой кассетник: «Давай, Кошачок, заводи...»

Егор неторопливо размотал провода динамиков. С сомнением взглянул на Валета:

— Или лучше наушники? Чтобы меньше шума. Запись не для всяких ушей... Держи.

Валет наушники не взял.

— Нет, Кошачок, я шефу обещал, что слушать не буду. Кто меньше знает, дольше живет. С вашими делами разбирайтесь сами...

— Как хочешь, — безразлично (очень безразлично!) сказал Егор. И почувствовал, будто с него сваливается подтаявшая ледяная корка. Он убрал магнитофон. Лениво объяснил:

— А Грибу я, кстати, давал «Черных мустангов». Ему что «Викинги», что «Мустанги», что «Сказки Венского леса». Сидел, чмокал: «О, кайф...»

Валет вежливо посмеялся. Егор сел рядом, зевнул:

— А с Курбаши мне чего разбираться? Мы друг другу все сказали.

— Он спрашивает: что ты хочешь за кассету? Если она есть...

Егор посмотрел на Валета: что, мол, вы с Курбаши совсем за идиота меня держите?

— Есть такой мультик: один глупый ежик всем свои колючки раздарил, и его тут же кошка съела. Как мышонка.

— Курбаши не съест, — веско сказал Валет. — Он если обещает, то железно.

— Может быть, — подумав, согласился Егор. — Но какая у меня будет жизнь? Даже эта сопля Копчик станет смотреть на меня как... на чурку городошную, которой краденного короля заменили. Помнишь, Позвонок рассказывал...

Валет нейтрально пожал плечами: есть, мол, в твоих словах некоторая логика. И сказал, светски меняя тему беседы:

— Кстати, Копчик Позвонка у меня откупил.

— Как это?

— Просто. За трояк. Мне Позвонок ни к чему, не тот кадр. А Копчик на него вид имеет.

— Какой? — с тревогой спросил Егор.

— А черт его знает. Я в чужие дела не суюсь.

Егор нервно предупредил:

— Передай Курбаши: если Копчик что-то все же задумал против Ямщиковых, я устрою радиопередачу для массового слушателя.

— Передам. Такая моя роль — дипкурьер между двумя несговорчивыми державами...

— Горик, иди сюда на минуту! — окликнула из коридора Алина Михаевна. И когда Егор вышел к ней, сказала: — Спроси у Вали, что он хочет. Чай с вареньем или кофе?

— Спрошу, — улыбнулся Егор. Пришел в комнату. Встал у двери. Валет сидел в небрежной позе. С безразличным лицом.

Егор прижал закрывшуюся дверь спиной и тихо сказал:

— Положи кассету на стол, Валет. Быстро. Убью...

Он был слабее высокого ловкого Валета, но сейчас преимущества оказались на его стороне: позиция у двери, ярость и понимание, что надо драться до самого отчаянного конца. Валет улыбнулся, развел руками и выложил кассету из кармана. Встал.

— Не эту, — сквозь зубы произнес Егор. — Ну...

Все так же улыбаясь, Валет вынул другую.

— Брось сюда. Мне в руки, — приказал Кошак. — Не шути, Валетик... — Он поймал кассету и убедился, что она та самая — с неприметным карандашным штрихом на желтой наклейке. Отошел от двери. С облегчением сказал, подражая Курбаши:

— Ай, нехорошо, Валет. Ай, неправильно, дорогой...

Улыбка у Валета стала тонкой, как у героев Дюма.

— Ты очень умен, Кошак. Лично мне жаль, что ты

с нами поссорился. Тебя будет очень не хватать у нас в «таверне».

— И мне жаль, — почти искренне сказал Егор. — Но я не виноват, вы сами... А может, судьба... Мать хотела чай или кофе приготовить, но, по-моему, ты спешишь, Валет, не правда ли?

— Ты прав. Прощай, Кошачок.

— Адью, Валет.

Вот так по-джентльменски окончилась их беседа. И Егор остался один. Опять со своими путанными мыслями и сомнениями. Ощущение новой победы было непрочным, а страхи и колебания снова росли. «Может, вернуться? Сказать про все Курбаши?»

«Брось, Кошачок. Ты, как говорится, сжег все корабли...»

Мысли цепляются одна за другую. Проскочившее в них слово «сжег» напомнило о планах Копчика. Зачем он, гад, перекупил Позвонка? Вдруг все-таки решится поджечь мастерскую? Он такой — если шизá в извилину въедет, его и Курбаши не остановит.

«Так что же теперь? Может, и правда сжечь корабли? Все до одного? Окончательно?»

Мысль опять вильнула в сторону — оттолкнулась на этот раз от слова «корабли». Четырехмачтовое океанское судно неторопливо развернулось в аквамаринном просторе воды и неба и стало надвигаться на Егора многоэтажными парусами.

Не шуми, океан, ты не так уж суров,
Нам причин для вражды не найти...

..Мы помним этот путь в архипелаге —
Запутанный такой и незнакомый...
Не знали, в чей песок вонзим мы флаги,
Но знали — не найдем дорогу к дому...

Милосердный владыка морей и ветров
Да хранит нас на зыбком пути...

Надо же как перепутались слова разных песен... А кто сохранит на зыбком пути Егора?

«Слушай! Значит, ты просто-напросто трус?»

Но он не боялся теперь ни Курбаши, ни кого другого. То есть боялся, но не так уж... Сильнее был страх вот перед этой неприкаянностью, раздвоенностью. Так и маяться теперь?

И тогда, чтобы в самом деле сжечь все корабли, раз-

ломать мосты, обрубить канаты и освободить себя от сомнений, Кошак сделал то, что «таверна» не простит уже никогда. Переход на сторону противника не прощают нигде никому.

В старой записной книжке он отыскал телефон Светки Бутаковой (в былые времена Егор иногда развлекался тем, что звонил ей вечером и загадочно молчал в трубку).

— Бутакова? Привет, начальница. Это Петров... — Он представил, как округлились у Светки глаза. — Ну, только не дыши так шумно от изумления. У меня один вопрос.

— Ну... какой вопрос? — наконец отозвалась та. Подозрительно и недовольно.

— Ты не знаешь, почему сегодня не было Ямщикова?

— А... тебе-то что?

— Волнуюсь за члена классного коллектива.

Светка подумала.

— Ты, наверно, опять какую-то пакость ему сделал?

— Дура. Чего бы я тогда тебя спрашивал?

— Ох и хам ты, Петенька... Ничего я не знаю про Ямщикова.

— А где живет, знаешь? Ты же командирша, все адреса должны у тебя быть записаны...

— Знаю, но не скажу.

— Военная тайна, что ли?

— Для тебя — да! А то ты опять со своей бандой к нему привяжешься.

— Извини, Бутакова, но ты снова дура. Если бы я имел к Редактору счет, стал бы я тебе звонить?

Она помолчала опять и соврала:

— Нет у меня адреса.

— Но у меня правда серьезное дело к нему! Не успею — будешь виновата!

Светка нерешительно сказала:

— У меня есть его телефон. Звони и сам договаривайся...

Номер Ямщиковых Егор набрал, победивши стыдливую нерешительность и разозлившись на себя. Ответил голосок:

— Квартира Ямщиковых.

— Это... Иван?

— Ага... А это кто?

— Это... Егор Петров. Позови Веньку.

После молчания, после сердитого сопения в трубке раздалось:

- Чего надо, Кошак?
- Позови, Иван. Дело...
- Он не может говорить. У него ангина...
- Ч-черт... А отец дома?
- Че-го? — удивился Ваня.
- У меня дело не к Веньке, а к вашему отцу. По-нял ты?
- Ваня подумал, спросил:
- Позвать?
- Нет, постой. Скажи ваш адрес, я приду сам...

Декабрь

Рано утром, еще до школы, позвонил Курбаши.

— Привет, Кошачок... Слушай, как-то не закончился наш разговор, а?

— Разве не закончился? — напряженно сказал Егор.

— Может, сговоримся насчет кассеты? Валету ты ничего толком не ответил... Кошачок, у меня все по-деловому: товар — деньги... А? И не думай плохого, безопасность я тебе гарантирую.

— Ха. Ха. Ха, — сказал Егор.

— Да ты что! Мое слово железное. А цену я дам серьезную. Дело есть дело.

— Я сказал «ха» не насчет безопасности, — разъяснил Егор. — Я подумал: можно бизнес повернуть — пальчики оближешь... Нет, Курбаши, не буду я химичить. Мы с тобой люди благородные. Хочешь, уступлю даром? То есть запись даром. А кассету — за девять гульденов, по номиналу, без процентов... Слушай на здоровье.

Курбаши помолчал. Спросил, будто из глухой глубины:

— Копию снял?

— А ты думал! И не одну, а две, — вдохновенно со-врал Егор. — Причем одна уже у родственников в Среднекамске, а вторая... Не сыщут ни Томин, ни Знаменский, ни сам Шерлок Холмс.

— Ясненько, — потерянно отозвался Курбаши. И было понятно, что он отчаянно думает:

Егор пошел на крупный риск. Чтобы закрепить позиции:

— Кстати! Валет болтал, будто ты не веришь, что есть запись. Подожди, я маг принесу, через телефон хорошо слышно... А, черт! Уже в школу пора. Ну ничего, подожди, я быстро!

Курбаши ответил, как и рассчитывал Егор:

— Ты что, совсем шизик? Такие речи по телефону!

— Как хочешь...

— Эх, Кошак, Кошак, зря ты это... Ну, взял ты меня на крючок. А зачем? Сам-то как будешь? Пусто тебе будет, Кошачок, нехорошо... Еще в древней Библии сказано: «Если человек одинокий и другого никого нет у него, как ему быть? Когда упадет один и некому поднять его, недоброе это дело и суета сует»... «Экклезиаст» называется эта глава...

В точку ударил, гад. Но не было уже пути назад у Кошака.

— Я думал, ты специалист по Корану, а ты и Библию знаешь.

— Я вообще начитанный, — хмыкнул Курбаши. — Я ведь не в слесаря, а в философы метил. Как и Боба... Не судьба... Я тебе и классику могу процитировать. Хотя бы «Тараса Бульбу». Как там про товарищество сказано. И про предательство...

— А кто тебя предает?! — возмутился Егор. — Не трогайте Ямшиковых, не лезьте ко мне, и кассеты будут молчать, как камни. Ты, главное, смотри, чтобы Копчик дурака не валял.. Я на всякий случай предупредил Ямшиковых, но он же псих...

— В том-то и дело! — у Курбаши прозвучали откровенно боязливые нотки. — Я что и хочу сказать! Я за Копчика не отвечаю, он, вроде, на откол пошел. На то дело, что на пленке, ему начхать, он на нем не завязан...

— Придется тебе отвечать за Копчика, Курбаши. Ничего не поделаешь, придется. Держи его покрепче, это единственный выход, — злорадно сказал Егор. И положил трубку.

Ангина у Редактора оказалась не такой уж сильной...

Накануне, когда Егор говорил с его отцом, Венька даже не показался. Старший Ямшиков сам открыл дверь и сказал, что Венька лежит с замотанным горлом и, кажется, спит. Но сейчас, утром, Редактор появился в школе. Перед самым звонком. Глянул на Егора, и тот понял, что Веньке все известно.

Венька и не притворялся, не играл в безразличие. После первого урока догнал Егора в коридоре.

— Петров... Слушай, зачем ты это сделал, а?

— Что? А!.. Ты про вчерашнее, что ли?

— А про что еще... — сипловато сказал Венька. Они остановились у окна. Мимо двигался неторопливый, с завихрениями поток старшеклассников, меняющих кабинеты. В потоке стайками плотвы носилась малышня. Венька стоял перед Егором еще более тонкий, чем всегда, бледный. Его цепляли портфелями.

— Я не понимаю, — сказал Егор. — Ты чем опять недоволен?

— Я не говорю, что недоволен... — Венька смотрел то Егору в глаза, то куда-то вбок. — Просто неясно...

— Тебе же отец, наверно, все объяснил.

— Он объяснил, что ты сказал. Но не объяснил, зачем.

«Его это и не интересовало», — мысленно ответил Егор. Он помнил, что разговор был простой и короткий. Старший Ямщиков вроде бы и не удивился, что Венькин одноклассник Петров пришел и рассказывает такую вещь: есть, мол, компания, которая придирается к Веньке и в отместку ему надумала пустить «петуха» в мастерскую. Может, и просто треплются, но на всякий случай надо быть начеку. Тем более что некий Позвонок живет неподалеку и по приказу Копчика может сделать всякое.

«Ах, паразиты! — не возмутился, а скорее, удивился Аркадий Иванович (а Ваня сидел в уголке и молча, прицельно как-то глядел на Кошака). — Чего им неймется? Пришли бы в мастерскую, я бы им станок показал, делу научил... Ну, спасибо тебе, Егор. Я, конечно, буду смотреть. Хотя, если всерьез пакость задумают, как углядишь?.. Слушай, а Венька мой говорил, что у него с тобой вроде бы нелады? До драки доходило?»

«Было, — хмуро сказал Егор. — Сейчас разговор не о том...»

«Оно верно, сейчас не до детских ссор... А Колька-то Позвонков какой фрукт! Я же его с пеленок знаю, с отцом его в одном цехе работали... Отец потом развелся, уехал, а Николай, значит, и покатился по наклонной... С матерью, что ли, поговорить, хотя она, конечно, особа излишне шумная...»

И, вспомнив этот разговор, Егор сейчас сказал Веньке:

— Что значит «зачем»? Думаешь, что я какой-то финт хочу скрутить?

Венька мотнул головой (и смешно затряслись сосульки-волосы).

— Нет, я так не думаю. Но согласись, что это неожиданно...

— Для тебя неожиданно, — с усмешкой уточнил Егор.

— Ну, да... А у меня такой характер: всегда хочется разобраться. Понять мотивы поступка.

— «Мотивы» самые шкурнические, — слегка разозлился Егор (непонятно только: на Веньку или на себя). — Ты после той истории думаешь, что я... на веки вечные твой враг. Копчик тебя запалит, а ты решишь, что это моя коварная месть. Мне это зачем? Отвечай еще потом...

Венька снова глянул Егору в лицо, быстро облизал пухлые, с трещинками губы. Тихо сказал:

— Нет, я думаю, ты не из-за этого.

— Да ты душекопатель-профессионал, Редактор, — уже крепче разозлился Егор. — Ты что, благородные причины во мне ищешь? Не ищи, я эгоист.

Венька улыбнулся еле-еле, уголком рта.

— Ну... ладно. Все равно спасибо.

— Не надо... Отец твой спасибо уже сказал.

— А я не от него, а от меня... Отец ведь не знал, что ты рискуешь.

Егор скривился:

— А чем я рискую?

— Если в вашей «таверне» узнают...

— А они знают, Венечка... — вздохнул Егор. — Ничего мне не грозит, я не дурак, чтобы головой в капкан, принял меры... Так что не усматривай во мне рыцарства.

— Ну ладно... — опять сказал Венька. И отошел. И оглянулся на миг. Это движение Веньки Редактора — быстрый поворот головы и хитровато-веселый взгляд — толкнули Егора, как резкое напоминание. О чем-то очень знакомом.

О чем?

На уроке литературы начался с пустяка и разгорелся «скандал на эстетическую и философскую тему» (как выразился невозмутимый Максим Шитиков). Классная Роза сказала:

— Мстислав Георгиевич жалуется на нас, друзья. Он распространяет билеты в молодежный театр «Эхо», и оказалось, что в нашем классе на спектакль не хочет идти никто...

— А что, это разве по программе? — спросил глупый Карасев, и Роза поморщилась.

— Это новое, смелое течение в современном театральном искусстве. И мне казалось, что восьмиклассники уже достаточно взрослые, чтобы...

— Настолько новое и настолько смелое, что никто билеты не берет. Как бы чего не вышло, — вдруг подал голос Антон Разумовский по прозвищу Граф. Рослый, толстый, на графа он был похож, как бочка на фарфоровую вазу, занимался штангой. Казалось бы, ему ли судить о театре. Роза так и высказалась:

— Боже мой, Разумовский... Оставь свой тяжелоатлетический юмор. Мы же не о поднятии веса беседуем.

Разумовский не сдался:

— А у этого «Эха» сплошное эханье и оханье... Думают, если Высоцкого поют, так уже смелость и передовые идеи.

— Высоцкий как раз не означает еще передовых идей, — быстро сказала Роза Анатольевна. — Отношение к нему неоднозначно... Однако вы должны быть в курсе современных культурных течений. Надо вторгаться в жизнь и учиться формулировать свое мнение о действительно-сти...

— Ага! — воскликнул маленький Юрка Громов. — Ямщиков тогда сформулировал в сочинении, что много молчалиных развелось. Что ему поставили?

— Ему поставили «три», Громов! Хотя можно было и «два». Не за самостоятельность суждений, а за уход от основной темы...

— Оно так и бывает, — подал голос Шитиков. — Как проявил не ту самостоятельность, не из учебника, так и уход...

— Вы всегда любое дело сводите к пустой болтовне и дутой полемике, — скорбно сказала Классная Роза. — Это понятно. Для йстинного самостоятельного мышления нужен все-таки хоть какой-то йнтеллектуальный уровень. А у вас одни дискотеки в головах, на серьезный спектакль или концерт арканом не затащишь.

— Особенно когда тащат насильно, — выдохнул Разумовский. — Поп-физик говорит: «Таких, как ты, надо зашиворот в цивилизацию тащить». А я говорю: «У меня весовая категория не та». А он говорит: «Дашь дневник...»

— Дневник ты дашь мне, — подытожила Роза Анатольевна. — За «Поп-физика». Совсем охамели... Недаром журналисты в газетах охают: «Что за поколение! Откуда такие нищие духом?»

— Кто-кто? — спросил глупый Карасев.

— Ты, Карась, хотя бы «Тома Сойера» прочитал, — сказала Светка Бутакова. — Даже там про это есть, «Блаженны нищие духом, ибо они...» Помнишь, Том Сойер мо-

литву для школы не мог выучить? Такой же тупой, как некоторые...

— Совершенно верно, — Классная Роза благосклонно взглянула на Бутакову. — Именно в убогом обществе насилия и наживы сильным мира выгодно, чтобы больше людей выростали нищими духом. То есть с убогим умом, не умеющие самостоятельно мыслить... Потому-то Иисус Христос и обещал таким людям царствие небесное... Это написано еще в Ветхом завете, в Евангелии...

— Евангелие — это Новый завет, — вдруг отчетливо сказал Ямщиков. — А у выражения «блаженны нищие духом» там совсем другой смысл. Оно означает: «Счастливы те, кто стал нищим, отказался от богатства и наживы по велению своего духа»...

Классная Роза растерянно мигнула, но отозвалась ехидно:

— Да? Любопытная трактобочка.

— Это он «Мастера и Маргариты» начитался, — произнесла томная Симакова и потрогала сережки. — Там Иисус Христос положительный персонаж.

— В «Мастере» об этом не написано. Лучше почитай статью в двухтомнике «Мифы народов мира». Широкое издание для массового читателя, — в голосе Веньки прозвучала несвойственная ему язвительность. — Тоже помогает от нищеты духа.

— Не знаю, что там в двухтомнике, — сухо сказала Роза Анатольевна, — а твои высказывания, Ямщиков, отдают... Еще в давние времена хитрые йдеологи разных мастей пытались доказать, что...

Она запнулась, подбирая формулировку, а Егора дернуло за язык. Ну, совершенно неожиданно!

— Ии ты, Ямщиков, с такими взглядами надеешься попасть в девятый класс? — возгласил он так похоже на Классную Розу, что все грохнуло.

Роза онемела. А когда ржание поутихло, она печально произнесла:

— Докатались. Ямщиков и Петров в одной упряжке. С чего бы это?

— А я тоже люблю библейские тексты. Вы тут на Редактора нажали, я и вспомнил: «Плохо, если человек один. Недоброе это дело и суета сует. Когда упадет, кто поднимет его?» Это из «Экклезиаста», глава такая...

Бутакова подскочила за столом:

— Петеньке бы эти слова раньше вспомнить, когда он на Ямщикова с дружками своими лез!

— И уж не Петрову быть проповедником евангельского бескорыстия... — добавила Классная Роза.

— С его джинсами и магнитофонами, — заключила Бутакова.

Егор сказал:

— Хочешь, чтобы доказать свое бескорыстие, я расшибу кассетник о твою голову? Он прочен, но твоя активистская башка тверже.

— Аминь, — произнес «граф» Разумовский.

Снова загоготали, и Классная Роза оборвала веселье хлопком по столу. И сообщила, что хулиганские наклонности Петрова известны давно, их терпели до поры, но все кончается. Ибо меняются обстоятельства. «Опять она об этом», — подумал Егор. Далее Роза взволнованно поведала, что неожиданная поддержка Ямщикова Петровым вполне логична.

— Если разобраться, йи тот, йи другой — явления одного йидейного уровня. Две стороны одной медали. Каждый по-своему, но оба противопоставляют себя коллективу и посягают на школьный порядок. Йи я думаю, что комсомольцы класса дадут верную оценку религиозным вылазкам одного и хулиганским угрозам другого... А теперь переходим к уроку.

Дать оценку «вылазкам и угрозам» не удалось. Когда Бутакова после уроков закричала о собрании, Егор напомнил, что он, увь, еще не комсомолец.

— Но ты же член классного коллектива! Ты обязан!

— Чево-чево? — сказал Егор. А Венька достал бумажку и вежливо помахал перед носом у Светки:

— Видишь, написано: «Освобождается от занятий до пятого декабря». Сегодня я в школе добровольно, так что собрание придется отложить... А ты пока возьми двухтомник «Мифы», почитай все-таки. А то неудобно получится. Вдруг автор статьи какой-нибудь знаменитый лауреат, а ты на него...

— Мы не с лауреатом будем спорить, а с твоей пропагандой!

— Бутакова, — тихо сказал Венька и побледнел. — Ты смотрела недавно по телевизору фильм «Большой вальс»?

— Ну... и что?

— Старый фильм, еще до войны шел... И вот тогда моя бабушка (она еще молодая была) одной своей подружке... такой же, как ты... это кино похвалила. В разговоре... И отсидела бабушка три года за пропаганду буржу-

азного искусства. Сколько ты мне определишь? За то, что сослался на статью в словаре?

Он обошел Бутакову, как тумбочку, а в дверях вдруг опять оглянулся на Егора. Без улыбки, но снова как-то знакомо...

Кого же напомнил ему Венька дважды за этот день? Егор пытался сообразить и не смог. Но это не вызвало раздражения. Осталось чувство, как от ускользающего из памяти хорошего сна.

Дома Егор дождался, когда мать уйдет по своим делам, и позвонил в Среднекамск. Рассчитал: если сегодня утром Михаил вернулся из командировки, должен быть в отгуле. Так и вышло.

— Слушаю... — сказал Михаил. — Это ты, Егор? Я догадался... Ну что, получил снимок?

— Ага. Спасибо...

— Я много не стал посылать. Знал, что Ревский тебя целой пачкой наградит.

— Все ты знаешь наперед, — огрызнулся Егор. — Иногда аж противно... Зачем ты Ревскому позвонил про меня?

— Догадался, что ты все равно к нему пойдешь. Разве хуже вышло?

— Хуже не хуже, а кто тебя просил?

— Ты зачем звонишь-то? Чтобы поругаться?

Егор звонил не за этим. Просто надо же к кому-то прислониться, если прежних друзей не стало. Но он сказал:

— Ну и поругаться. А что?

— Ладно, ваяй...

— Не хочется уже, — вздохнул Егор. — Ты подготовился, это неинтересно... Да я и так ругался недавно, надоело...

— С кем, если не секрет?

— С Классной Розой. В богословский спор влез.

— Ого!

— Сам не знаю, чего сунулся...

И Егор, стеснительно хмыкая, выложил суть конфликта.

— Судя по всему, — сказал Михаил, — ваша Роза с шипами...

— Шипы острые, но сама она тупа...

— А Редактор твой — парнишка начитанный.

— С чего это он «мой»?

— Не цепляйся к словам... И кстати, почему ты полез за него вступаться?

«Сам не понимаю. По глупости», — едва не буркнул Егор. И вместо этого сказал печально:

— Не знаю... Миша. Это не только сегодня. Вообще у меня тут... Ты слушаешь?

Сидя у телефона и глядя на себя в полутемное коридорное зеркало, он рассказал Михаилу все, что случилось за последние дни. Обстоятельно, задумчиво даже. Будто сам с собой беседовал. Об одном умолчал: о своей хитрости с кассетой. Потому что слово надо держать. Михаил встревоженно спросил:

— Егор, а ты не боишься, что теперь не дадут проходу?

— Не боюсь. Я знаю, чем их унять.

— Ох, смотри... Ну, ты молодец, конечно.

Никакой он был не молодец, но почувствовал: похвала ему приятна. И вся натура Кошака тут же возмутилась против этого.

— Чего ты меня ублажаешь-то! Дурак я...

Двоюродный брат сразу сменил тон:

— Дурак — это верно. Одна надежда — с возрастом пройдет.

— У тебя вот не прошло, — нахально сказал Егор.

— А я что... я признаю. За последнее время столько глупостей наделал.

— Влюбился, что ли? — осенило Егора.

Михаил помолчал.

— Да как тебе сказать... Влюбился-то давно. Меньше тебя был. И до сих пор расхлебываю... Нестандартная ситуация.

«Завидное постоянство», — чуть не брякнул Егор. Но почуял: не надо. Михаил сказал бодрее:

— Повидаться бы, братец Егорушка, нам. Поговорить...

— А я с тобой по телефону почему-то лучше разговариваю, — признался Егор. — Легче, чем тогда...

— Это бывает. Но не век же нам так... И к тому же счета придут. Как ты дома-то объяснишь?

— А было уже... Отец все знает.

— Ну и... что?

— А ничего такого, — почти весело отозвался Егор. «Ты, — говорит, — все равно Петров и мой наследник...»

— Может, он в чем-то и прав.

— А по-моему, просто ему не до того. У него на заводе какая-то заваруха, слухи ходят. Мне и Роза уже на-

мекала: обожди, мол, обстоятельства меняются, скоро за папочку не спрячешься.

— А ты прячешься?

— А они сами меня за него прячут! — взорвался Егор. — В гробу я видел такую жизнь!

— Не вулканизируй... Слушай, раз уж Виктор Романович и Алина Михаевна все знают...

— Ну?

— Тогда у меня один вопрос...

— Какой?

— Нет, лучше я приеду на днях, тогда поговорим.

— Специально для этого вопроса приедешь? — почему-то встревожился Егор.

— Не специально. Привезу тут одного...

Несколько дней прошли спокойно и быстро. «Таверна» о себе не напоминала, про собрание в классе тоже забыли, хотя Венька уже не болел и ходил на уроки исправно. Несмотря на отсутствие событий и одиночество, Егор не скучал. Была у него уверенность, что скоро случится что-то интересное и важное. А начало зимы сверкало под солнцем широкими пластами снеговых заносов — такими же чистыми, как паруса «Крузенштерна».

...В пятницу после уроков к Егору подошел в раздевалке смущенный Венька.

— Петров... Там тебя милиционер спрашивает. У выхода... Просил найти и сказать, что ждет...

Егор сразу понял:

— Старший сержант? Который тогда... с тобой был?

— Ну... — На лице у Веньки была непривычная виноватость. И вопрос. Но Егор — куртку на плечи и выскочил из школы.

Михаил стоял не один. К нему притерся пацаненок лет десяти — помятый и словно припорошенный угольной пылью. В длинном пальто и растрепанной ушастой шапке. Лицо мальчишки терялось под бесформенной шапкой, и Егор заметил только похожие на серые блестящие пуговицы глаза. Пацаненок глянул ими на Егора подозрительно и ревниво, но тут же отключился. Покрепче взял Михаила за шинельный рукав.

— Привет, — сказал Егор. — Ты нарочно, что ли, именно Веньку послал искать меня? Больше никого не мог?

— А что? Вижу — знакомый. Вот и попросил... Слушай, давай сперва отведем домой этого добра молодца,

а потом погуляем, поговорим... Это недалеко, на улице Чернышевского.

Они пошли от школы, и мальчишка по-прежнему держал Михаила за рукав. Ничего не говорил. Воротник у пальто был широкий, рваный шарф разъезжался, и тонкая грязная шея мальчишки беззащитно торчала из ворота (это напомнило Егору Веньку). Иногда мальчишка странно, крупно переглатывал, и на горле его напрягались и опадали под кожей резиновые жилки.

«Заглотиш», — неожиданно придумалось у Егора прозвище. Заглотишами пацаны в «Электронике» называли крошечные крючки для рыбешек. Егор никогда рыбалку не любил и на пойманных окунят и пескариков смотрел со смесью отвращения и жалости. Это было в давнем детстве до случая с бабочкой... Теперь мальчишка, глотающий не то страх, не то слезы, показался Егору такой вот рыбешкой, попавшей на крючок-заглотиш. И поэтому сам — Заглотиш.

Шли быстро. Видно, Михаил торопился кончить командировочное дело со своим подопечным. Заглотиш не отставал, послушно топал подшитыми валенками по спресованному на тротуаре снегу. В углу рта у него была крупная болячка, и он часто трогал ее кончиком языка.

Улица Чернышевского была рядом с Калужской. Тоже старая, в тополях и березах. Заглотиш жил на первом этаже двухэтажного приземистого дома. В глубине двора. В темных сенях пахло керосином, а в широкой низкой комнате — застарелым табачным чадом и кислятиной. Худая тетка в замызганном халате, но со сверкающими сережками и следами помады на губах тоненько заподывала и облапила Заглотиша. Он выскользнул, сел у окна. Молча наблюдал, как мать, ставшая послушно-деловитой, кивает и подписывает бумаги. И опять кивает — когда Михаил говорит, что скоро заедет и проверит, в каких условиях живет мальчик.

Егор стоял у дверей и смотрел такими же глазами, какими юный Эдуард из книжки «Принц и нищий» оглядывал убогое жилище Тома Кенти. Даже «таверна» с ее утильной мебелью и кирпичными стенами была несравнима с этой берлогой. Там уют и тепло, а здесь унылая безысходность. Стол, разномастные стулья и даже новый телевизор казались липкими. Отгораживающая угол пятнистая занавесь источала запах прокисшего винегрета. За ней кто-то тихо шевельнулся и вздохнул.

— На работу устроились? — бесцветным голосом спросил Михаил.

— А как же, а как же! На складе макулатуры, приемщица я. Добрые люди помогли. А сегодня у меня отгул.

— Отгул или загул?

— А?.. Да вы не беспокойтесь, товарищ милиционер. Теперь будет, как я Валерию Петровичу, участковому нашему, обещала.

Михаил со щелчком закрыл сумку.

— Я наведаюсь сам, помимо участкового... Ну, Витек, я пошел. Оставайся, живи, как договорились. Я потом навещу...

Витек-Заглотыш не двинулся с места, только глотнул.

Егор с облегчением вышел на двор, Михаил за ним. Они были уже за калиткой, когда раздались всхлипы и топот и Заглотыш догнал их. Вцепился в Михаила, щекой прилепился к рукаву.

— Дядя Миша-а! Не надо!

— Что не надо? Витек! Что с тобой?

— Не надо, не уходите! Я с вами!

— Куда ты со мной-то? Вить... Это же нельзя... А мама?

— С ва-ами! — рыдал Заглотыш и цеплялся. Выскочила мать, ухватила его. Кое-как оторвали Заглотыша от Михаила, увели. Он все вскрикивал: «Не надо! С вами!..»

Когда опять вышли на улицу, Егор неловко спросил:

— И это что, каждый раз так?

Михаил сказал угрюмо:

— Каждый раз по-разному... Но по-хорошему редко...

— Работка у тебя...

— Сволочная.

— А этот... Витек... Он же все равно сбежит опять.

— Не копай ты мне душу, Егорушка, — попросил Михаил. — Лучше скажи, у тебя-то как?

— Что именно?

— Ну, хотя бы как у Ревского бывал?

Егор пожал плечом: чего, мол, такого... Но стал рассказывать. И разговорился не хуже, чем по телефону. И про фильм сказал. Признался даже, что не может до конца поверить, будто молодой матрос, мелькнувший на экране, — отец.

— Ну, это понятно, — кивнул Михаил.

— А вообще-то в картине «что-то есть»...

Сперва они ходили по тихим улицам, где временами с отяжелевших веток искрящимися струйками сыпался

снег. Потом зашли в кафе «Лира» — погреться и перекусить. Когда опять оказались на улице, Михаил сказал:

— Ну а теперь давай потихоньку к вокзалу. До поезда полтора часа...

— А вопрос? Помнишь, ты говорил по телефону...

До этого он терпеливо, хотя и с беспокойством ждал. Но сколько же можно?

— Помню, — кивнул Михаил. И как-то обмяк, будто даже виноватым сделался. — Я вот что думал... раз уж дома у тебя все известно... Может, сказать про тебя и моим? Маме, сестре? Ты пойми, это же для них...

— Ты разве еще не сказал? — стесненно спросил Егор.

— А какое я имею право? Без твоего согласия...

— Теперь-то уж не все ли равно?

— Не все равно, — вздохнул Михаил. — Тут ведь вот что. Хочешь не хочешь, а на тебя кое-что ляжет. Ну, вроде как обязанности какие-то. Заехать иногда, повидаться... И может, всякие поцелуи-ласки стерпеть, женщины ведь. Даже если тебе это не по душе...

— Да уж стерплю, — слегка дурашливо пообещал Егор. И сказал нерешительно: — Может, мы скоро чаще будем видеться. Я в Среднекамск, наверно, переберусь к осени.

— Как так?

— Там училище есть, речных штурманов и механиков выпускают.

— И ты решил идти в речники? Давно?

— Недавно... Там и для плавания «река-море» готовят, я слышал. И даже просто для морей... В настоящую мореходку мне, наверно, не пробиться с моими-то отметками, а в Среднекамское училище, говорят, легче. После восьмого.

Михаил молчал.

— Не одобряешь, что ли? — разочарованно спросил Егор.

— Не одобряю... Во-первых, это не совсем то училище, **каким** оно тебе кажется. Скорее, обычное ПТУ. И по уровню, и по нравам. И пацанам, уехавшим из дома, там **о**х как нелегко...

— Ничего, меня не съедят... Подумаешь, ПТУ. Везде кричат, что это теперь главное всего, а ты...

— Главное — это когда человек твердо решил, обдуманно. А ты хочешь, как проще... Подожди психовать, послушай... Во-первых, ты лазейку ищешь, чтобы со своими тройками проскользнуть. А во-вторых, стараешься поско-

рее от жизни с отцом избавиться. Тем более когда узнал такое...

— Все ты понимаешь, — язвительно сказал Егор.

— А что? Не так?

— Так, да не совсем...

— Ну, не совсем... Еще романтика дальних странствий. Но только в училище ты не увидишь тех парусов, что на экране.

Егор чуть не зарычал.

— До чего ты любишь в душу залазить! Так бы и дал по шее.

— Ну дай, — засмеялся Михаил. — А в училище не советую.

— А что советуешь?

— Кончай десятый, ума-разума набирайся, аттестат получай приличный. И, если не передумаешь, поступай в мореходку или высшее морское. Тебе ведь не река нужна, а море. Верно?

— И еще два года тянуть с папой Вик-Романычем?

— И с матерью. С родной. К ней-то ты что имеешь?

Егор молчал. Трудно объяснить, что хочется полного перелома. Раз уж столько в жизни изменилось, пусть меняется до конца. Чтобы все было другое — и город, и люди, и дела...

Михаил осторожно сказал:

— Два года — разве много? Дольше терпел...

— Деваться было некуда.

— Ну... — Михаил быстро глянул на Егора. Проговорил, словно преодолевая последнюю неловкость: — Если что случится, ты же понимаешь: у тебя в Среднекамске тоже есть дом.

Егор качнул головой. То ли кивнул, то ли так просто... Нет, все было неплохо, но только он продрог наконец в своей финской курточке, и поэтому хотелось закурить. И сигареты были. Но при Михаиле Егор не решился...

На следующий день после уроков Егора догнал на улице Венька. Спросил насупленно:

— У тебя неприятности, что ли?

— С чего ты взял?

— А вчера... милиционер... Если думаешь, что из-за меня, то зря. Мы с ним тогда просто случайно вместе шли.

Егор сделал значительное лицо и с полминуты поглядывал на хмуро-виноватого Веньку. Потом как бы спохватился:

— А, милиционер!.. Это мой двоюродный брат.

Венька смешно замигал и даже остановился.

— Ну да, — сказал Егор уже серьезно. — Он в те дни как раз меня разыскивал. И про отца я от него узнал. Про настоящего... Помнишь, я тебе говорил?

— Значит, это правда? — глаза у Веньки стали сочувствующие.

— Кто же такими вещами шутит, — усмехнулся Егор. И подумал: «Зачем я опять с ним об этом?» Но тут судьба словно решила наградить его за откровенность. Венька, стоявший у дощатого, со снежным гребешком забора, переступил, отодвинулся, и за ним открылась маленькая белая афиша: «Клуб им. Гагарина. 9 декабря. Худ. фильм «Корабли в Лиссе». Нач. в 17.00».

— Ух ты, — невольно сказал Егор. — Клуб Гагарина, это где?

Венька оглянулся на афишу.

— Это у фабрики «Маяк», недалеко... А что, хорошее кино?

— Кому как... — Егор подавил желание сказать о том, что для него этот фильм. И без того разболтался...

— Я и не слышал о таком, — сказал Венька. — Это по Грину?

— Ага... Паруса, пираты...

— Надо сходить с Ванюшкой. Он такое обожает... А ты пойдешь?

Егор вспомнил, что с собой нет ни копейки. Вчера он сунул в карман рубль, но истратил на буфет и сигареты (нельзя же все время попрошайничать). Егор плюнул от огорчения. Матери дома не будет до вечера, уехала к знакомым. Занять не у кого. Он разочарованно похлопал по карманам.

— Если хочешь, — сказал Венька, — я куплю билет и тебе. А ты приходи прямо к клубу. Без пятнадцати пять...

Егору отчаянно хотелось еще раз посмотреть «Корабли».

— Можно... — сказал он.

Венька кивнул и, уходя, опять знакомо оглянулся.

И тогда, как при неожиданном повороте лучей, все осветилось, вспомнилось и выстроилось в картину.

...Думая о речном училище, Егор не раз вспоминал славный плес с затопленной колокольной. Он увидел его и сейчас. Почти как наяву. Обходя колокольню по широкой дуге, шли над водой накренившиеся пирамиды легких многоярусных парусов. А в широком проеме колокольни, дер-

жась одной рукой за выступ, а другой сжимая опущенную серебряную трубу, стоял мальчишка. Горнист Игорек. Тот, кто после сигнала убежал с крыльца и оглядывался на всех весело и доверчиво. Как Венька...

Глаз тайфуна

«Немало пороху потрачено было на торжественные салюты по поводу примирения его превосходительства Николая Петровича Резанова с Круземштерном и его офицерами. Палили в честь посланника, палили в честь моряков и, конечно же, в честь губернатора Камчатки генерала Кошелева, положившего много сил, чтобы восстановить мир и чтобы славные дела — кругосветное плавание россиян и посольство их в Японию — не были неразумно прерваны из-за столкновения человеческих натур.

Палили радостно орудия «Надежды», отвечала им с берега Камчатская крепость.

Немало часов ушло и на веселые застолья в честь того, что прежние раздоры обещано со всех сторон предать забвению. Хлопали пробки, произносились тосты во здравие государя императора, во здравие всех присутствующих и за благополучное окончание всех предприятий и плавания. И опять гулким ревом откликались на верхней палубе пушки. Подпрыгивала и звенела на широком столе кают-компания посуда...

Однако чем приветливее были улыбки Резанова, тем сильнее чувствовали офицеры внутреннюю натянутость. Зная характер посланника и помня прежнюю взаимную вражду, могли они разве поверить, что его превосходительство изгнал из души всякую обиду и отныне будет помышлять единственно о пользе общего дела?

Лишь второй лейтенант «Надежды» Петр Иванович Головачев вначале принял наступившую развязку за искреннее примирение. К такому решению пришел он, видимо, по молодости да еще по горячему желанию общего душевного благополучия и добрых отношений. Однако и Головачев скоро убедился в ошибке. Случилось это, когда его превосходительство, улыбаясь, поднимался по трапу с барказа, а капитан-лейтенант Ратманов сказал вполголоса товарищам:

— Попомните, господа, эта птица еще снесет нам тухлое яичко...

Мрачное свое предсказание Макар Иванович вспомнил через три недели, когда уже далеко осталась Камчатка и корабль приближался к берегам таинственной Японии.

В то утро, 27 сентября по новому стилю (коим всегда пользовался Крузенштерн в путевом журнале), команда, офицеры и пассажиры построились на шканцах. Ибо число это было днем высочайшей коронации его императорского величества. Славную дату следовало отмечать торжественным молебном, но священника на корабле не было, и посланник устроил церемонию по своему разумению. Ознаменовал радостный для всех подданных Российской империи день раздачею наград. Был вынесен поднос с горкой серебряных медалей и для торжественности крытый шелковой златотканой парчой. Она сияла при нежарком солнце, проглянувшем сквозь облака после многих бурных и пасмурных дней.

Ставши перед строем и покачиваясь на тонких, в новые ботфорты обутых ногах, его превосходительство сказал речь:

— Россияне! Обошед вселенную, видим мы себя наконец в водах японских. Любовь к отечеству, искусство, мужество, презрение опасностей, повиновение начальству, взаимное уважение, кротость — вот черты, изображающие российских моряков. Вот добродетели, всем россиянам вообще свойственные...

Офицеры прикусили губы. После всего, что было, слова о взаимном уважении, повиновении начальству и кротости звучали, мягко выражаясь, забавно. Даже у некоторых матросов, и прежде всего у «не по чину грамотного» Курганова, под маской благолепного внимания мелькнуло нечто малосоответствующее моменту.

«Зачем он так?» — с досадой подумал о Резанове лейтенант Головачев. В самом деле, для чего Николай Петрович, умевший в долгах, радующих душу и ум беседах находить ясные слова, сейчас говорит казенные витиеватые фразы, половину которых матросы не понимают, а другую половину не берут всерьез? Или не о смысле думает посланник, а только о единой задаче: показать всем, кто ныне истинный начальник над экспедицией? Но достойно ли это столь просвещенного и доброго человека?

Резанов же вдохновлялся все более. Поднявши в пальцах похожую на новый полтинник медаль, он вещал:

— Зрите здесь изображение великого государя, при-

мите в нем мзду вашу и украсьтеесь сим отличием, денными беспредельными трудами и усердием приобретаемым...

Медали были розданы всем рядовым и унтер-офицерским чинам. Числом шестьдесят три. Квартирмейстер Иван Курганов, хотя и настроен был к его превосходительству с некоторой насмешкою, к награде отнесся серьезно. Аккуратно прицепил медаль к зеленому сукну мундира. Сказал товарищам:

— А как же не носить-то? Или не заслужили мы? Полземли обошли, матушки-России больше года не видим... И соленого похлебали. Не то что иные, которые только с берега на корабль, а им уже медаль на пузо.

Он говорил это, косо поглядывая на солдат Камчатского гарнизона. Восемь роулых гренадеров под командою поручика Кошелева, брата губернатора, взял с собой в Японию посланник Резанов. Вроде бы как почетная стража при посольстве, а на самом деле, видно, для пущей своей безопасности: мало ли как сложатся отношения с господами морскими офицерами...

— Они люди казенные, — сказал добродушный десятник Гледианов. — Приказали — поплыли. Награду дали — «Рады стараться!».

— А к тому же будет еще у них всякое, — рассудил бомбардир Никита Жегалин. — Да и мы не ведаем всего, что впереди. Слыхали, небось, как вчера их благородие Фаддей Фаддеич рассказывали, что в здешних водах бури случаются небывалые. На китайском языке называется «тифон».

— Авось пронесет, — глянув на спокойное небо, заметил Курганов. — До японской гавани Нангазаки, говорят, недалече.

Жегалин возразил:

— Якорь не положивши, молебен не твори.

...Ту же мысль высказал и Макар Иванович, когда офицеры шли к праздничному столу. Корабль, покачиваясь на пологой зыби, тихо скользил под теплым ветром, погода в отличие от прежних дней стояла самая приятная, но Ратманов настроен был мрачно. Пообещал лейтенантам Ромбергу и Беллинсгаузену:

— Шакаркает он нам беду. Виданное ли дело: похваляться, не придя в гавань. «Обошел вселенную!.. Видим себя в водах японских!»! Этих вод мы еще хлебнем, попомните мои слова...

Лейтенанты кивали. Оно и правда, только сухопутный

человек может искушать судьбу и, нарушая давние обычаи морские, хвалить свое плавание, не достигнув берега...»

Наклонов читал громко, выразительно. Уверенная борода его при этом шевелилась, очки от энергичного движения бровей шевелились тоже. Наклонов одной рукой удерживал близко от очков листы, а другую, приподнявши сбоку свитер, сунул в брючный карман. Порой он, не отрывая глаз от строчек, прохаживался у стола, и его животик упруго колыхался под свитером.

Иногда же Олег Валентинович на миг опускал листы и взглядывал на слушателей — вопросительно, однако без робости. Скорее, испытующе: постигают ли школьники прочитанное?

Они постигали. По крайней мере, сидели тихо. Тем более, что никто их сюда не загонял, это было вполне добровольное собрание литературного клуба «Факел».

Объявление об этом новом клубе и о том, что занятия будет вести писатель Наклонов О. В., появилось в школьном вестибюле неделю назад. Егор как раз читал его и размышлял, когда рядом остановился Венька.

Отношения у Редактора и Егора Петрова были теперь странные. Оба коротко говорили при встречах «привет», иногда обменивались лаконичными, по делу, вопросами и репликами и порой ловили на себе быстрые, как бы исподтишка брошенные взгляды друг друга. Словно каждый приглядывался к другому и чего-то ждал. А чего?.. Смешно даже...

Тем не менее сейчас Венька встал сбоку от Егора, прочитал афишу и вполне безразлично спросил:

— Пойдешь?

— Подумаю... — Егор в самом деле подумал и решился на длинную фразу. — Пожалуй... Он, небось, опять про Крузенштерна читать будет, а у меня к этой истории свой интерес.

Егору показалось, что Венька спросит: «Какой?» И можно будет сказать: «Одна давняя история, с братом связанная... Кстати, помнишь юнгу на корабле в кино? Это он и есть. А корабль по правде называется не «Фелицата», а «Крузенштерн»...

В тот раз, после фильма, они разошлись, коротко сказав друг другу «пока». Егор не решился спросить, как Венька отнесся к «Кораблям в Лиссе», а сам Ямщиков тоже промолчал. Торопился с братишкой домой. Ну, а на

другой день тем более — какой разговор? Отдал Егор двадцать копеек за билет — и дело с концом... А если честно признаться, поговорить хотелось.

— Может, сейчас?

Но Венька нерешительно промолчал. И тогда задал вопрос Егор. Коротко, небрежно:

— А ты? Пойдешь?

— Не получится. У Ванюшки в классе репетиция, они в каникулы пьесу ставят, отрывки из сказок Пушкина. Про работника Балду и про Золотую рыбку. Я им помочь обещал.

— Ничего у них не выйдет, — сказал Егор. — С такой ведьмой, как их горластая Настя, кашу не сварить.

— У них шеф появился. Студентка из пединститута, вроде вожатой, с ней можно... А та, конечно, ведьма. — Венька вдруг заговорил глухо и жестко: — В сентябре Ваньку носом в тетрадь как ткнет: «Смотри внимательно!» У того и побежало — вся тетрадка в крови. Конечно, у него нос слабый, но зачем тыкать-то! Я тогда к Клавдии Геннадьевне ходил, крику было... Сперва, конечно, вышло, что Ванька сам виноват, да и я заодно... Ну, потом и ведьме попало. Она меня теперь не выносит, но вида не подает. Наоборот, улыбается...

Венька закончил такую длинную речь неожиданно. Словно спохватился: чего это, мол, меня понесло? Неловко сказал:

— Пойду я, домой пора...

А Егор еще постоял у афиши. И решил окончательно, что на заседании клуба надо побывать.

Он испытывал интерес не столько к истории Крузенштерна, сколько к самому Наклонову. Наклонов знал отца. Того, Толика... Даже приятелями были, хотя и подрались потом. И в любопытстве Егора было желание проникнуть в те давние времена. В тот заросший сад с разломанной эстрадой. Проникнуть и что-то понять...

Люди из разных классов собрались в «гостиной» — квадратной комнате с двумя рядами узких диванчиков, поставленных полукругом, с уютными шторами и плафонами. Гостиная была гордостью директора. Не каждая школа может позволить себе такую роскошь — комнату для клубных собраний.

На одном конце составленной из диванчиков дуги, у самой двери, примостился незнакомый парнишка. По виду класса из восьмого, но явно не здешний. Стеснитель-

ный. У него была стрижка в «кружок», по-казацки, и спря-
ганные в тени глаза. Темные и какие-то виновато-насто-
роженные. Краем уха Егор услышал, что это сын Накло-
нова. Тогда понятно, почему такой скованный: неловко
среди чужих, да и за отца, наверно, переживает... Хотя
чего переживать-то? Читает Наклонов бойко, и все слуша-
ют как надо.

«Сумрачное пророчество Макара Ивановича Ратмано-
ва стало исполняться на следующий день... С утра, правда,
ветер, гуляя от зюйд-оста к зюйд-весту, оставался легким,
хотя погода установилась мрачная. В десять часов утра
случилась даже радость — увидели наконец берег Япо-
нии, а в полдень определили до него расстояние. Мыс, вы-
ступающий впереди гористого берега, был, по всей веро-
ятности, Иза-саки, юго-восточная точка острова Шикоку.
«Надежда» находилась от него примерно в тридцати ше-
сти милях. Крузенштерн приказал держать к берегу, но
вечером до мыса оставалось еще не менее двадцати миль,
и тут, в восемь часов пополудни, грянули крепкие шквалы
с дождем...

На следующий день шторм то стихал, то разыгрывал-
ся, иногда тучи разбегались, но чаще было мрачно и хле-
стали дожди. Едва позволяла погода, Крузенштерн при-
казывал держать ближе к берегу, но ветер взъяривался
опять, и приходилось отворачивать от опасной суши. Все
карты были неточны. Даже известный морякам Ван-Диме-
нов пролив, коим следовало идти в Нагасаки, нанесен был
на них приблизительно.

То приближаясь к берегам, то отходя от них, «Надеж-
да» спускалась к зюйду. В ночь на первое октября шторм
утих. Пошел ровный ветер с зюйд-оста, на рассвете разо-
шлись тучи. И опять «Надежда» побежала к западу, кур-
сом бакшаг левого галса, когда ветер дует с левого борта
и с кормы.

Радость, однако, была недолгой. Макар Иванович ска-
зал:

— Иван Федорович, барометр катится вниз, как пья-
ный мужик с печи...

Крузенштерн и сам видел, как скользит вниз ртутный
столбик, — давление падало. Солнце светило сквозь жел-
тую дымку. Под солнцем темной гористой кромкой виднел-
ся остров Кю-Сю, или Киу-Шиу. Жалея уже, что рискнул
подойти к суше столь близко, Иван Федорович скомандо-
вал:

— Круче к ветру! Держать на зюйд по компасу!

Корабль пошел носом к волне, заскрипели бейфуты поворачиваемых реев. Теперь ветер дул в левую скулу судна, сбоку и навстречу — курс бейдевинд. Идти таким курсом паруснику тяжело. К тому же и могучие встречные волны мешали корабельному ходу. Ветер, однако, был еще ровный, потому поставили все нижние паруса, а над ними — марсели. Брамсели поставить было нельзя, потому что еще в начале прежних штормов брам-реи были сняты и закреплены на палубе.

В полдень с зюйд-оста пошли темные клочковатые облака, скрыли солнце. Волны стали гороподобными. Все говорило, что с юго-востока надвигается буря. Но справа и сзади все еще виден был в мрачнейшем воздухе берег, и Крузенштерн выгадывал минуты, не давая приказа убрать паруса.

Буря оказалась хитрее. В час пополудни грянула она с неожиданной мощью. «Надежду» положило на правый борт. Новые, недавно замененные на парусах и реях шкоты и брасы полопались один за другим. Освободившаяся от давления ветра парусина отчаянно захлопала в реущих потоках шквала.

— Ребята! — закричал Крузенштерн с юта. — По мачтам! Надо спасать паруса!

Пена залепила жестяной раструб рупора, хлестко ударила по глазам. Сорвало треуголку. Но матросы уже были на вантах.

Они сделали чудо, спасли все шесть главных парусов «Надежды». Качаясь на мотающихся вокруг мачт, незакрепленных реях, цепляясь за тяжелую, послушную буре, а не людям парусину, они тянули ее, надрываясь, крепили к скользкому рангоуту, умиряли тугими петлями рифовых узлов...

Это были люди, которых престарелый адмирал Ханков не хотел пускать в экспедицию, полагая, что русский мужик не способен ходить на кораблях дальше Маркизовой лужи и для кругосветного вояжа надобны англичане. А мужики эти, за год плавания вздохнувшие от казарменной жизни, позабывшие про линьки и зуботычины, коими обильна была кронштадтская жизнь, окрепшие и осмелевшие душами, были теперь лучшие в мире матросы — Крузенштерн верил в то несокрушимо...

Дело казалось невозможным, но паруса были убраны. И все люди — слава Спасителю! — вернулись на палубу. Крузенштерн перекрестился рупором (выпустить его было

нельзя — унесет). Нет страшнее муки, когда отвечаешь за многих людей, а помочь им в страшной работе и риске не можешь...

— Макар Иванович! Еще двух человек надобно к штурвалу, не держат...

Кроме Филиппа Харитонов и Нефедя Истрекова встали к двойному штурвальному колесу Клим Григорьев да Иван Курганов.

Нефед, отплевываясь от брызг (ох невкусен и неласков батюшка-океан, а еще «Тихим» прозывается), крикнул Курганову:

— Как же это ты, твое морское величество, попусту языком болтал?! Слово царское не удержишь!

— Што?! — не понял Курганов.

— Али забыл? На экваторе, когда царя морского представлял, што обещал? Погоду справную на все плавание!

— Так я же оговорился: коли вельможи не подведут! От их всякая пакость!.. Крути влево, гляди, уваливает.

Они, опытные рулевые, без команд знали свое дело: держать круче к ветру — так, чтобы только-только не заполоскало штормовые стаксели. Эти прочные треугольные паруса, натянутые между мачтами, оставались единственными на «Надежде».

Но в три часа ураган изорвал и стаксели.

— Ставить штормовую бизань! — крикнул Крузенштерн. Но сейчас буря пересилила людей. Хотя кинулись на помощь матросам лейтенанты, дело оказалось безнадежным. Мятающаяся парусина расшвыряла моряков, фал не шел, деревянный блок бизань-шкота свистнул у щеки Головачева, подобно ядру из пушки.

Тем не менее натянувшийся на несколько секунд парус повлиял на движение судна. Оно перешло бушпритом направление свирепого ветра, и теперь он бил в правую скулу, постепенно разворачивая «Надежду» носом к осту.

Грянула волна, сорвала и унесла запасной гота-рей, закрепленный снаружи правого борта. В щепки разбило на скафуте ялик. Дрожь удара передалась всему кораблю.

Никто из офицеров не был внизу, все собрались на юте.

— Макар Иванович, как течь в трюме?

— Я посылал узнать! Вопреки ожиданиям, не сильная! Хуже другое: могут не выдержать ванты и мы останемся без мачт.

— Команде взять топоры!.. Ежели мачта упадет, рубить такелаж без промедления!

Матросы на шканцах и шкафуте держались у бортов, цепляясь за торчащие в гнездах кофель-нагели. Над ревущим океаном висела тускло-желтая, полная летящей пены мгла.

...Потом Крузенштерн запишет в путевой журнал: «Сколько я ни слыхивал о тифонах, случающихся у берегов Китайских и Японских, но подобного сему не мог представить. Надобно иметь дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного».

Сейчас даже чудовищный шторм в Скагерраке, в начале плавания, казался нестрашным — каким-то домашним и уютным. Может быть, потому, что недалеко тогда еще был дом...

Неожиданно вспомнилось (хотя, казалось, до воспоминаний ли?), как появился в ту пору на юте поручик Федор Толстой и тогдашний разговор (а точнее, крик) с графом. Сейчас Крузенштерн думал о гвардейском поручике чуть ли не с сожалением. Бестолков, конечно, его сиятельство, скандален, и немало через то причинилось вреда общему делу. Но, по крайней мере, был он храбр и честен, того не отнять... Где-то он теперь?

...А поручик гвардии граф Федор Толстой сейчас был в пути к далекому еще Петербургу. И не ведал, конечно, в какой беде его бывшие товарищи. Как не ведал и того, что на подъезде к столице встретит его фельдъегерь и проводит напрямик в Нейшлотскую крепость — за все художества, кои стали известны начальству из опередивших графа писем Резанова. Впрочем, год, проведенный под арестом, не лишит поручика ни дворянской чести, ни боевого характера. И все еще будет впереди: дуэли, опять гауптвахта, рассказы в гостиных о заморских приключениях и славные дела на поле Бородинском...

...Мачты пока держались. Это говорило о прочности корабля. Но ничто не спасет «Надежду», когда она зацепит килем камни у берега. А берег уже чудился в воюющей мгле, буря неуклонно двигала корабль к скалистой суше. Лишенный парусов, он был совершенно неуправляем — семечко в кипящем котле тайфуна.

Тайфун достиг чудовищной силы. Барометр упал настолько, что ртутный столбик вообще стал невидим в стеклянной трубке. Ратманов прокричал Крузенштерну:

— Коли так будет продолжаться до полуночи, окажемся на камнях непременно! Никто и не узнает, где кончилось плавание наше!.. Вот тебе и «обошед вселенную»!..

Вставши близко к Ратманову и отворотив лицо от брызг

и ветра, неожиданно и жалобно прокричал Петр Головачев:

— Макар Иванович! Достойное ли это дело — помнить зло в такую минуту?! Может, и правда не переживем ночи! Вы спустились бы в каюту к посланнику и там простили бы с ним друг другу обиды! Как подобает христианам в минуту большой опасности!

Ратманов же не смягчился душою, закричал в ответ:

— Коли его превосходительству отпущение грехов требуется, пускай сам сюда идет! А мне, главному помощнику капитанскому, в такой час уходить с юта не след!

Час был нестерпимый даже для самых смелых сердец, ибо ужасен сам ураган, а еще ужаснее покорное этому урагану бездействие. Ничего нельзя было предпринять. Оставалось ждать, что судьба смилостивится и переменит ветер.

В таком положении бесполезно мужество, дающее силы решительным поступкам. И остается мужество надежды. Жить «*spe fretus*» — «опираясь на надежду». Крузенштерн эту словно отпечатанную четкими буквами латинскую фразу помнил со времен ревельской школы. Старый учитель латыни, когда у кого-то случались огорчения, повторял эти слова, глядя встрепанную голову неудачника. И объяснял, что всегда в жизни следует надеяться на лучшее, без того не прожить в неласковом мире.

В детстве слова эти не казались важными: мало ли в школе слышишь поучений? Но со временем понял Крузенштерн их смысл. Ибо без надежды — как жить?

Не надежда ли на счастливый исход не раз вела под пули и клинки в абордажных схватках? Знал, конечно, что и смерть вероятна, а верилось в удачу... Не надежда ли толкала в опасный вояж из Африки в Индию на старом, готовом каждый день развалиться среди волн английском корабле, который лишь чудом добрался до Калькутты?.. Не надежда ли поддерживала, когда угнетающе долгие годы пылился в министерских кабинетах проект кругосветного плавания? А в самом этом плавании — как без надежды?

Даже мысль появлялась не раз — может быть, и ребячливая, да в ком из нас до смертного часа не живет ребенок? — коли кончится плавание благополучно, вписать в родовой герб Крузенштернов эти два укрепляющие душу слова: *SPE FRETUS*.

И корабль свой назвал «Надеждой» он не без тайного помысла, что имя будет способствовать удаче.

...Крузенштерн редко видел «Надежду» со стороны. Капитан чаще смотрит на свое судно с мостика, с юта. Но сейчас на миг представил он, как мечется среди водяных гор трехмачтовое, побитое бурей суденышко с обрывками лопнувших брасов на реях, с ключьями контр-бизани — парус этот издрало ветром, когда он был уже спущен и притянут с гафелем к горизонтальному бревну гика... То с головою уходит в воду, то взлетает на гребень укрепленная под бушпритом носовая фигура — ее вырезал из дуба неизвестный шотландский мастер. Корабль строился в Англии и поначалу был назван «Леандр». Если верить мифам Эллады, юноша с таким именем каждую ночь переплывал Геллеспонт, чтобы увидеть свою возлюбленную Геро — жрицу богини Афродиты. А она зажигала на башне огонь, не дававший ее любимому заблудиться в ночном море...

Деревянный Леандр изображен был подавшимся вперед, со вскинутыми для сильного гребка руками, с отброшенными назад волосами. Когда корабль привели в Кронштадт и назвали «Надеждой», морское ведомство указало, что надобно заменить греческого юношу двуглавым орлом, коего приличествует иметь на носу российскому судну, впервые идущему в столь дальнюю экспедицию, в чужие страны. Дело это, однако, за спешкою не было исполнено, и Крузенштерн о том не жалел. Ему казалось, что Леандр, плывущий на огонь надежды, подтверждает название судна.

«Но судьба древнего Леандра была горька», — мелькнуло у Крузенштерна. Он вспомнил, что однажды огонь на башне погас и юноша погиб в волнах. Не намек ли это на участь корабля?

Нет, хватит примет! Они для слабых духом. Пока что Леандр на носу корабля взлетает над волнами и отчаяваться рано... *Spe fretus!*

Но надежда — союзница того, кто сам не упускает ни одного мига удачи! И когда на минуту стих надрывный вой урагана и только рокот исполинских волн перемалывал тишину, Крузенштерн закричал, дивясь и радуясь нежданно упавшему штилю:

— Ставить штормовую бизань! Живо, братцы!

Этот маленький парус должен был держать «Надежду» носом к ветру. Такое положение замедлило бы дрейф к опасной суше и уберегло бы корабль от многих разрушений волнами.

Русские моряки не знали еще всего коварства здешних тайфунов. Не ведали, что оказались в самой середине бу-

ри, в так называемом «глазе урагана». Чудовищные вихри тайфуна движутся по кругу, оставляя в центре небольшой участок — «глаз», или «око», — где ветра нет, лишь толчея непомерных волн. Однако тайфун весь, целиком, сдвигается над океаном. Перемещается и его центр. И краткий штиль настигает мореходов перед переменной сокрушительного ветра...»

Егор не раз видел на журнальных фотографиях такие кольцевые и спиральные циклоны, снятые со спутников. В центре облачных завихрений часто заметен похожий на копейку глазок. Место короткого обманчивого штиля среди ревущих ветров.

И вдруг мелькнула у Егора мысль, что сам он тоже, как суденышко-скорлупка, оказался в таком штилевом глазке. Прежние ветры никуда не гонят его, отошли в сторону. Откуда подует новый ветер — неясно. А пока, весь декабрь, Егор болтался на «мертвой зыби» — с неясным настроением, со смутными желаниями, без друзей, без цели, без планов. Потому что Среднекамское речное училище — это все-таки минутное вдохновение, не больше. Михаил, кажется, во многом прав...

Впрочем, сравнение нынешней жизни с «глазом тайфуна» было весьма натянутым. Потому что прежний ветер вовсе не был штормовым. Наоборот — ленивое дуновение, ленивое плавание. Куда глаза глядят. Одно лишь похоже — этот «ветерок» не хуже тайфуна мог посадить корабль Егора на камни и раздолбать в щепки. И разрыв с «таверной» не был ли попыткой поставить «штормовую бизань», чтобы встать носом к ветру?

Может быть, не только сочувствие к Редактору толкнуло на это Егора? Может, еще инстинкт вечно настороженного Кошака?

О крахе Курбаши и конце «таверны» Егор узнал от Пули. Недавно. Увидев Пулю в школьном коридоре, он вдруг решил, что лишняя информация не помешает, и прежним тоном сказал:

— Пуля. Сюда.

Тот подошел, мигая от робости.

— Ну? — усмехнулся Егор. — Как там ваша подземная жизнь?

— А? — сказал Пуля и замигал сильнее.

— Балда! Что нового в «таверне», спрашиваю!

— Я не хожу, — прошептал Пуля и завозил ботинком по полу.

— Не ври, Пуля.

— Не-а... я правда. Никто не ходит. Курбаши ее закрыл.

— Почему?

— Он в армию захотел пойти.

— С чего это? У него же отсрочка, завод такой...

— А он захотел, чтобы в декабре. Сам на комиссию пошел.

— Следы замечает, что ли?

— Я не знаю... Только он не успел. Его в милицию забрали.

Егор присвистнул.

— За что?

— Я не знаю...

— Может, за колеса?

— Ага. Что-то говорили про колеса. Только я не знаю...

Валета тоже забрали, а потом отпустили.

— Его-то за что?

— Не знаю... Потом нас тоже в милиции спрашивали, чему он нас учил...

— Валет?

— Ну... Курить или вино пить. И вообще... Я сказал, что не...

— С родителями в милицию вызывали?

— Ага... С отцом.

— Выдрал?

— Еще бы, — по-взрослому вздохнул Пуля. И Егор вдруг понял, что не испытывает ожидаемого удовольствия от покорности Пули и его унижения.

— А Копчик?

— Я не знаю... Он еще раньше с Курбаши поругался. Он теперь с Салтаном ходит, у них какая-то «каптерка». В сарае...

Это известие обеспокоило Егора. Курбаши «загремел», Копчик теперь ему не подвластен. Чего доброго, начнет выступать подлюга. Вместе с Салтаном... Но тревога была мимолетной. Не мог Егор бояться Копчика, гниду такую. Да и Салтан был фигура мелкая, с Курбаши и сравнивать смешно.

Больше тревожило другое. Не потянулась бы ниточка от Курбаши и Валета к нему, к Егору. Хотя какая? Ни в каких «делах» с ними Кошак не участвовал. То, что в «таверне» был своим человеком, само по себе еще не грех. Катался на угнанных мопедах? Но он не обязан знать, что они попали к Валету или Копчику незаконно.

Размышления эти прервал Пуля. Вдруг сказал с пониманием:

— Про тебя не спрашивали, ты не бойся.

— Идиот! Кто боится-то? Иди давай... Да не вздумай с Копчиком связываться, ноги оборву...

— Не, я не буду... — опять вздохнул Пуля.

...Шли дни, монотонные и без всяких важных событий. Никто из прежних обитателей «таверны» Егору не встречался. После школы идти домой не хотелось, и Егор шел смотреть какой-нибудь старый фильм или просто бродил по улицам. Погода стояла мягкая, снежная. Недалек был Новый год. На центральной площади строили сказочный городок из прессованного снега и фанеры, ставили карусели и горки. Многие еще было не готово, но ребятишки из ближних школ и кварталов уже резвились там. Их не прогоняли. Зашел один раз на площадь и Егор. Прокатился на ногах с высокой горки, не упал. Остановился в конце ледяной дорожки довольный собой. Тут ему под ноги, сидя на фанерке, въехал пацан в мятом пальто и растрепанной шапке. Стукнул головой о колени. Егор поднял нахала за шиворот. А тот вылупил глаза-пуговицы, заулыбался и спросил:

— А где дядя Миша?

Это был Заглотыш. Егор выпустил его: все-таки знакомый.

— Ты чего под ноги людям кидаешься?

— Меня занесло... А где дядя Миша?

— У себя в Среднекамске, где еще ему быть?

— Заехать обещал... — сказал Заглотыш. И вдруг обернулся, забыл о Егоре, завопил:

— Эй, Мартышонок! Обожди! — И помчался куда-то, махая фанеркой. Вот тебе и «где дядя Миша».

С Михаилом Егор в декабре пару раз беседовал по телефону. Так, почти ни о чем. Просто от одиночества. А один раз Михаил приезжал, и они опять бродили по городу. Потом зашли к Ревскому. Александр Яковлевич был один, чихал, жаловался на грипп и скуку, потому что болеть не привык. Обрадовался гостям, стал их кормить обедом. За столом разговор зашел, конечно, о прежних временах, о Толике, появились фотографии, в том числе и та, детская...

Егор сказал, что Наклонов у них в школе хочет создать литературный клуб.

— Ну, что же, — отозвался Ревский. — Олег всегда был организатором. Такая натура...

Егор знал уже, что маленькому Шурику Ревскому доставалось от сурового командира. Оно и понятно: видно на фотокарточке, какой Шурик был домашний хлюпик... А Наклонов?

Егор всмотрелся в решительное лицо Олега. Может, этому парнишке тоже нравилось, когда ему подчиняются? Может, его, как и Егора, сладко щекотали чужое бессилие и покорность?

А зачем? Почему от этого радость? Природа человеческая такая? Но не у всякого же человека... У того, кто сильный?

Капитан Крузенштерн — человек, про которого написаны книги, человек, чьим именем названо громадное парусное судно, — он был сильный? Видимо, да. Одну слабость в жизни он допустил: заколебался, когда назначили командовать кругосветной экспедицией, не мог оставить молодую жену, ребенка она ждала. Но решился. И ни разу не дрогнул потом... Недавно Егор зашел в районную библиотеку и, поддавшись неожиданному желанию, взял книгу об экспедиции «Надежды» и «Невы». Книжка так себе, сухомятина, но одно в ней запомнилось хорошо. В самом начале путешествия запретил Крузенштерн телесные наказания матросов, всякое унижение людей и грубость.

Значит, для настоящей власти над людьми, для настоящей силы вовсе не надо подавлять других?

«А вообще-то зачем она тебе, власть и сила? — вдруг спросил себя Егор. — Разве ты ее когда-нибудь хотел?» И понял, что запутался. Разозлился: философия дурацкая лезет в голову.

А Ревский и Михаил вспоминали съемки на «Крузенштерне» и какую-то Изу, которая пела песни под гитару. Ревский сказал, что, когда кончился съемочный сезон и «Крузенштерн» с курсантами готовился идти домой, на Балтику, Иза упрашивала капитана зачислить ее матросом. Хотя бы до конца того рейса. Конечно, ее не взяли. Да и режиссер Карбенеv не отпустил бы.

— И ее счастье, — заметил Ревский. — А то еще неизвестно, каково бы ей пришлось при том урагане...

— При каком? — спросил Егор. И узнал, что «Крузенштерн» по пути в Ригу, в Северном море, был застигнут жестокой бурей. У него в полосы изорвало все паруса, потому что убрать их не успели. Барк долго несло бортом — как говорят, лагом! — потому что стала машина, и судно лишилось управления.

— Ауниньш рассказывал, я с ним встречался потом, —

сказал Ревский. — Жуткое было дело... Он мне и кино- пленку прокрутил. Был среди них тогда один матрос, любитель с камерой, он ухитрился заснять... Волны — как египетские пирамиды. В том урагане погибло несколько скандинавских судов...

И теперь, слушая повесть Наклонова (совсем не похожего на мальчишку Олега), Егор временами представлял в центре тайфуна не маленькую «Надежду», а гигантский «Крузенштерн».

Олег Валентинович все читал:

«Едва поставлена была штормовая бизань, случилось неожиданное. Ветер ударил снова, но не с зюйд-оста, как прежде, а с противоположного румба. Парус на бизань-мачте сработал, как оперение на стрелке флюгера, и растерзанную «Надежду» мигом развернуло носом на норд-вест.

Легший на борт корабль едва не лишился мачт. И все же этот поворот сулил спасение — ветер дул теперь от берега!

Но радость не длилась и полминуты. Новая беда настигла «Надежду». Исполинские волны шли по-прежнему с юго-востока, и, встреченные ураганным ударом с северо-запада, они взъярились, вздыбились еще сильнее. Две стихии сошлись, и на границе их столкновения оказалась деревянная игрушка — хрупкое создание рук человеческих. Сокрушительная волна грянула в корму, прошла через палубу до бака, сорвала целиком левую галерею снаружи капитанской каюты.

Резанов, который стоял в своей каюте, вцепившись в стойку коечного полога, увидел, как вода выбила стекла и мелкие переплеты кормовых окон, смела с полки книги и дневники, стремительно заполнила тесный квадрат каюты, косо и тяжело колыхнулась между переборок. Хлестнуло солью в лицо, залило раструбы ботфортов. Подпыла камергерская шляпа, жалобно, как живая, ткнулась хозяину в живот и утонула. В сей миг уверовал чрезвычайный посланник, что наступил конец плаванию, причем, увы, совсем не тот, какой предписан был высочайшей инструкцией. Измученный Резанов остался почти спокоен, пожалел только, что гибель встретит здесь, а не на палубе...

Но неприятности посланника были сущим пустяком по сравнению с бедами трех матросов. У руля, мертво обнявши обод штурвала, остался лишь Истреков. Харитонов, Григорьева и Курганова оторвало и унесло на шкафут,

где ударило о закрепленные на палубе и теперь полуоторванные брам-реи.

Когда Курганов очнулся, он услышал стон. Клима и Филиппа зажало между палубой и приподнявшимся концом рея. Каждую секунду тяжелое бревно могло осесть и раздробить матросам кости. Голова Филиппа была в крови...

Застонав от собственной боли в спине, Иван по вздыбленной скользкой палубе съехал к товарищам, плечом попытался приподнять нок брам-рея. Видать, отчаяние силы дает нечеловеческие — приподнял чуть-чуть. Клим выбрался, его отнесло к фальшборту. Филипп лежал. Сам зажатый теперь между реем и палубой, Иван с дикой силой ногами толкнул Харитонову в плечи. Вышиб из капкана. И вовремя! В ту же секунду врезался на этом месте в дерево окованный сундук, полный ружей, сабель и пистолетов. До той поры он был накрепко принайтовлен к палубе.

Рикошетом сундук ушел к фальшборту, врубился железным углом под планшир и заклинился между оружейным станком и вздыбленной решеткой шкафута. Курганов опять застонал и откинулся. К нему уже тянулись руки.

...В реве потоков, треске рангоута, криках, звоне разбитого стекла корабль вскинул корму, пошел в ложбину меж волнами, почти скрылся среди гребней, потом всплыл опять на склон водяной горы. Даже с марсовых площадок бежала вода...

Но разрушительный удар волны был последней большой бедою этого страшного вечера. Ураган относил «Надежду» от японских берегов и через два часа начал смягчаться. Показалась ртуть в барометре. Ратманов не удержался, крикнул Головачеву:

— Бог милостив, Петр Иванович! Видно, не пришло еще время для покаяния!

Головачев не ответил. Болела голова. Недавней волной лейтенанта бросило на кофель-планочное ограждение бизань-мачты, он ударился теменем и на миг потерял сознание...»

Наклонов читал долго, и, когда кончил, все с облегчением завозились. Потом захлопали. Олег Валентинович замахал над плечом ладонью:

— Нет-нет, только без этого! Я не эстрадное светило... Если понравилось — спасибо.

— Вам спасибо, — кокетливо сказала Симакова.

— В общем, спасибо всем нам, — подвел итог Накло-

нов. — В следующий раз встретимся после каникул. Поговорим о творческих делах... И давайте так: будете не только вы меня спрашивать, но и я вас. У нас с вами взаимный интерес: я вот возьму да и сяду за повесть о восьмиклассниках. А?.. Кстати, я давно хотел обратиться к школьной теме, материала только не хватало. На собственном сыне далеко не уедешь, он и не очень-то разговорчив. Спросишь: «Денис, что нового в школе?», а он: «Все нормально»...

Все посмотрели на Дениса Наклонова. Он сидел насупленный: то ли смущался, то ли отцом был недоволен. Потом быстро глянул из-под казацкой стрижки. На миг встретился с Егором глазами. И тогда вдруг чуть улыбнулся...

А Венька все-таки пришел на встречу с Наклоновым. Только с опозданием. Протиснулся в дверь, сел с краешку. Егор заметил его лишь в конце собрания. В коридоре они посмотрели друг на друга, и Егор неловко спросил:

— Ну и как тебе?..

Венька ответил странно:

— Написано, наверно, хорошо; но читать он, по-моему, не умеет.

— Почему? — удивился Егор. — Нормально читает.

— Ну, я не могу объяснить... Но мне кажется, он слишком какой-то уверенный. По-моему, когда человек свою повесть многим людям читает, он волноваться должен. А здесь — будто чужое декламирует...

Словно застеснявшись своей критической речи, Венька недовольно замолчал. Вздохнул:

— Пойду к второклассникам. Они там еще не кончили...

А Егор побрел по улицам. Спешить было некуда. Завтра уже начинались каникулы. Егор думал, чем их занять.

Сегодня утром подошла Бутакова и казенным голосом спросила, не хочет ли Петров принять участие в новогоднем концерте. Он сказал, что хочет. Светка ужасно удивилась. Егор невозмутимо объяснил, что собирается исполнить пляску древних жителей острова Нукагива. Из серии «Танцы народов мира». Он будет плясать в банановой юбочке и с берцовой костью в зубах. Но нужна партнерша: с побрякушками из позвонков и в бикини из кокосового волокна. Как она, Бутакова, на эту роль смотрит? Светка сказала, конечно, как она смотрит на Петеньку и кто он есть...

Ну, а если по правде говорить, что делать, на новогоднем вечере? Топтаться под «тяжелый рок»? (Кстати, «легкий рок» бывает? Чем они отличаются?) И с кем там время проводить? Так сложилось, что в классе ни друзей, ни приятелей.

А интересно, Венька пойдет на вечер? Пожалуй, что нет. В этом они, кажется, похожи. Хоть и разные, но «стороны одной медали», как выразилась Классная Роза. Изредка у нее бывают проблески точных мыслей...

Размышления были прерваны крепким толчком. Какой-то пацаненок, вывернув из-за угла и глядя под ноги, всем телом налетел на Егора. Отскочил, поднял лицо. Серые глаза-пуговицы глянули из-под бесформенной клочкастой шапки. Обветренный рот с розовым пятнышком от болячки шевельнулся — то ли в несмелой улыбке, то ли в неразборчивом слове.

Новогодняя лотерея

— Ну и манера у тебя встречаться, — сказал Егор. — Всегда головой в пузо... Ты куда это такой?

«Такой» — то есть ободранный и мятый больше, чем всегда. На Заглотыше был засаленный ватник — взрослый, до колен, с подвернутыми рукавами и дамские сапоги с облезлым мехом по краю. Пуговиц на ватнике не было. Заглотыш запахивал его голыми, без варежек, руками. Внизу ватник разошелся, и Егор увидел полинялые трикотажные штаны. Протертые до марлевой прозрачности. На одном колене висел широкий клочок, в дыру, как в окошко, смотрело колено с коричневой коростой.

Зато вокруг шеи был обмотан новый мохеровый шарф, совершенно нелепый при таком наряде.

Обозрев Заглотыша, Егор повторил серьезнее:

— Куда ты в таком балахоне?

— К тете Лизе, — полувздохом ответил Заглотыш. И как-то ищуще глянул на Егора. И глаза стали прозрачные — не пластмасса, а влажные стеклышки.

У Егора появилось неясное предчувствие хлопот и неприятностей. И чтобы их избежать, он торопливо сказал:

— Ну и топай к своей тете Лизе. И не налетай на людей...

— А ее нет, — тихо сказал Заглотыш. Запахнулся, уткнул подбородок в шарф, постоял секунду и пошел мимо Егора.

— Постой, — сказал Егор. И подумал: «Какого черта мне надо?» — Что-то я не пойму: если ее нет, куда ты идешь?

— Может, домой...

— Как это «может»?

Заглотыш объяснил монотонно:

— Она говорит: «Иди к тете Лизе ночевать, не мешайся». Я пошел. А тети Лизы нет. А она опять говорит: «Иди к тете Лизе, она скоро придет». А ее опять нет... А она говорит...

— Кто говорит? Мать, что ли?

— Ну...

— А почему она тебя из дому отправляет?

— Гуляют... — сказал, уткнувшись в шарф, Заглотыш. — А тетя Лиза не придет, она, наверно, уехала на Калиновку... к своему... Я, наверно, к Мартышонку ночевать пойду. Или к Цапе...

— А домой-то, что? Не пустят, что ли, совсем?

— Гуляют же... Ну их...

По логике вещей должен был Егор сказать: «Ну, гуляй и ты. Пока...» И топать своей дорогой. Потому как что ему Заглотыш? Никаких сентиментальных чувств Егор не испытывал. И в конце концов, что с Заглотышем делается? Не в тундре же, переночует где-нибудь... Так думал Егор и стоял.

Он глянул на себя глазами постороннего. Посторонний иронически улыбался: «Это, кажется, называется «Святочный рассказ». Перед Новым годом или Рождеством путник встречает озябшего малютку, ведет его к себе и делает счастливым...»

Вести это чучело к себе было немислимо. Мать устроит такой скандал, что хоть сам беги! «У нас что, приют? Это дело милиции возиться со всякой шпаной! Где ты его взял? У него лишаи, он обворует квартиру!»

Ну и тем более, значит, делать нечего. Надо идти... Что же ты стоишь, кретин?

Заглотыш тоже стоял. Будто ждал чего-то. Понял, что этот большой мальчишка его теперь не бросит? «А почему не брошу-то? — подумал Егор. — Благородные чувства проснулись, что ли? Чегой-то не похоже... А... оставил бы я его раньше?»

Он уже не раз ловил себя, что разные мысли свои и поступки примеряет как бы на двух Егоров — на Кошака в «таверне» и на того, кто «после»... Егор добросовестно, детально постарался представить, как это было бы не сей-

час, а «тогда». И... вот же черт!.. Кажется, не ушел бы и тогда Кошак. Скорее всего, ухватил бы Заглотыша за рукав и, кривясь от злости на себя и от отвращения к замызганному «мышонку», отвел в «таверну». Чтобы тот согрелся и поел чего-нибудь... По крайней мере, так сейчас казалось Егору.

Но что об этом думать? Нынче Егору самому ткнуться некуда. Из дома, правда, не гонят, но все равно он один. «Плохо одному, недоброе это дело...» Тоскливо стало Егору. И он вдруг подумал, что именно от такого одиночества и тоски застрелился на корабле «Надежда» лейтенант Головачев, о котором рассказывал Михаил... Рассказывать-то легко...

И все же гораздо более одиноким и неприкаянным, чем Егор, был Заглотыш... Или уже не был? Ведь он теперь стоял рядом с Егором и надеялся... «*Spe fretus*», — хмуро усмехнулся Егор.

Заглотыш вдруг поднял подбородок, тронул розовое пятнышко языком и спросил:

— А куда пойдем?

— Пойдем!

Егор теперь знал — куда. И злился. На старшего сержанта Гаймуратова. Привез пацана, сунул мамаше, которой тот нужен, как футбольному мячу клизма, — и привет! А дальше что?

...До Венькиного дома было недалеко. И вот удача! — дверь открыл сам Венька. Удивился, но меньше, чем Егору думалось. Быстро оглядел Заглотыша, ничего не спросил, сказал сразу:

— Проходите.

— Ямщиков... Слушай, тут дурацкий случай. Совершенно непредвиденный. Мне надо этого... субъекта отвезти в Среднекамск, к брату. А он видишь в чем... Если не оконеченеет по дороге, то все равно задержат как бродягу. У вас не найдется каких-нибудь старых Ванькиных шмоток? На пару дней.

— Найдется, конечно. — Венька вроде бы совсем уже не удивлялся. — Ну, проходите... А что случилось-то?

Егор очень коротко изложил историю Заглотыша. Лишь об одном не сказал: почему он, Егор, решил везти мальчишку к Михаилу. Решил со смесью ожесточения и надежды.

Несчастный этот Заглотыш при расставании с Михаилом так цеплялся за шинель, так вопил: «Дядя Миша, не

надо! Дядя Миша, не уходите!» Значит, привязался к товарищу старшему сержанту. Не к матери рвется, а к нему. Так что же вы, Михаил Юрьевич? Вот и возьмите пацана! Заботьтесь, воспитывайте...

Конечно, Михаил Гаймуратов скажет: «Ах, я не могу взять себе всех! Их вон сколько, несчастных беглецов, трудных и заброшенных». А всех и не надо! Все тяжкие вопросы на Земле один человек никогда не решит. А ты просто возьми вот этого Витькá, и одним неприкаянным будет меньше...

«Легко говорить!..»

Говорить и правда легко — рассуждать о долге, бескорыстии и других благородных вещах. А ты докажи на деле. Помнишь, ты сказал, что у меня есть дом в Среднекамске? Так вот, мне не надо, я отказываюсь, пусть вместо меня будет Заглотыш! Ну?..

Егор злорадно представил, как закрутится, заотговаривается Михаил, и... в глубине души отчаянно боялся этого. И надеялся, что такого не случится. Потому что пришлось бы тогда сказать: «Значит, все твои принципы — одни слова? Что же ты их пытался вбить в меня?» И хлопнуть дверью... И думалось об этом уже не со злорадством, а с горечью.

И отказаться от жестокого своего эксперимента он уже не мог. Жутковатый соблазн разом и полностью выяснить, что за человек Михаил Гаймуратов, был сильнее сомнений... Да и как откажешься? Заглотыша-то куда денешь?

Ничего этого Егор Веньке не сказал. Объяснил коротко:

— Раз домой не пускают, единственный выход — слать его Михаилу. Он разберется, служба такая...

— Пожалуй... — согласился Венька. — Ну, вы проходите, в конце концов.

— Да зачем? Дай какую-нибудь одежду — и мы на вокзал.

— Куда так сразу-то? — Венька посмотрел на переступающего нелепыми сапогами Заглотыша. — Он же, наверно, лопать хочет... А еще ты, братец-кролик, хочешь в туалет. — Он ловко вытряхнул Заглотыша из ватника и подтолкнул: — Топай вон в ту дверь.

Егор смотрел на Редактора смущенно и с уважением. Вот что значит иметь младшего брата. Сам Егор о таких вещах и не подумал бы... Венька покачал ватник в руке.

— Ну и хламида... Сейчас я с мамой поговорю, может, Ванюшкино старое пальто еще не распорол.

— Она дома? — перепугался Егор. Встретаться с Вень-

киной матерью он никак не рассчитывал. После всего, что случилось в октябре! Отец — другое дело, он мужик хладнокровный, поговорили по-деловому. А матери в тот раз, к счастью, не было...

Но Венька, не слушая, исчез, и минуты две Егор с появившимся Заглотышем переминались у вешалки. Потом вышли Венька с матерью. Она была рослая, с крупным лицом и густыми мужскими бровями. Сказала, будто знала Егора Петрова давно:

— А! Здравствуй, здравствуй, Егор... — Глянула на Заглотыша. — А это и есть путешественник? Сейчас посмотрим, что тут можно сделать... Да заходите же в комнату, наконец!

Держалась она добродушно-решительно, не удивлялась, не расспрашивала. Значит, Венька успел ей все объяснить. И видно, была его мама человеком дела.

Они разделись, разулись и в комнате увидели елку. Она подымалась в углу — высокая, под потолок. На стремянке стоял бесенок и надевал на верхнюю ветку золотисто-малиновый шар.

Бесенком был Ваня. В узком черном свитере, в черных колготках и шортиках с разноцветными заплатами. С пришитым длинным хвостом. На конце хвоста — кисточка.

Он обернулся и тоже не удивился. Расплылся в улыбке.

— Привет... — Забавный такой чертенок, светлорусый и круглолицый, с мохнатыми рожками на тонкой дужке от наушников.

Венька сказал:

— Ивану не терпится, вздумал уже сегодня елку ставить. И в костюм вырядился чуть не за неделю до спектакля.

— Это чтобы к роли лучше привыкнуть, — сообщил Ваня.

— Чего привыкать, и так бес натуральный, — сказал Венька.

— Не-а, я очень тихий ребенок.

— Ага, в тихом омуте...

Заглотыш молчал и мигал глазами-пуговицами. То ли подавлен был неясностью своей судьбы, то ли тихо завидовал чужой домашней радости. За окнами был уже лиловый вечер, горела над столом люстра, при ее свете сильно лоснилась затертая школьная курточка Заглотыша, под ней видна была грязная майка.

Венькина мама принесла стопку одежды и оглядела Заглотыша от дырявых носков до нечесаной макушки.

— Чадушко ты ненаглядное. Ты что, котельную чистил или уголь разгружал?.. Егор, как ты повезешь такого чумазого?

Егор только вздохнул. Венькина мама решительно сказала:

— Сейчас колонку зажгу. Отец недавно на кухне ванну оборудовал, благодать теперь...

Егор испугался:

— Мы же не успеем! В шесть двадцать последний поезд!

— Все успеете, еще полпятого, я его за три минуты отскоблю... Веник, надо еще картошки почистить, чтобы на всех хватило. А то чего же они голодные, в дорогу-то... Егор, а дома у тебя знают про путешествие?

— Естественно, — соврал он как можно беззаботнее. А на самом деле решил, что позвонит домой из Среднекамска. Говорить с матерью сейчас — это будет сплошной крик...

Картошку чистили здесь же, в комнате, потому что на кухне Венькина мама Анна Григорьевна «отскребала» покорного Заглотыша. Сидели на полу. Егор — делать нечего — взялся помогать Веньке. Последний раз до этого он чистил картошку в «Электронике», на привале у костра, и теперь уже через минуту сосал порезанный палец. Венька сказал:

— Вань, спустись, помоги. Успеешь с елкой до Нового года.

Бесенок скакнул со стремянки. Картошку он чистил, как фокусник. Егор сказал, чтобы скрыть стыд за свое неумение:

— До чего неохота почти пять часов трястись в поезде...

— Деньги-то есть на билет? — спросил Венька.

— Пятерка, к счастью, есть, хватит... Только бы поезд не опоздал, а то придется среди ночи бродить. Я ведь даже не знаю толком, где у Михаила дом, искать придется...

— Слушай, а ты говорил, что брат часто в командировках, — напомнил Венька. — Что, если его и сегодня дома нет?

— Ох... — Егор в запальных мыслях о своем эксперименте про такую грустную возможность и не вспомнил.

— Вень, можно я от вас позвоню? Я быстро, это не дороже полтинника, потом отдам...

— Звони, конечно!

Знакомый голос пожилой женщины (наверно, мать Михаила) суховато ответил, что Михаил Юрьевич на ночном

дежурстве и будет утром. И вдруг совсем иначе, нерешительно и словно ожидая чего-то, женщина спросила:

— А это откуда говорят? Это... кто?

— Я... потом, — растерянно сказал Егор и положил трубку. Беспомощно оглянулся на Веньку. — Вот же невежда, он дежурит... Не тащиться же к нему в приемник.

— А зачем вам переть в такую даль на ночь глядя? — спросил Венька. — Ехали бы завтра с утра. Витек твой после ванны да после еды знаешь как осоловеет! Его спать потянет...

— Да где ему спать-то!

— С нами. Наверх его положим, а сами внизу, ага, Вань?

— Нам не привыкать, — отозвался Ваня, разматывая с клубня длинную кожуру. — Позвонок три ночи у нас ночевал.

— По... звонок? — изумился Егор.

Венька нехотя объяснил:

— Ну, отец наш с его матерью решил побеседовать... про то дело. На всякий случай. Что, мол, ваш Колька задумал, с кем связался... А она такая, сразу за ремень. Он — драпать. Трое суток у нас и спасался.

— Кошак, а правда, что в «таверну» он больше не ходит? — спросил Ваня.

— Иван... — сказал Венька.

Егор скрутил в себе тошнотворную неловкость и ответил безразлично:

— Не знаю. Я и сам там не был с той поры. Говорят, вообще лавочка прикрылась.

— Вань, иди-ка лучше елку украшать, — сказал Венька.

Тот, покрасневший, сказал, сопя:

— То чисти, то украшай... Сам не знаешь... — И встал. Венька взял его за хвост и хвостом этим хлопнул по запятам:

— Сгинь, нечистая сила.

«Нечистая сила» с облегчением показала язык.

— Я уже все игрушки повесил. А лампочки сам вешай. А я буду шиштому разворачивать. Для лотереи.

Егор, глядя в кастрюлю с картошкой, сказал:

— Ночевка эта... А что... ваша мама скажет?

— То же и скажет. — Венька подхватил кастрюлю и уволок на кухню. Вернулся он с матерью и Заглотышем. Витек был с розовым лицом и мокрыми волосами, в джин-

сах и клетчатой рубашке. Посмотрел на Егора и виновато улыбнулся. Анна Григорьевна с порога проговорила:

— Правильно надумали, чтобы завтра ехать. А то куда в темень-то? И электрички опаздывают, заносы на дорогах. У нас на работе Анна Михайловна есть, так у нее свекровь три часа в поезде перед самым городом просидела... Скоро наш папа придет, поужинаем не спеша, я чаю пирог купила в полуфабрикатах.

— А я лотерею сделаю, — опять пообещал Ваня. — Вроде новогоднего спортлото... Ко... Егор! Ты тоже не уходи, мне надо, чтобы побольше участников было, а то не интересно.

Егору как раз полагалось оставить Заглотыша и распрощаться до завтра. Чего еще тут глаза людям мозолить? Но не хотелось уходить из этой теплой комнаты с большой пахучей елкой, от тихого праздника... Ну, придет он опять в свою большую, тщательно прибранную квартиру. С кем перемолвиться? Кому рассказать о Заглотыше, о своих тревогах? И елки дома нет. Мать считает, что от хвои много мусора, иголки застревают в ковровом ворсе. Правда, она ставит на телевизор сентиментальную елочку из пластмассы, но какой от нее праздник? Елка, которую в прошлом году нарядили в «таверне», и то была не в пример лучше. Мать с отцом ушли встречать Новый год к знакомым, Егор напелел, что проведет полночи у хорошего товарища (при его маме и папе) по соседству, а потом ляжет спать. И до утра обитатели «таверны» то веселились у себя в подвале, то на площади у городской елки. Тем более что портвейна был изрядный запасец...

Но сейчас что об этом вспоминать? Предчувствие одиночества опять холодком дохнуло на Егора. Ох, не хочется домой.

Словно обо всем догадавшись, Венька сказал:

— Помоги лампочки повесить. У нас две гирлянды. Папа мигалку сделал...

Распутывали провода и растягивали на елке гирлянды долго. Столько лампочек, от верхушки до пола! Егор сказал про елку:

— Какая громадная...

— Мы ее из пяти штук смонтировали, — объяснил Венька.

Егор исколол в хвое руки, запястья чесались, но это было даже приятно. От новогоднего запаха весело кружилась голова. Он стоял на стремянке и видел, как Ваня и Заглотыш растягивают какие-то проволоки, ставят на по-

лу и подоконниках непонятные железки и колеса. Ваня включил в работу Заглотыша решительно и просто, как давнего приятеля: «Ну-ка, помогай...» Заглотыш помогал послушно и молчаливо.

Пришел отец Ямщиковых. Сказал, что задержался на заводе: с планом, как всегда в конце года, запарка. С Егором поздоровался так, словно тот заходит к ним каждый день. Одобрил елку, поглядел, как Ваня и Заглотыш монтируют решетчатое колесо на подставках и спросил:

— А кормить работников будут?

— Будут, — сказала Анна Григорьевна. — Иди-ка, помоги мне на кухне.

Видно, там она объяснила мужу все про Заглотыша, потому что, вернувшись, Аркадий Иванович ни о чем не спрашивал. Будто этот пацаненок всегда обитал тут.

Раздвинули, накрыли клеенкой стол. Егор подумал, что пришло окончательное время «намыливаться» домой. Но Анна Григорьевна сказала:

— Его-ор. Что за новости...

Она принесла громадную сковороду с жареной картошкой, тарелку с копчеными селедками. Сели. Картошка была такая, какую жарила когда-то бабушка Мария Ионовна. И селедка аппетитная. Всем понравился ужин, особенно Заглотышу. Он сидел все так же молчаливо, скромно, однако глотал жадно. И на шее опять напрягались и опали жилки, будто шарики перекатывались...

После ужина Ваня объявил открытие своей лотереи. Зазвякала повсюду, замигала огоньками «шиштема». Зажглась елка, а люстру выключили. Под елкой завертелось решетчатое колесо с колокольчиками. Все по очереди должны были нажимать на рычаг, тогда с колеса падал скрученный в трубку билетик с номером.

Номера — дело случайное, и, наверно, были они лишь для виду. Иначе как объяснить, что каждому достался самый подходящий выигрыш? Отцу — пачка бритвенных лезвий, маме — зеркальце, Венке — рубиново-прозрачный угольник для черчения... А себе Ваня вручил пистонный пистолет, который палил очередями.

Не забыли и гостей. Заглотыш получил модельку старинного автомобиля и взял ее в ладони, как живого цыпленка. Задышал над ней. А Егору Ваня дал зеркально-зеленый елочный шар. На шаре поблескивали нанесенные стеклянной пудрой редкие звездочки-снежинки. Скорее всего, этот приз был подобран на скорую руку, но Егор обрадовался шару какой-то чистой, младенческой радо-

стью. Словно перенесся в дошкольное детство, когда елка и все новогодние чудеса волновали его до сладкой дрожи.

Огоньки отражались в шаре, как созвездия. Матовый налет от дыхания Егора лег на зеленое зеркало и тут же исчез.

— Спасибо, Вань... Только как же я его домой-то понесу? Раскокаю ведь...

— А я коробку дам, с ватой...

...Дома Егор положил шар в раструб медного индийского кувшина, который бабушка не захотела увезти с собой в Молдавию. Кувшин стоял на подоконнике, и когда Егор выключил лампу, в шаре собрался в точку рассеянный свет уличных фонарей.

Егор лег. Рано лег, еще до одиннадцати. Просто ничего не хотелось делать. Лежал и вспоминал, как сверкала елка и как разбаловались Ваня и Заглотыш. Сперва разыгрался один Ваня — ко всем подкрадывался, выскакивал из-за спины и поддывал, как настоящий бес. Наконец осмелел и Витек: стал подбираться к Ване и дергать за хвост. Они начали носиться по комнате — два чертенка: Ваня надел на Заглотыша дужку с рогами.

Наконец Анна Григорьевна цыкнула и сказала, что «мелким исчадиям ада» пора в постель. Витек пошел сразу и опять держал в ладонях, как цыпленка, автомобильчик. А Ваня заупрямился. С хохотом залез под стол. Венька выволок его.

— Егор, помоги...

Егор ухватил Ваню за ноги. Ноги дрыгались, тонкие щиколотки вертелись в чулочной ткани и выскальзывали у Егора из ладоней. Тряпичный хвост попал ему под ступню и чуть не оторвался. Непослушного бесенка бухнули на нижнюю койку. Он хотел вскочить, но Венька быстро сказал:

Раз-два три —
Ванька-встанька, замри.

Ваня застыл в нелепой позе, с обиженной улыбкой. Быстро и умело Венька стянул с братишки «чертячью шкуру», засунул его, будто одеревенелого, под одеяло и тогда разрешил:

— Отомри... Но не дрыгайся, а то опять заморожу.

— У, Венище... Скажи спасибо, что я все свои заморалки израсходовал... — Ваня натянул одеяло до подбородка и показал розовый язык.

Венька сказал Егору:

— У нас игра такая: кто кому сколько «замиралок» проспорит. Иван свои тут же расходует, а я экономлю. Для воспитания.

— Ладно-ладно, припомню, Венечка, — пообещал Ваня. А Егору сказал: — Шарик не забудь.

Подсаженный на «второй этаж» Заглотыш тихо возился там, пристраивал в углу постели автомобильчик.

...Все это Егор вспоминал сейчас и смотрел на искру в шаре. И затем искра выросла и распалась на множество цветных огоньков — стала сниться елка и Ваня с Заглотышем, которые катались на игрушечном автомобиле. После этого снилось что-то непонятное, но хорошее: не то плес, над которым белеет вдали колокольня, не то теплое море и берег с крупными цветными гальками, которые маленький Гошка собирает в подол майки...

Потом неизвестно с чего (Егор совсем о ней и не думал) приснилась Бутакова. Странно так: на доске под желто-синим парусом. Даже не на доске, а на лыже, потому что мчалась она не по воде, а среди увешанного блестящими шарами ельника, по сугробам и снежным застругам. Вьюжная пыль разлеталась из-под лыжи крыльями... Светка затормозила перед Егором — парус медленно лег на солнечный снег, на лиловые тени елок.

— Ну, что смотришь? — Светка смеялась, блестя мелкими ровными зубами. Зима была кругом, а она в одном купальнике, будто не на лыже, а на виндсерфере. Купальник — ярко-алый, с черными косыми полосами через грудь, тот, в котором она всегда на физкультуре...

— Ну, что смотришь? — спросила она опять. — Сам-то, небось, не умеешь так! Хочешь, научу!

«Застынешь ведь, дура», — хотел сказать Егор, но осип. Подумал: может, дать ей куртку? Но Светка ничуть не мерзла, смеялась. На загорелом ее плече таяли, превращались в капельки снежинки. Егору очень захотелось стереть их, и он снял уже варежку, потянул руку, но вздрогнул и проснулся с частым дыханием...

Тихо было, по-прежнему блеснул шар. На кухне горел свет, мать с отцом о чем-то тихо говорили там. Егор на цыпочках сходил в туалет, напился из-под умывального крана очень холодной воды. Снова лег. Появились мысли, что, пожалуй, с Заглотышем — дело пустое и глупое. А впрочем, будь что будет. И, подумав об этом, Егор уснул.

Каникулы на корабле «Надежда»

Хронометр стоял на старинной, красного дерева, тумбочке недалеко от раскрытой двери. Когда замолкали голоса, он тикал особенно звонко — вщелкивал в тишину медные шпильки. Его хорошо было слышно в полутемной прихожей, у изразцовой печки.

В этом углу, у печки с раскрытой дверцей, Егор и Михаил сидели часами. Михаил маялся болями в спине, но нет худа без добра — получил на несколько дней больничный лист. Теперь у него тоже были как бы каникулы, только с «позвоночным уклоном» и ежедневным хождением в поликлинику на электромассаж.

Усаживался Михаил в развалистую, удобную для его спины качалку прошлого века, а Егор устраивался на полу или на дровах. Разжигали печь и говорили. О многом...

О Толике говорили и его аппаратах, о съемках в Севастополе, о Крузенштерне, Резанове и Головачеве, о рукописи Курганова. Несколько вечеров подряд. Переплетение времен и судеб казалось Егору похожим на сюжет многосерийного телефильма.

Один раз Егор спросил:

— А вдруг рукопись когда-нибудь все-таки найдется?

Михаил не стал доказывать, что это фантастика. Он сказал:

— Практически шансов никаких, но я тоже иногда об этом думаю. Даже снилось несколько раз... Будто беру листы, читаю. Все так хорошо, интересно. А проснусь — и сразу забываю...

— А куда могла деться тетрадь с эпилогом? Та, в которой Толик писал, по памяти?

— Не знаю, не нашли в бумагах у него... Если бы найти, можно было хотя бы этот эпилог напечатать. В каком-нибудь журнале. Как отдельный рассказ. В память о Курганове... И о Толике...

— А если бы нашлась вся рукопись? Можно было бы напечатать?

— Наверно... Только пришлось бы, скорее всего, название изменить. А то есть теперь такой роман Хемингуэя — «Острова в океане». Также после смерти автора выпущен...

— Можно было бы назвать «Путь в архипелаге», — вдруг сказал Егор.

Михаил посмотрел удивленно.

— Ну... — Егор почему-то смутился. — Конечно, Крузенштерн плыл не в каком-то одном архипелаге, он по всем океанам... Но если повесть о людях... будто каждый как остров... Тогда ведь путь от острова к острову. От человека к человеку...

Он не стал рассказывать, что все эти дни не навязчиво, но постоянно звучат в нем, переплетаясь, две мелодии: песня из «Кораблей в Лиссе» и песня Камы. Не решился. Да и не сумел бы.

Но вообще-то они с Михаилом разговаривали вполне откровенно. Не то что во время прошлых встреч. Михаил рассказал и о гранате... О том, как он, двенадцатилетний Гай, в Севастополе бросил, не подумавши, в руки Толику учебную лимонку с сорванным кольцом. А тот решил, что граната настоящая, и грохнулся на нее, чтобы спасти Гая. И как потом Гай ревел и просил прощения, а хмурый Толик вытирал ему платком лицо. И наверно, когда вынимал платок, вытряхнул билеты на симферопольский автобус. И обратный тоже. И поэтому повез Гая в аэропорт на такси, а возвращаться в Севастополь решил на электричке. И на симферопольском вокзале наткнулся на двух бандюг, с которыми сталкивался и раньше... Если бы не было случая с гранатой и если бы Толик не потерял из-за этого обратный билет, он не пошел бы на вокзал и, возможно, ничего не случилось бы... Впрочем, Гай не знает точно, был ли у Толика этот билет. Кое-кто говорит, что его быть не могло и он с самого начала думал ехать назад на поезде. И что бандиты искали инженера Нечаева специально, следили всюду... Но кто теперь может сказать точно?..

Егор долго молчал, ворочая в печке дрова. Потом не вытерпел, спросил:

— И что, все эти годы так и маешься?

— Не маюсь. Живу, — сказал Михаил жестковато. — Но... нет-нет да и опять возьмет за душу.

— Но ведь ясно же, что ты здесь ни при чем! Не было билета, а бандиты все равно были!

— Никому это не ясно, — безнадежно сказал Михаил.

— Граната ничего не решала, — упрямо, хотя и без внутренней уверенности заявил Егор.

— Кто знает, решала или нет... Она все равно была, никуда не денешься. Причем краденая. Как ни крути, а я ведь стащил ее у тех, у севастопольских, ребят, хотя потом и признался. Вот так люди и расплачиваются за один подленький шаг... Судьба.

Егор осторожно сказал:

— Ты был пацан. Ты же не знал... Другие целую жизнь химичат и о совести не думают и вовсе даже не расплачиваются. При чем тут судьба?

Михаил шумно повозился в заскрипевшей качалке.

— Да судьба-то у каждого своя...

Замолчали. Только угли пощелкивали да хронометр: динь-так, динь-так...

В открытую дверь было видно, как в комнате на полу возится со старой железной дорогой (еще Гай играл когда-то) молчаливый, тихо прижившийся здесь Заглотыш...

Пять дней назад, когда они появились в доме, Михаил повел себя непредсказуемо. Радостно вытарачил синие глаза, всплеснул одной рукой (другой держался за спину) и захохотал:

— Вот это парочка! Сочетание! Какими судьбами?

Егор подумал, что запланированный эксперимент летит вверх тормашками. Чтобы спасти положение, он заговорил сердито и с напором, но напор получился беспомощный:

— Вот, получай!.. Привез тогда и думаешь — всё? А ему куда? Он опять... Он матери нужен меньше паршивого котенка. А ты его отцепил от шинели и нате... Так, да?

Михаил перестал смеяться, но глаза остались веселыми. Главное, что он ничуть не растерялся и не удивился.

— И значит, ты его обратно? Ай да братец!

— Ты не вертись, — безнадежно сказал Егор. — Ты отвечай за человека до конца. Это тебе не словами других воспитывать...

— По-нятно... Витюха, иди-ка вон туда, раздевайся... Братец Егорушка, ты, значит, мне испытание решил устроить? Усыновляй, мол, парня, если не болтун! Так?

Вот же черт! Он всегда все знает наперед!

— Не так! — раздосадованно рявкнул Егор. — Найди отговорку! Скажи: «Если я буду всех...»

— Ага! А ты скажешь: «Не надо всех, возьми одного...»

— Вот именно! — Егор понял, что сейчас постыдным образом разрешится.

Но Михаил сказал уже без намека на смех, тихо и грустновато:

— Насчет одного у меня были другие планы. Есть на примете... Эх, Егор, Егор, а ты думаешь, это легко? У него же мать живая. Никакая комиссия не позволила бы, хоть лоб расшиби...

Егор оглянулся на Заглотыша, тот у вешалки медленно стаскивал с себя Ванино пальтишко.

— А никто про него и не вспомнит. И не спросит.

— А школа? А документы?.. Эх ты, святая простота... Кстати, мать знает, что ты его увез?

— Больно он ей нужен!

— Сегодня не нужен, а завтра крик подымет.

Венькина мама тоже говорила об этом Егору. Но он беззаботно соврал, что у матери Заглотыша был и ей, полупьяной, сообщил об отъезде.

— Надо отправить открытку, — решил Михаил. — Ибо чую, что эта личность осядет здесь на неопределенное время.

Егор шмыгнул носом и агрессивно предупредил:

— Только попробуй сдать в приемник!..

— Дурень, — вздохнул Михаил. И вдруг крикнул: — Мама! Егор приехал!.. — А перепугавшемуся Егору шепотом пообещал: — Не бойся, нежностей не будет. Я уже все рассказал...

Однако нежности были, хотя и недолгие. Сухонькая женщина стремительно вошла в прихожую, секунду молча стояла перед Егором, потом обняла, прижалась к его плечу. Всклинула, расцеловала его в щеки и в лоб. Отдвинулась, глядя влажными солнечными глазами. Сказала несколько раз:

— Господи Боже мой, Господи Боже мой, хоть бы это был не сон... мальчик мой... — И опять прижала его к себе.

Затем почти то же самое повторилось с другой женщиной, молодой еще. Это была сестра Михаила Галина.

Михаил в это время помогал раздеваться Заглотышу и что-то его тихо спрашивал. Потом громко сообщил:

— Товарищи, это Витя. Он у нас... поживет. Будет спать в боковушке, а мы с Егором в моей комнате.

— Я не буду спать! Я сейчас домой!..

— Да? — ехидно сказал Михаил. — Во! — И он показал полновесную дулю. — Ты приехал на каникулы.

Мать, вопреки ожиданиям, не спорила и не возмущалась, когда Егор позвонил из Среднекамска. Сказала только:

— Мог предупредить хотя бы, не срываться сломя голову... Ну, смотри сам, не маленький уже. Веди себя там по-человечески. И звони почаще... Дай номер телефона... Гаймуратовых...

«И не забывай надевать тапочки», — мелькнуло у Егора, и он впервые за долгое время подумал о матери с

оттенком грустной нежности. Наверно, потому, что оказался от нее далеко...

Первые сутки прошли в разговорах с Михаилом, в знакомстве с домом и его жителями. Дом с улицы выглядел старым, осевшим, а внутри оказался просторен и светел. И комнаты высокие. В них потрескивали пересохшие полы, позванивали несовременные люстры, блестело синее стекло ручек на оконных рамах. Пахло березовыми дровами. И всюду книги, книги. Потертое золото на кожаных корешках старинных словарей. Фотографии на стенах между высокими шкафами с темной резьбой. Большой, маслом писанный портрет хирурга Гаймуратова, умершего десять лет назад, — он приходился Михаилу дедом. И значит, Егору — тоже.

Портрет висел в кабинете, где за письменным столом с львиными головами сидел седой грузный человек в очках-линзах. Из-за этих линз глаза его казались необыкновенно большими. Он отодвинул кресло, тяжело поднялся навстречу Егору. Руку дал, сказал без улыбки, но по доброду:

— Здравствуй, Егор. Вот и прибавилось наше семейство. Бывает и у судьбы справедливость, а?.. Ну, осваивайся. А я тут еще посижу над своей писаниной, хотя и надоело...

— Папа учебник пишет, — объяснил Михаил. — Для химико-технологических вузов.

— Да. Надо успеть, — серьезно сказал Юрий Вячеславович.

— Папа, ты опять... — насутился Михаил.

— А я чего? Я к тому, что издательство торопит. Чтобы не нарушить договор...

В столетнем доме на Старореченской улице (которую то грозили снести, то обещали сохранить в заповедной зоне с деревянной архитектурой) жили восемь человек. На одной половине — Михаил с родителями, на другой — его сестра Галина с мужем и дочерьми и брат ее мужа, холостой инженер с судовёрфи.

Дочери Галины — Шура и Катюша, веснушчатые девочки девяти и десяти лет — живо заинтересовались Заглотышем. Тот сперва помертвел от робости, потом слегка оттаял. Даже согласился пойти с девочками в ближний кинотеатр на мультики. Когда вернулись, Катюша громким шепотом спросила:

— Дядя Миша, а правда Витя всегда будет жить у нас?

Заглотыша, к счастью, рядом не было. Михаил ответил:

— Всегда, наверно, не получится, вы его скоро замучите.

— Не-е... Мы с ним дружить будем.

Потом оказалось, что дружба не получается. Шура и Катюша целые дни свистали на улице — то на площади у городской елки, то на крутом речном берегу, с которого ребята катались на санках и фанерках. А Заглотыш тихо возился с железной дорогой, листал подшивки старого «Огонька» или помогал тете Гале на кухне. Она сказала:

— Мне бы такую девочку. Вместо тех сорвиголов...

Вечером тридцать первого в самой большой комнате, где стояла елка, раздвинули стол — тяжелый, с ножками, как у рояля. Около одиннадцати Виктор — веснушчатый, как дочери, муж Галины — сообщил «открытым текстом», что пора проводить уходящий восемьдесят второй. Хлопнула пробка. Ребятишкам дали газировки, а Егору Михаил налил в фужер шампанского, как всем. Переглянулся с матерью: «Ради такого случая можно...»

— Папа, — сказал он. — Давай тост. По старшинству.

Юрий Вячеславович поднялся за столом.

— А что придумывать тосты? Год этот, он всякий был. И все-таки для нас счастливый. Сами понимаете... — Он посмотрел на Егора. — Вот и давайте — за судьбу...

Шампанское защекотало небо, как лимонад, зашипало в носу (совсем не похоже на «таверновский» портвейн). Егор весело «навалился» на горячие пельмени. В это время в прихожей длинно-длинно затрезвонил телефон. Михаил кинулся из-за стола. И вернулся через пять минут. Улыбчивый.

— По просветленной физиономии Гая можно заключить, что благосклонно звонили с южных берегов, — заметила Галина.

— Галка, — сказал молчаливый брат ее мужа Борис Васильевич. — Была бы ты моей женой, за косы бы драл. Для излечения от болтливости...

Михаил молча поглощал пельмени. И кажется, забыл про большую спину.

После двенадцати началась веселая суета — все вручали друг другу подарки. Заглотышу досталась коробка с «конструктором», а Егору — роскошная авторучка и блокнот в лаковом переплете. На корочке — фото: «Крузен-

штерн» под всеми парусами. Прямо как в кино. Это уж Михаил, конечно, постарался.

Егор сказал растерянно:

— А мне и подарить нечего. Никому...

— Ты сам подарок, — улыбнулась Варвара Сергеевна, мама Михаила. А Галина добавила без прежней хитроватости, серьезно:

— Вообще-то и ты можешь подарок сделать... Всем.

— Какой? — удивился Егор.

— Потом скажу.

Егора это заинтриговало. Он смотрел нетерпеливо.

— Ладно, пойдем, — позвала Галина.

Они отошли к елке. Ветка с картонным зайцем показывала Егору щеку. Галина щекочущим шепотом сказала ему в ухо:

— Но если это очень трудно, то не надо, не обещай...

— А что обещать-то?

— Если можешь... брось курить.

Щеки Егора словно продрало теркой. Помолчал он, стыдливо проморгался и буркнул:

— Чё, заметно разве? Я три дня не дымил...

— Милый мой, я же химик. Всякие флюиды чую за версту... Ты очень привык?

— Да ну... я как когда. Могу целую неделю без этого...

— Ну, и как насчет подарка? — прошептала она.

— На всю жизнь? — осторожно спросил Егор.

— Нет, таких клятв не надо. Хотя бы ровно на год. А? Егор подумал, тряхнул головой.

— А... ладно!

— Правда?

Он засмеялся и прижал к груди растопыренную ладонь:

— Клянусь!

— Вот спасибо... Только имей в виду, скоро тебе очень захочется закурить. Так всегда бывает.

— Вот еще!

Курить захотелось через десять минут. Отчаянно. Чтобы задавить клятвопреступное желание, он украдкой допил из фужера шампанское и заел селедкой под майонезом. Борис Васильевич поставил на проигрыватель старинную «Рио-Риту»...

Дрова прогорели, разговор о потерянной рукописи угас. Егор встряхнулся и бросил в печь два березовых полена. В прихожую заглянула Галина.

— Братцы ненаглядные, ужинать пора... А если кто-то будет копать, не получит письмо из Севастополя. Только что соседка принесла, им по ошибке в ящик бросили...

Михаил вскочил, охнул, взялся за спину.

— Давай письмо немедленно.

— Ладно уж...

Михаил разорвал конверт, поднес развернутый лист к открытой печной дверце, стал читать при свете разгоревшейся бересты. Заулыбался. Достал из конверта фотоснимок.

— Вот он, Никитка, гляди...

Рядом с молодой белокурой женщиной в плаще стоял большеглазый, удивленный какой-то мальчик. Без шапки, в расстегнутой курточке, с октябрятской звездочкой на лацкане школьного пиджака. Светленький, коротко остриженный, с оттопыренными ушами. Двумя руками держал опущенный к ногам ранец.

— Хотели его к нам на зимние каникулы привезти, да простыл бедняга. На юге-то... — сказал Михаил.

— А это Ася?

...Егор все уже знал про Асю. Про ее обычную, как у многих судьбу. Муж Аси был выпускником военно-морского училища, после окончания учебы уехал с женой на Камчатку, а через год Ася вернулась к матери с крошечным сыном. И больше об отце Никитки старалась не говорить. Знал Егор и то, что Михаил не раз бывал в Севастополе и не раз говорил Асе: «Давай поженимся». И та вроде бы не отвечала «нет». А все что-то не клеилось, задерживалось. И в чем загвоздка, Егору было непонятно.

— Да мне и самому непонятно, — сказал как-то Михаил.

Разговор был такой подходящий по настроению, откровенный, и Егор спросил в упор:

— Может, не любит?

— Если бы так просто... Сразу бы тогда и сказала, она девочка решительная.

— А может, потому, что у нее образование, а ты университет не кончил?

— Подумаешь. Через два года кончу, я уже восстанавливаюсь...

— Или с юга ехать к нам не хочет?

— На Камчатку же поехала... Нет, тут другое... Говорит: «Пусть Никитка подрастет, вместе с нами решит». А он при последней встрече и так за мной по пятам бегал: «Дядя Гай, дядя Гай...» Ей уж и Сергей говорил: «Ася.

чего ты тянешь жилы и себе, и ему?» Мне то есть... Серега Снежко, наш друг в Севастополе... Я тебе его не показывал?

Охая, Михаил сходил в комнату и вернулся с потертой папкой. Стал перебирать листки, конверты, карточки, достал крупный снимок. У школьного крыльца стояли трое — длинноногий, с побитыми коленками Гай, девочка в школьном платье, тоненькая, с очень светлыми прямыми волосами, и мальчишка с веселыми прищуренными глазами. Он твердо расставил прямые, как карандаши, ноги и держал на одном плече короткий пиджачок.

— Вот это и есть Сержик Снежко. Сейчас врач на рыболовной плавбазе. А это Ася, вот такая она была. Кстати, именно в этой школе сейчас работает, в своей...

— А это кто? — Егор взял из папки другой снимок. На нем был скуластый мальчишка с капризным ежиком волос.

— Юрий... Заместитель директора Южно-Весельского заповедника... Недавно два месяца в больнице отлежал.

— Браконьеры?

— Нет, директор и всякое высокое начальство. Решили в заповеднике дачи разным чинам строить, директор им спину лижет, а Юрка на дыбы... На него — анонимку: расхититель, покровитель браконьеров и взяточник. С больной головы... Довели человека... Но сейчас воюет опять. Хотя мог бы жить спокойно. Вот так, дружище...

— Не надо меня воспитывать, Гай, — сказал Егор. Впервые, как бы между делом и неожиданно легко, назвал он Михаила его давним именем. И тот не удивился.

— Я не воспитываю. Просто злость берет, сам бы этих гадов передавил... Сестрица говорит, что я экстремист.

— Вы пойдете ужинать или нет? — донесся голос сестрицы.

— Да подожди ты!.. А вот, Егор, смотри... Толик рисовал.

Михаил развернул желтый, свернутый вчетверо лист. С шероховатой бумаги смотрел ярко-голубыми глазами худой офицер. В старинном мундире, с якорями на большом стоячем воротнике. Портрет был нарисован цветными карандашами, явно мальчишечьей рукой, но хорошо, похоже на Крузенштерна из книжки.

— Тот самый портрет, для Курганова? А ты и не говорил, что он сохранился!

— Не успел...

— Ты вообще ничего этого мне раньше не показывал, — ревниво сказал Егор и кивнул на папку.

— Не всё сразу, Егорушка. Хотел перед твоим отъездом... Ну ладно, раз уж так получилось... Портрет возьми с собой. Как-никак ты наследник...

Егор переглотнул невольное смущение от «наследника».

— И стихи тут... Те, которые Курганов взял для эпиграфа?

— Да. Только здесь они неполные. Толик их потом дописал. Вот... — Михаил развернул небольшой листок.

Егор начал читать напечатанные на машинке строчки:

Когда Земля еще вся тайнами дышала...

Он знал эти стихи и раньше, Михаил написал их ему в подаренный блокнот. Уже при первом чтении строки эти перекликнулись у Егора с песнями: «Мы помнить будем путь в архипелаге»... «На рассвете взойдут острова»... «...Остались тайны только в глубине. Они — как клад, на острове зарытый»...

Последнее четверостишие на старом листке было написано от руки: бледными лиловыми чернилами, стальным пером с «нажимом» (такие теперь только на почте увидишь). Коряво-старательным почерком четвероклассника. И подпись стояла: Т. Нечаев. И дата: 16/VII — 48 г.

— Возьми себе и эту бумагу, — разрешил Михаил. — Это, можно сказать, автограф...

Егор замаялся:

— Ты всё мне отдаешь... Самому-то что останется?

— Ну, у меня еще много чего! И прежде всего хронометр.

Да, хронометр... Егор не раз подходил к нему, слушал шелканье скрытого маятника, смотрел, как скачет по делениям живая стрелка секундомера. Трогал потертое дерево футляра...

Михаил рассказывал, что не раз хронометр чинили и регулировали. Приведут в порядок, и опять он отмеряет старательно и точно минуты, месяцы, годы. Те, что идут, идут равномерно и неумолимо.

Был хронометр словно посредник между разными временами. Соединял сороковые годы мальчишки Толика Нечаева, шестидесятые — юнги Гая и нынешние... Чьи? Его, Егора?

Однажды поздно вечером украдкой от всех Егор в блокноте с «Крузенштерном» нарисовал что-то вроде схемы. Это был чертеж событий разных лет — от выхода «Надеж-

ды» и «Невы» с Кронштадтского рейда до... признаться, до того дня, когда Егор привел домой Михаила и нажал кнопку на «Плэйере»... Всех людей там обозначил Егор именами и звездочками: Крузенштерн, Резанов, Головачев, Толик, Курганов, Гай... Лишь для себя оставил на краю страницы пустое место и мысленно пометил его знаком вопроса: что он, Егор Петров (или Нечаев?), значит в этой странной и долгой истории? В неоконченной... Словно Курганов продолжает писать свою книгу и Егор — один из ее будущих героев.

Имена и разные значки прибавлялись. Вчера Егор, поразмыслив, вписал в схему Ревского и Наклонова. А сейчас подумал, что надо бы сделать еще один значок — Севастопольские бастионы. Ведь хронометр связывает его, Егора, и со временем Крымской войны. Именно там кончается повесть «Острова в океане». И надо вписать этого капитан-лейтенанта... Как его фамилия-то? Ага, Алабышев!

— Гай, а с чего это Курганов сделал у книги такой конец? Про Севастополь?

— Ну, я же говорил. Наверно, хотел показать, что смерть бывает разная...

— Да, но откуда этот Алабышев-то взялся? Он же не плавал с Крузенштерном, там совсем другое время.

— У писателей это, кажется, называется «замкнутая композиция». Когда в начале и в конце книги появляется один и тот же герой, хотя в самой повести его нет.

— А... где он там в начале-то?

— Я разве не рассказывал? У Курганова было вступление. Там Крузенштерн, когда он уже директор Морского корпуса, заступает за маленького кадета резервной роты...

— За Егора?

— Вот именно... А потом, в эпилоге, этот воспитанник Крузенштерна спасает от смерти ребят. Все закономерно...

«Все... кроме одного», — сбивчиво подумал Егор и почему-то смутно, на миг, вспомнил Веньку.

Когда Егор в классе слушал Наклонова, фамилия кадетика скользнула мимо сознания. Но теперь беспокойно, колюче зашевелилась в памяти: «А ведь, кажется, и правда — Алабышев... Разве бывают такие совпадения?.. Если исторические повести, то, наверно, бывают. Писатели разные, а пишут-то про одних и тех же людей. Из одних архивов для себя факты выбирают... Но...»

— Гай! Но ты же говорил, что Алабышева Курганов придумал! Помнишь, ты сказал: «Это, кажется, единствен-

ный вымышленный персонаж в его повести, но тоже очень важный...»?

— Егорушка! Это не я говорил, а Толик. Четырнадцать лет назад, когда пересказывал рукопись... Я-то что могу знать? Я повести в глаза не видел, помню только по его словам... А какая разница, придумал или нет? Разве так важно?

— Сейчас... — пробормотал Егор, морща лоб. В блокнотной схеме он мысленно провел между именами Наклонова и Алабышева прямой пунктир и в середине его вписал жирный вопросительный знак. И когда старательно ставил под знаком точку, она как бы взорвалась тревожным зуммером — это здесь, в прихожей, длинно затрещивал телефон.

Михаил, по-прежнему хватаясь за спину, заторопился к аппарату. Потом сказал разочарованно:

— Егор, это тебя...

Звонила мать. Она раздраженно спросила, до какой поры Егор будет болтаться неизвестно где. У отца такие неприятности, а сын веселится в гостях.

— Какие опять неприятности? — тоскливо сказал Егор. Думать о доме не хотелось.

— Большие. Таких еще не было... — Мать, кажется, всхлинула.

— Ну, а я-то при чем? — огрызнулся Егор. — Я чем могу ему помочь?

— Хотя бы тем, что будешь дома и не надо трепать из-за тебя нервы... Завтра с утра выезжай! Слышишь, Горик? — она всхлинула опять. — Я тебя очень прошу. Завтра с утра...

От телефона Егор отошел с упавшим настроением. Не из-за отцовских неприятностей, конечно. Эти дела были ему до лампочки, можно и не ехать. Мать покричит, поругается и отстанет. Но не завтра, так через пять дней возвращаться все равно придется. Все равно кончатся каникулы, которые провел Егор будто на крузенштерновской «Надежде»...

Михаил, узнав, о чем был разговор, осторожно заметил, что надо бы ехать. Михаила можно понять: ему неловко перед матерью Егора. Алина Михаевна, небось, думает, что он переманивает ее сына к себе из родного дома!

А что делать в том доме, в том городе? Егор прикинул: ждет ли его там хоть что-то хорошее? И понял: одно только греет его — Венька.

У Веньки хорошо. Почти так же, как здесь. Та же доб-

рота уютного, обжитого дома. Можно так же сидеть и говорить не спеша. Можно будет наконец рассказать о Гае и Толике, о фильме. И обо всем, что с этим связано... И повод, чтобы к Ямщиковым зайти, есть: Ванюшкину одежду-то надо отнести. Обещал, что вернет через два дня, а застрял в Среднекамске на неделю.

Заглотыш ходил уже в своей одежде: кое-что Михаил и Галина купили ему в «Детском мире», спортивный костюм для дома взяли у девчонок.

Сейчас Заглотыш в этом костюме строил на полу мост из «конструктора» над железной дорогой. Пускал по мосту автомобильчик, подаренный Ваней. Из прихожей было видно в открытую дверь, как он тихо и самозабвенно возится со своей техникой.

— Много ли человеку надо... — сказал Михаил.

— Ну и... как теперь с ним? — нерешительно спросил Егор.

— Пусть живет пока... Если мать не откликнется, поговорю с ближней школой, у меня там директор знакомый. Учебники у девчонок возьмем...

— Навязал я тебе камень на шею... Я же не знал про Никитку...

— Да ничего. Может, и к лучшему. А то свел бы его Мартышонок или кто другой в какой-нибудь бункер...

— Куда?

— Ну... в тайную кают-компанию, вроде вашей «таверны». А там всякое. Глядишь, и к наркотикам пришлось бы...

— У нас ничего подобного не было! — взвинулся Егор. — Один раз два дурака попробовали, да и то им морды раскровянили и прогнали навсегда.

— А тебе... не предлагали попробовать?

— Предлагали, — сознался Егор. — Я и глотнул. Меня тут же всего наружу вывернуло. Я вообще таблетки не терплю.

Михаил с облегчением сказал:

— Вот и хорошо.. Тебя отец спас, Толик...

— Почему?

— Наследственность, наверно. Он тоже никаких пилуль и порошков с детства не переносил. Бабушка рассказывала: как заболает — одно мучение...

— Видишь, где мучение, а где польза, — хмыкнул Егор.

— Ага... А кстати, Курбаши-то ваш все-таки за наркотики загремел. Сам не баловался, а сбытом занимался. Не в «таверне», конечно, он парень мозговитый...

— Откуда ты знаешь? — опешил Егор.

— Знаю... У меня в вашем городе кой-какие знакомства с оперативниками имеются, рассказали... Его дружки аптеку «взяли» с кучей таблеток. «Колеса» они называются по их терминологии. И в «гараж», то есть в специальный тайник, спрятали... Но за тем «гаражом» уже глаз был...

«Вот оно что! — ахнул про себя Егор. — А я-то думал про машину. Теленок...»

— В общем, вовремя ты прекратил отношения с этими джентльменами. Твою репутацию они бы не скрасили...

— Знал — и молчал, — беспомощно упрекнул Михаила Егор.

— Ага. А начни я разговор, ты опять решил бы, что я тебя воспитываю... Хотел перед отъездом рассказать.

Егор помолчал и, меняя разговор, хмуро спросил:

— Я позвоню Ямщикову, можно? Объясню, почему столько времени шмотки не возвращал...

Телефон Ямщиковых не отвечал. Даже гудков не было.

— Подожди немного. Может, просто линия загружена, — сказал Михаил. И вспомнил: — Кстати, наш номер с десятого января изменится. Запиши-ка сразу: пятьдесят семь, ноль два, двенадцать...

Егор вытащил дареную авторучку. Но блокнот был в комнате, а под рукой оказался только листок со стихами. Не отходя от телефона, Егор на обороте старого листа написал цифры. Уж эту-то бумагу он не потеряет...

Потом он опять позвонил Ямщиковым. Ответил Ваня. Скучным бесцветным голосом:

— Квартира Ямщиковых...

— Иван, это я, Егор.

— Ага...

— А Венька дома?

— Нет, конечно...

— А когда он придет?

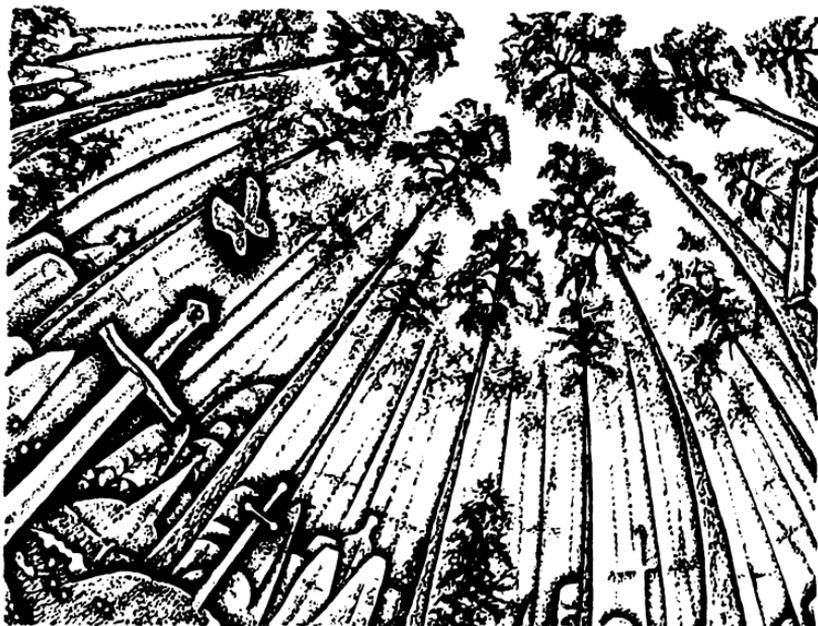
Ваня молчал.

— Вань! Он когда придет домой?

— Ты разве ничего не знаешь? — слабо, сквозь электрический шорох, сказал Ваня. — Он в больнице. Его ножом ударили.

— Кто?!

— Копчик...



Третья часть

Два меча

Зеленый шар

Бывают вялые, тусклые фотографии, на которых даже свежий снег выглядит серым.

Такой вот пепельной фотографией виделось Егору все, что было вокруг. Целый месяц. Тоскливые и бесконечные четыре недели.

Хуже всего тогда было чувство непоправимости. Замораживающее, лишающее сил. И Егору самому казалось странным, что он движется, ест, ходит в школу, порой даже учит уроки. Он опять словно раздвоился — как в тот день, при первом понимании, какую кару ему готовит отец. Один Егор автоматически жил теперь нормальной жизнью, а второй замер в глухом отчаянии. В ощущении своей некупимой вины.

...Это ощущение пришло не сразу. Первые дни была просто ярость. Беспомощная и неугасающая. Если бы

можно было добраться до Копчика, до Хныка, до Чижа, он голыми руками растерзал бы их. С радостными слезами облегчения. Но эти три гада, подонка, фашиста сидели за крепкими решетками. Ждали, сволочи, следствия и суда. А что суд? Ну, посадят эту гниду Копчика на несколько лет. А Хныка и Чижа, может, и не посадят — они, мол, ничего не делали, только рядом стояли... Как бы ни случилось, а все трое будут ходить по земле, дышать, жить... А Венька...

Что будет с Венькой, никто не знал. Ни врачи, ни родители, ни Ваня.

...Когда Егор с вокзала прибежал к Ямщиковым, Ваня был дома один. Похудевший, молчаливый. Сумрачно и коротко рассказал, что третьего января Венька шел через пустырь у цирка, спешил на утренник второклассников, которым помогал ставить спектакль. И повстречал тех троиц. Известно, что Копчик опять у него требовал деньги, а Венька сказал: «Ну-ка, отойди ты наконец с дороги». И тогда Копчик припадочно заверещал, выхватил похожий на шило самодельный кинжал и ткнул Веньку в сердце. До сердца, к счастью, «пика» не достала, но порвала какой-то сосуд, Венька потерял много крови. А кроме того, он застудил легкие, потому что долго лежал в снегу. Те трое сразу убежали, а увидели Веньку случайные прохожие...

На ослабевшего, обескровленного Веньку навалилось жестокое воспаление легких. Он только два раза приходил в сознание. Сказал про Копчика и спрашивал, не сорвался ли спектакль...

При последних словах Ваня крупно глотнул, загоня внутрь слезы, и стал смотреть за окно. И вот тогда Егор понял, что хочет убить Копчика, Хныка и Чижа...

И потянулись безнадежные, бесцветные часы и дни. Один раз Егор решился и позвонил Ямщиковым. Ваня тихо сказал, что состояние у Веньки прежнее и мама дежурит в больнице. Потом, в первый день после каникул, Егор отыскал Ваню в школе и спросил:

— Вань... ну что?

— Все то же пока, — глядя в сторону, ответил полушепотом Ваня. И вдруг попросил: — Ты меня пока не спрашивай. Если будет что-то новое, я сам скажу...

И вот тогда рухнуло на Егора тяжкое понимание: «Он же считает, что это я виноват!.. Все так считают!»

«А разве не так? Кто первый раз натравил на Веньку Копчика?»

«Я — не первый! Сперва они сцепились у цирковой кассы!»

«Там — случайно. А ввязаться к Редактору Копчик стал после той драки, которая из-за тебя...»

Мысли эти стали неотступны. Даже во сне.

Впрочем, иногда сны приносили облегчение. Егор видел, что Венька приходит к нему здоровый, улыбающийся и объясняет, что ничего опасного с ним не было и что врачи держали его в больнице из-за глупой предосторожности. И что Егор во всем этом деле вот ни на столечко не виноват, потому что Венька стукнулся не с Копчиком, а с какой-то незнакомой шпаной. И Егор слушал с нарастающим ликованием, и кругом почему-то был незнакомый город — белый и летний. Наверно, Севастополь... А потом Егор просыпался...

В классе о случае с Редактором говорили мало. А при Егоре Петрове замолкали совсем. Смотрели на него серьезно, задумчиво даже как-то, но старались не встречаться глазами. Егор воспринимал это как должное. Все, конечно, понимали, какая доля его вины в несчастье с Ямщиковым. Егор не услышал ни полслова упрека, но все держались подальше... Да не все ли равно? Страшнее того, что сам Егор испытывал и понимал, ничего быть не могло...

Хотя нет, могло. И было. Страх за Веньку. Мысль о том, что Веньки Ямщикова, Редактора, вот-вот совсем не станет на свете. И что никогда нельзя будет с ним ни о чем поговорить и даже просто переглянуться. И никогда Венька не обернется с быстрой улыбкой, как тот горнист на крыльце...

Впрочем, все это — страх, предчувствие неотвратимой беды, свинцовая вина — перемешивалось в душе Егора. Не разобраться, не освободиться, не вздохнуть...

И ни одному человеку ни о чем не расскажешь. Некому.

Михаилу звонить он боялся. Тот сразу начнет расспрашивать: как и что?.. А может, не начнет. Может, наоборот, станет молчать с пониманием и тяжким осуждением. Или спросит в упор: «А как ты будешь жить, если Венька Ямщиков умрет?»

«А я не буду!» — вдруг понял Егор.

В самом деле! Есть способы, когда это быстро и не больно. Еще Боба Шкип рассказывал. И если Веньки не станет, Егор такой способ вспомнит. Обидно, конечно, когда в жизни появилось что-то хорошее: паруса, Михаил, дом в Среднекамске... Обидно, что не будет найдена кур-

гановская рукопись. Но если Венька умрет, остальное все равно не имеет значения. И тогда...

По крайней мере, это будет справедливо. Будет искупление.

Егор думал о таком выходе без страха, почти что с облегчением. Даже с оттенком тайной гордости. И несколько дней жил в состоянии грустной успокоенности.

Потом позвонил Михаил.

Оказалось, что он звонил и раньше, несколько раз, но не мог застать Егора. А мать про эти звонки ничего не говорила.

— Это и понятно, — вздохнул Михаил. — Ей теперь не до наших с тобой дел, все за отца переживает. У него-то что?

— У кого? — недоуменно сказал Егор.

— У отца... У Виктора Романовича?

— А что у него?

— Ну... неприятности крупные, говорят...

— Понятия не имею... — До отцовских ли неприятностей Егору было?

Михаил не пожалел его, сказал раздраженно:

— Я смотрю, ты и в несчастьях своих ухитришься оставаться эгоистом.

У Егора не хватило сил разозлиться. Он ответил устало:

— Нет. Эгоисты думают о себе, а я о Веньке.

Тогда Михаил тихо спросил:

— Что?.. Так плохо?

— Я даже не знаю толком... Ванька, брат его, молчит...

Он вспомнил, как все эти дни Ваня при случайных (будто бы случайных!) встречах отводил глаза и пожимал плечами. Или чуть заметно покачивал головой. Он был сейчас подросток, тонкошей, как Венька, бессловесный. И с таким лицом, словно его только что умыли после горького плача.

...Михаил сказал:

— Я не про Веньку. Про него я все знаю. Я про тебя...

— Что?

— Так плохо?

Тогда у Егора вырвалось:

— Да... Да!

— Егорушка... Только не наделай каких-нибудь глупостей.

Всклипнув, он огрызнулся:

— Каких?

— Ты знаешь каких... Головачев ничего не решил... своим поступком.

— Откуда ты все знаешь? — без досады, просто с отчаянной усталостью сказал Егор.

— Про Головачева? Или... про тебя?

— Про меня...

— Потому что сам пережил такое... Егор, смертью ничего не искупишь, это пустая затея. Что-то исправить можно, только если живешь.

— А если... нельзя?

— Это решить можно только тогда, когда жив и голова в порядке. А помирать надо не так...

— Ну-ну... — В Егоре шевельнулись остатки прежней готовности к спору. — Конечно, лучше, как Алабышев.

Михаил не отозвался на его беспомощную иронию. Сказал как про обыкновенное:

— Можно и проще. Как твой дед под Севастополем. Или твой отец... Анатолий Нечаев. Главное, чтобы не сдаваться.

«Значит... и как Венька!» — ахнул про себя Егор. И все вернулось на свои места. И отчаяние, и тоска.

Но Михаил словно протянул ему соломинку:

— В конце концов, почему ты решил, что Ямщиков безнадежен? Врачи же надеются. Я звонил, разговаривал...

— Да?!

...С той минуты он стал жить надеждой. Когда бесполезно мужество поступков, должно оставаться в человеке мужество надежды... Жить *spe fretus*. Опираясь на надежду... Так вроде бы писал в своей повести Наклонов... Или не в своей? Теперь все равно. Теперь ничего не важно, только бы Венька жил. Только бы сопротивлялся гибели...

По ночам, когда стихали на кухне тревожные, негромкие разговоры матери и отца, когда умолкал за окнами город, Егор лежал с открытыми глазами. Смотрел на светлую точку в зеркально-зеленом шаре. И молился.

Егор никогда не задумывался о Боге и никогда в него не верил. И все его познания о религии сводились к двум фразам из Библии: одну он слышал от Курбаши, а о второй шел спор в классе, когда Венька сцепился с Розой. Но Венька тоже, конечно, не верил в Бога. Ему главное всего была истина. Бог тут был ни при чем, и он, разумеется, не мог сейчас помочь Веньке, потому что не существовал. И лучшим доказательством, что его нет, было то,

что Копчик ранил Веньку. Какое божество это допустило бы? За что?

И Егор молился не Богу, а елочному шару, который по-прежнему лежал в раструбе медного кувшина на подоконнике.

Егор молился без слов. Упершись глазами в блестящую точку, он все усилия души пытался свить в тугую нить и протянуть эту нить между собой и Венькой. Чтобы помочь ему... Может, есть на свете какие-то не открытые еще силовые поля, передача на расстояние энергии и жизненных сил. Пусть эти силы от Егора уйдут к Веньке! Вот через эту звездочку — незримой и сильной радиоволной... Зеленый шар, помоги... Переломи судьбу...

Но зеленый шар оказался более хрупким, чем судьба...

Сперва тот февральский (уже февральский!) день был не самым плохим. На перемене Егор стоял у окна и тупо смотрел на тополя в сером снегу, и вдруг подошла Бутакова. Спросила:

— Ты не знаешь, как состояние у Ямщикова?

Недоуменно и глухо, не оглянувшись, Егор сказал:

— Почему ты у меня спрашиваешь?..

— Ну, а у кого еще? Брат его молчит... Я думала, что ты должен знать. Все-таки вы же друзья...

Егор окаменел. Что это? Насмешка? Или она... всерьез?

— Ты не был в больнице? — спросила Светка.

— К нему не пускают, — тихо сказал Егор. Это была правда.

— Ну, а... — с мягкой настойчивостью начала Бутакова, и он с усилием проговорил:

— Да отцепись ты.

— Грубиян ты все-таки, Петенька...

И тогда вмешался Юрка Громов. Незаметно оказался рядом. Он сказал Светке высоким, чистым голосом пятиклассника:

— Бутакова, зануда ты окаянная, отвяжись от человека! — И она (странное дело!) послушалась. А маленький Юрка положил Егору ладонь между лопаток и сказал уже тише, ласково так:

— Егор, да ты не изводись. Медицина сейчас знаешь какая. Даже совсем безнадежных оживляют...

Егор не оглянулся на Юрку. Замер, боясь стряхнуть со спины его ладонь. И боясь еще, что Юрка увидит его стремительно намокшие глаза (последнее время слаб он, Егор, стал на это дело). Но Юрка, видимо, все понимал. Постоял

еще две секунды, сильнее надавил ладонью — держись, мол, — и отошел.

А Егор остался у окна, и появилась у него догадка, что, может быть, не все его считают виноватым. Что ниточка странной симпатии между ним и Венькой, которая вдруг наметилась в декабре, не осталась в классе незамеченной. И может быть, правда кто-то считает, что они подружились. И теперь в молчании ребят — не отчуждение, а сочувствие... А то, что не подходят, — понятно. К Кошаку подходить не привыкли...

Ощущение Юркиной ладони (теплой даже сквозь пиджак и рубашку) было непривычным и словно лечащим. И надежда выросла, появилась в ней даже искорка радости...

А когда Егор пришел домой, он увидел, что шара нет.

Медное горлышко кувшина было пустым, а на ковре Егор заметил блестящую зеленую чешуйку.

Он не хотел поверить. Закричал:

— Мама! Где шар?

Алина Михаевна сказала из кухни:

— Что ты так кричишь? Я вытирала пыль, разбила нечаянно.

— Что ты наделала!

Алина Михаевна появилась в комнате:

— Что с тобой? Копеечный шарик... Что за истерика?

— Для тебя копейный! Для тебя все копейное, что не на чеки в «Березке» куплено!

Мать повысила голос:

— Что ты орешь! — И вдруг сморщила лицо: — Ты... человек без души. Скоро может все на осколки полететь, а ты... шарик... У отца такое на работе, а тебя будто ничего не касается. Если бы ты знал, в чем его обвиняют... Он такой им цех отгрохал, а теперь из него преступника делают!

— За что? — машинально буркнул Егор.

— За все! За то, что хотел, чтобы людям лучше было! За то, что добрый очень! Вот...

«Слабо верится», — подумал Егор.

— Я-то при чем? Я в его печали не виноват.

— Но тебе на все наплевать!

Это была истинная правда. Разговоры о происках отцовских недругов Егор слышал постоянно, однако никак они его не задевали. И теперь несчастье с зеленым шаром казалось не в пример страшнее всех отцовских бед. Потому что это была примета, Предвестие Венькиной судьбы.

... Пытаясь умиловить судьбу, Егор выцарапал из коврового ворса блестящую чешуйку и положил на край медного горлышка. Но легонькое стекло сорвалось и кануло в черноту кувшина. Егор лег на тахту и накрыл голову твердой подушкой.

Он не удивился и даже не испугался, когда раздался телефонный звонок и мать сказала из прихожей.

— Горик, тебя... Какой-то мальчик...

Мальчик несомненно был Ваня. И Егор понимал, что он сообщит. Будто во сне пошел к телефону. Сказал обреченно:

— Я слушаю...

Звонил действительно Ваня.

— Егор! Веник спрашивал про того мальчика. Что с ним теперь?

Первой была радостная, как вспышка, мысль: «Значит, неправда! Значит — жив!» Потом страх:

— Спрашивал... когда?

— Сегодня. Мы с мамой у него были.

— Ванька! А он... как?

— Да ничего уже... Врач сказал, что это позади... Ну, опасность всякая. Слабый только, придется еще лежать...

— Ванька, правда?!

— Ну, так врач сказал. Мне и маме...

Господи, неужели это возможно? Неужели конец мукам?

— Ванька, а...

Хотя что спрашивать! Если Венька сам задает вопросы, значит, и правда ожил. Каким-то мальчиком интересуется...

— Вань, а какой мальчик? Про кого он спрашивает?

— Ну, тот, которого ты отвез в Среднекамск...

Надо же! Все эти дни Егор и не думал о Заглотыше. Даже не спросил о нем у Михаила.

— Вань... Ну, ты скажи, что все в порядке! Он живет у моего брата, у Михаила. Нормально...

... Если даже это не так, то пусть. Потом Егор разберется. Главное, чтобы Венька нисколько не волновался.

— Вань! А что еще Венька говорил?

— Он много говорил. Про всякое... Ты приходи, я вспомню и расскажу.

— Куда... приходиться?

— К нам. Куда еще?

Тогда Егор сказал... точнее, выдавил, будто проламы-
ваясь сквозь стену:

— Ваня... как мне приходится-то... Я ведь... Ну, я же
когда-то... с Копчиком был... тоже...

Ваня сказал сразу и очень серьезно:

— Конечно. Копчик этого и не мог Венику простить.

— Чего?

— Что ты от них ушел... Он тогда ведь не только из-за
денег полез. Он сказал: «Мы тебе никогда не забудем, что
ты Кошака отколол»... Егор, ты приходи. Недавно папа
про тебя вспоминал...

— Как? — выдохнул Егор.

— Говорит: «Предупреждал ведь нас Егор, что за гад
этот Копчик, а мы недооценили...» Веник хотел тебе записку
написать, а медсестра сказала, что пока вредно... При-
ходи...

Егор зажмурился и кивнул. Потом сообразил, что Ва-
ня этого не видит, и хрипло сказал в трубку:

— Ага...

Оказалось, что Егор не соврал, когда сказал Ване про
Заглотыша. Тот в самом деле по-прежнему обитал у Ми-
хаила. Именно он ответил на звонок Егора. Негромким,
но уверенным голосом:

— Квартира Гаймуратовых.

— Это ты, За... Витек, это ты?

— Ага.

— А где Михаил?

— Он на медкомиссии.

— А что такое? Опять спина?

— Ну... Он вообще... Он хочет увольняться из милиции
и в школу идти работать. Или в газету...

— Вот так финт...

— Он говорит, что так лучше будет.

— Ему виднее... А ты-то как живешь?

— Хорошо.

— В школу ходишь?

— Хожу... У меня две пятерки по труду.

— Герой... Михаилу скажи, что с Венькой Ямщиковым
все в порядке.

— Ага... Он уже знает.

— Все он всегда знает! — весело ругнулся Егор.

Появилась в прихожей Алина Михаевна.

— Опять ты по междугородному болтаешь!

— Тебе жалко?

— Между прочим, это денег стоит.

— Обеднеем из-за трех рублей?

— А ты знаешь цену этим рублям? Скоро сядем без гроша, тогда поймешь...

— Витек, пока. Потом перезвоню... — Егор положил трубку. Настроение у него не испортилось. Разговоры матери о грядущих несчастьях он всерьез не принимал.

Но оказалось, что слова Алины Михаевны — не пустые. Отца исключили из партии и сняли с должности. Его обвиняли в том, что при строительстве экспериментального цеха он заполнял какие-то дутые отчеты и сметы, рапортовал о готовности, которой не было, приписками добывал премии для монтажников и для себя. Разбор тянулся долго и привел к такому вот концу.

Отец после собрания вернулся молчаливый, усохший какой-то, с почерневшим лицом. Алина Михаевна встретила его, вопреки своему характеру, спокойно. Даже мужественно:

— Ну и что? Не такое в жизни бывает. Переживем. Хорошо, что до суда не дошло.

— Еще не хватало! — вскинулся отец. Он сидел посреди кухни в пальто, с портфелем на коленях. Будто в автобусе. — До суда! Они хотели... А за что? Один я, что ли, такой? У каждого рыло в пуху. Пока меня доить можно было, для всех был хорош! А теперь — кто в кусты, а кто правдолюбец из себя строит. Рады, нашли козла отпущения... А цех-то все равно стоит! Кто его поставил? Пестухов?

— Ты успокойся, — сказала Алина Михаевна. — Хочешь коньяку?

— А?.. Хочу.

Егор в тот вечер только что вернулся от Ямщиковых. Со спокойной душой. Потому что Венька прислал ему записку, что чувствует себя нормально, только врачи заставляют лежать и говорят, что после больницы загонят еще в лесную школу долечивать легкие. И жаль, что в больнице опять карантин из-за гриппа и Егора не пустят. Но это ничего. Потом все равно увидятся...

Не было в записке ни слова о Копчике, ни слова о том, что он, Венька, знает о мыслях Егора. Но между строк читалось: «Егор, ты живи и ни о чем таком не думай». И Егор почувствовал себя почти как в тот предновогодний вечер.

Он долго сидел у Ямщиковых, играл с Ваней в шахматы, рассматривал глобус планеты «Находка» и слушал ее историю... Но, когда вернулась с работы Венькина мама, торопливо поднялся. От виноватости все равно куда не денешься... И все же ему было хорошо, и домой он пришел почти что с улыбкой.

И тут — отец со своей бедой.

Нет, Егор не чувствовал жалости к отцу. В конце концов, тот сам виноват, что опять вляпался. И тревоги, что «останутся без хлеба», тоже у Егора не было. От голода в нашей стране еще никто не помер, а на шмотки Егору давно уже наплевать.

Но все же он испытывал какую-то неловкость перед отцом. Наверно, как раз из-за того, что не может сочувствовать ему. Он стоял в кухне у дверного косяка и стесненно смотрел, как отец суетливо опрокидывает в себя рюмку за рюмкой. Три подряд. И как потом жадно заедает коньяк цветной капустой.

Вдруг отец отложил вилку и прямо посмотрел на Егора. Тяжким, измученным взглядом. Сказал медленно и отчетливо:

— Ну вот, братец. Теперь можешь менять фамилию. Самое время.

Егор не отвел взгляда. Только подобрался весь. И тихо ответил:

— Нет. Не время.

— Почему же?

— Поздно. Скажут, что дезертир.

Восемь строк

Егор ответил отцу с полным убеждением. В самом деле — поздно. Что скажут в школе, как возликует Классная Роза, если он однажды придет в школу не Петровым, а Нечаевым! «Что, когда папочка стал не нужен, ты решил отмежеваться? Нет, дорогой, фамилию свою можно изменить, а характер йи сущность свою...»

А что она знает о его сущности?

И другие — что знают?

С этими мыслями Егор улегся спать, и вдруг его, уже дремлющего, толкнула новая тревога. Если он оставит прежнюю фамилию, не будет ли это изменой тому отцу? Толику Нечаеву?

Но тревога увязла в навалившемся сне, и Егор лишь

успел подумать, что надо бы про все это поговорить с Михаилом.

Спал он хорошо. И видел многомачтовый, мчащийся над сизой выпуклой поверхностью океана парусник. Вертушки мачт разрывали облака, летели у самого зенита.

Проснулся Егор с улыбкой, но сразу ошетинился, когда мать громким шепотом сказала в дверь:

— Горик, опоздаешь в школу.

Да не опоздает он в школу! Потому что на первые два урока вообще не пойдет. Это физкультура, надо на лыжах бегать, а он что, нанимался? У него горло болит... Не надо никакого врача, и ни в какую поликлинику не пойдет, пусть его оставят в покое!.. И ничего ему в школе не будет, не надо паники...

На самом деле первыми уроками будут физика и русский. И Роза, конечно, заведется. Особенно теперь: «Кончилась, Петров, пора, когда тебе многое сходило с рук, сейчас ни за чью спину не спрячешься...» А возможно, и другую пластинку запустит: «Вы слышали, конечно, что готовится новая реформа школы! Имейте в виду, когда ее примут, всякому разгильдяйству придет полный конец...»

Впрочем, такие мысли скользнули и ушли. Егор опять стал думать о недавнем сне. Потянулся, улыбаясь. Хорошо-то как. Судьба смилостивилась, после месяца угрызений и тоскливого страха можно полежать вот так, спокойно.

Алина Михаевна сказала в дверь:

— Но к третьему уроку ты пойдешь?

— Пойду, пойду, — отозвался он с нарочитой сипловатостью.

— Я ухожу за продуктами. Завтрак на плите... Папу не тревожь, он спит.

«Пускай спит...» — Егор опять потянулся. Посмотрел в темный потолок, как в небо. Вспомнил мачты в зените.

«И вижу мачты я, летящие в зените...»

«И вижу паруса белей, чем белый снег...»

Откуда это? Стихи, что ли? Чьи? «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Может быть, эти?

Но в стихах Толика про мачты нет! Значит, Егор сам сочинил? Вот потеха!.. А может, это у него наследственное? От Анатолия Нечаева? Может, в нем, в Егоре, поэт прячется?

Хотя Толик вовсе не был поэтом...

А две строчки — никакие не стихи...

Было слышно, как осторожно закрылась дверь, — мать ушла. И почти сразу закурлыкал телефон. Кому там с утра что-то надо?

Егор сердито протопал в прихожую. В трубке вкрадчиво осведомились:

— Простите, Виктора Романовича можно?

— Он спит! — бухнул Егор. Подумал и спросил: — Что-то срочное?

«А что у него сейчас может быть срочное?»

— Нет, нет, я попозже, извините... — Трубку положили.

Егор вернулся в постель. «Если можно попозже, чего звонит спозаранок, дубина?..»

«Звонит... зенит»... При чем тут зенит? Ах, да... «И вижу мачты я, летящие в зените»...

«И колокол над палубой звонит там... звенит там...»

Для кого? Для меня?

«И рында для меня над палубой звенит там...»

Это что же? Значит, поэтическое дело — не такое уж трудное? Вот и четвертая строчка! Будто сама собой сказала:

— И это мой корабль пришел ко мне во сне!

Уходя в школу, Егор заглянул в отцовский кабинет — дверь была приоткрыта. Отец спал на диване одетый, под пледом. Прижимался щекой к жесткой, обтянутой рельефной тканью подушке. Была видна его лысина, беспомощно торчали на виске клочки волос. Короткая жалость вдруг толкнула Егора. И тут же — воспоминание: вот подушка, в которую он, Гошка, утыкался лицом, когда отец укладывал его ничком на диван. Вспомнился запах и вкус пыльной материи, которую Гошка пропитывал слезами и слюной, грыз и мусолил в предчувствии нестерпимой боли.

К черту! Он будто захлопнул в себе дверь — и перед жалостью, и перед памятью! И стал повторять строки о парусах.

Эти строки и в школе не отпускали Егора. И потому он остался равнодушным к настороженно-сочувствующим взглядам (знали, наверно, уже про отца; даже Классная Роза не прицепилась из-за прогула, чуткость проявляет). Тишина и отрешенность ограждали Егора от всего на свете. И в этой тишине... ага, в ней словно стучали иногда медные шестеренки хронометра!

— Петров, ты мечтать будешь или решать задачу? У кого еще последняя задача не решена?

«Еще не решена последняя задача... Хронометр мой стучит... как сердце... в тишине...»
Загадка еще не решена...

На перемене подлетел Ваня.

— Принес?

— Что? — растерялся Егор.

— Книгу, «Спартака». Помнишь, я говорил, что Веник его перечитать хочет, а ты сказал, что у тебя есть...

— Ой, Ванька... Какая же я скотина. Вылетело из головы.

— Ну, ничего. Мама ему послезавтра передачу понесет. Не забудь.

— Не забуду. Я ему письмо напишу... А в палату все еще не пускают?

— Ага. Карантин... А Венику уже ходить разрешили... А ты можешь сегодня к нам прийти? Книгу бы принес и так... Мама спрашивала, чего не заходишь...

«Мама спрашивала»... Они жалеют его или правда не понимают его вины?

И вина эта снова подступила к сердцу. Как холод, когда по пологому днуходишь в непрогретую воду...

Конечно, это было уже не то, что в первые дни. Потому что Венька жив! Но холод еще не раз будет вот так подыматься в груди, никуда не денешься. Теперь Егор это понимал.

— Алло!.. Гай, это ты?

— Я, Егорушка, я...

— А ты чего... кислый такой?

— Да так. Заботы всякие...

— Ася? — прямо спросил Егор.

— Да нет, там все в порядке, — отозвался Михаил, но как-то вяло.

Егору хотелось ясности. И он знал, что излишняя деликатность иногда не на пользу делу. К тому же ощущение собственной вины толкало его мысли в одном направлении.

— Она тянет резину, потому что чувствует себя виноватой. Вот...

— Чего-чего? — сказал Михаил мягко, но зловеще.

— А я не боюсь, не стукнешь... Она думает, что виновата, потому что тогда, первый раз, вышла не за тебя. И теперь мается...

Михаил сказал просто, без досады, только устало:

— Чепуха, никто там не виноват. Или оба одинаково... И вообще не в том дело. У меня другие заботы, здесь.

— Ты правда уволился?

— Увольняюсь.

— Допекли?

— Нет. Просто на старости лет пришел к простому выводу.

— К какому это еще?

— Сколько можно перевоспитывать пацанов? Может, все-таки лучше с самого начала заниматься нормальным воспитанием? Так, чтобы потом переделывать их не надо было...

— В школу пойдешь?

— Может быть... Хотя, по правде говоря, страшно. Дамский коллектив, и в нем все вроде ваших классных роз...

— Если не в школу, то куда?

— В газету зовут. Если на журфак перейду в университете... Буду потрясать основы педагогики публицистической кувалдой.

— Тебе не привыкать.

— Ага... Директриса Зеленолужского детского дома грозилась на меня в суд подать. За «клевету».

— Ну... и что?

— Не успела. Против самой начали следствие. За воровство и рукоприкладство. В местном районе истерика...

— Кстати, о педагогике, — сказал Егор. — Витек-то как?

— Да ничего... существует. Мать в письме попросила, чтобы еще у нас пожил. Ну и живет.

— Нормально?

— Да ничего, — опять сказал Михаил. — Только ворует помаленьку...

— Как? — опешил Егор.

— А ты чего хотел? Он этим с грудного возраста грешил. Думаешь, легко отвыкнуть?.. Ну, да учительница у него понимающая, не чета некоторым. Мало-помалу перевоспитываем с двух сторон...

Егор подавленно молчал.

— Не расстраивайся, — усмехнулся Михаил. — Вообще-то он хороший парнишка. По дому помогает, со мной нянчится, если захандрю. С сестрицей моей Галиной Юрьевой весьма подружился... Кстати, упомянутая Галина Юрьевна с интригующим видом задает тебе вопрос: удержишь ли слово?.. Что у вас за тайна?

— А?.. — растерялся Егор. Потом сообразил: — Ой, про это... Да я и забыл. Скажи — держу.

Он и в самом деле не курил с того новогоднего вечера. В Среднекамске держался, а потом и вообще не вспоминал о сигаретах. Беда с Венькой словно отшибла все желания.

— Ч-черт, — с досадой сказал Егор. — Лучше бы она не напоминала. Опять захочется.

— О чем речь-то?

Егор не стал напускать туману, честно сказал, о чем речь.

— И не прикидывайся, будто ничего не знал. Ты всегда все про меня знаешь. Как в досье... — вредным голосом добавил он.

— Ты меня переоцениваешь, все я знать не могу... Так, кое-что. Потому что я за тебя беспокоюсь, балда ты...

— Сам... Значит, и про отца уже знаешь? — морщась, спросил Егор.

— Про... Виктора Романовича? Нет... Что с ним?

Егор сумрачно рассказал. Михаил, кажется, смутился.

— Откуда же я мог это знать... Хотя, честно говоря, ожидать следовало. Ты сам-то разве этого не понимал?

— Может, и понимал... А что я мог сделать?

— Не знаю... Главное, что ты будешь делать теперь.

— Не понял. Ты о чем?

— Я к тому, что труднее жить будет.

— А может, легче? — зло сказал Егор. И кажется, попал в точку. Впервые переиграл в споре Михаила. Тот отозвался растерянно:

— Да... в чем-то ты прав.

Егор насупленно признался:

— Вчера отец сказал: «Можешь теперь менять фамилию».

— А ты?

Егор сказал и о своем ответе. И о своих сомнениях. И спросил напрямик, что об этом думает Гай.

Но тот ответил, что советы давать легко, а решать такие вопросы человек должен сам. И главное — не рубить с плеча.

— Мудр ты, как сто Сократов, — проворчал Егор. — А толку от твоей мудрости...

— От чужой мудрости всегда толку мало... если своей дефицит.

— Гран мерси за комплимент...

— Не обижайся... Егор, я вот про что. Тебе бы хватит терзаться всякими сомнениями, пора бы дело найти. Ну, посуди сам: чем ты сейчас занят? Нельзя же так... растительно существовать. Смысл-то надо какой-то приобретать в жизни. Ищи давай... самого себя.

— Ай-яй-яй. Сборник проповедей о смысле жизни. Том двадцать второй, глава семьдесят третья...

— Я знаю, что казенно выражаюсь... Но черт возьми, ты же понимаешь, о чем я!

— А я нашел... смысл, интерес и стержень, — вдруг брякнул Егор. Вдохновенно.

— М-м?

— Ага!

— Подробнее можешь?

— Могу... Завтра я иду на занятия литературной студии, руководимой писателем Наклоновым. Во мне прорезался талант.

— Че-во? — откровенно усомнился двоюродный братец.

— А что? Я, по-твоему, совсем бездарен?

— Стихи, что ли, сочинил? А ну, прочитай!

— Фиг! — испуганно сказал Егор. Потом приободрился: — Вот окрепнет талант, тогда... И заодно проблемы решатся...

— Какие?

— С фамилией. Стану печататься, можно будет двойную фамилию взять. Писателям разрешается. Петров-Нечаев...

Михаил не уловил ни горькой нотки, ни юмора. Ответил серьезно:

— Дитя ты еще...

— Ага... Миш! Капитан-лейтенант Егор Алабышев — правда выдуманный персонаж?

— Егор... В чем дело?

— Какое... дело?

— Ты зачем идешь в литературную студию?

— Надо.

— Егор...

— Пока, — с ноткой веселого злорадства сказал Егор. — Потом позвоню еще. — И положил трубку. Пошел в комнату и достал блокнот с «Крузенштерном» на корочке.

Те мысли, что перебил в Среднекамске телефонный звонок, те, что были забыты после несчастья с Венькой, теперь все чаще всплывали снова. Беспокойные. С предчувствием тайны и боя.

Еще не решена последняя загадка.
Тревожный счет ведет хронометр судовой,
Кремневый пистолет... На старой карте складка
Легла меж островов отчетливой чертой...

Егор торопливо записал придуманные сегодня восемь строк под тем стихотворением: «Когда Земля еще вся тайнами дышала...» Его стихи были как продолжение стихов Толика.

Продолжение, но не конец...

Строчки звучали в сознании Егора под привычной уже мотив — слившихся двух песен: одна из фильма, другая про архипелаг.

Егор перекинул в блокноте лист. На второй странице была схема. Со значками, именами и линиями. Егор взял карандаш.

Бастион. Капитан-лейтенант... От этого значка Егор провел наконец к имени Наклонова резкую черту.

Олег Валентинович! Крузенштерн — это Крузенштерн, лицо историческое. А откуда в вашей повести Егор Алабышев?

**«Когда земля еще вся
тайнами дышала...»**

— Вот так, — скорбно произнесла Алина Михаевна. — Сделали подарочек к Восьмому марта... — Она посмотрела на Егора.

— В чем опять я виноват? — скучным голосом спросил он.

— Телефон отключили!

— Я, что ли, его отключил?

— Из-за твоих разговоров со Среднекамском! Потому что вовремя не оплатили счета!

— Здравсте! Я, что ли, должен их оплачивать? Какими шишами?

— А я какими? Нынешними грошами? Ты хоть понимаешь, что скоро есть будет нечего?

Отца перевели в другой цех, на должность рядового инженера. Зарплата, конечно, стала не та. Но и не гроши же! Да и на сберкнижке у матери наверняка имелось кое-что. Но Алина Михаевна жила теперь в постоянном страхе перед нищенством. Говорила об этом каждый день, считала копейки. Егор подозревал, что и телефонные счета она

не оплатила из-за непреодолимой боязни лишних трат. Сумма-то была пять или шесть рублей!

Егор сказал, что не разорились бы.

— Тебе легко рассуждать! Ты эти рубли не зарабатываешь и не экономишь!

— Зато ты экономишь! Так, что хоть из дому беги!

Алина Михаевна слезливо закричала о неблагодарности. В это время вернулся с завода отец. Спокойный, неразговорчивый, осунувшийся. Послушал перебранку, сказал, что телефон все равно отобрали бы, потому что номер «выбивал» на АТС завод. Теперь эту телефонную точку отдадут другому начальству.

Мать принялась ругаться пуще прежнего, и получилось, что опять почему-то виноват во всем Егор.

— Оставь ты парня в покое, — сказал отец. И ушел к себе. А через пять минут позвал из кабинета: — Егор, взгляни-ка, если время есть.

Егор вошел.

За окнами было еще светло — день прибавился. Лампа не горела. Отец сидел на диване, откинувшись, глядя перед собой. Потом улыбнулся, будто сквозь боль. Но спросил бодро:

— Как дела-то? Давно мы с тобой не беседовали.

— Какие дела? — Егор прислонился к косяку.

— Ну, вообще... жизнь?

— По-всякому...

— За девочками еще не ухаживаешь? — с натужной шутливостью спросил Виктор Романович. Егор видел, как он пытается придумать тему для беседы.

— Обжохуть пока без этого, — сказал Егор и почему-то вспомнил Бутакову. — Наверно, не созрел еще.

— М-да... Прямолинейные вы люди, нынешнее поколение.

— Эпоха... — сказал Егор.

— А... в школе как?

— В школе — как у Гоголя.

— То есть?

— Не знаешь, что ли? «Эх, тройка, птица-тройка...»

— Птица-то птица... На ней нынче далеко не улетишь.

— Это как повезет...

— Везенье везеньем, а еще и работать нужно...

— «Сделать учебу сознательным, внутренне организованным процессом», — кивнул Егор. — Любимая фраза нашей обожаемой Классной Розы.

— Кого-кого?

— Да ты разве не помнишь ее? Правда, позолота с нее уже слезла. Как ты и говорил...

— Постой-ка, о чем это ты?

— Ты объясняй ей, что культура — это слабенький слой позолоты, который быстро облетает... Четыре года назад, когда она приходила... заступаться за меня.

Отец помолчал. За окнами густел вечер. Виктор Романович спросил в полутьме:

— Гошик... А неужели ты больше ничего не помнишь? Кроме... такого.

Он сказал «Гошик», как иногда говорил в давние-давние времена, еще до всего плохого. И сердце у Егора дрогнуло. Это обычные слова — «дрогнуло сердце». Но оно и вправду тюкнуло невпопад, и Егор сам удивился этому. И ответил неловко:

— Ну, почему...

Отец молчал тоскливо и с ожиданием.

— Я помню, как у нас сломалась машина, — сказал Егор. — Не эта, а старая, «Москвич». Я тогда еще в школе не учился... Ты ее оставил на обочине, и мы пошли пешком. Это где-то за городом было.

— А! Да... Это мы на дачу к Пестухову ездили, — оживился отец. И тут же угас: — Ах ты, Пестухов, Пестухов...

— Я тогда устал, а ты меня на плечи посадил... А мамы с нами не было.

Отец кивнул. Все с той же неловкостью, но стараясь улыбнуться, Егор проговорил:

— Я еще помню, как ты меня несешь и поешь: «С горки на горку я несу Егорку... Оба мы голодные, дайте хлеба корку»...

В полумраке можно было различить, что отцовское лицо неподвижно, только уголок рта, кажется, дрогнул.

— Да... Егорка... Это верно. Я ведь тебя... — Отец резко замолчал. Будто захлопнулся.

— Что? — подождав, спросил Егор.

— Ч-черт, — тяжело проговорил отец. — Никогда не было времени. Чтобы разобратся... Смешно: даже любить не было времени. А сейчас поздно...

Егор не понимал, почему сейчас что-то поздно. Неужели отец считает, что жизнь у него кончена? Ну, плохо сейчас, исключили, с должности полетел, но, в конце концов, — живой же! И не старый. Все еще можно исправить, наверно...

«Все можно, пока человек жив...» Эта мысль тут же отозвалась радостным сознанием, что жив и другой чело-

век — Венька! Правда, недавно опять сильно подскочила температура, врачи забеспокоились, но обострение миновало. Скоро Веньку выпишут, а потом отправят в лесную школу. Может, даже восьмой класс сумеет закончить, год не потеряет...

Егор сказал отцу грубовато, но по-хорошему:

— Ты уж так-то не раскисай. Бывает хуже, и то все потом поправляется.

— Угу... — отозвался Виктор Романович. — Учту пожелание... Ты куда-то спешишь?

— В школу. На занятия литстудии...

Наклонов руководил и клубом «Факел», и студией. Клуб собирался раз в месяц, туда приходили все, кто хотел. Читали сообщения о всяких литературных датах, спорили о книжках, о новых стихах и рассказах в журналах. На таких заседаниях всегда торчала Классная Роза... А студия — это был узкий круг, люди творческие. Те, кто сами что-то сочиняли. Приходили несколько школьных поэтов, авторы фантастических рассказов. А один семиклассник даже роман принес. Про карибских флибустьеров, незаконченный...

Наклонов со всеми держался просто и по-доброму. Это не были нарочитые попытки показать: «Видите, какой я доступный и понимающий, веду себя с вами на равных». Он был искренен. Видимо, ему в самом деле было интересно среди школьников. Может, и правда хотел писать повесть о ребятах?

«Вот и писал бы, — иногда сумрачно думал Егор. — Вместо того чтобы...»

Но порой подозрения уходили, таяли. Трудно было поверить, что этот человек с мягкими серыми глазами за стеклами очков, добродушный такой и внимательный, не сет в себе обман. Не хотелось этого. Потому что обманом тогда было бы все остальное: уютные вечера в школьной гостиной; смех, когда Наклонов неизбежно разбирает чью-то неудачную стихотворную строчку; дрожащий от вдохновения голосок семиклассника Пучкина (чуть ли не Пушкин!), когда он читает очередную главу про флибустьеров; теплое ощущение общности, которое постепенно появлялось у двух десятков студийцев...

Взорвать все это? А если догадки Егора — чушь? Ведь доказательств-то пока никаких...

О своей повести «Паруса «Надежды» Олег Валентинович больше не заговаривал. А Егор наводит его на эту

тому не решался даже в те минуты, когда обманчивая успокоенность отступала, и он чувствовал себя разведчиком. Нельзя спешить. Нельзя подавать вида...

Если бы с кем-то посоветоваться!

Но телефон отключили насовсем, с Михаилом не говоришь. Егор написал: не может ли Гай приехать? Михаил ответил коротко: возможно, что скоро приедет. Но когда это «скоро»? А объяснять все в письмах — это долго и неубедительно...

Хорошо было бы поговорить обо всем с Венькой. Он человек рассудительный. И понимающий... Но и здесь не повезло. В середине марта Егор на неделю свалился с жестоким весенним гриппом. Именно в эти дни Веньку выписали. К Егору его, конечно, не пустили. Всякий случайный вирус для Веньки мог оказаться страшнее чумы: опять осложнения, больница и неизвестно что. А когда Егор поднялся, Венька был уже в лесной школе. Передал через Ваню записку: привет, мол, у меня все в порядке, поправляйся и ты, спасибо за «Спартака», жаль, что не повидались, но ничего, к Первомаю вернусь... Вот так.

Эх, если бы Венька был в городе, ему самое дело заниматься в студии. С его-то талантами. Не то что Егору, который, кроме восьми строчек, ничего больше не «сотворил». Есть кое-какие наброски, но все ерунда... Венька помог бы разобраться и в Наклонове. В конце концов, именно он, Редактор, заронил в Егора первое зернышко сомнения: «Будто не свою рукопись читает...»

На очередное занятие студия собралась в первый вечер весенних каникул. Сначала снисходительно слушали Пучкина — главу о храбром Бартоломео Алонсо де лас Квадригасе, который, спасаясь от инквизиторов, бежал к флибустьерам и стал заправским пиратом. Потом девятиклассник Скворцов прочитал сказку о кофеварке. Как она возомнила себя атомным реактором, как ей не верили и как она, чтобы доказать окружающим свою правоту, пошла на крайность — взорвалась. А старый (давно ушедший на пенсию) самовар сказал из пыльного угла: «Для кофеварки совсем неплохо. Но для реактора жидковато...» Однако этого кофеварка уже не слышала. А в свой последний миг она была счастлива. Потому что сама поверила в свое атомное могущество...

Про сказку говорили долго. Сперва смеялись, потом стали разбирать всерьез и отметили, что идея совсем не смешная. Человеческая, и даже трагическая. Хвалили.

И Наклонов похвалил. Сказал, что ощущается влияние Андерсена, но есть интересный современный поворот...

Егора эта сказка почему-то тревожно царапнула. Он стал копаться в себе: почему? Но тут стала читать свое стихотворение Светка Бутакова.

Да, она тоже ходила в студию. И если говорить честно, Егора манила на занятия и эта причина. Никаких глубоких симпатий к Светке он не чувствовал, так, любопытство какое-то. Но все же хотелось доказать ей, что он, Петенька, тоже не лыком шит и кой-чего смыслит в изящной словесности...

Стихи у Светки были бузовые, про весну и ручейки. И про первую проснувшуюся бабочку, которая ей, поэтессе Бутаковой, села на портфель. «Портфель», видимо, был для рифмы, потому что Бутакова ходила с сумкой «Ади-дас».

Осторожно несу я портфель,
Словно милую детскую зыбку,
Чтобы первый весенний трофей
Принести к себе в дом, как улыбку..

Нинка Рассыпина из восьмого «В» сказала, что стихи хорошие, потому что «передают солнечное настроение».

Егор съезжился. Набычился. Воспоминание о коричневой бабочке, которую он раздавил подошвой, солнечного настроения не принесло. Наоборот. Он разозлился на Бутакову. А еще больше разозлился, когда встал веснушчатый и глупый на вид девятиклассник Скворцов и тоже стал хвалить стихи. И было ясно Егору (и, конечно, не только Егору), что конопатому оратору нравятся не стихи, а сама Бутакова.

И Егор попросил слова. Он сказал, что военное выражение «трофей» не вяжется с весенней темой. Оно здесь «пришей кобыле хвост». И что, несмотря на пришитый армейский термин, стихи сентиментальны (ах «милая детская зыбка!»). И что глупо тащить с улицы бабочку домой, в квартире она подохнет.

— Это же просто образ! — воскликнула Рассыпина. А Светка уткнулась носом чуть ли не в колени, и две девчонки, сидевшие рядом, начали ее успокаивать громким шепотом.

Егор сел, задавив в себе легкие намеки на раскаяние.

Наклонов стал смущенно говорить, что в данных стихах есть плюсы и минусы и что нельзя подходить однозначно. В суждениях должна быть диалектика, которая позволяет более объективно анализировать... и так далее.

Что-то в его нынешних словах напоминало речи Классной Розы, и Егор отключился...

Мягко горели настенные светильники, но за окнами еще не стемнело. Минуло уже весеннее равноденствие, дни стали длиннее, и закаты подолгу светились над тополями. И сейчас был закат. А в нем над черными крышами и деревьями висел яркий месяц.

...Месяц звонкий и рогатый...

Что-то опять тревожно толкнуло Егора. Предчувствие какое-то. Или напоминание. О парусах? О детской фотографии сорок восьмого года? О схеме в блокноте?

Блокнот лежал на коленях. Егор погладил блестящую корку с «Крузенштерном». Она была почему-то холодная до озноба...

А может, озноб от предчувствия? Или... вот от этих начальных слов, которые высказал рыжий Светкин адвокат Скворцов:

— ...И вообще я считаю, что критиковать имеет моральное право только тот, кто пишет сам. А от Петрова мы еще ничего не слышали...

— В самом деле... — Олег Валентинович направил на Егора очки. В них отражались тройные светильники. — Нет, я, конечно, не тороплю и не настаиваю, но... помните, мы договаривались, что каждый со временем прочитает что-то свое...

Это правильно, договаривались. И все уже, кажется, читали и обсуждали свои творения, кроме Егора.

Наклонов сказал мягко:

— Может быть, и вы, Петров, чем-то порадуете нас? Что он так смотрит? И что все так молчат? Ждут?

Что же, он «порадует». Видимо, время.

И поддавшись стремительному вдохновению, которое не раз помогало ему, Егор встал. Откинул крышку блокнота.

— Ладно!..

Когда Земля еще вся тайнами дышала
И было много неизведанной земли,
Два русских корабля вокруг земного шара
Сквозь бури и шторма на поиски пошли.

Высоких островов вдали вставали скалы,
И тайною была морская глубина.
И Крузенштерн стоял отважно у штурвала,
И билась о корабль могучая волна.

И долго буду я завидовать, наверно,
Тем морякам, которые ушли в далекий путь,

На карте начерчу дорогу Крузенштерна
И, может, поплыву по ней когда-нибудь...

Егор не знал, читает он с выражением или без. Но, видимо, читал неплохо. По крайней мере, стояла тишина. Зябко сводило на щеках кожу, один раз перехватило голос. Но Егор помолчал секунду и продолжал:

Теперь Земля почти что вся уже открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый,
Но, может быть, одна откроется и мне...

И вижу мачты я, летящие в зените,
И вижу паруса белей, чем белый снег,
И рында для меня над палубой звенит там,
И это мой корабль пришел ко мне во сне.

Еще не решена последняя загадка,
Тревожный счет ведет хронометр судовой.
Кремневый пистолет... На старой карте складка
Легла меж островов отчетливой чертой...

Он прочитал строки, написанные Толиком, и свои как одно стихотворение. Оно и было одним, целым... И, кончив, он поднял наконец глаза от блокнота.

Наклонов был бледен. Он стоял у окна (месяц висел над его плечом). Прошла совершенно безмолвная минута. Олег Валентинович быстро снял, почти сорвал очки, стал протирать их скомканным платком. Не поднимая лица, сказал:

— Да, сюрприз...

— А что, неплохо, — подал голос рыжий Скворцов, решивший быть объективным.

— Да... — Наклонов все тер очки. — А скажите, Петров... вы уверены, что это... ваши стихи?

— Вполне... — У Егора все натянулось внутри. И в ушах звонко застучал хронометр. Тот, кургановский. Толика. Гая...

— А я... можно откровенно?.. — Наконец он надел очки — У меня есть сомнения... Простите, но... может быть, вы где-то слышали или читали такие стихи раньше?

— Где? — тихо, но резко спросил Егор.

— Я... только спрашиваю.

Теперь Олег Валентинович смотрел Егору в лицо. Без уверенности, но и без всякого добродушия. Отражения плафонов казались злыми огоньками. Егор кашлянул, чтобы не осипнуть от волнения. Сказал, аккуратно подбирая слова:

— Вы думаете, что я эти стихи у кого-то украл? Это, кажется, называется «плагиат»?

Очки дрогнули.

— Егор... я не хотел бы таких слов... Я не подозреваю вас в злом умысле... Но эти стихи я знаю много лет.

«Еще бы!» — подумал Егор.

— Да, — кивнул он. — Только не все. Я их дописал.

— Ну... может быть. — Олег Валентинович, кажется, стал спокойнее. — Но все-таки...

Егор перебил с еле заметной насмешкой:

— Вот у вас есть книжка с очерками про нефтяников. Вы ее вместе с другим человеком писали, с Борисовым. Никто же вам не говорит, что это не ваша книжка.

— Да!.. Но и я не говорю, что она только моя! Кому же мы с Борисовым работали вместе. А вы... с тем человеком... стихи эти писать вместе не могли. Я это знаю точно... Кстати, интересно: как эти стихи попали к вам? — В голосе Наклонова скользнула просительная нотка.

Егор не сдержался:

— Я понимаю, что вам это очень интересно.

— Петров! Как ты разговариваешь! — вмешалась Бутакова.

— Помолчи, Весенний трофей... — Егора хлестнуло неожиданной злостью. Они здесь все заодно!

— А ты... тебе здесь не «таверна»!

Он резко обернулся, чтобы сказать...

— Товарищи! Товарищи... — Наклонов раскинул руки, словно загораживал всех от опасности. — Друзья мои! Что с вами?.. Давайте творческие споры не превращать... в склоку. Любой конфликт можно уладить, если понять друг друга... Егор!

— Что? — он посмотрел в очки.

— Я ведь не хотел вас обидеть. Но мне действительно важно знать, где вы взяли эти стихи. У меня с ними... кое-что связано в жизни. Давайте по-мужски: карты на стол. И тогда решим, имеете ли вы право быть соавтором этого человека.

Егор не отвел взгляда, сказал отчетливо:

— Имею. Я дописал стихи своего отца.

Опять стало тихо. Будто крышку захлопнули над ящиком, обитым ватой. Наклонов снова снял очки и начал терзать их платком. Сказал с усилием:

— Извините, это неправда... Я никогда не имел чести лично знать Виктора Романовича Петрова. А стихи эти

написал в мальчишеские годы друг моего детства. Он читал их на самодеятельном концерте...

Черт! Черт и черт! Как Егор не сообразил? Не вспомнил про концерт! Помнил только, что стихи — это эпиграф! А ведь Наклонов мог действительно знать их с детства, независимо от рукописи Курганова... Теперь ничего не докажешь!

А что, собственно, Егор хотел доказать? Суетливость и бледность Наклонова — разве улика? Дурак ты, Егор...

Сейчас приходилось воевать уже просто за самолюбие. — Вы не имели чести знать Виктора Романовича, — с опасным звоном в голосе сказал Егор. — Вы знали моего настоящего отца. Толика Нечаева. Того самого «друга», которому в лагере готовили волчью яму!

Егор вышел из гостиной и крепко закрыл за собой дверь.

Ну, и чего он добился, псих несчастный? «Герой»! Щит в сторону, два меча в руки — и на врага! И сразу — пузом на копьё... Нервы сдали? Или захотелось ошарашить Наклонова? Или... перед Светочкой покрасоваться? У, бестолочь...

Егор ненавидел себя так, что готов был взять свою башку за космы и физиономией проташить по всей решетке городского парка, мимо которого шел.

Б-б-балда... Выложил все карты. Теперь, если Наклонов и правда добыл где-то рукопись Курганова и скатывает с нее свои «Паруса «Надежды», ничего уже не сделаешь. Олег Валентиныч — они не дураки-с. Затаятся. Остороженькими станут. А у Егора какие доказательства против него?

Надо было подъехать хитро, узнать, где Наклонов взял своего Егора Алабышева. Не могут же два писателя придумать одного и того же героя, чтобы имя и фамилия и события одинаковые... Правда, и тогда сразу ничего не докажешь: от Курганова-то никаких бумаг, от Толика — тоже... Но можно было увериться хотя бы для себя. И копать дальше...

Егор замедлил шаги. Куда спешить-то? В дом с вечно рассерженной матерью и похоронно-тихим отцом?.. В газонах под фонарями лежали остатки грязного снега. К вечеру подморозило, Егор поскользнулся на льдистом асфальте. По-дурацки замахал руками. Сердито оглянулся: не видел ли кто его нелепого танца? Прохожих не было.

Только месяц висел над улицей, Молодой. С левой стороны. Это, говорят, к неудачам...

Но месяц — «звонкий и рогатый» — смотрел с высоты дружелюбно. Словно что-то понимал и мог посоветовать... Что?

Вот если бы в самом деле с кем-то посоветоваться! С Михаилом... Он, конечно, сперва отругал бы Егора (и правильно), а потом они вдвоем что-нибудь и придумали бы...

Но Михаил как в воду канул. Не появляется и не пишет. Небось, в своих проблемах увяз. Поехать к нему? А что! Каникулы же!.. Трешку на билет можно у кого-нибудь занять. У Ревского, например. Но... ехать в Среднекамск без предупреждения, наверно, не стоит. Кто знает, какие там дела у Михаила? Может, Никитка прикатил из Севастополя на каникулы. И вдруг не один, а с Асей? Да еще Заглотыш там (его, Егора, стараниями!). И теперь — здрасте! — двоюродный братец является.

Есть, конечно, вариант: приехать, поговорить и сразу укатить обратно... Однако сначала все-таки лучше позвонить.

С автомата без денег не позвонишь, но можно от того же Ревского... А еще лучше — от Ямщиковых! Все равно он обещал зайти, принести «Книгу джунглей» Киплинга, чтобы Анна Григорьевна отвезла Веньке в лесную школу...

«Книгу джунглей» Егор взял с полки украдкой. А то сразу будет шум: «Это редкое издание, дореволюционное, знаменитого Сытина, кому ты ее хочешь дать?!» Он сунул книгу в пластиковый пакет, присел на тахту, глянул на часы. Половина девятого. Не поздно ли идти к Ямщиковым? И усталость навалилась, голова гудит... Может, опять грипп? Недолеченный. Бывает, говорят, такое. Или это «от нервов»? «Послестрессовое состояние»... Ох, нахватились мы терминов в наш просвещенный век. Дать бы тебе, шиззику, по шее, было бы «состояние»...

Зазвякало в прихожей. Егор не шевельнулся. Все равно это не к нему. Некому приходить к Егору Петрову... Но мать сказала в дверь:

— Горик! К тебе мальчик...

Кого угодно ожидал увидеть Егор, но такого гостя... Это был Денис Наклонов. Без шапки, в расстегнутой курточке, он неловко стоял у порога. Глянул из-под волос...

— Здравствуй... Отец спрашивает, не можешь ли ты приехать к нам. Поговорить хочет о чем-то...

Егор задавил в себе растерянность и смущение. Ответ прозвучал грубовато:

— Когда ехать-то? Сейчас?

— Если можешь... У нас внизу машина.

У подъезда стоял старенький «Москвич». Наклонов сидел за рулем, дверца была приоткрыта. Олег Валентинович сказал:

— Егор, садись рядом. А Денис сзади устроится.

Будто ничего не случилось...

Егор молча сел. Поморщился: пахло бензином. Не то что в отцовских «Жигулях». Впрочем, наплевать...

— Поедем? — спросил Наклонов.

— Как хотите...

Наклонов осторожно вывел машину из-под арки на улицу. И вдруг негромко проговорил:

— Ты меня извини, Егор, я вел себя глупо. Это от растерянности... Такая неожиданность. Я погорячился.

— Ну, уж если кто горячился, так это я, — возразил Егор. С прохладцей, но искренне. И в то же время думал: «Что ему надо? Зачем приехал? Так срочно!» Однако мысли эти с их тревогой и нервностью были сами по себе. Вне настроения Егора. А он чувствовал себя удивительно спокойно, сонливо даже.

— Заедем ко мне домой, поговорим? Согласен?

— Уже едем, — сказал Егор.

Дверь им открыла красивая, похожая на актрису Любовь Орлову женщина в домашнем брючном костюме.

— Иннушка, это Егор, сын моего давнего... приятеля. С детских лет, с Новотуринска... Сделаешь нам чаек с чем-нибудь таким, своим? А мы пока побеседуем. Денис, дай Егору свои тапочки...

«Везде одно и то же», — усмехнулся про себя Егор.

Неловкости он не чувствовал. Но и большого любопытства — тоже. Это было странно. Ведь можно сказать, очутился он в «логове противника». И наверно, при некоторой хитрости мог Егор что-то выведать. Откуда эта вялость? Он заставил себя внутренне встряхнуться. Но помогло не очень.

Кабинет Наклонова состоял из книжных стеллажей, громадного, будто для пинг-понга, письменного стола и нескольких кресел, похожих на присевших бегемотов. Стол, как, видимо, и положено у писателей, был завален папка-

ми, листами с машинописным текстом. Бронзовая фигурная лампа с желтым абажуром возвышалась как маяк над этим бумажным морем. А плоская пишущая машинка была, будто островок...

— Егор, садись... Это ничего, что я на «ты»? Мы не официально, не в студии. Угу?

— Угу... — сказал Егор и отдался объятиям кресла-гиппопотама.

Молчаливый Денис устроился в другом кресле, в стороне. Сел и Наклонов. Против Егора.

— Я... для начала вот что хотел спросить... Это правда насчет отца? Ты уж извини, но это так неожиданно...

— Это правда. Я родился уже после его гибели. А мать почти сразу вышла за Петрова. Я узнал об этом недавно.

— Да... история...

— Ничего, — сказал Егор. — Бывают истории позапутанней.

— Ты что имеешь в виду?

А он ничего не имел в виду, честное слово! И о рукописи в данный момент не думал. Просто так болтнул, чтобы не молчать.

Наклонов улыбнулся слегка натянуто:

— Я думал, ты про наши детские раздоры. С Толиком... Да, действительно, в последние дни перед его отъездом мы не ладили. Подрались даже на прощанье... И с ямой история имела, как говорится, место. Мальчишки же мы были... Но я не думаю, чтобы Толик навсегда сохранил про меня только злые воспоминания...

— Я тоже не думаю, — вежливо сказал Егор.

— А ты... — Кажется, он хотел спросить: «А ты почему же тогда упрекаешь меня?» Но сказал другое: — Ты сам-то откуда эту историю знаешь?

— От двоюродного брата. Он сын сестры Толика... Отца. Тот ему много про детство рассказывал. А он мне... А еще от Александра Яковлевича, от Ревского.

— А! Так ты и с ним знаком!

— Знаком... Но он больше про «Крузенштерн» любит говорить, про съемки, когда они с отцом последний раз встретились.

— Я понимаю... Да, к слову. О Крузенштерне. И о детстве... Наша дружба с Толиком была, конечно, сложная. Но я думаю, Егор, она все же была. По крайней мере, теперь все вспоминается по-доброму. Обиды уходят, хорошее остается. Детство — оно любое хорошо. Со всем, что в нем было. Это начинаешь понимать только со временем...

— Вы говорили о Крузенштерне, — осторожно напомнил Егор.

— А он — тоже часть детства. Толик нам о нем рассказывал. Или книга у него какая-то была, или сам он про него сочинял... Сидим мы у нас на веранде, а Толик — историю за историей. О разных случаях во время плавания, о Резанове, о Головачеве... Много, конечно, забылось, но ощущение осталось. Понимаете, такое желание тайн и путешествий... И вот, ребята, — он говорил уже теперь Егору и Денису, — когда на старости лет потянуло памятью к детству, сделалось это воспоминание очень важным. А тут еще книги кое-какие попались старинные, статьи, документы в архивах. Ну и появилась мысль о повести... А начало положил, можно сказать, Толик Нечаев... Нет, ну надо же, встреча-то какая! Кто бы мог подумать. Егор, сын Толика...

Он говорил искренне. Он улыбался открыто. И слова, что начало повести положено Толиком, были... ну, честные такие и теплые. И Егор вдруг подумал — успокоенно и облегченно, — что вот и не надо никаких разведок, никаких распутиваний.

Все справедливо. Давний житель Новотуринска Арсений Викторович Курганов написал повесть. Она потерялась, но не совсем. Толик Нечаев пересказал ее, кому смог. Один из слушателей запомнил эти детские рассказы и благодаря им сам пишет книгу. Пускай свою, но все равно в ней будет доля труда Курганова и Толика. Ничего не прошло бесследно. И схему в блокноте можно дочертить до конца и стереть вопросительные знаки. А рядом с именем Наклонова нарисовать книжку «Паруса «Надежды» и к ней прочертить от Курганова и Толика две прямые черты.

И всё.

Всё? А линия Наклонов — Алабышев?

И снова разведчик ожил в Егоре. А ему уже не хотелось этого. Гораздо лучше, если не будет в этой истории никакой драки. Пускай случится наоборот. Пускай он, Егор, приходит в этот дом по-дружески. Много ли у него друзей-то...

— ...Я вот что думаю, — словно откликнулся на эту мысль Наклонов. — Летом, после ваших экзаменов, не махнуть ли нам в Новотуринск? Прямо на нашей колымаге! Втроем! Городок сохранился почти в неприкосновенности. Я поведил бы вас по старым местам, порассказывал...

Егор и Денис встретились взглядами и быстро опустили глаза. Олег Валентинович продолжал:

— Я понимаю, что в друзья никого не сватают, но, может, у вас с Денисом нашлось бы что-то общее... Чем плохо, когда от стариков дружба передается сыновьям по наследству...

И опять они быстро глянули друг на друга. Лицо Дениса было близко от лампы, и Егор вдруг увидел, что глаза у него совсем не темные. Серые, как у отца. Раньше они казались темными, потому что прятались обычно в тени.

Денис как-то по-детсадовски шмыгнул носом и пробурчал:

— Одно общее у нас уже точно есть: мы оба голодные.

— Иннушка! — обрадованно заголосил Наклонов. — Мы хотим есть и пить!

Мать Дениса заглянула в кабинет.

— Мужчины! У меня все готово. Но куда я здесь поставлю посуду? Может быть, пойдете в столовую?

— Нет, здесь! — весело заупрямился Олег Валентинович. — Здесь уютнее! Денис, освобождай полигон!

Денис начал привычно хватать стопки бумаги и сгружать на пол, к стеллажам. Один раз оглянулся на Егора — быстро и... так похоже на Игорька-горниста. И на Веньку. И тогда Егор, словно шагая в холод, спросил:

— Олег Валентинович, а тот кадет в вашей повести, Егор Алабышев — он вымышленный герой? Или был на самом деле?

Наклонов следил за Денисом, а сейчас быстро обернулся.

— А почему ты про это спрашиваешь?

— Ну... он Егор и я Егор. Интересно.

— Ах вот что!.. Не знаю. В списках выпускников Морского корпуса я его не нашел. Есть такие списки в книге профессора Веселаго... Но Толик об этом Егоре рассказывал. И о том, как он был кадетом, и о том, как стал офицером и погиб на Севастопольских бастионах. Я не стал менять имя. Если жил такой человек — хорошо. Если нет, я думаю, Толик бы не обиделся, что я позаимствовал это имя из его рассказов...

Ну теперь — в самом деле всё. Егор обмяк в недрах глубокого кресла. Хорошо все-таки, когда подозрения уходят, а загадки объясняются вот так, без боли...

...И дальше в самом деле было хорошо. Пили чай с каким-то необыкновенным, невесомым, как облако, пирогом. Говорили про Новотуринск, про студию, про школу. Денис перестал глядеть исподлобья и со смехом расска-

зал про недавнее классное собрание, на которое вызвали мать двоюродника Эдуарда Редьковского для объяснения, а оказалось, что это не она, а знатная ткачиха: ее пригласили в соседний класс на торжественную встречу, а она перепутала...

— А наша классная на нее с ходу давай нести: «Я на ваше производство напишу, как вы детей воспитываете!» А потом извинялась, ахала: «Это все опять из-за тебя, Редьковский! Почему ты не сказал, что это не твоя мама?» А он: «Но вы же всегда говорите, что учителю виднее»...

— Мне ты этого не рассказывал, — ревниво заметил Олег Валентинович. И пожаловался Егору: — Обычно из него двух слов подряд не вытянешь, а сегодня разговорился.

Денис сказал, что он развлекает светской беседой гостя.

Потом Наклонов на пари вызвался разгромить Егора и Дениса в сеансе одновременной шахматной игры. И разгромил за пять минут. И с сожалением посмотрел на часы.

— Наверно, Егору пора домой. А то влетит ему и нам.

— Не влетит, но пора...

Наклонов отвез Егора на машине, хотя тот повторил, что здесь и так недалеко. Теперь Денис и Егор сидели сзади, рядом. Молчали, но без натянутости. Когда прощались, Денис протянул руку — пальцы были очень тонкие, но крепкие. Сказал:

— Пока... Заходи.

— Ага. Может быть, загляну...

Наклонов спросил:

— Егор, а ты не знаешь, не осталось в бумагах Толика что-нибудь связанное с Крузенштерном? Вдруг он записывал что-то? Черновики какие-нибудь... Нет?

— Только те стихи. И еще портрет Крузенштерна. Он его рисовал, чтобы подарить... одному человеку.

У Егора не было теперь и тени подозрения, но называть Курганова он все же не стал.

...Уже в постели Егор подумал: как хорошо, что он сегодня не помчался сломя голову в Среднекамск. Трясся бы сейчас в вагоне, один со своими сомнениями и глупыми шпионскими версиями. И неизвестно, чем бы все это кончилось. А теперь действительно есть что рассказать Миханлу...

И надо Михаила еще кое о чем расспросить. И тетю Варю — что она знает о характере брата... Неужели он в детстве так боялся грозы? Может, была еще какая-то при-

чина, из-за которой он ушел от ребят в походе и поссорился с Наклоновым?

Так давно это было... И об этом давнем Егор мог судить только по рассказам людей, которые помнили, конечно, не всё... И тем не менее многое он уже знал. Он мысленно приблизил к себе фотографию ребят, снятых у сломанной эстрады в старом саду, превратил ее в киноэкран. И постарался представить лето сорок восьмого года как цветной фильм. Все по порядку... Вот бежит, спасаясь от погони, Шурка Ревский. Вот попадает в плен к робингодам Толик... Вот игры. Поход. Разбитый самолет... Потом один из мальчишек приносит Толику сломанный меч (знает Егор и про это!). И затем — одиночество. Про это Егор тоже знает... Одно утешение у Толика — рукопись Курганова. Мать печатает — он читает... А потом печатает и сам. Эпилог...

Э-пи-лог...

Что?.. Егор стряхнул одеяло и сел.

— Толик Нечаев мог рассказывать ребятам о кадете Егоре Алабышеве. Но о капитан-лейтенанте Алабышеве рассказывать не мог. Он узнал о его взрослой жизни и гибели уже после ссоры с робингодами!

Егор вдруг вспомнил, как Наклонов быстро снимает и протирает большие блестящие очки...

Пишущая машинка «Ундервуд»

Егор хотел пойти к Ямщиковым утром. Самое время: Аркадий Иванович и Анна Григорьевна на работе, стесняться некого, а Ванька наверняка в первые дни каникул дрыхнет допоздна. Значит, дома... Но Алина Михаевна плачущим голосом сказала:

— Хотя бы в каникулы ты можешь помочь матери? Сколько я буду крутиться одна, как белка в колесе? За картошкой некому сходить...

Раньше матери помогала живущая неподалеку бабка, крепкая и деловитая. Носила с рынка тяжелые сумки, делала уборку, стиркой занималась. Мать ей сколько-то там платила. Но теперь, когда «скоро останемся без единого гроша», от бабкиных услуг Алина Михаевна отказалась.

Егору не хотелось крика, жалоб и споров. Молча он взял сумку, деньги («сдачу проверь и не потеряй») и по-

шел на рынок. В квартале от рынка наткнулся Егор на Валета.

В этом году они встретились впервые. Валет вытянул губы дудочкой, приподнял брови и светски сказал:

— О! Какая приятность... Рад вас видеть, сеньор...

— Взаимно... — Егор остановился.

— Как поживаешь, Кошачок? Нигде не болит? Мурлыкаешь?

— А чего нам... Не каплет и не дует.

— И совесть чиста, верно?

Егор прищурил правый глаз и наклонил набок голову.

— Гибкое ты существо, Кошак, — с ноткой зависти сказал Валет. — Умеешь вовремя уйти в щелку.

Егор прищурил левый глаз и перекинул голову к другому плечу. Спросил:

— В смысле?..

— В смысле, что вовремя слинял из «таверны».

— А при чем «таверна»? Курбаши колесики катал на стороне.

— Катал на стороне, а зацепило и нас кой-кого...

— Ну ты, по-моему, вполне на свободе, и вид цветущий.

— Оно так... Но потаскали и меня. Знал бы, что они, гады, мне клеили...

Егор зевнул:

— Догадываюсь, что они тебе клеили.

— Да только фиг им! Доказательств-то фью... А тебя, значит, не трогали совсем?

— С каких бы это щей меня кто-то трогал?

— Ну... я подумал: вдруг узнали про кассету. Лишний козырь против Курбаши.

Егор начал смотреть на Валета долгим насмешливо-сожалеющим взглядом.

— Не было кассеты, — наконец дошло до Валета.

— Ты умный мальчик.

— Я вообще-то с самого начала предполагал. А Курбаши тряся и бледнел: «Есть она, есть, я чувствую...»

— Дотряся он и без кассеты, — вздохнул Егор.

Валет сказал опять:

— А ты гибкое существо.

— Хочешь жить, умей вертеться, — подыграл Егор.

— А жить ты хочешь, — полувопросительно заметил Валет.

Егор моментально подобрался:

— Это как понимать?

— А так, Кошачок. Хочу намекнуть по-дружески. Кто-то оч-чень недоволен горькой судьбой Копчика. Слышал я это стороной... Считают, что ты здесь во многом виноват.

— Я?! — рявкнул Егор. — Значит, это я на Веньку с шилом полез? А сволочь Копчик ни при чем?

Валет улыбнулся с оттенком превосходства:

— Не надо так примитивно... Выражаясь по-научному, ты был источником первоначального конфликта. Сперва стравил Копчика с Редактором, потом на Копчика же на-капал Венькиным предкам...

— Это кто же пришел к такому... научному выводу? — ехидно прищурился Егор. Но душа у него захолодела.

— Любой придет, если поразмыслит. И ты сам...

— Я не стравливал Веньку и Копчика... — Егор постарался твердостью тона скрыть внутреннюю беспомощность. — У них было это еще до меня. И на Копчика я не капал. Я хотел уберечь Ямщиковых от поджога, а на Копчика, как такового, мне было начхать. К тому же я его предупредил честно, при всех...

«Чего я оправдываюсь?» — подумал Егор.

Валет примирительно сказал:

— Да мне-то что? Я тебе только намекнул, чтоб ходил с оглядкой, особенно после захода солнца. Если Копчику срок отвалит, Салтан это так не спустит...

Егор знал, что суда еще не было. Тянулось неспешное следствие. Чижа и Хныка выпустили, потому что Венька сам рассказал, что они к нему не лезли. Когда Копчик выхватил «пику», Хнык отскочил и зажмурился, а Чиж чуть ли не пытался схватить Копчика за рукав. Значит, они не «соучастники»... А самого Копчика уже второй раз обследовали в психбольнице. Мамаша его и адвокат пытались доказать, что «у мальчика есть отклонения». Шизик, мол, Копчик и за себя не отвечает... Чего доброго, еще и выкрутится, гад... Нет, едва ли.

— Кольчугу под камзол советуешь надевать? — спросил Егор у Валета. — Ну ладно, благодарю за информацию...

Егор давно уже заметил, что есть в жизни такой закон — «одно к одному». И он ничуть не удивился, когда пришел с рынка и обнаружил в почтовом ящике записку — рваный клетчатый листок с печатными буквами: «Кошак, шкура продажная, учти, попомнишь Копчика». «Учти» было написано с мягким знаком после «ч», а «попомнишь» без мягкого знака в конце. И нарисован был жирной шариковой ручкой зловещий кривой финяк.

Егор хмуро посмеялся. Записка наверняка была самодеятельностью «мышат» из компании Салтана. Это не страшно.

Это вообще было не страшно. Если бы знали приятели Копчика и сам царь Салтан, как в январские дни мечтал Егор, чтобы прихватили его в темном углу! Он исступленно дрался бы до последнего дыхания! И пусть измордовали бы до полусмерти! А еще лучше — всадили бы железо, как Веньке! Чтобы лежал он с Венькой в одной больнице и чтобы все поняли, что пострадали они оба от одних врагов. И что нет на Егоре вины...

Не так уж много вероятности, что в такой свалке забьют насмерть. Ну, а если и случится, то что ж...

Егор перечитал корявые строчки. Дурачье... Умом он понимал, что опасность есть. В самом деле могут подкараулить, и никакая милиция, которая «меня бережет», здесь не поможет. Она оказывается на месте происшествия уже потом. Как в случае с Венькой... Но страх так и не появился, даже легкого холодка не было. Егор подумал, что при желании не так уж трудно разыскать, кто писал и кто подбросил. Если заняться всерьез. Но сейчас его в сто раз больше тревожила другая загадка: Алабышев — Наклонов. И нужен был Гай...

Днем дома у Ямщиковых никого не оказалось, и Егор пришел второй раз — уже в пятом часу.

Открыл Ваня. Губы у него были перемазаны, он сладко водил по ним языком.

— Варенье лопал, — сказал Егор.

— Ага... Там все равно банка почти пустая, я ее выскреб, чтобы вымыть.

— Видать, не маленькая банка-то...

— Ага, трехлитровая... А у нас еще полная есть. Хочешь варенье с чаем?

Егор сказал, что он вышел из возраста, когда любят варенье с чаем. Чай с вареньем — еще туда-сюда.

— Можно и так, — согласился Ваня. Видно, ему нужен был законный повод, чтобы распечатать новые запасы варенья. Но Егор объяснил, что хочет сначала дозвониться до Среднекамска.

— Разрешаешь?

— Чего спрашивать-то, — сказал Ваня.

Егор потянулся к телефону и помянул черта. Он все время забывал сменившийся в январе номер Гаймуратовых. То ли «ноль два — двенадцать», то ли «двенадцать —

ноль два»... Он вытащил из кармана листок со стихами Толика, на котором в тот январский вечер записал телефон. Листок в кармане был всегда — это стало для Егора уже привычкой и чем-то вроде доброй приметы.

«Пятьдесят семь — ноль два — двенадцать»...

Ответила Галина. Удивилась:

— А разве вы не встретились? Гай вчера поехал к вам...

— Ко мне?

— Вообще-то по своим делам. Но хотел и тебя увидеть.

«Может, и заходил, да мать не сказала, — подумал Егор. — А может, ее самой дома не было...»

— Я тогда помчусь домой! Может, еще зайдет!

— Едва ли. Он хотел вернуться нынче к вечеру. Наверно, сейчас уже в дороге...

— А что случилось-то? Зачем он поехал? — встревожился Егор. Голос у Галины был расстроенный.

— Неприятности там крупные. Беда с одним мальчишком...

— С Витьком? — испуганно и глупо спросил Егор.

— Да при чем здесь Витек... Вот он, рядом, цветет, как ясный одуванчик... По службе у Гая это.

— Но он же уволился!

— Да, но это старое дело...

— А какое?

— Егор, он сам расскажет. Позвонит...

Егор положил трубку и только тогда сообразил: куда Михаил позвонит-то?

Он расстроено сел возле столика с телефоном. Обшлагом зацепил, смахнул на половик лист с номером. Ваня, который крутился рядом, быстро поднял бумагу, пригляделся к стихам.

— Ой... на нашей машинке напечатано. Да?

— Что?.. — Егор думал о своем. Какие там беды у Гая и стоит ли сейчас ехать в Среднекамск?

— Это на нашей машинке напечагано, — повторил Ваня.

— Что напечатано?.. Почему на вашей?

— Ну, сразу же видно! Вот у буквы «бэ» колечко разорвано. А у «рэ» ножка скособочена... Это что за стихи?

Какие порой случаются в жизни повороты! И совпадения!.. А может, не просто совпадения? Может, счастливые находки идут в руки тем, кто ищет? Может, в этом справедливость судьбы?

...Ваня даже оробел от натиска Егора: что за машинка, откуда?

Ну, обыкновенная старая машинка, она у Ямщиковых с незапамятных времен. Папа еще мальчишкой был, когда выменял ее у своего приятеля... Откуда она у приятеля взялась? Надо у папы спросить, Ваня не помнит... Помнит только, что, кажется, этот приятель папин машинку из Среднекамска привез, когда в наш город переехал. Вроде бы на какой-то школьной свалке он ее нашел, сломанную совсем, а потом кто-то помог починить... Ее и теперь чинить приходится все время.

— А где она, Вань?!

— Я же говорю! Папа ремонтировать унес, я попросил... Одному знакомому. Тот на все руки мастер, хоть какую технику может наладить... Папа тоже может, но говорит, что тот лучше...

— Черт, не вовремя... Вань, а машинка называется «Ундервуд»? И с твердым знаком на конце?

— Ага...

— И деревянная подставка у нее есть?

— Есть...

— А какая?

— Ну... подставка как подставка. Из доски...

— А не из фанеры?

— Я не помню... Нет, она толстая. И покрашенная.

— Ваня, дело вот в чем... — У Егора от волнения сел голос. — Это может быть не доска, а... как бы плоская фанерная коробка. Пустая внутри. И там тайник... Ты не знаешь?

Ваня помотал головой. И вдруг насупил. Потребовал:

— Ну-ка расскажи.

Рассказ о листах старой рукописи, спрятанных в подставке «Ундервуда», Ваня выслушал, раскрыв перемазанный рот. Впервые коснулась второклассника Ванюшки Ямщикова настоящая тайна. Эхо приключений прозвучало в углах привычной квартиры...

Сначала Егор поведал эту историю очень коротко, самую суть. Но Ваня утащил его в их с Венькой комнату, усадил на нижнюю койку и начал обстрел вопросами. И глаза у него были умоляющие. И Егор выкладывал ему, Венькиному братишке, все новые и новые подробности. И про Толика Нечаева, и про Гая, и про съемки на «Крузенштерне». Только о подозрениях насчет Наклонова не сказал. Ни к чему это знать девятилетнему пацану. Пусть

считает, что Егор просто ищет следы кургановской повести... Скоро Егор уже сам увлекся и рассказывал, не дожидаясь вопросов. А когда он замолкал, слышал частое Ванино дыхание, который, замерев, притерся к нему... А кроме этого дыхания будто слышалось в тишине щелканье хронометра...

— Егор, — наконец шепотом сказал Ваня. — Машинку-то папа сегодня принесет, он обещал. Все узнаем...

— А ты уверен, что машинка — та самая?

Ваня прыгнул, стукнул об пол коленками и локтями, выволок из-под койки пачку плотных листов. Откинул верхний.

— Смотри!

Это была газета «Новости Находки» с текстом, отпечатанным на машинке. И с первого взгляда стало ясно, что шрифт у заметок и у стихов Толика один и тот же. Загнутая ножка буквы «р», порванное очко у «б». И косо поджатый хвостик у «щ»...

Все это было так очевидно, что не требовало даже долгого разглядывания. И, сравнив буквы, Егор заинтересовался самими газетами. Было чем заинтересоваться! Пестрые, удивительно разноцветные листы, картинки с пейзажами незнакомых планет, столбцы рассказов со словами «продолжение следует»...

— Вань, это что?

Ваня объяснил. Про планету Находку, про игру такую, Егор слышал от него и раньше и глобус не раз крутил, но про газеты не знал. И хотя все мысли были о тайнике в подставке «Ундервуда», Егор не удержался — начал листать номера «НН»...

Да, что и говорить, Венька — талант. И в рисунках талант, и в рассказах своих... Егор зачитался приключениями школьника Ноль-с-Плюсом на планете Земля. Классной Розе почитать бы! Вот бы укусное лицо сделала: «Ии опять одно и то же! Совершенно не та йдея!»

— Вань, это как же? Так все эти газеты и лежат под кроватью?

— Ага... Новый номер сперва висит, а потом — в пачку. А где еще хранить-то?

— Это все люди должны видеть! Это же интересно!

«И чтобы убедились, какой он на самом деле, Венька Ямщиков! Он действительно — Редактор. Без насмешки...»

Ваня сказал:

— Стрельцов приходил. И еще ребята. Тоже смотрели.

— Да много ли их, ребят-то? Вот если бы в школе повесить!

— Разве можно?

— А что такого? Сделать выставку... А?

Ваня быстро облизал засохшее на губах варенье.

— Это бы здорово...

— А Веня не рассердится? Скажет вдруг: зачем без разрешенья...

— Не-е! Он сам жалел, что мало читателей, я знаю... А почему без разрешенья? Я ведь тоже... Это наша вместе газета.

Егор подошел к телефону...

— Бутакова? Привет, это Петров... Стоп, не бросай трубку, я по делу... Знаю, что не хочешь со мной разговаривать. И кто я такой, знаю... Подожди, разговор не о твоих поэтических талантах. Не ты одна у нас литературное светило... Да постой ты! Ну хорошо, хорошо, я приношу свои искренние извинения... Ты можешь приехать сейчас к Ямщикову? Нет, он в санатории, зато я здесь. У него. И брат... Приезжай, узнаешь... Не фокусы, а серьезное дело! Ну, можешь ты хоть раз выслушать меня по-человечески, ду... думать надо... Не хотел я сказать «дура», не выдумывай, это у тебя комплекс... Не тайна, а долго объяснять. Приезжай, увидишь здесь такое!.. Давно бы так...

Надо отдать должное Бутаковой. Когда она появилась, о скандале в студии больше не упоминала, газетами восхитилась, идею выставки нашла гениальной. Так и сказала:

— Петенька, ты гений. Даже не ожидала...

Всех газет было слишком много. Втроем они отобрали два десятка самых интересных номеров. Потом Ваня вскипятил чайник и уже без колебаний открыл трехлитровую банку с вареньем.

Светка сказала, что газеты заберет с собой сразу. Пока идут каникулы, она договорится с вожатой, чтобы найти в школе место и устроить выставку как полагается. И пусть все видят, какие у людей бывают способности, а то теперь все такие невнимательные друг к другу. Попал человек в беду, поговорили об этом пару дней, а сейчас почти никто не вспоминает. Может быть, эта выставка всколыхнет коллектив...

— Ты только смотри не посеяй газеты по дороге, — прервал Егор активистские речи Бутаковой.

— А ты мог бы помочь мне отнести их!

Егор заколебался и почему-то даже смутился. Но Ваня решительно сказал:

— Газеты не тяжелые. А Егор не может тебя провожать, мы папу ждем, у нас еще одно важное дело.

Когда Бутакова ушла, Егор опять сел на Ванину койку и начал смотреть оставшиеся номера «НН». Ваня позвякал на кухне посудой (видимо, вымыл) и приткнулся рядом. Совсем прильнул. Дышал тихонечко...

«По Веньке скучает», — вдруг понял Егор.

Обычно Егор или сторонился «мышат», или разговаривал с ними тоном насмешливо-жесткого приказа. А если нельзя было сделать ни того, ни другого, он ощущал тягостную скованность. Даже на Заглотыша он смотрел со смесью пренебрежительной жалости и брезгливости и вздохнул с облегчением, когда сплавил его Михаилу и Галине...

А с Ванюшкой было Егору легко. То ли потому, что не похож был младший Ямщиков на обычного «мышонка», то ли потому, что в самом Егоре что-то менялось... «А может, потому, что Венькин брат?» — спросил он себя. И вдруг вспомнил разговор с матерью, что нет у него, у Гошки, младшего брата.

И Ревский вспомнился: «Ты никогда не сможешь быть братом».

Нет, товарищ Ревский, режиссер вы, наверно, неплохой, а пророк так себе...

Кстати, надо позвонить Ревскому. Возможно, Михаил заходил к нему и Александр Яковлевич знает, что там у Гая случилось... Егор осторожно освободил левую руку из-под прижавшегося Ванюшки, взглянул на часы. Ваня быстро сказал:

— Ты не уходи, папа скоро придет.

— Мама придет, наверно, еще скорее, — опасливо заметил Егор.

— Не, она дежурит сегодня... А папа машинку принесет. Сразу же узнаем.

Конечно! И во время возни с газетами, и во время разговора с Бутаковой, и во время размышлений о «мышатах» и братьях прочно сидело в Егоре это главное ожидание: «Машинка. Тайник. Эпилог...» Все сделается ясным, все встанет на свои места!.. А Михаил будет просто ошарашен! Забудет о всех своих горестях... Но все же что там у него?

Егор опять шевельнулся. И опять Ваня попросил:

— Не уходи.

Наверно, ему очень не хотелось оставаться одному.

— Вань, я только позвоню...

Но тут затрезвонил колокольчик в коридоре.

— Папа!

Это действительно пришел Аркадий Иванович. Ваня, выгибаясь от тяжести, радостно приволок в комнату брезентовую сумку. Изнутри ее распирали твердые углы.

— Давай! — выдохнул Ваня. Дернул на сумке молнию. — Берись...

Аркадий Иванович что-то весело рассказывал в коридоре, но Егор и Ваня не слышали... Черт, как цепляются за парусину всякие рукоятки и рычажки... Вот она, машинка! Тусклые золотые буквы на каретке — «Ундервудъ», дребезжащие клавиши, желтое лаковое дерево подставки...

Почему лаковое? Ваня же говорил, что краска...

Машинка со звяканьем встала, почти упала на половицы. Ваня смотрел на Егора перепуганными глазами. Потом закричал:

— Па-па!

Аркадий Иванович буквально влетел в комнату.

— Па-па! Где старая подставка?!

— Да ты что? Эта же лучше! Сергей специально сделал, та совсем облезлая была, щепастая...

— Но она... где? — уже шепотом спросил Ваня. Он еще надеялся. А Егор понял сразу, что надежды нет, и обмяк, будто от большой усталости. Гóря он даже не чувствовал. Так, безразличие какое-то и скука...

— Она где? — тонко повторил Ваня.

— Да где ж... Выкинул Сергей. На огороде мусор жгли, ну и вот...

— Она точно сгорела? — тихо спросил Егор.

— У меня на глазах... А в чем дело-то?

Ваня вдруг беззвучно заплакал, выдернул подол майки, начал сердито вытирать лицо. Первая в жизни встреча с тайной обернулась обманом.

— Ребята, да что случилось-то? Ваня...

Тот сквозь слезы посмотрел на Егора.

— Ты, Вань, расскажи сам... — хмуро попросил Егор. — А я пойду позвоню. Можно?..

Телефон Ревского долго отзывался равнодушным пиканьем — занято. И Егор был даже рад. Не хотелось возвращаться в комнату, пока у Вани слезы, пока он объясняется с отцом. И Ваньку жалко, и самому неловко — как

неудачливому игроку, который раньше срока объявил о своей победе. И вообще... говорить надо будет что-то, объяснить, а к чему теперь слова?

Телефон ответил наконец. Сам Ревский.

— Егор? Вот хорошо... Гай приезжал, искал тебя, ругался: где тебя носит?

— А что с ним?

— Да с ним-то ничего...

— Александр Яковлевич, можно мне зайти к вам? Столько всего, надо посоветоваться. У меня мозги перепутались...

— Приходи обязательно.

— А можно сейчас?

— Давай!

Голос

— Ну, что там у него случилось-то? — спросил Егор, едва они с Ревским вошли в комнату.

Ревский кутался в пижамную куртку, похожую на обрванный махровый халат. Он сел на диванчик старинного вида, с гнутой спинкой и завитушками. Кивком показал Егору на кресло.

— Тяжелая история... Осенью Гай привез сюда из приемника одного беглого мальчонку, Димкой звали... Димка этот не жулик, не бродяга, а сбежал, потому что мать сплывила его в интернет... Не рассказывал тебе Гай про это?

Егор нетерпеливо покачал головой. Ревский кивнул.

— Понятно. Случай-то не такой уж трудный на первый взгляд... Гай поговорил с матерью Димки, убедил ее вроде бы, что мальчику в интернате не жизнь. Бывают такие, что не могут без дома, чахнут от тоски. Мать сперва: «Ладно, ладно, я понимаю...» А потом опять его туда же. Ты, мол, Димочка, должен понять: дома братик или сестренка маленькая скоро будет, тесно, трудно... А Димка в интернате совсем извелся, написал Гаю письмо: «Михаил Юрьевич, пожалуйста, ну пожалуйста, приезжайте, поговорите опять с мамой, я так больше не могу...» — Ревский вдруг закашлялся, потом сжал губы. Сказал, глядя мимо Егора. — Я это письмо видел...

— И... что? — шепотом спросил Егор.

— Гай понял, сорвался сюда... А Димки уже нет. Вечером в раздевалке — веревку на крюк и в петлю головой...

Ревский замолчал, забарабанил пальцами по тугому диванному сиденью. В соседней комнате, где обитали его сыновья-студенты, под равномерное уханье музыки пел женский магнитофонный голос:

Нам не вернуться до срока,
В ритме тяжелого рока
Будешь опять одиноко
С тенью судьбы танцевать..

«Чушь какая», — машинально подумал Егор. Тяжело сказал:

— И теперь Гай казнится, что опоздал...

— Он не виноват, что опоздал. Письмо написано в начале марта, а на штампе на конверте — двадцатое число. Гай в момент разобрался, в чем дело. Специалист все-таки...

— А в чем... дело?

— Письма-то ребята для отправки воспитателям сдают. А те, конечно, любопытствуют. Какие-то письма совсем не посылают, если там жалобы, какие-то задерживают: чтобы вскрыть, прочитать, заклеить, отослать, тоже время надо. Ну вот, Димкин воспитатель и провольнил. Может, сперва совсем отправлять не хотел, а потом все же решил. А пока письмо шло...

— А что за воспитатель? — спросил Егор. И почему-то вспомнил Поп-физика. Такой же, наверно...

— Гай говорит, молодой, уверенный. С вузовским значком... Умный, говорит.

— Умный?

— Да... Сказал Гаю: «Вы юридически ко мне не подкопаетесь».

— А Гай что?

— Гай... он и есть Гай. Сказал: «Вы ко мне тоже. Свидетелей нет...»

— И дал по морде?!

— Несколько раз... А потом пришел ко мне, просто черный весь... Я его какими-то каплями отпаивал, жена дала. А он все твердит: «Что же теперь делать?».

— Да ничего ему не будет! — горячо сказал Егор. — Свидетелей же не было! А если бы даже и были... Ну что, тот тип в суд, что ли, пойдет? Да его самого надо... — Он словно споткнулся о взгляд Ревского.

— Егор... Гай разве об этом? Он о мальчике...

Егору захотелось зажмуриться от стыда. Но он только отвернулся. Сказал коряво и с запинкой:

— Теперь... с этим-то что сделаешь... Раз нет его...

Магнитофон пел:

Как по велению рока,
Без остановок и срока
В ритме тяжелого рока
Танец твой не-у-мо-лим..

— Молодежь! — громко сказал Ревский. — Сбавьте вы на полтона ваш рок, ей-Богу...

Молодежь сбавила. Ревский откинул голову и, глядя в потолок, проговорил:

— В человеческом мышлении господствует закон оптики...

Егор посмотрел на него с сумрачным вопросом.

— Очень просто,—объяснил Ревский.—Свои мелкие заботы и несчастья кажутся важнее больших, но далеких. Не своих... Муха, которая летает у твоего носа, выглядит крупнее самолета. И так во всем... Человечество давно уже по сути дела живет на сундуке с динамитом и гасит окурки о его щелястую крышку. Но этот факт занимает нас в общем-то меньше, чем ежедневные проблемы: скажем, неуды в зачетках, как у моих балбесов, или загубленный в Госкино сценарий, как у меня самого... Возможно, такой подход к явлениям бытия и разумен, иначе жизнь была бы невыносима... Но есть в этом что-то подлое...

Егор, не глядя на Ревского, спросил:

— А сколько лет было этому Димке?

— Не знаю... Видишь, даже не знаю, не поинтересовался... Вот мы с тобой пожалеем его, содрогнемся даже, а вскоре перестанем о нем думать — у каждого свои дела.

— Ну так что же, — неловко сказал Егор. — Так у всех...

— Кроме Гая! Он так не может, у него на каждую человеческую болячку свой нерв. А болячки не лечатся, а нервы горят... Мать и Галка за его позвоночник страдают, но это чушь, с такой спиной до ста лет скрипят. А сердце он сожжет ко всем чертям, жениться не успеет... Кстати, ты знаешь, что ночью он летит в Севастополь?

— Откуда мне знать? Мы же не виделись.

— Он ходил к тебе вчера вечером, когда немного успокоился... Не застал тебя... А сегодня утром он ездил на кладбище. На Димкину могилу.

В хорошеньком настроении он полетит в Севастополь... — отозвался Егор. — А когда он вернется? Мне его надо до зарезу.

— Через неделю. С первого апреля он должен пойти

на работу в газету. По договору... Если, конечно, не будет скандала из-за пощечины.

— Жалко, что мы не увиделись. Черт принес за мной вчера вечером Наклонова...

— А! Так он отыскал тебя?

— А вы откуда знаете? Что он меня искал?

— Вчера около восьми часов он звонил мне. Спросил, не знаю ли я твоего адреса. Объяснил, что ты ему нужен по каким-то делам литературного клуба. Я, признаться, и не подозревал, что ему известно... твоё происхождение... Но он спешил, объясняться было некогда. Адрес я дал.

Егор подумал. Вспомнил. Сопоставил. Медленно сказал:

— Д-да... дипломат. А мне потом говорит: «Ты разве с ним знаком?» С вами то есть.

— Странная история. Если не секрет, зачем ты ему столь срочно понадобился?

— Почуял, что хвост прищемило, — зло сказал Егор.

— Выразительно, но непонятно...

— Я объясню. По порядку, ладно?

Ревский не перебил ни разу.

— ...Я так и сяк вертел в голове эту историю, — закончил Егор. — Ну, не мог Толик рассказывать о гибели Алабышева. Верно ведь?

Ревский сидел, откинувшись к спинке дивана и наклонив курчавую голову. Он похож был на Пушкина, который изрядно постарел и сбрил бакенбарды.

— Насколько мне помнится, — медленно сказал Ревский, — Толик совсем ничего не говорил про Алабышева. Я отлично помню то лето и наши разговоры. Толик вообще лишь однажды упомянул о рукописи, когда мы говорили об острове Святой Елены. И никогда он повесть Курганова нам не пересказывал... А про Алабышева я впервые услышал в шестьдесят седьмом году, на «Крузенштерне»...

— Вот видите! Значит, Наклонов мог узнать про него только из рукописи! Правильно?

Все так же медленно и слегка отрешенно Ревский проговорил:

— Детективная история в стивенсоновском духе... и с грустным оттенком.

Егор не стал уточнять, откуда грустный оттенок. Он и сам его ощущал, но не это было главное.

— Александр Яковлевич, как вы думаете? Могла рукопись как-то оказаться у Наклонова?

— Теоретически это не исключено... — Ревский рассеянно прошелся пятерней по шевелюре. — Можно предположить... например, так. Мы той осенью да и следующим летом увлекались сбором утиля. По городу ходили старьевщики — агенты «Вторсырья» с тележками, мы им сдавали всякое барахло. И бумагу старую тоже. Не так, как сейчас макулатуру, а вместе с рваными калошами, тряпьем, всякой рухлядью. А взамен получали копейки или игрушки — пистолетики, свистульки... Ну, а утиль-то надо было добывать, вот и бросил Олег наш отряд на поиски. По дворам, по свалкам, по чужим чердакам... Чердаки — это было особенно заманчиво. По вечерам, с фонариками, масса страхов и приключений. И находки самые неожиданные: то лампа старинная, то подшивка «Нивы»... Ну, и папки с бумагами всякие... Вечером свалим трофеи у Олега на веранде, а утром разбираем... Не исключено, что копался в добыче он и без нас, заранее. И мог наткнуться на рукопись. Если она как-то попала из комнаты Курганова на чердак...

— А могла попасть?

— Ну, об этом я так же, как и ты, могу лишь догадываться... Скажем, дочь Курганова не обратила внимания, выкинула с другими бумагами, а соседи убрали наверх. Или еще как-нибудь... К тому же это лишь одна версия. А могло быть иначе. Например, взрослый уже Наклонов обнаружил рукопись в каком-нибудь Новотуринском архиве. В архивах, как и на чердаках, порой попадаются самые неожиданные вещи... А как было на самом деле, мы теперь, скорее всего, никогда не узнаем. Да и не это главное.

— Главное — узнать бы: правда ли, что он списал повесть у Курганова? — возбужденно сказал Егор.

И, словно желая погасить его азарт, Александр Яковлевич грустно ответил:

— Главное, что не хочется верить... будто Олег способен на такое.

— «Способен, не способен»... — Егор досадливо съежился. — Теперь-то все равно ничего не доказать... Ой, Александр Яковлевич! А машинка-то ведь есть! Рукопись-то на ней напечатана! Если она у Наклонова, можно сверить шрифт!

— И что же ты хочешь? «Внедриться» в квартиру Олега Валентиновича, обшарить ящики, найти нужные листы и провести экспертизу?

— Ну а хотя бы! — вскинулся Егор. Но под грустно-внимательным взглядом Ревского его запал почему-то угас.

Возможно, той рукописи уже и нет, — помолчав, ска-

зал Ревский. — Даже если она была, Наклонов мог ее перепечатать, а оригинал уничтожить. От греха. А если и не уничтожил, то сожжет сейчас или запрячет подальше. Поскольку что-то почувял...

— Александр Яковлевич! Вот вы говорите «не хочется верить». А сами, значит, думаете так... что он может?

Ревский толчком поднялся с дивана и заходил, почти забегал из угла в угол. Остановился. Сказал:

— Никуда не денешься... Судьба, что ли?

— В чем судьба-то? — неловко спросил Егор. Ревский схватил стул, сел перед Егором.

— В том, что такой разговор. И вообще все это... Я с тобой говорю сейчас не как с мальчиком-восьмиклассником, а как... ну, как с Толиком, что ли. Ты его сын. Поэтому честно. Мне кажется, что... в какой-то момент Олег это мог...

— В какой момент?

— Ну, не сразу же... Возможно, рукопись попала к нему в робингудовские времена. Он читал, знал, что она связана с Толиком. Была она как память о детстве. Привык к ней, считал, может быть, почти своей... А потом узнал, что Толика нет уже на свете и других экземпляров рукописи тоже нет...

— А откуда он мог узнать, что нет экземпляров?

— Увы, от меня... Осенью шестьдесят седьмого, после гибели Толика, мы встречались с Олегом в Ленинграде, я рассказал все, что случилось. Мы долго тогда говорили. Под настроение я поведал и всю историю кургановской рукописи. Как ее Толик на «Крузенштерне» рассказывал. И про то, как сжег Курганов первые два экземпляра, тоже упомянул...

— Да, — жестко сказал Егор. — Теперь понятно... Автора нет, Толика нет, доказательств нет. А единственный экземпляр — у Наклонова. Ставь свою фамилию и печатай... Странно только, что он не сделал это сразу. После разговора с вами.

— Если считать Олега действительно виноватым... то не странно, Егор. Тогда жива была еще Людмила Трофимовна, мама Толика. И наверно, редактор был жив, который читал рукопись в издательстве...

— А может быть, и сейчас жив.

— Не знаю... Я ведь только предполагаю все это. Но тридцать пять лет прошло... А скорее всего, есть еще одна причина, по которой Олег не сразу...

— Какая же? — со злой ноткой спросил Егор. Потому что почуял в голосе Ревского сочувствие Наклонову.

— Самая главная... Чтобы решиться на такое, надо переступить через себя... Олег, прямо скажем, писатель не блестящий. Книжки у него средненькие. Пишет о том, о другом, хватается за разное, а главной темы, стержня для себя найти не может. Это уж кому сколько таланта отпущено... А человек он умный и все это понимает. Годы меж тем идут, и ясно уже, что в классики не выбиться... А в то же время все эти годы лежит рядышком готовая рукопись, которая совсем ничья. И видимо, талантливая. Вот и начинает точить мысль: «Она же все равно пропадает. Не все ли равно, чья там будет фамилия? Главное, чтобы ее прочитали...» Ну, и остается сделать два шага, Егор...

— Какие?

— Первый — переступить через самолюбие. Признать полностью, что сам по себе автор ты неудавшийся и без этой чужой повести имя свое известным не сделаешь... А второй шаг — через совесть. Надо ее как-то успокоить. Убедить, что в поступке этом ничего особенного нет. Мол, и раньше бывали в литературе заимствования. И еще такая мысль: «Я ведь не все подряд возьму, кое-что изменю...» Возможно, и в самом деле изменил кое-какие страницы...

— Вы все так рассказываете, будто...

— Что?

— Будто все точно знаете.

— Ты, Егор, по-моему, не это хотел сказать.

— Ну... будто с вами самим когда-то такое же было, — сердито бухнул Егор и почувствовал, как горят уши.

Ревский не обиделся, не вспылал. Сказал грустно:

— Наверно, у многих такое бывает. Хоть раз в жизни. Только один человек делает шаг, а другой... поболтает ногой в воздухе и поставит обратно. Тут граница хрупкая... Егор, Наклонов человек сложный, но... не подонок же он. Скорее, он неудачливый человек, несчастливый... В нем много хорошего. И когда он говорил с тобой о Толике, о том, что во многом благодарен ему, он был наверняка искренен. Детство — это то, что предать труднее всего.

— А яма? В том же самом детстве, — тихо, но упрямо сказал Егор.

— Ну, яма... В мальчишечью пору кто не делает глупостей. Тут и самолюбие, и обида чрезмерная, и недомыслие... У какого мальчишки совесть без пятнышек, а?

Егору захотелось уткнуться носом в колени. «Дофилософствовал, дурак?» — мстительно сказал он себе.

— А к тому же, — продолжал Ревский, — я рассуждаю отвлеченно. Может, никакой истории с рукописью не было. И, честное слово, я буду счастлив, если смогу это узнать.

— Ничего вы не узнаете, — уныло сказал Егор. — И никто не узнает. Последняя надежда была — эпилог в тайнике машинки. Можно было бы сравнить с наклоновским эпилогом и доказать. А теперь что, раз подставка сгорела...

Ревский растопыренной ладонью потер лоб и глаза. Мотнул курчавой головой, словно прогоняя дремоту. Или сомнения?

— Да... Оказывается, ничего в этой жизни не случается зря... Егор, один знаменитый персонаж в одном знаменитом романе сказал: «Рукописи не горят»...

Егор быстро поднял глаза. Ревский встал.

— Это справедливо, по крайней мере, по отношению к вышеупомянутому эпилогу...

— У вас есть копия?! — Егор рванулся из кресла.

— Копии нет. Но когда Толик на «Крузенштерне» читал эпилог наизусть, мы с Изой включили студийный магнитофон... Микрофон был на штанге, в стороне, Толик и не заметил. Но записалось отчетливо.

Ревский шагнул к стеллажу, стал двигать на полке книги, папки, плоские коробки. Егор почувствовал, как слабеет от волнения. Тыфу ты, нервная дама... Он опять сел. С приколотых к стеллажу крупных фотографий на Егора смотрели знакомые и незнакомые артисты и режиссеры. Каждый по-своему: кто насмешливо, кто ободряюще. А за дверью звучало приглушенно:

Что наша жизнь за морока —
В ритме тяжелого рока...

Вот холера! Теперь этот мотив засядет в мозгах! Чтобы перебить его, Егор «включил» в памяти другое:

Мы помнить будем путь в архипелаге..

И еще:

После тысячи миль в ураганах и тьме
На рассвете взойдут острова.

Песня, которую пели на «Крузенштерне». В те дни, когда Анатолий Нечаев читал там последнюю часть кургановской повести.

...Ну что столько времени возится Ревский? Сейчас скажет: «Не знаю, куда подевалась пленка...»

Ревский достал плоскую коробку. Шагнул к двери.

— Юноши! Кончайте ваше «роковое томление», мне нужен магнитофон... Что? Потёрпите. Тащите живо...

Рослые, совершенно одинаковые Илья и Яша принесли тяжелый, как сейф, «Юпитер». Сказали Егору «привет» и удалились, демонстрируя возмущение отцовским произволом.

Ревский поставил на «Юпитер» большую бобину.

— А Гай разве не знает про эту запись? — спохватился Егор. — Он ничего не говорил...

— Гай не знает...

— Почему?

Не оборачиваясь, Ревский объяснил неохотно:

— Сперва я просто боялся об этом говорить, напоминать про все. Гай и так был не в себе. А потом... Знаешь, у каждого бывает что-то очень свое. Вот так и эта пленка для меня. А Гая не хотелось мне лишний раз бередить, да и виделись мы не часто. Ну, слушай... Егор Нечаев...

Сначала был слабый электрический шелест, потом за этим шелестом возникло ощущение широкого пространства, в котором тихо дышали десятки людей. И наконец негромкий, но отчетливый молодой голос произнес:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...

Егор закрыл глаза.

Он слушал и ловил себя на том, что порой не вникает в содержание, а пытается представить, как это было. Ночь над бухтой, курсантов на палубе, трапах, шлюпках. И Толика... который вот он, будто живой, будто сейчас говорит перед притихшими людьми. Руку протяни — и дотронешься до его локтя...

Егор давно уже не думал о Толике как о чужом. Наоборот. Был Толик самый свой, что ли... Но думать о нем как об отце Егор все равно не мог. Он ощущал его скорее как старшего брата. Вроде Гая. Впрочем, так ли это важно? Толик — и всё. Иногда казалось, что он жив и где-то неподалеку. Но сейчас горькое сознание, что его нет — хотя голос вот он, звучит рядом, — резануло Егора. Так, что под закрытыми веками шевельнулись едкие песчинки. Егор зажмурился сильнее и заставил себя слушать внимательно.

И, не шевелясь, высидел сорок минут, пока Толик не сказал:

...Он не успел принять участия ни в одном сражении и не убил ни одного врага... Он сделал не в пример боль-

ше: отнял у этой войны, у смерти десять ребятишек. Тех, кому жить да жить...

Егор сердито проморгался, выпрямился в кресле. И такую повесть Наклонов хочет сделать своей! А человек, который над ней мучился, сгинет в неизвестности? А Толик, что ли, зря страдал за всех, про кого там написано?

...Ревский дождался, когда закончится обратная перемотка, снял бобину, протянул Егору. Тот нерешительно сказал:

— А вы как же? У вас ничего не останется...

— Ну, что поделаешь. Это — твое...

— А куда я с ней с такой?.. Александр Яковлевич, давайте я лучше завтра «Плэйер» принесу, перепишу на кассету. Получится чисто, один к одному!

— Это мысль. Давай... Только лучше послезавтра. Завтрашний день у меня на студии будет подобен аду крошечному.

Егор сразу испугался. А вдруг за два дня с пленкой что-нибудь случится? Как с подставкой от машинки. Ревский понял:

— Никуда она не денется... Я другого боюсь...

— Чего?

— Егор... А что ты собираешься делать дальше?

— Я... не знаю, — честно сказал Егор. — Я не буду топиться. Надо подумать.

— Вот именно. Подумать тебе надо крепко. Дело-то не простое, тут человеческая судьба. И она в твои руки попадает... Ты это понимаешь?

Егор знал, что глаза у него не совсем просохли, но глянул на Ревского прямо и дерзко:

— Если вы боитесь, можете не давать пленку.

— В том-то и дело, что не могу. Не имею права. Ты — наследник... Я не пленку имею в виду, а все, что было.

— И все-таки вы жалеете, что сказали про запись. Да?

— Егор! Я никогда не жалею о принятых решениях, — резко ответил Александр Яковлевич. Незнакомо. Но тут же перешел на прежний тон. — Однако ты меня пойми. Как бы там ни было, а Олег — друг детства...

— А Толик?

— В том-то и дело... Черт! всю жизнь я мечусь между ними. Даже теперь, когда Толика давно нет. Опять надо делать выбор.

— Разве дело в Толике? — осторожно сказал Егор. — Дело, наверно, в справедливости.

— Да... Но и справедливости мы с тобой хотим разной. Я буду счастлив, если окажется, что Олег не виноват. А ты этим обстоятельством был бы весьма огорчен. Не так ли?

Егор ответил не сразу. Ревский, наверно, и не ждал ответа. Егор наконец сказал:

— У вас с Гаем есть одна одинаковая черта. Дурацкая. Извините...

— Ничего. Какая же?

— Вы любите угадывать мысли других. Будто мозги по-трошить. И наперед все предсказываете...

— Да? Не знал такого за Гаем... А что я предсказал?

— Что я буду рад, если Наклонов виноват... А я не буду.

Еще вчера утром Егор мог торжествовать, если бы Наклонова удалось уличить в обмане. А сейчас... После того как вечером он побывал у Наклоновых дома, после того как дом этот показался добрым таким и дружеским... Но объяснять это было долго. Да и зачем вывертывать себя наизнанку? Егор только повторил:

— Не буду. Но я должен узнать...

— Ну что ж...

— Вы думаете, я как охотник? Или мне приключений хочется? А я... Вы же сами сказали, что я... наследник.

— Ладно, Егор, — неловко отозвался Ревский. — Я ведь только вот что говорю: не наделать бы глупостей.

Егор покладисто сказал:

— Я понимаю... Знаете что, с Гаем бы посоветоваться.

— Это мысль. Но, наверно, он уже в аэропорту или по дороге туда... Да и боюсь, что сейчас ему не до того.

— Наоборот. Может быть, это его отвлекло бы... — Егор запнулся. Ревский смотрел с грустной усмешкой.

— Вот видишь. А нас уже отвлекло. Я же говорил... Уже и забыли о Димке.

— Я не забыл, — сказал Егор. И это была правда. Он не забыл, потому что думал о рукописи и лейтенанте Головачеве. — Александр Яковлевич, Димка разве виноват? Ну, что не вытерпел и вот так...

— Что ты, Егор... Как можно обвинить ребенка? Он не выдержал одиночества. Взрослые и те не всегда выдерживают.

— Вот и я говорю. Лейтенант Головачев застрелился тоже из-за этого. Разве он виноват?

— Трудно судить. Что мы знаем о Головачеве? Даже повесть не читали, а слышали в пересказах, в отрывках... А вот мальчика жаль отчаянно.

— И еще Гая, — сказал Егор. — Мы-то этого Димку все-таки не знали, а он знал. Поэтому ему хуже всех.

— Хуже всех Димкиной матери.

— Ну, она-то сама виновата!

— Это и есть самое страшное. Как жить с такой виной?

«А ведь правда!» — ахнул про себя Егор. И подумал о Веньке. «А что, если бы... Зеленый шар, спаси и сохрани...»

Вспомнив про Веньку, он тут же вспомнил и Ваню. Как тот всхлипывал и сердито вытирал глаза подолом майки. А потом, когда прощались, уже не всхлипывал, только смотрел в пол. А отец виновато говорил, что вот надо же, кто мог подумать про такое дело и что машинка-то в самом деле из Среднекамска. И смущенно объяснял, от кого и как она попала к Ямщиковым, словно это могло помочь делу. Егор, чтобы хоть как-то загладить тягостную неловкость, сказал, что, скорее всего, в подставке никаких бумаг давно уже не было, нечего и горевать. Ваня понуро молчал.

— Александр Яковлевич, можно я позвоню от вас?!

Ревский кивнул на телефон.

— Алло... Анна Григорьевна? Здравствуйте, это Егор. Извините, что поздно, Иван еще не спит?! Да, на минутку... Ваня!.. Слушай, а листы не сгорели! То есть сгорели, да не совсем... А вот так! Завтра приду и объясню. Спи...

Капитан-лейтенант Егор Алабышев

«Не наделать бы глупостей», — сказал в тот вечер Александр Яковлевич. Но было ясно, что смысл у этих слов несколько иной: «Не надей глупостей, Егор».

Егор был уверен, что не наделает. Он решил действовать не спеша и расчетливо.

Через день он побывал у Ревского и переписал рассказ Толика с «Юпитера» на «Плэйер». И потом целый вечер слушал голос Толика. И снова как бы видел перед собой просторную палубу и мачты, которые теряются в звездном крымском небе...

Наутро он прихватил «Плэйер» и пошел к Ямщиковым. Ваня встретил его сердито:

— Обещал все рассказать, а сам пропал...

— Не мог я, Вань, раньше, запись надо было сделать...

Узнав подробности, Ваня дуться перестал. Всю кассету прослушал внимательно. А пока он сидел с наушниками, Егор с интересом шелкал на «Ундервуде» — просто так,

разные слова: «Крузенштерн... архипелаг... кассета... Среднекамск... Ваня». И почему-то: «Денис»...

Ваня стянул наушники и вздохнул:

— Интересно... Только машинка-то здесь ни при чем. Значит, никакой тайны не было.

— Как это ни при чем? Подумай! Если бы ты про машинку не сказал, я бы о тайнике не вспомнил. И Ревскому ничего не стал бы говорить. А он бы еще сто лет молчал о пленке!.. Нет, Вань, все благодаря машинке случилось. И благодаря тебе.

Ваня скромно расцвел. Погладил обшарпанный «Ундервуд».

— Вот она какая хорошая у нас... Егор! А папа знаешь что говорит? Он говорит: «Если правда эта машинка была бабушки Егора, то надо ее подарить ему». То есть тебе... Он говорит, что это как бы наследство... Правда ведь?

Радости в этих словах Егор не уловил. Расставаться с машинкой Ване явно не хотелось. Он добавил:

— Но надо еще Веника спросить, верно?

Егор засмеялся:

— Никого не надо спрашивать, ты что! Все равно я машинку не возьму, она ведь и ваше наследство тоже. Столько лет у вас! Венька вон какую кучу газет на ней отпечатал!

— Ой, а газеты! — подпрыгнул Ваня. Он был рад изменить разговор. — Ты не знаешь, их еще не повесили?

— Сейчас узнаем.

Егор позвонил Бутаковой, и она обрадовалась и сказала, что у них не класс, а сплошные лодыри: кого ни попросит помочь устроить выставку, всем некогда, у всех какие-то важные дела в каникулы. Один Громов согласился. И пусть Егор тоже обязательно приходит. Сегодня к двенадцати.

С Егором пошел, конечно, и Ваня.

Вчетвером они приклеивали к стене «Новости Находки» на втором этаже, где была пионерская комната. Номер за номером. Сверху прикрепили ватманскую ленту, на которой Бутакова заранее сделала надпись: «Газеты страны Фантазии. Работы ученика 8 «А» класса Вениамина Ямщикова».

Подошла завуч Тамара Павловна.

— Чем это вы заняты, молодые люди?

Бутакова объяснила. Тамара Павловна сказала, что все это странно.

— А кто разрешил их здесь вывешивать?

— Марина разрешила, мы с ней все обсудили, — сказала Светка. Мариной звали старшую вожатую.

— Странно... Такими делами распоряжается не старшая вожатая, а организатор внеклассной работы... А какой это гадостью вы их приклеиваете?

— Это же герметик! — весело объяснил маленький быстроглазый Юрка Громов. — От него на масляной краске никаких следов! Плюнул, потер, вот и все...

— Вам бы на все только плюнуть и растереть... — Постукивая каблуками, Тамара Павловна принялась ходить от листа к листу. — Странно... Что за содержание...

Егор с Ваниной помощью развешивал последние номера. Он молчал, но уже закипал.

— Все-таки я не понимаю, — раздраженно произнесла Тамара Павловна. — С директором это согласовали?

— Марина говорит, что согласовала...

— Странно... Какие-то планеты. Зачем это? Сплошной отрыв от действительности.

— Не такой уж, видимо, отрыв, если вы испугались, — не выдержал Егор.

— Что? Чего я испугалась? Ты, Петров, отдаешь отчет, что говоришь?

— Отдаю... — Егор приклеил к стене последний угол газеты, отошел и полюбовался. — Конечно, отдаю... в том, что оторванные от действительности сказки Ямщикова не первый раз кого-то вздрагивать заставляют...

— А... Зато ты, я смотрю, вздрагивать не научился! А зря, голубчик! Пора бы уже понять, что теперь иная ситуация...

— «И что твой папа уже не прежний чин и спрятаться за его спину не удастся», — ровным голосом закончил Егор. — Знаю. Слышал уже много раз.

— Но не сделал выводов!

— Сделал... Вывод, что в школе не важно, какой сам человек, а важно, кто его папа...

— Какой человек ты сам, мы обсудим на педсовете, — сообщила Тамара Павловна. — И тогда ты сделаешь выводы, какие нужно... Господи, скоро ли наконец реформа? Может, хоть тогда призовут вас к порядку...

Она ушла не столько возмущенная, сколько угнетенная хамством и неблагодарностью нынешних лоботрясов, которым отдаешь столько сил, а они...

— Ну что ты с ней связался? — упрекнула Светка.

— Неконтролируемые эмоции, — объяснил Егор.

— Не сорвали бы только газеты, — серьезно сказал Громов.

— Мы на переменах будем охранять, — пообещал Ваня. — Пусть только полезут! Хоть из какого класса!

— Да я не про перемены. И не про тех, кто «из класса», — вздохнул Юрик. — Ну, поглядим... Вань, а что Венька пишет?

— Ну, он пишет... — Ваня заулыбался. — К Первому мая придет, наверно...

— Ты соскучился?

— Ага, — сказал Ваня. И почему-то взял за рукав Егора.

Нет, Егор не хотел делать глупостей. Он понимал, чего может стоить неосторожный шаг. В тот вечер, когда он делал перезапись, Ревский сказал:

— Все о Димке думаю. И о причинах... Страшная штука — необратимые последствия. Из-за того что на несколько суток задержалось письмо — такая беда. Один глупый поступок этого мерзавца воспитателя — и вот...

— Не глупый, а подлый, — возразил Егор. — И не один. Тут много причин...

Однако мысль о необратимых последствиях запала в голову.

...Прежде всего надо убедиться, что эпилог у Курганова и у Наклонова — один и тот же. Как? Напроситься в гости к Олегу Валентиновичу, сказать: «Можно почитать вашу повесть?» Нет... Вроде бы ничего особенного в таком плане не было, обычная разведывательная работа. На войне как на войне. Но что-то удерживало Егора. Был он уверен, что Ревский не одобрит его. И Гай тоже. Ну ладно, с ними можно и поспорить. Но... не одобрил бы, наверно, и Толлик. И еще: когда Егор представлял, как приходит к Наклонову, как берет рукопись, он словно наталкивался на вопросительный взгляд Дениса...

Нет, надо, чтобы Наклонов прочитал эпилог сам! Вслух!

Может, на занятиях студии намекнуть Наклонову: интересно, мол, чем кончаются ваши «Паруса «Надежды»? Но сам Егор это делать не должен, будет подозрительно... Эх, до чего же скверно, когда ты один! Не к кому ткнуться за помощью. Ванюшка еще мал. Не Бутакову же посвящать в эти дела...

А может... Юрку?

В самом деле, Громов никогда не смотрел на Егора Петрова косо. А последнее время даже как-то... ну, в об-

щем оказывался рядом чаще других. Скорее всего, случайно это, но... все же Громов лучше, чем кто-то другой.

С автомата Егор звякнул Бугаковой, узнал номер Юрки, позвонил ему:

— Громов?.. Это Петров. Слушай, Юрка, можно сейчас с тобой встретиться? Нет, не просто так, важное дело... К тебе? Ладно, иду. Давай адрес...

У Юрки они не засиделись. В тесной квартирке радостно вопили, носились и дрались брат и сестра Громова двух и трех лет. Егор предложил пройтись.

Они ходили по оттаявшим улицам, и Егор обстоятельно рассказывал о повести Курганова и обо всем, что вокруг нее. Юрка, обычно веселый и насмешливо разговорчивый, слушал внимательно. Только один раз, в середине истории, он Егора перебил. Тихо и прямо спросил:

— А почему ты это рассказываешь мне?

И так же прямо Егор ответил:

— Мне больше некому, Юрик.

— Тогда ладно, — сказал маленький Громов.

— Поможешь? — спросил Егор, когда кончил рассказ.

— Да.

— Понимаешь, это не игра, не приключение. Это...

— Я понимаю.

Они пошли к Егору, и Юрка прослушал запись. Предложил:

— Надо бы сделать текст на бумаге. Надежнее будет.

— Я сделал...

Два вечера Егор сидел с наушниками, переписывал рассказ Толика в общую тетрадку. Послушает фразу, остановит пленку, запишет и опять... Получилось тридцать страниц.

— Вот... — он протянул тетрадку. Юрка полистал.

— Это хорошо... Но лучше бы на машинке. На той самой...

Егор подумал, что и правда лучше. Была бы в этом какая-то справедливость: словно сгоревший эпилог возродился из пепла!

И кроме того, можно сделать две-три копии...

— Юрка, а кто перепечатает? Я в этом деле ни бум-бум...

— Я вообще-то могу. Мама у меня машинистка, я маленько учился... Конечно, на старой машинке многое устроено по-другому, но можно приноровиться.

Оттого что у Громова мать машинистка — так же, как была у Толика, — Юрка стал Егору еще симпатичнее.

Они пошли к Ване и попросили машинку на несколько дней, объяснили зачем. Притащили «Ундервуд» к Егору. Егор диктовал, Юрка стучал по клавишам. Сперва медленно, потом приспособился. Отремонтированная машинка дребезжала, лязгала, но работала.

Печатали до темноты. Заходила Алина Михаевна, интересовалась, чем это мальчики заняты. Егор сообщил, что мальчики готовят реферат по истории.

— Хорошо, хорошо. Только стучите потише, отцу нездоровится. Шум его утомляет.

Но отец громко сказал из своей комнаты, что никто его не утомляет, пусть люди работают. И машинка застучала снова. Стальные буквы «Ундервуда» опять выдавливали на бумаге рассказ о судьбе капитан-лейтенанта Алабышева.

Печатали и на следующий день. Дело все-таки шло не очень споро. К тому же было первое апреля, кончились каникулы, работать пришлось после школы. Однако и в этот день не управились. Заканчивали второго числа, в субботу...

— Веньку бы сюда, — вздыхал Юрка. — Он-то умеет обращаться с этим экспонатом, вон сколько газет на нем отстучал...

— А какая толпа была у газет! — вспомнил Егор. — И вчера, и сегодня!

И еще вспомнил он, как молчаливой цепочкой стояли у стены мальчишки-второклассники. Охрана...

...А в понедельник газет в коридоре не оказалось. Их перевесили в пионерскую комнату.

— Клавдия Геннадьевна велела, — объяснила вожатая Марина. — Говорит, скоро комиссия из гороно, а тут вместо наглядной агитации какая-то научная фантастика... Да ладно, здесь тоже зрителей хватает...

Но очень скоро сняли газеты и в пионерской. Ваня сказал Егору:

— Я к Марине подошел, говорю: «Тогда давайте их обратно». А она: «Подожди, мне некогда». Егор, ты скажи, чтобы отдали.

— Обязательно! Ты не бойся, никуда они не денутся...

Но поговорить с Мариной Егор не сумел. В этот день не нашел ее, а завтра стало не до того: на четыре часа назначено было занятие литературной студии.

Олег Валентинович пришел бодрый, улыбочивый. Хлопнул на подоконник тяжелый портфель. Поинтересовался, как весна влияет на юные таланты. Есть ли вдохновение? Созданы ли за время каникул произведения, которые обога-

тят мировую литературу? Или хотя бы такие, о которых можно поговорить здесь, в студии?.. Что? Не созданы? Весеннее настроение более способствовало прогулкам и прочим приятным занятиям? Ай-яй-яй, товарищи! Отдых — дело прекрасное, но творчество не терпит праздности. Впрочем, ладно, дело молодое... Но может быть, хоть кто-то порадует аудиторию свежими строками? А?

Вот он, Олег Валентинович, видит среди старых знакомых новое лицо. Наверно, этот молодой человек тоже решил приобщиться к нелегким литературным трудам? Не хочет ли он взять слово?

Юрка Громов, который сидел в стороне от Егора (наочно далеко в стороне!), встал и скромно сказал, что он тут случайно. То есть не совсем случайно, только сам он ничего не сочиняет, таланта нету, а есть у него вопрос. К Олегу Валентиновичу Наклонову. Осенью и зимой на встречах с ребятами Олег Валентинович рассказывал про свою повесть «Паруса «Надежды». И отрывки читал. И вот ему, Громову, интересно, чем эта повесть закончилась. Он, Громов, тоже любит книги про плавание, поэтому все вспоминает и вспоминает «Паруса «Надежды». Может, Олег Валентинович прочитает конец повести, когда будет общее заседание литературного клуба?

Видимо, Олегу Валентиновичу слова восьмиклассника Громова пришлось по душе.

— Вообще-то... по правде говоря, я мог бы даже и сейчас. Рукопись у меня с собой, я как раз взял ее у машинистки после окончательной перепечатки... Не сочтите, что напрашиваюсь, но все равно, кажется, заниматься больше нечем. А?.. С другой стороны, мнение юных талантов мне весьма интересно. И если нет возражений...

Прогулявшие все каникулы «таланты» радостно загалдели, что возражений нет.

— Только потом не отмалчиваться! У кого какие замечания — выкладывать честно... Я вам прочту эпилог повести. Он по сути дела представляет собой почти отдельный рассказ.

Народ завозился, устраиваясь на диванах поудобнее, Лишь Егор сидел, замерев. Он не ждал такого поворота! Думал, сегодня Юрка только забросит удочку. Но судьбе, видимо, надоело томить Егора ожиданием, и она открыла шлюзы. События хлынули...

Наклонов достал из портфеля папку, из папки — листы. Близко поднес к очкам и слегка отодвинул. Обвел взглядом два десятка внимательных студийцев. Кивнул и сказал:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным...

Егор помнил эпилог почти слово в слово. Но все же он бесшумно достал из сумки и положил на колени копию текста. («Ты не ожидал, Егор, таких событий, но эпилог все-таки взял, а? И даже «Плэйер». И даже малютки-динамики... Значит, все-таки что-то предчувствовал?»).

Наклонов не видел бумаг на коленях Егора. Тот расположился во втором ряду, за спинами. Но читал Наклонов словно с тех страниц, которые были перед Егором. В первые две минуты не совпало лишь несколько слов.

Егор поймал на себе быстрый и непонятно смущенный взгляд Громова. Опустил ресницы: вот так, мол, Юрик, сам видишь... Он сидел совершенно спокойный внешне. Но только внешне. Смесь горького торжества и обиды подымалась в Егоре, и голос Наклонова доносился уже словно сквозь ровный шум. Шум, похожий на гудение ветра в полотне и тросах надвигающегося парусника...

Егор обещал Ревскому не делать глупостей. Он знал об опасности необдуманных шагов. Но все сместилось теперь, и не было времени для расчета. Именно в такие моменты человек отбрасывает щит и сжимает в ладонях два меча. Свой и... чей?

Толика?

Гая?

Курганова?

Неважно. Главное, что два... Егор вдруг заметил, что у него сжаты кулаки.

— ...«Они докурили и распрощались, подавши друг другу руки, причем Лесли ухитрился на утоптанном снегу щелкнуть каблуками, — прочитал Наклонов и слегка закашлялся. Закончил с натугой: — Далее каждый пошел своей дорогой»... Извините, друзья, что-то в горле першит. Видно, связки перетрудил...

И тогда Егор встал. И сказал негромко, но ясно:

— А давайте, сейчас почитаю я.

Он как-то сразу успокоился. То есть обида, волнение, страх даже — они остались, но теперь словно были отдельно от Егора. А он, прямой, невозмутимый, смотрел на удивленного Наклонова.

— Вы?.. Ну, извольте. А я передохну. — Наклонов протянул руку с листами, ожидая, что Егор пойдет к столу. Егор сказал:

— Я отсюда... Не надо ваших бумаг, я так.

И, ощутив неожиданный озноб, слегка сбиваясь, но громко он прочитал в недоуменной, даже боязливой тишине:

— «Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий бастион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в Корабельной слободе. Лишь о встрече с Алабышевым не упомянул, потому что не видел в ней примечательного»... — Егор поднял от страницы глаза, глянул в блестящие очки Наклонова. — Все правильно? Совпадает?

Серые глаза метнулись за стеклами, остановились и вонзились в глаза Егора. Зрачки в зрачки. И они сразу поняли друг друга — восьмиклассник Егор Петров (Егор Нечаев!) и писатель Олег Валентинович Наклонов. Между ними уже не было секретов. И ясно стало Егору, что сейчас у писателя Наклонова одна отчаянная цель: как-то выиграть время и «сохранить лицо». Так получивший смертельную пробоину корабль стремится к одному: выйти из-под огня и где-нибудь в тихой заводи выкинуться на берег, по возможности не спуская флага.

Но, чтобы дойти до тихого места, надо сперва отстреливаться из уцелевших орудий.

Наклонов неприятно сказал:

— Как это понимать? Откуда у вас эта рукопись? — Он увидел в руке Егора листы.

— Издалека, — сказал Егор.

— А не с моего стола? Я не думал, что вы так воспользуетесь моим гостеприимством!

Да, это был коварный удар! Но растерянность Егора длилась не больше двух секунд.

— Вы хотите сказать, что я украл вашу рукопись? Я могу вернуть, пожалуйста. У меня есть копии. И к тому же... — Егора осенило! — к тому же напечатаны они на той самой машинке, на которой та... повесть Курганова «Острова в океане». И которую вы так старательно переписали и приклеили новое название...

Рука Наклонова метнулась к очкам, чтобы сорвать их и начать протирать. Пальцы Наклонова прошли по лацкану пиджака с редакционным значком местной газеты. Олег Валентинович сказал при общем тяжелом молчании:

— Что это... Петров? Зачем?.. Вы представляете, в чем обвиняете меня?

— В том же, в чем вы обвиняли меня. Дописать стихи отца — это литературное воровство, да? А списать чужую повесть?

Наклонов шагнул к окну, схватил портфель и стал за-талкивать в него рукопись. Эти несколько секунд его, видимо, немного успокоили. Он глянул через плечо, сказал небрежно:

— Я вас даже не осуждаю. Вы решили таким образом расквитаться со мной за отца, с которым у меня в детстве были мальчишеские стычки... Но есть же какие-то пределы...

— Оставим отца, — сказал Егор. К нему опять пришли хладнокровие и ясность. И теперь сразу находились нужные слова. — Отец расквитался с вами сам, на Черной речке... Но Арсений Викторович Курганов расквитаться не может, он умер в сорок восьмом году. Вы на это и надеялись, да?

— Какая чушь!

— Чушь? Тогда продолжим чтение! И сравним!

— Сравним с чем? С копией моей рукописи, которую вы как-то раздобыли?

— Егор! — взлетел голосок Юрки Громова. — А кассета! Головы разом повернулись к Юрке, потом все взгляды опять обратились на Егора и Наклонова.

Егор ощутил, как сердце нехорошо вышло из ритма, притихло, потом толкнулось где-то у горла. Он переглотнул.

— Да... Вам не хочется, чтобы я читал. Тогда пусть почитает он...

— Кто? — испуганно спросил чей-то голос.

— Инженер Анатолий Нечаев. Друг детства Олега Валентиновича Наклонова! — Егор из сумки рывком достал «Плэйер», воткнул штекеры, один динамик бросил на колени сидевшему рядом семикласснику Пучкину, другой поднял к груди.

Голос Толика был негромкий, но в общем безмолвию звучал отчетливо:

— Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года...

Перекрывая этот голос, Егор сказал:

— Шестьдесят седьмой год, палуба парусника «Крузенштерн»! Нечаев читает эпилог повести Курганова «Острова в океане»!..

Наклонов рванул с подоконника портфель. Подхватил и крепко посадил очки. Крикнул с яростью, с какой-то мальчишеской обидой:

— Вот оно что! Спектакль затеяли!.. Я-то думал... А вы! Я больше не руководитель студии! — И широкими шагами, почти скачками кинулся за дверь.

И было полминуты тишины, в которой из крымского вечера шестьдесят седьмого года доносился рассказ о суровой зиме на севастопольских бастионах... А потом началось: шум, толпа вокруг, возмущенные крики, вопросы.

Что-то гневно верещала Бутакова.

Кто-то тряс Егора за плечо.

Кто-то требовал все объяснить по порядку, а какая-то девчонка слезливо долдонила: «Гнать из студии, вот и все. Гнать из студии, вот и все...»

Юрка Громов звонко кричал:

— Да подождите! Вы же ничего не знаете!

Потом снова стало тихо. Студийцы, окружившие восьмиклассника Петрова, медленно расступились.

— Пусть мне объяснят, что здесь произошло. Ии немедленно!

Отцы

За окном давно стемнело, но Егору не хотелось включать лампу. Он лежал и смотрел в затянутый пепельным сумраком потолок. И тихо себя ненавидел. Бурная злость уже перекипела, едкая досада рассосалась. Осталась вот эта презрительная спокойная ненависть к идиоту Егору Петрову, который наделал столько глупостей.

Все ходы рассчитывал, планы строил, а что получилось!

И был еще страх — никуда не денешься. Вспоминался визгливо-металлический голос Классной Розы: «Ты знаешь, что Олегу Валентиновичу в учительской стало плохо?! Ему вызвали «скорую»! Если что-то случится, виноват будешь ты! Именно ты!»

Что за проклятая участь у Егора Петрова? Почему из-за него люди оказываются на границе жизни и смерти? Вдруг у Наклонова в самом деле инфаркт или еще что-нибудь такое?

Разве Егор хотел для Наклонова какой-то беды? Он хотел только, чтобы повесть снова стала повестью Курганова! Но если... если случится с Наклоновым самое страшное, кому какое дело будет до повести? «Мертвые сраму не имут». Кто станет слушать восьмиклассника Петрова? И как он спасется от вечной вины?

«Да не трепыхайся ты, ничего не случится! — крикнул себе Егор. — Мало ли к кому вызывают «скорую» и дают валерьянку? Смотри, как бы самого не пришлось каплями отпаивать! Псих...»

Ну, а если никакой беды с Наклоновым и не будет, чего же добился Егор? Наклонов перепишет эпилог другими словами и потом крути магнитофон, доказывай! А повесть с названием «Паруса «Надежды» и с фамилией О. Наклонов пойдет в печать...

«Нет, не пойдет, — подумал Егор. — Он же не знает, что у меня только эпилог. Он думает, наверно, что у меня вся повесть. Экземпляр, про который никто раньше не знал... А всю повесть не перепишешь по-своему, таланта не хватит...»

Егор вдруг представил, как Наклонов лежит в своем кабинете на диване, тоже в темноте, и тоже думает о повести: что теперь делать?.. А может быть, не до того ему? И может быть, он не дома, а в больничной палате и неслышно суетятся у кровати врачи и сестры, тихо звякают шприцами...

А вдруг уже и не суетятся?..

А в пустой отцовской комнате мается от долгой, неуходящей тревоги Денис Наклонов, глядит на телефон, который может вот-вот взорваться зловещим звонком... Глядит, мучится страхом за отца и ненавидит Егора... Он-то, Денис, ненавидит его справедливо. Потому что — сын.

...А если Олег Валентинович жив-здоров и даже смирился с потерей повести, что дальше? Для читателей-то повесть Курганова тоже потеряна! Наклонов сожжет все экземпляры, чтобы раз и навсегда спасти себя от обвинений...

А как надо было поступить? Подойти и один на один сказать: «Олег Валентинович, верните рукопись»? Ага, так бы он и разбежался возвращать!.. Или дожидаться, когда у Наклонова выйдет книга, и поднять шум? Да, но сколько ждать-то... Да и не думал об этом Егор, кинулся в бой очертя голову...

В доме было тихо. Мать куда-то ушла, отец, наверно, лежал у себя. Он жил теперь неслышно, молчаливый, угасший. Придет с работы и сразу ложится. Мать боялась за него.

...Раздались медленные шаги, открылась дверь. В освещенном прямоугольнике показалась фигура отца. Он держался за косяки. По краям сухой длинной головы, на висках просвечивали клочковатые волосы.

— Егор, ты дома? — Он спросил это вполголоса.

— Дома...
— Что лежишь в темноте?
— Зачем он, свет-то?
— Думаешь?
— Ага...
— Что-нибудь случилось?
— Да так... всякое...
— Неприятности какие-то?
— Ну, какие у меня могут быть неприятности? Мелочи жизни... Суета сует, как сказано в Библии...

— Ну-ну... размышляй. — Отец ушел. И была секунда, когда Егор едва не сказал: «Папа, постой...» Потому что сил нет переваривать в себе все, что случилось. Хоть с кем-то поговорить бы... Может, отец поймет? Ведь сам он, Виктор Романович, вон сколько пережил недавно, должен и чужие несчастья чувствовать...

А должен ли? Может, за своей бедой другие беды ему кажутся пустяками? Закон оптики, перенесенный на мышление...

Ну, а сам-то Егор лучше? Когда отец пришел после того собрания, разве пытался Егор сказать ему хоть что-то хорошее? И в мыслях не было. И не могло быть, раз жили они как чужие.

А сейчас можно ли рассказывать отцу про то, что связано с тем, с первым отцом? Лишний раз по нервам бить. Он и так живет, будто не знает, зачем ему жить... Может, правда не знает! Все потерял, что было: высокую должность, громкое имя, партбилет, любимую работу... Пусть хоть что говорят, пусть он химичил, приписывал, о личной выгоде думал, но цех свой все равно любил. Это даже и Егор видел. Может, ничего другого отец и не любил настоящему... В том-то и беда.

...Дверь осталась открыта, Егор видел в ней угол зеркала в прихожей и тумбочку с навсегда замолчавшим телефоном.

Если бы работал телефон, первое дело — позвонить Михаилу: «Гай, я такого тут нагородил! Гай, послушай... А может, приедешь? Мне совсем невоготу одному...»

Но сейчас как позвонишь? Опять идти к Ямщиковым? Сколько можно! Еще за прежний разговор деньги не отдал... Кинуться к Ревскому? Но тогда придется все ему рассказать. И скажет Александр Яковлевич: «Мы же говорили о необратимых последствиях, помнишь?» А Егору и так тошно...

Попросить у отца три рубля и пойти на почтамт? Но туда надо тащиться через полгорода, а тело ноет, как после побоев...

Плохо, когда человек один, недоброе это дело и суета сует... Так, кажется, Курбаши говорил? Где он сейчас, Курбаши?.. Недоброе дело...

Есть еще Юрка Громов. Но чем он поможет, что посоветует? Сегодня шли они домой вместе, и Юрка бесстрашно доказывал Егору, что все равно они правы и завтра на собрании правоту эту с боем отстоят. И Егор дурацки так, бодрячески на прощание хлопнул Юрку по плечу: «О'кэй. Завтра наша возьмет...»

Это Классная Роза, накричавшись, заявила, что назавтра назначает собрание. И пусть все члены студии тоже приходят. И тогда в полной красе предстанет перед всеми личность Егора Петрова, по милости которого студия лишилась руководителя — прекрасного писателя и человека. Пусть Петров, если есть у него хоть капля смелости и порядочности, держит ответ.

Он согласен держать ответ. Он даже попытается что-то доказать. Не Классной Розе, конечно, — это никогда никому еще не удавалось, — а ребятам... Хотя что им Егор Петров со своими доказательствами? Для одних он — Петенька и Кошак. Для других — злодей, лишивший студию руководителя.

И все же о завтрашнем собрании думал Егор с облегчением. Всякий бой, даже безнадежный, лучше тоскливого томления.

Что угодно ожидал Егор, но чтобы на собрании оказался Денис Наклонов — такого в голову не приходило! А он был здесь. И сидел там же, где и в первый раз, — на крайнем диванчике у двери. Насупленный. С Егором они зацепились взглядами и отвели глаза. С отчуждением и тяжелой стыдливостью...

Собравшиеся в клубной гостиной четко делились на две половины — и по размещению, и по настроению. Два десятка студийцев — от ершистого пятиклассника Борьки Глебова до царственной десятиклассницы Алевтины Докуниной — как бы излучали единое энергетическое поле. В нем было сдержанное негодование и болезненный интерес к событиям. А представители восьмого «А» демонстрировали смесь жидкого раздражения и флегмы. Им хотелось домой. Но еще на первом уроке Классная Роза намекнула, что отношение восьмиклассников к собраниям — показатель их

общественной активности. Отсутствие этой активности, естественно, будет отражено в характеристиках, а характеристика — первый документ, по которому смотрят: брать человека в девятый класс или рекомендовать ему одно из ближайших ПТУ. И сейчас можно было сразу вычислить, кто из одноклассников Егора стремится в будущем году продолжать образование в родимой школе. Пришло из восьмого «А» чуть больше половины.

Им было почти все равно, что там натворил Кошак и правда ли, будто у писателя Наклонова с Гошкой-Петенькой какие-то счеты. Рукопись какую-то не поделили? Оно любопытно, конечно, однако не настолько, чтобы торчать в школе лишних два часа.

На перемене лишь невозмутимый Максим Шитиков небрежно поинтересовался у Егора:

— Что же это за «дикий йи безнравственный поступок» совершил ты, Петров? Из-за чего намечено сборище?

— Останешься — узнаешь, — буркнул Егор.

— Интригуешь?

— Само собой...

Громова Егор спросил:

— Никому не рассказывал, в чем дело?

— Никто и не спрашивал... Бутакова что-то трепала девчонкам, а со мной не говорила...

«Никто и не спрашивал». Что же, это понятно. Много ли сам Петенька спрашивал, если у кого-то что-то случилось? Восьмой «А» давно уже вырос из наивных рамок пионерско-октябрятского коллективизма. Люди взрослые, каждому свое. Кому-то билеты зубрить для экзаменов, кому-то прошвырнуться по весенним улицам: погодка-то — закачаться...

Юрка смущенно сказал:

— А Розушка вчера отцу на работу звонила. Причем хитро так: «Ваш Юра еще маленький, доверчивый, как пятиклассник; а этот Петров его втянул в неприятности. Вы повлиайте на Юру...»

— Да, влип ты из-за меня, — виновато отозвался Егор.

— А чего я влип? Батя у меня мужик прямой. Сразу ей и врубил: «Его, — говорит, — втянуть нельзя, если сам не захочет, он как Иванушка перед печкой Бабы Яги — руки-ноги растопырит и не лезет. А если втянулся, значит, считает, что справедливо...» Роза, конечно, в крик. И конечно, про девятый класс. А отец ей: «Вы его шкурничеству раньше срока не учите, его и без вас этому жизнь учить будет. Пусть хотя бы, пока не вырос, человеком поживет...»

Егор подумал, что такие, как Юрка, «человеками» живут до конца.

— Повезло тебе с отцом.

— Да ведь и тебе... повезло, — тихо сказал Громов. — С Нечаевым... — И виновато засопел. Ну, в самом деле, как пятиклассник.

Несмотря на эту виноватость и сопение, слова Громова Егору помогли. Тверже его сделали. И собрания ждал он почти спокойно.

Окна гостиной смотрели на запад и на юг. За ними плавился апрельский день. На солнечной стороне пришлось задернуть тонкие, салатного цвета шторы. Воздух стал зеленатым, лица травянистыми. А у Классной Розы острое ромбовидное лицо было землисто-болотным, когда она вышла к столу.

Роза Анатольевна сразу взяла быка за рога:

— Пусть Петров выйдет сюда и объяснит свой вчерашний чудовищный поступок.

Егор с радостью и благодарностью ощутил в себе хо-рошую злость. Ту, которая не дает трусить и сбиваться в словах.

— Если заранее решили, что он чудовищный, чего объяснять?

— Ты иди сюда! Перед всеми! И тогда говори!

— Может, еще скамью поставить? Как в суде? — сказал Егор. — И двоих с пистолетами?

— Это от тебя не уйдет. А пока обойдешься без скамьи.

— Мне здесь удобнее. — В самом деле Егору не хотелось нести к столу «Плэйер» с динамиками, а он мог пригодиться.

— Бойсься, — с удовольствием сказала Классная Роза. — Разумеется! Придется смотреть всем в глаза. Своим товарищам...

«Если бы товарищам...»

— Ии вот ему! — Роза Анатольевна выкинула руку в сторону Дениса. — После всего, что ты сделал с его отцом! Как ты будешь смотреть ему в глаза? Ну, посмотри, посмотри!

— И посмотрю! — рявкнул Егор. И встал. И глянул на Дениса прямо и яростно. — Я что, украл у него что-то? Я сказал, что было!

Взгляды сошлись. И стало тихо. Секунды три Денис не отводил сумрачные глаза, потом перевел их на Классную Розу. И тоже встал.

— Ничего Петров у меня и у отца не украл, — сказал он медленно и негромко. — Наоборот, он отца в краже обвиняет... И наверно, Петров в самом деле считает, что он прав. Тут не кричать надо, а разобраться...

Теперь не только студийцы, но и одноклассники Егора слушали с интересом. («Значит, это сын писателя!»)

— Петров говорит про какую-то старую рукопись... — покусывая губы, продолжал Денис. Он смотрел теперь мимо Классной Розы, на светлую штору. Быстро шевелил пальцами опущенных рук. — Ну, наверно, рукопись когда-то была на свете... И совпадения могли быть. Если два человека пишут на одну тему, они берут материал из одних источников. У отца полным-полно старых книг про Крузенштерна и про Севастополь... И у того человека, который ту рукопись писал, они, наверно, тоже были. Конечно, могут быть совпадения...

— Из слова в слово... — сказал Егор. Он не сядил.

— Помолчи, дурак! — взвизгнула Бутакова.

— Сама не визжи! — громко сказал Громов.

Денис посмотрел по очереди на всех троиц и опять стал смотреть на штору. И объяснил тем же ровным тоном:

— Бывает, что из слова в слово. Если один источник... Про Севастопольскую оборону есть роман у писателя Сергеева-Ценского, а раньше, до революции еще, вышел роман про то же самое писателя Лавинцева. Там есть страницы, которые тоже совпадают, мне отец вчера показывал. Ну так что же? Сергеев-Ценский украл рукопись, что ли? Они просто одни материалы изучали...

«Вчера показывал», — отметил про себя Егор. С радостью. Значит, сердечный приступ у Наклонова был не такой уж сильный. Стараясь говорить ровно, в тон Денису, Егор заметил:

— Можно изучать материал, который есть на свете. А где Олег Валентинович взял Алабышева?

— Он же объяснил: слышал от Нечаева...

— Не мог он слышать! Я выяснил точно!..

Денис опять повернул к нему лицо. Сказал без всякой злости, будто уговаривал:

— Но как можно выяснить точно то, что было тридцать пять лет назад?

— А как могут точь-в-точь написать два одинаковых эпилога двое разных людей? Про человека, которого на свете не было...

Денис глянул спокойно и непримиримо.

— А ты уверен, что все точь-в-точь?

— На, сравни! — Егор выхватил из сумки листы. — Передайте Денису Наклонову.

Услужливо протянулись ладони, бумаги пошли по рукам.

Роза Анатольевна со стуком уперлась в стол деревянными кулачками.

— Мы здесь не затем, чтобы проводить расследование! Никому и в голову не приходит в чем-то подозревать Олега Валентиновича! Замечательного писателя и человека, который отдает столько сил... Кстати, Денис, как он себя сегодня чувствует?

— Спасибо, лучше, — нехотя сказал Денис. — У него такое и раньше бывало, это ничего...

— Передай Олегу Валентиновичу, что мы все... все ему сочувствуем и очень сожалеем... Ии все мы надеемся...

Денис уже сидел, глядя в листы. Он поднял голову.

— Я ему ничего передать не смогу. Он ведь не знает, что я сюда пошел. Я сам...

Роза Анатольевна помолчала и печально кивнула. И обвела собравшихся медленным взглядом.

— Вот видите. Человек лежит... Сын, ваш ровесник, пришел защищать его. А вы... что же вы-то молчите? Почему не спросите Петрова?

Студийная половина ровно загудела. Как угрожающе перегретый трансформатор. Но первым высказался невозмутимый Максим Шитиков:

— А о чем следует спрашивать? О деталях этой детективной истории?

— Нет! — Роза Анатольевна выпрямилась. — Мы здесь не для того. Мы просто должны спросить Петрова: по какому праву он бросил в лицо заслуженному человеку, нашему общему другу, оскорбление и беспочвенное обвинение?

— Беспочвенное? — сказал Егор.

— Ответь: по какому праву?

Она всегда любила повторять эти слова. С четвертого класса. «По какому праву ты считаешь возможным не учить уроки?.. По какому праву ты как бешеный носишься на перемене?» Это воспринималось просто как поговорка. Но сейчас Егор понял: в словах о праве есть конкретный смысл. И не ответить — значит отступить. И он сказал, что чувствовал:

— По праву наследства.

— Что-о?

— Да! Мой отец был другом Курганова, автора этой

повести! Он ему помогал. Он даже спас однажды эту повесть! А потом Курганов умер...

— Тогда почему не отец, а ты суешься в это дело?

— А как может отец? Если он тоже умер?

— Что-о? — опять сказала она.

Одноклассники смотрели на Егора изумленно. Ведь никто, кроме Громова, толком ничего не знал. Если раньше и слышали что-то, не принимали всерьез.

— Я говорю про родного отца, про инженера Нечаева. Он погиб в шестьдесят седьмом году. Он был конструктор подводных аппаратов.

— Чушь какая, — убежденно произнесла Роза Анатольевна. — Постыдился бы...

— Чего?

— Ясно чего... Когда нельзя стало прятаться за одного отца, придумал себе другого...

Да, была секунда, когда ему хотелось заорать на нее по-сумасшедшему. Швырнуть в нее чем-нибудь, зареветь в голос. Хлопнуть дверью... Но это как горячая волна — прихлынуло и отошло. И стало зябко и спокойно. Показалось даже, что рядом тикает старый хронометр: держись, мол. И Егор нашел для ответа подходящие слова:

— Отцов, Роза Анатольевна, не придумывают. Они какие есть, такие и есть. Это вы придумали, будто я за отца прячусь. А я хоть раз прятался? Вы сами его боялись... а теперь злорадствуете.

— Ты соображаешь, что мелешь?

— Когда это я за него прятался и когда он за меня заступался? И зачем тогда вы сами приходили заступаться за меня перед ним? В четвертом классе?

— Вижу, что зря приходила! Мало он тебя, негодяя, порол!

Егор совершенно отчетливо ощутил в ладони шероховатость деревянной ручки и тяжесть длинной стамески. Но он словно разжал пальцы. И стамеска будто выскользнула из руки и воткнулась в половицу рядом с ногой. Все было абсолютно бесполезно. Что тут спорить? Егор засмеялся и устало сказал:

— Вам ведь всем здесь наплевать, чья правда. Вам главное, что он — писатель, а я — никто. Значит, я виноват...

— Ты виноват не поэтому, — начала Роза Анатольевна, но приоткрылась дверь. Классная Роза посмотрела на нее с раздражением. Потом пошла — видно, кто-то поманил ее.

Сорок с лишним человек проводили Розу Анатольевну

глазами и молча ждали возвращения. И в тишине стали слышны за приоткрытой дверью негромкие слова:

— Чей отец?.. Не может быть... Скоропостижно? Ужас какой... Нет, лучше вы сами, я только что... нет...

Егор быстро взглянул на Дениса. Тот сидел с окаменелым лицом. Вошла директорша Клавдия Геннадьевна. Красная Роза пряталась за ней, как виноватая школьница. Тишина стремительно заполнилась тугим звоном. Денис комкал на коленях листы с эпилогом. Но Клавдия Геннадьевна не посмотрела на Дениса. Она сказала, глядя мимо Егора:

— Петров... ты иди сейчас домой, Егор. У вас дома несчастье...

Апрель

Хоронить отца на «престижном» Березовском кладбище не разрешили. Оно считалось закрытым. Исключения делались только для высоких чинов, по особым письмам. Вот если бы инженер Петров успел умереть начальником экспериментального цеха, тогда конечно. А теперь чего же...

В похоронном бюро матери предложили «компромиссный» вариант. Крашенная девица-агентша бодро сказала:

— Если у вас на Березовском найдется родственная могилка, усопшего можно кремировать, а урну захоронить в этой могилке.

«Родственная могилка» была. Дяди Сережи, маминого брата. Мать вздохнула и согласилась. Потому что «открытое» кладбище располагалось Бог знает где, в болотистом лесу.

Егор стоял рядом с матерью и смотрел, как девица бойко давит кнопки калькулятора — подсчитывает погребальные расходы, — и думал, что в этой конторе не чувствуется ничего похоронного. Наоборот, солнечно, цветочки на подоконниках, разговорчивые тетушки за столами. На стене плакат с Аллой Пугачевой и кинолентами, такой же, что висел в «таверне»...

Крематорий тоже не вызвал скорбных ощущений. В зале с няркими светильниками в виде факелов и тяжелыми бронзовыми решетками на дверях пахло чистым холодным камнем, как в вестибюле большого музея. Голоса звучали сдержанно и деловито. Молодая красивая женщина-распорядитель в черном костюме похожа была на экскурсовода.

Егор не испытывал никакого горя. Грустное сожаление, даже сочувствие к отцу, пожалуй, было. Потому что умер Виктор Романович в несчастье, с сознанием потерь и поражения... Впрочем, умер спокойно, без приступов и врачей. Не проснулся утром, вот и все.

Жаль, конечно, было Егору плачущую мать. Но Алина Михаевна плакала не сильно, держалась твердо, и это нравилось Егору.

Людей на похороны собралось немного. Произнесла несколько суховато-печальных слов женщина-распорядитель. Выступил Пестухов. Сказал, что Виктор Романович был вечным тружеником и что бы там ни говорили, а цех построил он. Жизнь сложна и часто ставит людей в такие обстоятельства, в которых не всегда и не каждый может найти правильный выход. Жертвой таких обстоятельств стал и Виктор Романович. Но эта же самая жизнь в конце концов расставляет все по местам. Со временем воздастся и памяти товарища Петрова. А лучший памятник — это все тот же цех.

Больше никто не говорил, молча прошли по кругу у постаamenta с гробом. У Егора так ни разу и не намокли глаза. И даже когда женщина-распорядитель нажала похожий на автомобильный переключатель скоростей рычаг и гроб с заострившимся профилем отца плавно ушел в гранитный колодец, Егор смотрел спокойно...

Поминок не было. Пестухов отвез Алину Михаевну и Егора домой. Мать принялась разбирать отцовские бумаги, Егор томился. Хотелось уйти куда-нибудь, но оставлять мать одну было неловко. Тогда он сел за билеты для экзаменов по русскому. До них, до экзаменов, не так уж далеко, а Классная Роза постарается свести с Петровым все счета. Грудью встанет на его пути в девятый класс. Ну, поглядим...

На следующее утро Егор с облегчением пошел в школу. В классе посматривали на него с молчаливым сочувствием. Даже Роза. О разборе истории с рукописью никто не напоминал. И Егор подумал, что первый раз отец действительно защитил его по-настоящему. Своей смертью. Это была нехорошая мысль, он понимал, но мыслям-то не прикажешь.

Юрка Громов на первой перемене подошел и просто сказал:

— Егор, может, помочь в чем-то надо? Когда такое случается, всякие дела бывают...

— Да нет, все уже... — вздохнул Егор. — Спасибо... — И вдруг спросил: — У тебя есть велосипед?

— Конечно!

— Дашь прокатиться? Голова такая... хочется, чтобы проветрило на скорости. Чтобы от всего уехать...

— Бери на сколько хочешь... А у тебя разве нет? — удивился Юрка.

— Мать боится... У нее брат разбился на мотоцикле, она колеса видеть не может...

Бутакова издали поглядывала на Егора, словно хотела подойти и что-то сказать, но не решалась. Он не отвечал на ее взгляды. Ее предательство на недавнем собрании высветило Светочкину натуру полностью... Впрочем, какое предательство? Она что, в друзья записывалась к нему? Подумаешь, газеты вместе развешивали... Да и ничего плохого она не говорила на собрании. Один раз только на Юрку вякнула, а так все молчала. Хотя молчание иногда — тоже предательство... Ну, а чего Егор хотел от нее? Прирожденная активистская деятельница, вечная адъютанша Класной Розы. Сейчас, небось, трясется, не поверило бы ей, что связалась с Венькиными газетами...

Одно у Светки хорошее — фамилия. Был такой герой в Первой Севастопольской обороне. Даже два. Егор читал о них недавно в журнале «Вокруг света». Он теперь все внимательно читал, что попадалось о Севастополе. И о Крузенштерне...

Когда Егор подходил к дому, его догнал Михаил.

Ох как Егор обрадовался! Пожалуй, впервые при встрече с Михаилом заулыбался так счастливо и открыто.

— Что же ты... не позвонил даже? — тихо сказал Михаил. — Я от Ревского узнал... о смерти Виктора Романовича.

Егор насупился:

— А Ревский откуда знает? В газете даже объявления не было.

— Знает откуда-то... Егор, это как? Из-за сердца?

Егор кивнул.

— Мать очень убивается?

— Да знаешь, держится...

— Вот такая она, жизнь... — сказал Михаил.

Они шли вдоль дома, по сухому асфальту, и от нагретой бетонной стены ощутимо веяло теплом. Апрель...

— Пошли к нам, — позвал Егор.

— Неудобно.

— Ну, ты что? Так и будешь всю жизнь от матери прятаться? Смешно же...

— Не буду. Но сейчас не время... Давай погуляем.

И пошли они по солнцу. Серые крошки снега еще лежали в тени заборов, а ветерок, шумевший в голых тополях, был совсем теплый. Михаил был без шапки. Егор тоже сунул свою вязаную шапку в карман. Спросил:

— Ты специально ко мне приехал?

— Да... То есть я бы и так приехал, но тут еще совпало: Витька́ домой привез. Мать потребовала.

— Ну вот... Опять все пойдет у них кувырком...

— Кто знает... Она вдруг начала такие письма слать: «Соскучилась по Витеньке, пусть едет скорее, все будет по-другому...»

— А он?

— В том-то и дело, что он тоже: «К маме хочу»... Может, наладится у них...

— Ох, не верится.

— Ну, поглядим. Захочет обратно — заберу. А спорить, когда мальчишка к матери просится... Особенно после слуха с Димкой... Ревский рассказывал?

— Еще бы!.. Как этот тип, которому ты вмазал, поживает?

— Жаловался. Сперва даже судом грозил...

— Какой суд? Ты же его без свидетелей!

— Если бы... Это я Ревскому сказал, чтобы его не расстраивать. А вмазал я тому гаду при ребятах. И очень звонко... Но в суд он не пойдет, я ему пригрозил ответным иском: о нарушении тайны переписки, которое привело к тяжким последствиям...

— А куда же он жалобы писал?

— В приемник, моему прежнему начальству. Но Старик ехидно ответил, что старший сержант Гаймуратов по состоянию здоровья из органов уволен и потому никаких санкций руководство приемника-распределителя применить к нему не может... Тогда он разнюхал, что я устраиваюсь в «Комсомолец», написал в редакцию...

— И что?

— Ничего... Работаю поэтому в многотиражке Среднекамского пароходства. Товарищ Вася Короткий в «Комсомольце» развел руками: «Я всей душой, но понимаешь...» Впрочем, это и к лучшему...

— Почему? — не поверил Егор.

— Правда, к лучшему. Пришлось бы в университете переходить на журфак, а я не хочу.

— По-прежнему в педагоги тянет?

— Ты знаешь, по-прежнему. Или пусть с ребятами работают такие, как тот... битый?

«А он все равно работает», — подумал Егор, но не сказал, чтобы не огорчать Гая. Сказал другое:

— Многотиражка — это ведь все равно газета. Журналистика. Там не потребуют перехода на журфак?

— Там проще. К тому же при пароходстве организуется детская флотилия, что-то вроде клуба юных моряков. Меня берут на полставки инструктором. Вполне педагогическая должность.

— А что ты согласишь в этих... во флотских делах?

— Ну, все-таки... Читал когда-то, интересовался... — Он усмехнулся. — И в детстве как-никак две недели на «Крузенштерне» провел. Чем не морская практика?

— Да, кстати, о Крузенштерне... — вздохнул Егор. И сказал наконец о главном: — Я тут такого нагородил. Если по шее надаешь, правильно сделаешь..

И, шагая с опущенной головой, пиная на асфальте окурки и щепки, он рассказал все, что было с ним и с Наклоновым...

Михаил слушал и несколько раз даже присвистнул. Сказал наконец:

— Знаешь, у меня такая мысль тоже мелькнула один раз. Насчет Наклонова. Зимой, когда ты о его повести упоминал... Но сразу улетучилась как чисто фантастическая... Смотри-ка, жизнь бывает похлеще фантастики. Финал, как в романе Дюма...

— Паршивый финал-то, — сказал Егор. — Дурак я.

— Ну, что уж ты так себя казнишь...

— Конечно, дурак. Надо было подождать, когда напечатать, а потом шум поднимать.

Михаил поморщился:

— Знать и специально готовить ловушку? Это вроде той волчьей ямы...

— А теперь повесть вообще пропала. И у нас нет, и он печатать не станет...

— Думаешь, не станет? А вдруг переделает эпилог — и в издательство...

Егор улыбнулся горько, но с победной ноткой:

— Он же не знает, что у меня только эпилог. Он думает, что вся повесть Курганова.

— Дитя ты мое наивное, — грустно сказал Михаил. — Ничего такого он не думает.

— Почему?

— Ну, он же неглупый мужик. Если бы у тебя была вся повесть, шум бы ты поднял гораздо раньше... Он, конечно, догадался, что у тебя только звукозапись с «Крузенштерна» и списанный с нее текст...

— На той же машинке!

— Ну и что? Печать-то свежая... Впрочем, ты прав, на публикацию он не решится, побоится скандала...

— Вот я и говорю: дурак я... Надо сперва думать, а потом уж...

— Милый ты мой... — Гай оперся о плечо Егора (может, опять спина болит?). — На то мы и люди, а не роботы. Сперва шашки наголо и в бой, а потом уже соображать начинаем... Я вот тоже... Мне бы про того «воспитателя» статью в газету, чтобы его к ребятам больше не подпускали. Спокойную такую, деловую. А я — по морде... Хотя, честно говоря, не очень и жалею.

— Но он-то до сих пор там работает, — не выдержал сейчас Егор.

— Нет, в интернате уже не работает. Ребята выжили... А дальше... Ну, поглядим. Я его из виду не выпущу. Беда только, что не один он такой... А у тебя-то в школе как дела? Помимо последнего скандала...

— Ничего. Билеты долблю. Мне теперь, кроме как в девятый, некуда. В первое попавшееся училище я не пойду, а подходящего нету... А уезжать нельзя, мать одна останется... Правда, в мае бабушка из Молдавии хотела приехать, но это ненадолго.

— Если придет, появишься в Среднекамске. Хоть на пару дней.

Егор кивнул:

— Гай, мне этого пуще всего на свете хочется. Все время зимние каникулы вспоминаю... Иногда знаешь что? Когда тихо в комнате, кажется, будто хронометр стучит. Тот самый...

Михаил оперся на плечо Егора посильнее.

— Вот и ладно. Приедешь — заберешь хронометр с собой.

— Как... с собой? Почему?

— По простой причине, Егорушка. Он твой. По наследству...

— С какой стати-то? — пробормотал Егор. Но от радости затептели щеки.

— С такой вот стати. Хронометр твоего отца... К тому же именно ты распутал историю рукописи Курганова.

— Ох уж «распутал»!

— Ну, все-таки... Кстати, я, может быть, скоро приеду снова, еще до праздников. Сам тогда и привезу...

На девятый день выдали в крематории урну. Никого из посторонних при этом не было. Егор и Алина Михаевна поехали на Березовское кладбище на такси. Урну везли в хозяйственной сумке, Егор держал ее на коленях.

В деревянном домике на кладбище стали они спрашивать, кто из рабочих должен пойти с ними закопать могилу. Как положено по выписанному наряду. Нужного человека не оказалось, ушел на перерыв. Небритый парень сказал Егору:

— Возьми лопату да сам зарой, чем ждешь. Там и делов-то...

Егор молча взял. И с лопатой на плече, с сумкой в левой руке пошел по аллеям и дорожкам впереди Алины Михаевны.

Было тепло. Между могилами лежал еще кое-где снег, похожий на крупную серую соль, а глинистые холмики уже все были открыты, из них лезли травинки. Желтела мать-и-мачеха. Тихо было, солнечно, только гранитные и чугунные академики и артисты смотрели с постаментов строго и отрешенно...

Могила Сергея Михаевича Садомира, маминого брата, была выложена по краям гранитными брусками. Посреди ее в рыжей глине чернела вертикальная круглая нора. Очень ровная и узкая. Видно, рыли не лопатой, а специальным буром.

Егор открыл сумку, развернул оберточную бумагу. Урна была белая, фаянсовая, буквы написаны серебром. Как на чашке, которую дарят на день рождения...

Егор оглянулся на мать, она тихо, сама того не замечая, плакала. С тяжестью на душе и с желанием, чтобы все скорей кончилось, Егор примерил выпуклую урну к отверстию. Гладкие бока ее оказались одной ширины с круглым каналом. Как у снаряда, сделанного по калибру ствола. Руки уже не проходили.

Егор снова посмотрел на мать.

— Опускай... — шевельнула она губами.

Егор ослабил ладони. Урна выскользнула и пошла вниз, толкая собой воздух, как поршнем. Он с шелестом рванулся из-под этого поршня, бросил Егору в лицо запах глубинной холодной земли.

Егор встал, засыпал круглую нору сухой, рассыпчатой

глиной. Заровнял. К серому камню — памятнику Сергею Садомиру — прислонил он латунную табличку с именем Виктора Романовича Петрова. Мать положила два привезенных из крематория венка. Погладила камень, шепотом сказала:

— Идем.

Когда Егор отдал лопату и они шли к воротам, Алина Михаевна вдруг заговорила:

— Папа за несколько дней до смерти оформил завещание... Машину он оставил тебе. Лично...

— Зачем она мне? — помолчав, спросил Егор.

— Я тоже думаю: зачем? Может быть, продать?

— Можно... По крайней мере, будет на что кормиться, пока школу окончу. Если понемногу, на два года хватит.

Мать быстро посмотрела на него. Егор сказал:

— Летом, наверно, работать пойду, если где возьмут. А в училище или техникум я не собираюсь. Мне нужна десятилетка... Или думаешь, что не проживем? Мне много не надо...

— Ничего я такого не думаю, Бог с тобой... Я с мая на работу выхожу.

— Куда?

— В отдел кадров, на «Электрон» устроили... Не думай, что у отца на заводе были только враги.

Егор пожал плечами: он так не думал.

Мать вдруг тихо спросила, глядя перед собой:

— Егор, а ты простил папу?

Он сжался.

— За что?

— Ну... за все. Вы так иногда... немирно жили...

— Теперь-то не все ли равно... — с усилием сказал

Егор.

— Может, не все равно... Может, он сейчас нас слышит и ждет... ответа.

Егор вспомнил фаянсовую выпуклую урну и черную нору.

— Не верю я в это...

— Ну и не верь... А вдруг? И это ведь не только ему надо, но и нам. Тебе...

«У меня еще есть время подумать», — мелькнула у Егора мысль. Но мать с каким-то жалобным молчанием ждала, что он скажет. И Егор сказал неловко:

— Чего уж теперь-то... Простил.

Мать быстро закивала и отвернулась.

Недалеко от ворот кладбища стояла розовая, как пряник, нарядная церковь. Не по-кладбищенски радостно сияли кресты. Алина Михаевна остановилась.

— Горик... Я, наверно, зайду... Так, по традиции. А ты домой, ладно? Что тебе здесь со мной? Я скоро...

Он понял, что мать не хочет звать его с собой в церковь. Наверно, будет его стесняться там. А может быть, просто хочет побыть одна... Он сказал спокойно и понимающе:

— Ладно, я на автобус... И в магазин еще зайду за картошкой.

Сумка, в которой везли урну, была большая, килограммов десять войдет... Но когда мать поднялась на крыльцо и ушла в темную полукруглую дверь, за которой искрились свечки, Егор не пошел на автобусную остановку.

Он постоял, хлопая сумкой по колену, и зашагал назад, к только что засыпанной могиле.

Рядом с могилой была скамейка — серая от старости доска. Один конец на столбике, другой на перекладине, прибитой к сосновому стволу. Егор сел, привалился к дереву плечом. Сосна была корабельная, поднебесная. Высоко-высоко ходила под ветерком ее верхушка. Внизу ствол казался неподвижным, но Егор ощущал его чуть заметное живое шевеление.

Грело солнце, в кустах галдели воробьи. Сварливо кричала ворона. Сверху иногда сыпались желтые иголки, по веткам ближнего молодого сосняка проскакала белка с глазами-бусинами.

Сейчас на душе у Егора не было тяжести. Он просто сидел и думал. Об отце и о других людях, которых тоже теперь нет. Почему же так — были и нет? И зачем они — были? Чтобы передать другим по наследству все, что сделали, и все, что не сумели?.. Дети наследуют не только славу и подвиги отцов. Ошибки и слабости — тоже...

А должен ли он, Егор, что-то наследовать от инженера Петрова, если тот не родной отец?

«А куда ты денешься?» — спросил себя Егор. В самом деле — от того, что было, никуда не деваться.

«А то как же? — с усмешкой сказал он себе. — В наследство — машину, а все остальное — забыть?»

Да провались она, машина! И если бы можно было забыть всю боль... Но ведь было и другое:

С горки на горку
Я несу Егорку...

Хоть немного, но было...

Чем же задавил в себе отец вот это хорошее? Страхом за себя? Боялся, что не сделают начальником цеха? Подставят ногу на пути к высокой должности? Или страх был другой: оторвут от любимой работы? Или все вместе? Сейчас уже никак не узнать...

Да, цех он все-таки построил. Но это ли самое главное в жизни?

А что главное?

У Крузенштерна главным были открытия... У Курганова — повесть... У Анатолия Нечаева — хитрые аппараты, чтобы проникать в морскую глубину. У Гая... У Гая, наверно, боль за неприкаянных, обиженных судьбой пацанов...

Но ведь и Крузенштерн воевал с гадами, которые тиранили в корпусе мальчишек. И Курганов пригрел Толика, у которого не было отца. И Толик возился с Гаем и кинулся грудью на гранату... Учебная? Он же не знал... А капитан-лейтенант Алабышев кинулся не на учебную... Не было Алабышева? А сколько было таких, как он... Было. И ротный политрук Нечаев, дед Гая и Егора, — тоже был. И может быть, тоже в последний миг закрыл кого-то от осколков...

Тогда, может быть, главное — не плавание, не открытия, не книги, а люди? Те, которые растут? Чтобы у них было меньше боли и одиночества?.. Чтобы не уходили они от нас, как лейтенант Головачев и пятиклассник Димка?

Но ведь без плаваний, без открытий, без книг тоже нельзя. Если без них — то зачем жить?

«Это ты бережешь свои паруса...»

«Ну и берегу! И паруса, и книги...»

Вот дурак, еще прошлой осенью думал, что книги — бесполезны. Потому что они о чужих, не имеющих отношения к нему, к Егору, людях... А люди все имеют отношения друг к другу. Даже те, которые жили в разные века. Вон как в жизни Егора сплелись судьбы Крузенштерна и Толика Нечаева, Головачева и Курганова, Резанова и Алабышева... Не было его? Да нет же, был, раз столько мыслей о нем и столько из-за него событий!

Так что же все-таки в жизни главное? У всех людей? И у него, у Егора? И зачем люди живут? Чтобы каждый делал что-то свое? Оставил след и передал другим наследство? А если человек не оставит следа?.. Если жил просто так и ничего не успел?.. Зачем, например, жил Кама, загубивший себя наркотиками в шестнадцать лет?

Гитарные переборы и высокий голос Камы настолько отчетливо послышались Егору, что он даже оглянулся. Но нет Камы, сколько ни оглядывайся. Только и осталось, что эта песня:

Мы помнить будем путь в архипелаге...

Но ведь песня-то осталась! Это хоть что-то. Она кому-то поможет на свете. Пускай даже одному Егору. Все-таки она цепочка между людьми, все-таки наследство. Маленькое? Значит, надо что-то делать в жизни и за Каму...

А зачем живут такие, как Копчик? Как Курбаши?

«...А ты там-то, Кошак, зачем жил до недавней поры? Если бы не Венька, если бы не Гай, где бы ты был сейчас? Может, с Копчиком...»

«Но я же не сужу. Я только хочу понять. И про себя тоже...»

«Ты не судишь Копчика? Да ты убить его был готов!»

«Я и себя готов был убить...»

«Ладно, — снисходительно сказал Егору второй Егор, спорщик и собеседник. — Все в прошлом...»

«А что в будущем?»

...А вообще, что такое будущее? То, чего еще нет, или оно где-то уже есть? Может, это просто прошлое с обратным знаком? Может, найдут люди способ докопаться до самой большой тайны: что такое время? Чтобы и нынешние дни, и те, которые давно прошли, и те, которые еще только будут, связать воедино? И соединить всех людей... Чтобы Егор мог ворваться в каюту Головачева и выбить из его рук пистолет...

Конечно, это фантастика, но иногда (как сейчас вот!) кажется, что еще немного, и тайна времени раскроется. Словно можно ее постичь без формул и математики, а вот так, напряжением чувств. Вот еще совсем немного... Кажется, это не труднее, чем вспомнить забытое слово. Уже и буквы, из которых оно состоит, известны... Последнее усилие нервов — и буквы эти выстроятся, и слово будет прочтено... Нет, опять рассыпались, прыгают, мельтешат, как воробьи...

...Сверху снова упали сухие иголки. Егор запрокинул лицо. Верхушка сосны медленно плавала под облаками. Облака протыкал белый игольчатый след. Там, в десяти километрах от земли, внутри громадной дюралевой сигары лайнера полторы сотни разных пассажиров мчались к своим заботам, к своему счастью и бедам. И конечно, не зна-

ли, что под ними, на далекой земле, на кладбищенской скамейке у сосны, пытается разобраться в смысле жизни восьмиклассник Петров. И о других людях не знали. Даже о тех, кто рядом, в самолете, в большинстве своем не знали тоже.

Печальная мысль о великом разобщении людей затопила на короткое время все другие. В самом деле, люди — острова в океане. Миллиарды островов, громадный архипелаг. А пути меж островов — много ли их? Что на одном острове знают о других? О ближних знают, а о дальних?..

Дальние острова — чужие?

Не потому ли в самолете, летящем на большой высоте, человек с легким сердцем нажимает кнопку бомбосбрасывателя?

Да разве дело в высоте? Ведь бывает и вплотную друг к другу, а в кулаке нож...

А может, загадка времени и загадка разобщенности — одна и та же?

А ключ — где?

...Опять проскочила белка. Черными бусинками глянула удивленно: ты что здесь сидишь так долго?

В самом деле, сиди не сиди, а все тайны жизни тут не раскроешь. Но Егор встал без досады и тревоги. И печаль его была без тяжести, со светлым зайчиком. словно какую-то ниточку клубка тайн он все-таки ухватил...

За памятниками и соснами, за недалеким дощатым забором проносились грузовики. Там, за тыльным краем кладбища, был Восточный тракт. По нему ходили автобусы до центра. И Егор не пошел к главным воротам, пошел к забору, понимая, что должна быть в нем калитка или щель.

Когда оставалось до забора шагов двадцать — буря прошлогодняя трава, лужицы и остатки снега в рытвинах, — Егор увидел в ряду крайних могил синий решетчатый обелиск со звездочкой. И с белой, очень яркой на солнце табличкой:

Дима Еремин

$\frac{16}{IV}$ 1971 — $\frac{19}{III}$ 1983

Егор остановился, будто остановилось сердце. Уронил руки. Димкину фамилию он знал от Гая.

...Значит, нашелся все-таки для несчастного Димки уголок на ближнем кладбище. Спасибо людям хоть на этом. Что здесь помогло?хлопоты интернатского началь-

ства, слезы матери?.. Димка, Димка, если каждый человек появляется на свете не зря, то зачем жил ты свои одиннадцать лет и одиннадцать месяцев? Может, для того, чтобы твоя судьба стала горьким упреком, предостережением для других?

Станет?

Поблекший жестяной веночек с мятой черной лентой был прислонен к обелиску. На ленте меловые буквы: «Дорогому сыночку от ма... ночек, прости ме...»

Егор сдернул шапку и жгутом скрутил ее в кулаках. То, чего не было на похоронах отца, случилось здесь. Тяжелый ком подошел к горлу. Егор быстро оглянулся. Он был один...

...Потом у забора, в лужице среди вялой травы и мусора, Егор набрал в пригоршню ледяной воды, ополоснул лицо. Вытер мятым платком. Постоял. Коричневая бабочка, живая, веселая, закружилась перед ним. Егор уронил платок и следил за ней, пока она не улетела в щель забора. Это было как глубокий вздох. Как прощение...

Два меча

Михаил приехал через неделю и в самом деле привез хронометр. На этот раз он зашел к Егору домой. И с облегчением узнал, что Алины Михаевны нет дома: она ушла на завод что-то уточнять насчет будущей работы.

И все же Михаилу было неуютно. Выпил он чаю с Егором на кухне, а потом сказал:

— Пойдем погуляем. Как-то привычнее на ходу разговаривать.

Разговаривали обо всем понемногу, но, конечно, не обошли в беседе и рукопись. И Наклонова.

— Как он? — спросил Михаил.

— Да ничего. Недавно по телику выступал...

— Да? Небось, о новых задачах писателей в свете последних решений?

— Не знаю. Я выключил... От руководства студией он отказался, но объяснил, что не из-за меня, а потому что в какую-то командировку собирается... А про меня сказал, чтобы оставили в покое. Не надо никаких разборов.

— Откуда ты знаешь?

— Бутакова сообщила...

Светка действительно недавно подошла и назидательно произнесла:

— Скажи спасибо Олегу Валентиновичу. Он звонил в школу и просил, чтобы не устраивали никаких собраний и разбирательств. И что у него нет к тебе претензий.

— Рыло в пуху, вот и нет претензий...

— Ох и наглец же ты, Петров...

Даже не «Петенька», а «Петров».

— Зато ты образец. Гордость всей системы народного просвещения... Свежий бутончик на веточке Классной Розы... Не забудь передать ей эти мои слова.

— Не бойся, не забуду.

— Подумать только, — вздохнул Егор. — Было время, когда я на тебя даже заглядывался маленько...

Она дурашливо закатила глаза.

— С ума сойти! Но надеюсь, это прошло?

— Без следа.

Егор проводил Михаила на вокзал и там сказал:

— Все хочу спросить... С Асей-то что?

— С Асей все в порядке, — вздохнул Михаил. — Слава Богу, хоть с этим-то все в порядке... Никитка предъявил ультиматум. Или, говорит, вы поженитесь наконец, или я уйду жить на теплоход к дяде Сереже Снежко. Куда теперь нам деваться?

— Ну и... когда?

— Ну и скоро... Не бойся, сообщу.

Возвращаясь домой, Егор с удовольствием думал, как в тишине квартиры звонко тикает хронометр. Наполняет ее живой неутомимой жизнью. И он правда тикал — слышно было даже в прихожей. И Егор весело заспешил в комнату.

Но когда он вошел, увидел, что над хронометром наклонилась мать. Она обернулась:

— Это откуда у тебя?

— Гаймуратов приезжал, привез... — нехотя сказал Егор.

— Что, в подарок?

— Да, вроде...

— Что значит «вроде»?

— В общем, мне. Насовсем.

— Но это же очень дорогая вещь. Корабельный хронометр, я знаю...

— Конечно, дорогая, — не удержался Егор. — Это хронометр Анатолия Нечаева.

— Я так и думала, — тихо сказала Алина Михаевна.

— А что такого?

— Да нет, ничего... — Она ушла и уже из другой комнаты громко сообщила: — Егор, я договорилась о продаже машины.

— Ну и прекрасно.

— Нужно твое согласие...

— Сколько угодно. — Он почувствовал в своем тоне лишнюю ошетиненность, сказал помягче: — Чем скорей, тем лучше. А кому?

— Не знаю пока... Андрей Данилович сказал, что нашел покупателя.

— Кто сказал?

— Ну... Пестухов.

— А ему-то что надо?

— Помогает... Он был другом отца.

— Неужели? — не выдержал Егор.

— Да! И не забывай, что теперь это наш единственный друг.

— Ну-ну... — сказал Егор.

Встреча с «единственным другом» произошла через пять дней.

У восьмиклассников в тот день было всего три урока, потому что школа готовилась к демонстрации. Погода стояла совершенно летняя, уже проклевывались почки. Великанский термометр на теневой стороне многоэтажного Института связи показывал двадцать три градуса. И настроение было празднично-каникулярное — послезавтра Первомай.

В таком настроении пришел Егор домой, без куртки и шапки, в расстегнутом пиджаке. Открыл бесшумный замок своим ключом и услышал в комнате голоса.

Алина Михаевна и Пестухов сидели у накрытого стола. Мать что-то с быстрым, нервным смехом говорила Пестухову, а он часто кивал и ладонью мягко похлопывал по ее открытой до локтя руке.

— Здравствуйте, Андрей Данилович, — отчетливо сказал Егор. — Я не помешал?

Пестухов дернулся, убрал руку под скатерть, сел прямо. Заулыбался:

— О, Егор... Викторович. Какой ты рослый стал.

Ничего глупее сказать он не мог.

Мать суетливо спросила:

— Горик, ты откуда? Так незаметно вошел...

— Из школы, вестимо... Замок хорошо смазанный.

... Пестухов торопливо распрощался.

... Алина Михаевна вошла в комнату к Егору. Он сидел на тахте и слушал, как тикает хронометр.

— Андрей Данилович уже совсем договорился с покупателем, — напряженно сказала мать.

— Андрей Данилович мужик быстрый...

— Горик... Не понимаю, почему он тебе так не нравится.

Не поднимая лица, Егор проговорил:

— Мне не нравится другое...

— И... что именно?

Понимая, что нельзя это говорить, и зная, что все равно молчать не сможет, Егор тяжело сказал:

— Как ты быстро забываешь... Сперва Нечаева, потом...

Мать ударила его по щеке, по другой. И еще... У Егора мотнулась голова, но он не закрылся, продолжал сидеть так же. И лишь когда мать заплакала, медленно встал.

— Вот так. Сразу решили все вопросы...

Мать сквозь слезы выговорила:

— Ты думаешь... мне легко? Ты хоть раз меня спросил?.. А ты понимаешь, что мы совсем одни? Что так, как раньше, мы жить не сможем?

— А ты хочешь жить, как раньше? — искренне удивился Егор.

Мать перестала плакать. Несколько секунд они, словно очнувшись, смотрели друг на друга. Егор переступил на ковре.

— Я пойду... Мне к Юрке Громову надо, насчет билетов по русскому...

На самом деле он хотел попросить у Юрки велосипед и погонять по улицам. Просто так, проветрить голову. Или пойти с Юркой в кино, если есть на афишах что-нибудь подходящее. Но когда Егор вышел из-под арки на улицу, он увидел, что ему навстречу шагает по солнечному асфальту Ваня Ямщиков.

Ваня заметил Егора издали, заулыбался и двинулся вприпрыжку. Он был одет уже по-летнему, в новых зеленых шортах, в рубашке с короткими рукавами — ярко-желтой, вроде одуванчиков, что всюю цвели у заборов и фундаментов. Тоненький такой и жизнерадостный... Правда, в улыбке мелькало смущение, а в прыжках была чуть заметная скованность. Егор понял Ванюшку: вспомнил себя такого же, когда согрешившимся весенним днем, словно

желая поторопить приход настоящего лета, скидываешь осточертевшую шерстяную форму и выскакиваешь на улицу вот такой голорукий, голоногий — первый раз в году, раньше других. И сердце колотится от смеси чувств: радостной легкости, какой-то стыдливой беззащитности и в то же время дружеской доверчивости, с которой отдаешь себя солнцу и долгожданному теплу...

— Лето празднуешь? — сказал Егор. — Молодец. А что от Веньки слышно?

Танцую рядом с Егором, Ваня сообщил:

— Завтра приезжает. Я к тебе и шел, чтобы сказать.

Егор обрадовался, хотя и так знал почти точно — завтра. Анна Григорьевна уехала за Венькой еще накануне.

— Ты куда идешь? — спросил Ваня.

— Куда глаза глядят.

— Пойдем тогда к нам!

— Зачем?

— Ну... так. «Спартак» тебе отдам, я уже опять перечитал всего.

— Ты хитрый. Ты мне его отдашь, а я с ним таскаюсь потом по городу, да? Нет уж, сам принесешь.

— Ну, ладно... А с тобой можно? «Потаскаться по городу»? — Он глянул хитровато и просительно.

— Пошли, — кивнул Егор. Он был рад. Не хотелось уже ни на велосипед, ни в кино с Юркой. Хорошо было идти просто так, смотреть на зеленые клювы лопнувших кленовых почек, на танцующего то справа, то слева, то впереди Ванюшку. На брата Веньки. И хорошо было помнить, что Венька приезжает завтра...

А как они встретятся, Егор и Венька? Вдруг вместо радости возникнет между ними тяжелая неловкость, когда не знаешь, о чем говорить, как себя вести? В конце концов, откуда Егор взял, что он зачем-то Веньке нужен? С какой стати? Ну, несколько писем было между ними, ну, книги Егор посылал в больницу. Ну, к Ванюшке заходил... Это что, дружба?

Но не хотелось тревоги. Ничего плохого не хотелось. Даже обида на мать растаяла, хотя кожу на щеках до сих пор покалывало от недавних хлестких ударов. Пусть... Зато вон какой день, просто июнь.

Конечно, Егор понимал, что будет еще холода. В мае случается и слякоть, и даже снегопады. Но именно потому день этот с его непрочным теплом, с первой зеленью и жизнерадостным «летним» Ванюшкой был таким хорошим.

Ваня перестал пританцовывать, пошел рядом и серьезно сказал:

— Я читал вчера опять, как Спартак дрался последний раз... Он здорово дрался, только там не написано, что он бросил щит и сражался двумя мечами. Венник говорит, что это в другой книге. Не знаешь, в какой?

— Не знаю... Но, наверно, так и было.

— Наверно. Значит, два меча лучше, чем меч и щит, да?

— Смотря какой бой. Бывает, что и лучше... Вань, хочешь в сад имени Пушкина? Там, говорит, игральные автоматы поставили. У меня три пятнадцатка есть...

— Ага! — Ваня подпрыгнул. — И у меня два, вот! — Он выхватил денежки из кармана, подбросил на ладони. — А если не работают автоматы, то мороженое...

Дорога к саду Пушкина вела мимо школы, и в полквартале от школьных ворот встретили они Ванину учительницу.

— Здравсте! — сказал Ваня, хотя, конечно, видел ее совсем недавно, на уроках. И Егор буркнул «здрассте». Одино он не стал бы с ней здороваться, но раз с Ванюшкой идет...

Она рассеянно кивнула. Но когда уже разминулись, вдруг окликнула:

— Ямщиков!

Ваня и Егор обернулись. Анастасия Леонидовна шагнула назад и раздраженно сказала:

— А почему ты не на репетиции? Шастаешь по улицам неизвестно с кем, когда весь класс работает. — Она сделала еще шаг к Ване и возвышалась над ним — рослая, красивая, рассерженная.

Ваня поднял лицо. Сказал без боязни:

— А какая репетиция? Вы же сами всех отпустили.

— Я? Отпустила? Я сказала Лене, чтобы она проверила все ваши номера для утренника! Ты хочешь мне наврать, что она вас не оставляла?

— Она оставляла. Только не всех, а у кого стихи и танцы. А я только в хоре...

— А хор не должен, по-твоему, репетировать? Будете голосить на концерте, как мартовские коты? Кто это придумал вас отпустить? Стрельцов? Кто в классе хозяин — я или Стрельцов?

— Стрельцов вовсе ни при чем, — сказал Ваня. — Лена говорила, что хора сегодня не будет, потому что баянист занят.

— Баянист не твоя забота! Надо быть там, где коллектив, а не болтаться!

Ваня чуть заметно пожал плечами, глянул на Егора: что, мол, поделаешь.

— Ну, ладно. Пойду на репетицию.

Независимо-покладистый Ваня тон окончательно взвинтил Анастасию Леонидовну.

— Да? Пойдешь? В таком виде, без формы? Там тебе не парк культуры и не цирк. Там школа! Ясно? Школа!

— Не уроки же... — тихо сказал Ваня.

— Школа — это всегда уроки! Заруби себе на носу!

Егор мгновенно вспомнил, как запрокидывал Ваня лицо с разбитым носом, а Венька смывал кровь. И Егор сказал:

— Чего вы на него кричите? Привыкли?

Она мгновенно перенесла свой гнев на Егора:

— А ты!.. Ты!.. Шпана! Ты что суешься? Мало что один брат из-за тебя в больнице, хочешь довести до беды и второго?! Ямщиков, чтобы я тебя больше не видела с этим!..

У Егора, как от недавних оплеух, заломило щеки. Ваня шагнул назад, взял его за рукав, потом отпустил. Егор, сжимая губы, смотрел Анастасии Леонидовне в лицо. Вся ее красота облетела с лица, как пудра, оно было красно-пятнистым.

— Замолчите. Если ничего не знаете... — глухо сказал Егор.

— Он говорит «замолчите»! Учительнице! Это ты у меня заткнешься! На педсовете! Загубил одного брата и гуляет с другим, как ни в чем не виноватый! Сидел бы лучше, как мышь!

— А пока я буду сидеть, как мышь, вы будете издеваться над ними. Да?.. Тыкать мордой о парту, орать, гонять, доводить до слез. Вы все... И доводить их, чтобы бегали из дома, да?.. И до могилы, как Димку Еремина... Да?!

Она хлопнула губами. Замигала. Может, что-то слышала раньше о Димке. А может, просто потеряла дар речи. Егор повернулся, чтобы взять Ваню за руку и уйти.

Вани не было...

То ли испугался Ваня Настасьиною крика, то ли просто решил, что лучше всего — с глаз долой. Что с него возьмешь, совсем еще малёк...

Ладно, если просто испугался.. А если подействовали

Настасьины слова, что Егор виноват в несчастьях Веньки? И ушел Ваня не со страха, а от неожиданного и тяжелого открытия, что Егор — враг?

Потерянно шагая по улице, убеждал себя Егор, что все это чушь. Не может Ваня так стремительно стать к нему, к Егору, другим. Он ведь и раньше все знал и понимал.

Но тоскливая тревога была сильнее логики, и наконец Егор отдался этой тревоге полностью. Безнадежной, изматывающей. И день уже был не день, и солнце — не солнце...

На остановке вскочил Егор на автобус и через пять минут оказался дома. Он машинально, без удивления, отметил, что на лестничной площадке, против лифта, прислонен к стене пыльный велосипед (вот кому-то досталось тащить его на седьмой этаж). Отпер дверь. Мать встретила его в прихожей. Смотрела виновато. Торопливо сказала:

— Горик, к тебе мальчик пришел. У тебя в комнате сидит, ждет. Я дала ему твои тапочки, надень папины...

Егор, не сняв кроссовок, шагнул в комнату.

На тахте сидел, неловко выпрямившись, с толстой папкой на коленях Денис Наклонов.

Денис встал. Глядя мимо Егора, произнес отчетливо:

— Отец велел передать. Вот... — он протянул папку. — Он говорит: «Раз Петров считает, что это его, то пусть...»

Егор с недоумением и с тяжелой неловкостью, и в то же время с толчком радости, принял в ладони увесистую папку из пыльного шероховатого картона. Что он мог сказать? Можно было ожидать какой угодно развязки у истории с рукописью, но чтобы вот так...

Денис поглядел наконец Егору в лицо. Сказал уже тише, спокойнее:

— Отец говорит, что нашел это давным-давно, когда разбирал какой-то архив в Новотуринске. Он думал, что это просто чьи-то заметки, выдержки из разных журналов. Как документы... Он понятия не имел, что это чья-то законченная книга... Там, кстати, нет нескольких страниц, в начале и в середине...

Беспомощность этого объяснения была так очевидна, что Егор отвел глаза. Денис упрямо проговорил:

— Ты думаешь, в его вести много совпадало с этими бумагами? Только некоторые места... Но он теперь вообще не будет писать про это, он порвал и сжег на даче свою повесть. Говорит: «Не хочу, раз так получилось... А это, — говорит, — отдай»...

«Если совпадали только некоторые места, зачем сжигать свою повесть? Не проще ли переделать?.. — подумал Егор. И еще подумал: — А почему не сжег всё? И кургановскую рукопись тоже? Тогда бы — ни следов, ни обвинений...» Однако мысли эти проскочили скомканно, сумбурно — на фоне странной виноватости, которую Егор испытывал перед Денисом.

Но одна мысль повторилась. Четко:

«Почему он все-таки вернул рукопись?.. Денис, ты его заставил?»

Он спросил это Дениса Наклонова глазами, и тот понял. Порозовели щеки. Сжались губы. Но взгляда Денис не опустил. Повторил:

— Не думай, будто он списывал. Больно ему надо...

«Я не думаю, Денис. То есть думаю, но этого тебе не скажу никогда. Я тебя понимаю...»

Отцов не выдумывают, они такие, какие есть. Но... если вдруг оказывается, что не такой он, каким был в твоих глазах, наступает, наверно, отчаяние. И тогда — или со слезами, или, наоборот, со стальным упрямством — ты говоришь: «Зачем ты так? Ты же сам учил меня честности...» И, наверно, отец — если он отец — понимает, что больше нельзя шагать назад. Сзади — черта. И тогда он готов отдать все на свете, не то что чужую рукопись... В конце концов, что дороже: рукопись или сын?

Но это уже были не мысли, а скорее, ощущение, полудогадка.

И еще одно почувствовал Егор. Что не даст Денис отца в обиду, какой бы тот ни был. Будет отстаивать его перед Егором, перед собой и перед самим отцом — Олегом Валентиновичем Наклоновым. И перед всем белым светом.

И это было справедливо.

«Я понимаю», — чуть не сказал Егор. Но не решился. Да и все ли он понимал?.. А что еще сказать? «Спасибо за рукопись»? Глупо и неловко. А может, подробнее: «Я вижу, как тебе трудно, только пойми и меня, я не мог не ввязаться в это дело, я обязан был, потому что за мной и Курганов, и Толик Нечаев — тоже отец! Это было неизбежно, всё вело ко мне. Все линии! У меня даже нарисовано это, хочешь, покажу?»

Но это был бы уже долгий разговор. А с какой стати Денис должен выслушивать излияния Егора Петрова? Он, Денис Наклонов, сделал все, что был должен. И за себя, и за отца. И теперь с чистой совестью может уйти...

Но ведь надо же что-то сказать!

Может, просто: «Не злись на меня...» Ох ты, чушь какая!..

И в этот миг отчаянно взорвался, заколотился, сбив привычную плавную мелодию, сигнал у входной двери.

Егор прыгнул в прихожую, рванул запор. Встрепанный, в сбившейся рубашке, задохнувшийся встал на пороге Ваня.

— Егор!.. Они там.. Наши газеты в макулатуру, в машину... Давай, может, успеем..

Как много может подумать человек за несколько секунд: сообразить, вспомнить, прийти в отчаяние, скрутить это отчаяние, прикинуть план действий... И все это, пока мгновенно оглядываешь взмыленного Ванюшку (цел ли?), виновато оборачиваешься к Денису (извини, но видишь — не до беседы!), толкаешь Ваню перед собой и вместе с ним летишь к лифту (дверь после Вани даже еще и не закрылась)...

Вот дубина Егор Петров! Сколько раз собирался потребовать у вожатой «Новости Находки» и отнести Ямщиковым! А потом — то одно, то другое. Конечно, грустные были дела, тяжкие, но Веньке-то от этого будет не легче, когда завтра узнает, что лучшие номера «НН» отправились в утиль... Кто посмел? Ошибка? Или нарочно?.. Могли и нарочно, потому как газеты «йдейно не выдержанные и подрывают педагогические принципы»...

Только бы успеть!

Неделю назад восьмиклассники работали на субботнике, убрали двор, и Егор видел, как ребята из младших классов складывают в углу у школьной мастерской кипы старых газет, бумаги и картона. Получилась целая куча, до крыши мастерской. Потом эта куча лежала и лежала, не было машины... Сегодня тоже субботник — для тех, кто не работал в прошлый раз, не смог или прогулял. И видимо, как раз пришел грузовик. И наверно, Ваня как-то заметил свои газеты в куче бумаг... Все это можно уточнить потом. Сейчас главное — не опоздать...

...— Постой! — звонко сказал в спину Егору Денис. — Возьми велосипед! На нем быстрее!

Рассуждать некогда, на велике действительно быстрее. Егор поставил ногу на порог лифта — чтобы дверь не закрылась.

— Давайте!

Денис и Ваня воткнули в кабину вскинутый на заднее колесо велосипед. Втиснулся Ваня.

— Я прибегу в школу, — крикнул Денис, и дверь за-
двинулась с нетерпеливым лязгом.

...Весу в Ванюшке — как в охапке соломы. Если бы не держал Егора за ремень, даже и не почувешь, что он на багажнике. И Егор мчался, давил на педали, срезая углы на перекрестках, пересекая пустыри, где были уже про-
сохшие твердые тропинки.

Один раз Ваня вскрикнул.

— Вань, ты что?!

— Репейником врезало! Ничего, жми!

— Как ты узнал про газеты?!

— Когда Настюшка с тобой заругалась, ко мне Вовка Шарков подбежал! Сказал, что видел! Как в машину ки-
нули!

— И что?!

— Я сразу туда, а там этот... который Физик. И ребята
большие! Я говорю: «Отдайте!» А они: «Не мешай, там
ничего нет!» Я опять, а они: «Пошел прочь!» Я долго про-
сил, а они...

— И Поп-физик?

— Он: «Отойди, мальчик...» Я тогда Вовку за нашими
ребятами послал, а сам к тебе!

— Почему ты сразу меня не позвал?! Я же рядом был!

— Я не думал... что они так! Сперва думал — отда-
дут!..

«Лишь бы не ушла машина...»

...Она еще не ушла. Егор увидел это почти за квартал.
Переулок вел к школьному забору, к боковой калитке.
Под уклон. За низкой бетонной изгородью виден был сто-
явший во дворе грузовик. Над бортами поднимались пух-
лые вороха макулатуры. На них топтались двое мальчи-
шек, ловили пачки, которые им бросали снизу. Но вот пе-
рестали ловить. Прыгнули с кузова... Машина гуднула и
медленно пошла на асфальтовую дорогу, ведущую к школь-
ным воротам.

— Ванька, с коня!

Егор крикнул это без всякого пижонства, без всякой
романтики. Просто короче это было, чем «с велосипеда»
и даже «с велика». И Ваня — вот молодец! — без малей-
шего спора и промедления скатился с багажника. На миг
Егор оглянулся, заметил, что Ванюшка поднялся с земли,
трет коленки. Ладно, жив...

Нельзя было выпустить машину со двора. На улице —
не догнать, не задержать. Егор влетел в боковую калитку

и по тропинке среди ломкого прошлогоднего бурьяна, у самой изгороди, гнал велосипед к распахнутым решетчатым воротам. Наперерез грузовику. А тот уже катил по асфальту бодро, деловито, хотя и не очень быстро.

Не было страха! Хоть под колеса! Хоть на таран!.. Он успел. Звоном и скрежетом отозвался велосипед на мгновенный тормоз. Слева у самого плеча увидел Егор дышащий теплом и бензином, словно вздыбленный, радиатор...

— Ты что, сволочь такая! Себя не жалеешь — меня пожалей! — орал усатый шофер, наполовину высунувшись из кабины. Усы казались очень черными на совершенно белом лице.

Но не было у Егора страха.

— Марш назад! — гаркнул он шоферу. — Куда Венькины газеты повезли! Воры!

Он скинул с плеча ладонь Поп-физика:

— Руки!.. Куда повезли газеты Ямщикова? Все равно не пушу!

Два незнакомых старшеклассника сдернули Егора с велосипеда, хотели отшвырнуть, но умело и стремительно Егор дал ребром ладони одному по губам, а другого посадил на асфальт ударом в поддых...

Вот где случился неравный бой. Думал — будет это с приятелями Копчика и Курбаши, а оказывается вот что!.. Значит, они такие же, раз против Веньки! Две стороны одной медали! Вон и завуч Тамара Павловна бежит сюда, размахивая руками.

— Что происходит?! Да он с ума сошел! Звоните в милицию!

Пусть хоть всю милицию города созовут! Он умрет здесь на дороге!

Егор отскочил назад, встал в воротах. Потянул к себе одну решетчатую створку, другую. Их заело... Не закрыть собой широкий проезд!..

Но со звоном грянулся под колеса машины второй велосипед, и рядом встал Громов. Вцепился в руку Егора.

Счастливым, чуть не со слезами, Егор крикнул:

— Откуда?!

— Ванькины пацаны позвали!

Справа тоже кто-то вцепился в руку Егора — ладонь в ладонь. Егор не видел кто. Потому что с яростным восторгом следил, как между ним и рычащим радиатором встает плечом к плечу десяток маленьких и абсолютно бесстрашных второклассников. Тех, кого не разучили еще быть

людьми ни грозная Анастасия Леонидовна, ни здравомыслящие родители, ни вся жизнь...

Шофер уже не кричал. Смотрел молча. Поп-физик что-то лихорадочно говорил Тамаре Павловне. Старшеклассники из бригады Поп-физика растерянно сопели.

Всем им Егор сказал уже не громко, с последней надеждой, с последним убеждением:

— Ну, вы что?! Ну, разве вы не люди хоть немного? Там же газеты Ямщикова! Он их делал целый год!

— Нет там никаких газет! — крикнул Поп-физик. — Что за чушь! Это старая макулатура!

— Газеты тоже старые! Их туда нарочно кинули! — отчаянно сказал Ваня, и еще несколько голосов крикнули: «Мы видели»

— Да это черт знает что! — проговорил Поп-физик. — Вы в школе или где? Освободите дорогу!

— Еще чего! — рассмеялся Егор. Не было страха.

— А в чем дело-то? — вдруг спросил с подножки шофер. — По какой причине такой базар? — Он уже успокоился.

— Там стенгазеты моего брата! — звонко сказал Ваня. — Они их нарочно в макулатуру!

— Ямщиков! Как ты смеешь! — Тамара Павловна махнула руками, как курица крыльями. — Ты что врешь! Теперь что прикажешь, всю машину разгружать?

— Хоть десять машин, — сказал Егор. Он держал крепкие ладони — Юркину и еще чью-то, но казалось, что это два меча. Один — свой, другой — всех, кто не может быть здесь, но за кого Егор обязан воевать. И знал уже Егор, что, в отличие от Спартака, он победил.

— Товарищ водитель, вы можете ехать, — решительно произнесла Тамара Павловна. — Мальчики отойдут.

— Фиг, — сказал в шеренге второклассников грубиян Стрельцов. А шофер сошел с подножки и стал закуривать. И сообщил:

— Вы уж извините, я пединститут не кончал. Давить детей меня не учили...

Егор увидел, как с дальнего конца двора идут несколько рослых десятиклассников. И среди них Костецкий. По тому, как ловко и без разговоров принялись они за дело, ясно стадо: они все знают. Видно, кто-то успел сбежать за ними и все объяснить. Костецкий гибко и красиво взметнул себя в кузов и начал кидать бумажные пачки остальным. Его друзья ловко укладывали их на асфальт.

— Костецкий, это вам так не пройдет, — сказал Поп-физик.

Но больше никто ничего не сказал, и все в тишине смотрели, как работают десятиклассники и растет груда макулатуры на асфальте.

Наконец Костецкий поднял пачку ватманских листов с разлохмаченными краями.

— Ванюшка, эта?

— Да!

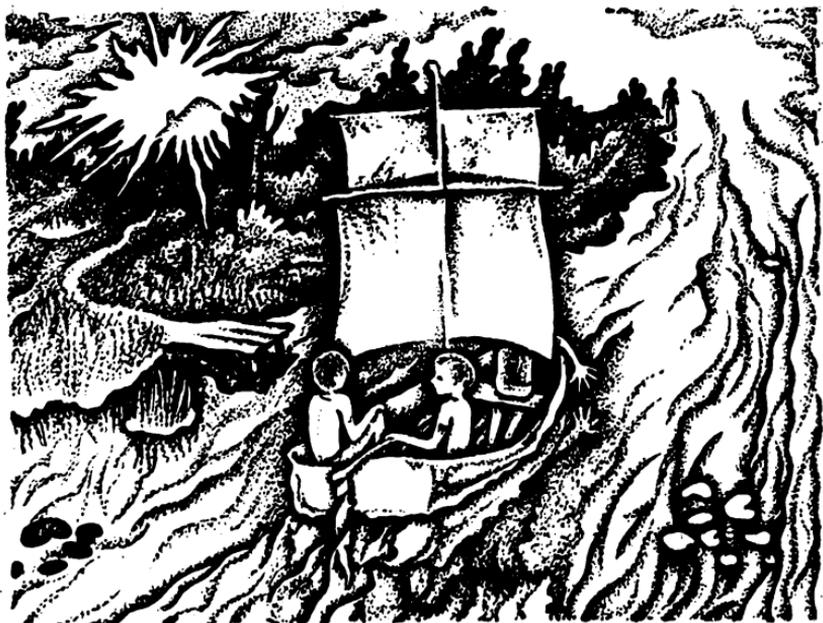
— Держите, хлопцы!

Второклассники поймали пачку в протянутые руки, и Ваня прижал ее к перемазанной ярко-желтой рубашке.

Вот и все. Можно было расцепить руки и уйти с дороги. Можно было даже помочь загрузить снова машину.

Егор отпустил руку Громова и посмотрел наконец направо. Рядом стоял Денис. Серьезный, с привычно насупленным взглядом из-под волос.

Они разжали руки не сразу. Только через долгую-долгую секунду.



Послесловие

Визит учебного корабля

Среди пасмурных и зябких дней ленинградского мая выдался вдруг один ясный и очень теплый. Такой безоблачный, что Нева из желто-серой превратилась в голубую, будто Черное море. И редактор, выйдя из дома, решил, что пойдет на работу пешком.

Это был пожилой редактор, хотя и ведал журналом, у которого главным читателем была молодежь. Высокий, сухощавый, с внешностью потомственного ленинградского интеллигента. С тем еле заметным следом-тенью на лице, по которому знающие люди определяют человека, перенесшего в детстве блокаду...

Редактор шел через Литейный мост, и солнце грело ему плечи сквозь плащ. И он думал, что внук Сашка был прав, когда скандалил с матерью: не хотел идти в школу в теплой куртке. Правда, это было утром, а сейчас пол-

день. Редактор всегда начинал работу перед обедом, чтобы закончить поздно вечером...

Выйдя на Литейный проспект, редактор слегка помрачнел. Он представил, что в редакции его наверняка встретит заведующий отделом прозы и скажет что-то скучно-неприятное. Он, этот заведующий, был, без сомнения, прекрасный работник, опытный литератор, автор нескольких книжек, но повадкой напоминал редактору осторожного пожилого кота. Сходство увеличивали прямые усы на полном лице и некоторое мурлыканье в голосе. Пряча за этим мурлыканьем досаду и беспокойство, заведующий и сказал при встрече:

— Евгений Дмитриевич, Ираида Львовна справедливо утверждает, что эту бесхозную рукопись уместить в трех номерах невозможно. Может быть, все-таки поставим вместо нее «Девушку с буровой»? Испытанный автор, актуальная тема... Зачем нам какая-то самотечная повесть сомнительного происхождения?

— Борис Борисович... Мы же всё решили на редколлегии.

— Решить-то решили, но как-то все-таки...

Чувствуя неприязнь и зная, что заведующий отделом об этой неприязни догадывается, редактор скрыл ее в полусутоливом тоне:

— Но, любезнейший Борис Борисович, вы же ведаете отделом прозы, а не отделом «как-то все-таки...». Будем готовить к печати, как договорились...

— Ну что ж... Тогда я могу так и передать тому... «кадету»?

— Кому?

— Молодому человеку, который осчастливил нас этой архивной находкой. Он звонил сегодня, хочет прийти. Говорит, что в Ленинград попал всего на сутки, зайдет после обеда.

— Вот и хорошо. Попросите его заглянуть ко мне.

В кабинете редактор сел в привычное кресло, с привычным неудовольствием посмотрел на кипу непрочитанных рукописей и привычно прикинул план сегодняшних дел. Их было «от пупа и до маковки», как выражается Сашка. И все же настроение не испортилось.

Комната сегодня казалась на редкость просторной и даже незнакомой — от щедрого солнца. Редактор глянул на май за окном, приласкал глазами стоявшую на подоконнике модель двухмачтовой брамсельной шхуны — по-

дарок внука. Улыбнулся и сказал секретарше в открытую дверь:

— Галина Викторовна! После обеда зайдет молодой моряк по фамилии Петров. Умоляю вас, не изображайте Сциллу и Харибду, пустите его сразу ко мне.

Как многие люди, в юности мечтавшие о море, но моряками не ставшие, редактор испытывал слабость к кораблям и к представителям всяких флотских профессий. Слабость эта была почти детская, редактор ее стеснялся, ибо знал: о ней догадываются и над ней подшучивают. Потому он так сурово и обратился к милой Галине Викторовне.

Петров появился в четверть третьего. Был он без фуражки, штатская курточка скрывала морфлотскую форменку, но суконные брюки и казенные ботинки выдавали принадлежность Петрова к курсантской братии торговых и рыболовных мореходок.

— Здравствуйте... Борис Борисович сказал, чтобы я к вам зашел...

Курсант Петров явно стеснялся главного редактора. Пригладил пшеничную шевелюру, растянул в полумесяц широкие губы, но глаза были беспокойные. И с надеждой.

Редактор вышел из-за стола, протянул руку.

— Товарищ Петров? Я вас видел мельком прошлый раз в отделе прозы... Садитесь, прошу, — он показал на кресло. Но курсант Петров сел рядом с креслом на скрипучий канцелярский стул (тот, который обычно служит стремянкой для уборщицы). Поставил у громадных своих ботинок аэрофлотовскую сумку. Тербил ее ремень и смотрел на модель шхуны.

А редактор смотрел на Петрова.

— Какими судьбами в Ленинграде? Или специально к нам?

Петров, сидевший боком, обернулся.

— Нет, мы перегоняли сюда из Гданьска новый парусник. Он будет участвовать в празднике «День города».

— А! Это из серии учебных фрегатов, которые поляки строят по нашему заказу?

Петров кивнул. Редактор сказал с ноткой ревности:

— Если парусник шел к нам, а не в Калининград, не могли разве набрать экипаж из наших, ленинградских ребят?

— Отовсюду брали. Тех, кто уже знаком с парусами.

— Ах да! Вы, кажется, в прошлом году ходили на «Крузенштерне»?

— Да, в регате...

— Ну и как?

Петров опять улыбнулся и стал смотреть на шхуну.

— Ну как... Хорошо. Чего хотел, то и было.

— Я почему спросил... Не все курсанты любят паруса.

— Нет, я хотел... Я потому и в Калининградское поступил, чтобы поближе к «Крузенштерну». Оттуда всегда набирают практикантов на него...

— Ну что же, тогда поговорим о Крузенштерне. Не о барке, а об Иване Федоровиче... Точнее, о повести, которую вы нам предложили.

Курсант Петров неловко зашевелился на скрипучем стуле, выпустил ремень сумки. Глянул с откровенной боязнью.

«На реи он лазит наверняка более смело», — подумал редактор. И ободряюще сказал:

— Надо уточнить некоторые детали... Редакторской до- работки повесть почти не требует, но необходимо, чтобы специалисты сделали комментарии. Впрочем, это забота редакции. А поговорить я хочу о вашем предисловии. Есть кое-какие замечания.

Курсант Петров снова завозился на стуле.

— Да, прозаик из меня никакой... Как и поэт, конечно...

— Прозаик из вас... Впрочем, об этом после. Меня пока беспокоит фактическая сторона. Вы подробно описываете начало всей истории с рукописью, а затем — всё как-то глухо. Вот... — редактор притянул к себе раскрытую папку. — «...Потом оказалось, что рукопись все-таки не погибла. Кочуя по чердакам и архивам, попала она в руки одного человека и долго лежала у него никому не известная. А несколько лет назад снова сплелись вокруг нее загадки и разгадки, события и встречи... Нашлась даже древняя машинка. Прозвучал со старой пленки голос инженера Нечаева, который наизусть читал эпилог повести. Августовским вечером в Севастополе, на палубе «Крузенштерна», он рассказал курсантам о гибели капитан-лейтенанта Алабышева, а через несколько дней сам погиб от руки убийц. Судьбу рукописи он так и не узнал... Но время, которое до сих пор стучит в старом корабельном хронометре Арсения Викторовича Курганова, все расставляет на свои места. Закончились и приключения потрепанной картонной папки с повестью «Острова в океане». Она попала к автору этих строк. И он — последний в ряду тех, через чьи руки она прошла, — предлагает ее читателям. Пусть ребята и

взрослые хотя бы через сорок лет узнают писателя Курганова. И может быть, его герои — люди давних дней — заставят лишний раз кого-то задуматься: так ли мы живем? И зачем? И не виноваты ли в чьих-то несчастьях? И как быть, если виноваты?

...А кому-то напомнят они, что есть еще на свете паруса и дальние острова в бескрайнем океане.

И пусть читатель не будет на автора в обиде за это название, одинаковое с романом Хемингуэя. Повесть была написана раньше...»

Редактор кончил читать. Курсант Петров смотрел в пол, и щеки у него были темно-розовыми. Он выдавил:

— Ну, я же говорю... Скверно, конечно...

— Да нет, я не упрекаю вас за стиль. Написано несколько патетично, однако в данном случае это уместно... Но почему у вас скомкана в конце история рукописи? У кого рукопись была?

Курсант Петров потер щеки и стал смотреть в окно.

— Не хотелось писать подробнее. Сложно это...

— Но у читателей возникнут вопросы.

Курсант Петров чуть заметно, однако упрямо пожал плечами.

— Ну, тогда вопрос у меня, — сказал редактор. — Деликатный. Если не считаете возможным его касаться, то и не отвечайте. Но... несколько лет назад случай свел меня с одним литератором. Назовем его товарищем Эн... И он говорил мне о повести с похожим сюжетом. Закончит, мол, и предложит нашему журналу. Это... никак не связано?

— Это... наверно, связано, — сказал курсант Петров и посмотрел прямо на редактора. — Но «товарищ Эн» сам вернул мне рукопись... после наших объяснений. Чего же еще...

— Чего же еще... — откликнулся редактор. — Что ж, вам виднее.

— Он вернул рукопись, — насупленно повторил Петров. — К тому же он в детстве с моим отцом играл. Сложно все это... И у него есть сын. Такой же, как я...

— Он... ваш друг?

— Нет... То есть не знаю... — Курсант Петров опять взглянул в лицо редактору. Лицо было располагающим, редактор правился Петрову. Несмотря на непростые вопросы. — Нельзя сказать, что друг. Мы и видимся редко... Но... что-то есть, наверно. Случалось, выручали друг друга.

— Понятно.

— Но дело даже не в этом. Я не хочу писать о его

отце, потому что это... будто стреляешь, когда противник уже сдался.

— Да, пожалуй... Хотя товарищ Эн, если и сдался, то лишь в случае с вами. А вообще-то он весьма деятелен и бодр. Набирает силу. Пьеса «Яблони президента» идет в десятках театров.

— Ну и что? — сказал Петров. — Это совсем другое дело. Эту пьесу написал он сам, я знаю точно.

— Да, вы правы, я отвлекся. Просто пьеса мне не понравилась, хотя критики хвалят взахлеб.

— Мне она тоже не понравилась, — вздохнул Петров. — Но это уже особая тема...

— Вы правы еще раз. Вернемся к нашей теме... Оставим предисловие как есть, не будем трогать товарища Эн... Поговорим лучше о вас. Ваша специальность — штурман?

— Будущий...

— И, судя по всему, будущий литератор, — без улыбки сказал редактор.

Щеки курсанта Петрова опять зацвели. Он пробормотал:

— Это уж как получится...

— Я прочитал ваши стихи.

— Да?.. — И стало длинному, большому курсанту Петрову совсем неуютно на этом подло скрипящем стуле. — Я даже и не думал, что вы... что сам главный редактор будет... Думал, так просто кто-нибудь поглядит, если будет время...

— Я прочитал, когда просматривал портфель отдела поэзии. Неплохие стихи. Не очень оригинальные, но есть сделанные крепко. Можно было бы даже некоторые напечатать, если бы не такая перегрузка в журнале.

— Да ну их совсем... — сдавленно сказал курсант Петров.

— Дело не в том, что «ну их совсем», а в том, что, по-моему, это для вас просто начальный этап. Вы со временем наверняка перейдете на прозу... Нет пока таких мыслей?

— Вообще-то есть... — курсант Петров несолидно шмыгнул носом и завозил по полу могучим ботинком.

— Не поделитесь?

— Я... у вас, наверно, и так времени нет...

— Есть, — сказал редактор.

— Ну... Я набрасывал что-то вроде плана повести. Называется «Визит учебного корабля».

— А! Это по впечатлениям недавних плаваний?

— Нет... Тут по всяким другим впечатлениям. — Кур-сант Петров слегка оживился. — Может, даже немного фантастика. Сначала про одну картину... На выставке...

— Интересно...

— Выставка художников в небольшом городе... Ну, там, как обычно, портреты передовиков, местные пейзажи, ватюморты... И вдруг — большое полотно. Такое синее с желтым. Море, небо, желтый берег. И городок на берегу — белый, одноэтажный, степной. И так написано, что даже зной чувствуется... А у причала, за домами, — парусник. Ну, паруса, конечно, скатаны на реях, только рангоут и такелаж в небе... И он такой громадный, этот корабль, по сравнению с городком! Даже борта над крышами поднимаются, а весь корпус растянулся на два квартала. И мачты совсем в поднебесье, в четыре раза выше водонапорной башни и колокольни... Это ведь и в самом деле так. Придвиньте «Крузенштерна» к такому городку, сами увидите...

— Придвинул, — серьезно сказал редактор. — Впечатляет.

— Ну вот... А по улице, по кривой такой, среди камней и полыни, бегут к берегу мальчишки... А один мальчишка, это уже не на картине, а в городе, где выставка, сбежал из школы и на эту выставку заглянул. Случайно... Сбежал там из-за всяких причин, не виноват он даже... Ну, и замер перед полотном. И ходит потом каждый день, смотрит... На улице слякоть, осень, а на картине солнце, море и корабль этот... И вот такая тоска у мальчишки, что... ну, как это сказать... она раздвигает границы реального...

— И мальчик оказывается на корабле?

— Не-е... — Петров помотал головой совсем по-детски. — Тут другое. Просто лето приходит удивительно быстро. А может, мальчишке так показалось, потому что все время помнил картину, как бы жил в ней... И тоска у него по парусам. А моря нет рядом, только река. И вот он с друзьями делает корабль: плот связывает или старую лодку они чинят, я еще не придумал... В общем, это повесть о плавании по реке. Но плавание там — не главное, там много всего... Главное, что они однажды пристают к небольшому поселку, а в нем тоже мальчишка, лет девяти. И для него этот случайный самодельный кораблик — как для того, для главного героя корабль на картине. Но сейчас-то ведь уже не картина, а по правде. И куда теперь

этого мальчишку девать, который на берегу?.. Ну, я заговорился.

— Вы рассказываете очень... емко, что ли. И убедительно. А вот эта картина... с кораблем... Вы ее где-то видели?

— Нет... придумал. Но ведь может быть такая?

— Собственно, она уже есть. В вашей повести.

— Да повести-то еще нет, — стесненно усмехнулся Петров.

— А скажите... Вот это плавание на плоту, оно тоже только воображаемое? Или что-то было?

— Плавание было. Не на плоту, на шлюпке... Я девятый и десятый классы заканчивал в Среднекамске, это у реки город. У родственников жил. Ну, и летом отремонтировали дырявую посудину, поставили прямой парус и отправились. Целый экипаж...

— Значит, есть и герои будущей повести?

— Ну... я не хочу в точности списывать. Но вообще-то есть. Такие пираты собрались: Никитка, Витек, Ванюшка, Генка Стрельцов...

— И вы один ими командовали? Как капитан?

— Нет, были ребята постарше, одноклассники из моей прежней школы: Венька, Юрий... И мой двоюродный брат, взрослый совсем. Тот, у которого я жил. Хорошая компания...

— А... простите, если не секрет, почему вы у брата жили? Вы... без родителей?

— Без отца. А мать вышла снова замуж... Да нет, мы не ссорились, но... В общем, жизнь.

— Егор, — сказал редактор. — Вас ведь Егором зовут? Егор, вот что я хочу сказать. В вашей жизни, наверно, будет много сложностей, трудностей, пертурбаций. Как у всякого. И повесть ваша, возможно, будет писаться с трудом. И покажется не раз, что надо бросить... Обещайте, что не сделаете этого. А?

— Постараюсь, — пробормотал Егор Петров. — Конечно... Хотелось бы...

— А когда закончите, пришлите ее мне... Скажем, через год. Большого срока я вам не даю... А в зачет будущего я обещаю вам вот что: одно ваше стихотворение мы напечатаем. В ближайшем номере.

Егор Петров глянул недоверчиво и радостно. Хотел сдерживать улыбку, но губы расплывались полумесяцем.

— Совсем даже не ожидал...

— Напечатаем. «Балладу о хронометре». Она, кстати, как-то перекликается с повестью Курганова... Вот... — он

вытянул из-под бумаг знакомые Петрову листы. — Я отложил... Только скажите, чем вам не нравится ваша фамилия? Прекрасная, самая русская... И чем лучше псевдоним «Нечаев»? Или... это как-то связано с тем Нечаевым?

— Связано. Я его сын.

— Бог ты мой. Вот в чем дело-то... Ну, я уже не отваживаюсь на дальнейшие вопросы...

— Рос-то я с отчимом. Потом он тоже умер... Ну, а фамилию отца я узнал только в восьмом классе.

— Ясно... Выходит, вам в наследство досталась вся эта история.

— И хронометр Курганова, — улыбнулся Егор.

— Кстати, о наследстве... Нам надо коснуться еще одного вопроса, чисто юридического. Повесть будет считаться вашей публикацией, положен соответствующий гонорар... А не получится так, что у Курганова отыщутся прямые наследники и предъявят свои права? Тем более что сам он родом из Ленинграда...

— А я уже отыскал наследников, — сказал Егор.

— Ого! Как вам удалось?

— Ну, это рассказывать — еще одна повесть. Многие помогали. В том числе и Денис... Сын товарища Эн. Он сейчас здесь, в Ленинграде. В кораблестроительном. Но в конце концов помог счастливый случай. В письмах моей бабушки, матери Толика... Анатолия Нечаева, нашли бумажку с ленинградским адресом... Тетя Варя, моя тетушка, догадалась, что, наверно, это адрес, по которому бабушка сообщала дочери Курганова о его смерти... Ну и точно. В том же доме на Петроградской стороне и живут.

— И кто же наследники?

— Дочь Курганова умерла два года назад. У нее был сын, офицер. Внук Курганова. Он прошлым летом погиб в Афганистане... Сейчас в той квартире живет его вдова...

— Да... но вдова внука, это, увы, не прямая наследница...

— Но у нее есть сын. Правнук Курганова, пятиклассник... Я вам оставлю их адрес.

Выражение «у него выросли крылья» было вполне применимо к второкурснику Калининградского высшего морского училища Егору Петрову. С этим ощущением радостной невесомости он отмахал своими ботинками расстояния от редакции до одного из дальних кварталов Петроградской стороны. И шел теперь к старому, уцелевшему в войну четырехэтажному дому.

Тротуар вывел к бетонной изгороди школьного двора. Изгородь и сама школа были очень похожи на ту, в которой Егор заканчивал восьмой класс. Что поделаешь, типовая постройка...

Но на школьном дворе не было типовой унылости. Был праздник. Рядом с изгородью репетировали барабанщики: отбивали шаг на месте и ловко лупили палочками по синтетической коже красных лаковых барабанов. Это был тот же марш, который когда-то показывал Егору Никитка, приемный сын Михаила: в школе, где после университета работал Михаил, готовили торжественный сбор, и вот Никитка старался...

Сейчас мальчишки тоже готовились к пионерскому празднику — через несколько дней 19 мая. Над школьным двором, растянутый между столбом спортплощадки и тополем, выгнулся, как парус, под теплым ветром широкий кумач:

1987

70 лет Великого Октября

65 лет советской пионерии

Дружина! Крепче шаг на марше!

А потом Егор увидел и настоящие паруса. Почти настоящие. Пунцовые, небесно-синие, пламенно-оранжевые, зеленые, лимонные. Они трепетали над макетом старинного фрегата. Макет был размером с автобус. Корпус фрегата, украшенный узорами, фигурами озорных морских коньков и масляной росписью, стоял на четырех парях велосипедных колес. Десятка полтора мальчишек возились у корабля: подтягивали тросы, накачивали шины, прибывали к корме щит с номером школы.

Это был, без сомнения, тот корабль, о котором в нескольких письмах рассказывал Костик Бессонов.

Значит, и сам Костик должен был находиться где-то здесь.

Егор прошел во двор и спросил у ребят, где Бессонов из пятого «В». Но мальчишки пожали плечами.

— Разве он не в экипаже вашего корабля?

Старший паренек, по виду класса из девятого, недовольно сказал:

— Много, кто в экипаже. А как работать — не себе-решь.

Егор двинулся со двора, и его опять догнала дробь барабанного марша. Сто двадцать шагов в минуту, удар в полсекунды. Ритм корабельного хронометра... И вспомнив

про «Балладу о хронометре», Егор снова ощутил радостную невесомость.

Костик Бессонов оказался дома. Он сам открыл Егору. Узнал, заулыбался:

— Ой... а ничего не писал, что приедешь...

— Так получилось. Мы привели сюда фрегат... Наши ребята сразу уехали в Калининград, а я отпросился на сегодня. Поеду ночью... Мама, наверно, на работе?

— Да... Проходи. У меня котлеты нажарены с картошкой...

Полутемный коридор дохнул на Егора запахом старой коммунальной квартиры. Но просторная комната встретила его солнцем и чистотой. Пахло старым деревом свежeweмытого пола, стояло ведро с висевшей на краю тряпкой. Костик радостно сказал:

— Ты садись, я сейчас кончу по хозяйству...

Егор скинул у порога свою казенную обувь («Да зачем ты, — сказал Костик. — Вытер бы, да и ладно...»), прошел, сел на край тахты. Как и в прошлый раз, глянул на Егора с настенной фотографии капитана ВВС Вячеслав Бессонов. Командир вертолета, потерявшего управление после выстрелов с землей и врубившегося в склон горы севернее Герата. У капитана Бессонова были спутаны ветром светлые волосы и смешливо искрились глаза. И уже не первый раз в жизни подумал Егор Петров, как хранят фотографии живые взгляды людей, которых нет на свете...

Звякая ведром, Костик деловито сказал:

— Сейчас я буду тебя кормить.

— Да я пообедал в столовой... Слушай, я мимо вашей школы шел, видел ваш корабль. Ничего себе отгрохали! Ребята с ним возятся, я думал, ты тоже там...

— Да не... — сказал Костик. Он стоял спиной к Егору и выжимал тряпку. Потом пошел к двери. Егор смотрел вслед. Он думал, что имя Костик очень подходит сыну капитана Бессонова. Мальчишка был как сухая коричневая косточка — щуплый, смуглый, с темным ежиком волос. И с родимым пятном на мочке уха, похожим на твердое семечко... Только глаза не были твердыми. И не коричневые они, а желтовато-серые. Порой не по-мальчишески серьезные глаза, с тенью недоуменно-печального вопроса. Впрочем, понятно...

Вот этими глазами, уже без улыбки, глянул Костик на Егора, когда вернулся. Босой, в подвернутых трикотаж-

ных штанах, в забрызганной майке, с мокрыми руками. Молчаливый.

Глуша в себе невольное беспокойство, Егор сказал:

— А я тебе голландку привез. В которой Гай снимался, помнишь?

Костик быстро кивнул. Помнил, конечно, что Егор обещал прислать алую атласную блузу, которая за двадцать лет не потеряла красоты и блеска и очень годилась для матроса сказочного фрегата. На том корабле, который движется на стадион впереди праздничной колонны...

В письмах столько было про этот корабль! И как его строили в кружке юных моряков, и как выбирали экипаж. И какие пестрые костюмы нужны для этого экипажа.

Егор достал из сумки газетный сверток (выкатилась заодно и курсантская фуражка). Развернул газету. Розовые отблески разлетелись по обоям, по стеклу фотографии.

— Ух ты, — сказал Костик. Но опять без улыбки. — Спасибо.

Он взял блузу за плечи, прикинул к груди.

— Длинновата, — заметил Егор. — Ну, ничего, мама подошьет.

— Да... Она уже и брюки для нее сшила, белые, тоже с блеском, — вполголоса отозвался Костик. — Давно еще...

— Примерь как следует, Костик.

Он кивнул и так, с опущенной головой, отошел, но не к зеркалу, а к окну. И, увидев замершую спину Костика, Егор быстро встал.

Подошел.

Тихо повернул Костика за плечи. Тот плакая молча, без вскрипов. Капли бежали по щекам, срывались, оставляли на алом атласе влажные длинные следы.

— Что? Не берут в экипаж?

Костик опять кивнул. Точнее, еще ниже наклонилась голова. Егор осторожно повесил блузу на спинку стула, так же осторожно усадил Костика с собой на тахту.

— Расскажи. Может, что-то придумаем.

Сперва он помолчал, конечно, поотвораживался, сердито размазывая кулаком остатки слез. Пробормотал что-то вроде «да ну их всех...». А потом рассказал (правда, тихо и с перерывами) о том, как неделю назад Дора Борисовна сказала, что седьмым уроком будет внеочередной классный час и на него придет уволенный в запас десантник, будет говорить про Афганистан. И одни обрадовались, а

другие заняли, что опоздают в музыкальную школу, в кино и по всяким важным делам. Костику тоже не хотелось оставаться. Понятно почему. Но Дора Борисовна сообщила, что, если кто сбежит, «пойдут письма на работу родителям». Костик разозлился было и решил, что «ну и пусть пойдут». Но тут (уже не при Доре Борисовне, а только при ребятах) начал стонать и жаловаться на жизнь некий Глеб Самойлов, любимец Доры. Наверно, чтобы показать, что он вовсе не любимец, он сказал:

— Придумала тоже: на седьмом уроке кинуть из-за какого-то... Они там воюют за ордена да за валюту, а ты сиди и слушай...

Он, конечно, не помнил про отца Костика Бессонова. И самого Костика, наверно, даже не видел среди других. Но другие-то помнили и видели. И замолчали, и на Костика посмотрели. И тому что оставалось делать? («Ну правда, Егор, что?») Он сказал Глебу:

— Ох и гад же ты проклятый... Тебя бы самого туда...

Глеб (длинный такой и ехидный) сделал глаза щелочками и спросил:

— Че-го-о?

— А вот «того», — сказал Костик и, хотя вовсе не был драчливым человеком, вмазал сейчас от души Глебу по губам. И раскровянил.

И был тут сразу крик, растащили их, Дора кинулась звонить матери Костика (это ее любимое дело — звонить родителям), потому что, «кто бы какие слова ни говорил, а решать в школе вопросы кулаками никто не имеет права, здесь не Америка».

А Костик заплакал злыми слезами и, почти не помня себя, сказал ей, что, значит, она «сама такая, если заступает за этого гада»...

Короче, много чего было потом, и в конце концов Костика вытурили из корабельного экипажа, потому что «там во главе колонны пойдут самые достойные, а не те, кто позволяет себе дикие выходки». Глебу, конечно, тоже попало за те слова, но ему-то что? Он в экипаже все равно не был...

Наум Львович, бывший штурман, а теперь руководитель кружка судомоделистов и юных моряков, которые строили фрегат, трижды ходил к Доре, уговаривал, рассказывал, как работал Костик на строительстве. Но без толку. Дора Борисовна сказала, что у них в классе самоуправление, и раз ребята решили не допускать Бессонова, так и будет. А никакого самоуправления нет, потому что все

ребята за Костика, только привыкли голосовать, как велит Дора...

— А мама что же? — поинтересовался Егор.

— А что мама... От нее тоже попало. Говорит: «Может, и правильно дал этому Самойлову, но зачем грубить учительнице»... А еще говорит: «Если будешь хвастаться отцом, сниму портрет, так и знай...» А я когда хвастался?

Они разом посмотрели на фотографию.

Егор тихо спросил:

— А при чем портрет-то?

— Да так... Не знаю... — Костик сосредоточенно выдерживал нитки из продырявленной на колене трикотажной штанины. — Она еще и раньше говорила: «Может, лучше повесить папину фотографию у тебя над столом?» Это там, в другой комнате...

— Почему? — помолчав, спросил Егор.

Костик намотал длинную нитку на палец.

— Ну... наверно... чтобы каждый раз не спрашивали, кто это... Те, кто приходит.

«Значит, есть уже «те, кто приходит», — подумал Егор.

Что ж, матери Костика всего тридцать один год... Тем, кто приходит, конечно, неловко встречать живой, искрящийся взгляд капитана Бессонова...

— А ты что сказал? — нерешительно спросил Егор.

— А я сказал: не дам. Пусть висит.

«Вот так, — подумал Егор. — Ни распутать, ни помочь». Но помочь можно было в другом.

— Давай-ка одевайся. Пойдем.

— Куда?

— В школу... — Егор почувствовал на щеках привычный холодок — тот, который ощущал каждый раз перед тем, как «влезть в очередную историю».

Костик вскинул мокрые глаза:

— Зачем?

— Затем, что рано ты сдался. Драться надо.

— Как? — он печально улыбнулся.

— А вот так! В конце концов, при чем здесь ваша Дора Борисовна? Это пионерский праздник, а не классный час. Все газеты пишут про самостоятельность отрядов...

— Ха, газеты... — сказал Костик. — Что они ей... — Но глаза быстро высохали.

— Одевайся, тебе говорят.

Костик исчез в другой комнате и тут же вернулся в школьной форме.

— Если надо, к директору пойдем, — сказал Егор.

— А он спросит тебя: «Вы кто такой?»

— А я скажу: брат.

— А врать нехорошо, — с дурашливо-нравоучительной ноткой ответил Костик. И улыбнулся.

Улыбнулся — это уже здорово!

Егор деловито объяснил:

— Никакого вранья. Мой отец, Анатолий Нечаев, был таким другом твоего прадедушки, что покрепче всякого родства. Так что на должность двоюродного брата я вполне гожусь...

Костик перестал улыбаться.

— По правде?

— Да.

— Тогда пошли... Пусть niente не получится, все равно...

Когда шагали к школе, Костик вдруг сказал:

— Я никогда отцом не хвастался.. А мама все равно говорит: «Гордиться можно, а хвастаться незачем». Говорит: «Неважно, чей ты сын, а важно, какой ты сам...»

— Все важно. И чей ты сын — тоже. И чей внук и правнук... Костик, а повесть Арсения Викторовича будут печатать в журнале. Сегодня сам главный редактор сказал.

— Правда? — Костик опять заулыбался и даже запрыгал рядом.

— Значит, сейчас ты правнук писателя... Хвастаться не надо, а гордиться можно...

— Егор... — Костик поглядел сбоку смущенно и хитровато. — А твои стихи... может, тоже когда-нибудь напечатают?

— Может быть... — не удержался Егор. — Редактор обещал, что возьмет «Балладу о хронометре». В ближайший номер даже...

— Ой... значит... — Костик прикусил улыбку и сбил шаг.

— Что?

— Да так.

— Ну что, все-таки?

Костик шепотом и вроде бы шутя, но смущенно сказал:

— Выходит, я и брат поэта?

— Ну, поэт из меня... как весло из кочерги... А кой-каким журналистским приемам Гай меня научил. Так что пошли смелее. — Школа была рядом, и Егор взял Костика за руку.

Но в школе никого из нужных людей не оказалось.

Ни вожатой, ни директора, ни Доры Борисовны, ни Наума Львовича. И во дворе уже было пусто. Цветные паруса с фрегата были сняты, мачты и реи голо торчали над крышей мастерской.

— Ну и ладно, — вздохнул Костик.

— Да нет, не «ладно», — хмуро возразил Егор.

— Все равно ничего не выйдет... Я ведь не поэтому с тобой пошел...

— А почему же? — недовольно сказал Егор.

— Ну, так... Потому что с тобой...

Они медленно зашагали обратно. Костик озабоченно поглядывал на Егора. Тот сердито насвистывал: «Мы поминуть будем путь в архипелаге...» Посвистел, сказал:

— Наверно, это и завтра не поздно решить.

— Ты же ночью уезжаешь!

— Ну, застряну на сутки.

— А не влетит?

— Влетит.

— Ой... Не надо, Егор.

— Ты лучше скажи: говорил с мамой насчет Среднекамска? Чтобы приехать летом?

— Говорил, конечно.

— И что?

— Ну, как полагается... «Если не будет троек...» «Если будут деньги...» Да отпустит! Ей же лучше, отдохнет от меня.

— Вот и ладно. Поплывем от Среднекамска аж до Решетникова... Там такие места!

— Ты же писал, что шлюпка рассохлась!

— Хлопцы плот вяжут из автомобильных камер. Чуть не сотню их уже набрали...

— Ура... А ты будешь капитаном?

— Адмиралом...

— Егор... А что за «Баллада о хронометре»? Я не читал.

— Ну, ты много чего у меня не читал. Вот приедешь...

— Это о том самом хронометре? О прадедушкином?

— О нем.

— И он все еще тикает?

— Вполне точно тикает. Он и у тебя еще тикать будет.

— Почему... у меня? — Костик опять сбил шаг.

— Потому что приедешь и заберешь. Твое наследство.

— Да ну... — сказал Костик, пряча удивление и нерешительную радость. — Как это...

— Очень просто. Я же говорю — наследство.

— Но он же сейчас твой. Ты же...

— Что?

— Ну... — Костик виновато задышал. — Ты же ведь не помер...

— А это и не надо, — засмеялся Егор. — С хронометром по-другому. Как находится новый наследник — тот сразу ему в руки.

— А тебе... не жалко?

— При чем тут «жалко»? Это закон.

Редактор в это время, окончив ряд срочных дел, взялся за листы с «Балладой». Он знал, что предстоит выдержать бой с экспансивным заведующим отделом поэзии. Тот станет кричать, что «Баллада» растянута, сыра, написана явно ученически и далека от канонов современной поэзии. И будет прав. Действительно, стихи многословны, немало неуклюжих строчек и рифм...

Но чем-то же цепляет «Баллада» сознание и душу! Есть же у этого Егора Петрова какая-то струнка. Вроде бы и рассуждения о природе времени наивны, и слишком длинен стихотворный рассказ, как попал к мальчишке старый корабельный хронометр; и конечно, вызовут возражение «технические» строки об устройстве механизма с горизонтальным балансиром.

И вроде бы совсем лишнее воспоминание о Севастополе, где на крутой ракушечной лестнице встречается автору похожий на младшего брата мальчишка...

Не баллада, а целая поэма. Подсократить бы...

Но что сокращать? Все сцеплено, черт возьми. Мальчишка не выкинешь. Горизонтальный балансир тоже...

Может, убрать вот эти строки?

Он говорил негромко и доверчиво,
Что жизнь, она, конечно, непроста,
Но в то же время Время бесконечное
Со временем все ставит на места...

Или вот эти?

И вдруг приходит мысль-освобождение,
Счастливая, как бегство из тюрьмы, —
Что нету во Вселенной просто времени.
Что время — в нас. Что время — это мы...

«Жонглирование дилетантскими сентенциями», — примерно так выразится заведующий отделом поэзии.

А все-таки здесь что-то есть...

Нас прихватил норд-вест, и море древнее
Швыряло пену желтую в лицо,

И под стеклом орехового ящика,
На непреклонной, как судьба, оси
В неутомимом ритме барабанщика
Стучит горизонтальный балансир.

И этот стук — сандалий звонких щелканье:
По трапу из ракушечных камней
Спешит наверх братишка в алой форменке —
По времени.

По вечности.

Ко мне.

...Костик скрылся за поворотом, а Егор смотрел вслед. Когда расстаешься с тем, за кого отвечаешь, всегда бывает тревога. Даже если нет причин и если расставание — совсем ненадолго. Все равно.

В переулке взвизгнули тормоза, и Егор кинулся за угол. Но это просто резко тормознул у поворота бестолковый «Жигуленок».

А Костик бежал к дому. Потом опять оглянулся. Встал. Увидел Егора. И пошел обратно. Пошли они навстречу друг другу.

— Егор... — сказал Костик. — А что мне дома-то? Мама поздно придет... Давай, я лучше с тобой. Ты будешь делать свои дела, а я так... вместе. Можно?

И Егор сказал:

— Идем.

1984—1987 гг.

СИНИЙ ГОРОД НА САДОВОЙ

Повесть 1990 года





Первая часть

ДТП

Трескучее знакомство

Ваза была высотой в полметра, крутобокая. Из фарфора или фаянса. На выпуклой поверхности художник изобразил синей краской городской пейзаж. Тесно стояли дома с острыми голландскими крышами, упирались в круглые облака башни и колокольни, раскидывал голубые струи фонтан с русалками, кудрявились деревья, и вилась между ними горбатая, выложенная булыжниками мостовая. А над крышами и в конце улицы поднимались мачты с подобранными парусами и длинными флагами.

Стояла ваза на тумбочке, вровень с подоконником, и хорошо была видна прохожим сквозь чистое стекло. Когда Федя проходил или проезжал здесь на велосипеде, она оказывалась у него на уровне глаз. Маленький синий город написан был тонкой кистью, со множеством всяких

деталей, и каждый раз Федя успевал заметить какую-нибудь новую подробность: то флюгер-кораблик над башенкой, то рыбака под аркой каменного мостика, то двух мальчишек, прилаживающих вертушку на гребне крыши... Он всегда замедлял здесь шаг или слегка давил на тормоз. Но останавливаться совсем не решался: за окном-то, в комнате, люди живут. Приятно им разве, если каждый разинув рот станет маячить перед стеклом?

Окно с нездешним городом было крайним в большом ряду. Дом был длинный, одноэтажный, старинный. С украшениями в виде строгих женских масок под карнизом. Время прошло по алебастровым маскам неласковой рукой, и теперь каждая из них жила со своим выражением... Дом слегка изгибался, следуя плавному повороту улицы. К тому же улица шла здесь с пологим спуском, поэтому на другом своем краю здание не выглядело приземистым: из травы постепенно вырастали квадратные подвальные окна. Судя по занавескам, там тоже обитали люди.

Улица здесь называлась хорошо — Садовая. Кстати, много лет носила она другое имя — Жданова. Но недавно ей вернули прежнее название, полученное впервые еще лет двести назад. Говорят, в ту пору здесь росло множество садов.

Улица и сейчас была зеленая. Над многими крышами подымались косматые вековые тополя. В мае густо цвели над заборами яблони и черемуха. А в газонах, по бокам от разбитой асфальтовой дороги, тесно стояли старые клены с «подлеском» из мелкой желтой акации. И поэтому здесь не было зноя даже в такую жару, которая навалилась на областной город Устальск нынче, в середине июня...

Федя открыл для себя Садовую весной этого года, когда стал уезжать на велосипеде подальше от дома. То есть он бывал на этой улице и раньше, но редко и не замечал, какая она хорошая. А недавно, в конце апреля, увидел в окне вазу, и Садовая сделалась для него... ну, будто сама она — частичка того Синего города. Даже Борису он ничего не сказал о таком открытии. Слишком уж это было... свое, что ли. Нет, Борис поймет, конечно, только кто знает, сумеет ли ощутить себя внутри этого Города?.. И Федя стал заходить и заезжать сюда один. Любимым средством пользовался, чтобы путь его пролег по Садовой.

Машины здесь почти не ходили, не грозили мальчишке-велосипедисту. Не встречались и компании, готовые завопить: «Чё тут разъездили, а ну, вали с несвоей улицы!»

Проехав мимо окна с вазой, Федя уже не вертел педали, позволяя велосипеду самому ехать под уклон по тропинке между асфальтом и деревянным штакетником. Скорость постепенно нарастала, но в конце спуска и поворота Федя обязательно оглядывался через плечо. На пустынной улице это не страшно. К тому же в свои двенадцать лет он был человеком постоянных привычек. Этот секундный взгляд через плечо тоже стал привычкой: «Посмотрю еще раз на оставшийся за спиной Город».

Конечно, вазы в дальнем окне уже не было видно, только поблескивало стекло. Но сама Садовая казалась отсюда удивительной и даже немного таинственной. Как средневековый замок, ощетикивался кирпичными башенками дом, в котором помещались всякие конторы вроде «Облкниготорга». Торчала над кленами старая и красивая пожарная вышка, правее ее краснела готическая колокольня костела, который давным-давно построили в Устальске ссыльные польские повстанцы. Все это вместе с мезонинами, тополями, чердачными будками, жестяными узорами дымоходов над печными трубами создавало мгновенную, как в мелькающих кадрах кино, картину неведомого города. И ничуть не было похоже на мир одинаковых многоэтажек, в которых обитал Федя...

Посмотрев по привычке назад, Федя каждый раз пригибался к рулю и давил на педали, чтобы не потерять скорости. И не случалось ни разу, чтобы кто-то оказался на пути. Да и как этот «кто-то» мог возникнуть на тропинке за одну секунду?

Но сегодня случилось небывалое.

Глянув через плечо, Федя вновь обратил вперед сощуренный взгляд наездника и... сердце ухнуло в желудок. Перед ним метрах в трех торчала девчонка. Стояла боком к велосипеду и держала коробочку размером с портсигар...

Конечно, палец вдавился в кнопку звонка, а ноги рванули педали назад, на тормоз! Да толку-то... И одно оставалось: крен, рывок руля и — передним колесом в штакетник...

Хрустнули рейки. Инерция плавно сняла Федю с седла, пронесла головой сквозь жесткие ветки акации и аккуратно уложила в развилку крепкого клена. Пару секунд Федя висел в этой великанской рогатке, мысленно прошупывал себя — все ли цело? — и дивился своему везению (ведь гораздо больше шансов было башкой о ствол). Затем задры-

гал ногами, упал в траву и вскочил, подтягивая трусы. При застревании в клене они съехали, лишив Федю поступок всякой окраски героизма и жертвенности. Хорошо хоть не совсем. Резинка тугая...

Он, закусив губу, посмотрел на виновницу аварии. Та отскочила с тропинки к забору. Прижимала к губам костяшки согнутых пальцев и растерянно таращилась на Федю.

Федя наградил девочку соответствующим взглядом и пошел к велосипеду. Как и следовало ожидать, тот выдержал испытание. Подумаешь, какой-то речный штакетник! Их с Борисом верный «Росинант» видал и не такое. Федя поставил задрезавшую «конягу» на колеса, оперся о руль и опять глянул на девочку. Теперь действию полагалось покатиться по привычному сценарию. Следовало сказать что-нибудь вроде: «Дура сосновая, торчит тут на дороге, как одноразовый шприц в витрине, а люди должны шею ломать...» И в ответ услышать об ушибленных в детстве «ковбоях», которые разиня рот несутся сослепу, как бочки с горы... После чего и расстались бы.

Но... Федя глянул и не стал ругаться.

Искушенный читатель небось подумает, что мальчишка встретился с незащитным взглядом юной красавицы, испытал незнакомое ранее смущение и потерял дар речи. Вот уж нет! Девочка была самая обыкновенная. Со слипшимися прядками короткой стрижки, с мелким, без всякой красоты, лицом (такое и не запомнишь сразу). Если бы не вельветовая, мышиного цвета, юбка и не капельки-сережки, можно было бы принять ее за пацана, Федино одногодка. Такая же голенастая, тонкошея, уже с загаром. В мальчишечьей майке с надписью: «Автоспорт». Она смотрела на Федю с боязливой вопросительностью, но уже без прежнего большого испуга. Вытянутыми в дудочку губами дула на костяшки пальцев. И ждала тех самых слов. А поскольку ждала, какой смысл их говорить? Да и главное, что оба целы: и «Росинант», и он сам...

И, глядя поверх девчонкиной головы, Федя со снисходительным вздохом произнес отдельно:

— Дэ-тэ-пэ...

— Что? — нерешительно откликнулась девчонка.

— «ДТП», говорю, дорожно-транспортное происшествие. Все виновники и участники живы и в госпитализации не нуждаются. Будем вызывать ГАИ? Взаимные претензии есть?

Девочка наконец улыбнулась:

— У меня нет... Я только перепугалась.

— Думаешь, я не перепугался? — сумрачно признался Федя. — Ладно, на этом разбор происшествия закончен. Больше не торчи на проезжей части... — Он встал на педаль, толкнулся, перекинул ногу и покатил, ощущая спиной девчонкин взгляд. И как бы все еще видя ее перед собой: серьезно-виноватую, со сжатым костлявым кулачком у губ, с качающейся под локтем на ремешке черной коробочкой (фотоаппарат, что ли?). А на остром локте блестит влажно-красный рубчик...

Это алое пятнышко сперва царапало сознание подспудно, без всяких мыслей. Потом появилась и первая тревожная мысль. Федя от нее отмахнулся: «Да ладно тебе! Ты, что ли, виноват?» Однако беспокойство зацарапалось ощутимее, и Федя понял, что так просто теперь от этого не отвяжешься. Он себя знал. «Хватит тебе! — попробовал он еще огрызнуться. — Подумаешь, царапина. Придет домой, смажет, забинтует...»

«А если она далеко от дома?»

«Ну и не помрет!..»

Но тут вернулось последнее, с чем не поспоришь: «А если бы такое со Степкой?»

Чертыхнувшись, он развернул «Росинанта». Тот сразу отяжелел, заупрявился — на подъеме-то! Привставая от натуги на педалях, Федя поехал назад, потом соскочил, повел велосипед за руль. Девочка по-прежнему стояла у забора. Смотрела на подходившего мальчишку без удивления. Будто знала, что он вернется. И сказала, когда подошел:

— У тебя на спине майка порвана. На лопатке...

Федя закинул руку, нащупал вырванный клочок и дыру.

— Фиг с ней. А с локтем у тебя что?

— Где?

Подавив стеснительность, Федя взял ее руку, повернул (черный аппарат опять закачался на ремешке). С локтя сорвалась красная капля.

— Ох, я и не заметила с перепугу... Тут гвоздь в заборе.

— Гвоздь, он ржавый. Вот протянешь ноги от заражения...

На «Росинанте» было две сумки-аптечки: одна под рамой — для велосипеда, другая под седлом — для всадника.

Федя разорвал хрустящий пакет с бинтом, скрутил тампон.

Ранка на локте была небольшой, но глубокой. Федя промокнул ее марлей, отбросил в подорожники покрасневший комок. Скрутил из бинта другой. Зубами вынул пробку из коричневого пузырька. У девочки жалобно округлился рот.

— Можешь визжать, только не дергайся, пожалуйста...

Морщась, как от собственной боли, он прижал к ранке пропитанную йодом марлю. Степка при таких случаях тарашил глаза и мужественно сопел. Девочка страдающе сказала:

— Не буду я визжать... Ой... А ты что, всегда с собой медикаменты возишь?

— Ага... Говорят, что я перестраховщик...

— Кто говорит?

— Все... Родители. И я сам...

Он забинтовал ей локоть.

— Как у тебя ловко выходит... Учился, да?

— На себе. И на родственниках, — буркнул Федя. — Ну, все. Теперь будешь жить. Пока... — Сунул остатки бинта в сумку, встал на педаль.

— Постой. А майка-то...

— Что «майка»? Я же ее йодом не заклею...

— Давай зашью. Услуга за услугу...

Он вдруг смутился. Проворчал:

— Я медицинские услуги бесплатно оказываю. Сейчас милосердие в моде. Социализм с гуманным лицом...

— Лицо-то гуманное, а спина драная. Как поедешь?

Федя опять дотянулся до спины. Клок был изрядный.

— А ты тоже перестраховщица? Иголку с собой носишь?

— Я живу тут в двух шагах. Пойдем...

— Ну да! Приведешь с улицы ободранного незнакомца, родители — в обморок. Да еще велик небось по лестнице тащить...

— Не надо тащить... А штопка — это же не йод, не страшно...

Федя подумал, что в драной майке являться в детсад за Степкой и в самом деле неловко. А заезжать домой и переодеваться — волокита.

— Ну, пошли уж...

Они, не глядя друг на друга, спустились до перекрестка, свернули на улицу Декабристов.

— Вот здесь я живу.

Дом был деревянный, в шесть окон. Видимо, двухквартирный. Ставни, точеные шишечки на карнизах. Старина...

— Вот мое окошко, крайнее...

— Прекрасно! — обрадовался Федя. — Сядешь на подоконник и будешь зашивать. А я здесь подожду, в палисаднике.

— Как хочешь...

Девочка ушла в калитку и через минуту толкнула изнутри оконные створки.

— Давай...

Федя прислонил «Росината» к изгороди, а сам перескочил внутрь палисадника, где росла высокая трава и рябинки. Довольно ловко вышло. Он сдернул через голову майку, бросил ее девочке, а пакет с марками — вполне уцелевший при аварии — положил на подоконник (он был на уровне Федино подбородка). Девочка посмотрела на конверт и ничего не спросила. Потом задержала взгляд на Феде. Тот понял, что она смотрит на его медный крестик. Внутренне напрягся, готовый огрызнуться на любопытство. Но девочка молча заработала иглой.

Она сидела, свесив ноги в комнату. Спина и боком к Феде. Шила быстро, широкими ровными взмахами. Бинт на локте летал туда-сюда белой бабочкой. Майка была красная, нитку девочка тоже взяла красную, точно в цвет. И эта маленькая ее предусмотрительность вдруг вызвала у Феи симпатию и благодарность.

Девочка откусила нитку, кинула майку Феде.

— Лови... Не новая теперь, конечно, да что делать...

Федя натянул майку — неловко и суетливо, потому что вдруг застеснялся голого поцарапанного живота и чересчур торчащих под кожей ребер. Девочка же смотрела спокойно, не отводя глаз. Поднесла ко рту кулачок, провела по губам костяшками и спросила с чуть боязливым и серьезным интересом:

— А ты правда верующий? Или так, ради моды?

Не учуял Федя в ее вопросе ни капельки насмешки. И потому не сумел ошетиниться, только сказал со вздохом:

— Ну, погляди. Похож я на того, кто гоняется за модой?

И тут она слегка улыбнулась:

— А чего ж... Майка-то модная: жеваная. Сам красил? Он хмыкнул:

— Кто же еще? Александр Сергенч, что ли?

Красили вдвоем со Степкой. Случилось так, что искали в кладовке запасной шланг для насоса и наткнулись на

пакетик с порошком-красителем для хлопчатобумажной ткани.

— А давай покрасим белые майки! — Шестилетнего Фединога племянника иногда озаряли оригинальные замыслы.

— Зачем? — усомнился Федя.

— Ну... под цвет трусов получится. Красиво будет.

— Совсем под цвет не получится. Смотри, тут написано «калый», а трусы темно-красные.

— Подумаешь! — нашелся Степка. — Выгорят и будут светлые! В такую погоду — это быстро.

Трусы им сшила Ксения — Фебина старшая сестра и Степкина мама. Она распоролла свое старое пальто, оторвала от него блестящую подкладку и за вечер соорудила сыну и брату летние обновки. Это было весьма кстати, особенно для Феде. Потому что его прошлогодняя летняя одежда вся была истрепана, а в «Детском мире» фиг что купишь: в отделе «Товары для отъезжающих в пионерский лагерь» только разноцветные девчоночьи зонтики, красные блестящие барабаны да свитера с начесом — по сногшибательной кооперативной цене. У девчонок был еще крайний выход: ободрать зонтики и сшить себе из этой материи пестрые юбочки. А мальчишкам что делать? Школьные штаны и джинсы при навалившейся жаре казались орудием пытки...

Ксения, хотя и кончила филологический факультет, была мастерица швейного дела. Недаром работала не в школе, а в ателье «Светлана». Трусы соорудила фирменные — с клапанами, с белым галуном по кромкам и швам, с двумя задними карманами и тройной резинкой в поясе. У кооператоров такие стоят не меньше чем четвертак, особенно если еще с иностранной нашлепкой на кармане. Такие нашивки Ксения тоже обещала найти и пришить.

Степкина идея перекрасить майки сперва не вдохновила Федею. Лень было возиться. Но Степка настаивал:

— Смотри, как будет здорово, все под цвет. У меня и сандалии красные, а у тебя кроссовки с красными полосками.

— Ну, давай. Пока дома никого нет...

Инструкция, напечатанная на пакетике, была проста. Соорудили в эмалированном тазу раствор, нагрели на газовой плите, прокипятили там две майки с короткими рукавами. Перед покраской Федя навязал на них много тугих узелков. И на месте каждого узелка оказалось светлое пятнышко с разводами вокруг. Похоже на хризантемы.

— Ну? — с удовольствием сказал Федя. Приятно сознавать, что ты освоил в жизни еще одно полезное дело.

— Фирма, — солидно согласился Степка.

Майки были прополосканы и сушились над плитой, когда явилась с рынка Ксения. Пожелала узнать, «что! это! такое?!»

— Эксперимент, — объяснил Степка. Получил по шею пучком зеленого лука и укрылся за дядюшкой.

— Психи, честное слово! — запричитала Ксения. — У Степана единственная белая майка была для спортивных занятий в садике! Ребенка без нее на порог не пустят!

— Пустят ребенка... Ты лучше погляди, как получилось! И всего за час! А в мастерской бы месяц проволынили. Помнишь, ты свое платье туда сдавала?

Ксения обрела педагогическое спокойствие. Спросила, знают ли они книгу «Детство» писателя Максима Горького?

Федя сказал, что проходили в прошлом году. Степка вспомнил, что видел кино.

— В таком случае вам известно, как дед Каширин учил внука, который без спроса выкрасил скатерть...

— Степан, — произнес Федя. — На происки реакционных сил мы ответим чем?

— Чем?

— За... — подсказал Федя.

— Запремся в ванной?

— Дурень. За-бас-товкой!

— Это как? — с беспокойством поинтересовалась Ксения.

— Это — просто. Степка не будет чистить зубы и умываться, превратится в отброс общества. Я не буду водить его в детский сад, тебе придется опаздывать на работу, и тебя прогонят. Швейная промышленность не сможет выбраться из кризиса, и страна попадет в зависимость от иностранного капитала, потому что без штанов и бюстгалтеров населения долго не протянет...

Ксения запустила в дорогого брата все тем же пучком лука. Федя уволок Степку за дверь. Сказал оттуда:

— Женская агрессивность — еще один признак общественного кризиса.

— Шиш вы у меня получите, а не обещанные нашивки... Можете нарисовать этот шиш на тряпочке и пришить себе...

— Ну, Ксе-еня-а!..

...Конечно, потом она отыскала и пришила им на карманы фирменные ярлыки. Степке — австралийский, серебристый, с черным кенгуру. Феде — немецкий, с готическими буквами-загогулинами и рыцарским щитом, на котором растопыривал крылья желто-черный орел. Дядюшка и племянник заправили в трусы крашенные майки, покрутились друг перед другом, и Федя заметил:

— Мы теперь на уровне мировых стандартов. Как юные жители Флориды.

— Это где?

— Это в Соединенных Штатах. Там всегда тепло.

— Как в Анапе? — со знанием дела уточнил Степка, побывавший однажды с матерью в южном пансионате.

— Еще теплее. Там почти постоянное лето.

— Постоянное — это плохо. От жары замучаешься...

Федя не согласился. Лето он любил, несмотря ни на какую жару, и всегда страдал, что оно короткое... Впрочем, сейчас он был доволен. Потому что лето лишь началось, майка выкрасилась прекрасно, а орел на кармане выглядел весьма престижно.

...Таким образом, Федя был не совсем точен, когда сообщил девочке, что равнодушен к моде. Хотя сказал он это вполне искренне. Недавний интерес его к «тряпичным» делам угас, и даже порванная майка почти не огорчила. Но, вспомнив, как ее красили, вспомнил он и про Степку, и про то, что пора забирать его из детсада.

— Спасибо. Поеду я... Дела семейные... — И опять прыгнул через рейковый заборчик.

Дела семейные

В словах Феде Кроева, что он перестраховщик, было много правды. Что поделаешь, раз такая жизнь. Если не быть предусмотрительным, обязательно случится что-нибудь плохое... Впрочем, боялся Федя не за себя, а за родителей, за Ксению, а больше всего за Степку — самого беззащитного. Федя даже подозревал, что у Степки на роду написаны всякие несчастья, поэтому приходилось держаться настороже.

Первое Степкино горе случилось, когда тот еще не родился. Погиб отец.

Ксения «выскочила» замуж восемнадцати лет, «по-современному», никого не спросившись. Конечно, родители поохали, поохали, да что поделаешь, коли такая любовь.

Да и муж Миша оказался славный. Ксенин однокурсник. Зажили мирно и весело, в отдельной комнате. Благо, что к тому времени семейство инженера Кроева получило наконец трехкомнатную квартиру в кооперативе. Только вскоре в институте вышел скандал. Миша оказался в какой-то студенческой группе, которая устраивала митинги и выпускала газету против начальства. Начальство это вкатило Мише три «неуда» на весенней сессии и отчислило любителя митингов за неуспеваемость. Шум был большой. Миша и его друзья доказывали, что «неуды» липовые, писали даже в «Комсомольскую правду». Приезжал журналист, вмешивались депутаты, но дело затянулось до осени, а там принесли повестку — и поехал Михаил Горецкий служить в Казахстан. Оставил молодую жену рожать ребенка, а друзей — отстаивать правду до конца. С полгода приходили нормальные письма: все, мол, в порядке, отслужу, восстановлюсь в институте, заживем лучше прежнего. А потом пришло сообщение, что рядовой Горецкий покончил с собой...

Вот тогда-то шестилетний Федя впервые ощутил, как свинцово, безнадежно придавливает семью горе.

В часть поехали отец и Мишина мама, Ксене было нельзя: скоро в роддом. Мишу привезли в длинном запаянном ящике из листового металла. Но еще там, в гарнизоне, отец настоял, чтобы ящик вскрыли. Он умел добиваться своего, инженер Виктор Григорьевич Кроев. И когда увидел избитое, в рубцах и ранах, тело, ясно стало, не было самоубийства. Просто не научился Михаил Горецкий гнуться ни перед кем, в том числе и перед толстомордыми, привыкшими к безнаказанности армейскими «дедами». Себя не давал в обиду, а потом заступился за щуплого затыканного новобранца. И ночью толпа соблюдавших свой закон «дембилей» избила Мишу так, что он умер от сотрясения мозга.

Нашлись и свидетели. Среди них — тот, выживший в боине новобранец. На сей раз прикрыть дело не удалось. Кто-то полетел с должности, кто-то угодил под трибунал. Да только Ксене и крошечному появившемуся на свет Степке было не легче...

Ладно хоть, что родился малыш здоровым несмотря ни на что.

Ксения была женщина хотя и чересчур заполoshная, но решительная. Она поклялась ничего не скрывать от сына, и тот уже в три года знал, что «папу Мишу убили дембили». Слово «дембиль» стало ненавистным и для него,

и для Феди. И вовсе не в армии здесь было дело, Федя со Степкой играли и в солдатиков, и в морской бой, и смотрели фильмы про сражения — без всяких мыслей о казарменных жестокостях. А дембили — это были те, у кого тусклый оловянный взгляд, сытые рожи, речь с ленцой, жующие челюсти. Те, кто готов отдавить ноги и растолкать всех, чтобы пройти самому. Те, кто в кинозале громко разговаривают и гогочут, когда на экране у героев фильма слезы... И те, кто в тельняшках, беретах и растерзанных мундирах пьяной компанией топают посреди улицы в день своего десантного праздника.

Дембили — это была толпа. И та, которая что-то неразборчиво орет и машет плакатами на площади, и та — в одинаковой серой форме, теснящая и усмиряющая эту площадь умелыми взмахами черных палок — видел Федя и такое. И по телевизору, и один раз даже на улице.

А еще он видел такую же толпу в американской кинокартине. Тогда только-только разрешили показывать фильмы на божественные темы, и в передаче «Мы и планета» крутили двухсерийную ленту «Евангелие от Луки». И там римские солдаты держали за руки худого избитого человека в венце из колючек, а библейские дембили бесновались, орали и требовали распять его... А ведь, гады такие, совсем незадолго до этого так же истошно вопили: «Слава Тебе!» Толпе все равно — славить или терзать. Лишь бы только быть орущим стадом, не думать поодиночке...

Вскоре после этого фильма Федя и принял крещение. Из-за страха перед этой толпой и назло ей. А еще — из сочувствия к тому, кого распяли. И от сердитой радости, что Он воскрес и доказал: есть сила более могучая, чем толпа.

Но, конечно, словами такие ощущения Федя никогда объяснить не сумел бы. Потому что было ему тогда девять лет. В ту пору умерла Мишина мама, Степкина бабушка. Жила она без мужа, единственного сына воспитывала одна, и после его гибели сразу состарилась, согнулась и непрестанно болела. Одна у нее осталась отрада — внук Степушка. Часто она приходила, пыталась нянчиться с внуком, играла с ним, как могла. Да только получалось это не всегда — задыхаться стала бабушка и часто плакала... Перед смертью просила она выполнить одно желание — окрестить Степушку, чтобы Господь уберег его от всяких будущих бед. Ксения не всегда ладила со свекровью, но всегда жалела и это желание выполнила.

Отец и мать в церковь не пошли, были на работе, а

Федю Ксения взяла, сказала, что он будет крестным отцом Степки. Но в церкви выяснилось, что это нельзя: сам-то Федя некрещеный. Крестного нашли из числа Ксениных однокурсников, пришедших с нею. А у Феде кто-то (он уж и не помнит кто) спросил:

— А может, и тебя, отрок, обратить в православную веру? Хочешь?

Полумрак церкви казался Феде таинственным и ласковым, люди — добрыми, и не хотелось уйти отсюда как постороннему.

— Ладно, — тихо сказал Федя.

— А в Бога-то веруешь? — спросил какой-то Ксенин приятель. Его шепотом одернули. Но Федя вдруг вспомнил, как перед сном, в сумраке, томился загадками: зачем он на свете и почему этот свет такой громадный, и кто его создал? И еще вспомнил — как потная, одуревшая от ярости толпа требовала распять на кресте того, кто желал ей только добра...

— Да... — выдохнул Федя. И, не умея как следует объяснить свое сочувствие к тому, кого предали древние иерусалимские дембилы, пообещал шепотом: — Я буду за него заступаться.

— Ишь ты... — тихонько удивился кто-то. Но больше ни один человек не выразил своего отношения к столь необычному религиозному взгляду.

Сама процедура крещения Феде запомнилось неясно, все происходило словно в сдвинутом, фантастическом пространстве, где еле выступали из сумерек строгие лица в обрамлении золотистых кругов, искрилась риза бородатого священника и в космической высоте светились узкие окна. Помнил Федя тепло от живых трепещущих огоньков и еще — запах, похожий на тот, который в знойную пору наполняет разогретый еловый лес... Но в этой затуманенности ощущений проступило и осталось потом надолго чувство охватившей его доброты и защищенности...

Отец к известию о Федином крещении отнесся спокойно. Он был вообще спокойный и немногословный. Взъерошил Федину макушку, подержал на ладони его крестик, сказал вполголоса:

— Ладно, вырастешь — разберешься, что к чему. А пока помни—это не игрушка... — и пошел пить крепкий чай на кухне и думать о своих заботах. Высокий, сутулый, всегда занятый делами своей лаборатории тугоплавких соединений.

— Ты хоть в школу-то с крестиком не ходи. А то в пионеры не примут, — заволновалась мама.

Но Федя ходил в школу с крестиком. Потому что иначе — нечестно. Получилось бы, что боится... Впрочем, ничего особенного не случилось. Крестик под рубашкой не видать, а на шнурок не обращали внимания: многие мальчишки так носят на шее квартирные ключи... Потом на физкультуре, когда занимались в открытых майках и шортиках, крестик увидели, но особого впечатления это не произвело. Петька Суровцев сказал:

— Чё, сам крестился или заставили?

Федя только фыркнул: кто, мол, меня заставит?

Витька Шевчук заметил:

— У, медный... У нас дома серебряный есть, дедушкин...

И только глупый Эдка Шаховский заявил:

— Ха-ха! Монах в коротких штанах! — За что получил от учителя Георгия Максимовича обещание «отправиться из спортзала, открывши лбом дверь». Это, кстати, не понравилось Феде — Максимыч был похож на дембиля, часто раздавал пинки.

А в пионеры Федю приняли, как и всех. Тем более, что выяснилось: крестик не у него одного... Вожатая разъяснила, что «сверху есть указание: в пионерах могут быть кто угодно — и неверующие, и верующие, и какие хочешь, потому что организация теперь добровольная и совсем не политическая». Галстук повязали прямо поверх черного шнурка, который выглядывал из-под белого ворота. И Федя был, конечно, доволен. И все же остался у него какой-то досадливый осадок. Потому что обещание «бороться за добро и справедливость» давали хором, и было в этом что-то от толпы... А потом сделалось все равно. Потому что оказалось, что главная задача пионера — хорошо учиться, а галстук надо носить, чтобы не записали замечание в дневник.

Верил Федя в Бога по-настоящему? Пожалуй, да. После многих размышлений он пришел к выводу, что есть какая-то Великая Сила, которая правит Вселенной. Без этого трудно было бы объяснить многие загадки — и во всем мире, и в самом себе... А кроме того, так хотелось иногда защиты от бед и угроз. Защиты, которой от людей не всегда допросишься...

Но в церкви после своего крещения Федя не был ни разу. И никогда не молился по-настоящему (да и не знал никаких молитв). Он прочитал в книжке «Новый Завет» четыре Евангелия и там узнал, что многочисленные мо-

литвы вовсе ни к чему и что Бог знает твою просьбу еще до того, как ты обратился к нему с первым словом. И бывало, что в трудные минуты Федя сжимал крестик в горячем кулаке и мысленно говорил вместо длинных фраз просто: «Боже, помоги...» Но это случалось всего несколько раз. Обращаться к Богу по пустякам — это было бы попрошайничеством. На одной только Земле людей больше пяти миллиардов, а если во всем Космосе, то мыслящих существ и не счесть! И если каждый будет лезть к Богу со всякими своими мелочами... Другое дело, если уж отчаянно подопрет что-то такое, когда надеяться больше не на кого. А пока есть силы, человек должен делать свои дела в жизни сам. Ведь даже Иисус, который был и человек, и Бог, прошел свой путь на Земле до конца, хотя мог бы с помощью божественной силы мигом избавиться от всех страданий. Не стал избавляться, хотя всякие подонки издевались над ним как хотели. Потому что получилось бы, что он обманул людей. Нарушил бы свой собственный закон... Он ведь лучше всех людей на свете знал, что предательство — это та черная сила, которая может погубить весь мир...

Наверно, грамотные в религии люди нашли бы множество ошибок в Фединых рассуждениях. Но он про эти свои мысли никому не рассказывал, они были слишком его. И когда в школе прошлой осенью объявили, что открывается факультатив по истории религии и что про веру будет рассказывать настоящий священник, Федя не записался. Потому что кинулись туда многие, даже дурак Шаховский. Опять получилось, что «как все», толпой... Да к тому же не очень-то хотелось оставаться на седьмой урок. И после шести-то в голове гудеж. А на классных часах только и слышишь от ненаглядной Флоры Вениаминовны (по прозвищу Хлорвиниловна): «Вы теперь семиклассники и должны с удвоенной сознательностью относиться к учебному процессу...»

Как будто виноваты, что семиклассники! Из-за дурацких пертурбаций в школьной программе пересадили бывших пятиклассников в седьмой, не спросивши их, а они, значит, теперь должны отдуваться... Вот и со Степкой похожая история. Ходит несчастный пацаненок в детский сад, но уже объявлен первокласником (какая-то особая там группа!) и в школе пойдет сразу же во второй...

Да, у Степки в его шесть лет жизнь тоже была не розовая. Мало того, что еще до рождения остался без отца, мало того, что каждый день сперва в ясельной, а потом

в детсадовской галдящей толпе, так еще его умной маме-Ксене стукнуло в голову два года назад снова выйти замуж. За молодого, но уже представительного деятеля швейного, кооператива «Золотая игла».

Неизвестно, много ли золота было в той игле, но в Ксениной и Степкиной жизни его, видать, не оказалось вовсе. Федя потом Степку спрашивал: «Обижал он тебя?» — «Да не-е... — вздыхал Степка. — Наоборот, подлизывался. Слюнявый такой... А с мамой ругались...» В общем, через полгода после свадьбы Фебина мама объявила, что Ксения и Степка возвращаются домой. «Так что, Феденька, перебирайся опять в гостиную...»

Тут Федя взвыл. Прямо до слез. Это, выходит, покидать свою отдельную комнату и опять ютиться на диване в общей! А куда он денет все имущество, которое у них с Борисом накопилось за полгода? А где Борька будет ночевать, когда они вдвоем засидятся над макетом замка или моделями?

— Так что же теперь? На улицу Ксене со Степкой идти? — трагически-укоризненно спросила мама.

— Пускай со своим разведенным Женечкой разменяют ихнюю квартиру! — Федя был уже искушен в житейских делах.

— Ксения не хочет больше никакой нервозности...

— Ну да! Она не хочет, а я опять хуже кота бродячего...

— Как тебе не стыдно! Она твоя родная сестра!

— Ага! Она — родная, а я вам, значит, не родной, да? Она будет туда-сюда замуж выпрыгивать, а я...

— Вот подожди, придет отец!

Мама почему-то всегда пугала отцом. А он сроду Федю никак не воспитывал. Только скажет иногда: «А не посидеть ли тебе, голубчик, дома денька три за все твои прегрешения?» Пару раз было, что Федя и сидел. Подумаешь, кара какая! Другие папаша за каждую двойку полируют свои ремни о ненаглядных сыновей, а Федя сроду не знал, что это такое.

На сей раз отец выслушал бурные мамины жалобы и решил:

— Давай-ка, Федор, перетащим наши с мамой кровати в большую комнату. А Ксения въедет на наше место. И все дела...

— Да как же без гостиной! — всполошилась мама.

— А зачем она?

— Ты с ума сошел! А если гости придут?

— Ну и посидят на кроватях, еще мягче будет... Да и чем их кормить нынче, гостей-то? Ливерная колбаса и та по талонам.

— Во-первых, ливерная — без талонов! А во-вторых, вам же на заводе обещали спецпайки!

— Ага, обещали. Пока стачечный комитет заседал. А теперь вот.. тоже обещают. Блюдо сезона — обещание под маринадом с гренками из неотоваренных карточек...

Итак, родители перебрались в самую большую комнату, а Федя остался в «своей кошмарной берлоге», как выражалась мама.

И жизнь потекла почти как прежде. Только оказалось, что Степка из бестолкового малыша-хныкалки превратился во вполне сознательную личность. Он уже бегло читал книжки про Буратино и Волшебника Изумрудного города, высказывал здравые суждения о взрослых и знал немало анекдотов про современную жизнь. К Феде теперь Степка стал относиться как полагается — без излишней липучести, со сдержанной преданностью, но порой и с дурашливой резвостью младшего братишки.

В общем, хороший был племянник Степка. Но...

Сперва разик, потом другой попросила Ксения брата отвести Степу в детский сад, а вечером сходить за ним. Так и повелось. Потому что работала Ксения в своем ателье в полторы смены — деньги-то нужны... Федя наконец не выдержал:

— Хорошо, что со своим Женечкой второго не завели. А то хоть разорвись...

Мама наладилась дать ему по шее (интеллигентный человек, работник гуманного медицинского учреждения!), но Федя в красивом витке ушел от несправедливого возмездия.

— Постыдился бы! При ребенке! — Мама оглянулась на Степку, который торчал тут во время разговора.

— Ох уж «ребенок»! Думаешь, они в своем детском саду не знают, что такое роддом? Послушала бы, о чем они разговаривают, когда на горшках сидят...

Степка бесхитроно подтвердил, что назначение роддома воспитанникам детсада хорошо известно. А второго ребенка не завели, потому что «дядя Женя не хотел нарушать сба-лан-си-ро-ван-ность семейного бюджета».

— Во! Слышала?! — восхитился Федя. — Какой же это «ребенок»? Мог бы и сам из детского сада домой топать, здесь всего четыре квартала и переулки тихие...

— Тебя-то до третьего класса в школу провожали!

— А я просил, да?!

Но ворчал и спорил Федя так, из упрямства. На самом деле ни за что бы он не позволил Степке ходить одному. Потому что нет-нет да и появятся в газете объявления: «Просим помочь в поисках мальчика...», «Потерялась девочка...» А еще чаще — по телевидению. Жуть такая — видишь на экране фотографию мальчишки или девчонки, живое, веселое лицо, и понимаешь, что, может быть, в это время его где-то уже черви грызут...

Ну, бывает, конечно, что кто-то сам убежал из дома или в лесу заблудился, и потом его отыщут живого. Но ведь не секрет, что есть на свете гады, для которых самая большая радость — замучить человека. Особенно маленького, беззащитного. Поймают, наиздеваются всласть и в живых не оставят. Концы в воду... При мысли, что такое может случиться и со Степкой, ужас прокалывал Федю ледяной иглой. Мало, что отца загубили у парнишки, дембили проклятые!..

Один раз Федя неосторожно ругнулся так вслух.

— Что-что? — переспросил оказавшийся рядом отец. Потом объяснил, что слово это вовсе не ругательное. Так по традиции называют себя солдаты, ожидающие скорого увольнения из армии. От слова «демобилизация». И сам он, Виктор Григорьевич Кроев, тоже когда-то был дембилем. И скорее всего, Феде тоже придется пройти через это, потому что всеобщего и полного разрушения в ближайшее время не ожидается.

Федя смутился, но потом объяснил, что дембилями называют вовсе не всякого солдата, уходящего домой, а таких людей, у которых «демобилизация» всего человеческого. Тех, кому обязательно надо кого-то унижать и бить... А нормальные солдаты зря придумали себе такую кличку. Кстати, по-солдатски это звучит и пишется «дембель». А по-Фединому — «дембиль». Гораздо точнее. Слово это похоже на другое — дебил»...

За Степку Федя продолжал бояться. И порой снилось даже, что Степка исчез. Причем сны были двух разновидностей: Иногда Степка терялся в Городе. В том Городе Фединых снов, где полужнакомые улицы приводили вдруг на океанские набережные, а обыкновенные дома перемежались с фантастическими сооружениями звездных пришельцев. Федя шел по этому Городу со Степкой, и Степка вдруг неостихимо, в одну секунду, исчезал. Шагнул в сторону — и нет его. И Федя метался по тротуарам, лестницам, эстакадам и каменным средневековым коридорам.

В томительной тревоге и жгучем нетерпении — найти, спасти, больше не отпускать... Но было в этой тревоге что-то от приключений, от игры. Потому что в глубине души Федя знал: в Городе нет настоящей опасности и он не принесет малышу зла. И постоянно грела надежда — вот за этим поворотом, за той дверью Степка найдется... Чаще всего Федя просыпался, так и не отыскав его. Но страха и горечи от такого сна не оставалось. Будто обязательно будет продолжение, где он Степку найдет...

Но были и другие сны — до жути похожие на реальность. О том, что Степка ушел из детского сада и вот уже несколько дней его нет, нет, нет... И самую страшную пытку — пытку неизвестностью — Федя ощущал всеми нервами, как наяву. Тут бы схватиться за крестик, но его не оказывалось на груди. Потому что Федя сам был виноват: не пришел за Степкой вовремя... А телевизор бесстрастно вещал: «Потерялся мальчик...»

...Такой вот сон как раз приснился Феде утром того дня, когда случилось ДТП и он встретил незнакомую девочку.

На этот раз в роли дикторши почему-то выступала Флора Вениаминовна. Была она в платье с цветочками, а на плечах — погоны капитана милиции. Но это ничуть не удивляло Федю. До удивления ли? В душу его, полную тоски и страха, слова Хлорвиниловны падали, как железные шарики в черную воду:

— Разыскивается мальчик, Степан Горецкий. Шести лет. Волосы русые, лицо круглое, нет верхнего переднего зуба, над левой бровью маленький белый рубчик. Три дня назад около восемнадцати часов пропал из детского сада номер семь на улице Хохрякова. Был одет в темно-красные, с белыми полосками, трусики, красную пятнистую майку, оранжевые гольфы и красные сандалии. Всех, кто может что-либо сообщить о пропавшем ребенке, просим позвонить по телефону...

За стенкой, в своей комнате, безудержно и с надрывом — так же, как при известии о гибели Миши, — рыдала Ксения. Хлорвиниловна, слыша это, недовольно косилась с экрана. Потом вдруг хлопнула, как в классе, ладонью о стол:

— Пре-кра-тить! — Один погон свалился с ее плеча. И Федя с великим облегчением осознал, что это сон. Слава Богу, опять сон!..

Усилим воли он сжал потускневшее сновидение в ко-

мок, отбросил его. И стал со счастливым облегчением просыпаться.

В окно сквозь верхушку тополя било горячее солнце. И оттого, что страх оказался пустым и что сейчас утро, лето и почти каникулы, сделалось удивительно радостно. А еще лучше стало, когда в приоткрытую дверь проник Степка. Живой, невредимый, с припухшими после сна губами и растрепанными волосами. Увидел, что Федя не спит, заулыбался (вместо зуба — черное окошечко). Федя лег на спину, руки заложил за голову, ноги подтянул — коленками вверх. Разрешающе глянул на Степку. Тот весело подскочил, забрался на постель. Сел Феде на колени и съехал с них на живот. Федя тихонько взвыл:

— Балда! Больно же...

Степка виновато засопел, но с живота не слез.

Из-за двери донеслось:

— Эй, вы, там! Умываться и завтракать! Я из-за вас на работу опоздаю! — Это Ксения. Родители уже ушли. Мама заведовала регистратурой в зубо-врачебной поликлинике (сто-ма-то-ло-ги-че-ской) и отправлялась на работу раным-рано. Отцу полагалось быть в лаборатории к девяти, но он тоже всегда спешил. А в последнее время — особенно. Завод переходил на новую продукцию («Кон-вер-сия!»).

— Слышите, вы! — торопила Ксения.

Но Федя знал, что минут десять можно еще поваляться.

Степка потерся щекой о поцарапанное плечо и сообщил:

— Мне уже через неделю семь лет будет...

— Вот новости!

— Ты мне что подаришь?

— Ремень...

— Да ну тебя, — надул губы Степка. — Одно и то же...

— Что «одно и то же»? — не понял Федя.

— От мамы только и слышишь: «Сейчас ремня получишь...» Катерина в садике тоже: «Сейчас как всыплю, будете знать!...»

— Опять, что ли, руки распускает?

— А ты думал! Вчера как вляпала, аж зачесалось...

— За что?

— Мы с Дрюшкой подрались. Помнишь, толстый та-кой...

Федя всех в Степкиной группе помнил. Андрюшка Со-тин был тихий, добродушный человек. И к тому же Степкин приятель.

— Ненормальные, да? Чего не поделили-то?

— А чего он... Услыхал где-то считалку дурацкую и целый день, как магнитофон... — Степка сердито, но с выражением прочитал:

Грузди, обаб-ки,
Рыжики, синяв-ки.
В лес пошел Степ-ка,
Ободрал...

И, покосившись на дверь, Степка полным словом назвал то, что ободрал в лесу.

— А потом еще:

Не горюй, Степка,
Заживет...

Федя хихикнул:

— Подумаешь. Это же детское народное творчество. С давних лет. Во всех садиках такие дразнилки. Даже интересно.

— Это если про других — интересно. А когда про себя...

— Без этого в детсаду не проживешь, — философски разъяснил Федя. — Сам небось знаешь, не первый год там...

— А тебя тоже дразнили?

— Естественно... «Дядя Федя съел медведя...»

Степка обрадованно подскочил у него на животе, и Федя опять охнул:

— Тихо ты, аппендикс выскочит...

— А ты вырежь, как у меня. — Степка потер на животе светлый рубец со следами-точками от ниток. Он гордился, что год назад перенес настоящую хирургическую операцию...

— Чтобы я свой родной аппендикс отдал добровольно? — возмутился Федя. — Брысь умываться!

— Счас... А Бориса тоже дразнили?

— Еще как! Хуже всех...

Ты иди все прямо, прямо,
Будет там помойна яма,
В яме той сидит Борис,
Он наелся дохлых крыс.

— Мы с ним тогда и подружались первый раз, — вспомнил о раннем детстве Федя. — В средней группе. Я за него заступился, и мы двое... против толпы...

— А когда он придет? Скоро?

— Через неделю, наверно. Если в Москве не задержится...

— Я про Бориса тоже стихи сочинил, — сообщил Степка. —

Плачет Боря на заборе,
У него большое горе:
Мама не дает Бориске
Съесть холодные сосиски.

Федя не пощадил автора:

— Это ведь не твои стихи. Такие уже есть, только не про Бориса, а про киску...

— Ну и что! Я же переделал!

— Так нельзя. Настоящим поэтам за такие дела знаешь как попадает!..

— Я ведь еще не настоящий, — опять надул губы Степка.

— «Еще»... — усмехнулся Федя. Степкина склонность к рифмотворчеству была всем известна.

— А какие ты еще дразнилки знаешь? — ушел Степка от неприятной темы.

— Да такие же, наверно, как и вы там...

Вова-корова, дай молока.
Сколько стоит? — Три пятака,..

— Это все знают.

— А еще:

Игорешка-поварешка,
Недоварена картошка,..

— Ой, эту я не слышал! — обрадовался Степка. — Игорешка у нас как раз есть!..

— Да ты что! — спохватился Федя. — Я тебе для этого, что ли, рассказываю? Чтобы ты людей изводил, да?

— Я же для запаса! Если они первые полезут!..

Ксения сунула голову в дверь.

— Да это что за лодыри! Еще и не думали одеваться!..

Федя дотянулся, взял со стула заряженный водяной пистолет и пустил в сестрицу струю. Ксения пообещала из-за двери:

— Подожди, попросишь еще нашивку...

— Ну, Ксю-уша!.. — Федя вскочил, свалив на пол Степку. — Мы хорошие!..

Этот день с утра до вечера,..

Этот день с утра до вечера...

Красивый ярлык от иностранных шмоток нужен был, чтобы рассчитаться с Гугой.

Гуга — Федин одноклассник. Кличку свою он получил

благодаря географичке Анне Григорьевне. Что-то ехидное сказал на уроке, и Аннушка не выдержала:

— Ох и змея ты, Куприянов!

До этого Гошка Куприянов был просто «Купер». Но тут кто-то из девчонок находчиво хихикнул:

— Не змея, а Большой Змей. Из романа Купера.

Ну и пошло: Большой Змей — Чингачгук — Гук — Гуга...

Было это еще в начале пятого класса. С той поры Гуга крепко повзрослел, обогнал многих одноклассников не только в росте, но и, как говорится, в «жизненных интересах». Имел касательство к компании некоего Герцога, что тусовалась в большом дворе на улице Мира. Завел себе в классе двух приятелей-адъютантов, на остальных же «пионерчиков» глядел снисходительно. Впрочем, агрессивности не проявлял, на прозвище не обижался, учился прилично и ни на каких «учетах» не состоял.

В конце мая Гуга спас Федю от большой беды. Учитель немецкого языка Артур Яковлевич — сухой, язвительный, но, надо сказать, справедливый — долго вытягивал из стоявшего у доски Федора Кроева путанные ответы и наконец сообщил:

— Сударь мой, ваша годовая оценка — в состоянии шаткого балансирования между спасительной тройкой и.. вы сами понимаете чем. Поэтому — последний шанс. Если переведете предложение, можете гулять с ощущением спасшегося грешника. Если же нет — нас ожидают частые встречи на летних занятиях... — И начертал на доске немецкую фразу, в которой Феде был знаком лишь глагол «sterben», что означает «умирать». Ну, Федя и начал помирать от безнадежности. Старый Артур с подчеркнутым терпением смотрел на семиклассника Кроева, а тот — с тоской на класс... Тут-то Гуга вдруг и поднял тетрадный лист с крупными буквами перевода. На две секунды. Феде хватило.

Он опустил глаза, почесал для видимости в затылке, потом без излишней торопливости и вроде бы даже с некоторым сомнением написал русские слова на доске: «Я смотрел фильм «Никто не хотел умирать».

— Фортуна оказалась благосклонна к вам, — заметил Артур Яковлевич. — Однако ежели вы и в следующем классе станете демонстрировать столь прохладное отношение к языку Гете и Шиллера... Впрочем, нотация — не лучший вид напутствия перед каникулами. Ступайте с миром...

После урока Федя выдохнул с искренним чувством:

— Ну, спасибо тебе, Купер...

Гуга, однако, не воспринял прочувствованного тона: — «Спасибо» — это чересчур. А вот троячок — в самый раз.

— Че-во? — изумился Федя.

— А что? Разве дорого?

Федя сперва не поверил. Потом понял.

— А как насчет совести?

— Насчет чего? А-а... — Гуга был малость толстоват, но в общем-то симпатичный. И улыбался славно. — Вопрос этот неоднозначный. Пойди тогда к Артуру и расскажи, как ты перевел фразу про шедевр советского кино. Раз уж речь о совести... Я, между прочим, рисковал, а за риск в наше время платят.

Логика была убийственной. И Федя пообещал, что, раз такое дело, трояк он выплатит. Сейчас не может, в кармане пусто, но принесет на летнюю практику, где они все равно встретятся.

— Ну, гляди, — сказал Гуга. — Я проценты не начисляю, будь и ты джентльменом.

Удивляться в общем-то было нечему. «Рыночные отношения» в седьмом «А», как и во всей школе номер четыре, давали себя знать. Девчонки, например, торговали косметикой. Алка Щепяхина — та вообще притащила однажды целую коробку всяких заграничных тубиков, пенальчиков и баночек. Одноклассницы налетели и завизжали: сперва от восторга, потом — узнав цены. Однако платили, у кого было чем. Кончилось, правда, скандалом. Алку поволокли к завучу, товар учительницы изъяли в свою пользу. Впрочем, Алка хвасталась, что заплатили честно...

В июле полагалось отработать две недели на ремонте школы, если не хочешь ехать в ЛТО. Федя не хотел... Но на практике Гуга не появлялся, и Федя забыл про долг.

А вчера Гуга вдруг осчастливил школу своим посещением. И даже взялся таскать с Федей на свалку носилки со строительным мусором. А перед тем сказал:

— Кроев-Шитов, привет. Нет ли у тебя моей трешки?

— Нету. Я же не знал, что увидимся. Ты столько дней не приходил.

— А может, завтра принесешь?

— Принесу, — вздохнул Федя. Не хотелось разменивать бумажку в двадцать пять рублей, это был их с Борисом запас. Да куда ж деваться-то? Если у родителей или у Ксении просить, сразу: «И так перед зарплатой без гроша сидим, а тебе на какие-то глупости! Зачем?». Не рассказывать же «зачем»...

— Я бы не торопил с долгом-то, да капиталы нужны, по крохам набираем, — поделился Гуга. — Совместное предприятие, в духе времени.

— Магазин, что ли, открываете? — хмыкнул Федя.

— Ага... Ох, Шитик, это что у тебя за лейбл на задку? — Гуга даже шаг сбил (он шел с носилками позади Феде).

— Фирма. «Фогелькёниг унд Брудер», Тироль, — на ходу придумал Федя. Надпись все равно была неразборчива.

— Уступи, а? Как раз за тройак бы...

— Может, уж заодно штаны снять?

— Ну как хочешь.. А то были бы в расчете.

— Завтра будем в расчете... Слушай, а если тебе надо, я могу ярлык подыскать. Конечно, не такой, но не хуже...

— Вери-мери гуд! — обрадовался Гуга. — Неси!..

Вечером Федя подмазался к сестрице. Мол, один парень в школе ужасно как просит заграничный ярлычок.

— Ладно, утром дам. Сейчас не приставай!..

И вот теперь, после торопливого завтрака, Федя опять надел на Ксению:

— Обещала же...

— Зануда какая!.. Отведешь Стапана, потом ищи сам в ящике, в шкафу. Мне некогда... Ты сколько еще будешь возиться, горе мое постоянное?! — Это уже Степке. Он долго не мог найти сандалии, а теперь пыхтел, застегивая пряжки. Мать дала ему шлепка. Степка надулся. Обиден был не сам факт рукоприкладства, а что не удалось провить ловкость и увернуться.

— Не горюй, Степ-пка... — усмехнулся Федя. — Пошли!..

Уже на улице он вспомнил:

— А про ремень я не шутил. Правда подарю. Широкий, с пряжкой!..

— Мама не разрешит, если военный, — насупился Степка.

— Не военный, а пиратский! У Бориса в кладовке пряжка нашлась, его папа из Польши привез, давно еще. Вся хромированная, блестящая, на ней медная пиратская рожа с повязкой на глазу и скрещенные пистолеты. А по углам — якорьки..

— Ух ты!.. — Степка заподпрыгивал на ходу.

— Да... Только нужно еще кожу отыскать для пояса...

Степка сказал озабоченно:

— Такой ремень надо ведь с длинными штанами носить. А нам не велят, говорят, не полагается в детском саду.

— Нашел о чем печалиться! В школу пойдешь — надоест еще и форма, и взрослый вид, и вся каторжная жизнь. Пожалеешь о беззаботном детстве в коротких штанишках.

— Ох уж «о беззаботном»...

— А ремень такой можно хоть на чем носить, хоть прямо на голом пузе. Пиратский ведь, а не форменный...

Проводив Степку, Федя вернулся домой. В Ксениной комнате подступил к платяному шкафу, с натугой вытянул нижний ящик. Здесь у Ксении был тряпичный «калейдоскоп»: пестрые лоскутки, ленты, куски кружев, обрезки меха и прочие отходы производства. Ксения работала не только в «Светлане», но и брала заказы на дом. Тут же, в ящике, валялись всякие пуговицы, застежки-молнии, брошки и прочая дребедень. И среди этой рухляди — то, что надо Феде, — всякие нашивки и ярлычки.

Федя добросовестно выбрал для Гуги «нашлепку» красивее — шелковисто-черную, с вышитой серебристыми нитками старинной пушкой. Из пушки вырывался желто-красный залп с дымом, а по нижнему краю золотились буквы: McCARRON & Co.

Пора было в школу: отрабатывать неизбежные трудовые часы. Полагалось приходиться к десяти. Федя чуть не опоздал, потому что, когда уже спустился с четвертого этажа и вышел на расплавленный от жары двор, стукнуло в голову: хорошо ли выключена дома горелка на плите и не сочтется ли потихоньку коварный газ? Умом он понимал, что ничего такого, конечно, нет. Но «перестраховочное» воображение тут же подсказало: «А вдруг?» Приходит на обед мама, чиркает спичкой...

Ругая себя на все корки за бестолковость и трусость, с которой не умеет справиться, он вернулся домой. Горелка была, естественно, в порядке. Заодно Федя потуже закрутил краны на кухне и в ванной, проверил, не горят ли где лампочки, и тогда уж со спокойной душой направился в школу. Правда, по дороге подумалось опять: не остался ли случайно невыключенным в комнате родителей телевизор? Но глянул на свои поцарапанные часы — без пяти десять...

Кирпичная коробка школы была налита внутри сладостной прохладой. После уличного зноя — даже мурашки

по голым рукам-ногам. И все здесь было сейчас необычно: запах известки, мусор, перевернутая мебель, распахнутые всюду двери и гулкость коридоров (как в тех пустых загадочных зданиях, которые видятся порой в снах про Город). И сам ты не такой, как обычно — без формы, без увесистого портфеля — словно гость, забредший сюда из другого мира. И ощущение разросшегося пространства и пустоты, хотя людей в школе немало: и рабочие, и ребята, и учителя... Впрочем, учителя тоже выглядели незнакомо — в заляпанных краской халатах, спортивных костюмах и всяких робах. Преподаватели помоложе сколотили бригаду, чтобы летом подзаработать на ремонте родной школы. В этой роли, кстати, они нравились Феде больше, чем на уроках. Даже Хлорвиниловна — в брезентовых штанах с лямками, клетчатой рубашке и пестрой косынке — казалась вполне симпатичной...

Хлорвиниловна посетовала, что работы для ребят нынче мало, но обещала отметить всем полновесные четыре часа. Только пусть из двух классов повытаскивают парты и составят штабелями в коридоре. Федя, Витька Шевчук и несколько пацанов из параллельного седьмого «Б» (то есть уже восьмого!) провернули эту работу за полчаса. Тут появился наконец Гуга.

Федя отозвал Гугу в сторону и вручил обещанное.

Гуга не скрыл удовольствия:

— Моща!.. Никому не дам, себе пришлепаю.

И тогда Федю осенило:

— Имей в виду — не трешка, а пятерик! По прежнему. Хоть кого спроси...

Гуга сказал только:

— Чё не предупредил-то заранее? Я сдачи не наскребу... — И зашарил по карманам модно-потрешанных, оборванных у колен вельветовых штанов. — Гляди, всего рупь с полтиной..

— Ладно, полтинник потом отдашь. — Приятно было иметь в должниках не кого-нибудь, а всем известного Гугу...

А полтора рубля — это в самый раз! Именно столько стоит солдатский ремень. Пряжку с него — долой, а кожа — для подарка Степке...

Военторг располагался в старинном доме с высокими окнами, на углу Октябрьской и Красноармейской. Федя встал в тени тополя и стал ждать кого-нибудь из военных

посимпатичнее. Если сам сунешься к прилавку — ответ один: «Гражданским покупателям военные товары не продаем, а детям тем более!..»

Наконец появился пожилой дядька — в очках, с двумя звездочками на гладком погоне.

— Товарищ прапорщик, можно вас попросить...

— Ну, попроси. Что такое?

— Не могли бы вы купить мне солдатский ремень? А то ребятам не продают...

Взгляд за очками сделался настороженным.

— Зачем тебе? Вроде до призывного возраста еще не дотянул. А там казенный дадут...

— Ну, мне очень надо. Честное слово...

— Знаю, что надо, — как бы отодвигаясь, произнес прапорщик. — Намотали пояса на руку и пошли стенка на стенку друг друга пряжками кромсать...

Это болезненно царапнуло Федю. Но он сказал спокойной, без рисовки, даже с грустью по отношению к себе:

— Ну, поглядите: похож я на тех, кто дерется пряжками?

Он знал, что не похож. Щуплый пацан с аккуратной, еще не отросшей стрижкой, с ничем не примечательным лицом благополучного сына благополучных родителей. С жалобными просящими глазами цвета жидкого чая.

Прапорщик вроде бы смягчился, но проворчал:

— Шут знает вас, нынешних. Раньше сразу было видно, кто шпана, а кто нормальный. Теперь же сам черт не разберет...

Было ясно, что дело не выгорит. И Федя сказал уже просто так, ради справедливости:

— Пряжка мне, между прочим, и не нужна. Я мог бы ее прямо при вас в урну выбросить. Мне только кожу надо... для подарка братишке... — И вот ведь некстати: от обиды сдавило горло. Федя сощурился и стал смотреть вдоль улицы.

— Ладно, давай деньги, — вдруг сказал прапорщик. Федя обрадованно выгреб из заднего кармана рубль и мелочь.

Прапорщика не было долго. Появилась даже нелепая мысль: уж не зажилил ли этот дядька Федин капитал и не слинял ли через другой выход (был такой — через двор). Но вот он вышел. Со сверточком в руке.

— Тебе ведь одна кожа нужна? Ну, я и выпросил без пряжки, за девяносто пять копеек. Держи товар и сдачу...

— Спасибо! Я, значит, марки куплю! — обрадовался Федя так, что у прапорщика рассеялись всякие сомнения.

— Ну, гуляй, отпусник! Каникулы небось?..

От Военторга Федя двинулся во двор к Борису. Тот жил на улице Грибоедова в старом восьмиквартирном доме, обшитом потемневшим тесом. Над домом, как над исследовательским кораблем, торчала щетина разнокалиберных антенн. На дворе в ряд выстроились дровяники и сарай. В одном из сарайчиков стоял их с Борисом «Росинант» — драндулет Пензенского завода. Дребезжащий от старости, но легкий на ходу, потому что втулки перебирали регулярно и о смазке не забывали... Сегодня надо было наконец разбортовать заднюю шину и подклеить заплату на камере, а то колесо спускало через каждые полчаса...

У сарая Федя встретил Борькину бабушку. Она обрадовалась и спросила, не хочет ли Феденька холодной окрошки. Феденька хотел. Поглощая на кухне окрошку, он узнал, что пришло письмо из Ярославля, где была очередная стоянка туристского четырехпалубника «Михаил Кутузов». Борис и его родители сообщали, что повидали множество городов и всяких интересных мест и уже соскучились по дому. Плавание по Волго-Балту очень увлекательное, только подводит погода: часто идут дожди...

— А у нас хоть бы капля перепала. На огороде все сохнет...

— Синоптики обещали грозу, — утешил Федя.

— Дай-то Бог... — Бабушка глянула на икону в углу.

Часа полтора Федя возился с велосипедом: приклеил резину, качнул во втулки жидкого масла, примотал покрепче проволокой тормозную планку. Потом отыскал в коробке со всякой мелочью ту самую пряжку. Борис давно говорил: давай подарим Степке, чего она без дела валяется... Федя поколотил поленом кожу (а точнее — твердый искусственный материал). Пояс, конечно, сделался обшарпанным, зато не таким жестким. Федя приладил его к пряжке и отрезал лишнее, а то хватило бы на шестерых Степок...

Когда Федя вернулся домой, на кухне хозяйничала мама. Сообщила, что сегодня с обеда у нее отгул.

— Отработал свою практику?

— Завтра еще день...

— Что же вы там, бочки с мазутом катаете? Ноги перемазаны...

— Это я «конягу» чинил... Мама, обедать не хочу! Меня Оксана Климентьевна окрошкой кормила. Две тарелки!

— Сейчас на рынок пойдем. Помойся только, чучело.

Федя с удовольствием забрался под душ и заверещал под холодными струями. Сразу позабылась всякая жара... Но потом пришлось пустить и теплую воду, иначе смазка не отмывалась.

— Много мыла не трать! — крикнула из кухни мама. — Там последний кусок, по талонам опять не дали...

Федя сказал из-за двери, сквозь шумное журчание:

— Вот если бы ты пускала меня на речку, никакого мыла не пришлось бы тратить. Песочком оттирался бы...

— Приедет Боря, тогда пожалуйста, вдвоем. Он — человек надежный. А ты растяпа. Сам же говорил — плаваешь еле-еле...

— Там и плавать-то негде! Везде по пуп!

Река Ковжа, что под заросшими береговыми откосами дугой опоясывала Усталъск, была когда-то судоходной. До революции стояла на ней пристань купца Елохина и с низовьев подходили сюда грузовые и пассажирские пароходы с могучими гребными колесами. Федя видел их на фото в краеведческом музее. Но сейчас единственным судами на Ковже были «фофанки» с лодочной станции, моторки частников да трескучий катерок ОСВОДа. В середине лета взрослый дядька мог перейти Ковжу, не замочив подбородка. А у берега всегда было полно отмелей, удобных для купания. Правда, вода попахивала отходами фабрики «Восход», но местные жители, особенно пацаны, были неприхотливы... Однако убедить маму, что купание в одиночку не связано ни с каким практическим риском, Федя всерьез и не пытался. «Перестраховочные тенденции» были в ней сильны не менее, чем в сыне...

Ходить на рынок Федя любил. Правда, с товаром в последнее время было небогато, но все же хватало интересного. Пестрели цветочные ряды. Предприимчивые кооператоры продавали всякие забавные штуки: раскрашенные индейские маски из гипса, игральные карты с портретами политиков вместо королей, дам и валетов, расписные глиняные копилки, вырезанных из дерева гномов и раскрашенных солдатиков ростом с палец.

Громадные, построенные еще в тридцатые годы павильоны «Мясо» и «Молоко» — с решетчатыми конструкциями

и сводчатыми потолками — были почти пустыми по причине продовольственных трудностей. Они были похожи внутри на ангары для космических аппаратов (опять же из Фединых снов про Город). Зато среди открытых овощных рядов было оживленно. Правда, в середине июня овощей маловато: зеленый лук, укроп да тепличные огурцы и помидоры. Но вместе с прошлогодней картошкой и свеклой, связками золотистых луковиц и сушеных грибов они создавали видимость некоторого изобилия. К тому же приехавшие с юга торговцы продавали дряблые яблоки и свежую черешню. Цена на черешню была покупателя в упор, как залп картечи, но мама, поохав, купила все-таки полкило. Федя сунул одну ягоду в рот, и мир вокруг сделался сладким и прохладным...

Рядом с грудой черешни на прилавке лежал почему-то совсем не подходящий для этого места товар: приколотые к серей тряпице значки. Это были белые эмалевые кружочки размером с полтинник, а на них — фигурки всяких персонажей: Буратино, Незнайка, Кот в сапогах, Дюймовочка и прочая сказочная компания. Видимо, торговец черешней подрабатывал еще и таким вот «значковым» промыслом.

Феде понравился значок, на котором красовался толстый человечек с пропеллером за спиной. Федя ткнул пальцем.

— Почем?

— Адын рупь! — обрадовался темношетиный продавец. — Бэры, малчик, хороший значок... — Он стал отстегивать Карлсона. — Ай, булавка отскочыла... Ладно, малчик, бэры бэз дэнег, прыклеишь булавку, будэшь носыть...

— Спасибо! — Федя схватил значок и бросился догонять маму, на бегу размышляя, что не такие уж скаредные эти южные крупцы, хотя все их обвиняют в рвачестве.

— Возьми сумку, там картошка, — сказала мама.

Федя подхватил отяжелевшую сумку и опять кинулся в сторону — к стеклянному киоску с открытками и журналами.

— Ты куда!? — всполошилась мама. Потому что сквозь стекла киоска светились на лаковых календарях голые девицы. Но Федю интересовали не девицы (к ним давно все пригляделись, этого добра хватало на каждом углу, где есть киоски). Федя издали увидел серию марок «Русские адмиралы». Марка стоила всего двадцать две копейки, сдачи от ремня хватило на два комплекта — один в

альбом Феде, другой Борису. Федя сунул всех адмиралов в один конверт и спрятал его под майку...

Дома Федя приклеил эпоксидкой к подаренному значку булавку и сунул Карлсона в ящик стола: пусть смола застывает.

— Мам, я возьму «Росинанта» и покатаюсь! А потом заеду за Степкой.

— Осторожнее только, ради Христа, не носись как угорелый. И на шумные улицы не суйся.

— Я всегда осторожно. И никуда не суюсь...

— С той поры, как Лев Михайлович соорудил для вас эти колеса, у меня ни минуты покоя...

Лев Михайлович, Борькин отец, собрал им «Росинанта», можно сказать, «по косточкам». В прошлом году. Это получилось и дешевле, чем покупать новый велосипед, и, главное, их, новых-то, ни в одном магазине все равно не сыщешь...

— Не бойся ты за меня, я же перестраховщик...

— Болтун ты, — вздохнула мама.

...Федя уехал из района серых многоэтажек, в котором лишь несколько столетних тополей да кирпичный особняк с конторой домоуправления напоминали, что когда-то здесь были старинные, еще восемнадцатого века, улицы. Он покатил по тропинке вокруг стадиона — головки подорожников и золотые одуванчики щелкали по спицам. Конверт с адмиралами тихо шевелился на животе: Федя так привык к нему, что забыл выложить дома.

После стадиона Федя проехался по берегу Ковжи. Здесь над обрывом ремонтировали церковь. Еще недавно была она огорожена забором с проволокой, и там располагался цех пивоваренного завода. Теперь церковь отдали верующим, и строители возводили заново колокольню — вместо разрушенной в давние годы. Кирпичная двухъярусная башня с арками была уже готова, и рабочие стучали топорами среди стропил крыши. А вместо забора вокруг церкви стояла узорная решетка из чугуна.

Федя отдохнул здесь, свалившись прямо в траву навзничь. Зной плыл над травой, и Федя растворялся в нем, будто кусок рафинада в теплом чае. Это было приятно. Однако, чтобы не растаять совсем, он стряхнул с себя оцепенение и вскочил, распугав кузнечиков. Покатил опять. Решил выехать на Садовую и глянуть на вазу с синим гордом...

Вот здесь-то, как известно, и случилось ДТП...

Кино один на восемь

Итак, натянув зашитую майку, Федя поехал в детсад.

Уже издали заметно было за низкой зеленой изгородью мелькание пестрой детсадовской толпы. А человек семь сидели прямо на заборчике, свесив ноги на улицу. И конечно, завопили:

Едет Федя
На ве-ло-си-пе-де!
Едет Федя
На ве-ло-си-пе-де!

Степка выскочил встречать. За ним появилась известная своей занудностью Элька Лохматюк. Сообщила:

— А Степу сегодня ставили в у-угол...

— За что?

— А он дразни-ился. На Дениса Копырина...

— Как? — строго спросил Федя Степку. Но ответила опять же Элька:

— А вот та-ак:

Ты иди все прямо, прямо,
Впереди помойна яма.
Погляди в ту яму вниз —
Там сидит дурак Денис..

— Между прочим, ябедничать стыдно, — сказал Федя Эльке. А Степку сурово спросил: — Я тебе для этого, что ли, утром устное творчество рассказывал?

— А это и не то вовсе! Я сам придумал!

— Ты переделал то, что про Бориса! Это свинство!

— А Денис первый задразнился! Опять «грузди-обабки...». А потом засунул мне под майку песочный шиш.

— Что вас мир не берет? — с досадой сказал Федя. — Все время грызетесь да царапаетесь. Зверята и те дружнее живут в зоопарке, на площадке молодняка...

— На них же воспитательша не орет каждую минуту...

— Катерина Станиславовна, мы поехали! — крикнул Федя «воспитательше» через изгородь. Велел Степке сесть на багажник, и они покатили по краешку щербатого асфальтового тротуара. Улица Хохрякова была спокойная — улица библиотек, поликлиник, детсадов и небольших контор, которые располагались в бывших купеческих и дворянских жилищах. Никто не ругался на мальчишек, едущих там, где место для пешеходов. Степка потряхивался на багажнике и недовольно молчал, обидевшись на «свинство». Потом все-таки спросил:

— А ремень сделал?

— Сделал. Потерпи до дня рождения...

— Лучше подари заранее. Тогда я буду дольше радоваться. А то неинтересно, когда все подарки за один раз...

— Ладно уж, — согласился Федя, потому что в Степкихих словах была логика. А Степка вдруг поинтересовался:

— Где ты майку разодрал?

— Было дело.. Ох!.. — Федя тормознул и хлопнул себя по животу. — Марки-то?

Степка пожелал узнать, что случилось.

— Потом расскажу... — Федя домчал его до своего двора, тормознул у подъезда. — Шпарь домой, скажешь, что я поехал... к одному знакомому. Я у него новые марки забыл. Скоро вернусь... На лифте не ездь, а то застрянешь, топай пешком! — И Федя рванул на улицу Декабристов...

Но через квартал он сбавил скорость. От нерешительности. Подумал: хорошо, если окно открыто и она по-прежнему сидит на подоконнике... А если не так, что делать? Стучать в дом, спрашивать о девчонке, про которую не знаешь даже, как зовут... Может, ну их, эти марки? Нет, жалко... И по правде говоря, не только в них дело. Почему-то хочется вернуться к тому дому.

Сама девчонка Федю не интересовала. Даже лицо не вспомнить. Запомнилось лишь, как поднимала к губам костяшки и дула на них, будто обожгла. В общем, ничего привлекательного...

Не надо думать, что Федя вообще не заглядывался на девочек. Приходилось уже и влюбляться. Ну, Зойка Волошина в четвертом классе — это, конечно, была детская игра в тайную любовь. А вот в этом году, когда в их классе появилась Настя Шахмамедова, дочка вернувшегося из Польши офицера... Федя сладко млеет от нежности, глядя на нее. Другие мальчишки тоже на нее заглядывались, но Федя не ревновал — Настя со всеми держалась одинаково — весело и чуть насмешливо... На физкультуре она лучше всех крутилась на перекладине и брусьях и не скандалила, как другие семиклассницы, что Георгий Максимович заставляет их заниматься в «короткой форме» — в купальниках. Весной она раньше всех девчонок стала ходить в гольфах, с открытыми смуглыми коленками, и вся была смуглая, точеная и казалась Феде похожей на хрупкую певучую скрипку.

Он так однажды и видел ее во сне — в образе девочки-скрипки, которую надо отыскать в таинственных подвалах

Города и расколдовать; томился, искал, зная, что в случае удачи наградой будет необыкновенная музыка... А бывали и другие сны — от которых он просыпался с колотящимся сердцем и капельками пота на лбу. И зарывался лицом в горячую подушку, мучаясь тайным стыдом и страхом... Но в снах случается такое, чего никогда не бывает наяву. А наяву шло все как полагается. Сперва — случайные разговоры, потом: «Ты читала «Марсианские хроники» Брэдбери? Неужели не читала? Давай зайдем ко мне, я тебе дам... Затем — два билета на приезжую клоунаду «Мимикричи»... А конец — тоже обыкновенный: «Извини, Федя, сегодня я ужасно занята...» — И отвратительного вида хлыщеватый девятиклассник Потапов, который ждет ее на углу... К счастью, страдания прекратились в середине мая, когда Настинного отца с семьей опять срочно перевели куда-то. Недели две еще дотлевала печаль воспоминаний, а потом стало некогда — экзамены...

Федя знал, что с нынешней незнакомкой ничего такого не будет. И тянуло его к тому дому с палисадником не простое желание увидеть ее, а неясная подсказка, что должно произойти событие. Что-то интересное. Это было как предчувствие в снах про Город. Потому что Садовая и улицы рядом с ней, и ваза в окне, и новая колокольня, выросшая над заборами, — это ведь тоже частичка Города. Или хотя бы намек на него...

Окно оказалось открыто. Но девочку Федя там не увидел. Остановился у знакомого палисадника, нерешительно брякнул звонком. Потом еще... И тогда она выглянула. Не удивилась.

— Ты за марками приехал? Иди сюда...

Федя опять перебрался через палисадник. Девочка протянула конверт.

— Я почти сразу спохватилась, но ты так быстро уехал. Извини, я заглянула, он не заклеенный. Думаю, вдруг там что-то важное, тогда надо догонять...

— Да ну, ерунда... — пробормотал Федя.

— А ты марки про знаменитых людей собираешь?

— Только про моряков. У меня тема «флот». И еще «искусство»... Ты не интересуешься? — Это он просто так сказал, неловко было сразу обрывать разговор.

— Нет, я марками не занимаюсь, — вздохнула она.

— А чем? Фотографией? — вспомнил он. — Чуть под колесо не загремела, когда фотоаппаратом целилась куда-то...

— Это не фотоаппарат, а кинокамера...

— Такая маленькая? — удивился Федя.

— Да! — оживилась девочка. — «Экран» называется. Такие в шестидесятых годах делали... Хочешь посмотреть?

— Камеру?

— Ну... то, что она снимает. Как получается...

Федя видел, что ей важно не само знакомство, а просто хочется показать свою работу. И любопытно было взглянуть. Получалось, что и правда с о б ы т и е. Но он сказал:

— Да ну... куда я с великом-то... И вообще...

— Велосипед во дворе оставишь, — объяснила девочка и добавила просто, с неожиданной догадкой: — Ты стесняешься, наверно. Не бойся, дома никого, кроме меня, нет.

Федя почесал ногу о ногу и повел «Росинанта» в калитку.

Квартира оказалась необычная. С изразцовой печкой, с лепным узором на потолке вокруг люстры. Окна — высокие, но не широкие, со старинными ручками из синего стекла. Феде всегда казалось, что интересно жить в таком вот доме, который помнит многие поколения и где много старых вещей, книг и кресел, в которых сидели еще прабабушки и прадедушки...

Девочка усадила Федю как раз вот в такое кресло с потертой кожей и завитушками, а сама притащила два одеяла и стремянку. Стала цеплять край одеяла за гвозди над окном.

— Давай помогу, — неловко сказал Федя.

— Да я уже... Я привыкла.

Наступил полумрак, в котором отчетливо светился забинтованный локоть. Девочка поставила на стол небольшой пузатый аппарат с катушками. Умело заправила ленту. Потом вдруг засмушалась (видно было даже в полумраке), неловко, по-мальчишески как-то переступила плетеными сандалетками.

— Вот... Это я зимой снимала.

В проекторе вспыхнули щелки, заурчал мотор, луч уперся в лист ватмана, пришипленный кнопками к обоям. Побежали по яркому экрану точки и царапины. И вдруг соединились в название разнокалиберные буквы: «Тик-так, или Маленький сон».

Федя увидел заснеженный двор, малышей с лопатками и салазками. Потом — забор со снеговыми шапками на столбах. Вдоль забора брел закутанный малыш лет пяти. Присмотрелся к чему-то в сугробе, присел, начал раскапы-

вать снег. Вытащил старый (видимо, выброшенный кем-то) будильник. Крупным планом появилось на экране лицо малыша: довольное, конопатое. Весело глядел он из-под кудлатой шапки, радовался находке...

Потом пацаненок этот, уже без шубы и шапки, оказался в комнате, где шевелила зеркальными шариками елка и качали маятник старинные часы (из их окошечка разок выглянула кукушка). Малыш расстелил на столе серую бумагу, притащил плоскогубцы, молоток, отвертку и принялся «чинить» будильник. Сперва побрякивал им и слушал, потом стучал молотком и, наконец, начал потрошить. Свистнула наружу пружина. Множество шестеренок, винтиков и всяких железок посыпалось на бумагу. При чем таких, каких в механизме будильника и быть не могло. Но это даже смешнее, потому что кино ведь, сказка.

Малыш озадаченно заскреб в затылке. Попробовал было приладить внутрь одну детальку, другую, потом махнул рукой, отошел, забрался в кресло (кажется, в то самое, которое сейчас было под Федей). Сперва он сосредоточенно думал — видимо, о том, как все-таки починить будильник. Потом устроился головой на подлокотнике и прикрыл глаза. Уютно уснул, свесив ноги и уронив с них большие домашние шлепанцы (наверно, мамыны).

Вот тут-то и началась у колесиков, гаек и прочей металлической мелочи своя жизнь!

Сначала выкатилась шестеренка, к ней — словно туловище к головке — пристроилась гибкая цилиндрическая пружинка. Снизу у пружинки веером развернулась юбочка из блестящих планок. Появились длинные суставчатые ножки и ручки. И получилось, что это девочка. Лица, конечно, не было — какое у шестеренки лицо! Но движения были чисто девчоночьи. Словно балерина, девочка на цыпочках прошла туда-сюда, присела, выпрямилась, метнулась в сторону и в страхе схватилась за голову.

И было отчего! Всякие медные и железные штучки из груды деталей выползли на середину кадра и образовали механическое чудовище. Появились лапы с когтями, суставчатый хвост, рогатая голова с челюстями из длинных зубчатых планок. А внутри туловища поворачивались колеса и шестерни, двигались рычаги и балансиры. Машинное страшилище пульсировало и хотело есть. Оно двинулось к маленькой балерине, сжавшейся от страха. Тут бы ей и конец — челюсти распахнулись...

Но неведомо откуда выкатилась гайка. У нее появилось тело из короткой дырчатой полоски, ручки-ножки. По по-

вадкам — явно мальчишка. Он вооружился шпагой из иголки и щитом из подвернувшейся тут же пуговицы. Мальчишка (скорее всего — принц) отдал страшилищу фехтовальный салют, и пошла у них война. Ух и сражались! Дракон дрался лапами, лязгал челюстями, колотил хвостом. Хитро рассыпался на части и складывался опять, прыгал на противника. Но мальчишка ловко увертывался и так трахал зверя шпагой, что от того уже навсегда отлетала одна железяка за другой. И хотя кино шло без звука, Феде казалось, что он слышит звон и грохот боя...

В конце концов принц с головой-гайкой вставил клинок поперек драконьей пасти, и чудовище уже не могло захлопнуть ее. Замотало башкой и жалобно подняло передние лапы. Мальчишка пинками подогнал его к пустому корпусу будильника. Дракон развалился на детали, которые одна за другой попрыгали в будильник. Тот захлопнулся и встал на ножки.

Принц шагнул к балерине, та засмушалась, ручки опустила. Мелко засеменила прочь на цыпочках. Мальчишка догнал ее, взял за руку. Вскинул голову-гайку, ожидая чего-то. На стол сел бумажный голубок. А для принца и балерины это был целый самолет. Они и вскочили в него, не долго думая. Голубок взмыл и полетел мимо люстры, мимо елки. Ключнул спящего малыша в нос и пропал. Малыш смешно сморщил конопатую перевосицу, открыл глаза. Выскочила опять из часов и несколько раз открыла клюв кукушка. На столе заподпрыгивал, затарахтел язычком под блестящей шапочкой звонка сам собой починившийся будильник.

А под елкой улыбался большой ватный Дед Мороз — видимо, волшебник...

Девочка выключила проектор, откинула на окне край одеяла, прижала его стулом. Щурясь, Федя сказал вполне честно:

— Здорово интересно. Я даже в настоящем кино не видел, чтобы мультик из таких вот железных деталек...

— Это я случайно придумала. Когда будильник раскопала...

— Тут ведь каждый кадр отдельно снимался, да?

— Там, где фигурки, конечно...

— Ох, наверно, долго это... Да?

— Возилась целый месяц. Ну... зато интересно.

— Отлично получилось, — опять похвалил Федя. —

А еще какие-нибудь фильмы есть?

— «Ну, погоди!» есть. Пять выпусков.

— Да я про твои говорю!

— Есть немного. Но не такие, а вроде хроники... Я ведь только прошлой осенью заниматься этим начала. Раньше дедушка увлекался. Давно. Он умер, когда меня еще на свете не было. А все это хозяйство пятнадцать лет лежало в чулане: и камера, и проектор, и монтажный столик. И всякое другое... Я однажды увидела и думаю: дай попробую...

— Трудно было сперва?

— Если фотографировать умеешь, то не очень. Я маленько умела... Да и справочник кинолюбителя есть...

— Ну, покажи еще что-нибудь...

Опять замелькал экран: центральная площадь Устальска, громадная новогодняя елка, снежные фигуры, качели-карусели, ледяные горки. Толкотня, веселье, куча мала в конце ледяной дорожки, а с горки подъезжают все новые любители потолкаться-повалиться. Двое мальчишек, большой и поменьше, в одинаковых кроличьих шапках, тоже съехали с горы, и старший ловко дернул младшего в сторону, чтобы тот не угодил в свалку.

— Стой! — завопил Федя. — Это же мы! Я и Степка!

Фильм остановился. Экран слегка потускнел, изображение замерло.

— Точно! Степка и я! А еще где-то Борис недалеко...

— Надо же! Вот встреча, да?

— Да... А я и не видел, что кто-то нас снимает.

— Конечно, такая толкотня...

— Странно как-то, — сказал Федя, — среди летней жары настоящую зиму смотреть. И как ты сам в снегу... — Он даже поежился, будто повеяло январским холодом. Потом вдруг сообразил: — Значит, мы с тобой не первый раз встречаемся!

— Ага... — почему-то смутилась она. — Выходит, не первый...

— И не познакомились все еще, — слегка насупленно проговорил Федя. — Звать-то как?

— Меня? Ой... Оля...

— А меня «Ой Федя», — засмеялся он, ощутив неожиданную легкость. Оля засмеялась тоже. И спросила:

— А Степка кто? Братишка?

— Племянник.

— Дядя Федя...

— Ага! Меня иногда так и зовут: дядя Федор. Как в мультике «Каникулы в Простоквашино».

— Может, мне тебя тоже так звать?

Федя дурашливо обиделся:

— Ну, погляди, похож я на «дядю»? Тот, в кино, хозяйственный был, солидный. А я...

— А ты говорил, что перестраховщик, — поддела Оля. — А перестраховщики, они тоже солидные, предусмотрительные...

— Это как когда!.. Показывай дальше.

Досмотрели ленту про зимнее веселье. Федя спросил:

— А сейчас ты про что снимаешь? Вот сегодня. Когда...

— Когда ДТП? — засмеялась опять она. — Я просто ветки над забором снимала. И как за ветками, далеко, башня, а по забору кошка идет...

— Но меня-то ты, надеюсь, не сняла? — вдруг испугался он. — Как я кувырчался. И потом...

— Думаешь, до того мне было? Я решила, что ты убится...

— Если каждый раз убиваться... — с облегчением проговорил Федя. — А кошка тебе зачем? Для какого фильма?

— У меня летнее задание... В школе работы нет, наша Маргарита Васильевна и говорит: «Пусть каждый себе сам дело для летней практики ищет. А ты, Ковалева, сними кино «Наш город летом», а осенью на классном часе покажешь»... Потому что я в классе уже «Тик-так» показывала...

— А какое будет кино? Просто так, виды всякие?

— Не всякие... Тут главное — кадры хорошие снять. Можно ведь снимать по-разному. Скажем, если просто вид с берега, то это одно, а если сквозь травинки, когда они в капельках дождя, то уже будто сказка...

— Ага! Надо так сделать, чтобы все увиделось как бы по-новому, да? И город такой... загадочный.

— Правильно! Ты понимаешь! Главное — нужный ракурс! В одной книжке написано: «Чтобы увидеть необыкновенное в обыкновенном...»

Точно, они говорили об одном и том же! И, радуясь этому пониманию, Федя едва не сказал о вазе, на которой синяя картина с Городом. Но сдержался все-таки, словно излишняя откровенность могла сломать что-то хрупкое. Он только заметил сочувственно:

— Трудно ведь это — искать хорошие кадры, да?

— Конечно... Да и не всегда получается как хочешь. Пока снимаешь, кажется, что прекрасно, а проявишь, по-

смотришь — хоть плачь... А еще очень важно смонтировать как надо. Монтаж в кино — это вообще самое главное...

Оля увлеклась, такая разговорчивая сделалась. Непохожая на прежнюю, стеснительную. Видно, нечасто ей приходилось говорить о любимом деле с тем, кому интересно.

А Феде и правда было интересно. В нем словно кто-то раскручивал пружинку события. Он сказал:

— Небось куча пленки в отходы идет?

— Ох, конечно... А главная беда, что достать ее почти невозможно...

— Подорожала?

— Да не в том дело! Такую вообще сейчас не выпускают, камера-то старая, один на восемь.

— Я в этом ничего не понимаю...

— Ну, смотри, пленка узкая, как лента на магнитофоне. Восемь миллиметров. Раньше ее специально делали для кассетных камер «Кама» и «Экран». А сейчас — только два на восемь. То есть пленка шириной шестнадцать миллиметров, но снимают на нее в два ряда: сперва по одному краю, потом по другому. А после проявки разрезают вдоль специальным резаком...

— А если до съемки разрезать? В темноте, чтобы не засветилась. И зарядить в твой «Экран»?

— Так я и делаю. Только морока ужасная... Но и эта пленка тоже редко продается. Все больше «супер», для новых камер. Она тоже два на восемь, но на ней перфорация другая, помельче. И не подходит...

— Всюду дефицит, — посочувствовал Федя. И тут разговор замаялся. Чтобы не получилось долгого неловкого молчания, Федя спросил:

— А тот мальчик, что с будильником снимался, твой брат?

— Нет! Это наших знакомых мальчик. Андрюшка. У меня брата нет, мы с мамой... Ой, вот она, кажется, пришла!

В прихожей хлопнула дверь.

— Я пойду тогда, — стесненно сказал Федя.

— Постой. Мама не съела ни одного человека, не бойся.

— Лёлька! — раздался густой голос. — Ты дома, душа моя?

— Мы тут! Кино крутим! Иди к нам!

Одеяло на одном окне было откинута, и Федя разглядел Олину маму сразу, с порога. Она была худая и высокая, с длинным складчатым лицом, густыми светло-желтыми волосами (наверно, крашеными). В ушах качались цыганские серьги-полумесяцы. Узкое зеленое платье переливалось, как змеиная кожа.

— Здравсте... — Федя неловко выбрался из кресла.

— Это Федя, — бодро сообщила Оля. — Мы познакомились на улице, когда я чуть не сыграла ему под колесо. Потом он бинтовал мне локоть, и забыл у нас марки, и приехал за ними, и я показывала ему свои ленты...

— И небось уморила человека... — Олина мама смотрела на Федю как на вполне знакомого. Зелеными спокойно-веселыми глазами. И он ощутил освобождение от всякой неловкости. Проговорил с дурашливой виноватостью:

— Дело не в марках, я все равно бы приехал. Преступника всегда тянет на место, где пролилась кровь его жертвы.

— Много пролилось-то? — обеспокоилась Олина мама.

— Да не слушай ты его! Я сама виновата; на гвоздь наткнулась. И не здесь это было, а на Садовой...

И тогда вдруг Федя сказал:

— Оля, а помнишь, там недалеко такой длинный дом? На спуске. А в крайнем окне — ваза с синим городом...

— Конечно! Я на нее часто смотрю!

— Вот бы ее снять для твоего фильма! В самом начале. А потом уже виды нашего города. Ну, понимаешь, вроде как переключка: сказочный город и наш...

— Фе-едька... — выдохнула она. — А ведь это в самом деле! Главный стержень фильма может из этого получиться... А я смотрела, смотрела на нее, и даже в голову не пришло. Ты только сейчас догадался?

— Раньше у меня знакомых кинооператоров не было... Олина мама спросила:

— Есть хотите? Я вам гренок с яичницей нажарю.

— Ох... — спохватился Федя.

— Не охай, — велела Оля. — Не отказывайся.

— Я бы и не отказался, правда. Потому что не обедал, — бесстрашно признался Федя. Хорошо ему здесь было. — Но я от дома уехал только на минуту. Сейчас там уже переполох... Тут поблизости нет телефонной будки?

— У нас дома телефон есть! — обрадовалась Оля.

Федя никак не ожидал, что в этой квартире, где умест-

нее был бы граммофон с трубой, имеется телефонная связь. Аппарат, кстати, оказался под стать дому и мебели. Висячий, с деревянной ручкой на трубке, с двумя чашечками звонков.

— Его еще мой дедушка ставил, после войны. И до сих пор работает лучше нового. Крепкие вещи в старину делали...

Телефон и в самом деле работал отлично. Мамин голос — будто рядом:

— Федор, это ты? Где тебя носит?

— Меня не носит. Я у одной девочки... Ну, заехал на минуту, и пришлось фильмами заняться, крутим их тут... Господи, да какое видео! Она сама снимает, по заданию школы... Как это я при чем? — Он весело глянул на Олю. — Я помогаю! Это... консультирую... Нет, недалеко, на Декабристов...

— Ничего себе «недалеко», — сказала мама. — Чтобы через час был дома! А то катаешься где-то, а Степку одного домой отправил. А он в лифте застрял! Минут пятнадцать сидел...

— Какая балда! Я же ему русским языком велел: иди пешком!

Мама сказала, что вот придет отец и разберется, кто там у них балда.

— И не носись, как на гонках! Понял?

Когда Федя повесил трубку, Оля сказала — опять с какой-то скованностью:

— Слушай... а может, ты правда мне поможешь?

— Как?

— При съемках... Понимаешь, хорошо, если будет не просто город, а как бы со своим героем. Который ходит и смотрит... Город — глазами этого человека...

— Меня, что ли, снимать хочешь?

— Да... Я в классе кого только ни просила, все на лето разъезжаются... Ой, а ты, может, тоже уезжаешь?

— Не-а... — с удовольствием отозвался Федя. — У родителей отпуск осенью будет. Меня, естественно, собирались в лагерь записать, но я отбил.

— Значит, договорились?

— Да какой из меня артист...

— Нормальный будет артист! Не Гамлета ведь играть!

— А снимать научишь?

— Конечно!.. Ох, только хватило бы пленки. У меня всего пять катушек осталось...

На кухне трещало масло, и доносился оттуда восхитительный запах.

Лифт

Ночью прогремела наконец обещанная синоптиками гроза — трескающая, с белыми вспышками и бурливым дождем. Но долгой прохлады не принесла. Утром, по дороге в детсад, Степка еще хлопал сандалиями по лужицам, но скоро они высохли без следа. И когда Федя после школы шагал на улицу Декабристов, день опять плавился от жары, как масло на желтой сковородке.

На Пушкинской, у Дома пионеров, раскидывал струи фонтан. В бассейне с чугунными осетрами по углам плескался народ Степкиного возраста и постарше. Федя поколебался: не скинуть ли кроссовки и не пробежаться ли по колену в воде под струями? Нет, не солидно...

Но все же не зря он поторчал у фонтана! Заметил, как дрожат в брызгах радуги и салютом рассыпаются искры. Хорошо бы это снять для фильма о Городе. Жаль только, пленка не цветная, но все равно должно получиться красиво: такой праздник воды и солнца! Да и веселящаяся среди струй малышня не будет лишней в этом кино... И Федя заторопился к Оле.

Он собирался прийти к ней позже, после обеда, но теперь все складывалось иначе. В школе Хлорвиниловна сказала, что работы сегодня никакой нет, потому что ремонтники не подвезли материалы, и что всем, кто добросовестно ходил сюда две недели (в том числе и ему, Кроеву) она «практику закрыла» — гуляйте с чистой совестью до сентября. Только последняя просьба к Феде: если ему не очень трудно, пусть он отнесет посылку Анне Ивановне Ухтомцевой. Это старушка, учительница на пенсии. Когда-то она работала в этой школе, а сейчас живет одна, и преподавательский коллектив опекает ее как может. Вот вчера отварили талоны, надо теперь поскорее доставить продукты по назначению, а то здесь нет холодильника.

— А у тебя как раз вон какая сумка!

Холщовую сумку-мешок с портретом Майкла Джексона Федя прихватил дома, чтобы после школы забежать в булочную. А сейчас пригодилась для посылки...

И не только для посылки! Бывают же на свете удачи!..

Когда Федя, пряча в карман с «орлиной» нашивкой бумажку с адресом, скакал с тяжелой сумкой вниз по лестнице, его перехватил Дмитрий Анатольевич (в просторечии «Дим-Толь»). Учитель физики. Он был неплохой мужик, с учениками держался по-свойски и порой любил изобразить рубаху-парня.

— Дружище! Если ты не очень спешишь, помоги мне разгрузить стеллажи в кабинете! Я зашиваюсь! Придут штукатуры, а там бардак! — так он и выразился.

Федя сказал, что вообще-то он спешит. В сумке сливочное масло для Анны Ивановны растает.

— Ни фига с ним не делается за пять минут! А я тебе радиодеталей подкину, у меня там их куча. Интересуешься?

— Не-а, я гуманитарий... Ну ладно, идемте.

В кабинете физики Дим-Толь забрался на стремянку, начал снимать с полок коробки, ящики, вольтметры, лейденские банки и реостаты. Федя все это ставил и укладывал посреди помещения (столы уже были вынесены). Потом на голову Феде упало пыльное чучело совы, неизвестно как попавшее в мир механики и электричества. Федя сел на половицы, помахывая головой.

— Жив? — спросил Дим-Толь. — А, черт! — И, закачавшись, с грохотом прыгнул со стремянки. А на Федю упали картонные коробки. Похожие на сигаретные блоки, только потяжелее. Одна открылась, рассыпались красные коробочки, вроде упакованных лент для пишущей машинки (была такая у отца). Федя машинально взял одну, прочитал на крышке: «Пленка для любительских кинокамер. ОЧ-45. Черно-белая, обратимая. 1×8. Чувствительность 45 ед. ГОСТа. Казань».

— Ой, Димит-Тольнич, откуда это?!

— Сверху, естественно! Сильно грагнуло?

— Да я не про то! Это же кинопленка! Она... зачем здесь?

— Когда-то кинокружок был. Потом камеры рассыпались и дело благополучно скончалось. Как все на этом свете...

— Я возьму несколько штук, а? Мы... с одним товарищем кино снимаем камерой «Экран». А пленки нигде нету...

— Да забирай всю! В порядке компенсации за контузию. Смотри только, тут срок годности кончился.

— Ничего, сойдет!

Из вчерашних разговоров с Олей Федя знал, что она

уже снимала на просроченную пленку и получалось вполне прилично...

В двух упаковках было по двадцать катушек. Богатство! Федя уложил коробки на дно сумки, под продуктовый пакет, и решил, что отдаст эту славную добычу Оле не просто так, а как-нибудь по-хитрому, с сюрпризом. Вот она запрыгает!..

Оля обрадовалась, когда он пришел:

— Хорошо, что пораньше! Надо летнюю лабораторию оборудовать. Во дворе маленький гараж есть, от дедушкиного мотоцикла. Мотоцикл давно продали, там сейчас просто кладовка...

Федя уже знал, что Олин дедушка был геологом, профессором. Научные книги писал. И до конца жизни оставался неутомимым путешественником и спортсменом. И умер не от старости и долгих немощей, а от жесткого, скоротечного воспаления легких, которое подхватил в поездке где-то на севере... В прихожей, рядом с большим зеркалом в бронзовой раме и старым телефоном, висела полка, и на ней поблескивали друзья хрусталя и какие-то золотистые минералы — из коллекции деда...

Феде вдруг показалось, что в этой прихожей с желтым светом фарфоровых рожков на стене, с оленьими рогами и гнутой вешалкой он бывал тыщу раз, а вовсе не вчера оказался здесь впервые. И девчонку эту с зелеными капельками-сережками и забинтованным локтем знает с детсадовских времен.

— Ольга, — заявил он по-свойски. — С гаражом — это после. Заряжай камеру и пошли.

— Куда?

— К одной бабушке-старушке. Я ей пакет ташу от учителей, она живет на двенадцатом этаже. Где новые дома за стадионом. Можно будет с верхотуры из окна панораму города снять. Помнишь, ты вчера говорила, что нужна панорама?

...Да, вчера говорили и про это. И еще много про чего. И Федя явился домой не через час, а через два с половиной, за что и поимел крупное внушение. Отец даже сказал задумчиво:

— Девочки — это хорошо, но не посидеть ли тебе, голубчик, денька три дома, чтобы ты мог обдумать, как плохо трепать родителям нервы?

— Не посидеть! — взвыл Федя. Торопливо и жалобно заобъяснял, что никак это нельзя, потому что, во-первых,

все равно в школе еще практика, во-вторых, он обещал помочь Оле в съемке, а в-третьих, изматывать нервы любимым родителям он никогда больше не будет, а будет их, родителей, всячески почитать и слушаться до собственной старости.

— Смотри у меня, — сказал папа.

На том и кончилось. И теперь, когда Оля спросила, не попало ли дома, он ответил просто:

— Дело житейское...

Она засмеялась:

— Ты у Карлсона этой поговорке научился? — Тронула мизинцем на его майке значок (булавка вчера приклеилась прочно).

— Точно, — засмеялся и он. — Пошли...

Анна Ивановна Ухтомцева жила в однокомнатной квартире. У нее горьковато пахло лекарством. Оказалась Анна Ивановна сухой бойкой старушкой, совсем не похожей на учительницу, даже на бывшую. Очень обрадовалась продуктам:

— На днях дочка из Ленинграда приедет, я пирожков нажарю и ватрушек с творогом напеку, она их с детства любит... — И огорчилась: — Ох, а вас-то и угостить нечем!

Федя и Оля дружно заверили ее, что оба они «только что из-за стола». И заторопились обратно. Потому что снимать из окон было нечего, панораму заслоняли соседние дома, такие же высокие. Не было здесь и намека на Синий город...

Уже на пороге Оля вдруг обернулась.

— Анна Ивановна, может, вам помочь чем-нибудь? Прибраться или в магазин сходить...

— Ой, что вы, что вы! И так уж помогли. Спасибо, мои хорошие...

«Мои хорошие!» Это она, Ольга, хорошая, а ему и в голову такое не пришло. А мог бы ведь и догадаться. Одна живет бабка-то, как ей со всем управиться?

— Вот, пожалуй, что помогите, — засуетилась вдруг Анна Ивановна. — Мусор прихватите, бросьте на дворе в контейнер, если не трудно. А то я к нашему лифту с электроникой никак не привыкну, боюсь... — Она мелко засмеялась, принесла пластиковый пакет с мусором, пустыми консервными банками и картофельной кожурой. Федя торопливо отдал Оле сумку и схватил пакет.

— А ты ведь из сумки не все выложил! — сказала Оля.

— Там еще... мои покупки кой-какие... — Он до сих пор не придумал, как поинтереснее преподнести Оле пленку.

Дом был новый, и лифт — самый современный. Просторный, с плафоном дневного света, с огоньками внутри кнопок на пульте, с красивой сеткой на диспетчерском динамике. Двери задвинулись с вкрадчивым шорохом, и кабина услужливо ухнула вниз. Но почти сразу затормозила — с мягкой перегрузкой. Двери раздвинулись, шагнул в кабину мальчишка лет девяти. Слегка взъерошенный, забавно курносый и толстогубый. В бело-голубой клетчатой рубашке-распашонке поверх серых трикотажных шортиков. С широким замызганным бинтом пониже колена. Глянул на незнакомых чуть настороженно и сказал излишне вежливо:

— Вы, наверно, тоже на первый этаж, да?

— Куда ж еще... — Федя нетерпеливо нажал кнопку с единицей. Лифт плавно провалился в глубину, но через несколько секунд вновь затормозил.

— Еще пассажир, — вздохнула Оля.

Но кнопка с номером этажа не зажигалась.

— Это не пассажир, — сказал незнакомый мальчик виновато, будто из-за него задержка. — Это, кажется, зас'стряли. Здесь такое с'случается. — Он заметно запинаясь на букве «с». Может, от досады, а может, так, от природы.

Федя нажал опять «единицу». Кабина не шелохнулась.

— Ну, яс'сно. Приехали... — Мальчик протянул мимо Феде руку и надавил красную клавишу «Вызов диспетчера». Динамик зашелестел, жирный дамский голос произнес:

— Ну, что у вас?

— То, что пос'стоянно, — капризно сказал мальчишка. — Опять с'стоим. Дом номер три, второй подъезд.

— Хулиганили небось там!

— У вас как неполадка, так всегда кто-то виноват! — со звоном сообщил мальчишка. — Лучше бы наладили с'систему!

— А-а! Это опять товарищ Березкин застрял! Ждите... — И динамик отключился.

— Ну вот, — печально подвел итог виноватый Березкин. — Теперь она нас промаринует назло мне. Я с ней уже с'сорился...

Он завздыхал и стал поправлять сползающий бинт.

— Подвешенный в пространстве лазарет, — заметил Федя. — Все в бинтах и ссадинах...

— Ты-то ведь, кажется, целый пока, — возразила Оля.

— Я душевно травмирован. Вчера Степка в лифте застрял, сегодня я сам. Сплошные ДТП. Не к добру...

Мальчик сказал, согнувшись и поглядывая исподлобья:

— Даже с'совершенно непонятно, отчего он отключается...

Оля прищуренно поглядела на потолок.

— А может, неподалеку пришельцы пролетали на своей тарелке. Когда они пролетают над дорогой, у автомобилей зажигание отключается. Читали?.. Может быть, и здесь так же...

Федя пообещал:

— Ну, поймаю одного из них, оборву щупальца.

— Разве у них есть щупальца? — удивилась Оля. — Говорят, что они гуманоиды, с руками-ногами. Только головы квадратные. Помните, в Воронеже приземлялись?

Мальчик оставил бинт и объяснил со знанием темы:

— Они ведь всякие бывают, эти пришельцы и НЛО. Потому что они звездный плафон.

— Что за плафон? — изумилась Оля.

— Ну, знаете, в океане плавает! Им еще киты питаются. Это крошечные такие живые существа. Все одинаково малюсенькие, а если поглядеть в микроскоп — тысячи разных пород... — Березкин объяснял, часто перетаптываясь от убедительности тона, и бинт у него опять съезжал. — Ну, это океанский плафон, а в космосе — звездный. Тысячи разных разумных существ и аппаратов. Некоторые на Землю случайно попадают, а некоторые... со всякими целями...

Оля засмеялась, поднося к губам костяшки. Весело глянула на Федю. Тот сказал мальчишке:

— Эх ты, биолог. Не плафон, а планктон.

— Ой, правильно... Я знал, да забыл.

Он опять стал подтягивать повязку.

— Все равно съедет, — заметила Оля. — Давай перебинтуем, у нас опыт. Да, Федя?

Мальчик почему-то испугался:

— Не надо! Это так... пустяки. — И быстро перевел разговор: — Это что? — Он показал на футлярчик с камерой, который висел у Оли через плечо. Федя насунил брови:

— Это черный ящик, как в самолете. Для автоматической записи при аварии. Вот если трос оборвется и мы трахнемся, тогда тоже... — Он вдруг ощутил, какая глубокая под полом кабины шахта. Оля, видимо, тоже ощутила. Сказала:

— Зачем ты дразнишь человека... — И мальчику: — Это киноаппарат. Любительский...

Федя не хотел обижать Березкина. Тот ему даже нравился забавной смесью самостоятельности и беззащитности.

— Не дразню я. Это от злости на судьбу. Ни дня без приключений. — И примирительно объяснил Березкину: — Вчера с велосипеда летел, аж в дереве застрял, а сегодня — вот...

Мальчишка деловито понажимал кнопки — всех этажей и снова диспетчера. Лифт не дрогнул, динамик глухо молчал.

— С'ситуация... — вздохнул Березкин. Отступил в угол, потоптался. Потом уперся ярко-синими глазами Феде в грудь. Улыбнулся:

— Какой хороший значок...

Спокойное и ласковое решение пришло Феде в один миг. Он отцепил значок и ловко прикрепил его к рубашке Березкина.

— Носи, раз хороший.

Мальчик замигал, заулыбался нерешительно.

— Ой, что ты... зачем...

— Ну, ты же говоришь «хороший». А у меня он просто так...

Вовсе не «просто так» был значок. Федя с утра еще радовался ему. Но сейчас вроде бы и не жаль. Потому что Березкин был славный. Он, конечно, гораздо старше Степки (и не в пример образованнее!), но проскальзывала в нем такая же бесхитрость.

— С'спасибо...

— На здоровье, — вздохнул Федя. И быстро глянул на Олю: уж не думает ли она, что Федя Кроев ради нее решил показать себя добреньким? Но та смотрела со спокойным пониманием. Потом отодвинулась в угол, положила к ногам сумку, подняла опять к губам острые суставы пальцев и задумалась.

Постояли, повздыхали, помолчали.

«Может, сказать ей о пленке? Нет, пока не время...» — И Федя опять повернулся к Березкину. Забавное было у того лицо. Губы, как у негра, наружу выворочены, а во-

лосы цвета пакли, и нос вздернутый лихим сапожком. Густые брови — с изломом и постоянно приподняты, будто от грустного удивления. Даже когда мальчишка улыбается...

Впрочем, сейчас он не улыбался. Смотрел на Федю с напряженной виноватостью. Стоял скованно, съежил плечи, сдвинул коленки. Опустил глаза, вскинул опять. И вдруг незаметно, поднятым к подбородку пальцем, поманил к себе Федю. И очень понятно показал взглядом: «Только чтобы она не заметила...»

Федя шевельнул веками: ясно, мол. Придвинулся, будто случайно, приблизил к лицу Березкина щеку. В ухо Феде толкнулся теплый шепоток:

— Я не знаю, что делать. С'страшно хочется в туалет.

Может, кто другой и хихикнул бы. А Федя испугался за мальчишку. Потому что чего смеяться — положение безвыходное. Одними губами понятиливо спросил:

— Всерьез или помаленьку?.. — Как у Степки, когда того поджимало не вовремя.

— Не вс'серьез. Но с'сильно. Я не рас'считал...

Вот «ситуация»... Федя качнулся к пульту. Оля вздрогнула. Он нажал опять диспетчерскую кнопку, но динамик за модерновой сеткой хранил бесстрастное молчание.

— Понажимай другие, — посоветовала Оля.

Федя лихорадочно понажимал. Без толку. Он опять придвинулся к Березкину. Шевельнул губами:

— Потерпи. Наверно, скоро поедем... — А что еще он мог сказать? И что сделать? Вот если бы Оли здесь хотя бы не было... — Сожмись... Можешь?

Мальчишкины губы снова двинулись. «С'совсем ужас'сно...» — понял Федя. Глаза Березкина округлились, он втянул сквозь зубы воздух. На пределе человек...

— Ольга, стань носом в угол! Зажми уши, закрой глаза!

— Зачем? — очень удивилась она.

— Надо! Скорее! И считай до двухсот! Только не быстро...

— И что будет? Поедем? — Она решила, что такая игра.

— Или поедем, или будет сюрприз. Такой, что затапуешь. Честное слово! Ну, скорей...

Оля пожала плечами, но послушалась. Указательными пальцами заткнула уши. Зажмурилась и отвернулась.

— Ладно уж. Раз... два... три...

Федя развернул мальчишку лицом к стенке, поставил

ему на сандалиии большой жесткий пакет с очистками. Шепнул в маленькое порозовевшее ухо:

— Давай потихоньку. Он непромокаемый. — И на всякий случай загородил собой несчастного Березкина от Оли. А та добросовестно отмеряла секунды:

— Пятнадцать... шестнадцать... семнадцать...

На счете «сорок три» Федя уловил за спиной вздох и радостное шевеление. Оглянулся. Березкин держал пакет опущенной рукой и стоял со стыдливо-облегченным лицом. Федя приложил палец к губам, глазами показал на Олю.

— Шестьдесят три, шестьдесят четыре... — Она явно наращивала темп. Ладно, пускай теперь... И когда Оля сосчитала до девяноста, Федя снисходительно сказал:

— Так и быть, хватит уж.

Она быстро обернулась.

— Не едем! Где сюрприз?

— Подними сумку, посмотри, что там...

Оля вытащила коробку.

— Ой, Фе-едя-а... Где взял?

— Физик подарил. Сперва меня контузило, а... Ура!

Лифт зажужжал и поехал вниз.

— Не шумите, а то сглазим, — быстро попросила Оля. И все молчали до конца. Кабина стала, двери разошлись. Человек семь рассерженных взрослых толпились перед лифтом. Толстый дядька в соломенной шляпе и белых штанах возмущался:

— Катаются, понимаете ли, безобразничают, а люди ждут...

— У вас вс'егда дети виноваты, — огрызнулся Березкин. А Феде быстро сказал: — Я пакет сам унесу... — И первым выскочил на двор. Побежал туда, где чернели мусорные контейнеры. Иногда останавливался и подтягивал бинт.

Оля почему-то вздохнула:

— Смешной, да?

— Ну, нет. Пожалуй, наоборот, чересчур с'ерьезный.

Они посмеялись.

Березкин от контейнеров не вернулся, убежал куда-то.

Оля и Федя вышли из тени дома под горячее солнце.

— Как ты все же пленку-то раздобыл? Чудо такое...

— Сейчас расскажу. Сперва мне на голову упала сова...



Вторая часть

Закон табурета

Спирали

Кинокамера была черно-лаковая, размером с толстый портсигар. Внутри у нее жил хитрый механизм. Когда закручивали откидной рукояткой пружину и нажимали кнопку спуска, камера оживала в ладонях. Механизм чуть подрагивал в кожухе, урчал, как довольный котенок, а в окошечке видоискателя подпрыгивал черный стерженек — сигнал, что пленка движется нормально. А когда «Экран» жужжал вхолостую, стерженек не двигался.

Именно так, без пленки, сперва и учился Федя работать с аппаратом: не дергать им при съемке, выбирать нужный кадр, определять по экспонометру диафрагму в крошечном, похожем на капельку объективе. А еще — переключать скорости, перезаряжать кассеты, плавно вести камеру при съемке панорамы и учитывать хитрое явление

под названием «параллакс» — то есть высоту видоискателя над объективом...

Пробную ленту Оля разрешила Феде снять лишь через два дня. И проявила ее сама, попутно объясняя, какие для чего растворы; их было целых пять! Конечно, Федя израсходовал первую пленку на что попало. Но Оля снисходительно заметила, что для начала получилось неплохо. А про одну сценку — где малышня в детсаду сидит на изгороди и перекидывается мячиком — даже сказала, что, может быть, пригодится для фильма.

— А теперь тебе надо научиться проявлять пленку.

Будь она неладна, эта пленка. Чтобы проявить, надо сперва зарядить ее в бачок. Намотать в полной темноте десять метров капризной скользкой ленты на катушку с тонкой спиралью. И чтобы краешек нигде не выскочил из пазов этой спирали, а то эмульсия слипнется — и прощай, отснятый материал!

Они заперлись в кирпичном, без единой щели гараже, и Оля в кромешной мгле подавала советы не спешить и сохранять спокойствие, а Федя поминал столько чертей, что такого количества не нашлось бы во всей преисподней, и тихо рычал. Потому что пленка не хотела вставляться в резьбу бачковой улитки, моток выскакивал из ладоней, лента шелестящей кучей вспухала на полу, щекочуще опутывала ноги, и нельзя было переступить. Под ногами тут же захрустит...

От мрака и бессилья у Феде в глазах прыгали зеленые пятна, и он в сердцах говорил, что зря тогда отвернул «Росинанта» от своей будущей мучительницы. Она смеялась и разъясняла нарочитым голосом учительницы: каждый кинолюбитель должен всю работу делать от начала до конца. А кнопку нажимать на камере — этому может и макака научиться.

— Сама ты макака! — вопил во мраке Федя. — На свободу хочу! К солнцу и свету! Спасите!..

Наконец Оля смиловилась. Но сказала, что даст ему домой засвеченную пленку и один бачок (в ее хозяйстве их было три). Пускай Федя тренируется в свободное время.

Поздно вечером он сидел на постели и, зажмурившись, вертел проклятую улитку, а щекочущая лента скользила в пальцах, готовая в десятый раз сорваться со спирали...

Наконец получилось! Раз, второй, третий! Оказывается, все дело в привычке, в натренированности пальцев. Ура!..

Федя завалился спать, а в глазах вертелась желтая

спираль. И, погружаясь в полудрему, Федя философски размышлял, что все в жизни движется по спирали — он читал про это в журнале «Знание — сила». Явления делают круг и возвращаются, но уже не на прежнее место, а на новое. И вертит, вертит жизнь человека в спиральном завихрении событий...

Вот и опять жизнь принесла его, как перышко в потоке, к знакомству с девчонкой. Хотя еще в мае он поклялся, что никогда больше не позволит себе таких глупостей... Но ведь Оля — это совсем не то, что Настя! С ней... ну, почти так же, как с Борькой, про все можно говорить, спорить, подначивать друг друга. И когда в темноте гаража Олины волосы касаются Фединога уха, он только вздрагивает от щекотки. А будь на ее месте Анастасия Шахмамедова! Он бы одурел от... как это говорится?.. «от электрических токов любви»!

Нет, больше такого не повторится. И одно беспокоит Федю: как отнесется к этому новому знакомству Борис?

Федино увлечение Настей Борис не одобрял. Нет, он вовсе не ревновал друга к этой девчонке. Понимал, что одно дело такая вот влюбленность, другое — настоящая мужская дружба, завязавшаяся еще в детсадовские времена. Борис просто страдал, видя, как мается из-за этой Настасьи Федя. И с грустной иронией говорил: «Не понимаю я этого. Наверно, еще не дорос...» И он вздохнул с великим облегчением, когда Шахмамедова исчезла из их жизни. Даже вспомнил изящную поговорку: «Леди с фазтона — рысаку легче...»

Но как будет сейчас? Когда Борис поймет, что Ольга — вовсе не какая-то там любовь, а просто... ну, в общем хороший товарищ? Не решит ли, что есть здесь со стороны Феда измена? Мол, стоило уехать на три недели, как Феденька заимел нового друга...

«Ох, да что ты! — вдруг встрепенулся Федя. — Ты же сам это придумываешь! А Борька — он разве такой?»

Борис, он всегда все понимал в Фединой жизни. Даже лучше, чем родители. Не говоря уже о Ксении.

Старшая сестрица была несообразительная и бесцеремонная. Однажды утром высказалась при отце и матери:

— У Феденьки явно опять роман... — Весенние страдания брата не были для нее (да и для родителей) секретом. — Каждый день удирает до вечера к какой-то Оленьке.

Федя не стал ни краснеть, ни даже злиться. Только хмыкнул и крутнул у виска большим пальцем: проверни,

мол, шестеренки, а то заело. Люди делом заняты, кино снимают в соответствии со школьным заданием, а ты чего несешь.

Снимать начали на пятый день знакомства (когда обоим казалось, что знакомы давным-давно). И почти сразу все застопорилось... Казалось бы — совсем простое дело: Федя идет по улице, посвистывает, поглядывает по сторонам и видит всякие интересные мелочи — то хитрые башенки и флюгера на старом здании аптеки, то солнечные вспышки среди тополиной листвы, то хитрого толстого малыша, который комком черной земли рисует усы гипсовому льву в сквере у драмтеатра... То драчливых воробьев, устроивших потасовку на лепном карнизе краеведческого музея... А потом уж Федя должен был подняться на высокое крыльцо этого музея и оглядеть с него старую часть Устальска и берег Ковжи...

Малыш со львом и воробьи снялись отлично. Наверно, потому, что не заметили камеру. А Федя, когда знал, что на него направлен объектив, деревенел от неловкости.

— Ну, чего ты как неживой!

— Сам не знаю. Не получается...

— Да чему тут получаться-то? Шагай да смотри вокруг! Как на самом деле, когда гуляешь...

Нет, не выходило у него «как на самом деле». Ну, не артист он ни капельки, что поделаешь! Замечательно, когда сам жужжишь кинокамерой, когда вытаскиваешь с замиранием из бачка мокрую пленку (получилось ли?), когда помогаешь Оле оборудовать в гараже лабораторию и при этом болтаешь обо всем на свете: об НЛО, о группе «Аквариум», о книге «Властелин колец», о школьных тяготах, о приключениях в раннем детстве, о фильме «Восстание на Баунти»... И строишь планы: что снять в их собственном фильме... А вот как до дела дошло...

— Давай попробуем еще раз, — терпеливо сказала Оля.

Федя на неживых ногах опять поднялся на крыльцо музея, к чугунной пушке времен Петра Великого, и устало сел на верхнюю ступень. Оля села рядом.

— Ладно... Порепетируем еще, и получится.

— Не-а... — сокрушенно сказал Федя. — Бесполезно. На твоём месте я бы прогнал такую бездарь...

Он знал, что Оля его не прогонит, с друзьями так не обходятся. И будет он по-прежнему приходить в старый дом на улице Декабристов, где в комнатах с тяжелой

коричневой мебелью живет и хозяйничает самостоятельная девчонка Ольга Ковалева. Очень самостоятельная, потому что мать у нее целый день на работе, в конторе какого-то треста, а потом еще руководит в этом тресте самостоятельным театральным коллективом и домой иногда приходит к полуночи, а на Оле — все хозяйство. Отец у нее тоже есть, но живет в Москве, и «там у него свое семейство; ездила я один раз, больше не хочется...». Научилась Оля многое делать и решать сама, потому что характер у нее спокойный и твердый, хотя сперва это незаметно. Кажется наоборот — нерешительная. Стоит такая серенькая, с неприметным лицом, трогает губы костяшками пальцев...

И сейчас тоже — рассеянно водит по губам кулачком, как губной гармошкой. Думает: что же делать-то?

— Давай еще раз попробуем, — вздохнул Федя. И опять ощутил тоскливое замирание. — Ох, нет... Слушай, Ольга, тут кого-то другого надо. Ну, как это говорится... «раскованного». И чтобы лицо у него было выразительное.

— У тебя вполне выразительное лицо, — деликатно сказала Оля.

— Да брось ты... Я внутри себя понимаю, как что надо делать, а вот изобразить это... Не такой человек нужен!

— Где его взять, «не такого»-то? — вырвалось у Оли.

В самом деле, где? Может, Степку попробовать? Нет, маленький. Тут нужен такой, который бы понимал суть фильма. Ведь это же не просто «Наш город летом», а намек, что живет в городе сказка...

Может, Бориса дожидаться? Не-е-е... Борька при всех своих талантах уж точно не артист. Его даже в детском саду ни разу не могли заставить на утреннике стихи прочитать...

В общем, скверное дело... «С'скверное дело», — словно кто-то усмехнулся рядом.

— Ой... Оля! А помнишь Березкина? Ну, того мальчишку в лифте!

Она вроде бы и не удивилась.

— Конечно, помню.

— Вот уж у кого лицо выразительное! И вообще он... — Федя хотел сказать, что Березкин, по его мнению, человек, на все отзывающийся живыми нервами. Но выразиться столь изящно не решился. — Пригодный для нашего дела.

— А что, пожалуй... — отозвалась Оля. Но без особого оживления. Может, боялась обидеть Федю заменой. — Только согласится ли? Да и где его найдешь?

— Там и найдем, где встретили!

— Может, он там не живет, а просто приходил к кому-нибудь... Я его там больше ни разу не встречала.

— А... разве ты там еще бывала?

Оля слегка смутилась:

— Я два раза к Анне Ивановне заходила... Ну, она же совсем одна, дочка в Ленинграде. Вот я и думаю: может, помочь что... — И зацарапала костяшками по губам.

Удивительно, как люди стесняются добрых дел.

— Когда ты успела-то?

— А с утра пораньше...

Федя сказал с неловким упреком:

— Могла бы и меня позвать. Глядишь, и пригодился бы...

— Да там и делать-то нечего. Посуду помыла да пол подмела... А Березкина я ни разу не видела. Мальчишек утром полно во дворе, а его нет. Наверно, он не там живет...

— А откуда тогда диспетчерша лифта его знает?.. Да чего гадать-то! Сходить надо да спросить у людей! — Федя был теперь уверен, что нынешняя «спираль жизни» — веселая, озорная даже — опять приведет их к этому мальчишке. «Без всякого с'сомнения».

Федя оказался прав. И удачлив! На подходе к дому, где жила Анна Ивановна, они встретили Березкина.

Правда, узнали не сразу. Был он в другой рубашке — оранжевой — и в пыльных школьных штанах с пузырями на коленях. Издали казалось — незнакомый мальчишка. Шагает, похлопывает по штанинам сеткой-авоськой... Он узнал их первый. Сбил шаг, двинул приподнятыми бровями. На рубашке у него Федя разглядел знакомый значок. И тогда сказал издалека:

— Березкин, привет! А мы тебя ищем!

Они сошлись. Березкин глянул на Олю, на Федю, потом в землю. Спросил боязливо:

— С какой с'стати... ищете?

— Дело есть, — объяснила Оля. Он опять глянул на нее быстро и опасливо.

Оля вдруг торопливо попросила:

— Федя, расскажи ему, ладно? А я пока к Анне Ивановне сбегая, на две минутки! Узнаю, как она там... — И ускакала с неожиданной резвостью. Федя слегка опешил от такого поворота. Но надо было как-то начинать разговор.

— Помнишь, ты про аппарат спрашивал? Мы кино снимаем...

Березкин выжидательно молчал. Федя спросил прямо:

— Хочешь сниматься?

— А почему... я?

— Ну, так... Мы про тебя вспомнили. Как сидели вместе в лифте. И решили: давай позовем. Нам человек нужен...

— Странно... Меня раньше никто никуда не звал.

— Ну... тем более! Согласен?

— Странно, — опять сказал Березкин. Уже без запинки.

— Да что тебе странно-то? — Федю царапнула досада.

Березкин глянул синими неулыбчивыми глазами, помахал авоськой и вдруг признался:

— А я вас тоже вспоминал.

— Ну вот видишь! Значит, не случайно, — настойчиво сказал Федя. Березкин вдруг посмотрел в сторону, куда убежала Оля. И опять опустил голову. Прошептал:

— А как ты думаешь, она догадалась... про тот случай? Ну, в лифте...

— Да ты что! — шумно возмутился Федя. — У нее же глаза-уши были заткнутые! А потом она без памяти от радости сделалась, когда я ей пленку отдал! Я эту пленку в тот день чудом раздобыл, дефицит такой... — Он, пожалуй, чересчур бурно доказывал. Потому что в глубине души был уверен: Оля догадалась. Тем более что, когда Березкин убегал к мусорным контейнерам, из пакета капало... И теперь Оля, скорее всего, покинула мальчишек не случайно: решила, что Федя с Березкиным без нее лучше объяснятся.

Березкин опять смотрел ему в лицо — стыдливо и недоверчиво. И тогда Федя сказал со всевозможной небрежностью и беспечностью:

— Ну а если бы и догадалась? Подумаешь! Дело житейское.

Оба они глянули на значок с Карлсоном. И Березкин чуть улыбнулся наконец. И спросил:

— А почему ты мне его подарил?

— Да просто так! Чего ты удивляешься?

— Я удивляюсь, — тихо признался Березкин, — как ты угадал. Я люблю всякое такое... что летает...

«Это с'случайно», — чуть не сорвалось у Феди. Он прикусил язык. В этот миг подскочила запыхавшаяся Оля.

— Ну? Вы договорились?

Березкин потупился и чуть заметно кивнул.

Феде стало весело.

— Это — Оля, — сказал он, слегка дурачась. — Очень хороший человек. А я — Федя... А ты? Как звать-то?

И вдруг понял наконец, кого ему напоминает Березкин. Года два назад в вечерней передаче для младших школьников появилась большая кукла — забавный такой пацан Кирюша. Совсем как живой. И Березкин лицом был похож на этого Кирюшу. И показалось Феде, что имя у Березкина должно быть таким же — ласковым и не совсем обычным. И кажется, не ошибся.

— Данилка? — обрадованно переспросила Оля, когда Березкин ответил смущенно и неразборчиво.

— Да нет же! — сказал тот с неожиданной звонкой досадой. — Просто Нилка! — И объяснил доверчиво и сокрушенно: — Каждый раз, когда знакомлюсь, сплошное с'страдание. Папа с мамой придумали такое имя старорежимное — Нил! В честь прадедушки, он был знаменитый фотограф Нил Березкин!.. Он-то знаменитый, а я мучиться должен... Паспорт буду получать — переделаюсь в Данилу...

Федя и Оля переглянулись. Федя осторожно сказал:

— А какое тут мучение? Имя как имя. Ну и что же, что старинное? Данилы, Игнаты, Филиппы еще тоже недавно старинными были, а теперь сплошь да рядом...

— А Нил — это вообще здорово, — вставила Оля. — Великая река...

Нилка Березкин повеселел, но буркнул еще для порядка:

— Великая... Назвали бы уж тогда «Миссисипи»...

Оля смешно фыркнула, засмеялся и Федя. Нилка посопел и тоже заулыбался.

Вот так и появился в их компании Нилка, личность девяти с половиной лет, единственный сын родителей Березкиных, правнук Нила Евграфовича Березкина, который до революции был в Устальске самым известным фотомастером и репортером...

Они сходили с Нилкой в булочную, куда он был отправлен матерью за батонами. Потом проводили домой. Жил Нилка все-таки в том самом доме. А то, что Оля не встречала его на дворе, объяснил природной «домос'седливостью»... Нилка отнес батоны к себе на десятый этаж, вернулся и сообщил, что теперь отпущен «на все четыре стороны» до ужина.

Отправились к Оле — знакомить новичка с киношным

хозяйством. По дороге объяснили, какая у него актерская задача. Нилка сперва испугался:

— Я же человек без малейших с'способностей.

— Все мы без способностей. — Оля покосилась на Федю. — Научись, лето впереди... Ой, а ты никуда не уезжаешь?

— Никуда! Папа хотел достать детскую путевку в санаторий, но я как завыл! Это чтобы здорового человека врачи мучили? С'страх такой... Да и толпа там, а я неконтактный...

— Завоешь тут, — посочувствовал Федя.

— Конечно!.. А папа с тех пор всем рассказывает: «Хотите послушать, как Нил волком воет? Спросите: «Хочешь в санаторий?» — «У-у-у!»

Оля засмеялась, а Федя сказал:

— Это старый анекдот. Про одного пенсионера... — Он покосился на Олю. — В общем, бородатая история. А при Ольге ни одного анекдота не расскажешь, беда прямо...

— Ну, почему? Если приличные, то можно, — с пониманием заметил Нилка.

— Или детские. Про Вовочку, — разрешила Оля.

— Про Вовочку-то? — изумился Федя. — Много ты знаешь! Хочешь, как Вовочка алгебру изучал?.. Ну, вот то-то же...

Они вышли на Садовую. Тенистую, прохладную. Может быть, чуточку волшебную. Здесь не хотелось болтать и дурчиться.

— Вот она, ваза, — сказал Федя Нилке. Они задержали шаг.

— Ага... — выдохнул Нилка. — Красивая... А давайте прямо сейчас и снимем!

— Не получится, окно в тени, — объяснила Оля.

— А если дифирамбу пошире открыть? — профессионально предложил правнук знаменитого фотографа.

— Че-во? — Федя охнул. — Какую дифирамбу? Диафрагму!.. Ох, диво ты заморское, Нил!

Нилка слегка набычился:

— Подумаешь... Я знал, да забыл.

Никто не стал смеяться, и он тут же оттаял.

— И вообще, снимать лучше, когда окно открыто, — сказала Оля. — Стекло-то бликует...

Нилка робко предложил:

— Можно ведь попросить у тех, кто там живет, чтоб открыли. Объяснить им... Не хочется, да?

— Да. Не хочется... — признался Федя.

Оля сказала:

— Вдруг окажется, что там какая-нибудь вредная тет-ка живет. Заорет: «Ходят тут всякие!»... А так — пока тай-на. И Город — он вроде наш...

Нилка шел посередине. Посмотрел на Олю, на Федю. Опустил голову. И вдруг тихонько спросил на ходу:

— А он вам часто снится... такой Город?..

Слон Буби и другие

Город снился...

Чаще всего он снился при луне. То есть на самом деле она могла и не светить, но во сне возникала над крышами многоэтажек — пятнисто-белый шар, окутанный искрящейся дымкой. Он испускал не только свет, но и пушисто-ласковое тепло...

Поток лучей входит в комнату через распахнутое окно, В этом потоке можно плыть, как в струях теплой речки.

Для начала нужно, отдавшись сладковатому замиранию, встать на согретый необыкновенной луной подоконник. Дождаться, когда эта светлая ночь пропитает тебя до последней клеточки. И тогда можно в полет... Надо только сбросить с себя все-все, потому что даже миллиграмм посторонней тяжести неумолимо потянет к земле. Даже пушинка от подушки, застрявшая в волосах... Ох, чуть не забыл размотать на ноге бинт!..

Теперь луна окатывает неслышными струями тепла и света все тело. Смывает и растворяет накопленные телом за день ощущения: застоявшуюся в мышцах усталость, впитанный кожей солнечный жар, саднящую боль на сбитом локте, легкий зуд щиколотки — память о крапивном ожоге... И вот ты уже частичка ночного серебристо искрящегося воздуха. Невесомый, как паутинка. Можешь оттолкнуться ступнями и плыть...

Не бойся, никто тебя не видит. Снящийся тебе мир отгорожен от всех сотнями тончайших прозрачных граней. Днем они незаметны и проницаемы для каждого, но сейчас повернуты под таким углом, что чужие взгляды, чужие мысли и желания, как скользящие лучи, уходят в сторону рикшотом. И никому из жителей Земли нет входа в этот мир...

Лететь можно по-разному. Хочешь — скользи над мерцающими крышами, темными грудями деревьев и пустыми

улицами в горизонтальном полете. Хочешь — вытяни руки вниз — и стремительной рыбкой помчишься к земле. А можно остановиться, повиснуть среди лунно-воздушного пространства, и тогда начнешь потихоньку всплывать к облакам, как всплываешь от песчаного дна к поверхности воды, если не выдохнул воздух.

Лучше всего так и сделать. Чтобы с высоты увидеть башни и сверкающую мостовую того Города. К нему не надо лететь долго, его надо просто разглядеть среди мерцания... А теперь — вниз! Ух, эта жутковатая прелесть стремительного приземления!.. У самой земли — руки и ноги в стороны, торможение. И вот уже подошвы касаются скользкого стекла, которым вымощена площадь. Теперь — постоять, оглянуться...

В окнах — ни огонька. Так и должно быть: люди еще не пришли в Город. Темные башни рисуются в лунной высоте — зубцы, конусы крыш, железные кружевные флаги. Лишь одна башня — с бесформенным, словно обглоданным верхом. Развалина... Не надо туда смотреть...

А почему не надо? Смотри! Это урок... Скажи спасибо, что Город простил и снова принял тебя. Счастье, что он опять твой. Теперь можешь идти по любой улице, заходить в любой дом, гулять по таинственным лестницам и переходам замка.

Замирает душа. Но не от страха. Страх здесь нет. В Городе не может быть зла. Оно могло бы прийти лишь со стороны, однако тысячи невидимых зеркал надежно охраняют это безмолвие и безлюдье...

Надо пройти по мостам и площадям. Надо посмотреть, есть ли уже в сводчатых библиотечных залах тяжелые старинные книги. Течет ли из труб вода, если покрутить узорчатые медные краны. Подвешены ли среди черных узловатых дубов лодки-качели... Когда придут в Город жители, все должно быть готово...

Лучше всего свернуть вот в этот переулок с арками. Здесь ты еще не бывал... Так приятно ступать на теплые булыжники мостовой... Потом булыжники сменяются плитами, переулок распахивается, открывая круглую площадь... Какой резкий свет у луны! Да он не только от нее! Еще две луны — не круглые, а половинка и тонкий, будто сабля, месяц повисли над домами... Но они же не настоящие! От них идет искусственное электрическое излучение! Зачем?..

И откуда это чувство незащитности? Словно со всех сторон направлены на тебя изучающие взгляды. Неиз-

вестно чьи. А ты — беспомощный, голый, как лягушонок на громадной сковородке, — не можешь двинуться. Ноги приросли к самому центру площади, на которой ты оказался неизвестно как... А свет все безжалостнее, будто в кабинете у зубного врача... Сжаться, зажмуриться, спрятаться в самого себя!.. Ух, какое счастье: оказывается, на тебе одежда!.. Но почему куртка и брюки из нездешней тяжелой материи с металлическим отливом?.. Значит, это все-таки случилось?!

Так и есть! На краю площади возникает аппарат. Пирамида из сверкающих колец, высотой в два этажа. Она висит в метре от плит. Она говорит. Мысленно:

— Это ты — Нил Березкин?

— Нет! Вы ошиблись! Это не я!.. Не он...

— Ты говоришь неправду. — Сбоку, из темного окна, ударяет невидимый щуп локатора, ползет по плечу, по рукаву, по штанине, считывая сквозь одежду сигналы излучающего кода. — Ты Нил... Иди сюда. Тебе пора к нам...

— Я не хочу!

— Это не имеет значения. Есть программа.

Вороненый металлический жук размером с бочку выезжает из-под пирамиды. У него изогнутые щупальца-захваты.

Господи, что делать-то?! Подошвы с трудом отрываются от плит. По клейким камням, сквозь вязкое сопротивление загустевшего воздуха так трудно бежать... А жук — не приближаясь и не отставая — погромыхивает сзади...

Вот уже опять переулок, арки, булыжники. А впереди — глухой торец каменного здания. На нем проступает мозаика: лицо старика с печальными внимательными глазами. Он похож на того, с улицы Тургенева...

Прямо на тебя эти глаза!

— Помоги мне! Ну, пожалуйста... — Это сквозь слезы и отчаяние. — Я тогда не нарочно... Я больше не буду...

Сзади — новый лягз и грохот. Что такое?.. Это спустилась поперек переулочка решетка с черными коваными завитками! Перерезала путь жуку-машине!.. Жук трогает решетку щупальцами, разворачивается и едет назад, к сверкающей пирамиде, которая все еще видна за арками... Можно сесть на каменное крылечко, привалиться к выпуклым узорам деревянной двери. Жук не вернется. Он и не достанут. Пока... Но как они проникли в Город? Потому что не с Земли? Значит, от них нет защиты?

— ...Они проникли случайно, — говорит неизвестно кто.

Кажется, из-за двери. — Не бойся. Теперь Город поставит еще одну отражательную грань. Сюда они больше не придут. Но будь осторожен в других местах...

— Да, я помню...

Дверь сзади медленно отходит. За ней — нестрашный, мерцающий добрыми огоньками полумрак.

— Там что?

— Не бойся, заходи. Это дом, где исполняются желания.

— Всякие?!

Ответа нет. Но в молчании — доброта.

Огоньки начинают дрожать сильнее. И сон тоже дрожит, обретает непрочность. Не растает ли он совсем оттого, что скажешь заветное: «Хочу... чтобы были друзья...»?

Огоньки, что сперва казались мерцающими в темной комнате светлячками, разбежались далеко-далеко. И темная тьма раздвинулась до бесконечного ночного пространства. И стало ясно, что это переливается огнями Город, видимый с горы. Здесь, наверху, бѣлели в сумраке, как березы, античные колонны — остатки древнего строения. А вниз по крутому склону убегала среди травы рельсовая колея.

Снизу, из пахнувшей ромашками темноты, подкатил дребезжащий вагончик. У него светились окошки и горел под козырьком крыши яркий фонарик.

— Поехали...

Степка боязливо заупрямился: очень уж крутой спуск.

— Поехали, не бойся...

Они сели у окошка, и трамвайчик помчался. С потряхиваниями и перезвонами. Скорость нарастала, напоминая жутковатое падение. Но в падении не бывает поворотов, а этот свистящий сквозь ночь вагон закладывал виражи, от которых стремительно замирала душа. Федя прижимал Степку к себе, чтобы тот не треснул о твердое... Но вот скорость уменьшилась, трамвайчик прокатился по горбату мосту и выехал на улицу, где горели фонари и цепи разноцветных лампочек. Мелькало множество народа, но никто не входил в вагон (да он и не останавливался, только ехал уже медленно). Люди были в пестрых костюмах и масках.

— Пойдем! — жарко дохнул в Федино ухо Степка. — Здесь карнавал. Это ведь не толпа, а праздник...

— Но не вздумай опять исчезнуть... Стоп!

Трамвайчик послушно затормозил. Они вышли в празд-

ничную круговерть, и Федя стал оглядывался, стараясь понять: был ли он уже на этой улице? Видел ли эту башню, у которой на шпиле большой белый шар с часовым циферблатом? Старинные дома казались полужнакомыми. В нижнем этаже одного из них — это помнилось точно — кафе-мороженое «Ква-Драт». Правильно! Вон в освещенной витрине пляшущие лягушата держат квадратный щит — на нем девчоночья рожица с красным языком, лижущим вафельный стаканчик... А справа, над крышами, знакомая кирпичная колокольня. Значит, недалеко берег Ковжи, где теперь, конечно же, построена новая пристань, к которой подходят украшенные иллюминацией пароходы с участниками праздника... Наконец-то река стала полноводной!..

— Степ, а вон там, за углом, есть магазин «Клоун»... — Федя прочно держит Степку за руку. Иначе не успеешь оглянуться, как нет его. Знаем мы это дело... — Если хочешь, пойдем купим какие-нибудь маски.

— У меня есть! — странным голосом говорит Степка. Оказывается, он уже в пышном девчоночьем платье и в маске хулиганского одноглазого кота!

— Когда ты успел?

Свободной рукой Федя сдергивает с него маску. Это... и не Степка вовсе! Незнакомая хохочущая девчонка!

— А Степка где?

Она радостно вырывается. Танцует.

Степка где?

Степка где?

Степка плавает в воде!

Этого еще не хватало! Он же не умеет плавать! Скорее...

А вот и фонтан! Водная карусель. Цветные струи бьют из центра большого, как цирковая арена, бассейна, колокольчики играют переливчатый мотив, а по кругу плавают надувные крокодилы и динозавры. Их оседлали мальчишки и девчонки — хохочут, бултыхают ногами... Но Степки здесь нет.

Федя не чувствует большого страха. Беспокойство его — с оттенком приключения. Степка в конце концов найдется. Но хорошо бы отыскать его до утра, чтобы успеть еще ухватить кое-каких радостей от праздника. Например, вот так покататься среди струй на резиновом драконе. Никто не будет смеяться — здесь не важно, маленький ты или большой...

Куда же он девался-то?

Ощущение, что Степка недалеко, не покидает Федю везде. И в пустом вестибюле метро, где Федя очутился неведомо как. И в плохо освещенном переулке, где из высокой, по плечи, травы встают бревенчатые многоэтажные терема (а людей уже совсем нет). И на выщербленной лестнице, которая ведет на маленькую квадратную площадь...

И наконец-то!..

Здесь, на площади, нет ни фонарика, но маленький месяц светит между черных треугольных крыш. Свет его мягко расстилается по квадратным плитам. Степка — маленький, очень одинокий — прыгает по этим плитам, будто играет в классы.

— Ты зачем здесь один? — шепотом спрашивает Федя, и шепот этот крыльями щекочет окружающую тишину.

— Не мешай... — Степкины подошвы шелк-шелк по камню.

— Ты же сам хотел на праздник.

— Здесь интереснее... Я хочу разгадать...

На плитах — головоломка, смысл которой Федя улавливает смутно (а потом забудет совсем). Если ее разгадать, можно решить множество загадок Города. Но разгадать не удастся, не успеть. Да и надо ли? Так ли уж важно, почему Ковжа, недавно еще узкая и мелкая, теперь разлилась и впадает в морскую бухту Сун-Карасао? Бухта эта совсем рядом, морской воздух приходит сюда, оседает влажным туманом на мраморе. А в просветах между домами движутся темные корпуса океанских судов — сами громадные, как дома с рядами желтых круглых окошек...

Пароход прошел среди гранитных набережных канала и едва не зацепил мачтой с огоньками светящийся стеклянный мост. Точнее, не мост, а перекинутую с берега на берег, от дома к дому застекленную галерею. В этой галерее — музей. Вчера там была выставка глобусов. Разных! Маленьких и больших, новеньких и старинных, земных и звездных. А были еще глобусы незнакомых планет! Самый лучший — это хрустальный шар метрового диаметра, в опояске сверкающих колец. Он был наполнен удивительно прозрачной водой, в которой змеились водоросли и резвились пестрые, как бабочки, рыбки.

— Это что же, вся планета состоит из воды?

— Совершенно верно. Планета-океан...

— А где такая? В каком созвездии?

— Тс-с, девочка. Об этом нельзя, глобус разобьется.

— Ой... А разумная жизнь там есть?

— Смотри сама...

Глобус вырастает, делается совсем великанским. Из глубины подплывает к прозрачной оболочке мальчишка с забинтованной ногой. Вопросительно и печально смотрит синими глазами сквозь воду и стекло. Потом хватает за кружевной хвост крупную серебряную рыбу, и та уносит его в заросли...

Вот такие дела... Это было вчера. А что будет сегодня?

Пароход швартуется у ступеней с чугунными львами.

— Девочка, ты сможешь унести в музей вазу?

— Конечно!

С борта ей подают легкую фарфоровую вазу, и при свете фонаря Оля узнает ее: синие дома, башни, мачты... Значит, сегодня будет выставка ваз! И на каждой — свой Город...

Так и есть. Молчаливые матросы несут за Олей большие хрупкие, как яичная скорлупа, сосуды с разными картинками на них.

— Девочка, осторожнее, не оглядывайся!

Поздно! Камень скользит под ногой... Ох, как болит локоть от удара о мостовую. И какой звон!.. Неужели конец?

Нет, не конец! Фарфоровые осколки сыплются с неба, как снегопад. И на лету складывают Город. Он вырастает вокруг — настоящий, обступающий со всех сторон. И теперь уже не поздний вечер, а день — синий от блеска неба и подступившего к Городу моря. Ветер реет вдоль улиц и треплет матросские ленты на соломенных шляпах мальчишек. Мальчишки гоняют по набережной синие мячи. Перемигиваются, поглядывают на девчонку. И среди них тот толстогубый, с бинтом под коленкой. Сейчас он смеется... Где же кинокамера? Ох, ну почему в видеоискателе все так расплывается, становится нерезким?..

Головоломки, распластанные на городских площадях, решить можно только одним способом: заранее признав, что их законы действуют лишь в двухмерном пространстве.

В пространстве этом — стопроцентная тьма. И не глазами, а каким-то локаторным ощущением сознание воспринимает плоский беспросветный мир. Поэтому только можно понять, что в нем происходит.

Происходит вот что. Кто-то громадными ножницами вырезает из плоской тьмы разлапистые, с острыми макуш-

ками, ели. В плоскости остаются дыры — по форме этих елей. В них можно проходить. Ели образуют лес. В этом частом лесу тоже можно идти. Ели чиркают по лицу плоскими, словно картонными лапами и на миг поворачиваются ребром, как подвешенные на ниточках... Сам по себе этот лес не страшен, хотя приятного мало. Страшно другое. Где-то сзади, среди тьмы, едет, подминая ненастоящие деревья, громадный черный обруч. Он склеен тоже из полосы плоского пространства. И ладно, если бы склеен был почестному, а то ведь как кольцо Мёбиуса — когда у обруча вместо двух сторон одна. И если это хитрое математическое колесо догонит и проедется по тебе, ты превратишься в черный силуэт, причем тоже с одной, а не с двумя сторонами, что совершенно противно человеческому пониманию. Чтобы не случилось беды, надо спешить. Одна лишь надежда — на огонек, что должен забрезжить впереди. Не вечно же тянуться этой мгле, плоской, как будто ты попал в черный пакет для фотобумаги...

И вот он дрожит, спасительный маячок. Очень далеко и очень близко одновременно... И не один уже... Черные картонные деревья расступаются наконец. Тьма за спиной скатывается в рулон и пропадает — она упустила жертву. Теперь вокруг мир ночного поля, теплой шекочущей травы, ярких звезд. Таких ярких, что свет от них почти как от луны...

А среди травы — тоже звездочки. Желтые. Это огоньки свечек. Свечки горят у гранитных, в рост человека, шаров. Но если приглядеться, это не шары, а головы в глубоких круглых шлемах. Головы вросли в землю по губы. Глаз не видно во впадинах под прямыми строгими бровями. Линия бровей и носа у каждой гранитной головы как бы образует букву «т». Это суровые, грубо вырубленные лица под кромками шлемов.

Каменные головы — памятники тем, кто в давние времена полег здесь, защищая Город от нашествия.

А Город — вон, впереди. Густую ночь над полем приподняла малиновая полоса рассвета, и на этой заре четко рисуются дома, ажурные дуги мостов, средневековые контуры крепостей и решетчатые чаши локаторов космодрома. Черная плоскость этих контуров обманчива. На самом деле Город обширен, разноцветен. Веселая путаница улиц полна загадок и приключений. А главное, что отличает Город от других городов, увиденных на долгом пути, — там Федька. Он ждет...

...Этот сон снился Борьке Штурману, когда громадный

теплоход уютно урчал двигателями, а за окном каюты в разрывах облаков медленно проплывали холодные зеленые звезды.

Федя и Борис узнали друг друга в незапамятные времена. Когда им было по пять лет. Кроевы переехали тогда в кооперативную квартиру, а Федю перевели (путем какого-то хитрого обмена) в другой детсад, поближе к новому дому. Садик оказался совсем не такой, как прежний. Тот был в деревянном доме, уютный, с закутками, где можно было в случае чего приткнуться одному. А здесь — громадные стекла вместо стен, блестящие желтые полы и множество всяких «нельзя». И громкоголосая Римма Эдуардовна вместо прежней Нины Петровны... Федя и в своем-то прежнем садике не был бойким, а тут совсем съезжился. Тем более, что и ребята оказались чересчур шумные и приставучие. Обступили, загалдели, задержали. И конечно: «Дядя Федя съел медведя...»

Ох, как не хотелось Феде идти сюда на следующий день. До горьких слез. Но такая у нас в этом неласковом мире судьба: дают что не надо, ведут куда не хочешь... И быть бы этому Фединому дню горше первого, если бы не новый вопль толпы:

— Борька вернулся! Штурман болеть кончил! — И заплясали вокруг щуплого, с колючей стрижкой, мальчика в рубашке с якорями (может, потому и «Штурман?»). Кто-то просто орал и радовался, кто-то дал Борису щелчка. И конечно:

Ты иди все прямо, прямо,
Будет там помойна яма...

Борькины коричневые глаза беспомощно метались и наконец встретились со взглядом Феде. И что-то сдвинулось тогда в Фединой душе. Он поднял с пола за хвост надувного увесистого крокодила и, как палицей, прошелся по вопящей толпе. Пробился к Борису, рядом с ним прижался лопатками к стене. И они с Борькой молча, без слез, кулаками, ногтями и пятками отбивались от дружного коллектива средней группы, который был, естественно, возмущен таким поворотом дела... Пока не ворвалась в центр борьбы Римма Эдуардовна. Она быстро навела порядок, при котором досталось всем. Ибо она, Римма Эдуардовна, была уверена, что среди пятилетних воспитанников не бывает тех, кто прав...

После этого случая Федя и Борис всегда держались

рядышком. И грустили, когда кто-то сидел дома из-за болезни. И радовались при встречах. Но настоящими друзьями они в ту пору не сделались. Просто не успели. Дело в том, что в Борькину семью приехала с Украины насовсем бабушка Оксана Климентьевна, и Бориса родители забрали из детсада.

Потом Федя и Борис встретились, уже когда стали первоклассниками. Оказались они в разных классах, но все равно быстренько прилепились друг к другу и старались быть вместе на переменах. И даже домой ходили вдвоем, хотя Борису приходилось делать большой крюк, чтобы проводить Федю.

Однажды Федя затащил стеснительного Бориса к себе. Тогда были не самые лучшие дни в семье Кроевых. Не улеглось еще горе после гибели Михаила, в комнате у Ксении плакал хворавший в те дни крошечный Степка, у мамы с отцом что-то не ладилось в отношениях. И в квартире замечен был беспорядок — признак семейного неблагополучия. Зато было в этом свое удобство: никто, например, не требовал от Феди, чтобы он после игры убирал с пола электрическую железную дорогу. Рассеянню переступали через рельсы и вагончики.

Борис как увидел это железнодорожное хозяйство, так и присох к нему. Наверно, его, как и Федю, поразило, какое здесь все крошечное и в то же время в точности как настоящее, действующее. Правда, Феде в ту пору игра уже наскучила, а Борис никак не мог оторваться. Каждый день приходил теперь к Феде и тихонько, никому не мешая, колдовал над паровозиками, светофорами и стрелками. И про Федю забывал, не требовал, чтобы тот участвовал в игре. Федя не обижался. Брал «Волшебника Изумрудного города» или «Тома Сойера», устраивался здесь же на своей продавленной тахте, и они с Борисом жили рядом, но каждый в своем мире. Не знали тогда, что мир этот — один на двоих, Федин и Бориса. Именно такой, как есть — с книжкой, жужжанием моторчиков, тихим дыханием, настольной лампой и ранними сумерками в окне...

Конечно, случалось, что посторонняя жизнь вторгалась в эту дружескую тишину. Своей-то комнаты у Феди тогда не было. Порой здесь же, в «гостиной», обосновывался и отец — у телевизора или с газетами. А то и с приятелем Петром Петровичем — за шахматами. Впрочем, никто особенно не мешал друг другу. Только однажды со стола скатилась на рельсы и вызвала аварию шахматная фигура под названием «слон»...

Федя, кстати, не понимал, почему эта точеная штучка называется слоном. И вообще он в ту пору ничего не понимал в шахматах. А слонов любил и собирал про них картинки.

Так вот, слон упал на рельсы, папа сказал Борису «ах, прошу прощения». Борька поднял фигуру, встал с четверенек, подал слона папе и задержал взгляд на доске. Петр Петрович в это время двинул коня.

— Не-а... — вдруг тихонько сказал Борис. — Мат будет.

— Как это мат? — встревожился Петр Петрович.

— А вот так... — Борис что-то там переместил на доске.

— Ты не подсказывай, не подсказывай, — заволновался папа. — Хотя... гм, честно говоря, я сам не догадался бы...

— Я пойду вот так, — решил Петр Петрович.

— А тогда вот так будет... — вздохнул Борис.

Два взрослых шахматиста уставились на него, как на пришельца из созвездия Козерога. Петр Петрович торопливо предложил ничью папе и выразил желание сыграть с мальчиком.

Мальчик, нетерпеливо поглядывая на включенную дорогу, в три минуты обставил дядю Петю и стукнул коленками об пол.

— А со мной? — жалобно сказал папа.

С ним Борис повозился чуть дольше. Минут пять.

— И давно ты так научился? — с почтением спросил папа.

Борис не знал. Ему казалось, что он умел играть всегда. Чуть ли не в ясельном возрасте постиг это искусство, узнав у отца, как ходят фигуры, и сядясь потом за игру с кем придется. Серьезным занятием шахматы он не считал и к семи годам потерял к ним былой интерес. То ли дело железная дорога!

А Федин папа с той поры проникся к Борису неподдельным уважением и симпатией. Каждый вечер предлагал: «Борис Львович, сразимся, а?» Непонятно, имелся ли в самом деле у Бориса необычный талант (как утверждал Федин папа) или шахматные способности самого Виктора Григорьевича Кроева были весьма средними, но перевес обычно оказывался на стороне «юного поколения». Обыгрывание дяди Вити в шахматы Борис, видимо, считал скучной, но неизбежной обязанностью — чтобы потом можно было без помех заниматься железной дорогой. Впрочем, был Борис человеком, понимающим чужие души, и скоро осознал: надо щадить взрослое самолюбие и время от вре-

мени сводить партию вничью, а порой и проиграть не грех. Папа в такие моменты ликовал... В конце концов эти шахматные вечера стали домашней традицией. А Борис сделался не просто Фединым другом, а вообще своим человеком в доме Кроевых.

Плохо только, что сам-то этот дом терял свою былую прочность. Это чувствовалось порой и за папиной излишней веселостью, и за маминой непривычной рассеянностью, и за случайно схваченными Федей фразами родителей:

— Ну что ж, она, конечно, женщина эффектная. Детей нет, хватает времени следить за собой... — Это мама.

— Двадцать лет в роли ломовой лошади — это, выходит, личная жизнь? — папин вопрос. Ну и так далее. Что-то разладилось у них после двух десятков лет совместного существования. Но Федя не вникал. Его душа интуитивно защищалась от взрослых неурядиц. Федя прятался от них за книжками, за суетой школьных дел, за своими выдумками и заботами. Тут случилась как раз история со слонем.

Слон был размером с котенка. Он стоял на полке в универмаге. Так же, как электрическая железная дорога, он был крошечный, но выглядел совершенно настоящим (хотя сделали его, очевидно, из фаянса). Живой казалась каждая складочка серой шероховато-замшевой кожи. Осмысленно блестели черные глазки. Чудилось, что слегка шевелится розовая влажная губа под задорно вскинутым хоботом. Настоящей слоновой костью светились изогнутые полумесяцами клыки. Вот-вот колыхнется и пойдет, постукивая коготками-копытцами по лакированному дереву.

Федя придумал слону имя — Буби. Иметь Буби у себя казалось ему неслыханным счастьем. А стоило-то счастье не такие уж великие деньги — двенадцать рублей. Но родители, занятые своими раздорами, тут проявили единодушие, обьявив Федино желание странной блажью.

— Добро бы заводная игрушка, а то статуэтка для комода! Ты что, девчонка?

— Мало тебе железной дороги? Откуда у нас лишние деньги? Спроси отца, когда он последний раз получал премию!

После школы Федя забегал в универмаг и со страхом смотрел: там ли еще Буби? Не купил ли его кто-нибудь? О том, что таких слонов на складе множество, Федя и помыслить не мог. Буби был единственный! Родной просто! Федина душа истосковалась по слону-малютке. И однажды

Федя не выдержал — безутешно разрыдался при родителях и при Борисе. Ну что же это такое?! Неужели никто не может понять, как ему нужен этот маленький живой слон! Заберите назад, продайте железную дорогу, возьмите все, что у него есть! Ну не кормите целый месяц, чтобы сэкономить деньги... Да никакая не истерика, а просто ему пуще жизни надо, чтобы Буби жил с ним... Ну ремнем так ремнем, пожалуйста... А потом купите Буби?..

Борис во время этого горького крика и плача потихоньку исчез. И появился под вечер, когда уже остывший от слез, но тоскующий Федя сжался в печальном уголке между тахтой и кадкой с фикусом. Борис нахмуренно и деловито сказал:

— Вот, принес тебе слона... — И стал разворачивать газетный сверток.

Федя недоверчиво подался вперед. И... чуть опять не заревел от обмана. Борькин слон походил на Буби лишь размером. Это было пластилиновое существо с ногами из березовых кругляшков, с хоботом из резиновой трубки, со стеклянными пуговицами вместо глаз... Федя глянул на это нелепое создание, потом на Бориса — даже без обиды, только с новой горечью. Борис все понял. И прошептал виновато:

— Я думал, ну хоть такой... Зато у него глаза горят... Вот... — Пуговицы засветились огоньками. — Там лампочки и батарейка...

— Дай, — вдруг со всхлипом попросил Федя. От Борькиного голоса, от взгляда что-то сдвинулось у него в душе. Как при первом знакомстве, когда Федя схватил крокодила и они с Борисом вдвоем отмахивались от толпы... Он посадил пластилинового зверя себе на колени и стал гладить правой ладонью, а левой взял Борьку за тонкое теплое запястье. И тот сел рядом. И они долго молчали в углу за тахтой, глядя, как мигают желтые глаза маленького слона. И Федя — без отчетливых мыслей, но глубоким безошибочным пониманием — осознал, что прежнее их приятельство с Борисом было до этого вечера лишь вступлением к неразрывной дружбе.

...А слона Буби через день купили. И Федя был счастливым. Но к счастью примешивалась теперь печаль и даже виноватость перед Борискиным слоном, которого звали Фродо...

Долгое время оба слона стояли рядышком на книжной полке. Потом Фродо изрядно подтаял от весеннего солнца, а у Буби откололся хобот (его приклеили, но он опять от-

валился). И слоны незаметно переселились в кладовку. Но тогда это не имело уже особого значения. Тем более, что к тому времени Борька успел спасти Федю от настоящей беды.

...Это случилось в марте, перед каникулами. Наступил наконец момент, когда отцу пришлось заявить:

— Федя, ты уже не маленький. И если так получится, что мы с мамой... ну, ты понимаешь... Если мне придется жить отдельно, с кем ты решишь поселиться?

Наконец-то до Федю дошло, что все это всерьез! И так ошарашило, что он не заревел. Помолчал и сказал тихо:

— Я... не знаю. Я подумаю...

— Подумай, малыш...

Заплакал Федя, только когда пришел к Борису.

В тот же вечер Борис явился к папе и маме Кроевым. Очень серьезный, подготовленный к разговору. И предложил вот что: раз уж они, Виктор Григорьевич и Татьяна Константиновна, решили разводиться, не надо Федю рвать на части. Пусть он тогда живет у него, у Бориса. У них в доме. Они привыкли друг к другу, и места хватит...

Мама всхлипнула, приоткрыла рот. Папа остановил ее взглядом. И ответил так же серьезно:

— Мы подумаем, Боря. До завтра. Ладно?

Федя же сказал родителям, давя в себе слезы:

— А я к вам буду приходить в гости. По очереди...

Утром отец сообщил Феде, что их с мамой раздоры были делом временным. Что поделаешь, случается, мол, и со взрослыми людьми такое, жизнь — штука непростая. Но теперь они все обдумали... В общем, переезжать никому никуда не надо.

Потом уж Федя понял, что едва ли один короткий разговор с семилетним мальчишкой мог решительным образом повлиять на родителей. Наверно, сказалось многое другое. Но Борькины слова могли оказаться последней гирькой на чашке неустойчивых семейных весов...

По крайней мере, вечером папа взял Бориса за плечи, поставил перед собой и сказал тихонько:

— Спасибо тебе, Штурманок...

«Штурманок» — это от Штурмана. Такая была у Бориса фамилия. И Федя завидовал ему с детского сада: повезло же человеку иметь морское звание с рождения. Не какой-то там Кроев! И долго в голову Феде не приходило, что может быть у Борькиной фамилии какая-то другая, неприятная сторона.

Открылось это уже в третьем классе. Пришла им тогда в голову фантазия записаться в секцию самбо — чтобы, если кто полезет, уметь дать отпор по-научному. На дверях детского клуба «Факел» висело объявление о наборе в младшую группу. Тетя с красным лицом и недовольным голосом сидела у входа за столом. Она стала спрашивать — сперва у Бориса:

— Имя, фамилия?.. Школа?.. Адрес?.. Где работают родители?.. — И стала заполнять анкету.

Подошел коренастый дядька — с мускулами под спортивным костюмом, с короткой стрижкой, с полотенцем на толстой (дембильской) шее. Заглянул в анкету. Хмыкнул, сказал вполголоса тете:

— Ну, опять...

Штурман, Фурман, Авербах —
Все навязло на зубах...

Учишь их, а потом они мотают за кордон...

Борька замигал растерянно, беззащитно.

У Феди мысли перетряхнулись в голове, вспомнились речи взрослых, беседы по телику. Он взял Бориса за рукав.

— Борь, айда отсюда... — И уже через плечо выдал дембилю: — Между прочим, есть еще одна национальность, международная. Фашисты называется...

— Ах ты... — зашипел тот, срывая полотенце. — Инна Андреевна, из какой они школы?

— Между прочим, из советской, — сказал Федя.

Уже на улице Борис виновато объяснил:

— Ты не думай, что я испугался ему ответить... Я просто не знал как... Потому что папа еврей, а мама у него русская. А у моей мамы отец был молдаванин, а ее мама — украинка. Баба Оксана... А меня никогда даже не спрашивали, кто я... А тут... этот...

Федя вспомнил, что в первом классе был у них Сашка Гринберг, славный такой, смиренный, а потом вдруг сказали, что он с родителями уехал в Израиль....

— Борька! — Федю тряхнуло мгновенным страхом. — А вы не уедете? Ну... туда...

— Фиг! — серьезно сказал Борис. — Папе один раз намекнули, так он мебель поломал.

Папа Штурман был огромен и рыж. Он работал бригадиром слесарей-ремонтников в автобусном парке. Там-то на собрании (как узнал Федя впоследствии) и случилась эта история. Слесари требовали сделать субботу не-

рабочим днем. Дирекция возражала, бригадир Штурман, в свою очередь, отстаивал интересы своего коллектива: мы, мол, как все нормальные люди, имеем право на два выходных в неделю. Тут встал какой-то вертлявый тип и начал распространяться, что надо думать о выгоде всего автохозяйства, а любовь к нерабочей субботе — это вообще дело подозрительное. Знаем, от кого идет, от какой религии. Если, говорит, очень уж кому приспичило чтить день субботний, пускай едет в известную страну...

Он не договорил. Кулак папы Штурмана, похожий на веснушчатый арбуз, описал дугу и грянул о трибуну, на которой бригадир как раз находился. Верхняя доска от этого канула в трибунные недра, боковые стенки расселись, словно картонные, а передняя — с эмблемой из колеса с крылышками — дала продольную трещину. Голосом, от которого выгнулись наружу оконные стекла, папа Штурман пообещал:

— Я тебе сейчас покажу дорогу не в ту страну, а в и ты побежишь у меня туда, как наскипидаренная

Вертлявого оратора унесло в угол потоком воздуха и хохотом слесарей и водителей. Над трибуной клубилась пыль.

— Милиция-а-а! — верещала секретарша директора.

— Зови, зови милицию, — добродушно согласился папа Штурман. — У меня, между прочим, неприкосновенность, я депутат горсовета...

Потом Борис показывал Феде газету-многотиражку, издававшуюся в автохозяйстве. Там была статья с очень длинным названием: «Александр Македонский тоже был неплохим бригадиром, но зачем же трибуны ломать?». Впрочем, упрек за трибуну был единственный в этой статье. В основном же позиция бригадира Штурмана признавалась обоснованной, а чиновники из аппарата подвергались всяческой критике.

Трибуну папа Штурман починил. Подумаешь, работа! Он был мастер на все руки. И Борис научился у него многому. Недаром Федя многократно говорил Оле:

— Вот приедет Борис, он тут у нас все наладит...

Борис прибежал утром, когда Федя и Степка еле продрали глаза. Степка завизжал и облапил Борьку за шею.

— Спасите, душат! — сказал Борис. — Ты чем это мне пузо царапаешь, террорист?

— Это пряжка! У меня день рождения был, Федя подарил от него и от тебя. Правильно?

— Само собой, — подтвердил Борис, потирая под белой футболкой живот. — А я тебе еще один подарок привез. Вот... — Он полез в карман на новеньких, еще хрустящих шортах из серой плащевой ткани. И вытащил пластмассовый пистолет. Щелк — из ствола выскочила клоунская головка, закачалась на пружинке. Степка опять взвизгнул. И умчался хвастаться подарком.

— Наплавался, значит, — сказал Федя Борису. — Ну и как?

— Интересно. Столько всего насмотрелись, даже каша в голове. Здорово... Только потом уже домой хотелось... И погода еще фиговая, от Ленинграда до Ульяновска — везде холод. И в Москве дожди. А сюда приехали — будто Африка. Первый раз оделся по-летнему, как нормальный человек...

— А я тут ни разу не искупался даже. Мать говорит: вот придет Борис, тогда пожалуйста... Тебе полное доверие.

— Степку отведем и махнем! Ага?

— Ладно. Только...

— Что? — Борис чутко уловил Федину нерешительность.

А дело в том, что с утра должны были Федя и Нилка прийти к Оле и приводить в порядок лабораторию.

Борис глянул из-под ресниц. И сказал безошибочно:

— Чегой-то царапает твою грешную душу, дядя Федор. Раскальвайся...

— Ничего не царапает! Познакомился я тут... с одними людьми. Дело затеяли.

Ну и поведал все Борису, сердясь на себя за непонятное смущение и виноватость и понимая, что Борис все его чувства и мысли читает, как на белом листе.

Но он же был замечательный, лучший на свете человек, Борька Штурман! Он поскреб щетинистую макушку и сказал с нарочитой опаской:

— А меня-то возьмут в эту компанию? Я тоже кином интересуюсь...

— На тебя там вся надежда, — с хмурой озабоченностью сообщил Федя. — Потому что никто не может ни молоток толком держать, ни паяльник. А работы всякой во сколько...

— Эх, рабо-ота... — протянул Борис на мотив «Эх, дороги, пыль да туман...».

Федя спрятал за деловитостью недавнее смущение:

— Кстати, у Ольги в школе можно будет для тебя справку выбить, что отработал практику на киносъемке. Сейчас ведь где угодно можно отрабатывать. Это чтобы тебе не вкалывать в августе на опытном участке... А то прогулял июньские трудовые дела в родной школе, турист несчастный!

Борис вдруг сказал. Строго так:

— Ты мне зубы, Феденька, не заговаривай. Боюсь я...

— Чего?!

— Не получилось бы у тебя как с Настасьей. Опять будешь изводиться до нервного истощения...

— Да ты что!.. Вот ты сам на нее посмотришь! Разве Ольга похожа на тех, кто крутит людям мозги?

Звездная метка

Оля думала, что Борис, о котором не раз вспоминал Федя, — это рослый парнишка с ухватками мастерового и снисходительным взглядом старшего приятеля. Этаким Данила-мастер. А с Федей пришел невысокий, тонкий (даже ломкий какой-то) мальчишка с острыми локтями и торчащими, «гранеными» коленками. Смуглый, с темным ежиком стрижки. Он вздохнул стесненно, бормотнул «здрасьте», прошелся по Оле взглядом из-под густых, похожих на черные зубные щетки ресниц (Оле показалось даже, что они пощекотали ее). И сказал:

— Федор говорит, что паять надо что-то и приколачивать.

Паять надо было контакты у моторчика от старого вентилятора. Тогда моторчик станет через редуктор крутить катушку в бачке во время проявления пленки. А приколачивать следовало полки в старом платяном шкафу, который рассыхался здесь, в гараже. Федя и Нилка уже сделали наполовину эту работу, но Оля посмотрела на нее с недоверием. Подпорки полок были жидкие, ставить туда тяжелые банки с растворами — себе дороже.

Борис пошатал шкаф и сообщил, что «эту продукцию середины века» надо сперва сколотить и укрепить саму по себе, а уж потом ставить полки. Иначе это все равно что клеить обои в доме, который съезжает с обрыва в реку...

— Но сперва — на речку! Искупаемся! — напомнил Федя.

— Конечно... — охотно отозвался Борис. — Только вот

сколочу этот памятник архитектуры... Нил, дай-ка отвертку, надо открутить шарниры...

Нилка прыгнул в угол, где валялись инструменты. С такой готовностью!

Провозились два часа. Потом сходили на узкий пляж под заросшим обрывом Ковжи. Оля плавала и ныряла наравне с мальчишками, а Нилка насупился и купаться от-казался.

— Дома не велят, что ли? — сказал Борис. — Давай мы твоих родителей уломаем. Мол, на нашу ответственность...

— Да нет, мне самому не хочется. Нисколько.

Но когда они вышли из воды, Нилка смотрел, кажется, с завистью. Федя наклонился к нему и спросил шепотом:

— Ты, может, плавать не умеешь? Давай научим. Да и мелко здесь, не потонешь.

— Нет, я умею. Нас учили во втором классе, в бассейне... — Он вдруг осторожно взял на ладонь Федин крестик — тот качался у его лица. — Можно, я посмотрю?.. А ты по-настоящему в Бога веришь, да?

Федя помолчал секунду и сказал:

— Да, Нилка.

— А... ты как думаешь? Бог только нашими делами распоряжается, на Земле, или везде-везде? Во всех галактиках?

— Я думаю, что везде, Нилка...

— Это хорошо, — сказал он серьезно и непонятно.

Когда поднялись по откосу, все чувствовали себя слегка виноватыми перед Нилкой? они-то купались, а он, бедняга, ждал и жарился. Но Нилка повеселел и вдруг сказал:

— Хотите посмотреть, где была мастерская прадедушки?

Борис, конечно, ничего не понял. А Федя хотел: вдруг показалось, что есть в этом завязка для нового события.

Оля спросила:

— А далеко это?

— Нет, что вы! Два квартала!

Они вышли на Пароходную улицу, всю в разлапистых кленах. Потом Нилка свернул в тесный проход между заборами, где тропинка пряталась в чертополохе и крапиве. Ему-то в школьных штанах ничего, а остальные...

— Ну, С'сусанин, — сказал Федя. Впрочем, себе под нос.

Вышли наконец на заросший репейником и бурьяном

пустырь с какими-то сарайчиками и хибаркой без окон. За хибаркой поднималась кирпичная стена с еле заметными пятнами побелки.

— Вот тут, — слегка торжественно извещил Нилка. — Раньше здесь проходил Котельный переулок. А стена эта — для безопасности от пожара, называется «брандмайор»...

— «Брандмауэр», чучело ты ученое, — сказала Оля, почесывая ноги.

— Ну, ладно, все равно... А за стеной как раз и стояла фотография. Деревянная. А передняя стена и полкрыши у нее из стекла... Смотрите, наверху еще буквы остались..

В самом деле, приглядевшись, можно было рассмотреть остатки крупных букв, написанных когда-то черной краской:

ФОТОГРАФЪ Н. Е. БЕРЕЗКИНЪ

Федя, почесываясь, как и Оля, объяснил Борису:

— Нил Евграфович его звали. Он до революции был знаменитый в нашем городе фотомастер.

— Да, — подтвердил Нилка. — После него осталась с'совершенно уникальная коллекция негативов. Папа их целый год разбирал, когда составлял картотеку... Зато теперь он записал ее на дискету. Если надо какой-нибудь снимок найти — вставил, нажал — и пожалуйста... На этих негативах целая эпоха. С'страх подумать, что они могли пропасть.

— Куда пропасть-то? — сказала Оля.

— Очень просто. Прадедушки уже не было в живых, а за дедушкой пришли в тридцать с'седьмом году. Ну, как за многими тогда. Говорят: вы шпион. И обыск начали. А ящики с негативами бабушка заранее спрятала на чердаке, туда не добрались... А то бы с'с концом...

— А дедушку расстреляли? — тихо спросил Борис.

— Нет, он, к с'счастью, вернулся. Из лагеря он, когда война началась, попросился на фронт, и ему разрешили. А после войны пришел домой. А потом уж у них с бабушкой родился мой папа, он был поздний ребенок... А если бы дедушку расстреляли, тогда бы папа родиться не успел, и меня бы тоже на свете не было. Можете такое представить?

Представить такое было невозможно. Чтобы вот этого Нилки «с'совершенно не было на свете»! Страшно даже стало. И Борис тихонько спросил о другом:

— Ты про дискету говоришь. У вас что, компьютер есть?

— Есть маленький, «бэкашка». «Электроника-001»... Папа в прошлом году купил. Говорит: надо быть на уровне современности.

Оля оживилась и спросила с подходом:

— Нилушка, а папа его для себя купил или тебя тоже подпускает?

— Почему для с'себя! Да я-то как раз и торчу за ним больше всех! Даже мультики на мониторе делать научился! А у папы он только для справок. Если надо, например, какую-нибудь старую фотографию для исторической передачи...

— А кто твой папа? — спросил Борис. Федя и Оля переглянулись. Они этим до сих пор как-то не удосужились поинтересоваться.

— Папа-то? — Нилка вроде бы слегка удивился. — Он оператор областного телевидения.. То есть сейчас не областного, он там поругался с начальством и стал работать в независимой программе «Усталские колокола». Знаете?

Программу знали, конечно. От нее кряхтели и ежились все бюрократы Усталской области. А еще в этой программе были передачи про городскую старину и детские выпуски «Здравствуйте, я ваша тетя...».

— И молчал! — жалобно сказала Оля. — Нет чтобы познакомить с папой! Он-то в тыщу раз больше нас понимает в съемках! Посоветовал бы что-нибудь для фильма...

— Я, конечно, познакомлю! Мама целый месяц говорит: хоть бы посмотреть, с кем это ты там связался? Может, с наркоманами или... с этими... на «ракетчиков» поже...

— С «ржетирами», горюшко мое... Большое твоей маме спасибо, — сказала Оля. А Федя спросил:

— Почему «целый месяц»? Мы же всего несколько дней знакомы.

— Правда? — изумился Нилка.

День получился хороший, длинный, с веселыми разговорами и всякими полезными делами. Обустроили шкаф, расставили на полках киноинвентарь, наладили мотор для бачка. Борис развесил в нужном порядке инструменты. Потом снова сходили на «исторический» пустырь, чтобы снять, как Нилка разглядывает стену с именем прадедушки. Это Борис придумал: «Вы что, товарищи, разве можно упускать такой кадр! Здесь же та самая... как говорится, связь поколений! А еще надо старинные фотографии про город снять. Чтобы не только нынешние дни были, но и

как раньше...» Идея всем понравилась. А съемка на пустыре на этот раз сорвалась — забыли экспонометр. Ничего, успеет еще! Впереди июль, август...

К концу дня Оля стала смотреть на Бориса с особой ласковостью и уважительностью. Будь это Настасья Шахматова, Федя вспылал бы ревностью. А тут... ладно уж...

В середине дня пришлось, конечно, сбежать домой, чтобы пообедать, а потом снова — чтобы доставить из детского сада Степку. Затем Федя и Борис опять умчались туда, где урчал моторчик, вращая в бачке отснятые накануне пленки: о том, как Нилка бродит и разглядывает городские чудеса. Пленки получились что надо. Нилка вовсе не деревенел, как Федя, когда его снимали. Ходил, смотрел, оглядывался, задумывался, как положено, чтобы «создать настроение». Особенно хороши были крупные планы с его лицом. Смотрит сперва серьезно, тревожно даже, потом глаза теплеют, и наконец — улыбка...

Домой Федя и Борис возвращались уже после десяти. Хорошо, что дни в конце июня светлы до полуночи... Шли изрядно утомленные и потому, наверно, молчаливые. Федя все поглядывал и не решался спросить: «Ну, как они тебе — Оля и Нилка?» Но Борька, он же все чуял. И сказал:

— Нил этот — прямо уникальное существо. С ним не соскучишься... Полки приколачиваем, и он говорит: «Давай для прочности поставим кронпринцы...» — «Что-что? Кронштейны, наверно?» — «Ой, да. Я помню, что какое-то слово придворное. А точно забыл...»

Борис вроде бы подсмеивался над Нилкой. Но Федя знал, что это не так. Дело ведь не в словах «уникальное существо», а в том, каким тоном они сказаны. Тон был сдержанно-ласковый и почему-то тревожный. Впрочем, тут же стало ясно почему. Борис проговорил уже без намека на улыбку:

— Знаешь, Федь, по-моему его в школе затюкивают.

— Ты думаешь? — обеспокоился Федя.

— Толпа всегда изводит таких вот... на других не похожих. Тех, кто сдачи дать не может... Он же языкастый и откровенный. Небось перед учителями права качает, а одноклассники гогочут. И потом его же клюют...

Картина была правдоподобная. Так, скорее всего, и есть.

— Жалко, что он не в нашей школе...

— И не в Олиной, — вздохнул Борис. — Она тоже могла бы заступиться, если что.

— Ты думаешь? — опять сказал Федя с сомнением.

Борис глянул икоса.

— А что! Она же храбрая девчонка.

— С чего ты взял?

— Ну... вообще. Сережки вот, например... Это не каждый решится — уши прокалывать. В живое иголку толкать...

— Ох уж! Некоторые девчонки с младенчества сережки носят. Все они, что ли, ужасно храбрые? А наша Ксения? Тоже уши проколоты, а такой трусихи свет не видывал...

Борис несогласно молчал. Федя добавил:

— А ухо кольнуть — подумаешь! Все равно что укол тоненьким шприцем...

— Уколы-то в какое место ставят! А здесь — рядом с головным мозгом.

Можно было бы заметить, что собственный Борькин мозг вдруг потерял склонность к здравым суждениям. Или хотя бы сказать с ехидной подозрительностью: «Ох, Боренька...» Но хватило ума придержать язык. И Федя сказал другое:

— А здорово ты придумал — старые фотографии снять...

— Это потому, что я в плавании на старинные города насмотрелся, — с облегчением отозвался Борис. — А наш Устальск, если приглядеться, разве хуже?

Нилка сказал, что фотографий про старый город у них дома целый альбом.

— Пойдемте, покажу!

— Да ну, — заробела Оля. — Ввалится такая компания... Что родители скажут?

— А что они скажут? — удивился Нилка. — Люди по делу пришли! А кроме того, они сами хотели познакомиться... Только их сейчас, к сожалению, нет дома...

Когда пришли, Нилка выволок с антресолей в коридоре могучий, чуть не с себя ростом, альбом и ухнул на пол. Кажется, загудела вся двенадцатиэтажка.

— Сейчас опять лифт отключится, — заметил Федя.

Альбом развернули на диване, сдвинулись над ним...

Подымая страницами медленный ветер, Нилка перелистывал устальскую историю. Узнавались, хотя и не сразу, старые улицы. Кое-что похоже, а кое-что совсем не так.

Оказывается, на здании городской думы, где сейчас краеведческий музей, возвышалась раньше пожарная каланча. В сквере перед Домом пионеров (бывшим дворян-

ским собранием) стоял памятник царю Александру Второму. У памятника гуляли дамы в шляпах с цветами и в юбках до пят, бегали нарядные, по-старинному одетые мальчики и девочки с обручами... Где они теперь? Если и живы, то уже такие, как Анна Ивановна, что живет на два этажа выше Нилки...

А вот цирк с полотняным верхом на том месте, где теперь стадион... Хибары заводского поселка рядом с товарной станцией — там сейчас большущий микрорайон Сортировка...

— Смотрите, это церковь, которую сейчас ремонтируют! — узнал Федя. — Колокольню такую же опять построили!

— Забраться бы на нее, — предложил Борис. — Вот от туда уж панорама вышла бы что надо! Все Заречье и старый центр.

— Попрут, — уверенно сказала Оля. — Я на одну церковь пробовала залезть, на ту, где сейчас архив, так сторож такой вой поднял: «Я сейчас в милицию!.. Хулиганка!..»

— То архив, а то настоящая церковь, — рассудил Борис. — Церковные служители должны быть добрые и милосердные, им так положено. И если попросить хорошенько...

Все почему-то взглянули на Федю. Словно подумали: «У тебя крестик, это вроде пропуска...» Федя не стал ни смущаться, ни обижаться. Только сказал:

— Я, между прочим, после крещения ни в одной церкви не бывал... Не понимаю, как люди могут молиться в толпе...

Оля возразила серьезно:

— Значит, могут, раз столько тысяч лет подряд храмы строят. Когда все вместе — это не обязательно толпа...

— Может быть... Тут, наверно, привычка нужна... — примирительно отозвался Федя. Все вежливо задумались, потом Нилка прервал молчание:

— А вот прадедушкина мастерская! Совсем новенькая...

Стена мастерской блестела частыми квадратиками стекла. Над дверью четко выделялась вывеска: «Н. Е. Березкинъ. Художественная фотография». У тротуара стояла коляска извозчика, из нее выходил господин в шляпке-котелке...

Оля навинтила на объектив линзу — чтобы снимать с полуметра.

— Мальчики, свет!

Включили принесенный с собой рефлектор с лампой-

пятисоткой. Оля начала снимать фотографию за фотографией. Это была хитрая работа — снять так, чтобы одно изображение заменяло другое постепенно, наплывом. Приходилось плавно закрывать диафрагму, специальной ручкой отматывать ленту кадров на сорок назад и опять нажимать на спуск, медленно открывая диафрагму уже над другим снимком...

Борис держал осветитель, Нилка листал альбом. Федя по экспонометру следил, чтобы свет был какой полагается... На десяток снимков потратили, наверно, целый час. Аж взмокли. И так-то жара, а тут еще эта лампа!.. Наконец вернули альбом на антресоли, и Борис попросил нетерпеливо:

— Покажи «бэкашку»-то...

Компьютер стоял в этой же комнате, на угловом столике. Нилка охотно сдернул полотняный чехол, включил монитор, без боязни дал каждому понажимать клавиши. Конечно, на дисплее получалась абракадабра. Потом Нилка уселся за пульт сам.

— Сейчас переведу в систему «Бейсик» и покажу кое-что...

Он на память набрал несколько строчек иностранных слов и цифр — они засветились на экране. Нажал клавишу, строчки исчезли. На темном экране стали возникать яркие точки... Созвездия! Пролетел среди них метеорит. Потом одна точка выписала окружность. Светящиеся полоски неторопливо заштриховали этот кружок, и получился белый диск планеты. Вокруг него забегал продолговатый спутник. Затем в углу экрана веером разбросались короткие лучи, из них вылетела искра, ткнулась в планету, раскидав мелкие вспышки, и ушла рикошетом за пределы звездного неба...

— Вот, — слегка горделиво произнес Нилка. — Называется «Визит звездного корабля»...

— Здорово, — похвалил Борис. — А долго рассчитывал?

— Ну... не очень долго. Средне...

— А можно город на экране нарисовать? — спросила Оля.

— Такой, как на вазе, конечно, нельзя!.. Вообще-то у компьютерной графики неограниченные возможности, — виновато разъяснил Нилка, — но это маленькая машина...

— Нет, нет! Не такой, как на вазе! Попроще городок, но тоже сказочный. С домиками, башнями...

— Это, наверно, можно. Если рассчитать программу...

— А зачем тебе? — спросил у Оли Федя.

— Тогда можно было бы титры фильма с компьютера снять! Сразу и сказка, и современность...

— Сделать бы еще, чтобы в городке человечки бежали! — развеселился Борис. — Верно, Оля?

— Мы четверо, — сказал Федя. — Бегаем и снимаем.

— Лучше трое, — серьезно возразила Оля. — А Нилка пусть по воздуху летает, над крышами... Я знаете что придумала? Чтобы он в фильме тоже летал! И многое пусть разглядывает с высоты. Тогда еще сказочнее будет!

Нилка обвел всех настороженными синими глазами. Надулся почему-то и сообщил:

— У меня не получится. Я же почти не научился еще летать-то...

Федя и Оля замигали, а Борис изумился вслух:

— Как это «почти»?

Но тут в прихожей послышались голоса.

— Папа и мама пришли!

Нилкин папа Феде понравился. Он был похож на Чехова, только не в пенсне, а в модных больших очках. Разговаривал он тихо, со спокойной такой усмешкой... А Нилкина мама не понравилась. Она была молодая, красивая, но Феде показалось, что красота эта для нее — главная задача. Он ощутил ту же настороженность и досаду, как при Ксении, когда та перед зеркалом по часу умащивала и штукатурила себя косметикой.

Хотя что можно сказать о людях с первого взгляда...

— Здравствуйте, леди и джентльмены, — улыбнулся Нилкин отец в ответ на нестройное приветствие.

— Здравствуйте, ребятки, — одарила их улыбкой и Нилкина мама. Впрочем, весьма короткой.

— Роза, а ты боялась, что наш сын попал в подозрительную компанию. Смотри, какие интеллигентные молодые люди.

— В отличие от нашего беспризорника... Ребята, хотя бы вы на него повлияли! Ходит как одесская шпана: рубаха мятая, на коленях скоро дыры будут. Я от него эти штаны прячу, прячу, так нет же — опять откопает и жарится в них...

— Ну, всё! — заявил Нилка. — Всё, всё, всё. Хватит об одном и том же. Мы пошли проявлять пленку! Я приду вечером!

— Ты хотя бы пообедал?

— Да. Да. Да...

— Честно говоришь?

— С'совершенно честно, — с чистой душой отозвался Нилка. Потому что в самом деле обедал. Вчера или позавчера.

На улице Нилжа сказал:

— Каждый раз такие с'семейные с'сцены...

— А чего ты, в самом деле, в этих штанах маешься? — заметила Оля. — Тридцать градусов в тени...

— Я жаропрочный... — буркнул Нилка.

Федя не удержался, подцепил его:

— У Нилки это возрастное: хочется солиднее выглядеть... Мой Степка такой же, все мечтает о взрослой внешности. Потом это проходит. У меня к десяти годам прошло, у тебя, Нил, тоже скоро кончится...

— Ничего у меня не кончится, — набычился он еще сильнее. — Вы же не знаете... Думаете, приятно, когда клеймо?

— Как это? — сказал Борис.

— А вот так... — Нилка остановился и решительно задрал правую штанину. На ноге, пониже колени, сидела стайка черных родинок, напоминающих какое-то созвездие.

Все поглядели на родинки, потом друг на друга.

— Ну и что? — Оля пожала плечами. — Мало ли у кого какие веснушки! Обыкновенная пигментация кожи...

— А это, что ли, тоже обыкновенная? — Нилка ткнул в родинку, которая сидела в центре белого, ровного, как копейка, кружка. словно кто-то взял циркуль и радиусом в полсантиметра провел вокруг этой точки границу, запретив переступить черту малейшему загару.

— Ну и что... — опять сказала Оля.

Нилка горько объяснил:

— Это вовсе не «ну и что», когда все смотрят и хихикают. В лагере дразнили «Канцелярской кнопкой». Я даже вынужден был попросить папу забрать меня оттуда...

— Ты поэтому и бинт носил? — сочувственно спросил Федя, вспомнив первую встречу.

— Да... Но бинт сейчас дефицит. Да и не будешь ведь все лето с повязкой ходить, это тоже бросается в глаза.

— Можно гольфы надевать, — посоветовала Оля. — Если тонкие, то не жарко...

— Мама не дает, нечего, говорит, зря трепать. Носочно-чулочные изделия по талонам, по две пары на квартал...

Оля деловито сказала:

— Бинт мы тебе найдем. Не могу же я снимать, как ты

летишь в таких штанах. Они сольются с темным фоном, и останется от тебя половинка, выше пояса.

— Ничего не понимаю, — капризно сказал Нилка.

— Ты думаешь, как полеты в кино делают? Сперва человек, который будто летит, — он на черном фоне. А потом на ту же пленку снимают места, над которыми он пролетает...

— А! Комбинированная съемка!

— А ты думал, тебя будут с колокольни бросать? — засмеялся Федя. А Борис вдруг вспомнил.

— Стоп! Нил, ты тогда сказал: «Я почти не научился летать». Как это «почти»? А чуть-чуть, что ли, умеешь?

— Чуть-чуть умею, — совсем обыкновенно сообщил Нилка.

— Ну, Нил... — сказал Федя.

— То есть не летать. Но я, если прыгаю откуда-нибудь, могу приземляться гораздо медленнее, чем по законам природы. Я это в себе год назад открыл...

— Ох и фантазер, — сказала Оля.

— Я понимаю, что вы не верите. Но я покажу. Только для этого надо с'сосредоточиться...

Когда пришли к Оле во двор, она велела мальчишкам идти в гараж и заправлять в бачок отснятую пленку.

— А я зайду на кухню, бутерброды с колбасой вам сделаю, а то ноги протянете.

— Ты изведешь на нас месячный колбасный паек, и тебе влетит от мамы, — забеспокоился Борис.

— Это вам пусть влетает от ваших мам. А у нас равноправие...

В гараже затворили ворота, выключили свет, и Федя зарядил пленку. А когда снова включили лампу, оказалось, что Нилка сидит на шкафу. Шкаф стоял поперек помещения и частично перегораживал его. Гараж был узкий, но высокий, и Нилка под потолком помещался свободно.

— Вот глядите! Сейчас я спланирую...

— Куда ты, балда! — перепугался Федя. — Побьешь все! — На полу стояли банки с растворами.

— Ну, тогда на ту сторону... — Он перекинул ноги, толкнулся и ухнул вниз, пропал за шкафом.

В тот же миг Федя и Борис ждали стука об пол. Но стук этот раздался лишь через секунду после ожидаемого мгновения. Словно что-то и в самом деле задержало Нилку в падении.

Правда задержало? Странно... Федю даже холодком кольнуло. Он глянул на Бориса. Тот скреб затылок. Нилка с довольным лицом выбрался из-за шкафа.

— Ну?

— Ты, наверно, там штанами зацепился, — сказал Борис, чтобы приглушить свое недоумение.

— Или спарашютировал ими, — добавил Федя. Когда что-то непонятно, остается острить.

— Ну вас. Чего опять к моим штанам привязались...

— Потому что за тебя страдаем, как ты на себе этот инкубатор таскаешь, — сказал Федя. — Это же для здоровья вредно, когда перегрев паховой области. Знаешь, что там находится?

— Знаю, — без удивления откликнулся Нилка. — Железы внутренней секретности...

— Ох ты, чудо заморское! Не секретности, а секрeции.

— Какая разница!

— И вот, если их в детстве перегревать постоянно, знаешь, чем это кончится?

— Чем?

— Когда вырастешь, у тебя детей не будет.

Нилка озабоченно возвел брови.

— Что-то я о таком не слышал...

— Господи, а где ты мог слышать? Я-то услышал в Степкином садике, там врач собрала родителей и лекцию им читала про это. Ну а я вместо матери всегда за ним прихожу, врач и говорит: пусть мальчик послушает, ему полезно... А ты ведь на такие лекции не ходишь...

— Зато я читал с'специальную литературу о половом воспитании, — спокойно сообщил Нилка.

Федя и Борис даже рты приоткрыли. Федя сказал:

— Любопытство прорезалось?

— Нет! Мне нужно было узнать, может ли кто-нибудь в человеческий зародыш внести чужую программу, со стороны.

Федя с Борисом так и сели. Потом Борька спросил:

— Какую же ты программу хочешь в зародыш внести?

— Да не я! — Нилка засопел и решил: — Хорошо, я вам скажу. То пятнышко на ноге... Я с'совершенно уверен, что это звездная метка... Инопланетяне вложили в меня какую-то свою программу, а метку сделали, чтобы потом отыскать меня... Я поэтому ее и прячу...

— Ну, Нил... — ошалело выдохнул Борис.

А Федя с меньшим изумлением спросил:

— Что за программа-то?

— Если бы я знал! Может, для задания какого-нибудь. Или для опыта... Я ведь даже не знаю, добрые эти инопланетяне или злые. И чем все это кончится...

— Нилка, у тебя фантазии на целый Союз писателей, — сказал Федя. Борис же поинтересовался:

— А ты в себе что-нибудь чувствуешь? Ну, такое, звездное?..

— Иногда... Вот, летаю маленько... А один раз бумажного голубя со стола взглядом сдвинул!

— Это телекинез называется, — разъяснил Федя. — Сейчас у людей тут и там необычные свойства проявляются! Экстрасенсы всякие, чтение мыслей, магнитные качества. Что ты, Нилка, разве это обязательно звездная программа?

— Но знака-то такого ни у кого нет! Он как созвездие... Наверно, это так выглядит наше Солнце среди других звезд, если смотреть с их планеты... Я даже на «бэкашке» хотел рассчитать, где она находится, но тут надо астрономию знать...

Нилка сел на край дощатого стола и пригорюнился. Феде стало жаль его: по правде ведь верит в свою звездную заклеяемость... Он хотел сказать Нилке что-то утешительное, но тут появилась Оля с бутербродами на тарелке.

— Лопайте... А проявитель залили?

— Нет еще. Тут Нилка нам свой полет показывал, — сообщил Борис. — Знаешь, немножко получается... Нил, покажи!

— Сразу второй раз это не выйдет... — Нилка, довольный, что признали его талант, потянулся за бутербродом, прыгнул со стола. — Надо подходящего момента дожидаться.

— Ну, дождись, — разрешила Оля. — Потом вместе полетаем. — Она решила, что ее разыгрывают. А Нилка обиделся. Не так, как раньше — надуетесь и вмиг отгадает, — а всерьез: влажно заблестели глаза. Он положил на доски бутерброд.

— Чего вы сегодня... такие... Дразнитесь и дразнитесь... Я думал, что хоть вы-то никогда дразниться не будете. Я вам все рассказываю, а вы...

Стыдливое молчание наполнило гараж. Потом Борис осторожно проговорил:

— Нил, да ты что... Мы же не дразним тебя, а шутим. Потому что... ну, друзья же всегда шутят. Вот если бы мы

с Федором друг на друга за все шутки обижались, что бы тогда было?... Среди своих какие могут быть обиды!

Нилка помигал, глянул на всех по очереди. Потупился.

— А я что ли... совсем уже свой?

— А как же! — быстро сказала Оля.

Нилкины губы шевельнулись в намеке на улыбку. Он затеребил на оранжевой рубашке значок с Карлсоном.

Федя задавил в себе неловкость и сказал:

— Если ты обидишься до конца и уйдешь, у нас же всё развалится...

— Кино? — шепотом спросил Нилка.

Борис жалобно возмутился:

— Да при чем тут кино? Всё! По закону табурета!

— Какого... табурета? — Нилка опять замигал мокрыми глазами.

— Очень просто! Если у табурета одну из четырех ножек отломать, какой от него прок?

Нилка нерешительно возразил:

— Бывают ведь и с тремя ножками табуреты...

— Так это они с самого начала трехногие! — воскликнул Федя. — А если четырехногий с отломанной ногой, разве на таком усидишь!

— На специальном трехногом тоже плохо! — вмешалась Оля. — Ох, мальчишки, я, как нарочно, вчера об этом прочитала! Стихи!

— Где?! — мигом отозвался Борис.

— У Анны Ивановны. Я к ней утром забегала... У нее старые журчалы есть, детские. Еще до революции печатались, с «ятями». И в одном там юмор, называется «Мистер Брет»...

— Ну-ка рассказывай, — велел Федя.

— Ну... там так. Картинки, и под каждой — строчки...

Мистер Брет
Надел берет
И залез на табурет...

Потом не помню, но, в общем, он решил вытереть пыль с люстры и полетел с табурета. За люстру схватился. А дальше:

Прибежали сын и дочь,
Чтобы мистеру помочь.
Он кричит: «Подставьте стул!
Что такое?.. Караул!»
Сын и дочь дрожат в углу,
Папа с люстрой — на полу...

И вывод у этой истории:

Никогда не стойте, дети,
На трехногом табурете!

Федя засмеялся. Борис сказал:

— Вот. Ясно тебе, Нил?

— Да! — стремительно повеселел Нилка. — Только неясно, зачем он висел-то? Если перед этим стоял на табурете — высота, значит, маленькая...

— Ну, это же так, для смеха... — объяснила Оля. — И вообще, это начало века. Юмор тогда наивный был...

— А про берет — просто для рифмы, — придирчиво заметил Нилка. — Зачем его надевать-то?

— Может, для техники безопасности, — возразил Борис.

— Мистер Брет надел берет! — с удовольствием продекламывал Нилка. Ухватил бутерброд, куснул и прыжком сел на стол. И... с грохотом сбил бачок с запровленной пленкой.

— Мама! — в настоящей панике завопила Оля. Потому что вся сегодняшняя съемка насмарку, да и сам бачок хрупкий!

Но... бывает же в жизни везение! Крышка не отскочила, и сам бачок не раскололся, хотя грохнулся о цементный пол со всего маху... Когда осмотрели, ощупали, Федя сказал с облегчением:

— Ура... А пленку все-таки надо перемотать. Наверно, вылетела из пазов.

Перепугавшийся сперва Нилка быстро обрел хладнокровие. Заявил, жуя колбасу:

— Я в этом отношении ужасно везучий. Старинную чашку грохнул на пол, прадедушкину. И представляете — целехонька. Только маму отпаивали валерьянкой...

— На месте мамы я бы тебя выдрала, — жалобно сказала Оля.

— Подумаешь! — не обиделся Нилка. — Это было бы абсолютно бесполезное мероприятие.

Оля хмыкнула:

— Откуда ты знаешь?

— Откуда! Из собственного опыта! Меня совсем недавно драли как с'сидорову козу!

— Тебя? — изумленно сказала Оля. Федя и Борис тоже очень удивились. Во-первых, странно было, что Нилка говорит про это с такой легкостью. Во-вторых, вообще не

верилось. Казалось, что дома это дитя не знает ни малейшей строгости.

— Да! — энергично подтвердил Нилка. — Мама скрутила газету, взрала меня за шиворот и этой газетой отчистила так, что клочья полетели!

Все с облегчением засмеялись.

— От тебя или от газеты клочья-то? — спросил Борис.

— Какая разница!.. Лупит, да еще приговаривает: «Не суй нос, куда не надо!»

— А куда ты совал? — спросил Федя.

— В эту газету и совал! «Семья» называется. Там «Энциклопедия с'сексуальной жизни», специально для детей... Я говорю: «Это же для школьников, смотри сама!» А она: «Там написано, что с двенадцати лет! Дорости сперва!..» Дорастешь тут с такой жизнью...

Он теперь ничуть не обижался, что все смеются.

— Это, значит, и была твоя специальная литература насчет звездной программы? — спросил Борис.

— Ес'тественно. Где другую-то возьмешь?

Оля посмотрела на мальчишек:

— А что за звездная программа?

Те неловко примолкли. Потом Борис произнес решительно:

— Нил! Надо и Оле рассказать, раз уж мы все заодно.

— А я что... Ну, говорите...

И рассказали о Нилкиной «звездной боязни» Оле.

Она выслушала серьезно. Утешила:

— Ты не переживай. Даже если это что-то межпланетное, то, скорее всего, случайность. Ты же сам говорил, что этих НЛО, как планктона в океане. Пролетали, зацепили не глядя каким-нибудь излучением...

— Я и сам иногда так думаю! — обрадовался Нилка. — Зачем я им нужен? — И тут же поскуцнел: — Но кто их знает...

— А почему ты маме не объяснил, для чего газету читал? — рассудительно заметила Оля. — Не было бы такого шума.

— Ну да! Думаешь, она поверила бы? Сказала бы: «Очередная дурь!» Да и не хочу... раз она дерется.

— Газетой-то! — сказал Борис. — Разве это всерьез? Вот если бы она в эту «Семью» что-нибудь завернула! Например, пестик для ступки...

Нил сверкнул синими глазами:

— Какая разница! Все равно это пос'сягательство на человеческое достоинство! Устроила такую... эксгумацию.

— Чего-чего? — сказал Федя.

Оля фыркнула. Борис простонал:

— Ну, Нил... экзекуцию, наверно?

— Какая разница...

— Большая. Эксгумация — это знаешь что такое? Когда мертвецов из могилы выкапывают. Для всякого судебного следствия или опытов. Помнишь, как в «Томе Сойере»?

Федя притих. Вспомнилось все, что было с Мишей.

— Ну вас! — поежилась Оля. — Нашли о чем говорить! Я и так от страха по ночам не сплю...

— От какого страха? — обеспокоился Борис.

— От видео. По кабелю на ночь теперь такую жуть гонят...

— На фига ты эту чушь смотришь! — возмутился Федя. — Автогонки, мордобой да пальба. Каждый вечер одно и то же.

— Не автогонки... Показывали про вампиров. Один тип ловил ребятшек и замучивал. А потом его самого убили, но он продолжал за людьми охотиться, весь истлевший... бр-р... А потом рубаху на себе разорвал, и у него на груди лица детей, которых он замучил. Я чуть не завизжала...

— Всяких шизиков и садистов без кино хватает, — сумрачно сказал Федя. — В газетах пишут иногда. И в детском саду предупреждали. Заманит такой гад мальчишку или девчонку...

— Я тоже читал, — подал голос Нилка. — Они не только на детей охотятся, на разных людей... Вот если бы газовые пистолеты у нас продавались! Кто полезет — трах ему в морду!

Оля подула на костяшки и призналась:

— Я раньше, когда на съемки ходила куда-нибудь далеко от дома, баллончик брала. С карбозолью. За пояс суну, сверху майкой прикрою — всегда под рукой...

— С чем баллончик? — живо заинтересовался Нилка.

— С карбозолью. Жидкость такая, чтобы клопов и тараканов морить... Конечно, это не газ «черемуха», но все-таки...

— Они же большущие, баллоны-то эти, — сказал Федя.

— Всякие бывают. Есть и вот такие. — Оля развела пальцы.

— Дашь мне один? — подскочил на столе Нилка.

— Ох... я не знаю. А ты глупостей с ним не натворишь? Пульнешь в невиноватого...

— Да не пульну! Я в людей-то и не буду! А если те...

ну, пришельцы... Вдруг по правде захотят меня утащить...
Федя увидел, что Борис еле сдерживает смех. И сам закашлялся. Но Оля сказала серьезно:

— Я лучше вот что придумала. У мамы театральный грим есть, можно точно под цвет кожи подобрать. И никто твою отметину не разглядит: ни люди, ни инопланетяне.

— Правда? — обрадовался Нилка. — Ой, а если сморется?

— Снова замажешь. Я тебе весь тюбик отдам.

Оля сбегала за коробкой с гримом. Включила лампу-пятисотку и при ярком, как в хирургической палате, свете «заштукатурила» Нилке ногу. Вполне удачно. Черные родинки, если очень приглядеться, еще можно было рассмотреть, но коварный белый кружок исчез без следа. Нилка радостно попрыгал.

Федя сказал задумчиво:

— А может, и не надо бы тебе прятаться? Вдруг это твоя звездная судьба, зачем от нее убегать?

Нилка тоже стал задумчивым.

— Я раньше про это так же думал: может, не стоит? А сейчас ни за что не хочу на другие планеты... без вас...

Он засмутился, засопел, стал раскручивать подвернутую штанину... Борис подошел к Нилке сзади. Выпрямил его. Взял за плечи. Уперся подбородком в его лохматое темя. Сказал вроде бы шутя, а на самом деле очень даже всерьез:

— Великий Нил. Ты такой мудрый, а одной вещи не понимаешь: никаким инопланетянам мы тебя никогда не отдадим...

Сказки и были города Устальска

Договорились, что в десять утра соберутся у Оли. Федя и Борис прикатили на «Росинанте» минута в минуту. Нилка примчался через полчаса. Взъерошенный и виноватый.

— Проспал. Мы с папой до ночи одной такой работой занимались важной... — Он затоптался, завздыхал под насупленными взглядами. — Зато я к съемке готовый, вот...

Был он такой, как при первом знакомстве в лифте. Только рубашка не навывпуск, а завязана лихим узлом на животе. И бинта не было — грим наглухо скрыл белую отметку.

Нилке объяснили, что комбинированной съемки сегодня не будет. В том-то и причина общего кислого настроения, а вовсе не в его, Нилкином, опоздании: Дело сорвалось, потому что пропал задник — черный кусок материи размером два на два метра. Это была старая штора для затемнения в кабинете физики. Оля специально выпросила ее в школе: надо, мол, чтобы снимать хитрые трюки. А неделю назад, оказывается, на эту «мануфактуру» наткнулась в шкафу Олина мама. Решила, что ненужная вещь, и, не долго думая, утащила в свой театральный коллектив. И требовать назад уже поздно, потому что из шторы сшита черная монашеская ряса для спектакля «Каменный гость».

— Я прямо чуть сама не окаменела...

Видимо, был у Оли с матерью крупный разговор, потому что даже сейчас она сердито кусала костяшки. Нилка же радовался, что на него не сердятся.

— Можно с'скинуться и купить черный материал. У меня десять рублей есть...

— Ты, Нил, наверно, правда инопланетянин, — печально сказала Оля. — Где ты сейчас купишь нужную ткань? Тем более, что годится не всякая, а бархат или фланель... Не обижайся, пожалуйста, на «инопланетянина»...

— Я не обижаюсь! Зовите меня хоть как, хоть не Нил, а Миссисипи Аркадьевич! Я только думаю: что же делать? Должна же быть какая-то альтер-на-тива...

Все слегка развеселились. Из-за «Миссисипи Аркадьевича» и «альтернативы», которую Нилка произнес безобидно.

Федя вспомнил:

— Хотите анекдот? Степка недавно из детсада принес... Значит, так. Воспитательница спрашивает: «Дети, кто называет слова на букву «а?» Ну, все, конечно: «арбуз», «атомоход», «африка» и даже «абизьяна». А Вовочка руку поднял и говорит: «Альтернатива!» — «Молодец, Вовочка, какой ты умный! А знаешь, что это такое?» — «Знаю. Это когда у мамы карточки на колбасу и она может идти или в этот магазин, или в другой...» — «Но, Вовочка, ведь колбасы ни в том ни в другом все равно нет!» — «А тогда это уже на букву «б». «Бардак»...

— Федор! — сказала Оля.

— Чего?

— Не стыдно?

— А что такое?

— Это непечатное слово! Вовочка не знает, а ты-то...

— Ничего себе непечатное! В газетах то и дело попадается!

— В газетах мало ли какие гадости печатают...

Федя надул губы с видом виноватого дошкольника.

— Ольга Афанасьевна, я больше не буду...

— Сам ты Афанасьевич! Я — Петровна.

— А у нас директор — Ольга Афанасьевна, я привык...

Ой, народ, слушайте! Давайте к нам в школу заскочим! Я у Дим-Толя спрошу: может, в нашем кабинете тоже шторы есть ненужные? Хотя бы напрокат! Он мужик добрый, даст...

— Феденька, ты умница!

И они вчетвером отправились в школу номер четыре.

Нилка и Оля, как посторонние, остались на улице. Федя и Борис пошли на разведку. Было гулко, пусто, замусоренно. Зато желтели свежим деревом новые рамы с чистыми стеклами... Кабинет физики оказался заперт. Федя с Борисом заглянули в учительскую и там узрели Ольгу Афанасьевну. Та заулыбалась. Она и вообще-то ничего была директорша, а сейчас, в каникулы, особенно добродушна.

— Соскучились по школе, голубчики?

Федя изложил, что к чему.

— Ох, да ведь Дмитрий Анатольевич в отпуске... А думаете, он дал бы шторы?

— Пленку вот подарил же, — опять сказал Федя. — А шторы нам только на пару дней.

— Я бы вам свою из кабинета дала, да она цветная. Не подойдет?

— Нет, спасибо...

Оля не очень огорчилась неудачей. У нее был новый план. Сейчас они пойдут на улицу Репина, где торговый центр...

— В этот гадюшник! — с отвращением сказал Федя. — Там толпа на толпе и дембили с толстыми шеями жарят шашлыки.

Но Оля возразила, что надо ведь снимать не только сказочные картины города, но и те явления, которые город уродуют. Для контраста. Борис, который очень не хотел, чтобы Оля опять стала печальной, виновато поглядел на Федю:

— Может, правда? Для контраста...

Нилке было все равно, лишь бы с друзьями.

— Горе с вами, — сказал Федя. — Имейте в виду, добром это не кончится.

Толпа на улице Репина была густа. И запахи густы. Пахло разогретым асфальтом, пылью, потом, косметикой и почему-то бензином, хотя машины здесь не ходили. И дымом шашлыков, которые жарили дюжие парни в грязных белых куртках.

Человеческое месиво, покорно отдаваясь жаре, грузно двигалось, завихрялось у лотков и киосков, образуя заторы в проходах между торговыми фургонами. И каждый хотел что-то найти, получить, занять или, наоборот, сбить с рук. Под полотняными навесами и просто на солнце торговали кооператоры: меховыми шапками и майками, свитерами и плавками, пластмассовыми свистульками и картинками с голыми девицами. Здесь было похоже на рынок, но без той веселой пестроты и без всякого намека на романтику, которая чудилась Феде среди базарных рядов... На двух кварталах среди плоских каменных домов, на асфальте без единого кустика, разбухал, будто квашня в тепле, бизнес. Орала динамика студий записи и пунктов проката, голосили продавцы лотерейных билетов и каждому обещали столько счастья, что было удивительно: откуда еще берутся у нас люди, не преуспевшие в жизни?

— Же-вачка! Же-вачка! — монотонно пели растрепанные цыганки. — Мальчики, берите жевачку!

Между сборчатыми юбками у них мельтешила чумазая курчавая малышня. «Что за люди? — не первый раз уже подумал Федя со смутной тревогой. — Вроде рядом с нами живут, а как с другой планеты...»

— Же-вачка! Рупь штука!

Нилка выколупал из тесного кармашка у пояса трехрублевую бумажку.

— Не вздумай, — сказал Федя. — В этой резинке канцерегенные вещества. По радио передавали: она запрещена для продажи. А здесь — хоть бы хны, знай торгуют...

— И запомни, — поддел Борис, — «кан-це-ро-генные», а не «канцелярские». А то скажешь где-нибудь...

— Опять дразнитесь, да?

— Я тебя проверяю: ты же обещал не обижаться.

— Ой, я забыл!

— То-то же... Миссисипи Аркадьевич, — назидательно проговорил Борис. Расчет оказался верен: Нилка закинул голову и захохотал. Так переливчато, что на них заглядывались...

А Оля между тем снимала. Умело так, незаметно: пристроит камеру между Борисом и Федей и короткими оче-

редями в разные стороны... Сняла и цыганят, кланчивших у прохожих двугривенные, и шашлычников-дембилей, и общую круговерть. А еще — небритого старика нищего. Тот сидел у двери магазинчика «Детские товары». Прислонился затылком к бетонной стене, закрыл глаза и не шевелился. В щетине его запутались крошки. Рядом на асфальте лежала мятая перевернутая кепка — в ней несколько медяков. Пока старика украдкой снимали, никто не бросил ему ни монетки. Только переступали через вытянутую ногу-деревяшку. Когда Оля перестала жужжать «Экраном», Нилка затоптался на месте, сжал толстые губы и вдруг потребовал — хмуро и стыдливо:

— Подождите... Это не снимайте. — Он торопливо, даже воровато как-то, подошел к нищему, быстро сел на корточки, положил ему в кепку мятую трешку, которую до сих пор таскал в кулаке. И почти бегом вернулся к ребятам.

— Пошли...

Когда уходили, Федя не выдержал, оглянулся. Старик смотрел им вслед — сквозь мельтешенье ног — широко раскрытыми осмысленными глазами. Нилка сказал, будто в чем-то виноватый:

— Все равно чуть не истратил на жвачку... — Потом еще: — Он ведь по правде несчастный. Лучше уж с такой ногой, как у меня, быть, чем совсем без ноги...

— Краска-то не тает от жары? — заботливо спросил Борис. Все посмотрели на Нилкину ногу. Родинки слегка просвечивали. Нилка сказал, что надо отойти в уголок, подмазать.

— А я кассету сменю, — решила Оля.

Они отошли на свободный пяточок асфальта позади фанерного ларька. Тут-то и прихватила их местная компания.

Четверо возникли рядом бесшумно, будто из воздуха. Лет шестнадцати парни. Модные такие, с легкой небрежностью в движениях. С одинаковыми лицами. Не похожими, а одинаковыми своим выражением. Выражение это... ну, когда кто-то смотрит на тебя как на ползущего жучка: обойти или наступить? И при этом — легкое шевеление нижней челюстью, будто во рту та самая «жевачка»... Один привычно встал чуть в стороне, поглядывая на прохожих. Трое — перед «кинооператорами».

— Что это у девочки за аппаратик? — спросил смуглый,

с монгольскими глазами, у другого — стройного и белокурого.

— Плэйер? — предположил белокурый.

— Не, мужики, это кинокамера, — объяснил им третий, похожий в своей зеленой майке и пятнистых десантных «бананах» на огурец. — Девочка скрытой камерой снимает эти... как его... пороки общества.

— Разве так можно? — спросил в пространство белокурый. — В наше время открытости и гласности...

— Девочка, покажи аппарат. — Смуглый тонко улыбнулся и потянул пятерню.

— А ну не троны! — тонко сказал Борис. Хлестко получил пятерней по носу и стукнулся затылком о гулкий киоск...

Что было делать? Взывать к совести? Господи, у этого — совесть? Драться? Но каждый из четверых юных дембилей — натренированный в своих подвалах и подворотнях — раскидает трех малячишек и девчонку в один миг. Да и как драться, если уже вяжет все мышцы и жилки клейкий неодолимый страх... А камера? Отберут или расшибут — и всему делу конец! Федя беспомощно глянул на прохожих. Рослый парень в расписной майке встретился с Федей глазами, крепче ухватил под руку свою девицу и ускорил шаги. Федя скрутил в себе стыд и отвлечение к себе и громко сказал пожилому прохожему:

— Дяденька, чего они лезут!

Прохожий — этакий крепкий пенсионер и с виду ветеран — обратил грозное лицо:

— Вы зачем пристаёте к ребятам!

— Иди, и-ди, дядя, — тихо и выразительно сказал тот, что стоял в сторонке, и сунул в карман руку.

— Хулиганье, — с достоинством произнес «дядя» и пошел дальше, постукивая тростью.

Тот, что похож был на огурец, хмыкнул:

— Тихо, пионеры. Мы только посмотрим технику. Мы тоже любители... — И в свою очередь потянулся к камере. К Оле...

Тогда Нилка — маленький, лохматый — скакнул вперед. Странно изогнулся, вскинул перед лицом руки и направил на врага прямые, как досочки, ладони.

— Отстань, с'волочы!

На миг все замерли. Огурец гоготнул:

— Это что за козявочка? Чудо...

Но это было еще не чудо. Чудо случилось через секунду.

— Здорово, парни! Из-за чего базар?

Это возник невесть откуда одноклассник Феди Кроева Гошка Куприянов — Гуга.

Глядя на белокурого снизу вверх, Гуга дипломатично сообщил:

— Иду это я мимо, вижу, вы, Геночка, с кем-то беседуете. Смотрю — да это мой друг Шитик!.. Шитик, привет! Вас тут не обижают случайно?

— Шел бы ты, Гуга, — сказал белокурый Геночка.

— Дак я и шел! То есть мы... — Гуга оглянулся. Пятеро, похожие на компанию Геночки, стояли неподалеку редкой цепочкой. С абсолютно равнодушным видом. Подошел еще один, стал в двух шагах. Лет восемнадцати, похожий на индейца, со смоляными космами до плеч, с пестрой тесьмой на лбу, в куцей, выше пупа, узорчатой безрукавке и шортах из обрезанных джинсов. Он спросил без улыбки:

— Гуга, ты чем-то озабочен, брат мой?

— Да вот, Герцог... Друзей встретил, а у них с Геночкой вроде чего-то... такое...

— Нехорошо, Геночка, — едва разжимая губы, укорил Герцог. — Я же тебе говорил: эскалация немотивированных насилий дестабилизирует общество...

— Какие насилия! — светски улыбнулся Геночка. — Обижаешь, Герцог... Пошли, мальчики, нас не поняли... — И четверо зашагали походкой свободных и ленивых людей. Федя, не веря еще спасению, смотрел им вслед! А когда взглянул опять на Гугу и Герцога, те тоже уходили со своей компанией. Легко и небрежно. Словно забыли про случившееся. Впрочем, Гуга обернулся и качнул над плечом растопыренной пятерней.

— Айда отсюда, — морщась, проговорил Федя.

Они были далеко уже от улицы Репина, но шли все еще молча, не глядя друг на друга. Федя стискивал зубы и сопел от унижения... Борис вдруг спросил со вздохом:

— Миссисипи, а что за прием ты изобразил? Когда эти полезли...

Нилка головы не поднял, сказал неохотно:

— Это я в кино видел, про Шао-Линь... Китайское единоборство. Стойка такая.

— А после стойки-то что делать? Знаешь?

— Не знаю... Я больше ничего не выучил.

Федя подумал, что Нилка в тот миг был похож на того взъерошенного котенка. И стало тоскливо. От беспомощности.

— Конечно, это было с' смешно, — шепотом признался Нилка.

Тогда Борис сказал тихо и безжалостно:

— Нам не смешно, а до жути стыдно. Верно, Федь? Нил один хоть как-то сопротивлялся...

— Почему один? Вы тоже... — нерешительно заспорил Нилка.

Оля, сердито размахивая камерой, возразила:

— А что можно было сделать-то? Ну, подумайте сами...

— Все равно тошно, — вздохнул Федя.

Оля спросила осторожно.

— А этот... который заступился... он правда твой друг?

— Гуга-то? Из нашего касса... У Гуги друзей, по-моему, нет, есть компаньоны. Он деловой человек... Придется, кстати, пятерку отдавать. Думаете, он просто так нам пальчиками махал? Сумму показывал. Плату за спасение...

— Фиг ему! — возмутился Нилка.

— А почему фиг? — горько сказал Федя. — Они же нас правда выручили. Мы же им не друзья, никто... Могли мимо пройти, а вступились. Честный заработок.

— Милиции тоже платят зарплату, — в тон ему отозвалась Оля. — Только не видать ее, милиции-то, когда надо...

— Теперь еще частных телохранителей можно нанимать, — заметил Борис. — Коммерция.

Нилка сердито пнул на асфальте окурков.

— Лучше уж баллончики носить с собой. С этой... крабовой солью.

Никто не засмеялся. Оля сказала:

— Против такой банды пушка нужна, а не баллончик... Ну, брызнешь в них, они очухаются, догонят. Тут же, среди толпы... И никто не заступится, сами видели...

— Я же говорил: не надо соваться в эту дембильскую кашу! — вырвалось у Феде.

— Навсегда от нее все равно не спрячешься, — сказала Оля.

Нилка произнес тихо и непримиримо:

— Навсегда не спрячешься, но в нашем городе не надо, чтобы толпа была.

— Куда же денешься, раз она есть, — пробормотал Борис.

— Я же не вообще про город, а про который с' совсем на ш. Тот, который мы... делаем...

Так второй раз сказал он, что есть у них свой, общий Город, ведомый им одним... И стало легче на душе.

Но Нилка не кончил разговор про толпу. Видно, что-то его зацепило. Он проговорил с болезненной ноткой, будто трогал языком больной зуб:

— В толпе или не замечают никого, или все прут куда-нибудь с'стадом... Папа говорит, что это с'синдром толпы... Он мне это сказал после одного происшествия...

— Какого? — спросил Федя. Было почему-то жаль Нилку.

— С'стыдно вспоминать...

— Ну, не вспоминай тогда, — покладисто сказала Оля.

— Нет, я с'скажу. Потому что мы ведь... вместе... Это, когда я жил еще в старом доме на улице Тургенева...

И пока брели они вот такие, приунывшие, виноватые перед собой и друг перед другом, Нилка рассказал про то, что случилось два года назад.

Рядом с их пятиэтажкой тянулся старый квартал, и там, в покосившемся домишке, жил старик. Родственники у него умерли или разъехались, он один хозяйничал как мог. Жил на пенсию, огород не вскапывал: видать, не было сил и охоты. Зато однажды — то ли была это память о детстве, то ли просто чудачество — начал он среди заброшенных грядок строить игрушечный город. Из глины, из гипса, из черепков и стеклянных осколков. Работал каждый день: клепал из проволоки узорные решетки, лепил и сушил на солнце кирпичики, складывал из них домики и крепостные стены...

Видно, старик был с талантом и кое-что понимал в архитектуре. Город — с причудливыми зданиями, с рыцарским замком посередине, с мостами через овраг — выросал на заброшенном огороде, как маленькое чудо. Сперва люди посмеивались, потом стали стоять у низкой изгороди подолгу, смотрели уже серьезно. Нашлись и помощники — из ребят. Выкладывали жестяными бутылочными пробками сверкающую мостовую, собирали цветные стеклышки для мозаик, резали из красного пластика кусочки для черепицы...

И не знал Нилка, не понимал, откуда у местных мальчишек появился «заговор». В том числе и у тех, кто днем, бывало, помогал старику. И «с'совершенно непос'стижимо», почему в этом заговоре оказался Нилка.

— Пришли в с'сумерках, позвали. Говорят, «тайная операция», чтобы отомстить за кого-то. Говорят, старик этот кого-то из ребят обидел, на двор не пустил... Все собрались, с'секретно так, будто разведчики. Интересно... Фо-

нарики взяли... К огороду подобралась, фонарики включили и давай по городу камнями, как бомбами... Торопятся, кидают, и я тоже, будто со мной что-то случилось... А потом от моего камня одна башня посыпалась. Будто меня самого по голове! Как заору: «Вы что делаете, гады!» Заревел и домой... Папа выскочил, а там уже никого нет. И половины города нет... Папа меня потом все спрашивал: «Ну а ты-то зачем пошел? Зачем кидал? Ты же этот город так любил...» А я только реву, потому что сам не знаю. Вот тогда он и сказал про с синдром...

— А тебя потом ребята не били? — нерешительно спросил Федя. — За то, что выдал.

— Не-а... Лучше бы уж били. А то я мимо того огорода ходить не мог. Мимо развалин... Потому что как предатель...

— Ты же маленький был, — попыталась утешить его Оля.

— Ну да, маленький. Семь с половиной!..

— А старик город не восстановил? — спросил Борис.

— Он чинил кое-что. Но как-то уже неохотно. А та башня, которую я... она так и осталась... А потом мы уехали. А старик, говорят, скоро умер... Может, из-за этого...

Федя сказал почти испуганно:

— Брось ты. Старики умирают от старости.

Оля жалобно попросила:

— Хватит вам о смерти. И так день какой-то похоронный.

Борис бросил на нее обеспокоенный взгляд.

— Ну ты что, Оль?.. Половина-то дня еще впереди.

Оля встряхнулась:

— Вот что! Пойдем сейчас к Анне Ивановне! Я обещала, что мы зайдем на днях, ковер ей выколотим. Может, и еще что помочь надо. Хоть одно доброе дело сделаем.

Видно, отснятую пленку она добрым делом не считала.

Они вышли на Садовую. Оля на ходу сменила в камере кассету.

— Солнце сейчас как раз на тот дом светит, где ваза. Снимем, пускай хоть через стекло. Все равно надо когда-то.

Борис неуверенно предложил:

— А может, все-таки зайти да попросить: пусть откроют окошко? Не обязательно же там вредные люди.

— Нет, — решила Оля. — Сегодня день невезучий.

День оказался еще невезучее, чем думали: окно оказалось задернуто шторой.

— Всё! — Оля затолкала камеру в футляр. — Больше никаких съемок сегодня! Пошли к Анне Ивановне...

— Даешь тимуровскую работу, — поддержал ее Борис.

— Даешь, — согласился Федя. И вдруг завопил: — Ольга, камеру! Скорее! — Потому что взглянул на новую колокольню.

Колокольня была видна отсюда, с горки, в просвете среди тополиных крон, над невысоким забором. Красная, кирпичная, двухъярусная. Крышей служил ей небольшой купол, крытый квадратиками оцинкованного железа. Над куполом поднимался похожий на тонкую шахматную фигуру шпиль с желтой головкой. К головке этой наклонно тянулась лестница от лесов, которые с одной стороны колокольни подымались до купола. Наверху лестницы, у самой маковки, была площадка с перильцами, на ней стоял человек. Отсюда казалось — совсем лилипутик. Другой поднимался по лестнице. Он нес на спине золоченый, играющий искрами крест — чуть не с себя ростом.

— Сейчас будут ставить! Снимай скорее!

— Телевик! — велела Оля. Борис выхватил из сумки нужную насадку (спортивную сумку с кинопринадлежностями он бессменно таскал за Олей). Она навинтила объектив, нацелилась...

Человек с крестом поднялся к товарищу. Неторопливо и умело, не боясь высоты, они взяли крест за концы перекладки, как за крылья. Приподняли и нижним концом опустили на маковку шпиля — видимо, там, в этом шаре, было гнездо. Поддержались за крест и, кажется, попытались шатнуть его. Но он стоял неподвижно. И солнечный зайчик горел на самом верху.

Люди стали спускаться.

Оля заводила в камере пружину.

— Феденька, ты умница! Такой эпизод ухватил!

— Ольга, смотри!..

Людей уже не было, а лестница вдруг шевельнулась. Наверно, ее тянули за веревки. Она встала вертикально, начала опрокидываться и наконец полетела с лесов. Потом донесся отдаленный гул.

— Сняла? — спросил Федя.

— Да. Здорово... Ой, мамочка, страшно даже: вдруг там по головам...

— Все небожь рассчитано, — успокоил Борис.

— А будем проситься на колокольню? — вспомнил Нилка. — Панорама-то ведь нужна. Над которой я полечу.

— Попрут, — как и в прошлый раз, сказала Оля.

— Не имеют права! Мы скажем, что школьная киностудия! — заявил Нилка. — Папа говорит, что операторов обязаны везде пускать!

— Ага! — откликнулся Борис. — А дядя дьякон скажет: «Ваши удостоверения?»

— А мы значки покажем!

— Какие значки? — Это удивились все разом.

Нилка вдруг порозовел. Заковырял в кармашке у пояса.

— Только они самодельные... Я хотел сразу показать, да боялся. Вам, наверно, не понравятся... — Наконец он протянул на ладони значок.

Тот был не совсем самодельный. Прозрачный пластмассовый кружок с булавкой, в который можно вставить любую картинку, был, конечно, куплен в киоске. А в ободке, за оргстеклом — черный на белом фоне рисунок: существо с табуретом вместо туловища, с вихрастой ребячьей головой и с тонкими ручками, в которых зажата большая многоглазая камера. И надпись по кругу:



Оля тихонько завизжала от восторга.

— Ой, Нилка-а! Откуда?

Нилка заулыбался:

— С папой сделали. Вчера. До ночи сидели. Он сперва нарисовал, потом сняли, потом печатали на фотобумаге... Двадцать штук нашлепали на всякий случай...

— Качать великого Нила! — потребовал Борис. Федя ухватил Нилку за бока.

— Ай! Я щекотки боюсь! Пусти, а то не дам!..

Но конечно, он тут же дал значок каждому. И все украсили себя фирменной эмблемой, забыв на время о недавних неприятностях. И белый свет опять стал хорош, и четверо на этом белом свете были счастливы, что они есть друг у друга...

— Нил, а почему латинские буквы? — весело спросил Борис.

— Папа говорит, что, может быть, мы выйдем на международную арену. Когда-нибудь...

— Факт, выйдем, — заверил Федя.

— Папа говорит: наконец-то ты не один. Я то есть... Это, говорит, судьба.

— Значит, и правда судьба, — решительно подтвердил Борис. — Великий Нил впадает в Табуретное море! Ура!

Нилка обдал друзей синим блеском и выплеснул опять свою, именно Нилкину, искренность:

— Я сейчас думаю: какое же счастье, что ОВИР запретил нам выезд...

Всех обдало холодком тревоги.

— Кто такой Овир? — Оля насупила брови.

— Куда выезд? — разом спросили Борис и Федя.

— В С'соединенные Штаты, насовсем. У нас там тетя есть, мамина родственница. Вызов прислала...

— И вы согласились? — Оля потянула к губам костяшки.

— Мама очень нас'стаивала... Папа говорит: а куда денем прадедушкину коллекцию? Взять с собой не разрешат, это национальное достояние, вот... А мама: «Что же, так и жить в этой нищете из-за стеклянных картинок? О ребенке подумай!» Это обо мне, значит... А еще: «Ты же мастер, талант, лауреат всяких премий! А здесь так и останешься репортером из провинции...» Это уже про папу...

— В Штатах есть Флорида, — вдруг совершенно глупо сказал Федя. — Там круглый год тепло. Как у нас в эти дни...

— Если круглый год, это плохо, — грустно возразил Борис.

Нилка удивленно посмотрел на них.

— Нилка, неужели уедешь? — тихо спросила Оля.

Он радостно разъяснил:

— Да запретили же! Я же говорю!.. Знаете, из-за чего? Из-за с'секретности! Папа был на Севере и будто бы снял какие-то объекты, про которые нельзя даже говорить. И сделался он невыездной! Он говорит, что это чушь, нарочно придираются, но теперь уже все равно...

— Нилка, а вдруг разрешат? — с опаской спросил Федя.

— Не раньше чем через пять лет! — с торжеством заявил Нилка. — Так с'сказали. А тогда я уже сам буду почти с паспортом! И вообще — это же вечность!

Они заулыбались вокруг Нилки. Потому что пять лет — это и правда вечность. Ну, не совсем вечность, однако все-таки громадный срок для того, кому нет и тринадцати. Чуть меньше, чем половина жизни.



Третья часть

Белый свет был суров и опасен...

Костер в церковной ограде

Церковный двор был обнесен новой узорной решеткой из чугуна — ее по специальному заказу отлили недавно на заводе «Маяк». Звенья решетки установили на кирпичном фундаменте между квадратными столбиками, сложенными тоже из кирпича. Красиво получилось! Как в старину...

Но внутри двора еще не убраны были кучи мусора и лежали штабеля всякого стройматериала.

Среди штабелей горел небольшой костер. В кастрюле с дужкой из алюминиевой проволоки варили строители похлебку.

К июлю на ремонте церкви людей осталось немного. Каменщики свое дело закончили, плотники убрали от

колокольни леса и тоже ушли. На отделке работала небольшая бригада.

У костра сейчас были двое. Светлородый, похожий на Добрыню Никитича Слава и высокий, худой Дмитрий. Его звали Дымитрий за то, что все время курил самокрутки, заходясь долгим кашлем... Узнав, что ребятам снова надо на колокольню, Слава спросил понимающе:

— Что, запороли пленочку, эйзенштейны?

— Опять это чудо египетское, — в сердцах сказал Борис. Но не выдержал, захихикал, глянув на Олю. Она объяснила:

— При обработке есть такой процесс, засветка называется. Перед вторым проявлением, когда пленка еще желтая, надо ее на ярком свете подержать. Ну, мы включили рефлектор с пятисоткой, чтобы скорее, за несколько секунд. Я катушку взяла, Нилке говорю: «Держи лампу». Он говорит: «Ага...»

— И «а-апчи!» на нее, на раскаленную, — вставил Борис.

Федя с мрачным удовольствием сообщил:

— Ее даже не на осколки, а в пыль разнесло. А нас — по углам... Когда очухались, Ольга в рев: «Нилка, ты живой?»

— Не ври, я не редела!.. Я уж потом чуть слезу не пустила, когда катушку с пленкой нашли. Она в ванночку с фиксажем улетела. А гипосульфит — он же все изображение напрочь за полминуты слизывает, если до второй проявки...

— Достали пленочку, а она прозраченькая, — вздохнул Борис.

— Как Ольгины слезы, — ввернул Федя.

— А Нил-то ваш как? Ничего с ним не случилось?

— Кабы с этим сокровищем что случилось, разве бы мы сейчас веселились? — задумчиво сказала Оля.

Борис опять усмехнулся:

— Сидит на полу и сокрушенно так спрашивает: «Ну, с'скажите, почему я никогда не вписываюсь в с'ситуацию?»

— Погоревали мы над пленкой, — объяснил Славе Федя, — а что делать-то? Пошли снова «вписывать его в ситуацию». Снимать заново, как летает.

«Летал» Нилка умело. На фоне темного бархата.

Этот бархатный задник оказался на студии «Табурет», можно сказать, чудом.

В конце июня Оле среди других творческих мыслей

пришла в голову идея снять Анну Ивановну.

— Должны же быть в нашем фильме хорошие люди!

Никто не спорил. Анну Ивановну все уже знали, часто забегали к ней, чтобы помочь по дому. И вот принесли два фоторефлектора, Оля усадила Анну Ивановну на диван и начала снимать, как старая учительница разглядывает большие снимки — на них выпускные классы разных лет.

Чтобы Анна Ивановна не стеснялась камеры и вела себя естественно, по-домашнему, ее развлекали разговорами. Пожаловались и на трудности с комбинированными съемками. Нужен, мол, темный фон, чтобы отправить Нилку в полет над городом. Вот тут вдруг Анна Ивановна отложила фотографии, поднялась и достала из комода большой квадрат гладкого бархата.

— Такой годится?

— О-о-о... — дружно выдохнула студия «Табурет».

Правда, бархат был не черный, а темно-лиловый, но это не важно. Все равно он отлично поглощал свет, не бликовал.

Анна Ивановна рассказала, что материя эта очень старинная. Еще от ее, Анны Ивановны, бабушки осталась.

— Когда в бабушкином доме справляли Рождество и ставили елку, этим бархатом затягивали стену, вешали на него серебряные звезды и золоченый месяц. Получалось просто чудесно! До сих пор помню запах елки и эту сказку со звездами...

— Анна Ивановна, тогда не надо, наверно, — смущенно сказала Оля. — Дорогая ведь вещь...

— Голубчики вы мои, что же с того, что дорогая! Вещи должны пользу приносить, а не в ящиках пылиться... Берите, не бойтесь. Если помнете да потреплете немножко, не беда...

Бархат натянули на воротах гаража. Над ними торчала крепкая балка: Олин дед когда-то подтягивал к ней на блоках мотоцикл — для ремонта. Теперь на балке подвешивали Нилку. Олина мама соорудила из брезента широкий пояс и пришила к нему крепчайшую петлю. Пояс Нилка надевал под рубашку. В ней пришлось сделать на спине прореху для петли. Обычная веревка, чтобы подвешивать Нилку, конечно, не годилась. Олина мама в своем театральном хозяйстве раздобыла прочную черную тесьму. Но и с тесьмой пришлось повозиться, чтобы она не была заметна в «бархатной темноте». Замучились, пока нашли нужный угол освещения рефлекторами (солнце тут совсем

не годилось, слишком высвечивало задник, поэтому сняли вечером).

Нилка в подвешенном состоянии освоился быстро. Вполне натурально то «парил», то «мчался» над землей, вытянув руки и легко помахивая ногами в сандалиях, у которых трепыхались ремешки. Кстати, несмотря на «штукатурку» на ноге, Оля все равно велела Нилке надеть бинт. Ей пришло в голову, что пускай марлевая лента во время полета трепещет и постепенно разматывается на ветру. Это, мол, прибавит реализма... Ветер делали вентилятором и включенным «на выдох» пылесосом.

Итак, Нилка «летел», покачиваясь на подвеске. Федя и Борис обдували его «бытовой техникой», Оля жужжала камерой. К аппарату с боков были приделаны «щеки» из черной бумаги, чтобы в кадр не влезли с краев посторонние предметы...

Сначала — в основном для пробы — Нилку сняли летящим среди звезд. Звезды сделал Борис. Он из черной бумаги от фотопакетов склеил широкую ленту и в ней иглами разной толщины проколол множество отверстий — созвездия. Работал Борис долго и сосредоточенно. У него к черной бумаге было особое отношение: будто он знал про нее какую-то тайну.

Черную ленту натянули между спинками стульев. Когда светили лампами с обратной стороны, созвездия горели и некоторые звезды лучисто вспыхивали. Их сняли на ту же пленку, где был Нилка, — «в несколько слоев» и с разной скоростью движения. Когда проявили и пустили пленку через проектор, Оля тихонько повизгивала от удовольствия. На экране искрился и плыл настоящий звездный хоровод, а мальчик в трепещущей светлой рубашке мчался сквозь сказочное пространство, и космический ветер откидывал у него легкие волосы...

Правда, несколько раз можно было заметить крючок за спиной. Однако на то и монтажные ножницы, чтобы убирать неудачные кадры...

Но это «звездное кино» для фильма о Городе было не так уж нужно. Разве что для маленькой сценки ночного полета. А главным-то образом нужен был полет над улицами, над рекой, над землей, освещенной солнцем.

Летающего Нилку сняли еще на одну пленку и — делать нечего — пошли на разведку к церкви. Может, и правда найдутся добрые люди, пустят на колокольню.

Добрые люди нашлись. Прежде всего тот же могучий бородатый Слава. Оля, когда увидела его на церковном

дворе, сразу решила, что это главный. Повела за собой оробевших мальчишек и храбро обратилась к бородачу:

— Извините, можно вас попросить об одном деле?

Тот обвел их спокойно-веселыми серыми глазами.

— Валяйте, просите.. Экскурсия, что ли?

Осмелев, ему наперебой начали говорить про кино-съемку, про то, что нужна «высокая точка». Подошел еще один строитель — тоже бородатый, но не такой могучий. Похож на Нилкиного отца, только помоложе, и борода шире, веером. И волосы длиннее. А лицо такое же худое, и очки — в точности. Глянул он из-под очков на Нилку. Спросил с интересом:

— Так, значит, это ты намерен стартовать с колокольни, аки ангел небесный?

Ему объяснили, что Нилка уже стартовал и с колокольни никто лететь не собирается. Надо только отснять панораму.

— Ну что, Женя? — усмехнулся бородач Слава. — Пустим юных тарковских в поднебесье?

— Не одних. Ты, Слава, их попаси. Лестницы круты..

— Угу... Вообще-то хватило бы одного человека с камерой, зачем всем-то карабкаться. А?

— У-у-у... — печально взвыли Федя, Борис и Нилка. Слава засмеялся:

— Ладно, племя младое, пошли...

Вход оказался в боковой стене колокольни — низкая сводчатая дверца. Лестница была деревянная, новая, от нее пахло свежей стружкой, на перилах к ладоням липли капельки смолы. С непривычки казалось, что поднимались очень долго. Честно говоря, даже страшновато было. А потом, на верхней площадке, остановились, охнули тихонько и радостно — такой простор открылся в арочных проемах: и ближние улицы в гуще тополей, и похожие на горную гряду новые микрорайоны, и петляющая Ковжа, и заречные рощи. Все это слегка дрожало в знойном полуденном воздухе. И почему-то здесь, на высоте, особенно отчетливо слышен был треск береговых кузнечиков.

Вроде бы и не так уж велика была церковь, и колокольня — пониже новых многоэтажек. Но ощущение высоты и свободного пространства охватило Федю, словно он на горной вершине. Или в корзине аэростата. Да и другие, кажется, чувствовали то же. Оля и та не сразу взялась за камеру... Но в конце концов она вскинула аппарат, зажужжала им, переходя от арки к арке.

— Я смотрю, профессионально работает ваш оператор, — заметил бородатый Слава.

— Еще бы! — сказал Борис. А Нилка вдруг похвастался:

— Вы знаете, Оля сумела снять уникальную сцену. Как сюда, на колокольню, ставили крест.

— Да ну! Значит, это будет в вашем фильме?

— Само с'собой.

Слава поскреб бороду.

— Тогда вам надо бы, наверно, и еще кое-что снять у нас. Так сказать, для логичного построения сюжета. А?

— А можно? — обрадовалась Оля.

— Отчего же нельзя? Кстати, внутри церкви есть очень любопытные вещи. Чистили мы стены, и открылась, братцы мои, одна замечательная роспись... Не в традициях православной живописи, правда, а, скорее, итальянская школа. Но картина, прямо скажем, необыкновенная... Вы, кстати, что знаете о живописи, господа кинооператоры?

«Господа кинооператоры» переглянулись и дипломатично засопели. Потом Федя признался:

— Я в основном по маркам. Серия «Искусство»...

— У меня мама обожает авангард, — сказала Оля. — Но я в нем полный профан. Только в глазах рябит, когда смотрю...

Борис промолчал. Он-то знал больше других. Уже не один год он вырывал из журналов цветные репродукции Босха, Брейгеля и Сальвадора Дали. Называл он их коротко — «сюр». А еще собирал картинки с абстрактным переплетением плоскостей, линий и цветовых пятен. Говорил, что они — намек на многомерность миров и параллельные пространства. Но про это знал только Федя — Борис почему-то стеснялся своего увлечения...

Нилка вдруг сказал:

— У нас есть альбомы Третьяковки и художника Матисса. И картина Пикассо «Мальчик с собакой». Копия, конечно...

— Друзья мои, ваша эрудиция меня потрясает! — заявил Слава. — Лет восемь назад, еще до армии, был я вожатым в пионерском лагере и завел там разговор об искусстве. Юное поколение знало только художника Репина да и то путало его с Шишкиным. А про Рублева дети сказали, что это министр финансов.

Нилка без улыбки пожал плечами:

— Рублев — это «Троица», это все знают. Даже кино есть. Там еще про одного юношу, который отлил большой

колокол... Скажите, пожалуйста, а здесь будут висеть колокола?

— Будут. Хотя, конечно, не столь громадные...

— А роспись-то покажете? — напомнила Оля.

Когда оказались внизу, вновь увидели очкастого Евгения. Наверно, он был прораб. Спокойный, деловитый и даже интеллигентный, несмотря на заляпанные брезентовые штаны, кирзовые сапоги и помятую клетчатую рубашку. Он что-то объяснял двум парням-штукатурам. Увидел ребят и Славу, подошел.

— Женя, этим людям ведомо, кто такие Матисс, Пикассо и Рублев. Посему кажется мне, что они достойны видеть наше открытие. А?

У Евгения блеснули очки.

— Вожатский синдром, Славик, ты никак не изживешь...

— Осуждаешь, отец мой?

— Отнюдь. Дело это сродни пасторскому служению... Идемте, дети мои, коли вам любопытно...

День тогда стоял еще жаркий, и после уличного слепящего зноя церковь обрадовала прохладой и мягким сумраком. Впрочем, сумрак — это лишь с непривычки. Скоро увидели, что здесь вполне светло. В стенах длинного помещения были прорезаны узкие окна с кружевом решеток. С правой стороны били крутые лучи, укладывая на замусоренный пол отпечатки солнца и оконных узоров. Над головами светилась вогнутая высота купола. От пола солнце мягко расходилось по церкви, высвечивая стены. Они были замазаны известью, а местами — в серых заплатах свежей штукатурки. Нигде еще не было икон и вообще никакого церковного убранства.

На стене между окон, обращенных к северу, висела громадная грубая холстина.

Слава поднял с пола длинную рейку, подцепил и дернул у холстины верх. С крюков сорвался сперва один край, потом другой. Материя ухнула вниз — по ногам прошелся пыльный ветер.

И открылась настенная роспись.

Ну, на первый взгляд ничего в ней особенного не было. Тем более что и расчистили ее еще не полностью. Местами пятна. Вместо ожидаемого буйства цветов, какого-то волшебства — обшарпанная и вроде бы даже пылью припорошенная картина. Сразу и не разберешь, про что... Федя, Борис, Нилка и Оля стояли перед ней и вежливо

молчали. Ну да, для науки, для истории эта роспись, наверно, важна...

А все-таки что на ней?

Худой длинноволосый человек в красно-синих длинных одеждах стоит в окружении других, маленьких... Э, да это, кажется, ребята. Точно! Смуглая голоногая пацанва, в пестрых рубашках до колен, с непокрытыми растрепанными головами, окружила человека. И теперь Федя видел уже, что это Иисус. Только не было в лице Христа иконной строгости. Было оживление веселой беседы и, может быть, даже какого-то шутиwego спора. Правой рукой он придерживал за плечо смеющегося светлоголового мальчугана, а левую протянул к другому. Таким жестом будто говорил: «Ну, посуди сам, разве я не прав? Маленький собеседник его чуть приподнял губу и старался сохранить серьезное выражение. Было ясно: он видит, что Иисус прав, но из упрямства и озорства хочет поспорить хотя бы еще немного — прежде, чем не выдержит и засмеется. Остальные слушают — кто весело, кто серьезно. Курчавый пацаненок с деревянной вертушкой в руках смешно приоткрыл рот. Другой, постарше, заливисто хохочет, запрокинув голову. Девочка держит за руку голого малыша и грозит ему пальцем: не мешай, не канючь. Двое мальчишек с задумчивыми полуулыбками обняли друг друга за плечи — сразу видно — хорошие друзья.

Федя поймал себя на желании оказаться среди этих ребят. На ощущении, это это возможно... Теперь не было на картине пыли и пятен. Вместо блеклости красок — сдержанность и мягкость цветов. И еще — словно теплый ветер шевельнул складки одежды и волосы ребятишек. Плоское пространство обрело объем. Желтоватый, видимый в дымке горизонт с невысокими холмами отодвинулся от глинобитных домиков, и словно дохнуло жаром палестинское лето. Там, у этих домиков, несколько взрослых мужчин в накидках и тюрбанах осуждающе косились на Иисуса и мальчишек. Так же, как нынешние пенсионеры — добровольные блюстители порядка — косятся на своего соседа, когда он заводит на дворе с мальчишками добрый разговор.

— ...из Евангелия от Матфея, — услышал Федя голос Евгения. — Однажды Христос сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам: если не будете как дети, не попадете в царство небесное...» Вот и картина об этом: как сердце Иисуса открыто для ребятишек...

— Теперь не знаем, что и делать, — объяснил Слава. —

Или не трогать эту фреску совсем, оставить, как есть, или все же попытаться отреставрировать. Вроде бы и надо, но страшно подступаться... Особенно к лицам...

«Лучше не касаться», — подумал Федя.

Борис вдруг сказал полушепотом:

— Нил, смотри, на тебя похож... — и показал на мальчика, которого Иисус держал за плечо.

«И правда похож слегка», — подумал Федя. Мальчишка был толстогубый, синеглазый, растрепанный... Нилка не спорил...

Оля спросила негромко:

— Значит, это правда можно снять?

— Для фильма? — сказал Евгений. — Ну, что ж...

— Только сейчас света мало. Можно еще раз прийти?

Мы фотолампы принесем... Здесь есть электропроводка?

— Да уж подключим как-нибудь, — отозвался Слава.

Федя слушал этот разговор отстраненно. Он как бы грелся в ласковой доброте, которая исходила от картины. И росло в нем желание осенить себя крестом. словно кто-то теплыми пальцами взял за локоть и подталкивал...

Федя, хотя и считал себя верующим, почти никогда не крестился. Пожалуй, было это всего два раза в жизни. Когда увозили с острым приступом аппендицита Степку, Федя неумело, тайком, сотворил крестное знамение и прошептал: «Господи, спаси его...» А еще раз случилось так: на несколько минут он остался один на кухне в доме Бориса и пригляделся к бабушкиной иконе, которая золотилась под вечерним лучом. И увидел, какое ласковое лицо у Божьей Матери и как крепко, словно прося защиты, прижался к ней маленький Иисус. И от моментального наплыва какой-то печали и нежности Федя глубоко вздохнул и широко, свободным взмахом перекрестился.

Так же хотелось это сделать и теперь. Без молитвы, без просьбы о какой-то милости или помощи, без всяких слов, а просто с благодарностью. Как бы знак приобщенности к тем мальчишкам, которые обступили Иисуса. «Борька, Оля и Нилка тоже пусть будут с нами, ладно? Мы ведь из одного Города...» Он шевельнул рукой, но смущение удержало его.

«Чего ты боишься? — упрекнул себя Федя. — Ведь никто не засмеется, никто даже словечка не скажет...»

Но вязкая стыдливость была сильнее желания.

«Ты же сказал тогда: буду за Него заступаться. А теперь и заступаться не надо, просто честно сделать, что просит душа. Просто не скрывать, что ты с Ним...»

Нет, не смог он победить неловкость. И когда Слава сказал «пошли, ребята», он побрел позади всех с опущенной головой. С едким сознанием своей измены и малодушия... И сколько же теперь, значит, мучиться!

Перед самым выходом Федя, с отчаянной ноткой, попросил:

— Подождите, пожалуйста! Я... еще... — и почти бегом вернулся к фреске. Несколько секунд стоял перед ней, снова пытаюсь как бы войти внутрь этого доброго мира. И когда ветерок опять шевельнул ребячьи волосы и ожили все лица, Федя разорвал смущение и бросил пальцы ко лбу, к груди, от плеча к плечу... Сладко, как у малыша, которого простила мама, зашекотало в горле. Федя улыбнулся виновато и пошел к двери. Ни на кого не глядя, но и не опуская лица.

И никто ничего не сказал, конечно. Только Борька чуть заметно коснулся плечом его, Федькиного, плеча.

А на солнечном дворе Евгений сквозь очки пригляделся к Феде. К его белой футболке. Федя сперва подумал — к значку студии «Табурет». Но сквозь тонкую ткань проступал темный крестик. Евгений осторожно коснулся его пальцем.

— Это, значит, всерьез? Не просто так?

— Не просто, — бормотнул Федя.

Нилка, будто нарочно меняя тему, заговорил возбужденно:

— Мне, когда я церковь вижу, всегда кажется, будто там какая-то тайна. Ну, клады зарытые, подземные ходы, старина всякая. Как в волшебном городе.

— Проницательное дитя! — воскликнул бородатый Слава.

Евгений усмехнулся:

— Ты сейчас им все наши секреты выложишь...

— Но современным детям так не хватает романтики!

— И тебе...

— Но ведь сказано: «Если не будете как дети...»

— Ладно, развлечения детишек. Только пусть молчат... Тайны хранить умеете, люди?

— Клянусь! — быстро сказала Оля. Остальные вмиг и хором поклялись тоже. Явно наклевывалось приключение.

— Достаточно простого «да», — усмехнулся Евгений.

Слава опять привел их в церковь, в самый конец ее, где было алтарное закругление. Здесь громоздился штабель ящиков и стояла у стены тяжелая бочка с остатками

цемента. Слава отодвинул ее. И все увидели неприметную крышку люка. Без ручки, без кольца. Здесь же валялся заляпанный цементом тяжелый скребок. Слава сунул его в щель, надавил, крышка приподнялась. Слава откинул ее. Дохнуло влагой подземелья.

— Ну вот, друзья мои, — провозгласил Слава. — Хотите верьте, хотите нет, но это натуральный подземный ход. Обнаружили, когда ободрали с пола верхний слой. Кто его вырыл и зачем, пока загадка...

— А куда ведет? — нетерпеливо сунулся вперед Борис.

— А пошли, посмотрим... — Слава первым втиснулся в темный квадрат. Ребята полезли за ним.

Сперва были под ногами крутые ступени. Потом каменный пол. Навалилась тьма, но Слава включил фонарик. Желтый круг заметался по тесным стенам, по низкому сводчатому потолку. Кое-где кирпичная кладка, а кое-где тесаные камни. Местами же — просто земляные проплешины. Коридор оказался очень узкий, идти пришлось друг за дружкой. Тем, кто невысокий, можно в полный рост, а Славе приходилось пригибаться.

Ход выписывал плавную дугу. И наконец впереди забрезжил свет. Вернее, впереди был земляной завал, а щель светилась сбоку. Сквозь плотную зелень проглядывало небо.

— Куда он раньше вел, этот ход, теперь неизвестно, — сказал Слава. — Видите, завалило. А потом здесь обвалился берег и в боковой стенке получилось окно. Прямо на обрыв.

— Можно пролезть! — обрадовался Нилка.

— Вам, тощим, наверно, можно. Только не советую без нужды. Кто-нибудь посторонний увидит, а это ни к чему... Да и растительность там, сами взгляните, какая...

В щель густо лезли узкие темные листья так называемой татарской крапивы. Свое название она получила, наверно, в память о жестокостях татаро-монгольского ига. По крайней мере, жалилась не в пример злее городской крапивы, которая не так уж страшна продубленной солнцем ребячьей коже...

— Зато и снаружи никто не заберется, — отметил Борис. — Наверно, и не видно даже. Крутизна да чаша...

— А когда здесь был пивзавод, про этот ход не знали? — спросил Федя.

— Законный вопрос. Может, и знали. И пиво текло налево... Хотя едва ли. Люк был под настилом, а сверху стояло стационарное оборудование...

— Может, здесь клад где-нибудь зарыт? — прошептал Нилка.

— Может, и зарыт, — согласился Слава. Широкой ладонью взлохматил Нилкину макушку. — Ну, ладно. Насладились дыханием тайн и приключений? Отряд, слушай мою команду: обратно шагом марш... И помните — никому ни слова. А то проберутся какие-нибудь подонки, изгадят роспись...

На следующий день притащили фотоосветители, подтянули от щитка провод, сняли фреску. И общий план, и крупно все лица. А потом еще снимали, как рабочие разгружают машину с цементом, как Слава и Евгений разглядывают эскизы внутреннего убранства, как молчаливый кашляющий Дымитрий и еще два рабочих закладывают кирпичом большую пробойну в стене — здесь раньше проходила какая-то труба...

Затем раза два ребята прибежали просто так — навесить знакомых. И вот — опять по делу. Заново снимать панораму. Потому что вся прошлая работа пошла насмарку от Нилкиного чиха.

— А где виновник-то? — слегка обеспокоенно спросил Слава. Он явно симпатизировал Нилке.

— Прибежит, — хмыкнул Федя. — На него поправку надо делать: если сказано к двенадцати — жди в половине первого...

— Подождем, — решил Слава. — А потом уж полезем, а то Нил с'страсть как обидится...

Стали ждать. Федя сел на землю у церковного забора.

...Имя у церкви было Спасская. Построили ее в конце восемнадцатого века на деньги, что пожертвовал местный житель, купец Артамон Гвоздев. Он дал обет поставить на берегу Ковжи храм во имя Всемиловейшего Спаса в благодарность за избавление своего маленького сына от тяжелой болезни. Говорят, отдал на это дело половину состояния. Чтобы расписать внутри стены и свод, приглашал художников из столицы (и был среди них даже итальянец).

Сложили церковь из крупного кирпича. Недавно стены отскребли, отмыли как могли. Хотели даже почистить их пескоструйной машиной, да опомнились: песок содрал бы с кирпичей внешний гладкий слой и они сделались бы пористыми, рыхлыми.

Колокольню возвели по старым чертежам. Но кирпичи-то были новые. Когда-нибудь их цвет сольется с темной, серовато-бордовой расцветкой старых стен, а пока двухъ-

ярусная башня светилась красно-оранжевой новизной. Празднично сверкали в синеве позолоченный крест и оцинкованная чешуя купола. Маленькие желто-серые облака бежали из-за Ковжи, и башня безостановочно клонилась, клонилась им навстречу, но оставалась прямой...

Двое суток назад, после сильной ночной грозы, испортилась погода. С утра до вечера сыпал холодный дождь. Сперва все дышали с облегчением: измаялись от жары. Но вскоре забеспокоились: а что, если ненастье надолго? Вчера к середине дня прояснило. Ночью, однако, опять моросило, а сегодня было хотя и солнечно, а все еще зябко. Федя, прислонившись к фундаменту изгороди, ощущал сквозь джинсовую куртку прохладу кирпичей. Борис — тот из принципа не признавал больше плохой погоды: начало июля, какой может быть холод! И теперь грел у костра свои «восьмигранные» коленки и голые руки.

Оля на штабеле досок укрылась брезентовой курткой Славы — перезаряжала кассету, в которой заело пленку. Из-под брезента торчали только ноги в вельветовых штанинах.

Ноги требовательно задергались. Борис тут же подскочил. Слава и Федя тоже подошли. Из-под куртки слышалось:

— Выпустите меня, я запуталась...

Олю распаковали. В это время появился Дымитрий.

— Слышь, я в контору наведуясь насчет красок. Если материал привезут, подпиши накладную за меня... — Он затыкнулся самокруткой, закашлялся. И, когда отошел, Оля сердито сказала:

— Ему нельзя столько курить. Он же губит себя...

— Пойди объясни ему, — хмуро отозвался Слава. — Человеку и так тошно... Жена ушла, забрала пацана и не пускает отца повидаться с сыном. Такая стерва... Мужик только и спасается табаком и работой. Мы уж сколько говорили: ты, бригадир, кончай надрываться, а он знай новую козью ногу крутит...

— Разве он бригадир? — удивилась Оля. — Я думала, что дядя Женя...

И Славу, и других рабочих ребята звали по имени, только Евгения — дядя Женя, хотя и был он не старше остальных. Просто чувствовали в нем главного.

— Дядя Женя? — засмеялся Слава. — Дядя Женя, он начальство другого рода. Разве вы не знали?

— Нет, — Оля почему-то смутилась. — А кто он?

— Он — отец Евгений. Настоятель, значит, этого храма.

— Ну-у... — не поверил Борис.

А Федя сказал стесненно:

— Священники, они ведь в рясах всегда. А он... вместе со всеми носилки таскает...

— О церкви печется, вот и таскает. Он, можно сказать, весь ремонт на своих плечах вытянул. Сегодня вот тоже — с письмом от митрополита в исполком поехал. Выбивает разрешение, чтобы музей отдал иконостас, который из церкви. Он весь такой золоченый, резной, красотища. Здешний мастер Коробицын его делал. Двести лет работе...

Оля виновато объяснила:

— Мы и не думали... Вы его просто «Женя» да «Женя»...

— Для меня он Женя и есть. С детсадовских времен. В одном дворе до самой армии жили. Он по старой дружбе и на работу эту меня сагитировал...

Федя поколебался и спросил тихо:

— А почему он в священники пошел? С детства хотел?

— Нет, что ты. Это уж после Афгана... Поступал он в литературный институт, не получилось, взяли в армию... Мне вот повезло, на Северном флоте служил, а Женьку — на юг, в пекло. Ну и посмотрелся он там... «Нет, — говорит, — не сотворить нам, Славка, на Земле ничего доброго, если отвернулись от Неба...» Я его понимаю... — Слава присел у костра на ящик, шевельнул угли под булькающей кастрюлей. — А в детстве что... В детстве мы, как водится, мечтали стать капитанами. Женя даже песню потом сочинил про это. Давно ещё...

Все вопросительно молчали. Если сказано о песне, надо бы ее услышать. Слава еще раз шуранул угли, попросил:

— Вы меня только не выдавайте ему. А то скажет опять: разболтался по вожатской привычке... — Борь, принеси из подсобки гитару, она в углу, за ящиком с красками...

Борька умчался и тут же прибежал с потертой шести-стрункой. Слава взял гитару, тренькнул разок по струнам и запел сразу, без всякого вступления. Глуховато, слегка печально и вроде бы чуть насмешливо, под неторопливую мелодию:

Были тайны тогда неоткрытыми,
Мир земной был широк, неисхожен,
Мастерили фрегат из корыта мы
С парусами из ветхой рогожи,

Мы строгали из дерева кортики,
Гнули луки тугие из веток —
Капитаны в ковбойках и шортиках,
Открыватели белого света.

Белый свет был суров и опасен,
Он грозил нам различными бедами,
Караулил нас двоечник Вася
И лупил — а за что, мы не ведали.

Мир являл свой неласковый нрав,
И едва выходили за двери мы —
Жгла крапива у старых заборов,
Жгли предательством те, кому верили..

Мы, бывало, сдавались и плакали,
Иногда спотыкались и падали.
Но потом, сплюнув кровь, подымались мы,
Ощетинясь сосновыми шпагами.

Жизнь бывала порою как мачеха
И немало нам крови испортила.
И тогда вспоминал я, как мальчиком
Помнил честь деревянного кортика..

Слава оборвал песню, оглядел ребят. Они молчали и ждали. Казалось, что еще не конец. Слава совсем по-детски шмыгнул носом и признался:

— Там есть еще два куплета. Можно сказать, мне посвященные. Женя эту песню-то мне на день рожденья подарил. Как говорится, на память о невозвратном детстве... В котором я, кстати, совсем на себя нынешнего был не похож. Это сейчас я такой широкий и волосатый, а тогда был... ну, вроде вашего Нилки...

— Вы уж допойте, — тихонько попросила Оля.

— Да уж допою.. — и Слава запел уже несколько иначе, побыстрее и резче:

...А когда было вовсе несладко —
И казалось, что выхода нет,
Будто в детстве, спасал меня Славка
Девяти с половиною лет.

...Вот он мчится, как витязь из сказки,
В тополиной июньской пурге.
И как рыцарский орден Подвязки —
Пыльный бинт на побитой ноге...

Слава прижал струны. Все опять молчали. А что делать, не аплодировать же. Песня хорошая, но тревожная какая-то. А тут еще услышали про бинт и, конечно, разом вспомнили: где же Нилка-то? Переглянулись.

— Может, случилось что? — вполголоса произнес Федя. Все посмотрели на ведущую от ворот дорожку. И...

— Легок на помине, — обрадованно выдохнула Оля.

— Явился молодец-огурец, — сказал Борис. — Имеется в виду расцветка, а не иные качества...

Нилка размашисто и сердито шагал от церковных ворот. Он и правда весь был «растительных тонов»: в мешковатом и длинном свитере — пыльно-зеленом, с желтыми полосками на груди, в салатных гольфах и широких полусапожках из блестящей резины изумрудного цвета. Только шортики прежние, серые, но их почти не было видно из-под обтрепанного подола. Полусапожки болтались на ногах, но Нилка не сбавлял размашистого шага. Так вот примаршировал к костру, надул пуще прежнего губы и сообщил ни на кого не глядя:

— Раньше не мог. Рядом с домом трубу прорвало, кругом с'сплошное море. Видите, с'сапоги...

— Ладно, хоть сам не потонул, — сказала Оля. Без всякой насмешки, с облегчением. Но обиженные глаза Нилки подозрительно заблестели. Борис быстро взял его за плечи.

— Не дуйся, Нил. Никто же не сердится, что ты опоздал. Подумаешь, полчаса...

Нилка объяснил сипловато:

— А еще мама не пускала. Говорит: нынче холодно, никуда не пойдешь, пока не оденешься теплее. Ну, я и надел этот балахон. В знак протеста. Пускай будет смешно...

— А чего смешного-то! — весело вмешался Слава. — Малость охلامонисто, да. Зато оригинально... Знаешь что, Нил? Я тебе сейчас дам ведро с зеленой краской и кисть! Ты будешь мазать стену бытовки, а я расставлю мольберт и сделаю с тебя набросочек, а? С дальнейшим прицелом на картину! Во какая будет картина! Том Сойер конца двадцатого века, портрет в огуречных тонах! Согласен?

Славиным словам никто не удивился. Знали, что Слава не только строитель, но и художник. Правда, без диплома, потому что из института ушел, поспорив с начальством. Зато уже участвовал в областных выставках неформального творчества.

— Как хотите, — похоронно отозвался Нилка.

— Для Тома Сойлера он сегодня слишком кислый, — озабоченно заметил Федя. — Нил, да что с тобой? Ну, подумаешь, семейные неприятности! У кого их нет...

— У меня это с'скоро пройдет, — шепотом сообщил Нилка.

Слава, пряча беспокойство, сказал:

— Ну, если не Том Соьер, то «Зеленый мальчик». И будет еще один цветной пацан в живописи. Шедевр номер два.

— Почему «два»? — удивилась Оля.

— Потому что в мировом искусстве уже имеется картина «Голубой мальчик». Художник Гейнсборо, восемнадцатый век. Портрет Джонатана Баттла.

— Ой, у меня такая марка есть! — вспомнил Федя. — Нилка, я тебе потом покажу!

— С'пасибо.

— Слава, развеселите его, — попросила Оля. — Спойте снова ту песню!

Нилка проявил некоторый интерес:

— Что за песня?

— Одно и то же петь — это не дело, — решил Слава. — Слушайте другую песню. Бодрую, специально для повышения жизненного тонуса. — И он запел стремительно, будто прыгнул:

Окна-двери, лестницы, берлоги!
Вот такая в жизни колбаса.
Мы опять сидим среди дороги,
Вместо чтоб катить на колесах...

Елки-палки, лютики, ромашки!
Юбилей — не мед со стороны.
Мне купили сорок три рубашки,
Вместо чтоб купить одни штаны...

Приключеньям счет на миллиарды!
Только дурни верят в чудеса.
Постригуся я, как шар бильярдный,
Вместо чтобы красить волоса...

Все посмеялись и посмотрели на Нилку. Тот сказал:

— Спасибо. Очень хорошая песня... — Опустился перед костром на корточки и всхлипнул. Борис быстро сел рядом.

— Нил. Выкладывай...

Тогда прорвались у Нилки слезы. И прорвалась правда:

— Вы же ничего не знаете!.. Пришло разрешение из ОВИРа... Мама говорит: «Будем с'собираяться...» То запрещение было неправильное, его отменили. И теперь — пожалуйста!..

Всех будто придавило. Слава, тот, конечно, не знал про ОВИР и планы Нилкиных родителей, но сразу понял главное. Федя и Оля сели рядом с Нилкой и Борисом. Что тут скажешь, чем утетишь? Мальчишку ведь не спросят, взяли да повезли... А они как без Нилки? Вот тебе и «Табурет»...

Слава, уткнувшись подбородком в гриф гитары, сказал — Вот оно, значит, что. Ребенка увозят в райские края, а он не понимает своего счастья.

Нилка рывком повернул к нему мокрое лицо:

— На фига мне такое с'счастье!

— Детский безрассудный идеализм, полагающий, что дружба превышает материальных благ... — печально подвел итог Слава.

А Федя спросил безнадежно:

— Может, родители еще передумают?

Нилка обвел всех сырыми глазами. Шевельнул под свитером колючим плечом.

— Ну, теперь-то с'само собой... Уже передумали. Но какой с'скандал мне пришлось устроить...

Все качнулись к нему — обрадованно, недоверчиво:

— Нил, правда?

— Не поедете?

— Неужели тебя послушали?

— Да, но чего мне это с'стоило! Я ревел и орал с самого утра... Вы еще не знаете, как я умею... Думаете, я правда, что ли, из-за с'свитера застрял...

Оля опять спросила с опасливой радостью:

— Неужели тебя послушали? Это точно?

Нилка шмыгнул носом, улыбнулся сквозь слезы:

— Папа сказал: «Видишь, мать, что получается. На детских слезах счастья не построишь...» Мама, конечно, говорила, что я глупый и папа тоже глупый, но потом... с'смирилась.

— С'слава Богу, — без насмешки, от души сказал Борис. И Нилка не обиделся. Он улыбался все веселее.

— Знаете, какое я поставил ус'словие? Говорю: если хотите ехать, тогда забирайте всех! Весь «Табурет». Ус'сынуйте! Папа засмеялся и говорит: это затруднительно...

— Тем более что меня невозможно усыновить, — заметила Оля. — Удочерить — это еще туда-сюда...

Нилка посерьезнел:

— Папа бы не отказался, наверно. Он про тебя говорит: «Какая талантливая девочка»...

— Чего ты выдумываешь, — смутилась Оля.

— Не выдумываю. Это после того, как он пленки посмотрел.

Все вспомнили, как Нилкин отец заходил к ним в гараж и смотрел уже готовые части фильма. И хвалил, как умело и остроумно смонтированы эпизоды. Оля тогда стес-

нялась, кусала костяшки пальцев, но потом все-таки попросила:

— Аркадий Сергеевич, может быть, вы нам посоветуете что-нибудь? Ну, такое... профессиональное...

Он и правда кое-что посоветовал. Но не много. Сказал, что у них, у «табуретовцев», свое видение мира. «Боюсь неуклюже вломиться в ваш стеклянный город...»

— А еще он обещал дать нам кассетник, чтобы озвучить фильм, — сказал Нилка. Все чересчур громко обрадовались. Потому что тревога не исчезла совсем и ее старались прогнать лишним шумом. Пришла на помощь и погода. Зябкий ветерок утих, последние клочки облаков улетели, и солнце обрадованно обрушило с высоты густой июльский жар.

— Ух... — Нилка стянул через голову свитер.

— Э, Нилушка, — забеспокоился Слава. — А как насчет «Огуречного мальчика»-то? Попозируешь чуток?

— Ну, пожалуйста! С'сейчас?

— Сперва на колокольню! — весело скомандовала Оля.

Наверху Нилка вспрыгнул и уселся на точеные перила, которые перегораживали арочные проемы. Замахал тонкими руками, будто оципанными крыльями. Борис быстро встал рядом.

— Вот сыграешь вниз, собирай тебя потом по деталям... Это тебе не со шкафа планировать.

— Не сыграю! У меня абсолютно никакого страха высоты... А колокола с'скоро здесь повесят?

— К осени, — сказал Слава. — Льют по заказу...

— А можно будет позвонить?

— Это уж как отец Евгений скажет, — рассудил Слава. — Если ты очень его попросишь, тогда...

— А чей это отец? — удивился Нилка. Ему объяснили.

— Ну, он-то уж с'само собой разрешит! — Нилка радостно заболтал ногами. Зеленый сапожок слетел на кирпичный пол.

— Нил звонил, звонил, звонил и сапог свой уронил, — сказал Федя.

— Ох, идея! — обрадовалась Оля. — Когда Нилка опять полетит на съемках, пусть у него сандаля с ноги свалится! Такая будет... бытовая деталь. Для правдоподобия.

— И кому-нибудь по голове, — сказал Борис. — Реализм.

— Не по голове, а под ноги, — уточнил Федя. — А тот поднимает и бросает обратно, Нилке... Можно, чтобы Степка? Он давно просит, чтобы его хоть немножко сняли...

Пощечина

Сниматься в эпизоде «Упавший башмак» Степка согласился с восторгом. Федя отпросил его у Ксении, чтобы не водить нынче в детский сад. Пошли к Оле. Борис оказался уже там. Они с Олей готовились проявлять вчерашнюю пленку. Борис небрежно сказал:

— Ты забирай камеру, да топайте со Степкой вдвоем. Там дела-то на две минуты, чего всей оравой идти...

Федя добродушно хмыкнул про себя: Борька не упустит случая побыть с Оленькой вдвоем. Ладно уж. В конце концов, самостоятельно поработать камерой — тоже хорошее дело.

— Экспонетр не бери, лишняя возня, — посоветовала Оля. — Ставь на солнце диафрагму шестнадцать, а в тени восемь... А телевик возьми на всякий случай. И это не забудь.

«Это» — небольшой, с елочную хлопушку, баллончик с карбозолью. После стычки на улице Репина «химсредство» всегда брали с собой, если шли на съемку. Федя сунул баллончик за резинку на поясе, выпустил майку поверх трусов, положил в задний карман телевичок-насадку.

— Ой, а сандаля-то! Что Степка ловить будет?

— Вон там, на полке, — засмеялась Оля. — Встрепанный Нил примчался ни свет ни заря, специально принес. «А то, — говорит, — опять из-за меня дело сорвется...»

— А где он сам-то?

— Движет искусство, — сообщил Борис. — Пошли со Славой на пустырь, где прадедушкина стена. Миссисипи будет красить забор, а Слава писать шедевр... Они вчера договорились.

— А почему не у церкви?

— Чтоб никто не отвлекал от творческого процесса.

— Степан, поехали тоже двигать искусство!

Степка прыгнул на багажник, и они покатали на берег Ковжи. Именно там, у старинной беседки над обрывом (архитектурный памятник!), Федя решил снять падение Нилкиной сандали...

Степка — он умница, артистом будет! Сразу понял, что от него требуется. Очень натурально оглядывал заречные окрестности, пустил с берега бумажного голубка, помахал ему рукой, сел в траву и весело удивился, когда к ногам его шлепнулась растоптанная сандалия. Глянул в небо,

сделал вид, что заметил пролетающего Нилку, вскочил. Радостно швырнул сандалию вверх. То, как Нилка ловит ее в небе, снял потом.

— Вся сценка заняла двадцать секунд, не больше.

— Отлично, Степ!.. А давай снимем дубль! Для подстраховки... — Честно говоря, просто хотелось поснимать еще. — Давай теперь так: будто ты сандаля прямо в руки ловишь!

— Давай! — возликовал Степка.

— Федя забрался на перила восьмигранной беседки, прислонился к обшарпанной штукатурке колонны. В правую руку взял камеру, нацелился. Лево́й собрался швырнуть вверх сандалию.

— Внимание!..

Степка с готовностью задрал вверх голову: кто, мол, там летит под облаками?.. Но Федя с досадой сказал:

— Стоп. Накладочка... — Потому что позади Степки, шагах в двадцати на берегу появилась группа ребят с воспитательницей. Наверно, из городского летнего лагеря... Хотя нет, скорее интернатские или детдомовские. Девочки в мешковатых клетчатых платьях, мальчишки в потертой школьной форме (в такую-то жару!). Даже издали заметно печатать казармы и сиротства, которая лежит на таких ловищах...

А может, все-таки снять их? Вдруг пригодится для какой-нибудь монтажной перебивки?

Высокая воспитательница среди блеклых своих питомцев ярко выделялась цветным, будто клумба, платьем и широкой соломенной шляпой. Она громко и раздраженно вещала:

— Теперь посмотрим на тот берег. По генеральному плану... Я сказала: по-смотрим на тот берег! Южиков!.. По генеральному плану развития города Устальска, утвержденному сессией облсовета, на том берегу...

Нет, к хорошим, к лирическим эпизодам эти кадры, конечно, не отнести. Но для юмора, видимо, сгодятся. Тетка похожа на фрекен Бок из мультика про Карлсона... Федя пожужжал камерой. На него и на Степку не обращали внимания. Скорей всего, просто не видели... Да, забавные будут кадры: как воспитательница старается, а ребятам ее лекция до лампочки... Только дядька, появившийся на заднем плане, нарушает композицию кадра. Тьфу ты, еще и в милицейской форме... Надо снять ребят и наставницу покрупнее!

Федя навинтил телевичок, подзавел пружину и ухватил группу в рамку видеоискателя.

— ...микрорайон, в котором предусмотрены все удобства. В том числе и центр эстетического воспитания детей, которые... Да что это такое! Вам не эстетическое воспитание, а свинокомплекс нужен!.. Южаков, иди сюда! Я кому сказала!

Мальчишка Нилкиного возраста, в большом, не по росту, костюме, волоча ноги, подошел.

— Ты почему башкой вертишь и других отвлекаешь, когда я рассказываю? Ты долго будешь нервы людям мотать, свинья такая? Опустит руки!..

Мальчишка что-то бормотнул.

— Опустит руки, я сказала!

Тот и руки, и голову уронил. Воспитательница пальцем подняла его лицо за подбородок, хлестко ударила по щеке.

Стелка тихо вскрикнул.

Федя поймал себя на том, что все еще жмет кнопку спуска. И прежде чем он выключил камеру и кинулся, рослая цветастая тетка ударила мальчика еще несколько раз: рванула вниз локоть, которым тот закрылся, и с двух сторон хлестанула так, что голова мальчишки дернулась туда-сюда, будто на резинке.

— Вы что делаете!! — Федя орал это уже в полете, когда прыгнул с перил. — Как вы смеете!! — Он врезался в толпу. Мельком увидел распахнутые глаза и открытые рты ребят. И — крупно, в бисере пота, в подтаявшей косметике — лицо интернатской дамы. Она не испугалась. Возвела выщипанные брови.

— Это что за явление? Заступник, надо же! За Южкова заступается!

— Какое вы имеете право! — яростно сказал Федя. Он и сам не ожидал в себе такого гневного клокотания. — Среди бела дня!.. Силы много, да?

— На тебя хватит, сопляк! — Она решительно надвинулась. Федя держал камеру у груди. Машинально нажал спуск.

— Он еще и снимает! — взвизгнула дама. — Шпион паршивый! Я узнаю, из какой школы!

— Я тоже узнаю... откуда вы... Пленка не соврет!

— В чем дело, граждане! — это был веселый и мужественный голос. Рядом возник тот самый милиционер. Вот счастье-то!

— Товарищ старший лейтенант! Она мальчика била! По лицу! Прямо на глазах у всех!

У старшего лейтенанта было славное, смелое лицо. Красивое даже. Впалые щеки, сросшиеся брови, прямой нос над крепким ртом, темная полоска усов на верхней губе. Краешком сознания Федя отметил про себя, что милиционер похож на офицера-подводника из какого-то старого фильма про войну...

— Как она смеет издеваться! Вы... составьте протокол!

— Протокол? — старший лейтенант повел по лицам взглядом, в котором смесь дружелюбия и служебной строгости. — А что случилось, Ия Григорьевна?

«Ия Григорьевна!» — ударило по Феде. — Знакомы, значит! Вот вляпался!» — Симпатичность старшего лейтенанта вмиг потускнела. Но все-таки он же — милиция! Он же должен...

— Она ударила... — с болезненным выдохом произнес Федя.

Стеклянным голосом Ия Григорьевна произнесла:

— Дети! Я кого-нибудь била? Я вас спрашиваю официально!

— Не-не.. — раздалось робко и вразнобой.

Интернатское воспитание. Вот и заступайся за них...

— Она била! — звонко сказал Степка. Он стоял шагах в пяти позади Феде.

Уже ясно понимая, что справедливости здесь не будет, Федя сказал с обидой и горьким злорадством:

— Ладно! Пленка покажет...

Ия Григорьевна обратила к старшему лейтенанту блестящее от оскорбленности и капелек лицо:

— Товарищ милиционер! Разве детям разрешено вести съемку посторонних лиц?

— У тебя есть разрешение? — старший лейтенант глянул на Федею без симпатии.

— Какое разрешение? И при чем тут я?.. Это же она...

— Разберемся, — казенно пообещал милиционер. — Дай-ка сюда аппарат.

— Зачем?

— Дай, говорю! — неожиданно рывкнул он.

От этого вскрика все вокруг будто рассыпалось на осколки и сложилось уже по-иному. Был теперь перед Федей дембиль. Не такой откровенный, как другие, без толстой шеи и казарменной рожи, но все равно — безжалостный, непробиваемый.

Дальше шло так, словно кто-то другой вселился в Федю — стремительный, пружинистый, находчивый.

— Степка! — Федя рывком обернулся. — Лови!.. Беги к Ольге, спасайте кассету!

Степка — ну до чего же молодец! Поймал камеру в ладони! И рванул прочь, не потратив ни мига! И прошло секунды три-четыре, прежде чем Ия Григорьевна завопила по-базарному:

— Дети! Держите негодяя!

Несколько мальчишек переглянулись и... кинулись за Степкой. Гады, холуи проклятые! И они бы догнали, но Степка оказался умнее. Добежав до беседки, рванул на себя прислоненного к перилам «Росинанта». С натугой толкнул его, встал на педаль, просунул под раму другую ногу. И поехал так, вихляя и отчаянно переваливаясь на педалях.

Его и сейчас догнали бы — уже тянулись на бегу к багажнику. Но тропинка пошла под уклон, дребезжащий «Росинант» набрал скорость и унес на себе Степку в Беседочный переулок, откуда дорога на Песчаную, а потом на улицу Декабристов...

Докатит? Господи, он же ездить-то еще толком не умеет на большом велосипеде. И камера в руке, и за руль держаться надо! А если встречная машина? Спаси и сохрани... — Федя сунул в вырез майки ладонь, сжал крестик...

Крепкая рука ухватила его за локоть, стиснула до боли, рванула. Федя вскрикнул, крестик вырвался из-за ворота, закачался поверх пятнисто-красной майки.

— Любитель кинотрюков, значит? Каскадеры, кинопогони... — Старший лейтенант говорил с легким придыханием.

— Пустите! — Федя отчаянно дернулся.

Милиционер сказал воспитательнице и мальчишкам, которые вернулись с виноватыми лицами:

— Спротивление сотруднику правоохранительных органов. Будьте свидетелями в случае чего...

— Вы... не право охраняете! А знакомую преступницу!

— Разберемся в отделении, кто преступница, а кто малолетний уголовник... — Он взял Федю за локоть на излом. Больно так! Федя вскрикнул. И... что делать-то, пошел, даже почти побежал за своим учителем, когда тот широкими шагами двинулся от ребят и воспитательницы. Сперва по берегу, потом по улице Красных Партизан, что тянулась вдоль реки...

— Больно же, — сказал Федя сквозь зубы.

— Еще большее будет, — пообещал старший лейтенант. И добавил издевательски: — Кинорепортеры должны уметь страдать. Им даже пули достаются. В горячих точках планеты...

Ярость рывком поднялась в Феде. Вместе со слезами. И все другие чувства пропали: и унижение от того, что смотрят прохожие, и боязнь. Даже страх за Степку на миг забылся.

— В горячих точках... это где вы на бэтээрах на беззащитных людей, да?!

— Ах ты, сволочь...

— Сам! — И опять вскрикнул от резкой боли в локте.

— Оскорбление сотрудника при исполнении... Ну, мотай, мотай себе дело, крепче пришьют...

— Еще посмотрим, кому пришьют! За издевательство...

Ни малейшего сомнения в конечной справедливости у Феде не было. Пусть суд, пусть всякие следователи и прокуроры! Он все равно докажет, как она была! И как этот... дембиль проклятый... кинулся на него! Одна лавочка — и этот тип в фуражке с кокардой, и визгливая Ия! Ворон ворону глаз не выклюет!.. Ничего, правда свое возьмет. Лишь бы доехал Степка!.. — Федя свободной рукой опять взялся за крестик.

— Значит, в Бога веруешь... Ну-ну, проси его...

— А в кого мне верить? В ОМОН с дубинками?

Неудержимая ненависть звенела в нем. Неужели это он, Федька Кроев, осторожный, никогда не лезущий в драки? Перестраховщик!.. Вот, значит, как это бывает, когда ни капли страха! Когда пусть убивают, а ты будешь орать им в рожу всё, что думаешь! Всем этим... для кого чужое мучение — сладкая радость. Кто считает себя хозяином жизни, потому что у него резиновая палка!.. Кто убил Мишу!.. Кто довел нашу жизнь до того, что Нилку чуть не увезли в чужую Америку!..

Он пошел медленней. Вскрикнул опять от боли в локте, но уперся. Ненависть сильнее боли. Сказал сквозь слезы: — Сломаете руку — ответите.

— Сломает, что надо. Не таких ломали...

Пусть ломает, гад! Федя решил, что потеряет сознание, но с места больше не двинется! Уперся опять. Кажется, трещала кость...

— Дембиль проклятый... Все равно не пойду...

Но отделение было уже рядом. Уютный такой особнячок с колоннами у входа. Старший лейтенант перехватил Федю под мышку, ботинком двинул дверь, толкнул плен-

ника головой вперед. И, пролетая через тамбур, Федя ощутил тяжелый, с отяжкой удар по пояснице. Тягучая боль заполнила спину, живот, сбита дыхание. Федя влетел в светлое, с желтым полом помещение, грудью ударился о полированный барьер. От муки, от унижения, от ярости он потерял голос. Выговарил с хрипом:

— Фашисты...

Мокрыми глазами увидел за барьером дежурного — белобрысого молодого дядьку, у которого сквозь редкие волосики просвечивала на голове нежно-розовая кожа. Блистеры на серой рубашке старшинские погоны. Дежурный не удивился. Даже голову поднял не сразу.

Федя прижался к барьеру боком. Закусил губу, согнулся, прижал к животу локоть, стараясь унять боль. Ощутил рукой под майкой баллончик... Старший лейтенант опять ухватил Федю за плечо, открыл низкую дверцу, толкнул его за барьер.

— Вот такой ярко-красный фрукт... Оформил, Юра. Дело, видать, непростое, но пока так: нарушение общественного порядка, сопротивление, оскорбление сотрудника...

Белобрысый старшина Юра лениво предложил:

— Так, может, в детскую комнату?

— Нет. Я же говорю, непростое дело. Надо узнать кое-что.

Старшина из ящика стола вынул широкую бумагу. Мельком глянул бледными глазами на Федю. Вздохнул:

— Фамилия...

Федя молчал.

— Фамилия, спрашиваю...

— Чья? — всхлипывая, сказал Федя. — Вот этого лейтенанта, который меня ударил?

Старшина посмотрел на Фединога мучителя:

— Может, малость добавить? Легонько так...

— Обожди, — сказал тот. И обратился к Феде: — Ты совсем шизик, что ли? В колонию захотел?

Федя отошел на шаг, прислонился к стене. Все равно скрутят, сомнут, но хоть несколько секунд он будет отбиваться... Надо протянуть время, чтобы спрятали пленку... Господи, только бы доехал Степка! Только бы не разбился!..

— Будешь говорить?

— Адвоката давайте, — хрипло сказал Федя. — Сейчас полагается, если арестовывают, чтобы сразу адвокат был.

Они посмеялись — негромко так, утомленно даже.

— Грамотный, — сказал старшина. — Интеллигенция, сразу видать...

«Говорят, Мишу так же травили: интеллигенция...»

— Верующая к тому же интеллигенция, — заметил старший лейтенант. — А все равно дурак... Как мы тебе адвоката вызовем, если не знаем твоей фамилии.

— А вот так! При нем и скажу!

Конечно, даже сейчас, в ярости и слезах, Федя понимал, что никаких адвокатов попавшим в милицию мальчишкам не полагается. Но подчиниться, назвать себя — значит признать их власть! Их право хватать, издеваться, бить вот так подло, без свидетелей!.. Не дождутся! Пусть хоть убивают! Потом сильнее будет расплата... Господи, только бы доехал Степка...

— Совсем недоумок, — сказал старший лейтенант почти сочувственно. — Мы же тебя все равно не выпустим одного, без родителей. Хоть неделю молчи, будешь сидеть, пока не скажешь...

— А вот и давайте! — подавившись слезой, крикнул Федя. — Пустите к телефону, я сам родителям позвоню!

Это была мысль! Звонок на работу отцу! Маме не надо — она сразу в панику... Только крикнуть: «Папа, меня схватили ни за что! Он меня ударил!..»

Старший лейтенант и старшина что-то смекнули.

— Может, тебе персональную машину вызвать? — сказал старшина. И потрогал на подбородке розовый прыщ, поморщился. — Чтобы ты прямо к папочке поехал...

— Можно и машину, — подключился старший лейтенант. Серьезно, даже вкрадчиво. — К маме-папе отвезем, даже фамилию спрашивать не будем. Только пленочку отдашь. Идет?

— Бонтесть, — презрительно сказал Федя.

— За тебя боимся, несмышлениш... — Старший лейтенант захихикал, и храброе лицо его стало глуповатым. — Ты хоть напряги извилины-то, подумай малость! Ты откуда снимал? С высокого берега. Заречную часть, там же ТЭЦ. Закрытый объект! Это никому нельзя, даже настоящим киношникам! Уголовное дело! Знаешь, что такое закрытые объекты?

— Объект по имени Ия Григорьевна! Которая, как и вы, пацанов бьет! Только не украдкой, а нахально, при выкла...

Старшина оставил прыщ и растерянно глянул на офицера. Тот рывком подался к Феде.

— Ах ты...

Но резко, будто школьный звонок, загремел телефон. Старшина схватил трубку.

— Дежурный старшина Сутулов!.. Да, товарищ капитан... Никак нет... Старший лейтенант Шагов? Так точно, здесь... Есть, доложу... — Он опустил трубку. Сказал старшему лейтенанту по фамилии Шагов:

— Валерий Палыч, капитан передал, что Галуцкий вас подменит. Так что, говорит, можете вечером гулять...

— Ну, Юрочка, ты меня обрадовал! Именины сердца... — Шагов уже рассеянно, сквозь мысли о своих делах взглянул на Федю: — А с ним надо что-то делать...

— Да чего нянчиться-то? Давайте, я...

— Нет, постой! Мало ли что... Пускай посидит, подумает. Глядишь, и вспомнит анкетные данные...

Старшина Сутулов снова надавил прыщ, будто кнопку звонка, поморщился почти с удовольствием. И вдруг обрадовался новой мысли:

— Валер-Палыч, а если Фому попросить? Он же на этом деле... артист же!

— А Фома здесь? — радостно оживился Шагов.

— Туточки. С утра для профилактики... Ну, и за это самое...

— Давай! Только не сразу... Пусть обмякнет малость...

Федя понял: говорят про него. Непонятное что-то, опасное. И как не о человеке, а... ну, будто о подопытной лягушке!.. Все равно не испугают! Он брыкнулся, когда старшина сказал «а ну, пошли», и придвинулся к нему. Но твердые руки ухватили Федю за плечо, за шею, рывком двинули в боковой коридорчик, дали слегка по затылку и толкнули в камеру.

Да, это была камера! А что же еще? Комнатка с изгаженной надписями штукатуркой, с двумя дощатыми нарами у стен. Без окон. Только в двери — зарешеченный квадратик, закрытый снаружи. Горела замызганная лампочка в проволочном чехле. Пахло мочой, как в давно не мытом школьном туалете... Тюрьма! Подтверждая это, за обитой жестяными листами дверью брякнул засов.

С полминуты Федя стоял посреди камеры. Тупо смотрел на дверь.

Может, все это сон? Разве бывает наяву, чтобы хорошее утро, лето, веселый Степка прыгает на берегу и вдруг — трах, все кубарем! И — тюрьма!

За что?

Будь у него граната — без малейшего сомнения шархнул бы в дверь! Чтобы и себя, и тех!..

Но вместо гранаты лишь баллончик с карбозолью торчал за резинкой. Что он против этой силы?..

Хорошо хоть, что не обыскали. А то бы ко всему вдобавок: «Хим-оружие, террорист!..»

— Сволочи! — громко сказал Федя в дверь.

Но это был уже последний всплеск ярости. Она уходила, уступала место горькой усталости. Нет, страха не было по-прежнему, но ослабела, пропала совсем тугая пружина праведной злости. Та, что давала силу. Теперь навалилась беспомощность — унылая, похожая на тягучую боль, которая все еще стонала в животе и пояснице..

Федя снова всхлипнул, осторожно сел на краешек нар.. Еще и ногу саднило. Он посмотрел. Надо же, ободрал как. Непонятно, когда и где. Наплевать...

Итак, он — заключенный. Когда же это кончится? И как?.. Если Степка благополучно добрался до Оли, тогда ясно. Борис уже кричит в телефон: «Виктор Григорьевич, Федю милиция схватила! Да ничего не натворил, снимал, как интернатская воспитательница мальчишку бьет, а та — жаловаться милиционеру! Степка прибежал, рассказал!..»

Федин папа, он ведь понимает, что к чему. Он не будет, как другие отцы, орать на сына: «Уже до милиции докатился, мерзавец!» Он умеет говорить с дембилями, какие бы погоны они ни носили! Уж если разобрался с теми, кто погубил Мишу, здесь тем более... Скорее всего, он уже ловит на обочине попутку, чтобы мчаться сперва за Степкой, а потом — искать Федю. Он понимает, конечно, что сына не потащат далеко от места происшествия, доставят в ближайшее отделение. Разыщет! И тогда.. Отец знает, как быть! Есть суд, есть газеты!..

Это если Степка доехал!

А если...

И та тревога, что приходила толчками, сквозь обиду и горячую злость сопротивления, сквозь боль, теперь вдруг хлынула на Федю, заглушая все остальное.

Степка же почти не умеет ездить... На любом камне, на любой кочке — с колес... Хорошо, если просто в траву... А если уже воеет сиреной «скорая»? А если еще хуже — лежит он в переулке, где нет прохожих, и...

«Господи, спаси и сохрани!..» — вновь всколыхнулось в Феде.

Что же делать-то? Нет страшнее пытки, чем неизвестность.

Застучать в дверь? «Поехали, я отдам пленку...» А там уж как-нибудь... Главное, узнать, что со Степкой!

«Если с ним что-нибудь случилось, я же за всю жизнь себе это не прощу...» — «Но я же не знал, что он вскочит на велосипед!» — «Знал — не знал, какая разница?» — «Так что, сдаваться теперь?» — «Степка дороже. Всех пленок дороже и всякой гордости...» — «А может, все с ним в порядке?..»

Лязгнула дверь. Федя сжался. Дверь отошла нешироко, в нее кого-то протолкнули... Парня какого-то. Небольшого, косоплечего, лет восемнадцати. С головой и лицом явного дебила.

Этого еще не хватало!

У парня почти не было лба. Короткая, как у зека, стрижка начиналась у самых надбровных дуг — выпуклых, розовых и безволосых. Нос напоминал грецкий орех с дырками. Широкий рот обвисал нижней губой над маленьким подбородком. Парень постоял, оглядел камеру сидящими близко у носа глазками. Воткнулся ими в Федю. Сказал добродушно:

— Привет, корешок. Давно тута?

Федя промолчал. Парень был в замызганной длинной майке бурого цвета. В мятых штанах и полуботинках без шнурков. Даже за несколько шагов несло от этого типа вонью немытого тела и гадким запахом изо рта.

— Видать, неопытный, — понимающе произнес парень. Глаза на его нелепом лице были не такие уж глупые. Пожалуй, хитрые. — Первый раз, что ли?

Федя хрипло сказал:

— А что, похож я на рецидивиста?

— Снаружи оно ведь не всегда видать, кто он есть в натуре, — рассудил парень. — Знал я одного вроде тебя, чистенький, симпатиченький, просто мамин отличник. Пальчики оближешь. Сразу по трем статьям в спецуху пошел. В том числе за групповое... Ты по какому делу?

— По политическому, — буркнул Федя.

Парень, видать, не понял злого юмора. Покивал:

— Неформал, значит, То-то я гляжу: с крестиком...

Федя торопливо сунул крестик под майку.

Парень, вихляясь в суставах и напевая, прошелся по камере. Сел наискосок от Феде.

— Ну, давай знакомиться. Звать-то как?

— Тебе зачем... — Федя отодвинулся к стене. А в голове толклось: «Степка... Степка...»

— Слыш, кореш, ты чего... — парень ласково выдал словечко вроде «выпендриваешься», только покрепче. — Ты уясни: тута ведь не на воле, свои законы. С соседями надо жить задушевно, а то разотрут на повидло. Понял?..

Федя «понял», что парень не отстанет. Плотнее прижался к стене. «Степка... хоть бы доехал...»

— Ну дак звать-то как? — парень дыхнул новой порцией гнили. — Меня, значит, Дрюня. Фомков по фамилии. Ну? — он протянул немытую ладонь.

— Фома? — вырвалось у Феде.

— Ты чё? — глазки у парня дернулись. — Слышал разве?

Злость опять горячо толкнула Федю.

— Подсадная утка!.. Читал про таких. Значит эти тебя нарочно сюда сунули? Чтобы... расколоть меня, да?

Фома сидел секунду неподвижно. Потом хлопнул губами, зацепил скрюченными пальцами ворот, рванул майку чуть не до пупа. Заверещал:

— Па-адла! Ты чё-о-о! Ты спроси хоть кого! Фома когда стучал на своих?! Спроси, фраер? А?! Ты за кого меня держишь, сявка! Убью!

Федя вдавился в штукатурку до боли в плече. Он понимал, что Фома психует «по сценарию», но все равно было жутко. Фома надвигался. Федя вскинул на нары ноги, сжался в комок... Фома вдруг замолчал. Решил, видать, что мальчик «спёкся». Выпрямился, ухмыльнулся:

— Ладно, не трепыхайся, не трону. Только давай, колись, пацан, по-быстрому, мне тута сидеть с тобой некогда, делов на воле под завязку. — Он чиркнул пальцем по тощему горлу. — Ну? Имя, фамилия, местожительство...

Глядя на Фому из-за ободранного колена, Федя сказал через силу:

— А еще что? Национальность, партийность? Образование?

— А-а-а... — заверещал опять Фома, но будто спохватился. Сделался укоризненно-ласковым: — Ай, мальчик, не уважаешь ты старших. Придется наказать... — Он сдернул с ноги растоптанный полуботинок, вытер подошву о штаны. — Ну-каними трусики. Будем чик-чик...

«Помогите!» — хотел крикнуть Федя. Но в горле — словно песок. Да и кто поможет? Эти? Только обрадуются...

— Уйди, свинья... — сказал Федя отчаянным шепотом. И крупно задрожал от стыда и отвращения.

Фома аккуратно поставил башмак на доски. Ослабился, гнусно заблестел глазками.

— Уй, какая трепыхалистая рыбка... Люблю таких. Дай-ка я тебя потрогаю... — Он зачем-то подышал на грязные ладони, вытер их о засаленную майку, потянулся к Феде... Федя стремительно выбросил вперед ноги — чтобы ударить, отшвырнуть гада! Ноги беспомощно ушли в пустоту. Ловко увернувшийся Фома надвинулся вплотную — потным телом, запахом, тяжестью.

— Тихо, тихо, рыбонька... — Он сжал правую Федину руку.

И тогда левой рукой Федя рванул из-под майки баллончик. И шипучей струей — прямо в рожу...

— А-а-а!.. Кха-кха! А-а-а-а! — Фома, хватаясь за голову, за горло, покатился по полу. Сразу же загремела дверь. И теперь Федя — словно опять же не Федя, а кто-то другой, стремительный, знающий, что делать — метнулся к двери, вжался в косяк. И когда железная створка начала отодвигаться, он рванулся в просвет! Кажется, сшиб с ног старшину Сутулова, промчался по коридору, коленями и животом ударил низкую дверцу барьера, проскочил мимо остолбеневшего Щагова. На солнце, на свободу!

Защита

В беглеце просыпается звериный инстинкт, чутье жертвы, которая спасается от хищников. Отдавшись этому чутью, Федя кинулся не по улице, а вдоль боковой стены особняка, мимо гаражей, потом — через низкую изгородь, сквозь кусты заросшего садика. Снова изгородь. За ней, между заборов — глухой, в сорняках по пояс проход. Цапнула за ноги кусачая трава. Тут, казалось, до стихов ли, но запрыгало в голове в такт бегу: «Мир являл свой неласковый норв... — И едва выходили за двери мы... — Жгла крапива у старых заборов...»

Не останавливаясь, Федя кинул за забор баллончик.

Проход вывел к речному обрыву. Вон и беседка. От нее по Беседочному переулку, по Песчаной, а там и улица Декабристов!... Но у беседки по-прежнему толпились ребята. Те самые или другие — поди разберись!.. Федя рванул в другую сторону. Все труднее было бежать, кололо в боках. Может, спуститься по откосу, отсидеться в репейни-

как? Но сколько сидеть, мучиться неизвестностью про Степку?

Слева — откосы и Ковжа, справа — забор с проволокой наверху, владения частников. Значит — вперед... А впереди.. Совсем рядом, на береговой лужайке, красные кирпичи и литое кружево ограды!.. До ворот далеко, проще прямо через решетку. Тем более что с той стороны штабель досок...

Федя скатился со штабеля на двор и встал, дыша тяжело, со всхлипами. И увидел... человека в черной рясе с желтым блестящим крестом на груди. Со знакомой бородкой и очками!

— Дядя Женя... — Федя прислонился к доскам. — Отец Евгений...

— Федя! Ты откуда свалился? С тобой — что?

— Я... из милиции... — выдохнул он. И заплакал.

Отец Евгений подошел стремительно, легко. Обнял Федю за плечо широким взмахом (просторный рукав — как крыло). Повел его, плачущего и послушного, к церковному крыльцу.

— Что случилось-то?

— Я снимал Степку... На берегу... А там интернатские ребята... Одного воспитательница прямо по лицу, со всего маху... Я полез заступаться, а тут милиционер... Ее знакомый... И меня... туда... — Вздрагивая, давясь слезами, Федя рассказал и про Фому. И про баллон с карбозолью...

— Вот же ж ироды, — произнес отец Евгений. Негромко, но без присущего священнику смирения. — Ладно, Бог даст, все образуется... Здесь ничего не бойся.

— Я за Степку боюсь... — Федя всхлипнул опять.

— Сейчас поедem к Степке, — как о самом простом деле сказал отец Евгений. И крикнул в сторону: — Димыч! Возник из подсобки кашляющий Димитрий.

— Димыч, будь другом, выведи мой мотороллер. Надо Федора домой доставить побыстрее...

Димитрий кивнул молча, пошел к кирпичной сторожке.

Но не пришлось Феде прокатиться на мотороллере отца Евгения. Протарахтел и смолк у церковных ворот мотоцикл. И увидел Федя, как оттуда шагает старший лейтенант Щагов.

— Я нутром чуял, — весело сообщил Щагов, — верующих надо искать под крылышком у святой церкви... Опять же и видно издалека такого красенького... А бегать ты мастак!

Тяжелая тоска стремительно навалилась на Федю. Но отец Евгений сказал:

— Не бойся, чадо... — Он подтолкнул Федю по ступеням крыльца, а сам остался на нижней. Прислонился к каменному столбу, который поддерживал узорчатый чугунный навес.

Часть крыльца загорожена была штабелем кирпичей, которые сложили здесь накануне (видимо, для внутренних работ). Проход оставался не шире метра. Шагов остановился в двух шагах.

— Я понимаю, святой отец, у тебя, наверно, душеспасительная беседа с этим отроком, только я его должен забрать. Он из отделения сбежал да еще человека травмировал.

— Неужто? — удивился отец Евгений. — Прискорбно... Только я вам, гражданин сотрудник милиции, не «святой отец», а официальное лицо. Настоятель Спасской церкви. Так что давайте на «вы»...

— Эй ты, — сказал Шагов Феде. — А ну иди сюда. Хуже будет... — Он сделал еще один шаг к ступеням.

Отец Евгений зевнул, снял очки, убрал их в складки рясы. Оттуда же достал очень белый платок. Приподнял черный подол и поставил на низкий кирпичный штабель кирзовый сапог. Стал обмахивать носок сапога платком. Таким образом проход оказался закрыт. Феде отец Евгений сказал:

— Ступай пока, отрок, в храм. — И добавил вполголоса: — А дальше... сам знаешь...

И Федя пошел. Отворяя тяжелую, в мелких квадратах стекла дверь, он оглянулся. Дымитрий подкатывал голубой мотороллер. Отец Евгений по-прежнему изящно махал платком над сапогом и что-то говорил Шагову...

Беседу отца Евгения со старшим лейтенантом Федя, конечно, уже не слышал. Он узнал о ней после. Дымитрий, хотя и молчалив был, передал этот разговор Славе, а тот не удержался, поведал ребятам. Речь велась такая...

— Значит, гражданин настоятель, укрываете нарушителя?

— Христос с вами... Это же дитя. Достойное ли дело для солдат правопорядка вести войну с ребятишками?

— Это уж мы сами разберемся. В соответствии, значит, с законом. Ножку позвольте, я пройду...

Отец Евгений не «позволил ножку». Махая платком по

облезлому, давно не чищенному сапогу, произнес наставительно:

— Здесь ведь храм божий, а не кооперативный кабак. Вы же в него с ожесточенным сердцем...

— Убери ногу, ты... — проникновенно сказал Шагов.

— Не торопись, сын мой...

Шагов, кажется, и не торопился. Наверно, думал, что из церкви мальчишка никуда не денется. Изобразил под усиками тонкую улыбку.

— Еще раз прошу официально: уберите ногу, отец настоятель. А то...

Отец Евгений убрал. Но нагнулся и стал что-то строить из кирпичей. Два поставил на ребро, третий положил на них плашмя. Задумчиво потрогал бородку и коротко рубанул по кирпичу ребром ладони. Тот распался.

— Дрянь кирпичи, — вздохнул отец Евгений. — Что построишь из таких? Ни стенку, ни... фундамент правового общества.

Шагов проявил некоторый интерес. Предположил:

— С трещиной был.

— Ты так думаешь, сын мой? — Отец Евгений двумя короткими ударами развалил еще пару кирпичей.

— Гляжу я, святой отец, не всегда ты посвящал свою жизнь служению Божьему, — сказал Шагов с оттенком уважения. — Однако пора мне за мальчишкой. Пропусти.

Отец Евгений выпрямился с особым неуловимым движением плеч. У Шагова сжались пальцы, закаменели прямые ладони. Все это на миг. Тут же оба расслабились, улыбнулись.

— И я смотрю, — вздохнул отец Евгений, — не всегда ты воевал только с детишками. Уж не был ли ты в одной далекой южной стране? Чую по хватке...

— Видать, и тебя, настоятель, не миновала чаша сия?

— Увы...

— Чего же «увы»? Хорошая была школа. Разве не так?

— Учились мы в этой школе разному, — тихо сказал отец Евгений и стал бледнеть. — Я вот так и не научился воевать с мальчишками... Ты видел убитых мальчиков, старший лейтенант? Подходишь, лежит пацан, будто спит, голова на локте. Только рухнувшей крышей придавлен по пояс, после гранаты... Крышу подняли, а там... половины мальчика нет. Месиво... Не встречалось такое?

Шагов помолчал. Колупнул ботинком кирпич. Усмехнулся:

— Я артиллерист. Издалека не видно, мальчик там или кто...

— Теперь, значит, решил поближе... разглядеть?

Шагов двинул желваками. Но попросил примирительно:

— Пусти, отче. Некогда мне. Служба...

— Пройди, служивый. Если сумеешь... Попробуй...

Шагов пробовать не стал. Сказал с укоризной:

— На провокацию тянешь? Нехорошо... Я в богословском плане человек неподкованный, но помню, что Христос учил уважать всякую власть. Ты же что себе позволяешь?

— Грешен! — охотно согласился отец Евгений. — Но покаюсь, и Бог простит... К тому же, Господь наш Иисус Христос позволял и себе быть во гневе. Это когда бичом изгонял нечестивцев из храма. Гнев сей был праведен...

— Иисус торговцев изгонял, насколько я знаю... А я тебе не фарцовщик, а сотрудник правоохранительных органов...

— Ежели воистину так, то должен ты охранять право. А ты погнался за мальчиком, который за это право как раз заступился.

— В курсе уже! Исповедался отрок!

— Мало того, есть у меня и свои догадки.

— Поделись, отче, — насмешливо попросил Шагов.

— Не так уж мал град наш Устальск, а тесен... Весною был я в интернате номер два для детей-сирот. Директорша их, женщина весьма склонная улавливать веяния времени, сочла за пользу, чтобы я побеседовал с чадами на тему Ветхого и Нового Заветов. Там запомнил я и некую наставницу по имени Ия Григорьевна. Весьма горласта была эта женщина и к питомцам своим неласкова, не стеснялась даже священнослужителя... И фамилию помню — Новицкая. Заместитель начальника здешнего райотдела майор Новицкий — не супруг ли сей почтенной дамы? И не этим ли объясняется, поручик, твое служебное рвение?

Видно, в точку попал отец Евгений. Шагов нашелся не сразу. Но потом улыбнулся все-таки:

— Слыхал ли, отче, анекдот про ковбоя Джона, который слишком много знал?

— А как же! — охотно отозвался отец Евгений. В этот миг, прервав их беседу, подлетел к церковным воротам взмыленный мотоцикл с коляской. Встал рядом с шаговским. Сверкнув забинтованными коленками, рванулся из коляски Степка:

— Дядя Лёва, вот он! Боря, вот он! Тот самый, который на Федю!..

Ничего этого Федя не видел, не слышал.

Оказавшись в прохладной и гулкой пустоте церкви, он глянул на стену с росписью. Она была закрыта холстом. Ну и хорошо. Немыслимо было бы проскочить мимо картины вот так, в спешке. А следовало спешить. Федя кинулся в алтарь. Люк наполовину заставлен был бочкой из-под цементного раствора. Федя отодвинул ее с большой натугой. Можно сказать, силой отчаяния... А вот и скребок! Федя сунул его в щель, надавил... Ох, сил-то у тебя, Федька, не то что у Славы... Ну, еще!.. Еле-еле поддалась тяжелая крышка. Федя уцепился, отвалил ее. Как в прошлый раз пахнуло холодом. Федя опустил ноги, прыгнул на ступени... Но ведь если оставить открытым люк, Шагов сразу все поймет, когда окажется здесь!

Федя потянул крышку на себя, принял ее на руки, поддержал головой. Опустил. Люк закрылся с чавкающим звуком, толкнуло по ушам воздухом. И навалилась непроглядная тьма. Только зеленые пятна в глазах — следы недавнего солнечного блеска... Что же теперь? А ничего, вот так и шагай потихонечку. Здесь же пещера Тома Сойера, путь один...

Федя задом наперед, на четвереньках спустился по крутым ступеням. Встал. Взялся за стену. И пошел, тараща во тьму глаза. Ничего, каменный пол здесь без ям, без неровностей. Постарался давний строитель, поработал...

Еще десяток шагов, еще... Ох, да сколько же можно так идти? Бесконечность какая-то... А может, выход уже завален? Вот тогда будет ловушка!.. А вообще-то это ведь классическое приключение! Как в книжке! Схватка, плен, побег... и настоящий подземный ход!.. Да ну тебя с приключениями, дурак! Если что стряслось со Степкой, тогда век не забудешь!

Наконец забрезжило впереди... Вот и щель... Ох и заросла, черт возьми! Федя сцепил зубы, стянул майку, намотал на руку. Рванул и отбросил один стебель, другой... Ух ты, даже сквозь ткань жжется, подлюга! Будто кобра кусачая... Ну, кажется, все, можно попробовать... Он протиснулся в лаз, царапая бока о корни и мелкие камешки. Ой, мамочка, сколько ее еще здесь, этой кусачей дряни!.. Подвывая, Федя скатился ниже, в упругие заросли жесткого, но безобидного репейника. А теперь куда?.. Ага, еще

ниже, метрах в пяти, вьется по откосу среди бурьяна и чертополоха тропинка...

Федя кинулся по тропинке, пробежал, наверно, метров двести. Потом, крадучись, поднялся по крутому склону. Сюда выходил переулок Тополинный. Пригибаясь, Федя, ринулся вдоль домов. Сперва бежал с оглядкой, а потом, по улице Декабристов, — уже открыто. С маху толкнул калитку, влетел во двор к Оле. Встал, часто дыша. Оля выскочила из гаража:

— Ой, Федька! Тебя правда милиция забрала? Теперь отпустили, да?

«Знает! — возликовал Федя. — Значит, Степка добрался!»

Оказалось, что Степка все-таки грохнулся. Ободрал оба колена. Но вскочил, поднял «Росинанта», поехал опять, с треском и звоном вкатился во двор, ударив калитку передним колесом. Из колеса выскочила спица. Зато камера, хотя и падала, оказалась цела. Впрочем, это стало ясно позднее. А сперва Степка сбивчиво, со слезами, но понятно поведал о том, что случилось. Потом Оля, охая, мазала и бинтовала Степку, а Борис в прихожей быстро вертел телефонный диск...

Федя ошибся в одном: Борька позвонил не его, Федину, отцу, а своему. И папа Штурман рванул из автопарка на собственном мотоцикле. Сперва на улицу Декабристов, затем — со Степкой в коляске и Борисом на заднем сиденье — к берегу.

Когда мотоцикл выскочил на пригорок, с которого виден был церковный двор, зоркий Степка вдруг запрыгал и завопил:

— Вот он, тот самый! У крыльца! Я узнал!..

Оля перепуганно тормозила Федю:

— Что случилось-то? Расскажи толком... Ой да ты ободраный какой! И в волдырях все руки-ноги...

— Еще и на пузе, — сказал Федя. И задрал майку. — И на боках... — Только сейчас он опять начал ощущать жжение...

Она быстро насупилась, покусала костяшки.

— Подожди, я ментоловую мазь принесу...

Федя стянул майку, сел на чурбак у ворот гаража. Оля прибежала через полминуты. Выжала из тюбика на ладонь белую гусеницу. Запахло ментолом.

— Ну-ка, давай... подними руки.

Федя закрыл глаза и послушался. Олины ладони пошли по его рукам, по ребрам, вмазывая в кожу спасительную прохладу.

— Ну рассказывай...

Федя привалился спиной к стенке и, не открывая глаз, начал рассказывать. При этом он не ощущал никакой тревоги. Только сонное спокойствие. Теперь одно из двух: или папа Штурман с ребятами где-нибудь в своих поисках наткнется на Шагова, и тогда... это уже дело Шагова — оправдываться. Или, скорее всего, никого не найдут и вернуться сюда. В этом случае дело так все равно не закончится. Пускай родители пишут заявление: почему ребят можно бить, хватать, сажать, издеваться!.. Но это позже, а пока он посидит, отдохнет... В пояснице до сих пор тупая боль. Говорят, они специально бьют вот так, по почкам, чтобы следов не оставалось...

Федя услышал вдруг, что Оля плачет. И на ноги ему упали теплые капли. Он «растопырил» глаза:

— Ты что?!

— Ничего... Почему они такие звери?

— Они дембили... Звери, те зря не нападают... Ну, не реви ты, — попросил Федя. И пообещал: — Они еще ответят...

Оля локтем вытерла глаза, прикусила губу и занялась Феединой ногой. Он зашипел от боли.

— Терпи давай... Степка и тот терпел.

Федя улыбнулся:

— Это же Степка. Он у нас герой... Как ты.

— Я-то при чем?

— А помнишь, я тебе локоть бинтовал? Ты даже не пикнула.

Она тоже улыбнулась:

— Я... внутри вся пищала... А терпеливее всех Боря.

— С чего ты взяла?

— А забыл, что ли, как он палец стамеской разодрал? Я йод лью на порез, сама чуть не в обмороке, а он смеется.

— Ну еще бы, — не удержался Федя. — Потому что это ты. Ты с него хоть шкуру сдирай, он будет радоваться.

У Оли порозовели вокруг сережек мочки.

— Почему это?

— А вот потому это...

— Дурень!

— Кто? — хихикнул Федя. — Борька или я?

— Оба... Давай забинтую.

— Так подсохнет. Обойдусь без орденской ленты... Оль, а чудо египетское не появлялось?

— Нет, он сказал, что Слава будет его до обеда живописью мучить.

Федя взглянул на свои часы, которые уцелели во всех передрыгах. Было половина первого. Надо же, и полутора часов не прошло с начала всех приключений! А кажется — целый день!

— Ох, Ольга, почему-то так в сон клонит. Хоть падай...

— Это нервы, — сказала Оля. — Иди в дом и ложись на диван. Дома никого нет...

— Я лучше здесь... — Федя как в тумане двинулся в гараж, убрал с лавки банки-склянки, лег на твердое дерево.

— Дай я постелю что-нибудь, — забеспокоилась Оля.

— Так сойдет... Ох, Ольга, а пленка-то где?

— Здесь пленка, все в порядке. Боря придет, и проявим.

— Угу... — И Федя поплыл, поплыл сквозь отрывочные воспоминания о случившемся, сквозь цветные пятна и рой несильных уже, щекочущих мурашек от ожогов...

Но дрему прервали треск мотоцикла и голосистая Степкина тревога:

— Федя здесь?!

Папа Штурман сказал:

— Ты, Федор, не кручинься, в обиду тебя не дадим. И папаше твоему я позвоню сам, чтобы воспринял дело в нужном ракурсе... — Он укатил, оставив ребят.

Подробности излагал уже Борис. Перескакивал с одной на другую, иногда смеялся, иногда тревожно смотрел на Федю. Кое-что добавлял от себя и возбужденный Степка. В итоге сложилась такая картина.

Во время темпераментной беседы папы Штурмана и старшего лейтенанта Щагова (в которую деликатно и всегда кстати вступал порой отец Евгений) возникли две не похожие друг на друга версии. По словам Щагова, некий подросток-хулиган без разрешения вел киносъемку с берега, а затем непонятно почему набросился на работницу интерната, которая проводила со своими воспитанниками экскурсию. Когда случайно проходивший там Щагов пытался выяснить, в чем тут дело, подросток набросился на него с оскорблениями, оказал сотруднику милиции злост-

но, и в милиции) не только парадный вход-выход. Есть еще и запасные...

Шагов что-то еще говорил о сопротивлении и бегстве. Папа Штурман о том, что, когда задерживают ребят, следует их немедленно передавать в детскую комнату, а не посадить к мальчишкам шпионов-уголовников (о чем опять же сообщил отец Евгений). Об этой «подсадке» будет разговор особый... Ах, применение «химических средств»? Это клопомор! А знаете про такое понятие — «необходимая оборона»?..

Пока обсудили все события, пока Федя вновь рассказал по порядку свои приключения, прошел еще час. И тут приискал Нилка. В зеленых своих сапожках, со свитером под мышкой, с известием, что Слава надумал всерьез писать большую картину, а для него, для Нилки сделает копию...

— А я там, на халупе-развалине, написал «С'студия «Табурет»! Во-от такими буквами... А чего вы... такие? Случилось что-то, да?

Рассказали про все и Нилке. Он сел на чурбак.

— С'свинство какое...

— Этот Шагов еще поплатится, — сумрачно пообещал Степка.

— Да я не про него... — В Нилкиных глазах тяжелела темно-синяя тревога. — Я про того мальчика, про интернатского. Его же могут теперь с'совсем заклевать...

Разом пошли по телу жар и озноб. От стремительного стыда. Ведь за все это время Федя и не подумал: что с тем-то мальчишкой будет, с Южаковым? Воевал, негодовал, требовал справедливости, но все это для себя. Ну, не для себя, а для справедливости вообще. А тот мальчик вспоминался лишь как причина всего, что случилось. А не как живой пацан, которому, наверно, до сих пор больно.

Оля быстро сказала:

— Ну, вот и надо скорее проявить пленку! Чтобы доказательство было...

Федя толкнулся локтями, сел на лавке. И... опять поплыл в мягком головокружении.

— Ты давай-ка домой, дядя Федор, — озабоченно предложил Борис. — Вместе со Степкой. Отлежишься до вечера... Мы тебя сейчас проводим, а потом уж пленкой займемся, да, Оля?

— Давайте... Правда, я совсем сплю...

Киноленка

Дома Федя ничком бухнулся на тахту и провалился в отрывочные, без всякого смысла сны. А потом и вообще в сплошную темноту. Наверно, так его нервы защищались от перегрузок.

Проспал он до шести часов. Едва очухался, как появились отец и мама. Они уже все знали. И конечно, подступили с расспросами. Вернее, отец с расспросами, а мама, разумеется, с ахама-охами и упреками, которыми то и дело прерывала беседу. Как всех нормальных мам, ее прежде всего волновала дальнейшая судьба сына. И судьба эта, по маминим словам, обещала быть ужасной, потому что, если уже с таких лет он устраивает скандалы с милицией, что же будет дальше...

Федя не огрызался, терпеливо переживал эти мамины вставки в мужской разговор. Папа тоже переживал, только чуть заметно морщился. Потом вдруг сказал с легким стоном:

— Ну, подожди ты-ы, Таня, по-жа-луй-ста... Что ему было делать-то? Молча смотреть, как издеваются над человеком?

Мама в глубине души понимала, конечно, что смотреть спокойно на такие дела не должен никто, в том числе и ее любимый сын. Однако в глубине. А снаружи были и женский страх, и женское упрямство. И мама сообщила, что, если в наше время не уметь вести себя сдержанно, если соваться в каждую уличную склоку (да еще с представителями власти!), то дело непременно кончится тюрьмой. К этому Федор и сделал нынче свой первый шаг...

Внуку Степке, который пытался заступиться за Федю, она посулила не менее горькие испытания в будущем и хорошего шлепка немедленно.

Разрастанию конфликта помешало появление папы Штурмана. Тут мама поняла, что «такую ораву мужиков» ей не переспорить, и удалилась на кухню, где загрохотала и залязгала посудой.

В папе Штурмане еще клокотали отголоски дневной стычки со Щаговым. Он попросил Федю снова, подробно и по порядку изложить все, что было. И сказал, что пусть Федин папа напишет заявление о том, как незаконно обошлись с его сыном Федором Кроевым, а он, Лев Михайлович Штурман, сопроводит заявление подробной бумагой со своей стороны...

Отец поморщился:

— А может, ну их к лешему? Разводить бумажную склоку...

Но папа Штурман сказал, что хватит прощать всяким держимордам наплевательство на права человека. К тому же, если не подать заявление, это значит оставить без защиты Федьку. Милиция, чего доброго, решит, что Федины родители считают его виноватым, и сама пойдет в наступление...

— Тут даже и не во мне дело, а в том пацане, — сказал Федя, — в Южакове. Пускай, что ли, эта Ия лупит его дальше? И других тоже? И ничего ей не будет?

— Вот! Я же говорю! — Папа Штурман поднял похожий на волосатую морковь палец. А Федя пошел звонить ребятам.

Недавно в кладовке у Оли нашли еще один старый телефонный аппарат. Борис его вмиг отремонтировал и протянул провод в гараж. Теперь у студии была своя телефонная связь. Трубку взял Нилка:

— Федя? Ты полностью живой-здоровый?.. Вот хорошо... А мы мой с'сандаль нашли, который вы со Степкой на берегу оставили. А то я весь день в с'сапогах...

— Ой, Нилка! А я и забыл про него!..

— Ну, ничего, нашли ведь! А если бы и потерялся, он все равно с'старый... Ты иди к нам! Мы уже проявили!

И Федя пошел. Побежал...

Вернулся домой он уже около десяти. И не думал, конечно, что конец дня будет драматическим...

Оказалось, что до сих пор не вернулась Ксения. Правда, около семи она звонила, сказала «задержусь немного», но это разве немного — одиннадцатый час?

Больше всех беспокоился Степка. И наконец заявил, что пойдет на улицу встречать маму. Виктор Григорьевич сказал:

— Пойдем-ка, Степушка, вместе, я прогуляюсь заодно...

И они пошли. Было еще светлым-светло — июль на дворе, солнце зашло совсем недавно. И зоркий Степка разглядел мать издали. Она шла не одна... Нет, Степка не бросился навстречу. Наоборот, сбавил шаги. Крепко-крепко сжал горячими пальцами руку Виктора Григорьевича.

— Деда, это ведь он...

Худощавый, стройный, с усиками на мужественном лице провожатый Ксении был в рубашке без погон и штатских брюках. Но Степка узнал его сразу. Несколько секунд он стоял и часто дышал. Потом вырвал руку из ладони еще

ничего не понимающего деда. Твердым, почти строевым шагом пошел навстречу матери и т о м у....

— Степушка... — виновато пропела Ксения.

Он остановился, задрал голову. Сказал на всю улицу:

— Ты с кем это идешь? Это же гад!

— Степан!!

— Гад! — взорвался слезами Степка. — Не смей с мамой! Никогда! Уходи!.. — Он сорвал с себя широкий, с пиратской пряжкой ремень, который всегда носил поверх майки. Огрел мамино спутника по коленям, по животу:

— Уходи! Гад! Не смей с мамой!..

Дед ухватил внука в охапку.

— Деда, это ведь он! Который на нас! На Федю!..

Виктор Григорьевич понес его, бьющегося, к дому. А Ксении сказал через плечо, как маленькой:

— Марш домой.

Дома Ксения закатила истерику. Это что же, она так и будет маяться до старости? Ей всего двадцать шесть лет! До пенсии жить вдовой? И если хороший парень познакомился с ней и проводил до дому, то теперь всякий, даже родной сын, имеет право плевать на нее и ломать ей судьбу?.. Завтра она уходит в общежитие к подруге Вере, а этого... этого змееныша, которого она вырастила на свою беду, воспитывайте сами! Или пусть убирается в интернат!..

— Ладно! — рыдал Степка. — Пускай в интернат! Пусть меня там лупит эта гадюшная Ия вместе с твоим Валерочкой!

Ксении, конечно, постарались объяснить, в чем тут дело, но она, само собой, слушать никого не хотела. Потому что с давних лет ей все старались загубить жизнь и теперь намерены довести это дело до конца...

Ошарашенный таким поворотом событий, Федя почти не совался в этот скандал. Только сказал всхлипывающей сестрице:

— Этот твой старший лейтенант — такой же, как те дембили, которые убили Мишу...

Она закричала в ответ, что Миши давно нет на свете, а ломать свою жизнь из-за сопливых хулиганов, которые лезут в драки с милицией, она не собирается...

Федя пожал плечами и ушел спать. Но не спал, конечно... Появился Степка, с опухшим лицом, сумрачный.

— Можно, я с тобой переночую?

Федя подвинулся, откинул пододеяльник. Но Степка не лег, сел на край тахты. Согнутый, печальный. Тогда

Федя сел рядом. Обнял Степку за тоненькое, птичье плечо. Помолчали. В комнате стоял полумрак, и в нем отчетливо белели бинты на Степкиных коленках. И были заметны на них пятнышки просочившейся и засохшей крови... Степка прошептал наконец:

— Если она вздумает замуж за него... вы меня не отдавайте...

— Не бойся, Степка, до этого не дойдет...

— Кто их знает...

— Степ, а ты крепко его ремнем огрел?

— Ага. Два раза... Он теперь меня в суд потащит, да?

— Что он, совсем дурак, что ли?.. Да ты еще и маленький, для суда не годишься.

Степка недовольно примолк. Не любил быть маленьким.

— Не беда, что маленький, — поспешно сказал Федя. — Зато герой. Как ты здорово сегодня... пленку спас, и вообще.

Степка съежился и молчал.

— Я тебе значок подарю, — пообещал Федя. — Тот, «табуретовский». Помнишь, ты просил... Теперь ты заслужил.

— Правда? — тихонько обрадовался Степка. — Завтра, да?

— Хоть сейчас.

— Завтра... Сейчас все равно опять пора. — Степка высвободил плечо, улегся у стенки. Федя тоже лег.

Степка посапывал. Федя решил, что он засыпает. Тоже намаялся за день, бедняга... Но Степка вдруг сказал шепотом:

— Нет... не надо мне значок...

— Почему, Степ?

— Так... Я еще днем признаться хотел, да ты спал.

— В чем признаться-то? — встревожился Федя.

Все так же, носом в стену, Степка проговорил сбивчиво:

— Потому что я не из-за геройства... пленку спас. Наоборот... потому что трус... — Он всхлипнул.

— Степ, да ты что выдумал!

— Не выдумал... Думаешь, я почему побежал? Со страху. Перепугался, что меня тоже заберут... И когда мальчишки погнались, я это... от ужаса так на педали надавил... А про пленку даже не помнил нисколечко...

— Но ведь камеру-то не бросил...

— Я ее... наверно, случайно не бросил. Зато тебя бросил. Надо было заступаться, а я сбежал...

— Глупый... — дохнул ему в затылок Федя. — Ты же все правильно сделал. Пленка — это было главное... Если бы ты остался, все погубил бы... Я тебе точно говорю.

Степка ответил горько и рассудительно:

— Может, и точно. Только я ведь такой точности не понимал. Просто удрал как заяц...

Федя утешил его, как сумел:

— Это тебе сейчас кажется, что ты боялся. Тогда ты очень даже смело действовал, а сейчас забыл. Так у многих бывает, даже у самых храбрых... И вообще, главное — не храбрость, а результат. Храбрыми и дураки бывают, и мерзавцы. Надо ведь еще знать, за что воюешь... Это мы однажды у костра сидели и про Афганистан, и вообще про войну заговорили, и отец Евгений подошел. Вот такое и сказал про храбрость... У него, кстати, орден Красной Звезды есть, Слава говорил...

Степка тихо и ровно дышал. Но явно не спал.

— Вот Миша, папа твой, он уж точно храбрый был, — сказал Федя. — По-честному. За тех, кто слабее, заступался... Он бы тебе сказал, что ты молодец.

— Не знаю... — прошептал Степка.

— Честное слово... А то, что ты испугался маленько, так это с любыми смельчаками случается... Настоящий трус, он разве решился бы признаться в этом?.. В общем, значок возьми обязательно.

— Ладно... — вздохнул Степка. И, кажется, сразу заснул.

— Вот такие дела, — сказал ребятам Федя. Грустно и виновато. Это было уже на следующий день, когда «Табурет» собрался у Оли. — Конечно, отец теперь не будет писать никакого заявление. Он хоть и поругался с Ксенией, а во вред ей делать не станет. Родной-то дочери...

— А родного сына можно, значит, отдавать на съедение? — непримиримо сказала Оля.

— Да никакого съедения не будет. Валера этот, Щагов, он ведь тоже не совсем идиот. Не станет же бочку катить на брата своей... симпатии.

— Ситуация, — шепотом высказался Нилка.

— А сегодня утром Ксения говорит, — вспомнил Федя. — Ты, говорит, крест носишь, значит, должен прощать людям обиды по-христиански. Даже своим врагам...

— Может, и правда, — тихо сказал Борис. — Может, ну его на фиг, этого Щагова? Увязем в этом деле и сами остервенеем, как он...

— Да?! — возмутился Федя. — А Шагов пускай и дальше живет и ухмыляется?.. Глядишь, и на Ксении женится...

— Степка не позволит, — резонно вставил Борис. — Он упрямее, чем ты...

— Я тоже упрямый!

— Ты, дядя Федор, не упрямый, а мягкий. В тебе пока еще обида сидит, а потом успокойшься и махнешь рукой на этого Валеру.

— Я не имею права, — насупленно возразил Федя. — Я за себя могу простить. А тот... Южаков? Может, пойдем, объясним ему, что он должен левую щеку подставлять, когда Ия его лупит по правой?

— Ие все равно отольется, что положено, — пообещал Борис. — Папа сказал, что он это дело еще через Детский фонд раскрутит. Справедливость все равно должна быть...

— Никакой ее нет, справедливости, — грустно заметила Оля. — Если бы твой папа не был депутатом, сейчас бы Федю уже затаскали бы по всяким комиссиям, спецшколой грозили бы. Да и весь наш «Табурет» объявили бы подпольной организацией. «Чем вы там занимаетесь в вашем гараже? Наркоманы небось!..»

— С'сожрали бы живьем, — подтвердил Нилка.

— Хорошо, что и мой отец с пониманием, — напомнил Федя. — Другой бы сразу за ремень... — И смутился: не надо бы про отцов при Ольге-то. И сердито сменил тему: — Ксения еще и такое выдала сегодня: «Ты, — говорит, — как Павлик Морозов! Родную сестру готов предать, как он отца предал... — (Тьфу ты, опять про отца!)

— Да он и не отец ему был вовсе, а мучитель! — вдруг взвилась Оля. — Я бы таких отцов своими руками... Он же бросил семью, на другой женился, а мать Павлика избивал! Такого любить надо, да?.. Теперь он чуть ли не герой, а сын — предатель! А то, что зарезали мальчишку, да еще с маленьким братом, никто даже не помнит! А за что? За то, что взрослым поверил, которые про революцию кричали! Он виноват разве, что вся эта коллективизация оказалась вредной?.. Я зимой на классном часе знаете как за Павлика Морозова со всеми разругалась! Маму вызывали: «У вашей дочери устаревшие взгляды...»

— Новый взгляд — это теперь царскую семью жалеть, — сочувственно глядя на Олю, заговорил Борис. — Особенно младшего. Алексея... И по-моему, что Павлик Морозов, что Алеша Романов — они одинаково пострадали. По одной причине. Взрослые рвутся друг из друга кровь

пускать, а ребята между двух огней... Как сейчас на Кавказе. И виноватых вроде бы нет...

Нилка сидел на чурбаке у двери. Дергал ремешок сандалии. И, не подняв головы, сказал:

— Жалко, что у нас пленка не цветная, а то бы с'сняли... В Детском парке кто-то надпись на памятнике Павлику замазал красной краской. Ее оттерли, а в буквах все равно красное. Запеклось...

Оля первая стряхнула тяжкое настроение:

— Давайте-ка прокрутим то, что проявили.

— Только не ту пленку, — поморщился Федя. — Хватит уж...

— Да нет, не ее, конечно. Ту, где Анна Ивановна. И где Нилка приземляется после полета.

Зарядили проектор, посмотрели двухминутную ленту.

— Тридцать два кадра в секунду снимала? — спросил Федя. — Как он плавно в траву опустился!

— Нет же, в самом деле так, — сказал Борис. — Без всяких кинотрюков. Даже не верится!

— Я ведь говорил вам, — скромно напомнил Нилка, — что могу... такое... — И глянул себе на ногу, где сквозь коричневую краску светлым гривенником проступала звездная метка...

Через два дня, когда в гараже-студии всю шла работа над монтажом фильма, позвонила Ксения. Ласково и настойчиво попросила прийти домой. Федя после того вечернего скандала с сестрой не общался, поэтому отозвался кратко:

— На кой я тебе нужен?

— Ну, очень надо. Очень-очень. Прошу тебя... — Она чуть не плакала.

«Может, со Степкой что?» — встревожился Федя. Он вскочил на «Росинанта» и через десять минут вместе с велосипедом взгромоздился на лифте на четвертый этаж. Надавил звонок.

— Феденька... Только не скандаль сразу... Пойдем.

В комнате у нее сидел Щагов.

Федя резко шагнул назад. Не от страха, но от ощущения какой-то подлой ловушки. И где! У себя дома!.. Но не бежать же! Он прислонился к дверному косяку. Разбежалось по коже нервное жжение — словно не трое суток назад, а только что вырвался через крапивные джунгли из подземного хода... И метнул Федя на Ксению беспощадный

взгляд. Вот, значит, как! Уже и родной сестре нельзя верить! Заманила, как суслика в силок...

И правда, как в песне:

Жгла крапива у старых заборов,
Жгли предательством те, кому верили...

На кого променяла брата! На дембиля паршивого!..

Впрочем, Шагов не был похож на дембиля. Красивый, даже изящный, в отглаженном светлом костюме, небрежно сидел он на стуле. Откинулся к спинке, одна рука на полированном столике — барабанит худыми пальцами. (Как эти пальцы хватали и стискивали Федю!)

Федя вдруг понял, на кого Шагов похож! На одного репортера с ТВ, который очень любит резать «правду-матку», ругать демократов, рассказывать, как в него стреляли всякие боевики, и сниматься в обнимку со спецназовцами в разных «горячих точках»... Лихие парни, храбрые парни. Береты набекрень и мужественные профили...

Нет, обида обидой, а надо держаться. Нельзя, чтобы сырость из глаз. Федя мигнул и сипло сказал Ксении:

— Значит, ты меня ради этого позвала?

— Феденька, но ты же должен понимать. Здесь просто недоразумение. Ты...

— Заткнись, — холодно сказал Федя сестрице. И оттолкнулся от косяка спиной, чтобы уйти.

— Постой, — с чуть заметным зевком проговорил Шагов. — Я не мириться, не объясняться пришел. Что ты про меня думаешь, я прекрасно понимаю и оправдываться не собираюсь...

— Нужны мне твои оправдания! — бросил Федя. Он сказал «твои» не потому, что хотел оскорбить Шагова. Просто этот парень был ровесник Фединой сестры, ее ухажер, и не имело смысла церемониться. Тот так и понял, не обиделся.

— Тем более, — кивнул он. — У меня деловой разговор...

— О пленке!

— Именно...

— А я не хочу с тобой разговаривать. — Федя радостно ощутил, что слезы ушли. Но злость закипела с новой силой.

— Я понимаю... — начал Шагов.

— Феденька! — вмешалась Ксения. — Ну пойми и ты его! В той ситуации на берегу что он должен был делать? Какой-то мальчишка кидается на его знакомую...

— На жену начальника!

— Вот именно, — спокойно подтвердил Шагов. — Неужели ее, а не тебя я должен был тащить в отделение? Логику жизни-то надо учитывать...

— А слабых защищать не надо? Того пацаненка, которого эта здоровая тетка по морде хлестала! Л-логика ваша... резиново-дубинная... — У Феди горела вся кожа, особенно лицо.

— Но, Федя! Валерий же не видел, как она его била!

— Неужели? — хмыкнул Федя. Глотнул и сказал Ксении с расстановкой и убедительно: — Ты правильно говорила, я плохой верующий. Только верить в Бога — это ведь не значит во всякие глупости верить. Например, в ад с чертями и котлами... Но если бы я даже знал, что эти котлы есть и я буду в них вариться бесконечно, я все равно стрелял бы вот в таких, попади мне только в руки автомат... Очередями...

У Шагова красиво шевельнулись желваки. Но тут же он улынулся и спросил с интересом:

— Мальчик Федя, ты видел когда-нибудь, как стреляют в человека очередями? Как он сгибается, хрипит, а сзади из него летят кровавые ошметки?

Холодом пахнуло Феде в лицо. Но он ответил без промедления:

— Сколько раз! По телику! И художественно, и документально. Особенно по кабельному каналу. Каждый вечер палят из автоматов такие, как ты...

Шагов сказал тихо, даже сочувственно:

— И ты бы палил? Чем ты тогда лучше меня?

Все натянутые злые струнки в Феде ослабли. Словно Борька стал напротив, махнул ресницами-щетками. «Увязнем в этом деле, сами остервенеем...» И уже на одном упрямстве Федя бросил Шагову:

— Чем лучше? Тем, что я не начинал! Только защищался!

— Ну-у, голубчик ты мой! Нашел аргумент!.. Тот, кто жмет на спусковой крючок, всегда отыщет себе оправдание. Но тому, в кого пули летят, от этого не легче...

— А тому... у кого брызги летят из глаз от удара... и голова мотается от пощечин... ему легко? — хрипло спросил Федя. — Это хорошо видно на экране. И как подошедший старший лейтенант смотрит на это... спокойно так...

— Значит, получилась пленочка?

— Еще бы!

— Вот об этом и речь, — в упор произнес Шагов.

— Вот об этом-то речи и не будет! Не получишь пленку!

— Феденька, но ты же...

— А ты молчи, — горько сказал Федя сестре. — Еще про Павлика Морозова чего-то лопотала. Он в тыщу раз честнее всех вас... Ну, ладно, брата можно продать. А сына-то! Ведь Степка тоже мог из-за твоего Валеры насмерть грохнуться!

— Это из-за тебя! — взвилась Ксения.

— Нет уж, не вали, сестрица, на чужую голову! Из-за него Степка все еще хромает! А мне этот «гражданин старший лейтенант» знаешь как врезал? До сих пор в почках отдает... — Федя опять осип.

Ксения испуганно взглянула на Шагова. Тот улыбался.

— Ох, да я шутя его по заднице хлопнул.

Федя откашлялся и сказал с удовольствием:

— Для тебя чужие задницы — «шутя». А за свою дрожишь.

— И за твою, — не дрогнув, отозвался Шагов. — Вернее, за вашу общую. А еще точнее — за твоего дружка Березкина...

— Его там вообще не было!

— «Его там было». Только косвенно. Сейчас объясню. Да, я не хочу, чтобы эту пленку крутили где попало. До лампочки мне Ия Григорьевна, в конце концов, но там и моя персона. Это мне ни к чему... Но вам эта пленка тоже может доставить кучу хлопот. Вашему другу. У его папочки Аркадия Сергеевича уже были неприятности по поводу съемок закрытых объектов... Ну, знаю, знаю, не подтвердилось, но дыма без огня не бывает... А тут вдруг съемкой кинопанорамы со всякими объектами и ориентирами занимается детская студия, которую Аркадий Сергеевич заботливо опекает. А семье Аркадия Сергеевича только-только дали разрешение на выезд в Штаты. На постоянное проживание. И тут вдруг опять какая-то кинопленка, то да се. Заинтересуются определенные товарищи. А в ОВИРе чиновники осторожные. И поехало дело на попятную...

Федя глубоко вздохнул — задавил в себе новый приступ возмущения. Помолчал, переваривая информацию. Потом сказал очень вежливо:

— Прекрасно работаете. Вот если бы и преступников

так же ловко ловили... Быстро все разузнали. Кажется, это называется «собирать компромат»?

— Это называется «иметь информацию»...

— Вынужден вас огорчить: устаревшая информация. Семейство Березкиных раздумало уезжать. И объектов никаких на пленке нет. Только эти... субъекты...

— Все равно пленочку реквизируют. Для экспертизы. И пойдет-поедет новая волокита...

— Да какая там экспертиза! Все с первого взгляда видно! — Федю осенила радостная мысль. — Можете сами убедиться. Хотите? — Он опять, нарочно, перешел на «вы».

— А что, пленка здесь? — не сдержал нервного оживления Шагов.

— Нет, но если вы подождете... Я вижу, что подождете!

Федя вышел в прихожую, к телефону и позвонил ребятам. Объяснил, что к чему Борису. Тот посоветовался с Олей и Нилкой. Было слышно, как Нилка хихикнул, а Оля сказала что-то с укоризной. Потом Борька сообщил со вздохом:

— Жаль, конечно, пленочку, да уж ладно...

Он появился через двадцать минут. С маленьким кинопроектором «Луч». Скромно сказал Ксении и Шагову:

— Здравствуйте... — Сел в уголок, притих.

— Ксения, если тебя не очень затруднит, будь так добра, задерни, пожалуйста, штору, — изысканным тоном попросил Федя. — Что?.. Нет-нет, полной темноты не надо, мы посмотрим на небольшом экране... — У себя он отыскал чертежный альбом и кнопки, вырвал лист, пришил его к обоям в комнате Ксении. — Я думаю, этого достаточно? Почти как телевизор...

Рулончик пленки был крошечный, Федя решил пустить его через фильмовый канал без катушек, прямо с ладони. Установил проектор на журнальном столике, покосился на молчаливого Бориса.

— Начинаем... — И пустил мотор.

На экране удивленно глядел в поднебесье Степка. Потом он досадливо обернулся. А за ним — толпа школьников на берегу.

Ия Григорьевна объясняла про «генеральный план», обводя руками горизонт.. Вот она и ребята уже крупнее, средним планом, по пояс. Она очень чем-то недовольна, педагог Ия Григорьевна Новицкая. Она возмущена! Требуется, чтобы подошел к ней негодный Южаков, который не

слушал про генеральный план развития и других отвлекал! И вот они друг против друга в профиль к зрителю. Мальчишка опускает руки, приоткрывает рот... Трах по щеке! Он закрывается, она дергает вниз его локоть и по другой щеке — трах... И вот снова то же самое, только уже крупнее. На экране только голова Южакова с короткой, беспорядочно торчащей стрижкой и на тоненькой шее. Снова один удар, второй!.. И опять тот же кадр, но уже медленнее, цепочкой рассыпанных картинок: поднимается и припечатывается к лицу мальчишки пухлая ладонь — справа, слева. Мотается на шее-стебельке голова, летят из глаз хорошо заметные, сверкнувшие на солнце капли...

Вспыхнул неожиданной белизной экран. Как живая, шевелилась на полу пленка, до конца проскочившая через проектор...

Федя выключил мотор. Ксения закусила губу. Лицо ее было зеленовато-бледным. Впрочем, возможно, это от полусвета салатной шторы... Шагов сказал снисходительно:

— Эффектно снято. Особенно когда крупно, с повторением. Как это вы сумели?

— Плевое дело. Киноповтор — это простейший трюк. В кино и не такое возможно... А объектов-то и не видеть, верно?

— Н-не знаю. По-моему, ТЭЦ на том берегу все-таки видна. С трубой.

— Ну, давайте еще раз взглянем... Это, наверно, в том кадре, когда вы подходите и слушаете, как она орет на ребят... Не труба, конечно, а Ия Григорьевна... Включаем?

— Не надо... — сумрачно ответил Шагов. — Слушай, на кой черт вам всем эта заваруха? Давайте покончим разом! А?

— Как? — с интересом спросил Федя.

— А так! Чтобы пленка не вам и не мне! И разошлись полюбовно!..

Федя посмотрел на Бориса.

— Ладно... — кротко сказал тот из своего угла.

— Ладно, — вздохнул и Федя.

Шагов с удовольствием наступил модной туфлей на пленку, которая спиральной грудкой топорщилась на паркете. Захрустело. Шагов с натугой повозил подошвой. Потом поднял истерзанную кинопленку, помял ее, покатав в ладонях.

— Хватит уж, — сказал Федя. — Давайте, выкину.

Шагов косовато ухмыльнулся, протянул колючий черный комок, но на полпути рука его дернулась.

— Да не бойтесь, — бесцветным голосом успокоил Федя. — Вы, наверно, думаете, что мы ее разгладим и склеим? Зачем? У нас еще две таких... Или три? А, Борь?

— Три, если считать первую, со склейками, — вполголоса разъяснил Борис. — А эта была плохая, с царапинами...

Лицо Шагова утратило мужественную твердость и поглупело. Федя ощутил в себе щекотанье смеха и слез, но объяснил внешне спокойно:

— Это ведь просто делается. В камере есть две щелки. В них пропускается уже проявленная пленка, а вместе с ней — другая, из кассеты, эмульсия к эмульсии. Завел, направил на свет, нажал — и готово. За две минуты — контактная копия... А без этого как бы мы повтор кадров сделали? Еще и с экрана переснимать пришлось, с укрупнением. Целый день возились..

Шагов терпеливо дослушал Федю. Покивал, глядя в пространство. Пустил с ладони на пол упругий пленочный комок. Тот упрыгал под ноги Ксении, и она глянула на него, как на живую мышь... Федя защелкнул крышку проектора.

— Борь, пошли... — И оглянулся на Шагова. — Привет вашему другу Фоме...

Обратно катили на «Росинанте» вдвоем. Федя крутил педали, Борька сидел на багажнике, держал проектор. Ехать было тяжеловато, тряско, поэтому молчали. Но Феде казалось, что спиной он чувствует взгляд Бориса — то ли тревожный, то ли печальный...

В гараже Федя с хмурым смехом рассказал о беседе со Шаговым. Оле и Нилке это понравилось. Особенно Нилке:

— Здорово ты его!..

Борис тоже сказал:

— Да, хорошо ты его уел... Можешь быть доволен.

Последние слова царапнули Федю.

— А ты? — слегка ощетинился он. — Выходит, недоволен?

— Да нет, все нормально, — примирительно отозвался Борис. — Только... как ты теперь с Ксенией-то будешь?

Федя пожал плечами: если бы знать как...

Борька осторожно сказал:

— И вообще... ты как-то перегорел на всем этом...

— Может, и перегорел... Ксения, наверно, правильно говорила... — Он усмехнулся. — Далеко мне до настоящей христианской веры. Не научился прощать... Ну, конечно, стрелять бы я не стал, это я просто психанул. Но вот сказать этому Валере Шагову: «Я тебя прощаю...» Легче головой о кирпич... Или Фома этот. Я его тоже должен любить как ближнего?

— Федь, ты вот что... — предложил Борис. — Когда откроется церковь, сходи к отцу Евгению и расскажи про все. Это называется исповедь. Он тебе простит грехи.

— Не надо смеяться над этим, — тяжело сказал Федя.

Борис вскинул ресницы. Первый раз Федька не понял его.

— Разве я смеюсь? Я по правде... Хочешь, вместе пойдем? Меня ведь тоже крестили, совсем маленького, баба Оксана это устроила... А грехов у меня — во сколько!

— Грехов у всех хватает, — заметила Оля. — Пора делом заниматься. — Особо срочных дел не было, но ей показалось, что разговор какой-то не тот. С намеком на ссору.

Нилка уперся в Бориса синими честными глазами:

— Боря... А ты, значит, тоже в Бога веришь, да?

— Каждый во что-нибудь верит, — быстро сказала Оля. — Ты вот, Нилка, в инопланетян своих веришь...

— При чем тут инопланетяне? Я же с'серьезно...

Федя вдруг понял: вот почему еще неладно на душе — из-за Нилки!

— Нил-крокодил! Ты лучше вот про что серьезно скажи: почему Шагов ОБИРОм пугал? Будто неприятности из-за пленки случатся!.. Опять, что ли, родители уезжать надумали?

— Какая чушь! — возмутился Нилка. — После того с'скандала про это не было и речи! Да и посудите с'сами: если бы папа думал про границу, разве стал бы он вспоминать о нашем фильме?

— А он вспоминает? — ревниво спросила Оля.

— Да! — подскочил Нилка. — Я рас'стыпа! Забыл про главное! Папа с'сказал, что можно наш фильм показать по областному ТВ. Там в детской редакции у него есть знакомая, она каждый год готовит передачу про летние каникулы. И вот он с ней про нас разговаривал...

— Ой, Нилушка, правда?! — возликовала Оля.

— С'совершеннейшая правда... Конечно, это трудно — пустить в эфир кино на такой узкой пленке, но иногда они делают восьмимиллиметровую прис'ставку...

— Озвучивать ведь надо, — забеспокоилась Оля, — музыку подбирать.

— Музыку-то несложно, — вставил Борис. — А вот текст...

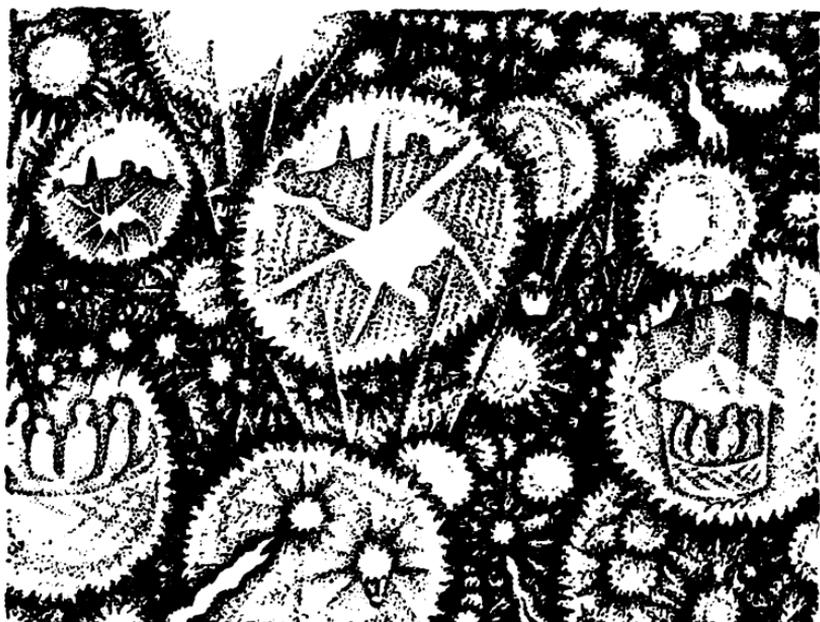
— Мама обещала, что поможет сочинить, — сообщила Оля. — Она в своем театре целые пьесы сочиняет.

— А читать кто будет? — забеспокоился Федя. — Тут надо, чтобы как настоящий диктор...

— Нилка пусть читает, — сказал Борис. — Он летает, пусть сам и рассказывает.

— Я же с'сбиваюсь, — смутился Нилка.

— Ничего, — решила Оля. — Зато у тебя интонации выразительные.



Четвертая часть Синеград

Осень

Нилка и правда читал текст хорошо. Звонко так, совсем по-ребячьи и в то же время очень выразительно, не хуже, чем артист. И его запинки на букве «с» были почти незаметны, а если где и проскакивали в звукозаписи, то ничуть ее не портили. Даже наоборот...

Сперва записали текст на Нилкин кассетник. Но оказалось, что для телепередачи такая техника не годится. Пришлось Нилке читать свои слова перед студийным микрофоном. Смонтированный фильм тоже записали на магнитную пленку. И музыку...

Про музыку долго спорили. У Феди и Бориса вкусы были невзыскательные: самые любимые мелодии — песни Высоцкого. Борьке, правда, еще нравилась группа «ДДТ», а Феде — «Аквариум», но все это было не для кино про Город. Борис нерешительно предложил увертюру к фильму

«Дети капитана Гранта» Дунаевского или «Первый концерт» Чайковского — это все, что он помнил из классики. Оля только вздохнула. Федя спросил, не пригодится ли «Кармен-сюита» композитора Шедрина. Эту пластинку они с Ксеньей иногда крутили по вечерам — в те времена, когда еще жили мирно (эх, Ксения-Ксения...). Оля ответила, что «Кармен-сюита» совсем не в том ключе. Нилка поинтересовался, не пригодятся ли «Времена года» Вивальди. «Это с'самая любимая мамина музыка. Я ее тоже люблю...» Оля восприняла совет благожелательно. Однако после размышления отвергла и его.

Наконец она сама выбрала «ключевую тему». Задумчивую мелодию, которую исполняют на фортепиано. Оля сказала, что это вторая часть «Патетической сонаты» Бетховена. Все примолкли, задавленные такой эрудицией. Сразу видно — человек три года учился в «музыкалке».

Бетховен — это там, где сказочный город. А улицу Репина с торгашами и дембиями озвучивали «Ламбадой»... В конце концов пригодилась и «Кармен-сюита» — быстрая музыка для начального Нилкиного полета. И Вивальди кое-где пришелся к месту... Уговаривали Славу — чтобы спел для фильма песню про маленьких капитанов, но он засмушался. Заотбрыкивался, как дошкольник. Зато, правда, согласился сняться в одном эпизоде...

Вообще с этой передачей была масса хлопот. Лина Георгиевна Старосельцева — энергичная тетенька в джинсах (повадками иногда похожая на Олину маму) — в августе крепко взяла всех ребят в работу. Потому что она-то, Лина Георгиевна, и была режиссером передачи «Вот и лето прошло...». Пока оно не прошло, нужно было многое успеть.

Во двор к Оле приезжала машина с камерами, магнитофонами и осветительной аппаратурой. И с дядьками-операторами. Для начала, когда подключили к шитку толстый кабель, во всем доме вырубилось электричество. Это вызвало бо-ольшое недовольство Олиных соседей, проживающих в другой половине дома.

Однако все в конце концов наладилось. Сняли, как ребята проявляют пленку, как «гоняют ленту» на монтажном столике, как Нилка болтается на фоне бархатного задника. И как сидят у гаража на траве и на чурбаках, рассказывают о своих делах.

Потом, в сентябре, пришлось сняться еще раз, уже в телестудии. В беседе после фильма «Сказки нашего горо-

да». Беседа эта не очень понравилась ребятам. Но о ней позже...

Сентябрь подкрался незаметно, предательски даже. Как ухитрилось с такой стремительностью промчатся время? «Вот уж точно теория относительности Эйнштейна», — вздыхал Борис.

Исполнилась мечта Степки — стал он полноправным школьником. Причем сразу второклассником. И (прав оказался Федя) радости этой хватило ему на несколько дней. Оказалось, что в школьной жизни сладкого еще меньше, чем в детском саду. Надо постоянно выполнять всякие задания, и почему-то каждый день грозят «вызвать маму». Ученическая форма оказалась жаркой, неудобной и «кусачей». Хорошо хоть, что с этого года была она в школе номер четыре необязательной. И вскоре второклассник Степа Городецкий, как и многие другие малыши, бегал на уроки в летних штанишках и рубашке. Но это пока было тепло. Сентябрь недолго радовал хорошей погодой...

От продленки Степка отказался намертво. Из школы домой ходил самостоятельно и владел собственным ключом от квартиры. Впрочем, иногда ждал Федю, если у того было не больше пяти уроков. Но у Феди случалось их и по шесть, и по семь. И тогда, он, конечно, нервничал: как там Степка, один-то?

Ксения приходила домой очень поздно. Сообщила, что занимается на курсах повышения своей швейной квалификации. О Щагове ничего не было слышно. Степка однажды по секрету прошептал Феде: «Мама сказала, что больше не желает его видеть...» Поумнела, значит...

Школа есть школа. От Хлорвиниловны только и слышно было: «Вы теперь восьмиклассники и должны отдавать себе отчет, что это накладывает на вас новые, взрослые обязанности...» Никто, конечно, такого отчета не отдавал. Втягивались в школьные будни трудно, со скрипом. Жили памятью недавнего лета.

Но память памятью, а встречаться «Табурету» каждый день стало теперь трудно. Феде-то с Борисом хорошо — в одной школе. А вот Оля и Нилка... Но все-таки встречались — без этого как жить? Повезло хотя б в том, что все четверо учились в первую смену. Сбегались чаще всего у Оли. В гараже было уже холодно, сидели в комнате. Оля была и здесь полной хозяйкой. Тем более что мама ее с головой ушла в новую постановку...

«Запустили в производство» новое кино: мультяк про

мальчика Егорку, который подружился с бродячим котом, оказавшимся впоследствии инопланетным существом. Коллективно рисовали декорации, по ним потом бегали вырезанные из бумаги герои. Вырезал их Борис, он был мастер на такие дела.

Но двигался фильм так себе. Особого интереса к нему не чувствовалось. Да и пленка почти вся уже была израсходована. Однако не сидеть же без дела, когда собрались вместе! И вскоре дело такое появилось. Настоящая радость. Город Синеград!

Кто его первый назвал так, потом уже и не помнили. А возник он однажды вечером, когда сидели у Оли и разговаривались: какие кому снятся сны. Про это и раньше говорили, но как-то мельком и со смущением, а теперь будто распахнуло каждому душу. И оказалось — многое снится одинаково. То есть города и события сами по себе непохожи, но похожими оказались ощущения в таких снах — будто это и не сон вовсе, а особый, «параллельный» мир, куда ты приходишь как в любимую страну — настоящую, только окрашенную сокровенной тайной. Приходишь со сладким замиранием, ожиданием приключений и каких-то очень хороших встреч.

Выяснилось вскоре, что в этих Городах, которые каждый видит по-своему, есть и похожие места — улицы, площади, пристани. Стекланные галереи над мостовыми...

Тогда Федя сказал, будто сделал еще один шаг в сказку: — А давайте нарисуем карту...

Вот вам и «взрослые люди»! Ну, Нилка — тот еще туда-сюда, а остальные-то! Сидеть бы над алгеброй, писать сочинения про «Образ Пугачева в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», готовить лабораторные работы или хотя бы, как нормальным восьмиклассником, толкаться на дискотеках и переписывать друг у друга кассеты с Майклом Джексонем! Так нет же! Взялись чертить план Синеграда — по всем правилам науки, отыскавши среди книг Олиного деда старинную «Картографию» какого-то М. М. Белковского со множеством иллюстраций.

На большом ватманском листе начертили центр Синеграда. С площадью Случайных Пришельцев, с проспектом Спелых Апельсинов, с улицами Старых Моряков, Стекланного Глобуса, Веселых Прогульчиков, Хромого Рыцаря, Корабельщиков и многими другими. С широкой рекой Рио-Флус и ее притоками Каменкой и Бумерангом. Над Каменкой дугой поднимался сложенный из гранита мост. Посреди моста построена была белая, с высокой шатровой

башней церковь Павлика и Алеши — мальчиков из деревни Герасимовки и Зимнего дворца. Вообще-то это была церковь в память о всех погибших детях. Где-то же должны вспоминать о том, как гибли мальчишки и девчонки по вине озверевших взрослых — тех, кому хотелось воевать и добиваться власти...

В церковь на мосту взрослым разрешалось заходить только в сопровождении детей. И каждый мог зажечь лишь одну свечку — у бронзовой скульптуры Упавшего Барабанщика. Мальчик лежал на плоском камне, одной рукой старался дотянуться до откатившегося барабана, в другой сжимал последним усилием тонкие палочки... Как в песне «Последняя свеча», которую недавно спел ребятам Слава. Он даже согласился записать ее на кассету, но, конечно, не для телепередачи, а на память друзьям-«табуретовцам».

Теперь эту песню слушали иногда, и каждый раз шел по спине холодок. Слава пел глухо, и гитара рокотала, словно где-то в темной глубине.

Холодным пеплом замело их след,
Но мальчики стоят и ждут ответа —
Все те, кто среди войн и среди бед
Не дожил до пятнадцатого лета.
Их бесконечный строй угрюм и тих,
Шеренги — словно траурные ленты...
Так что же вы не взглянете на них,
Премьеры, полководцы, президенты?!

Все тише барабанщики стучат,
Но гаснущий их марш зовет к возмездью!
И вот горит последняя свеча,
Горит среди галактик и созвездий.
Затихший город съела темнота,
Угасли оробелые огни там.
Но эта свечка светит неспроста —
Она горит на бочке с динамитом!

Пусть весь мир вокруг уныл и хмур —
Свеча горит во тьме неугасимо,
Зажгли ее, как жгут бикфордов шнур,
Сгоревшие мальчишки Хиросимы,
Ее спокойный свет неумолим,
Не гаснет пламя, как бы мрак ни вился.
Свечу друзья погибшие зажгли
От тлеющего пепла Саласпилса...

Теперь от страха гаснут фонари
От Балтики до Крыма и Кавказа...
Скажите, кто услышит детский крик,
Когда звереют дизели спецназа?
Скажите, кто поймет, как в эти дни

Зажатый детской болью мир непрочен?
И что во тьме спрессован динамит,
И что фитиль у свечи все короче...

Над церковью всегда был ясный вечер и оранжевые отблески горели на золотом кресте, который отражался в Каменке...

Но не так уж много печальных мест было в Синеграде. Гораздо больше — веселых. Площадь Летних Карнавалов, площадь Зимней Сказки, Цирковой бульвар, бульвар Кукольных Мастеров... А больше всего богат был город местами, где ждали всякие загадки и открытия, необыкновенные события и приключения. В путанице улиц, переходов, лестниц, воздушных галерей, крепостных стен и заросших оврагов можно было заблудиться и оказаться неведомо где — то в заброшенной мастерской средневекового оружейника, то в букинистической лавке, полной приключенческих книг, то в крошечном театре, где сами по себе, без людей, давали концерт деревянные марионетки. То провалиться в подземелье и заплутать в глухих подвалах и коридорах, где, по некоторым признакам, обитали привидения...

На углу улиц Тома Сойера и Юных Трубочистов жила в островерхом домике бабушка Аннет (похожая на Анну Ивановну, только не такая больная и усталая). Она зывала в гости ребятишек, угощала их леденцами и менялась с ними марками...

На «стрелке», у слияния неширокой реки Бумеранг с большой рекой Рио-Флус, выстроен был дом с башенкой, похожей на маяк. Там жил отставной бородатый боцман Крутислав Свайка со множеством своих и приемных детей. Бывало, что боцман целый день лежал на балконе и пел старинные матросские песни, а хор мальчишек и девчонок в окнах и на лестницах звонко вторил ему. Иногда этот ансамбль отправлялся выступать на бульвар Тополиного Пуха. Прохожие слушали и платили чем придется: пирожками с капустой, конфетами и старинными монетками, которые Крутислав Свайка коллекционировал...

В сторожке на старом бастионе Одноглазого Адмирала жил друг боцмана Свайки усатый и пузатый Бом Гранатто. В его обязанности входило каждый полдень палить холостым зарядом из древней бронзовой пушки. Бом Гранатто всегда палил раньше времени, потому что его большие карманные часы вечно спешили. Жители Синеграда привыкли к этой досрочной пальбе и точное время узнавали по Большим Солнечным часам на площади Голово-

ломок или по курантам на башне Музея Городской Истории.

Было, конечно, в Синеграде и много других интересных жителей. А в Музее каждый желающий мог узнать о прежних временах Синеграда. Например, о Большой Осаде два столетия назад, когда флот противника едва не прорвался с Залива в Рио-Флус, а на суше город был окружен вражескими траншеями. С той-то поры и осталось неподалеку от города кладбище с гранитными головами-памятниками...

Южные окрестности Синеграда с остатками укреплений, со старым военным кладбищем и — далее к зюйду — с краем Сумрачной Области нарисовал Борис. На отдельном листе. Когда начертили центр, каждый взял себе по листу, чтобы присоединить к Синеграду свою часть Города. И вот Борис выбрал юг.

Нилка на северном листе изобразил в окружении окраинных улочек заброшенный парк, выросший на месте старого космодрома инопланетян. То, что это бывший космодром, знали немногие. Но зато всем было известно, что по вечерам в зарослях творились дела непонятные и, с точки зрения науки, необъяснимые... К парку примыкала Северная Болотная пустошь. Там среди мокрых кустов и косматых кочек водились мохнатые добродушные чуки и злые шкыдлы — полукрысы, полумартышки.

— Я, когда рисовал, с'самому страшно было, — признался Нилка. Впрочем, страх быть похищенным пришельцами у Нилки почти прошел. Может быть, потому, что звездная метка к концу лета изрядно потускнела — то ли от грима, то ли сама собой...

Оля взяла на себя восточные окрестности и «пристроила» к Синеграду кварталы с киностудией, которая сама по себе была целым городом. Здесь разрешалось каждому, кто захочет, снимать свое кино — быть и оператором, и режиссером, и актером. И часто действие фильма так волшебным переплеталось с настоящей жизнью, что было уже не разобрать...

Федя нарисовал часть Западного залива и Гавань с причалами. И путаницу Портовых Кварталов с маленькими площадями, где стояли памятники Колумбу, Крузенштерну и Лисянскому, адмиралу Герману Сегайло — командиру синеградской эскадры времен Большой Осады — и маленькому Юнге Всех Морей. Сюда, к причалам и лакгаузам, подходили рельсы ПТС — подземной транспортной сети. Она была как бы подвальным этажом Синеграда, и здесь иногда мог заблудиться целый поезд...

Когда соединили все листы, стало ясно, что карта имеет форму креста. Но ведь так не бывает! И пришлось рисовать четыре угловых территории: северо-запад и юго-восток, северо-восток и юго-запад... И потом еще снимать с каждого листа копии, чтобы Большая Карта была у каждого. И украшали эти карты надписями с завитушками, розами ветров, рисунками зданий, мостов, фонтанов, маяков и кораблей на рейде...

И признаться, это вдохновенное творчество занимало столько времени, что порой не было времени для физики или немецкого языка... В конце сентября, заглянув в дневник своего ненаглядного восьмиклассника, Виктор Григорьевич Кроев сперва озадаченно поскреб затылок, затем же произнес тоном не вопроса, а приговора:

— А не посидеть ли тебе после школы дома, скажем, с недельку? В целях выравнивания школьных показателей...

— Ну и посидеть, — буркнул Федя, чтобы не обострять обстановку. Подумаешь, беда какая! Все равно прибегают Борис и Нилка, можно звонить Оле, а можно одному (вернее, с тихо дышащим под боком Степкой) колдовать над картой. У карты как раз то волшебное свойство, что, если даже все сидят по домам, то все равно будто вместе. В своем Синеграде. Идет невидимая для посторонних жизнь, идет Большая Игра.

Вначале игра шла так — каждый из четырех входил в Город со своей стороны, и надо было встретиться в условленном месте: или у Солнечных Часов, или у бабушки Аннет, или в книгохранилище у ворчливого Главного Библиотекаря... Но не так-то это было просто. Во-первых, можно было просто заблудиться: увезет тебя подземный поезд, скажем, в районе Замковых подвалов, и плутай там... Могло отвлечь веселое театральное представление на площади. Могли таинственные силы заросшего космодрома перепутать пространства улиц или сбить время: палит, например, полуденная пушка, а колокол на Морском соборе корабельными склянками отмеряет четыре часа пополудни... А тут еще игральный кубик ложится на карту так, что показывает ветер зюйд-вест, который приносит плотные туманы — в них возникают призраки людей и старинных парусников...

Но, конечно, каждый раз все завершалось благополучно, все четверо сходились там, где было задумано. И тогда уже обязательно встречались по-настоящему — чаще всего у Оли. Готовили в большущем (дедушкином еще) чайнике

«встречайный чай», жевали бутерброды с ливерной колбасой (дешевая и без талонов!) и договаривались о новых приключениях в Синеграде. Засиживались до темноты (впрочем, и темнело уже рано). Потом Федя и Борис прожовали Нилку, ехали на «Росинанте» до Феде, а дальше Борис катил один, позвякав на прощанье звонком...

Окрашенные синеградской оказкой события случались не только в нарисованном Городе, но и на улицах Устальска. Он, если разобраться, местами незаметно примыкал к Синеграду. Однажды, например, Оля и Нилка придумали операцию «Огоньки». В сумерках надо было встать на улице Садовой, в квартале или двух друг от друга (от старой трансформаторной будки до поворота на улицу Декабристов) и каждому взять палочку бенгальского огня. Первым стоял Федя (вместе со Степкой). Когда он зажег свой маленький искрящийся факел, это увидел за два квартала Борис и сделал то же. Потом — Нилка. И наконец, недалеко от своего дома, — Оля.

Казалось бы, какой в этом смысл? Зачем такие сигналы? О чем и для кого? Но радостное замирание, ощущение чуда, рождалось в душе, когда видели, как, словно от твоего сыплющего искрами огонька, зажигается вдали такой же — в сумраке осенней, без фонарей, с редкими желтыми окошками улицы. Было в этой живой цепочке маленьких маяков чувство щемящей до слез дружеской связи. Будто в космической черной бесконечности сигналият друг другу четыре звездных корабля...

И как хорошо, что не помешали прохожие. А то могли бы: «Вы что тут безобразничаете! В милицию захотели?!» Слава Богу, никто не пристал. Наверно, потому, что в Синеграде не было плохих людей.

Да, со времени Большой Осады у Города не было врагов. Не было в его домах и на улицах зла. Были загадки, непонятные явления, коварные фокусы пространства, но среди жителей не удалось бы найти ни злодея, ни просто вредного человека...

Потом все-таки нашелся. Его придумал Нилка. И не потому, что хотелось приключений пострашнее, а потому что «ну посудите сами: не бывает так на с'свете, чтобы ни одного плохого; вот и наш фильм хотели мы сперва снять только про добрую с'казку, а что получилось...».

Итак, появился некий Клавдий Шумс. Он долгое время жил отшельником на Болотной пустоши, дрессировал там шкыдл. А потом — серенький, съезженный, незаметный — пришел в Синеград и на окраине, в заросшем гигантскими

лопухами сарайчике устроил переплетную мастерскую. Старые книги ремонтировал. Безобидное занятие, верно?.. Однако после хитрых поисков коварный Шумс раздобыл книгу под названием «Черная тень». В ней рассказывалось о тысяче способов скрытно вредить людям...

Дальше включился Борис. Нехотя, будто виновато даже (но деваться от подступившего зла уже некуда) он рассказывал, что злонамеренный Шумс узнал в этой книге, как можно использовать двухмерное черное пространство. Кусок этого плоского пространства он добыл на краю сумрачной области. Затем с помощью такого куса он стал превращать в пласты черного пространства обычную свето-защитную бумагу от фотопакетов. Складывал эти пласты стопкой у себя в мастерской. Сколько ни складывал — стопка оставалась тоньше папиросной бумаги: ведь у двухмерного пространства нет никакой толщины...

Потом тихий переплетчик Клавдий Шумс куски черного пространства клеил в ленту и спрятал внутри своей пустой тросточки. Но иногда он доставал этот рулон, отматывал сколько нужно и вырезал из тонкой тьмы тех, кто должен был творить в Синеграде зло. Это были силуэты мелких чертей, колдунов, скрюченных ведьм и нахальных, довольных собой господ. Иногда «дети Шумса» притворялись обычными человеческими тенями. А порой они превращались в существа, похожие на подлинных жителей Синеграда, но это случалось редко. Да и ни к чему такое было «детям Шумса». Плоские, незаметные во тьме, они могли проникать куда угодно, в самые тончайшие щели...

Однако первый шаг в мир Синеграда этим злодеям делать было непросто. Путь был один: по ночам Клавдий Шумс пробирался в музей, где стояли фарфоровые вазы. Под вазу, на которой нарисован синий город, переплетчик подсовывал вырезанные из тьмы фигурки. Оттуда они уже разбежались по Синеграду. И творили там всякие гадости...

Единственным оружием против черных злодеев были заколдованные зеркальца. Зеркальцем можно было заслониться от «детей Шумса», как щитом. Те, увидев свое отражение, съеживались и превращались в клочки безобидных сумерек. Но надо было, чтобы враг оказался в зеркальце в профиль или наискосок. А если ребром — то злодея не различишь...

Следует еще сказать, что спасало зеркальце не всякого, а лишь того, у кого нет на совести каких-нибудь подлых дел. Мелкие прегрешения — туда-сюда, без них не проживешь. Но если предал кого-то, забыл друзей или, скажем,

струсил в решительный момент и потом не искупил этот грех, никакое зеркало тебя не защитит, пускай оно хоть с витрину аптеки добрейшего толстяка дядюшки Шарля де Флакона...

Волшебную силу зеркальце получало после того, как над ним прочитают секретное заклинание. И необходимо, чтобы в тот момент в нем отражалась ваза с синим городом...

Вазу — ту, что стояла в окне дома на Садовой, — все-таки сняли для фильма. Правда, через стекло, но получилось неплохо. И вовремя сняли! На следующий день окно оказалось закрыто плотной шторой, и с той поры штору не убрали.

А в середине сентября Оля сказала Феде, Борису и Нилке:

— Мы с мамой вчера заходили в комиссионный магазин. Я смотрю: наша ваза там на полке. Ох, мальчишки, мне как-то не по себе сделалось...

Пошли вчетвером в этот магазин. Стоит ваза. И цена такая, что хоть в обморок хлопайся! Пятьсот шестьдесят рублей!

— Может, и не наша? — осторожно усомнился Нилка. В самом деле, рисунок был незнакомый. Тоже написанный ультрамарином город, но с незнакомыми домами и башнями. Похожий, но не тот. Но, скорее всего, вазу поставили просто другим боком. Ясно же, что картины были нарисованы с двух сторон и сейчас открылась та, которую раньше не видели...

Посмотреть бы для полной ясности, что с другой стороны. Однако смешно было думать, что продавщица станет вертеть ради ребят дорогую хрупкую вещь. А когда Нилка пришел в магазин с отцом, вазы уже не было.

Грустно всем стало...

А в конце сентября случилось совсем горькое событие: умерла старая учительница Анна Ивановна Ухтомцева. Соседка рассказывала: «Утром я ей молоко купила, принесла, открыла своим ключом дверь, а она лежит, будто спит. Я и не поняла сперва...»

На похороны пришло очень много народу. Федя, Борис, Нилка и Оля принесли тяжелые белые астры. Гроб стоял на длинном столе, покрытом тем самым темно-лиловым бархатом. Анна Ивановна лежала маленькая, сухая и непривычно строгая. Словно была не очень довольна, что

столько ее бывших учеников разом пришли в тесную квартиру, хотя и вели себя тихо.

В завещании, оставленном дочери, Анна Ивановна просила отпеть ее в церкви. Спасская церковь еще не работала. Отпевали в церкви на кладбище. Ребята туда не поехали. Постеснялись, да и места не было в автобусе. Они пошли к Оле и включили проектор. На экране Анна Ивановна была живая, улыбочивая, раскладывала на столе фотографии с выпускными классами... Вот ведь какая штука кино — нет человека, а он как живой...

Бабушка Аннет навсегда осталась жить в Синеграде. Там никто не умирал, несмотря на злые дела черных «детей Шумса».

В школе у Оли долго никто не вспоминал про ее летнее задание. Наконец Маргарита Васильевна спохватилась:

— Дорогая моя, а где же обещанный фильм?

Оля ответила, что, пожалуйста, хоть завтра покажет.

Для начала пожелали посмотреть фильм несколько учителей и завуч Елена Дмитриевна. Посмотрели. Хвалили. Но...

— Знаешь, Олечка, — сказала Елена Дмитриевна, — мне кажется, здесь вовсе ни к чему этот конфликтный эпизод на берегу... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Нет, не думай, что мы боимся остроты! Но фильм получился такой славный, лирический, а этот кусок... ну, он поперек всего. Лучше бы тебе убрать его перед тем, как показывать ребятам.

Оля хмыкнула. Потом заявила, что решать это одна не имеет права: снимала-то целая студия. Надо спросить ребят.

— А вы не разрешайте! — сказала она мальчишкам.

Но рассудительный Борис возразил:

— А зачем тебе этот мелкий скандал? В передаче-то фильм пойдет целиком. И тогда уж все его увидят как надо...

Фильм и после фильма...

Передачу «Вот и лето прошло...» включили в программу только в начале октября. Когда лето казалось уже давно прошедшей сказкой...

Смотрели, конечно, у Оли. Впятером (потому что и

Степка тут же) устроились на диване против цветного «Темпа». За окнами синели сумерки, свет был выключен, экран светился предварительной заставкой «Приглашаем ребят».

Все уже было известно по съемкам и предварительным просмотрам, но Оля вдруг призналась шепотом:

— Ох, мальчишки, я что-то волнуюсь...

— Фу, — храбро сказал Федя. И тоже ощутил холодок под желудком...

Впрочем, сначала передача была не про них. Ведущая — симпатичная тетенька, которую звали Валентина Гавриловна, — сказала, что после каникул прошло уже больше месяца, память о лете «отстоялась и отобрала самое интересное», и теперь наступило время подвести итоги этой важной и веселой поры в жизни школьников. Стали показывать лагерь пионерского актива. Две активистки хорошо отрепетированными словами стали рассказывать, как в этом лагере было здорово: «Мы научились внимательнее приглядываться друг к другу и к себе, лучше разбираться в жизни, сильнее ценить дружбу и человеческое общение...» Потом сбились, смутились, посмотрели друг на друга и начали говорить уже нормально, наперебой. Вспоминать песни под гитару, ночную грозу, когда от молний «аж все белое».

Затем ребята из этого лагеря — уже в студии — еще вспоминали свои дела, пели под ту же гитару, а мальчишка-поэт (небольшой, вроде Нилки) прочитал стихи:

Пролетело такое короткое лето,
Отрубили его как ударом ножа.
Вспоминаю теперь я вожатую Свету
И еще, как поймал за палаткой ежа..

Посигналил шофер наш товарищ Васильев,
И сказала нам Света «прощай и прости».
Увезли всех домой нас почти что насильно,
А ежа, разумеется, я отпустил..

— Во как надо стихи-то сочинять, — прошептал Федя Степке.

Степка сказал:

— Подумаешь. Наша передача все равно будет лучше.

...И вот он — их двор, их гараж! Солнечно, листья качаются, соседская кошка крадется к воробьям. Будто в самом деле вернулся теплый август. Так все знакомо, и в то же время странно видеть себя среди яркой зелени, одетыми по-летнему, загорелыми, нестриженными... Валенти-

на Гавриловна села у гаража на чурбак. Глянула с экрана.

— А теперь мы, ребята, во дворе дома номер двенадцать на улице Декабристов. На первый взгляд самый обычный старый двор, каких много у нас в Устальске. Но... летом здесь происходили удивительные события. Оказывается, в этом маленьком гараже работала... целая киностудия! Да-да, ребячья киностудия с забавным, но полным смысла названием «Табурет»...

И крупно, во весь экран, значок «Studia TABURET».

— У табурета — четыре ноги, поэтому он прочно стоит на земле. В студии — тоже четверо. Наверно, поэтому такая прочная, дружная собралась компания. Вот они, все здесь. И главная среди них (пусть уж мальчики не обижаются) Оля Ковалева... Оленька, расскажи нам: как появилась ваша студия?

Оля, покусывая костяшки и неловко поглядывая в объектив, рассказала, как досталась ей от бабушки камера.

— Ну, это ты про технику. А как вы все познакомились?

Тут наступила очередь Феди. Он засопел и сказал:

— Началось с того, что я чуть не переехал ее велосипедом... Но можно, я не буду показывать, как это случилось? Мне хватило одного раза...

— Мне тоже, — вставила Оля.

Все посмеялись — и на экране, и на диване.

— А ты, Нилка? Надеюсь, познакомился с друзьями без приключений?

Нилка стрельнул с экрана синими глазами и порозовел:

— С приключением. Это был с'страшный с'случай, мы застряли в лифте... — Конечно, он не стал касаться подробностей. Тем более что считалось, будто Оля и Борис их не знают...

Съемку тоже показали: как Нилка болтается на веревке перед бархатным задником. А еще — как проявляют пленку и колдуют над монтажным столиком... И наконец:

— Ну а сейчас, ребята, давайте посмотрим, что же у студии «Табурет» получилось... Я должна сказать сразу: не будьте строгими к технической стороне фильма. Ведь снимали-то его карманной камерой, на узенькую, нецветную и к тому же с просроченным сроком годности пленку. Есть на ней пятнышки, царапины, следы склеек — то, что у профессионалов было бы названо браком. Обычно такие пленки студия для показа не берет, но на этот раз мы

сделали исключение. Ведь авторы фильма — совсем юные, они только начинают свой путь в киноискусстве. И давайте будем видеть в фильме не мелкие ошибки и огрехи, а то хорошее, что сумели сделать эти ребята...

Хлоп! — заставка студии. Такая же, как значок. А потом — запрыгали вырезанные из бумаги буквы, сложились в название: «Сказки нашего города»...

На экране возник Нилка. Сидит за своей «бэкашкой», жмет на клавиши. Бегут по дисплею компьютерные строчки. Никого не забыли в титрах: ни тех, кто снимал и снимался, ни тех, кто помогал. И отдельно: «Студия благодарит за помощь в работе над фильмом Анну Ивановну Ухтомцеву». Так и не посмотрела Анна Ивановна это кино...

И вот — все видят окно. За стеклом — ваза. Стекло слегка бликует, и в нем отражаются ребята с камерой. Но это даже хорошо — будто нарочно так задумано. А потом — крупно картина города на вазе...

И Нилкин голос:

— Мы часто ходили мимо старого дома на Садовой улице. Там в окне всегда стояла ваза, а на ней нарисован был город. Мы не знаем, кто в этом доме живет и откуда эта ваза взялась. Но город нам ужасно нравился. И нам даже казалось иногда, что он — частичка нашего Устальска. Ну, с'сказка такая придумалась... Потому что в самом деле — если приглядеться как с'следует — можно ведь и на наших улицах увидеть кусочки чего-то волшебного... С'смотрите сами...

И пошли кадры под неторопливую мелодию Бетховена...

Капли падают с края водосточной трубы в дождевую лужу, а в ней — забытый кем-то самодельный кораблик... Солнце выбрасывает лучи из-за башенок на здании аптеки, и башенки эти — будто замок из рыцарской легенды... Тень узорчатых листьев на кирпичной стене, деревянная резьба на створках покосившихся ворот... Кружево оконного наличника — по нему бегают воробы.. Потом — то место на улице Садовой, где так похоже на Синеград. И еще несколько таких же уголков и переулков... Радуги в струях фонтана, где плещется малышня... Куранты на городском музее. Пушка на музейном крыльце. Нилка сидит верхом на этой древней пушке, поглядывает сверху на улицу, на берег...

А вот Нилка в своем дворе, смотрит, задрав голову, на дом, в котором живет.

— Я не люблю эти с'серые громадины, хотя сам живу в такой. Когда мне надоедает эта многоэтажная одинаковость... я знаете что делаю? Забираюсь на подоконник и оттуда пускаюсь в полет над нашим Городом... Не верите? Смотрите с'сами... — Он у себя в комнате распахивает створки, вскакивает на подоконник (никто, конечно, не видит, что на всякий случай к щиколотке его привязан прочный капроновый шнур, который держит Борис). Потом — Нилкино лицо во весь экран, рывком на зрителя: Нилка будто прыгает в пустоту. И вот он уже летит! Сперва — среди искрящегося хоровода звезд. Затем — в светлеющем небе, над снятым с высоты городом.

Хорошо летит Нилка! Ветер отбрасывает у него волосы. Постепенно разматывается, трепещет вдоль ноги марлевая лента. И наконец улетает совсем. Треплется рубашка... Нилка виден то издали, то близко — летящим как бы на зрителя. Он смеется и щурится от встречного воздуха. Из бокового кармашка на шортах ветер выхватывает и уносит бумажный клочок...

Все четверо помнят, что съемку тогда пришлось остановить. Борис подхватил бумажку.

— Нил, это что? Это тебе нужно?

Казалось бы, не нужно. Израсходованный автобусный билет. Но Нилка на своей подвеске заболтал ногами, завopil:

— Ой, не выбрасывай! Это очень с'счастливый!

И объяснил, когда его спустили:

— Видите, здесь все сходится. Серия НБ — Нил Березкин. Восемнадцать и один — это я родился восемнадцатого января. И снова сто восемьдесят один — в час ночи в восемьдесят первом году. Видите, какие одинаковые цифры слева и справа! Так ведь редко бывает... А если их сложить вместе, будет двадцать.

— А что такое «двадцать»? — спросил Федя.

— Ну... это двадцатое июня. Когда вы меня позвали с'сняться...

Все даже смутились малость. И сам Нилка. Билет вернули на место, Нилку опять вздернули на подвеске, начали снимать, как он роняет сандалию. Уронил он ее очень даже натурально. И ловко поймал обратно. Помахал рукой тому, кто бросил с земли. А в фильм перед этим вмонтировали, конечно, Степку: как сандалия шлепается рядом с ним в траву, как он хватает ее, смотрит на Нилку, бросает... И почти никто из зрителей сейчас не знал, конечно, что через минуту после этого началось на берегу.

А пока Нилка летел, под ним проплывал Город. Крыши, тополя, излучина Ковжи, бегущие по прибрежным улицам автомобили. И лучи солнца били сверху сквозь облако. И голуби кружили у пожарной каланчи, словно чайки у маяка...

Плавно, будто со специальным кинозамедлением (а на самом деле без него), Нилка приземлился в траву на пустыре у разваленной халупы. И сразу оказался в своем балахонистом свитере и широких полусапожках. С ведерком и длинной кистью.

— Знаете, почему я здесь? Мы тут встречаемся с художником, которого зовут Вячеслав Муратов. В нашем Городе много хороших людей, и Вячеслав Анатольевич — один из них. Вообще-то мы зовем его просто С'слава... Однажды он увидел меня после дождя в такой вот с'спецодежде и говорит: «Давай я напишу твой портрет. «Том С'сойер наших дней». А мне, конечно, интересно, никогда с меня портретов не писали...

И вот Слава за мольбертом, работает кистью. Это еще не настоящая картина (ее Слава пишет до сих пор), а пока набросок, этюд. Сделан крупными быстрыми мазками. Но все равно Нилка очень похож. Он стоит вполоборота, приподнял кисть, которой только что мазал забор, а веселое лицо повернул к зрителю. Будто спрашивает: «Ну, как у меня получается?» Волосы у него растрепаны пуще обычного, рукава подвернуты до локтей, на руках, на щеке, на коленках — пятна краски... Теперь этот этюд висит дома у Нилки. Рядом с копией картины Пикассо «Мальчик с собакой». Пока Слава пишет Нилку, а тот позирует, Борис и Федя стоят неподалеку. Разглядывают остатки надписи на кирпичной стене — память о фотомастерской. Нилка наконец смотрит туда же. И принимается выводить кистью на покосившихся досках забора: «Н. Е. Березкинъ»...

— Знаете, почему я это написал? Когда-то здесь стояла мастерская моего прадедушки. Он был знаменитый фотограф. Когда смотришь на его снимки, кажется, что опять летишь над городом, только уже в машине времени, в прошлом...

Нилка бросает кисть и взмывает в небо (на самом деле — обратный ход пленки; по правде-то Нилка прыгал с забора в траву). И вот он снова летит — сперва через звезды, а потом как бы над старыми, столетней давности улицами. И меняются на экране снимок за снимком... И вдруг — молодые лица: парни и девчата, целый класс.

По одежде, по прическам видно, что не нынешние, а из прошлых лет. Но уже не из таких далеких...

— А вот еще с'снимок. Но это, конечно, уже не прадедушкин. Таких фотографий много-много хранится у старой учительницы Анны Ивановны Ухтомцевой. Она полвека учила ребят в школах нашего города... — Анна Ивановна (живая, улыбчивая!) раскладывает на столе фотоснимки. Крупно видны ее чуть дрожащие сухие руки с прожилками...

— Теперь Анна Ивановна живет с'совсем одна в маленькой квартире на двенадцатом этаже, в доме номер три на улице Блюхера. Квартира с'сорок восемь.. Если бывшие ученики навещают ее, она будет очень рада...

Поздно уже навещать. Об этом ведущая скажет в конце передачи...

— Вернемся на минутку в прошлый Устальск, ладно?.. Вот, это церковь Всемиловейшего Спаса. Такой она была в те годы. Потом долго был в ней то склад, то завод, с'сломали колокольню... Но теперь восстановили...

Колокольня стоит над тополями. По лестнице поднимается человек со светлым крестом на спине. На площадке у маковки его ждет другой (это были Слава и Дмитрий)... И вот уже крест стоит в высоте, горит на нем солнечный зайчик. Люди спустились. Опрокидывается, бесшумно рушится вниз лестница... И вот двор. Несут куда-то доски, разгружают с машины кирпичи. Слава и отец Евгений (оба в клетчатых рубашках и брезентовых штанах) таскают носилки с цементом...

— В наше время люди думают по-разному. Кто верит в Бога, а кто-то нет. Но если строят церковь, то, по-моему, все делается добрее. Потому что... ну, вот посмотрите, какая внутри церкви открылась картина...

И во весь экран — роспись. А потом — крупно, по отдельности — лица всех, кто на картине... (Оля поставила тут пьесу Вивальди — ласковую теплую такую старинную мелодию.)

— Взгляните с'сами, сколько здесь доброты! Просто так и хочется оказаться вместе с этими ребятами... Вот если бы все взрослые всегда так с'смотрели на детей... — И опять во весь экран — лицо Учителя...

А затем — наплыв темноты, жесткий аккорд и горький вскрик Нилки:

— Но так — с'совсем не всегда! Бывает и по-другому! Вот как бывает в нашем городе Устальске!.. — И понеслись, замелькали те, десятки раз виденные и все равно

бьющие по нервам кадры: группа на берегу... Гневная Ия Григорьевна... Удар, снова удар. И опять, крупно — раз, два! Блестящие брызги летят из глаз тонкошеего Южакова...

— И посмотрите еще раз! Видите: в углу кадра милиционер! Подходит, глядит...

В слегка размытую, но хорошо различимую фигуру старшего лейтенанта Щагова уперлась черная стрелка (пришлось повозиться с этой комбинированной съемкой).

— Думаете, он вмешался? Заступился?.. То есть да, он вмешался: напал на того, кто снимал этот с'случай... Ну еще бы! Ведь та, кто била, — с'супруга милицейского начальника!.. И пожалуйста, не с'смеите вырезать эти кадры!..

...А потом пошла беззаботная «Ламбада». И то, что снято на улице Репина. Толпа, шашлычники, торговцы, нищий (торопливые прохожие переступают через его деревяшку). Резвятся среди материнских юбок цыганята. Разевают в призывном крике рот продавцы лотерейных билетов...

— Город живет, будто ничего не с'случилось. И здесь уже нет никакого места для с'сказки... И мы не хотим, чтобы наше кино кончалось вот так. Лучше с'снова...

И опять возникает роспись на церковной стене. Потом плавно надвигается. Мальчишка, похожий на Нилку, смотрит со стены, с экрана... А вот — сам Нилка. На поляне у забора. Ставит ведерко, кладет в траву кисть. Наклоняется, срывает пушистый одуванчик. Смотрит сквозь него на солнце... Бьют сквозь гущу семян-парашютиков лучи.

Одуванчик превращается в компьютерный рисунок — на дисплее «бэкашки». Нилка жмет клавишу. Одуванчик пропадает, вместо него рисуется бегучими линиями контур сказочного городка. Над ним появляется белый рогатый месяц. И, слизывая середину рисунка, бежит по экрану надпись: «Конец»...

Это было еще не все.

Уже в сентябре, когда записали почти всю передачу, позвонила режиссер Лина Георгиевна. Сказала, что хорошо бы снять в студии беседу после фильма. Потому что «приходится учитывать кое-какие обстоятельства».

Когда они явились на студию, там кроме ведущей Валентины Гавриловны встретила ребят полная тетя с добродушным лицом и погонами майора милиции.

— Брать будут? — без улыбки спросил Борис.

Взрослые охотно посмеялись. Валентина Гавриловна объяснила, что работники правоохранительных органов, которые работают с детьми, тоже хотят высказать свое мнение. Они ведь имеют право, верно? Сейчас гласность и свобода мнений.

Сели на полукруглый диван, у низких столиков. Включились очень яркие, греющие лицо софиты...

— Ну что ж, ребята, — сказала тетя-майорша, которую звали Полина Михайловна. — Я с интересом и даже с удовольствием посмотрела ваш фильм. Честное слово... — Она излучала этакий домашний уют, несмотря на погоны. Наверно, так и полагается работникам детских комнат. — Вы славно поработали. Местами даже талантливо... Но вот что хочу заметить. Талант — это ведь сложный инструмент. Им, как скальпелем хирурга, надо действовать очень умело и точно. Иначе можно вместо излечения принести вред...

— Короче говоря, — не выдержал Федя, — зачем мы зацепили в фильме милицию! Да?

Полина Михайловна грустно кивнула:

— Вот-вот! Этого я и боялась... Ожесточения! Вашей непримиримости к тем, кто за вас отвечает и кто вас охраняет. К педагогам и работникам милиции... Неужели вы думаете, что они — ваши враги?

— Разве кто-то говорит про всех педагогов и про всю милицию? — сказала негромко Оля. И подняла к губам костяшки...

— Вы, наверное, этого не хотели. Но ведь кино — могучее средство обобщения. И когда зрители посмотрят...

Борис глянул из-под ресниц.

— Разве зрители такие глупые? Разберутся, кто есть кто...

— Важно, чтобы вы разобрались! Чтобы в таком вот возрасте не ожесточили души ненавистью ко всем взрослым. О вас, ребята, моя тревога...

— Да? — опять не сдержался Федя. В нем начинала гореть та жгучая, «летняя» обида. — А мне кажется, о другом. Тревога-то... Чтобы у старшего лейтенанта Щагова и у Ии Григорьевны не было неприятностей.

— Вот! — с торжествующей укоризной произнесла Полина Михайловна. — Вот-вот! Значит, я права. Вы думаете об отмщении. Только о нем!.. Да не волнуйтесь, взрослые разберутся в этом случае и примут все необходимые меры!

— До сих пор разбираются, — вздохнул Борис. — А Ия Григорьевна гоголем по школе ходит. Отец говорил...

— А что же вы хотели? Чтобы ее в тюрьму? А вы думаете тот мальчик... с кем она поспорила — он ни в чем не виноват?

— А если виноват — с'разу по щекам! Да? — вскинулся Нилка.

— А если кто недоволен — тут милиционер наготове, — вставил Федя. И Полина Михайловна опять печально покивала.

— Да, трудно с вами... Ну, посудите, ребятки. Из-за одного случая (в котором вы сами тоже не совсем правы) можно ли делать широкие выводы?.. В наше время, когда милиция напрягает все силы с растущей преступностью, вы наносите ей удар со спины... Это же предательство!

— Вы с'лова выбирайте все-таки, — негромко, но отчетливо произнес Нилка.

Лицо доброй Полины Михайловны пошло пятнами (заметно на цветном экране). Но она сдержалась. Негоже педагогу в майорских погонах оскорбляться выпадами неразумного мальчишки.

— Я выбираю слова. Может быть, горькие, но справедливые... Вы должны понимать, что без милиции наша жизнь была бы просто невозможна. В конце концов, никто не отменял слова великого поэта, ставшие народной поговоркой: «Моя милиция меня бережет...»

— А что за этими словами дальше, никто не вспоминает, — задумчиво сказала Оля. Все вопросительно глянули на нее. Она объяснила: — Эту поэму Маяковского «Хорошо!» мама наизусть читала, когда в школе училась. Выступала на сцене. И потом мне рассказывала, когда я подросла... Там ведь как: «Моя милиция меня бережет». А затем: «Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо. Оч-чень хорошо...» Современные стихи, верно? Сейчас опять стараются, чтобы все шли направо. Дружными шеренгами...

«Ай да Ольга!» — подумал Федя.

Борис ее тут же поддержал:

— А кто хочет налево — тому по шее... Жезлом.

— Или по почкам, — ощутив щекотание в горле, вспомнил Федя. — Без свидетелей. И чтобы следов не было...

— Ну как тебе не стыдно! — ахнула Полина Михайловна.

— Мне стыдно? Я, что ли, бил?

Полина Михайловна мягко наклонилась к Феде:

— Мне говорили, что ты верующий мальчик и не скрываешь это...

— А почему я должен скрывать?

— Не должен... Но где же твое милосердие?

— А я милосерден... к тем, кто заслуживает.

— А как ты определяешь: заслуживает или нет? Ведь в Евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете...»

— А зачем тогда с'суды? — спросил Нилка. — И милиция?

— Мы вообще говорим о разном, — опять спокойно вмешался Борис. — Вы почему-то о милиции в целом. А мы о таких, как этот старший лейтенант...

— А знаешь ли ты... знаете ли вы... — в голосе Полины Михайловны зазвенела слезинка, — что этот старший лейтенант... что он сейчас лежит в больнице? Он был недавно ранен, когда задерживал вооруженного преступника!

Помолчали немного, потом Борис негромко спросил:

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Неужели непонятно, какой он замечательный, храбрый человек! Его представят к награде!

Федя, подбирая слова, сказал:

— Ну... наверно, он в самом деле храбрый. Трусу в милиции как работать?.. А тот преступник, он тоже, видимо, храбрый, иначе в схватку не полез бы. Значит, и его, что ли, замечательным считать?.. Храбрость она сама по себе что? Она же... ну, нейтральное качество...

— Надо еще, чтобы с'справедливость!

— Ты хочешь сказать, что он вступил в схватку с преступником несправедливо?

— Да не об этом он хочет сказать, — поморщился Борис. — Вы же понимаете... А с преступником, видать, не так страшно воевать... как с женой начальника спорить...

Полина Михайловна уже без надежды обвела юных спорщиков полным упрека взором:

— Значит, как же?.. Вам, выходит, этого раненого человека совсем-совсем не жаль?

«Жаль?» — спросил себя Федя. Надо было что-то сказать.

Но сказала Оля:

— Ну, почему же? Конечно, жаль. Ему же больно... А вам того, второго, не жаль?

— Преступника?!

— Да нет же! — опять очень звонко взвинулся Нилка. — Того мальчика, которого били!.. Показать еще раз?!

— Нет, зачем же! — всполошилась Полина Михайловна.

Однако режиссер на пульте (вот молодец!) снова пус-

тил эти кадры. Опять полетели из глаз Южакова капли-искорки.

...Валентина Гавриловна сказала, что беседа получилась интересной, хотя ее участники не во всем согласились друг с другом. Ну, это вполне естественно, когда обсуждаются такие непростые вопросы. Возможно, и телезрители захотят высказать свои мнения. Пусть они пишут по адресу: Усталъск, телестудия, редакция передач для детей и юношества...

На следующий день в школе Федю хлопали по плечу:

— Ну, дядя Федор, запузырили вы передачу! Прямо как «Пятое колесо» из Питера...

— Проблематика!

— Только зря ты так сопел и морщился...

— Попробуй не морщиться, когда тебе в рожу десять тысяч ватт... — огрызнулся Федя. Не станешь ведь объяснять, что от обиды порой перехватывало голос и намокали ресницы.

Гуга снисходительно посоветовал:

— Ходи теперь с оглядкой. Не дай Бог, если в автобусе без билета окажешься или не там улицу перейдешь. Менты — они злопамятные. И за свою корпорацию — горой...

А потом дело приняло совсем неожиданный оборот. На беду восьмого «А» немецкий в этом году преподавал у них не Артур Яковлевич, а Венера Платоновна. Артур — тот хоть и придиричивый, насмешливый, но в общем-то справедливый и без дамских эмоций. А Венера — та вся на нервах. Как заведется — уже себя не помнит. А потом: «Вон из класса!» За что и носила прозвище Фрау фон Из-класса.

И вот заметила Фрау, что Федя шепчется с соседом Димкой Данченко (как раз передачу обсуждали).

— Кроев, встань! О чем я сейчас говорила? Отвечай!

Федя, слава Богу, слышал, о чем она говорила. Ответил без ошибки. Но это лишь раздосадовало Венеру Платоновну:

— Небось новый сценарий соседу рассказывал! Как над вами, над бедненькими, учителя издеваются! Чтобы опять снять кино... на ворованной пленке!

— Че-го? — ошарашенно спросил Федя. — На какой... ворованной? Вы с ума сошли?

— Ах, я с ума сошла? Хам... А почему Дмитрий Анатольевич говорил в учительской: «Уж не на той ли пленке они снимали, что Кроев у меня летом стащил?»

— Как вы смеете... — беспомощно сказал Федя.

— Вон из класса!

Федя грохнул дверью и, пылая негодованием, кинулся искать физика. У того, к счастью, не было урока, он сидел в учительской. Дрожа от яростной обиды, Федя выговорил:

— Дмитрий Анатольевич, мне надо с вами... выяснить... Можно в коридоре?

Они вышли. Физик — добродушный, улыбчивый. Этаким свой парень-педагог, который всегда понимает мальчишек.

— Что стряслось у тебя, дружище?

— Вы говорили учителям, что я украл у вас кино- пленку?

— Ты что, юноша? С антресолей упал?

— Фрау... Венера Платоновна объявила сейчас: Дмитрий Анатольевич сказал, что Кроев летом стащил у него пленку! На которой фильм...

— А-а... — Физик ухмыльнулся. На миг его глаза неловко скользнули в сторону. — Это утром, когда наша педагогическая общественность базарила про передачу. Я сказал не «стащил», а «утащил». В смысле «унес». Что-то такое ведь было, да?

— Вы же сами мне отдали, списанную!

— Ну, отдал так отдал. По правде говоря, я не помню, такая круговерть в те дни была... Ты чего распереживался-то? У меня же никаких претензий к тебе...

— У вас-то претензий нет! А Венера...

Физик нагнулся, сказал вполголоса:

— Ну, дура же она. Это сугубо между нами...

— Вот вы так и скажите тогда! В учительской!

— Ты обалдел?

— Да не про то, что она... это... А что я пленку не брал! И чтобы все знали! А то «стащил» или «утащил»...

Дмитрий Анатольевич сузил глаза.

— Не понял. Ты что, ультиматум мне ставишь?

— Не ультиматум, а... вы тоже должны думать, когда говорите.

— А ты не должен думать, когда говоришь с учителем?

— А если учитель... можно плевать на ученика?

— Кроев! Я, конечно, добрый дядя, но...

— Я вижу, какой вы добрый... — опять сквозь царапанье слез выговорил Федя. — Наговорили на человека, а теперь... святая невинность, да?

— Дать тебе по-свойски по шее или на педсовет?

— Один уже давал... дембиль такой. Потом не обрадо-

вался. — Федя глядел в позеленевшие, как у кошки, глаза Дим-Толя. Тот сдержался.

— Отлично. Тогда побеседуем на педсовете.

— Есть еще школьный совет! Там и побеседуем! — Федя повернулся и пошел прочь.

Он спустился на первый этаж. Вспомнил, что уже пятый урок и что, возможно, Степка сидит в раздевалке, ждет.

Степка и в самом деле был там — в окружении еще нескольких второклассников. Играли в бумажные автомобильчики. Увидел, Федю, подскочил:

— Идем домой, да?

— Нет, сегодня топай один... Дай мне листок и ручку.

Устроившись у подоконника, Федя крупными буквами начертил на вырванном тетрадном листке:

«В школьный совет. От ученика 8 «А» класса Кроева Федора. Требую разбора с учителем физики Д. А. Жуховцевым. Он сказал в учительской, что я летом, во время практики, украл у него киноплёнку. Если украл, пусть докажет и пусть меня отправляют в колонию. Если этого не было, пусть при всех извинится за оскорбление. Ф. Кроев».

Свернутый вчетверо листок он бросил в ящик на втором этаже. На ящике была надпись: «Для жалоб, заявлений и предложений в школьный совет. Рассматриваются ежедневно». Да, не то, что в прежние времена. Как говорится, демократия...

После урока Федя изложил историю Борису.

— Ай да Дим-Толь, — вздохнул Борис. — Вот они какие «свои парни».

— Я ему всегда верил. Думал, правда он за ребят горой, — сказал Федя. И вспомнил: «А теперь как в песне: «Жгли предательством те, кому верили...»

— Ты только не перегорай, — попросил Борис.

— Больно надо! На совете я все равно докажу...

— Я тоже приду. Обязаны пустить, мы ведь вместе на эту пленку снимали!

Из школы пошли не домой, а к Оле. Борька сказал, что у нее сегодня четыре урока и она, наверно, уже дома.

— Надо же наконец договориться, как стыковать юго-западный лист со всей картой. Там такая каша...

— Каша... — рассеянно отозвался Федя.

— А еще... Слышь, Федь, что-то царапает меня. Почему Нилка вчера какой-то кислый был? Обратил внимание?

— Нет... не обратил. Ну, он, наверно, тоже сейчас прибежит! Узнаем...

Оля и правда оказалась дома. И сказала, что Нилка уже заходил.

— Совсем недавно. И опять ушел... Ох, он зареванный такой. Говорит, родители опять в Штаты засобирались.

Еще не легче! Сразу почти забылся скандал с Дим-Толем.

— А может, снова передумают? — беспомощно понадеялся Федя. И понимал: нет, не передумают.

Пока сидели, горевали, рассуждали про свалившуюся беду, опять появился Нилка. Насупленный и будто виноватый.

— Что, правда? — тихо спросил Борис.

— Это все мама... Говорит: «Вы с ума с'сошли! Все бумаги оформлены, это единственный с'случай в жизни...»

— А... папа? — осторожно спросила Оля.

— А он... он маму жалеет. И еще тут, как назло, музей с'согласился взять в свои фонды прадедушкину коллекцию. Мама говорит: «Теперь тебя даже эти с'стекляшки не держат...» Но папа все равно не хочет. А она: «Почему мы должны маяться в этой нищей и бестолковой с'стране?..»

«Потому что наша», — подумал Федя. Но промолчал. Нилке-то какой прок от этих слов.

Борис грустно заметил:

— А тебя, значит, и не спрашивают.

— Меня как раз с'спрашивают: «С кем ты будешь, если разъедемся?..»

«Знакомо», — подумал Федя.

Нилка сидел у стола. Он лег на стол головой и тихонько заплакал. Открыто так, не стесняясь. Его успокоили, как могли. И разошлись. Ох и тошно было...

На утро в школе Флора Вениаминовна сказала Феде:

— Зачем уж так сразу — на школьный совет? Завтра будет классный час, давай на нем и разберемся. Пригласим Дмитрия Анатольевича, Ольга Афанасьевна тоже собиралась зайти.

Федя пожал плечами. Теперь ему было почти все равно. Сверлило одно: «Нилка... Нилка... Неужели уедет?»

К концу уроков разболелась голова. Борис проводил его домой, а сам отправился к Оле. Оттуда они позвонили уже под вечер. Сказали, что Нилка сегодня не приходил, а к нему идти боязно: родители там небось выясняют отношения...

— Дядя Федор, а ты-то как?

Федя был так себе. Голова болеть не перестала, температура — тридцать семь и пять. Если бы не классный час, можно было бы завтра с полным правом не пойти в школу. Но ведь решат, чего доброго, что Кроев струсил.

«А может, с утра отлежусь. Завтра ведь со второй смены».

Такое дурацкое было в школе № 4 расписание: по субботам восьмые классы учились с двух часов. Причина тут была в тесноте, нехватке кабинетов и прочих неурядицах. Народ роптал. Директор Ольга Афанасьевна и учителя уговаривали: дело, мол, временное, только на первую четверть...

Утром и в самом деле стало полегче. В середине дня, правда, опять загудела голова, но Федя терпеливо отсидел четыре урока. Классный час был пятым.

Федя понимал, что при своем «вареном» состоянии да еще при беспокойных мыслях о Нилке едва ли он сегодня сумеет крепко воевать за справедливость. Но когда все расселись, когда появились Дим-Толь и Ольга Афанасьевна, Федя опять ощутил нервное возбуждение. Жгучесть недавней обиды.

А Бориса Хлорвиниловна не пустила: «Извини, голубчик, но у нас автономия и суверенитет, а ты из другого класса... Ну и что же, что друзья! Потом все узнаешь...»

Дим-Толь, усмехаясь, устроился на задней парте. Ольга Афанасьевна села у стола.

— Ну, начнем, — вздохнула Флора Вениаминовна. — Хотела я говорить про успеваемость, да сегодня не до того. Иди, Федя, сюда, рассказывай...

И Федя вышел к доске. И сбивчиво, но с накалом поведал, что случилось позавчера. Дим-Толь при этом смотрел в темное окно. С таким лицом, будто ему хочется напистывать.

Флора Вениаминовна прочитала Федино заявление в совет.

— Ну, времена пошли, — бросил с места Дим-Толь. — Скоро первоклассники в ООН писать будут.

— Дмитрий Анатольевич, ну, зачем вы так, — укорила Ольга Афанасьевна. — Мальчик действительно имеет право, если считает, что он обижен. Давайте разберемся...

— Да в чем разбираться-то? Я его разве обвинял? — Дим-Толь разгорячился не хуже восьмиклассника. — Я сказал «утащил пленку». В том смысле, что забрал с

собой. А не украл... А он в коридоре берет меня за грудки и кричит: «Кайся при всех!» Я кто ему, мальчик, да?.. И я действительно не помню, разрешал ли я ему брать пленку. Помню, что он унес, но с позволения или, так сказать, по своей инициативе, не знаю... Да мне не жалко, списанная же!

— Да в том, что ли, дело, жалко вам или нет! — вскипел Федя. — Меня теперь вором называют! По вашей милости!

— Кроев, Кроев, — сказала Хлорвиниловна.

— А чего «Кроев»? Я... официально требую извинения!

— Ну-у... — Дим-Толь поднялся. — Если так официально, тогда я тоже... Докажи, что эту пленку я тебе подарил. Есть свидетели?

— Дмитрий Анатольевич... — с улыбкой произнесла Ольга Афанасьевна.

— Нет, я официально: есть свидетели, Кроев?

«А совесть? Есть она у вас?» — чуть не сказал Федя. Но понял, что вот-вот разрешится от такого подлого приема. И тогда в классе раздалось:

— Я свидетель. — И встал Гуга.

Ну уж чего-чего, а такого не ждал никто!

— Ага, я свидетель, — в тишине подтвердил Гуга. — Вы, Дмитрий Анатольевич, разговаривали с Шитиком... с Кроевым то есть в кабинете, а я в это время отодвигал от дверей куль с алебастром. Ну и весь разговор слышал. Вы говорили: «Да забирай ее, все равно это мусор». Ну, в общем, такой был смысл... Официально подтверждаю...

Опять повисла тишина. Вопросительная. Чем же, мол, теперь это кончится?

Дим-Толь иронически развел руками.

— Ну, если так... мы живем вроде бы в государстве, которое борется за звание правового. Вынужден принести Кроеву свои извинения. А засим — честь, как говорится, имею... — Усмехаясь, он сделал поклон и зашагал из класса. Все молча смотрели ему вслед. А когда вышел, загалдели — дело кончено, можно по домам. Хлорвиниловна пыталась было угомонить «неуправляемую массу»:

— Подождите! Еще вопрос об итогах сентября... А впрочем, ну вас, убирайтесь... Кроев, ты доволен?

— Вполне, — буркнул Федя.

Бориса в коридоре не было. Не стал ждать, значит. К Оленьке небось рванул... Ну и правильно! Как там Нилка?

Федю догнал Гуга.

— Вот так, старик. Выручил я тебя?

— Выручил... Даже не ожидал. Сколько я должен? — И вспомнил, как в сентябре честно вручил Гуге пятерку за летнее избавление от шпаны. Вернее, четыре пятьдесят. Полтинник-то Гуга был должен с июня.

— Нисколько. За справедливость бьемся бескорыстно.

— А ты уверен, что тут справедливость? — усмехнулся Федя. — Ты же наугад... Не был ты у двери и разговора не слышал.

— Не слышал. Но я же точно знаю, что он был.

— Откуда?

— Ну, Шитик ты мой ненаглядный! Посмотри на себя. Разве ты похож на тех, кто ворует в школьных кабинетах учебное имущество?

Федя уловил у Гуги свои собственные интонации. Сказал с досадой:

— А сейчас по внешности не определишь.

— А я не по внешности... Ты хороший парень, на таких надежда в будущем...

Федя не обиделся на насмешливо-снисходительный тон. Скорее, удивился:

— Надежда? А разве не на деловых людей... как ты?

— Это само собой, — с удовольствием согласился Гуга. — Но такие, как ты... без них тоже нельзя. Кто-то должен думать и о душе. А то вымрем ведь... Ну, будь! — И ушел.

Федя побрел в раздевалку, размышляя, куда пойти: домой или к Оле? У гардероба его окликнула Ольга Афанасьевна:

— Кроев! Зайди быстренько в мой кабинет.

Значит, ничего не кончилось? Он пожал плечами. Извинение извинением, а сейчас начнется воспитание. Он пошел рядом с директоршей. И вспомнилось:

— Ольга Афанасьевна! А ведь я и вам говорил, что Дим-Т... Дмитрий Анатольевич мне пленку отдал! Летом рассказывал, когда мы насчет штор в школу приходили! Разве вы забыли?

— Верно! Да-да-да, был разговор... Ты прибежал весь такой... пылающий идеей. Веселый, загорелый, в трусиках. И Боря Штурман с тобой...

— Ну вот! А теперь...

Она поняла наконец:

— Да ты что! Думаешь, я тебя на проработку веду? Тебя кто-то по телефону разыскивает. Очень срочно...

Ох, что опять случилось?

Звонила Оля:

— Федя, а Боря с тобой?

— Нет! Я думаю, к тебе побежал... Ты что, из-за этого звонишь в кабинет директора?

— Федя... Нилка пропал...

— Как пропал?

— Ну, так... — она всхлипнула. — Его папа звонил. Ушел утром в школу и до сих пор не вернулся...

Нилкины молитвы

Все-таки сбился он, этот страшный сон, который не раз видел Федя. Исчезновение, мука неизвестности. Правда снилось про Степку, а произошло это с Нилкой. Но Нилка... он ведь тоже почти как брат. И от мысли, что, может быть, нет его уже на свете, заходило сердце...

А каково отцу его и матери?!

...Выяснилось, что в школе Нилка был, отсидел вместе со всеми четыре урока, потом оделся, вышел на улицу, и больше никто Березкина не видел. Теперь, к вечеру, уже обзвонили или обежали всех его одноклассников. Никаких следов. Звонили и в милицию. Сперва дежурный успокаивал: не ночь же, мол, еще, чего паниковать! Гуляет где-нибудь пацан. Кое-как убедили, что не такой это «пацан», который где-то шастает в одиночку, он всегда с друзьями. Дежурный «сигнал принял». Обещал звонить, если что выяснится. У Березкиных телефона не было, дали номер знакомых, которые жили друмя этажами ниже. Никто, конечно, туда пока не звонил.

Злорадствуют теперь небось в милиции: это вам не кино снимать! Как беда стряслась, к нам же и кинулись! Да черт с ними, пусть злорадствуют! Лишь бы Нилка нашелся!

Когда Федя, Борис и Оля прибежали к Березкиным, Нилкина мать плакала не переставая. Аркадий Сергеевич старался держаться спокойно. Однако говорил уже без всякой уверенности:

— Ну, ладно, ладно, Роза... Найдется же... Может, решил прокатиться за город, у мальчишек такое бывает... — И снова спрашивал ребят: не говорил Нилка вчера о каких-нибудь своих планах, не намекал ли на что-нибудь?

Нет, не говорил, не намекал. Только горевал о том, что

мать изо всех сил настаивает на отъезде. Да и какие могли быть у него планы, отдельные от Бориса, Оли, Феде? Немыслимо это. Если только... Если...

Борис первый решился на вопрос:

— Аркадий Сергеевич.. А вдруг он нарочно? Ну, чтобы вы не увозили его... и не расходились?..

Нилкин отец глухо сказал:

— Я уже думал... Неужели Нил способен на такое?.. — Руки и очки у него дрожали.

«Вы же способны... так его мучить...» — подумал Федя.

Сиди не сиди, горю не поможешь. И где искать — не придумаешь. Пришлось расходиться по домам. Нилкин отец обещал, что позвонит Феде сразу, хоть среди ночи, если что-то станет известно.

— И вы звоните, если вдруг что... В любое время. Хозяева телефона предупреждены, они хорошие люди...

На улице была совсем ночь. То есть, конечно, вечер, но черный и звездный. Звезды дрожали среди сухих кленовых листьев. Листья то и дело срывались, с шорохом падали в темноте. Казалось, что сами звезды шелестят...

А если... если все-таки Нилкин страх был не напрасен? Может, не зря на нем звездная метка?.. Недавно по телевидению выступал опять один специалист по НЛО, заявил снова, что несколько тысяч землян в прошлом году исчезли так необъяснимо, что без пришельцев тут явно не обошлось...

Видно, у всех появилась одна и та же мысль (очень уж яркие были звезды). И, как бы заранее отбрасывая такую фантастику, Борька сумрачно сказал:

— Надо все-таки думать о реальных вариантах.

— Не мог он сбежать, мальчишки. Как это — не сказавши нам! Он всегда все доверял.

— Доверял, пока имело смысл, — возразил Федя. («Имело с'смысл», — горько отдалось в нем). — А сейчас то он же прекрасно знал, что мы будем отговаривать, а помочь ничем не сможем... Или он просто подводить нас не хотел. Решил спрятаться где-нибудь и переждать, пока родители не помирятся и пока мать не раздумает ехать...

— Где он мог спрятаться? В лесу, что ли? — сказал Борис. — Не лето ведь...

Так они шли по улице Блюхера — еле двигая ногами, с грузом тяжело навалившейся тревоги. Феде представилась почему-то сделанная в лесу хижина — этакая груда веток, в ней черная нора, из норы выглядывает в своей вязаной

шапочке-пирожке Нилка... Отсюда мысль скользнула к другой норе — в зарослях на берегу.

— Слушайте... А что, если он решил спрятаться поближе? В подземном ходе, у церкви! Помните, там в одном месте сбоку углубление? Ниша такая, будто комнатка крошечная... Можно несколько дней пересидеть...

Борис вздохнул.

— Я понимаю, что шансов мало... — понуро согласился Федя. — Но вдруг? И... надо же где-то искать...

— Мы же не найдем сейчас на берегу эту дыру, — сказала Оля. — Ни фонаря, ни спичек...

— А с берега и не надо! — Федя оживился. Потому что любое действие дает хоть какую-то надежду. — Можно же из церкви! Расскажем все отцу Евгению...

— Так он там нас и ждет, — сказал Борис.

— Но там же сторож есть! Спросим у него, где отец Евгений живет, сходим... Ну, надо же что-то делать!

Борис решительно ускорил шаги:

— Пошли.

В кирпичной сторожке, что стояла в углу церковного двора, светилось маленькое окно, закрытое изнутри газетой. Федя и постучал в это окно — без раздумий. Когда такое дело, тут не до стеснения.

Почти сразу послышалось через дощатую дверь:

— Иду... Что за гости?

Голос знакомый, не ошибешься...

— Дядя Женья!

— Отец Евгений!

— Мы по делу! — сказал Борис.

— Входите... А я сегодня здесь ночь коротаю. Сторож отпросился, а кому-то надо караулить...

В побеленной комнатке, с иконой в углу, с конторским столом, с раскладушкой, накрытой спальником, и с обшарпанными стульями, горела настольная лампа. Отец Евгений — в поролоновой куртке, солдатских брюках и сапогах — сел на заскрипевшую раскладушку, поправил блевшие очки.

— Рассаживайтесь, пташки вечерние... Что случилось-то?

...Он не удивился рассказу. Будто ждал чего-то подобного. Насупился, снял очки, устало потер глаза. Потом сказал:

— Ход с той стороны заложен кирпичом. Два дня назад. С лета собирались, а тут наконец пришлось... А с нашей стороны давно стоит железная дверь...

Оля приложила к губам костяшки. Охнула тихонько.

— А если он... Он ведь не знал про это. Вдруг полез искать проход и сорвался? Там ведь круто...

«Не так уж круто...» — подумал Федя. Отец Евгений качнул головой:

— Он знал, что проход заложили.

Борис вскинул ресницы-щетки.

— Откуда знал?

— Он приходил пару дней назад, — неохотно объяснил отец Евгений. И я оказал ему...

— Один приходил, без нас? — вырвалось у Феди с ноткой ревности. Хотя до того ли было...

— Да... Так получилось. — Отец Евгений, видимо, не хотел говорить про это.

Не то чтобы подозрение, но чувство какой-то неясности, недоверчивости появилось у Феди. Но расспрашивать ни он, ни другие не посмели. Федя только сказал упрямо:

— Там ведь могла появиться и другая дыра. После оползня. И Нилка мог найти...

Конечно, это была почти полная невероятность. Все равно что пришельцы... Но отец Евгений вдруг быстро встал.

— Пошли. Дело такое, надо проверить самый крошечный шанс... Пойдите, фонарик возьму...

При свете фонарика не разглядеть было, открыта ли на стене роспись. Блеснули только оклады уже развешенных кое-где икон... В люк теперь было вделано большое кольцо. Отец Евгений поднял крышку, стал спускаться первым...

Через несколько метров показалась решетчатая дверь, сваренная из толстых арматурных прутьев. Отец Евгений отпер висячий замок... Путь до новой кирпичной кладки не занял много времени, хотя двигались медленно — оглядывали стены: нет ли где случайного лаза на берег? Не было...

Пока шли вперед, была еще какая-то, пускай хоть самая крошечная надежда. А обратно — совсем похоронный путь.. Вот опять полукруглая тесная ниша, где Федя думал отыскать Нилкино убежище. Фонарик снова метнулся лучом по углублению, Пусто. Лишь мусор на кирпичном полу, бумажки какие-то...

— Стойте! — Федя подхватил с пола короткую бумажную ленточку. Поднес к фонарику. Молниеносное предчувствие не обмануло:

— Это же Нилкин! Смотрите, его счастливый билет! Он его всегда с собой носил!..

Отец Евгений опять, кажется, не удивился. Впрочем, лица его не было видно. Он проговорил негромко:

— Вон как... Значит, обронил в тот раз... Пойдемте, я вам, ребята, все расскажу. А то, чего доброго, вы меня в похитители запишете. А дело тут совсем другое...

Вернулись в сторожку, расселись в нетерпеливом напряжении. Отец Евгений сказал виновато:

— Обещал я ему молчать про это, да сейчас не тот случай. К тому же вы его друзья... В общем, виделся я с Нилкой в эти дни дважды. Вернее, даже не «в дни», а в один день, во вторник... Сперва, до полудня еще, его ко мне Дима привел. Ну, Дмитрий, как вы его зовете... «Вот, — говорит, — Нил тебя спрашивает...» Я смотрю, а у Нилки капли на ресницах и лицо такое... В общем, ясно — неладно что-то у мальчонки. «Что, — говорю, — Нилушка, случилось? Беда какая?» А он спрашивает, будто через силу, тихо так: «Дядя Женя, вы меня можете окрестить, чтобы я стал полноправный верующий?» Я растерялся малость. «Ну, — говорю, — вообще-то могу, конечно. Только это ведь в один момент не делается. Родителей спросить надо... А чего ты вдруг так, со слезами?..» Тут он расплакался вовсе... И рассказал про то, что у него дома... Ну, вы про это не хуже меня знаете... Капли роняет и говорит: «У меня безвыходная ситуация. Никто из людей уже помочь не может, а к Богу я, наверно, не имею права обращаться, раз некрещеный...» Он ведь умеет иногда вот так обстоятельно выражаться. В ином случае и улыбнуться бы не грех, а тут у меня самого чуть не слезы к горлу. «Нилушка, — говорю, — к Богу любой обращаться может, если с чистым сердцем... А к тому же и я помолюсь, чтобы миновали тебя всякие горести... А еще, — говорю, — давай-ка я зайду на днях к твоим родителям. Ежели не как священник, то просто как твой знакомый, которому твое горе поведал. Тогда и побеседуем про все...» Конечно, я отговаривать Нилкину мать не помышлял. Да и какое право я имею? Может, им и впрямь там счастье судьбой предназначено, в Америке-то... Но думал, хоть успокою мальчонку малость... Смотрю, он повеселел вроде бы. Улыбнулся даже. «Ладно», — говорит. И ушел...

— А потом? — нетерпеливо спросил Федя.

— А потом... это уже под вечер... От двери-то от той подземной проводок идет, сигнализация самодельная,

Вячеслав ее наладил на всякий случай. Ну и сработала. Тот же Дима пришел: «Звонит», — говорит. А люк в ту пору как раз открыт был, спустились мы неслышно, смотрю, у решетки копошится кто-то маленький. Увидел нас, дернулся было бежать. Потом замер. Ну, я сразу понял. «Нилка, — говорю, — постой...» Отпер дверь. Он стоит, голову опустил. Потом прошептал: «Простите, пожалуйста, я не знал, что теперь здесь заперто...»

«А зачем, — говорю, — ты тайком-то, под землей? Что с тобой, — гворюю, — Нилушка, такое?»

Ну, и признался он, когда уж я его сюда привел. Сказал, что хотел помолиться в церкви совсем один. Потому что, если при народе, то Бог, говорит, может и не услышать его, некрещеного. А вот так, в тишине... вроде бы с глазу на глаз разговор с Создателем получится. И надо, чтобы именно в церкви, в доме Господнем. «Ох ты, — думаю, — вот как скрутило ребенка горе, если он с такой отчаянностью ищет выход...» И прошу его: «Успокойся, давай поразмыслим, как твоей беде помочь...» А что тут можно сделать?.. Нилка посидел, помолчал и вдруг спрашивает:

«А человек имеет право сам себя окрестить, если очень хочет?»

«Как это?» — говорю.

Он и рассказал... Днем, когда шел от меня, оглянулся на церковь. С утра дождь шел, а к полудню прояснило, небо синее, солнышко, листья желтые горят. У изгороди вода скопилась, в ней лучи играют и крест с колокольни отражается. Я это и сам видел... Ну и, как я понимаю, получился у Нилки такой проблеск, движение души... Подбежал он к этой луже, где крест отражался, встал на колени, руку смочил, брызнул себе в лицо. Слышал раньше, что водой крестят... Ну, вот и решил... И меня спрашивает:

«Это считается?»

Что мне делать было? Вижу, он совсем на нерве, как на тоненькой ниточке. Взял грех на душу... а может, это и не грех...

«Ладно, — говорю, — временно считается... Пойдем...» — И повел в церковь. Затешил свечку у образа Богородицы, сотворил молитву. «Теперь оставайся один, как хотел. Не побоишься?»

Он удивился.

«Чего же, — говорит, — бояться-то? Здесь разве может быть какое-то зло?» — И остался... Я минут через пятнадцать думаю: пора пойти за ним, но он сам пришел сюда.

Спокойный такой, только видать, что плакал недавно. Спрашивает:

«Это ничего, что я свечку гореть оставил?»

«Ничего, — говорю. — А ты, если захочешь, приходи сюда, через подземный ход больше не лазь. Мы его завтра с утра кирпичами заделаем... И заделали... А в тот вечер я его до самой квартиры проводил. Только родителей дома не оказалось. «Ну, ладно, — думаю, — в другой раз приду. — А на следующий день закрутили дела-заботы. Перегородку ставили временную, пока иконостаса нет, иконы развешивали. Скоро службы начнем, хотя и не кончили ремонт. Первая в день Покрова Богородицы будет... А тут еще оба мальчишки заболели, они у меня двойняшки трехлетние, все у них одинаково, даже с температурой валяются вместе... А про Нилку решил — зайду в понедельник... Знать бы, как обернется...

И опять тяжелая тревога легла на всех.

Борис вдруг вспомнил:

— Вторник — это ведь еще до передачи. А нам Нилка только в четверг про отъезд сказал. Про все эти споры... До того держался, значит. Молчал...

— Его понять можно, — вздохнул отец Евгений. — Бывает, что поделишься горем, и легче тебе, а бывает наоборот: и у тебя горя не убудет, и другим еще тяжесть. Он небось думал: чего зря друзьям душу томить, все равно помочь не смогут... Может, боялся даже...

— Чего боялся? — удивились Оля и Федя.

— Как вам сказать... Отчуждения, может быть. Что вы решите, не вслух, а про себя: уезжает, ну и что теперь, пусть... И пойдет по дружбе такая холодинка, трещина...

— Ну что вы такое говорите! — с упреком сказала Оля.

— Нилка так не подумает, — поддержал Борис.

Но Федя в глубине души почувал, что отец Евгений, может быть, и прав. Нилка ведь такой: иногда западет ему что-нибудь в голову, и сам он этому верит...

— Домой вам пора, люди, — тихо напомнил отец Евгений. — Самих-то вас небось тоже родители ищут.

— У меня мама на спектакле, — сказала Оля.

— А за нас, если мы с Федором вдвоем, никто не беспокоится, — хмуро объяснил Борис.

— Пойдемте, провожу немного... — Отец Евгений встал. — Надо надеяться. Может, скоро найдется Нилка живой и невредимый. Господь милостив...

— Если Господь милостив, почему вокруг... столько всего?... — негромко сказала Оля.

— Потому что люди жестоки...

Двинулись к двери, но посреди сторожки отец Евгений остановился, обернулся к маленькому образу Спаса в углу. Перекрестился. Вполголоса произнес несколько слов. «Спаси и сохрани», — услышал Федя. Тогда он тоже перекрестился — с той же мольбой в душе, без слов. И без всякого стеснения. Борис с Олей стояли у него за спиной. Феде показалось, что они тоже двинули руками.

Хотя Борис и говорил, что дома не волнуются, на самом деле тревожились. Но ругать Федю не стали, знали уже про Нилку. Мама только сказала:

— С ума сойти можно. Один пропал, да и вас еще носит где-то. Борина мама уже звонила с автомата...

Надо было держаться. Федя попробовал даже поужинать. Ничего не лезло в горло. Потом с ним заговорила Ксения. Они с Ксенией еще в сентябре постепенно помирились. Теперь она спросила с заботой:

— Ну а как решилось в школе-то? С вашим физиком?

— Что? — не понял Федя. Потом только рукой махнул. Пустяшной такой казалась теперь эта история. Все мысли были про Нилку.

Отец сказал:

— Я тоже в милицию звонил. И... в справочное о несчастных случаях. «Ничего, — говорят, — неизвестно»...

Было около одиннадцати.

Молча, печально, понимающе смотрел на Федю Степка. Не приставал. Наконец спохватились, погнажи его спать...

Федя посидел еще. Рассеянно, не читая, полистал книгу «Малахов курган» писателя Григорьева. Потом лег, не раздеваясь. Выключил свет.

И потянулась эта изматывающая душу ночь. Эта попытка страшным незнанием. Это мучительное, почти физически ощутимое старание нащупать Нилку чувством и сознанием в пространстве, связаться с ним невидимым проводом: «Где ты? Что с тобой?» Но этот маленький локатор был бессилен в похожей на вечную тьму неизвестности...

Но ведь где-то же он есть, Нилка!

Прячется в каком-нибудь закоулке?

Трясется в ночном поезде?

Бредет, заблудившись, в лесу?

Или... может, правда летит где-то в космосе нездешний звездолет с маленьким пленным землянином на борту?

Ну, ведь бывает же, бывает какая-то телепатическая

сила, когда, если отчаянно хочешь, можно получить отклик от того, кого ищешь!

А если... если уже некому откликаться?

Какой-нибудь гад, садист, шизик, вроде того Фомы, или просто грабитель затащил в подвал и...

Или подлый, трусливый водитель грузовика. Зацепил на повороте, видит, что конец мальчишке, кинул в кузов, — и в лес, чтобы спрятать следы... Писали и про такое в газетах...

Если вдруг звонок и... «Вы можете опознать мальчика? Лицо, оно... ну, вы сами понимаете... На ноге несколько родинок, и одна — в светлом кружке величиной с гривенник...»

Дикие мысли, да? Ненормальные? Но ведь дико, ненормально и то, что Нилки нет... Нет... Нет...

Господи, хоть бы утро скорее!.. А что утром?

Федя задремывал иногда, и один раз показалось, что **вякнул** в прихожей телефон. Федя выскочил, схватил трубку. Длинный равнодушный гудок...

Под утро он все-таки заснул. И приснилось, будто Нилка в самом деле улетел на звездолете. Но без похищения, добровольно. И не в другие миры, а в Америку. И что прислал письмо с фотоснимком. Снимок был на толстом картоне, как старинный. На обороте — всякие завитушки, медали и надпись золотом: *Nilъ Bereskinъ & С°*. Сам Нилка на карточке был мало похож на себя: слишком взрослый, гладкая прическа с пробором, белый отутюженный костюм, теннисная ракетка в руке. Этаким юный миллионер из Флориды... Ну да ладно, главное, что нашелся! И полному облегчению мешало лишь глубинное понимание, что это все-таки сон...

...Телефон трескуче взорвался в шесть утра. Федя вылетел в прихожую, рванул трубку.

— Федя?! Это Оля! Федя, мальчик прибежал! Из того интерната! Ну, тот самый, Южакон! Говорит, Нилку поймали большие ребята, избили и заперли! Он и сейчас там...

— Живой?!

— Федя! Я ничего не знаю! Беги сюда!

— Ты позвонила Березкиным?!

— Не отвечает телефон! Или отключили, или спят!

— Хватай мальчишку и давай туда! К Нилкиным родителям! Без взрослых не справиться! Я догоню!

— Федя, он еле стоит! Южакон... Я не знаю, что делать... — Она, кажется, плакала.

— Бегу!!

Главное, что нашелся! Ну, не насмерть же они его там!.. У, сволочи!.. Ладно, все потом! Главное — спасти! Скорей!! ...

Мама, отец, Ксения уже выглядывали из дверей. Запрыгал на пороге, натягивая колготки, Степка.

— Федя, я с тобой!

— Степка — ты к Борису! Пусть они с отцом на мотоцикле — к Ольге! Если опоздают — то к Березкиным!..

Ботинки, куртка, шапка... Что там мама кричит вслед? Какой еще шарф!

Свинство какое — лифт, конечно, занят! По лестнице, через пять ступеней... На улице еще темно... Резкий воздух осени, запах палых листьев забивает легкие... Квартал, другой, третий... Садовая... Декабристов... Калитка, дверь... Не надо звонить — Оля на пороге...

На кухне горел свет. Южаков — со слипшимися волосами, в порванной школьной форме — сидел, привалась к стене. Видно, так, без верхней одежды, и прибежал. Оли на мама подсовывала ему кружку с чем-то теплым. Южаков легонько мотал головой. Увидел Федю, слабенько так улыбнулся, виновато даже...

У Оли глаза и правда были мокрые.

— Федя, они его на улице после уроков поймали! Нилку! Утащили в интернат, в подвал, а там...

— Кто утащил?!

— Большие ребята! Любимчики Ии Григорьевны! Она ведь одних лупит, а других пригревает, разрешает им все, они там хозяйничают... Вот они и решили отомстить за нее! За кино! Подкараулили Нилку... Их много было, он не вырвался... А потом били в подвале. Говорят: «Заложника взяли»... И Павлика били...

«Павлик — Южаков», — понял Федя. Сердце колотилось, он старался дышать ровнее, чтобы восстановить ритм.

— ...Сперва их вместе держали, а потом Павлика наверх увели, в спальне заперли, а то воспитатель хватится. А Нилку внизу оставили... — Оля опять всхлипнула.

— В милицию позвонили?

— Мама звонила. Там дежурный говорит: интернатские дела решайте с директором. А то, говорит, мы приедем, а про нас потом в газету: милиция врывается в детские учреждения...

Павлик вдруг сказал:

— Они днем нас заперли... Придут, побьют, потом

опять запирают... Там кладовка такая, в ней маты старые... Но его не сильно били. Тех, у кого родители, боятся бить сильно... А я утром убежал из спальни. Ключ у них украл... от кладовки.

— Чего же ты Нилку-то не выпустил? — возмутился Федя.

— Меня бы поймали, если коридором... А я из спальни в окно...

— Он весь в синяках, — сказала Оля. — Его в постель надо. И врача...

Павлик с трудом встал.

— Вы без меня не найдете там... в подвале. И никто не покажет...

— Господи, да что же это... — совсем как Борькина бабушка, охнула Олина мама.

— Сейчас Борька с отцом прикатят!.. Ой, а если у них опять бензина нет?.. Ольга, а «Росинант» у тебя в гараже?

— Да!

— Ты... — Федя с беспокойством, с боязнью даже взглянул на Южакова, — удержишься на багажнике? Тут недалеко.

— Да.. — Южаков сжал губы. Маленькое треугольное лицо его казалось твердым. Красивым даже. На экране этого не было заметно, а тут...

— Ты как Ольгу-то нашел? Почему сюда прибежал?

— А по телику тогда... адрес сказали. Декабристов, двенадцать...

— Оля, куртку ему дай...

— Сейчас!

— Штурманы если приедут, пусть жмут к Березкиным... Или в интернат. Дядя Лева знает!.. Павлик, идем...

Растекалась по улице мутная синька октябрьского рассвета. Но сумрачно еще было, встречные машины ехали с фарами. Федя налегал на педали с яростной силой. Колесо в бок, но пусть... Скорее!.. Сейчас — к Березкиным, потом с Нилкиным отцом — в интернат! Можно будет поймать такси или попутку...

Сидевший на багажнике Южаков сперва крепко держал Федю за бока. Но на полпути руки его ослабли. Он качнулся, сбив равновесие. Федя тормознул.

— Подожди, — выдохнул Павлик. — Я не могу... Голова кружится. — Он сполз с багажника, сел на край тротуара.

— Недалеко уже.. — беспомощно сказал Федя.

— Ты... давай один... А потом за мной вернетесь...

Но как Федя мог оставить его? Он отчаянно оглянулся. Ну, хоть кто-то бы подошел, помог! Пускай даже милиция! Так нет же, безлюдная улица...

Слева уходил к берегу Фонарный переулок. Мимо церковной ограды. Она всего в квартале отсюда! Может, судьба...

— Встань, — тихо, но решительно сказал Федя. — Держись за меня. Тут всего сотня шагов.

Он кинул руку Павлика себе на плечи, левой рукой схватил его за туловище. Поднял. Правой взял за руль велосипед.

— Пошли.

— Ага... Я иду...

Вот, наконец, и церковный забор. Федя посадил Южкова на кирпичный фундамент.

— Жди здесь. Я быстро...

Вот удача-то: в окне сторожки свет! Федя забарабанил в стекло. И сразу рапахнулась дверь, без вопроса. Будто отец Евгений ждал.

Он был теперь не в куртке, а в рясе, только без креста. Наверно, собрался куда-то. В перерывах между ударами сердца Федя выговорил:

— Нилку избили и заперли... интернатские... Он сейчас там... Мальчик прибежал оттуда, он тут. Только слабый, идти не может... Где ваш мотороллер?

Ни вопроса, ни лишнего слова в ответ. Школа Афгана? Или просто давняя привычка спасать друзей?

— Нет мотороллера... Идем... Стой, дай запру велосипед... Все, пошли!

Южаков сидел, прислонившись к решетке. Не удивился, увидев священника. Может, уже не было сил удивляться.

— Сидите здесь! — Отец Евгений бегом кинулся к обочине. Потому что (бывает же и везение в жизни!) метрах в ста метался, приближаясь, двойной огонь автомобильных фар.

Федя не послушался, тоже кинулся к дороге.

Отец Евгений взметнул руки (крыльями взлетели рукава), скрестил их над головой, развел в стороны...

Не на всякую просьбу отзываются водители, обычно проскакивают без задержки мимо «голосующих». Но, с другой стороны, часто ли бывает, чтобы останавливал машину священник? Да еще вот так, с явным сигналом о беде!.. Старенький «Москвич» завизжал тормозами. Откинулась дверца.

— Товарищ! — нагнувшись, сказал отец Евгений. — Мальчишка в беде, его избили и заперли хулиганы. Надо спешить, помоги, товарищ...

— Садись!

— Сейчас! Там еще дети...

Отец Евгений бегом вернулся к ограде, подхватил Южкова, принес к «Москвичу».

Водитель открыл заднюю дверь.

— Ребят давай назад, а сам со мной. Покажешь...

— Улица Королева... — слабо сказал, уже валясь на сиденье, Павлик. — Интернат номер два...

Отец Евгений втиснулся рядом с водителем, захлопнул обе дверцы.

— Я знаю, малыш, я покажу...

Павлик слабо потянулся к нему рукой:

— Ключ возьмите... от той двери...

Машина рванулась...

И в эти минуты, в отчаянной тревоге за Нилку, в напряжении от того, что близится развязка, толкалась в Феде и еще одна — казалось бы, посторонняя — мысль: о слове «товарищ», как бы взорвавшемся своим изначальным смыслом.

Ведь как теперь обычно? Вот так:

«Товарищ председатель школьного комитета! Классы средней школы номер четыре на торжественную линейку...»

«Товарищи, товарищи! Куда вы прете, соблюдайте порядок!..»

«Товарищ старший лейтенант! А этого-то, который изпод замка сбежал, не нашли еще?..»

Но ведь было же и по-другому! Ведь еще князь Святослав говорил дружине: «Товарищи...» И адмирал Нахимов матросам: «Товарищи! Враг подступил к Севастополю! Не посрамям Андреевского флага...»

В зеркальце у переднего стекла вздрагивало лицо пожилого водителя. Вернее, лоб и внимательные глаза за очками. Что-то знакомое в этих бровях, очках, взгляде... Уж не тот ли прапорщик, что когда-то летом купил по Фединой просьбе ремень в Военторге?

Водитель ни о чем не спрашивал. Гнал на всю железку. Вот сейчас, очень скоро все будет ясно... А если... Страшно сделалось так, что уж лучше бы ехать подольше, оттянуть решающий миг... Но «Москвич» резко затормозил у входа в типовое школьное здание.

Было уже почти светло.

Отец Евгений рывком выбрался из машины. Федя помог вылезти Южакову. Тот встал, покачнулся. Отец Евгений опять взял его на руки.

— Помочь вам там? — спросил водитель.

— Не надо, мы сами...

— Подождать?

— Подождите, если можете...

Коридор встретил их казарменным интернатским запахом — от близкого туалета, от несвежей еды из столовой... Тускло горели лампы.

— Направо, — прошептал Павлик. Отец Евгений шагнул направо — ветер от рясы. Федя спешил рядом. «Жезлом правит, чтоб вправо шел...» — нелепо вертелось в голове... Испуганно завопила, метнулась прочь какая-то тетушка.

Поворот, дверь, ступени вниз. Снова коридор: бетонные стены, трубы какие-то, желтый слепой свет...

— Вон там... дверь...

Отец Евгений опустил Павлика у стены, тот сразу приклонился. Отец Евгений вставил в скважину плоский ключ. Обитая жестью дверь ослабла, лязгнула под напором плеча. Но не открылась. Павлик прошептал:

— Он, наверно, заперся... оттуда...

И опять увидел Федя вылезший из-под черного подола сапог. Удар подошвой о жесть сотряс дверь. Один... второй... третий... От четвертого удара дверь отлетела в сторону.

Горела здесь такая же пыльная, как в коридоре, лампочка.

Нилка сидел на драном спортивном мате. Измученный, с грязным лицом, с темными запавшими глазищами... Но живой, живой!.. Попытался встать, потянулся навстречу. Отец Евгений схватил его...

Какие-то тетушки заглядывали в дверь: «Что? Кто?.. Кухах-тах-тах... Милицию!..»

— Дуры! Врача! — гаркнул отец Евгений.

— Дядя Женя... Федя... Не надо врача. Лучше домой...

Отец Евгений вынес Нилку в коридор. Тетушек разнесло в стороны. Павлик сидел уже на корточках.

— Федя, помоги мальчику. Тоже в машину... Нельзя же ему здесь...

— Да! — В каком-то радостном и горьком вдохновении, одним рывком, Федя подхватил Павлика Южакова на руки. Совсем не тяжелый, вроде Степки...

«Москвич» ждал у крыльца, водитель шагнул навстречу.

А из-за угла — в реве мотора и сигнала, в вихре взлетевших с асфальта листьев — вынесся мотоцикл с коляской. Подлетел. Папа Штурман, Борька, Нилкин отец...

Синий город

Те четыре дня, которые Нилка провел в больнице, были безоблачными, синими, в желтой россыпи тихого листопада. Видимо, как лекарство против памяти о той страшной субботе... Нилка два раза звонил по больничному телефону, говорил, что «ничего со мной с'страшного» и что «с'скоро отпустят». Мать ходила к нему каждый день. А ребят, конечно, не пустили. Ну и ладно. Главное, что нашелся и жив...

Где-то неторопливо, не задевая ребят, разворачивался разбор этого «досадного случая» в интернате. Говорят, семерых виновников — Ииных любимчиков-дуботолков — допрашивала милиция. Потому что папа Штурман поднял шум, не отвертись. Дуботолки в ответ на все вопросы говорили: «А чё...», «это не я...» — и объясняли, что били не сильно. Зачем били? «А чё... так просто...»

Было, конечно, все не так просто. Хотелось этим Ииным «гвардейцам» показать ей свою преданность, а услуга получилась медвежья. Ию, разумеется, таскали для объяснений ко всякому начальству. Она рыдала, что ведать не ведала о злых намерениях своих питомцев. И конечно, она, дура, и правда ничего не знала...

Директорша интерната, говорят, получила выговор. Но она была в городе на хорошем счету, и потому все выговором и кончилось... Да и кого мог занимать всерьез «мелкий случай», когда «несколько мальчиков побили двух других»? На фоне многочисленных квартирных краж, убийств, угона машин, грабежей и прочих событий, от которых раскалялись и хрипели милицейские телефоны. А пацаны что? Живы и ладно... Впрочем, по слухам, тому милицейскому дежурному, который так по-дурацки реагировал на звонок Олиной мамы, все-таки попало...

В молодежной газете «Смена» появилась заметка о нападении на ребятишек — участников острой ТВ-передачи. Что, мол, страдают не только взрослые операторы в горячих точках планеты, но и маленькие корреспонденты.

Однако все это было много позже. А пока Федя, Борис и Оля отдыхали душой.

Даже мысль о неизбежном (и, наверно, близком) Нил-

кином отъезде не была теперь такой тоскливой. Грустно, конечно, да ладно уж. В конце концов, не на другую планету, а всего-навсего на другой материк. И может, депутаты в Москве проголосуют, наконец, за тот закон, про который столько разговоров — о свободном выезде-въезде. Тогда, глядишь, можно будет отправиться в любую страну, как в соседнюю область (если, конечно, подзаработать валюты). И, может быть, удастся побывать в гостях у Нилки или он сам приедет навестить друзей в Устальске...

Задумчиво-светлое настроение у Феде не разрушила даже двойка по физике, которую Дим-Толь с удовольствием вкатал в журнал.

— Если Кроев усматривает в этом несправедливость и месть за недавний инцидент, он может, естественно, обратиться в школьный совет. Но едва ли Кроеву удастся доказать, что есть причины, позволяющие ему не знать основные формулы теплообмена... Даже если у него найдутся надежные свидетели...

Федя проявил к данной реплике полнейшее безразличие. Не объяснять же этому дембилю, что в субботу и воскресенье восьмикласснику Кроеву было не до задач о нагревании и остывании жидкостей и тел... Впереди еще четыре школьных года, и двойку по физике Федя исправить успеет...

Третий раз Нилка позвонил Феде в четверг, в пятом часу.

— Я уже дома! Приходите ко мне!

— Нил! Твоя мама выставит нас с треском! Ты же еще больной!

— Я здоровый! А мамы дома нет! А я гулять хочу, я соскучился по с'свободе! А с меня взяли с'слово, что из дома я один не выйду!

— А откуда ты звонишь-то?

— От с'соседей. Но это же я не из дома ушел, а только из квартиры...

— Ладно, жди!

Федя позвонил Оле. Борька, естественно, торчал уже там.

— Идите к Нилке! Я сейчас прибегу!

Они все ожидали увидеть Нилку повзрослевшим, похudevшим, со следами той ночи в глазах. Но он был совершенно прежний! Веселый! Заскакал от радости.

— Пошли на улицу! Такая погода!.. Я только записку оставлю, что я с'с вами...

Погода и правда была чудесная. Солнце осторожно трогало крыши и заборы. Пахло палым тополиным листом и почему-то свежестыраным бельем. И над головой — ни облачка.

— Тепло какое, — порадовалась Оля. — А ведь скоро Покров. Говорят, в этот день первый снег выпадает.

— Это когда как... — заметил Федя.

— В праздник Покрова будет служба в церкви, — вспомнил Борис. — Отец Евгений тревожится: успеют ли поднять колокола?

Нилка перестал улыбаться, задумался на ходу. Вдохнул почему-то:

— Он ко мне в больницу звонил. Отец Евгений...

— Мы знаем, — кивнул Борис.

— Постой-ка... — вдруг сказал Федя. Полез в карман куртки, достал бумажную ленточку. — Возьми, Нилка. Твой...

Нилка узнал билет. И... он ведь помнил, где его потерял. Опустил голову, щеки слегка порозовели.

— Вы с'сами нашли? Или... отец Евгений?

— Сами, — сказал Борис. — Вместе с ним...

— Значит... он вам все рассказал, да?

Борис шагнул ближе, на ходу обнял Нилку за плечи.

— Ну, что ты, Нилище... Ну и рассказал. Такой момент был, до секретов ли? Да и зачем скрывать? Мы же... ножки одного табурета.

Нилка помолчал, шагая с опущенной головой. Потом шмыгнув носом и проговорил с виноватой ноткой:

— Я бы и сам потом, наверно, рассказал... Потому что оно ведь все-таки исполнилось. То, о чем я прос'сил... там...

Федя даже вздрогнул:

— Что исполнилось?

— Ну, чтобы они помирились. Чтобы мама раздумала...

Все помолчали, грустно жалея Нилку за его наивность. И Оля все-таки не выдержала:

— Нилушка... Да теперь-то тебя уж точно увезут! Подальше от таких несчастий...

Он поднял голову. Посмотрел на каждого по очереди. Синими своими, чисто Нилкиными глазами.

— Вот теперь-то с'совершенно точно, что не увезут.

— Почему?! — это они хором.

— Мама дала с'страшную клятву: если я найдусь, никуда меня не тащить нас'ильно.

Все помолчали опять, переваривая такое неправдоподобие. Федя сказал недоверчиво:

— Ох уж эти женские клятвы... Не обижайся, Нил...

— Я не обижаюсь! Но вы же с'овсем не знаете мою маму!

«А ведь правда...» — подумал Федя.

Нилка объяснил с режущей откровенностью:

— У вас же только внешнее впечатление. А оно какое? Громкий голос да кос'метика...

— Ну, что ты, Нилка... — бормотнула Оля.

— Это же только с'наружи. А в характере у нее главное свойство: заряжаться идеей.

— Как это? — сказал себе под нос Федя. Всем было неловко. За себя.

— Ну, так... С'перва была идея перебраться в Ленинград. Давно еще. Потом — уехать с'овсем... из страны. Чтобы всех нас сделать с'частливыми... А теперь мама говорит: «От с'удьбы не сбежишь». И еще: «Всех с собой не забереешь».

— Кого всех-то? — настороженно спросил Борис. Видно, он все еще не верил.

— Ну... — вдруг смутился Нилка. Зеленым своим полусапожком начал загрести листья. — Например... того с'самого Павлика. Южакова... Что же теперь, в интернат его обратно, да?

Тут опять все глянули на Нилку с удивлением и недоверием. А тот сказал, пиная разлапистый кленовый лист:

— Он ведь меня с'спас... Ну, то есть вы все меня спасали, но он... первый...

Никто не думал отрицать главную роль Павлика Южакова в Нилкином спасении. Молчали по другой причине: как-то все это очень уж невероятно. Только в старых сказках бывают такие концы.

— Усыновить хотите, что ли? — решился на вопрос Федя.

— Ус'ыновить сразу — это, наверно, трудно... Он ведь не полный сирота, где-то мать есть. Только он ее не помнит... Но бывают ведь разные формы, мама говорила. Опекунство, например... Главное, чтобы жил с'с нами... Мама говорит: не возвращаться же ему в этот кошмар... Всех оттуда, конечно, не с'спасешь, но одного-то можно...

— А папа? — осторожно спросила Оля. — Он что говорит?

— Папа... он, по-моему, с'счастлив. Ведь на Павлика-то нет документов в ОВИРе, значит, отъезд тем более отпадает...

Федя и Борис переглянулись. По-прежнему не верилось в такой фантастический вариант. Оля вздохнула.

— Я знаю, о чем вы думаете, — серьезно сказал Нилка. — Что это с'скоропалительное решение. — Что нельзя так сразу брать чужого мальчика в с'семью, почти незнакомого. Да еще интернатского. Они там такие-с'сякие...

— Ничего мы такого не думаем, — поспешно отозвалась Оля, у которой, видимо, как раз такие мысли и появились.

— Мамины знакомые ей так же с'советовали: не делай глупостей...

— Мы ведь не мамыны знакомые, — сказал Борис. — А твои друзья.

— Ну, все равно... Для вас это, конечно, как снег на голову. А для нас эти четыре дня... Мы же с Павликом там в больнице все время вместе... И мама с нами... А знакомым она сказала: «Я знаю, что детдомовские дети не с'сахар, но мне не привыкать...» — Он опять быстро взглянул на друзей. — Вы ведь маму не знаете. Она с'сама в детдоме росла...

— Нилка, — виновато сказал Федя, — ты будто уговариваешь нас... А чего нас уговаривать?

— Ну вы какие-то... понурые бредете.

— Не понурые, а просто... ошарашенные. Оттого, что все так вышло.

— Боимся поверить, что тебя не увезут! — сказала Оля.

— Фиг меня увезут! — сказал Нилка весело, но тут же вернулся к своей главной заботе, к Павлику Южакову: — Мы там на соседних кроватях были, рядом... Он такой терпеливый, ни разу не пикнул во время всяких процедур... Только когда мама пришла забирать меня, заплакал. А мама говорит: «Не плачь, я Нилку домой отведу и приду опять, к тебе...» Он еще, наверно, целую неделю будет там лежать. Ему же знаете как досталось.. по с'сравнению со мной...

— А тебя?.. — не выдержал Федя. — Сильно били?

— С'средне... Я не хочу сейчас про это вспоминать... Противно. Они... будто не люди.

Феде казалось, что все, кто издевались над Нилкой, были похожи на Фому. Но Нилка сказал:

— Вот что... с'страшно даже. С виду они как нормальные люди, а на самом деле... будто автоматы для битья. Придут, попинают нас, уйдут гулять... потом отпрут дверь и с'нова. А вечером Павлика забрали в спальню... раздели и по-всякому издевались. «Ты, — говорят, — преда-

тель...» К двери кровать придвинули, чтобы он не убежал... А он рано утром оделся потихоньку и в форточку, со второго этажа...

— Нилка, неужели нельзя было докричаться? — со стоном спросила Оля. — До кого-нибудь из взрослых?

— С'суббота же. Там только дежурная воспитательница, с'спит наверху... Сперва я колотил в дверь, орал, а толку-то... Те же с'самые придут, добавят еще, вот и все... Я с'сперва отбивался, как мог...

Тяжелый, как черная вода, гнев колыхнулся в Феде. Пойти бы и вцепиться в этих сволочей...

— А когда Павлика утащили, я с'сообразил наконец, что можно запереться. Там петли на двери, я нашел палку и с'сунул...

— Ох, Нилка... Как ты там всю ночь-то... — чуть не плача, проговорила Оля. Чисто по-девчоночьи. — Я бы умерла...

— Я даже не понимал: день или ночь. Часы-то они с'сорвали... Окошка нет, лампочка горит одинаково. И время будто... застряло... — Он вдруг на ходу привстал на цыпочки, прижался плечом к Феде и шепнул ему в щеку: — Там только одна проблема была невыносимая... Ну, как тогда, в лифте... Но пол старый, я в нем щелку отыскал...

Вот уж в самом деле слезы и смех рядом...

Борис деликатно сделал вид, что не слушает, а Оля — она шла чуть поодаль — ревниво спросила:

— О чем это вы шепчетесь?

— Нилка спрашивает, можно ли новый анекдот рассказать, — нашелся Федя. — Про Вовочку... Я говорю, что при тебе лучше не надо...

Борис хихикнул.

— Дурни, — сказала Оля.

Нилка тоже хихикнул. Но сразу же посерьезнел.

— Я потом решил, что буду сидеть и ждать. Хоть с'сколько. Потому что, думаю, все равно это должно когда-нибудь кончиться... И знаете, про что думал еще? Про С'синеград. Как будем опять играть, когда меня освободят... Я там лифт придумал!

— Какой лифт? — недоуменно сказал Борис.

— Ну, такой... Будто у Города несколько пространств. Ну, помнишь, ты рассказывал про параллельные пространства?.. Ну вот, надо найти кусочек волшебного мела и тогда на любой двери можно написать: «Лифт». После этогоходишь, а там кабина и кнопки. И едешь в с'сосед-

нее пространство... Только для него уже нужна, наверно, другая карта.

— И про это ты думал там? — выговорила Оля.

— Конечно! Я же знал, что вы все равно меня с'спасете! — Нилка вдруг негромко, но торжествующе рассмеялся: — Как вы ворвались!.. Я перед этим, кажется, немного с'спал и вдруг — трах!.. А потом еще мотоцикл... Боря, мне надо поговорить с твоим папой.

— О чем? — удивился Борис.

— Ну, он же депутат! Может быть, он пос'содействует, чтобы без лишней волокиты оформили полное ус'ыновление Павлика.

— Ну да! А потом твоя мама вас обоих под мышку — и в С'соединенные Штаты!

Нилка не обиделся на поддразнивание. Ничуть! Борису он это прощал. Он засмеялся залиvisto, будто после нового анекдота про Вовочку:

— Я же говорю, что нет! Хотите, мама даст рас'списку?

— А что! Пусть даст, — согласился Борис.

Брели, брели и вышли на берег. К беседке. Был закат, солнце ушло в тонкую сизую дымку. На светлом небе рисовался старинный Троицкий монастырь, в котором обещали скоро отдать верующим большой собор, но пока были мастерские... Четко так выделялись колокольни, купола и сторожевые башни.

Сели рядышком на перила между колоннами беседки. Федя, Нилка, Борис, Оля. Лицом к закату.

— Красиво, да? — тихонько сказала Оля. — Будто Синеград.

Нилка нерешительно спросил:

— Вы не будете на меня с'сердиться?

— Что ты опять выдумал, Нил? — встревожился Федя.

— Я не выдумал... В больнице я Павлику... рассказал про наш Город. Ну, мы там про многое говорили, вот я и... выдал с'секрет.

— Да какой же это секрет! — успокоил его Борис. — Вон сколько людей знают! Правильно, что рассказал.

Нилка оживился:

— Павлик все понимает! С'сразу включился... ну, буд-то с нами вместе Город придумывал, с самого начала. Он вообще с'сообразительный... И у него тоже... с'свойства...

— Какие свойства? — не понял Федя.

— Ну, не с'совсем обычные. Как у меня. Я, например, немного летать умею, а он...

— Ох, Нилка... — вздохнула Оля.

— Ну, правда же! Он всякие предметы умеет к телу примагничивать! Ложку, например, или ножик... Из с'соседних палат приходили глазеть на это... И еще знаете что? — Нилка опять посерьезнел. — Он ключ тот, от двери, так же украл... у тех парней... Когда его били в спальне, то ключ на пол уронили и не заметили. А Павлик упал и примагнитил его к спине... Честное с'слово! Не верите? Он с'сам потом показывал.

— Да верим, верим, — сказала Оля. Федя обнял Нилку за плечо. А Борис проговорил вроде бы дурашливо, а на самом деле ласково:

— Нил-крокодил, ты путаешь все на с'свете. Важно, что не ключ к нему примагнитился, а ты. А он — к тебе. Значит, и к нам. Чего ж теперь...

— А можно пририсовать пятую ногу к табурету? — обрадованно спросил Нилка. — Чтобы он тоже... в студии?..

— Тогда уж и шестую, — напомнил Федя. — Степка, он ведь тоже... Ходит по школе со значком и хвастается, что он в студии «Табурет»...

— Степка — герой, — согласился Борис. — Тогда как забарабанил в дверь: «Заводите мотоцикл! Нилку спасать!» Мы сперва ничего понять не могли, за окнами еще темно...

— Ох, сейчас тоже темно будет, — заметила Оля. — Нилка, тебя не хватятся дома?

— Я же оставил записку! Если я с вами, мама не боится... А там, в подвале, я знаете чего боялся? Только одного: что лампочка сгорит. Думаю, будет полная темнота и полезут из нее эти... «дети Шумса»... С'сейчас смешно, конечно...

— Ох уж до чего смешно, — сказала Оля.

— А Павлик... он знает что придумал? Как с'справиться с «детьми Шумса»? Он сказал, что надо их не поодиночке уничтожать. Надо найти обрывки тех кусочков черного пространства, из которого Шумс их вырезал. Там ведь остались дыры... ну, по форме этих злодеев. И эти дыры — как бы их души. Если сжечь обрывки, «дети Шумса» останутся без душ и превратятся в простые бумажки...

Федя вдруг вспомнил, как нес маленького Павлика Южакова по интернатским коридорам. Легонького, доверчиво притихшего.

— По-моему, надо еще вот что! — оживилась Оля. — Похитить у Шумса тросточку с черным рулоном и сжечь! Чтобы он не мог наврезать новых своих деток...

Борис не любил спорить с Олей, но тут возразил:

— Черное пространство не сожжешь. Оно ведь неистребимо.

«Значит, и вообще зло неистребимо? — подумал Федя. — И в сказке, и на самом деле? Но как оно получается в людях?»

— Вот понять бы, откуда всякие гады, всякие дембили в жизни берутся... Ведь не Шумс же их вырезает! Может, правда, какие-нибудь пришельцы чужую программу в генетический код вкладывают? Помнишь, Нилка, ты летом боялся?

Нилка хмуро сказал:

— Да ничего в них не вкладывают. Там с'овсем пусто... — Он покачал сапожком и объяснил: — Про это один человек говорил там, в больнице, он во взрослой палате лежит. С'седой такой... Его вечером какие-то бандиты избили, шапку сорвали... Он говорит: «Я с такими еще в тридцать с'седьмом году встречался. У них вместо души дыра...» А другой ему в ответ: «Тут, папаша, не мистику разводить надо, а с'стрелять без задержки. Я, — говорит, — промахнулся с первого раза и вот...» Знаете это кто? С'старший лейтенант Шагов. Он там же лечится.

— Небось героем себя выставляет, — сказал Борис.

— Нет... Я с'случайно догадался, что это он...

— Как? — спросил Федя. В самом деле: как? Живьем Нилка Шагова не видел, на пленке лица не разобрать (напрасно Шагов боялся).

Нилка вдруг смешался, замолчал напряженно. Застукал пятками по перилам. Все мигом почуяли неладное — будто Нилка опять на краешке беды. А он, видя, что ждут ответа, выговорил страдальчески:

— Я это не могу вам с'сказать. Только Феде... И то... наверно, не надо. — Врать он «с'совершенно» не умел.

— Сестрица моя, что ли, туда к нему приходила? — догадался Федя. Нилка — голова ниже плеч — выдавил еле-еле:

— Теперь получается, что я доносчик...

— Да брось ты! — утешил Федя. — Я и так знаю. Она давно по нему страдает.

Он врал. Ничего такого он не знал, думал: все позади. Вот опять забота. И хуже всех будет Степке, если это всерьез... Но особой тревоги у Феди теперь не было. Решил: авось обойдется. Хватит душу травить. Хотя бы сегодня.

Закат быстро темнел, за Ковжей засветились огоньки.

— Пошли дальше, — решил Борис. Прыгнул с перил.

В этот момент над заборами, в темнеющем небе прокатилась желтая капля с лучистым следом. Вернее, даже маленький светлый шарик. Сверху вниз. И пропал без звука.

Несколько секунд все молчали.

— Ой, — сказала наконец Оля. — Что это?

— Мало ли... — отозвался Федя. Потому что побежал по спине холодок. — Может, метеорит маленький.

— Это же совсем близко, — сказал Нилка. — Где-то рядом упал. Метеориты бесшумно не падают, они с'свистят.

— Почему ты решил, что близко? — спросил Борис.

— Не знаю... То есть знаю. Чувствую. По-моему, это на пустыре, где С'слава меня рисовал.

— Наверно, пацаны какую-нибудь игрушку светящуюся запустили, — решил успокоить всех Федя. — Или, может быть, кто-то сигнальной ракетой баловался...

— Не похоже, — заметил Борис.

— Может быть, атмосферное явление? — жалобно спросила Оля.

— Не похоже на атмосферное. Это вполне материальное тело. Оно приземлилось на пус'стыре.

— Ох уж «приземлилось»! — постарался быть насмешливым Федя. — Таких пришельцев-малышек не бывает!

— Они всякие бывают! — весело сказал Нилка.

«Звездный планктон», — вспомнил Федя.

Борис решил:

— Все познается только опытом, пошли.

— К-куда? — спросила Оля.

Борис вытянул руку:

— Вперед. Навстречу контакту.

— Когда-то же он должен состояться, — храбро поддержал его Федя. — Должно быть, в туманности Андромеды узнали про Синеград... Ольга, ты слезешь наконец с перил?

— Ой, мальчишки, не надо! Я боюсь...

— Это же замечательно! Даже интереснее, когда с'страшно.

Оля бурно возмутилась:

— Тебе еще мало страхов, да?.. После всего, что было, не хватало, чтобы тебя марсиане уволокли! Сам ведь летом вздрагивал!..

— Кончился тот с'срок, когда я боялся, — храбро возразил Нилка. — Идем!

— Ненормальные... — Оля сделала вид, что надулась, и прыгнула с перил. Наверно, она и правда боялась. Да и остальным зябко щекотало нервы. Но ведь на то и тайна! Синий Город подарил своим жителям загадку, сказку, и вот — словно Устальск и Синеград незаметно слились друг с другом.

В густеющих сумерках, по шуршащим сухой листвой переулкам, проходами среди заросших репейником заборов Федя, Борис, Оля и Нилка двинулись на пустырь — к кирпичной стене с надписью. Говорили шепотом. Нилка вдруг остановился.

— Боря, помнишь, летом вы обещали меня не отдавать? Никаким инопланетянам...

— Ага! — поддела его Оля. — А говорил, не боишься.

— Это я на всякий с'случай.

...Никаких инопланетян и даже никакого космического осколочка они, естественно, не нашли. Нашли только мусорную кучу, сваленную у хибары-развалины. Раньше кучи здесь не было. Наверно, местные жители решили, что на пустыре подходящее место для свалки.

— Вот вам сказки и правда жизни, — философски заметил Борис.

«Не надо было идти, — подумал Федя. — Осталась бы тайна...»

— Зато ничего страшного, — вздохнула Оля.

Постояли, пооглядывались. Как скала чернела в небе стена с неровным верхом. Над ней переливалась белая звездочка. На остатках кривого забора и хибарке еще различимы были надписи, сделанные светло-зеленой краской: «Studia TABURET» и «Н. Е. БЕРЕЗКИНЪ».

Нилка вдруг подбежал к забору, вцепился в шаткую перекладину, зацарапал подошвами.

— Подс'садите меня!

— Зачем, Нилище? — сказал Борис — Кувыркнешься.

— Нет, я посмотрю с высоты! Может быть, оно в траве где-нибудь с'светится.

Борис подсадил. Сам встал внизу, глядя, как покачивается Нилка на кромке шаткого забора.

— Нету нигде, — сообщил Нилка печально. — Ладно... Я полетел! — Махнул руками и сиганул вниз. Оля ойкнула.

Лишь через секунду после того, как все ждали шумного падения, Нилка мягко упал на четвереньки. На край мусорной кучи. К нему подбежали.

— Вот с'свернешь шею, балда, — сказал Федя.

— Кажется, я что-то разбил. Хрустнуло под с'сапогом.

Он сдвинул ногу, откинул в сторону кусок мятого картона. Под картоном оказался осколок фаянса — размером с мужскую ладонь. Белый с синими пятнами — это еще можно было разглядеть в сумерках.

— С'смотрите! Это же от той вазы!

Борис щелкнул маленьким, как карандаш, самодельным фонариком. Правда! На белой блестящей поверхности был нарисованный синей краской угол кирпичного здания, ствол узловатого дерева, часть булыжной мостовой и несколько островерхих домиков, как бы расположенных в отдалении. И пухлое облако над крышами.

Кусок фаянса был расколот надвое.

— А где же остальное? — вслух подумал Федя.

Раскопали мусор ногами, но больше ничего не нашли.

— С'странно...

— Ничего странного, — сказал Борис. — Ваза сбежала от того, кто купил ее в комиссионке. Летела и светилась. Почти вся сгорела в атмосфере, а этот кусок сохранился. Так бывает и при падении космических объектов... Согласен, Нил?

— С'согласен!

Федя и Оля тоже были согласны. Сказка хотя и вперемишку с шуткой, но понемногу возвращалась.

— Только надо разобраться, хорошо это или плохо, — сказал Федя. — С одной стороны, хорошо: будет у нас теперь... ну как бы осколок Синеграда. А с другой...

— Не надо с другой. Давайте делать так, чтобы хорошо, — решил Борис. — Нилка, дай-ка вон тот обломок кирпича. — И не успел никто охнуть, как Борис крепко ткнул по куску фаянса. Раз, два... Одна половинка сразу развалилась на три части, по другой пришлось ткнуть еще разок, чтобы получилось три черепка. Всего — шесть...

— Зачем? — жалобно и непонятливо сказала Оля.

— Чтобы каждому. Когда соберемся вместе — сложим. Когда разбежались — у каждого кусочек Города... Оля, ты выбирай первая...

Они сидели на корточках — вокруг осколков и вокруг фонарика, похожего на светлячка. Оля зажмурилась и ткнула наугад. Спрятала в ладони выбранный черепок.

— Нилка, теперь ты...

— С'себе и Павлику, да? — ревниво спросил он.

— Конечно!

Нилка тоже зажмурился и дважды ткнул в осколки. Сжал по одному в каждом кулаке.

— Дядя Федор, давай... И Степана не забудь.

— Забудешь это сокровище... — Федя удачно ткнул пальцем в краешки сразу двух черепков. И сунул их в карман не глядя.

— Какой вы мне красивый оставили, с домиком. Хоть в рамке вешай, как картинку... — сказал Борис.

— А Слава обещал нам настоящую картину, «Вид С'синего города», — вспомнил Нилка. — Только не так скоро, а когда вернется с выс'ставки...

Они поднялись уже, но все еще стояли кружком. Борис не выключил фонарик. Нилка разжал ладони.

— У меня тоже один с домиком... Я его завтра маме дам, чтобы отнесла в больницу... И значок с «Табуретом».

— Неужели ты значок ему до сих пор не подарил? — удивился Борис.

— Я... как без вас-то? — смутился Нилка.

Оля грустно сообщила:

— Ох и свиньи мы все-таки. Даже ни словечка не передали Павлику в больницу за эти четыре дня...

— Я приветы передавал! — заспорил Федя. — Верно, Нилка? Когда ты звонил...

— Подумаешь, приветы! — не утешилась Оля. — Давайте письмо завтра сочиним.

— Лучше с'сегодня! Пойдем ко мне и напишем!

— Пойдем, — решила Оля. — А то тебя небось опять уже ищут.

Но сначала решили сделать круг, пройти по Садовой. Словно Город не хотел отпускать их так быстро.

Было по-прежнему тепло, светились окошки, светился над крышами тонкий месяц. Когда подошли к повороту, к длинному дому, где в первом окне стояла когда-то их ваза, по привычке глянули в ту сторону... И остановились...

Желтая штора была высвечена изнутри, и ваза рисовалась на ней четким силуэтом. Та самая! Не было сомнения. Слишком хорошо знаком был ее округлый контур...

— Целехонькая... — шепотом сказала Оля. — А мы-то... Значит, в магазине была другая...

— Тем лучше, — солидно заметил Борис. — И может быть, та, магазинная, тоже не разбивалась. И у наших осколков совсем другое происхождение.

— Какое? — обрадованно спросил Федя.

— По-моему, все-таки не исключен космический вариант...

Нилка переливчато засмеялся, смех посыпался по всей Садовой.

В этот миг промчался мимо них мальчишка — неболь-

шой, вроде Нилки, с частым веселым дыханием. Убежал вниз по спуску. И вдруг там загорелся огонек. Сперва — как слабая свечка. Потом — вспыхнул, рассыпал искры! А через несколько секунд впереди, за два квартала отсюда, загорелся еще один искристый маячок.

— У нас подсмотрели, — слегка ревниво заметил Нилка. — Какие бы'стрые...

— Пусть, — сказал Федя. — Жалко, что ли?

И Нилка согласился:

— Пусть... Можно через весь город устроить цепочку, если с'собраться...

Не сказал он, кому именно собраться, но и так было ясно.

Ближний огонек уже догорел, а дальний все сверкал и сверкал. Словно сигналил о том, что в Городе больше не будет несчастий и тревог.

По крайней мере, в ближайшие дни...

1991 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

Роман

Книга третья

НАСЛЕДНИКИ

Первая часть

КАССЕТА

8

Вторая часть

ПОРОГ

127

Третья часть

ДВА МЕЧА

233

Послесловие

ВИЗИТ УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ

332

СИНИЙ ГОРОД

НА САДОВОЙ

Повесть

351

Крапивин В. П.

К78 Собрание сочинений: в 9 т. — Екатеринбург: Независимое издательское предприятие «91». 1993.

В девятитомное собрание сочинений известного детского писателя В. Крапивина вошли наиболее популярные и любимые читателем произведения, написанные за более чем тридцатилетний творческий путь. Тома сформированы не по хронологическому принципу, в зависимости от времени создания произведения, а тематически. Первый и второй тома несут на себе автобиографический след, третий и четвертый по проблематике можно было бы назвать «семья и школа», далее следуют сказочные повести, повести о морских приключениях, фантастика. В замыкающем томе — новая и одна из последних по времени вещь: «Синий город на Садовой».

Адресуется всем любителям творчества В. Крапивина и тем, кто еще не открыл для себя этого мастера художественной прозы.

К 4803010201—002 —93
93

ББК 84Р7

Владислав Петрович Крапивин

**Собрание сочинений
в 9 томах**

Том 9

Редактор В. В. Артюшина
Художник П. В. Крапивин
Художественно-технический редактор
Н. Н. Заузолкова
Корректоры Т. А. Дрябина,
М. А. Казанцева

Сдано в набор 15.09.92. Подписано в печать 14.04.93.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типогр. № 2. Гарнитура лите-
ратурная. Печать высокая. Усл. п. л. 30,24. Усл.
кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 34,0. Тираж 100 000 экз. Заказ 635.
Независимое издательское предприятие «91» 620086, Ека-
теринбург, ул. Малышева, 24.
Малое предприятие «Книга». 614001. Пермь, ул. Комму-
нистическая, 57.



